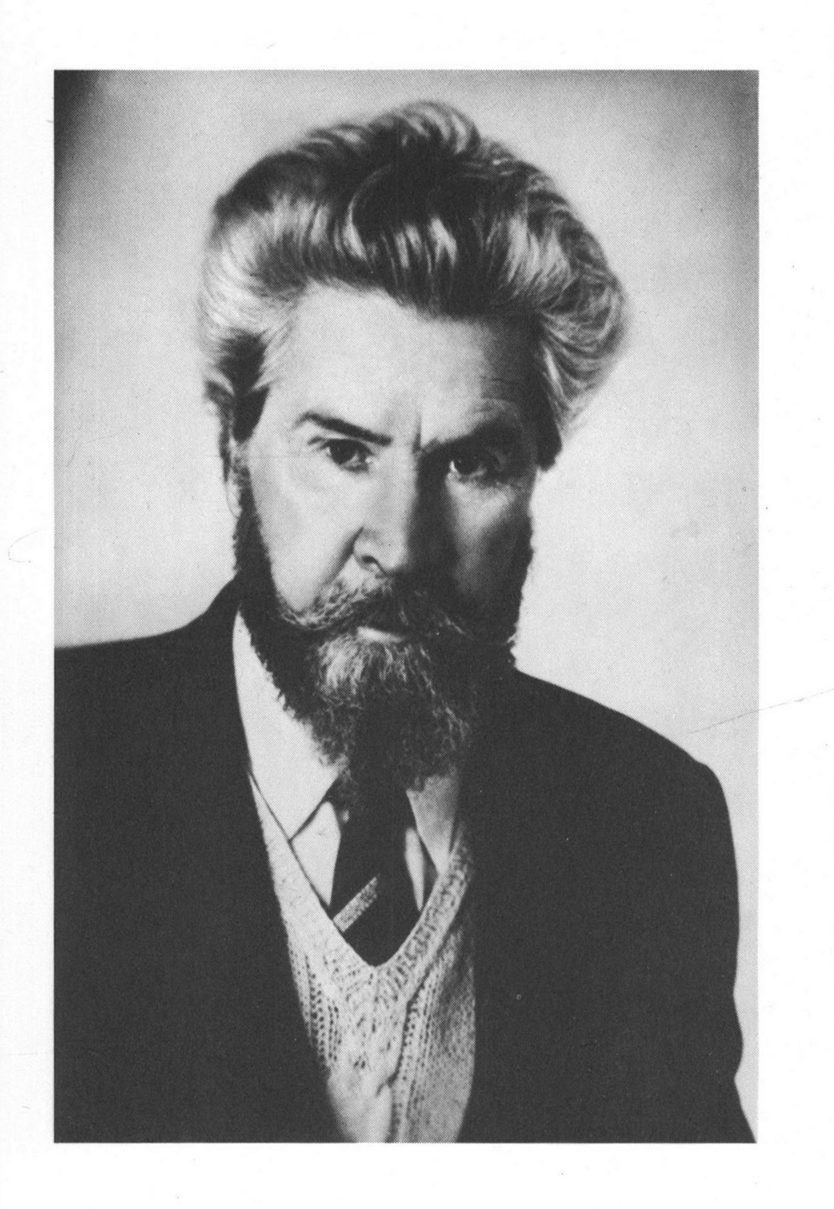
Борис Можаев

1




Борис
МОЖАЕВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ**



Москва
«Художественная литература»
1989



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПОВЕСТИ



Москва
«Художественная литература»
1989

ББК 84Р7
М74

Вступительная статья
А. ТУРКОВА

Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА

М $\frac{4702010201\text{-}148}{028(01)\text{-}89}$ подписное

ISBN 5-280-00794-3 (Т. 1)
ISBN 5-280-00793-5

ДОЛГИМИ ДОРОГАМИ

«Истинному литератору идеи искать не надо; он ими дышит, как воздухом, переживает их вместе с обществом».

Встретив эти слова в одной из статей Бориса Можаева, я подумал, что, отдельно взятые, они могут показаться иному читателю несколько декларативными, почти академичными.

Могут, если не знать, что́ стоит за ними для самого писателя, каким «золотым запасом» пережитого обеспечены их действительный «курс», их стоимость.

Быть может, в поисках лучшего определения из-под моего пера все-таки вышло нечто, еще далеко не выражающее того ощущения, которое остается после перечитывания созданного Можаевым за тридцать с лишним лет работы в литературе.

«Золотой запас» — это так приблизительно, так досадно неточно, когда речь идет о всем обилии, громаде жизненного опыта, вбирающего ведь испытанное не только самим пишущим, но и множеством людей, с которыми как-то пересекалась его судьба,— от самых близких до мимолетных встречных, случайных попутчиков.

Вот встал и вышел из вагона,
И жизни часть твоей унес...—

сказано у поэта. Но ведь и частью своей собственной одарил — будь это простодушная исповедь, лукавая байка, слезная жалоба или одно-единственное оброненное словцо... Одно из них, кажется, так и рвалось тебе навстречу, иное же, напротив, приходилось из собеседника, как говорится, клещами вытягивать, но зато, вышедшее, наконец, на свет, оно многое заставляло увидеть совсем по-другому.

«И я думал,— завершает рассказ об одной такой встрече Можаев: «Ах, боже мой! Как долог путь к душе русского человека!»

И на этом пути, и чтобы вообще, как сказано в можаевской публицистике, «исследовать, понять глубинный смысл и ход

событий, не только что проселки, тропы звериные искрестить надо».

Можаевские дороги — «долгие» и в чисто географическом, и во временно́м, и в профессиональном смысле: деревенское детство на Рязанщине, короткое учительство, армейская служба в годы войны на Дальнем Востоке, Ленинградское высшее военно-инженерное училище, а после окончания — снова Дальний Восток и, на самом пороге четвертого десятка лет, уход в журналистику и литературу.

Казалось бы, Дальний Восток со своим во многом экзотическим жизненным материалом мог предоставить для начинающего автора легко доступную золотую жилу, как то было с рядом его коллег, годами ее разрабатывающих.

Однако, когда думаешь о специфике отношения Можаева к этому «идущему в руки» материалу и к некоторым собратьям по перу, особенно из числа «литературных визитеров», как едко выразился он впоследствии, вспоминается эпизод из его раннего рассказа «Власть тайги», когда участковый милиционер неодобрительно размышляет о своих высокопоставленных коллегах, думавших с маху завершить запутанное дело:

«Приехали, нашумели, взяли, что ближе лежит, и прощай, — думал Сережкин.— А ты возись тут».

Это настороженное отношение к поползновениям «взять то, что ближе лежит», и готовность упрямо «возиться» в поисках скрытых, куда глубже залегающих причин происходящего обнаруживаются уже в первых дальневосточных произведениях Можаева.

Конечно, сравнивая их с его последующим творчеством, можно в известной степени применить к ним слова из повести «Наледь»:

«Словом, города в обычном понятии здесь еще не было — он пока только проступал, проклевывался из-под земли...»

Однако «проклевывалось» нечто весьма существенное, характерное для всего дальнейшего пути писателя. При всем своем восторге перед удивительной местной природой, а, вернее сказать, именно благодаря этому восторгу, Можаев не предавался обычному в литературе тех лет упоенному славословию освоения этого края (которое в сердцах однажды окрестил «газетной романтикой»), а почуял,— снова употребляя выражение из его же рассказа,— «тревожный запах гари»: увидел и запечатлел явственные признаки того грубо потребительского, недальновидного, чреватого грядущими экологическими и нравственными катастрофами отношения и к природным ресурсам, и к людям, трудившимся на этой земле,— отношения, вся пагубность которого стала осознаваться обществом значительно позже.

Герой повести «Наледь» (1959) Воронов «знал и чувствовал, что где-то рядом, как за стенкой, ворочается, шумно дышит,

точно бык, другая — сложная и трудная жизнь, с месивом и грязью, с нуждой и заботами».

Точно бык... Какая уж тут романтика (в расхожем смысле этого слова)! Этакая жизнь и впрямь «на рога» поднять может — грубо, драматически столкнуть с такими проблемами и неурядицами, что при всех своих благородных порывах ты остро ощутишь, как начинаешь безнадежно буксовать, все больше увязая в житейских колеях и ухабах.

Однако подобная участь — не для Можаева и тех героев, на которых он упрямо делает ставку.

Да, они нередко проигрывают свой первый — да и только ли первый! — бой: трудную схватку с прижившимися порядками, когда, по выражению одного из можаевских персонажей, «наши хозяйственники рупь в карман кладут, десять на дорогу бросают», когда ради мнимой экономии хотят селить людей в совершенно не подходящем для этого месте («Наледь»), и т. п. Писатель не боится того, что и в «Тонкомере», и в «Наледи» его любимые герои предстают перед читателем отнюдь не триумфаторами. В затеянной ими борьбе легких побед не бывает, и противники у них достаточно опытные и серьезные.

«Забо-отливый был мужик... Обо всем заботился: и о людях, и о лесе, и о воде,— вспоминают в повести «Пропажа свидетеля» о погибшем ученом-зоологе Калганове.— Да не всем это нравилось. У одних забота на словах, другие же с кулаками лезут доказывать свою заботу. В драку лезут. Таких у нас не жалуют».

Если читатель не ограничится данным четырехтомником и обратится к публицистике писателя, наиболее полно представленной в книге «Запах мяты и хлеб насущный» (1982), то не только различит там истоки многих сюжетных конфликтов и ситуаций его повестей и рассказов, не только встретит реальных прототипов их героев, но и окончательно убедится, что и сам автор — родня этим «строптивцам», смело шедшим наперекор косности, бюрократизму, шаблону, склонности ко всяким безответственным экспериментам, предпринимаемым над природой и экономикой.

Недаром в горячих речах можаевских персонажей,— например, второго секретаря райкома Матвея Песцова из повести «Полюшко-поле» (1963), мучительно отрешающегося от привычного командного стиля руководства,— отчетливо слышны полемические интонации самого автора.

Эта откровенная публицистичность повести и сама «расстановка сил» в ней (все более определяющееся противостояние Песцова и его недавнего наставника, первого секретаря райкома Стогова) выдавали те идейно-художественные ориентиры, которых на первых порах придерживался молодой писатель: опыт проблемного сельского очерка, и в особенности Валентин

Овечкин с его «Районными буднями», со словесной дуэлью между Борзовым и Мартыновым.

Однако Можаеву уже «не сиделось» ни в подобных кабинетах, ни в сложившихся рамках полуочерковых повестей, раз (помните?) «где-то рядом, как за стенкой, ворочается, шумно дышит... другая — сложная и трудная жизнь», нипочем не укладывающаяся не только в «спущенные» сверху разнарядки, но даже и в устоявшиеся в литературе представления.

Когда писатель впоследствии отмечал как особое достоинство так называемой деревенской прозы (впрочем, как и «городской», связанной с именами Ю. Домбровского, Ф. Искандера, В. Семина, Ю. Трифонова) «всегда повышенный интерес к рядовому гражданину, «маленькому» человеку, тому самому, которого некогда окрестили «винтиком» или «кирпичиком» любители изображать жизнь упрощенно и купно, он одновременно характеризовал и свой собственный литературный идеал, свое творческое кредо.

Его повесть «Живой» (1964—1965) стала одним из высших достижений «деревенской» прозы наравне с «Привычным делом» Василия Белова и «Пряслиными» Федора Абрамова. Пресловутый «винтик» — рядовой колхозник — предстал здесь в своем ежедневье, со своей горькой экономикой и отчаянными усилиями удержаться «на плаву»: прокормить семью и себя в тех условиях, когда многочисленные «палочки» заработанных трудодней ровным счетом ничего не приносили.

«Среднестатистическая единица» — «душа населения» обрела в Федоре Кузькине неповторимые индивидуальные черты и характерную биографию, где все уместилось — и «затяжная и веселая погоня за достатком» в двадцатые годы, и нежелание делать «руководящую» карьеру на своем бедняцком происхождении и чужих несчастьях, и «отсидка» за брошенное острое словцо о непорядках, и война с наградами и увечьем.

Казалось бы, Федор Фомич, который и внешне-то «смахивал на заморенную в работе лошадь»,— прямой потомок того сказочного щедринского Коняги, которого донимает наглая стая пустоплясов — всех этих возгордившихся и зарвавшихся Гузёнковых, Ворониных, Мотяковых, заполонивших в окру́ге все сколько-нибудь командные должности и превратившихся в бесстыжих погоняльщиков истинных тружеников. Не минула же такая участь беловского Ивана Африкановича из «Привычного дела», чью судьбу, как горестно замечал автор, всегда решали другие!..

Однако можаевский Кузькин достоин не только сочувствия, но и восхищения: он тоже «строптивец», персонаж, в котором, как уже отмечалось в критике, проступают ум и лукавство фольклорного героя — то ли мнимого дурачка Иванушки, то ли неказистого Ерша Ершовича, способного больно уязвить даже ополчившуюся на него щуку.

Одна из героинь Можаева нарисована «освещенной переменчивым пламенем». Подобная же игра света и тени, когда мы видим то впалые щеки и «как-то буграми, по-лошадиному» выпирающие на теле Фомича мослы, а то его «бойкие, молодые глаза», да еще слышим его убийственные реплики наседающим на него пустоплясам, создает чрезвычайно рельефный и привлекательный образ героя, чем-то напоминающий незабвенного Василия Теркина, с честью выходившего из любых передряг.

Своеобразную контрастную параллель этому портрету составляет «История села Брёхова, писанная Петром Афанасьевичем Булкиным». Бреховский историограф — совершенная противоположность Кузькину. Он — из племени Мотяковых и Гузенковых, охотно и рьяно делавших карьеру, от которой наотрез отказался в тридцатые годы совестливый Федор Фомич. Булкин же, как сам красноречиво выражается, «характером... никогда не страдал» и «себя не обносил».

Он не без яда отзывается об одном из своих соратников, что тот был «не хозяйственник, а руководитель чистой воды». Однако и сам Булкин в основном, как и один из героев можаевской публицистики, «по части директивности слога преуспел», и, читая его самонадеянно-категорические рассуждения, нет-нет да и вспомнишь веселое пушкинское восклицанье: как глуп, так это объеденье!

Перед нами — классический гротеск, жанр в деревенской прозе редчайший и «отмежеванный» себе Можаевым не только в этом случае (напомню повесть «Полтора квадратных метра», где вконец обнаглевший, привыкший к всеобщему безгласию бюрократический произвол достигает поистине геркулесовых столпов).

«Произведение искусства вовсе не обязано копировать жизнь, общество,— писал автор в одной из статей.— Порой оно показывает уродливое изображение этого общества, нелепое, фантастическое».

Прямо как об «Истории села Брёхова...» сказано!

Но — «сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Объединенная в свое время с «Живым» и рассказами в книгу под лукаво-скромным названием «Старые истории», повесть эта остается на диво злободневной и поныне, метя не в бровь, а в глаз вполне современным и часто куда более «полированным» консерваторам, изрядно потесненным происходящими в обществе переменами и кисло, а то и откровенно враждебно их комментирующим. «Чем лучше мы живем, тем все более отклоняемся»,— эти брюзгливые речи Булкина, пламенного ревнителя «верной руководящей линии», по сию пору кое у кого на устах!

«Даже ребенок знал, с чего начинать надо и чем кончать,— ностальгически вспоминает историограф обкатанный ритуал «добрых старых» времен.—...А таперика некоторые говорят,

что, мол, в любом выступлении главное якобы есть внутреннее содержание. Но позвольте задать вопрос: что важнее, порядок или внутреннее содержание? Конечно же, порядок, потому что он задается враз и навсегда и спускается он сверху».

Ох, уж это «враз и навсегда», пестревшее отнюдь не только в речах вымышленного Мотякова («Рога будем ломать, враз и навсегда!»), а с благодарностью почерпнутое автором у вполне реального рязанского бюрократа, выведенного в очерке «Лицо земли», люто недолюбливавшего «строптивцев»...

Не раз, не раз еще сползет с читательского лица веселая улыбка, прижившаяся было на нем от картин иных, скажем, любовных «подвигов» Булкина,— ведь за глуповатым самодовольством героя явственно различимы его жестокость и равнодушие к человеческим нуждам и горестям, причиной которых не раз бывал он сам и подобные ему,— например, когда рьяно осуществляли раскулачивание, или, как витиевато-туманно выражается сам Петр Афанасьевич, «черновую работу по строительству фундамента нового общества».

В немалой степени усилиями булкиных «фундамент» заметно скособочился, и это, в частности, сказалось в исчезновении у значительной части тружеников подлинно хозяйской заинтересованности в результатах своей работы.

Неотступная мысль об этом, о причинах происшедшего и путях, средствах избавления от этой беды,— вот поистине «одна, но пламенная страсть» Можаева как писателя и публициста, объединяющая едва ли не все им созданное в самых разных жанрах.

Привычное ныне определение «застой» впервые прозвучало у него еще в повести «Полюшко-поле». «Откуда берется этот застой и равнодушие?» — горестно размышлял Песцов, а ответом ему служили слова Егора Ивановича о том, что «мужик и земля, как жернова, должны быть впритирку. Тогда и помол будет», в то время как в изображавшейся действительности самостоятельно хозяйствовать крестьянину не дают и любая исконная, освященная веками операция сопровождается нашествием всевозможных уполномоченных, которые слетаются, как воробьи на ток.

Лет десять назад Можаев бурно запротестовал, когда один литератор патетически возмечтал о некоем отдаленном времени, когда, дескать, «хозяин будет убит в человеке, как мы убили в нем раба», а заодно сомневался: стоит ли называть нынешнего колхозника мужиком, не обидно ли?

«Мужик» — самое уважительное слово, да еще «хозяин»! — горячо возражал Можаев.— ...Мужик — лицо самостоятельное, способное хозяйство вести... Не надо путать два понятия: барское понятие мужика как лапотника, как невежды, как черного человека и крестьянское народное понятие, по которому мужик — значит опора и надежда, хозяин, одним словом...

тот самый человек, за которым не надо приглядывать, которого заставлять не надо».

Между тем в течение целых десятилетий само слово «хозяин» испытывало любопытные метаморфозы. Лишь в произведениях, так сказать, высокого «штиля» оно распространялось и на простого человека, который, как говорилось в известной песне, «проходит как хозяин необъятной родины своей». В просторечии же оно стало заметно отчуждаться от него, все чаще становясь не лишенным подобострастия обозначением вышестоящих, власть имущих («Хозяин приказал... Хозяин вызвал...»), а применительно к тому рядовому труженику, который «по старинке» порой опрометчиво позволял себе известную самостоятельность, уродливо и угрожающе трансформировалось в уничижительное «хозяйчик».

«— Вы мне тут хозяйчиков хотите наплодить...» — гремит Стогов, когда Песцов заговаривает о том, что «пора уж слову «руководить» вернуть истинный смысл и не подменять его другим словом — «командовать». «Не хозяйчиков, а хозяев. Хозяев своего дела, своей судьбы,— упрямо гнет свое Песцов.— Хватит их опекать — они давно уже выросли и не глупее нас с вами».

Так, с первых своих произведений, писатель хотел «сиять заставить заново» или, скромнее выражаясь, хотя бы очистить слово «хозяин» от всяческих искажений, характер и нацеленность которых весьма отчетливо видны в следующем эпизоде из того же «Полюшка-поля». Возглавив звено, которое стало работать, как нынче говорят, по «семейному подряду», Егор Иванович пытался защитить закрепленное за ним поле от очередного «волевого» решения,— и эта совершенно естественная хозяйская реакция навлекла на него целый поток оскорбительных и даже приобретающих определенную политическую окраску уподоблений:

«— Видал, какой суслик... чует, что за его припасами пришли,— усмехнулся Круглов.

— Сейчас мы его раскулачим,— сказал Бутусов.

— Частный сектор! — кривил губы Круглов...

— А ну, куркуль, прочь с дороги! — крикнул Бутусов, наезжая».

Такие акции (а их немало запечатлено в прозе и публицистике Можаева) и вся подобная, говоря булкинским слогом, «руководящая линия» во многом способствовали нараставшему процессу форменной эрозии подлинно хозяйских навыков отношения к земле у крестьян, так что «убийство хозяина в человеке» угрожало сделаться вполне реальной перспективой.

В результате, по саркастическому предположению писателя, кое-кто даже «стал сомневаться: может, и вправду социализм — это когда один работает, а другой учитывает?»

«...Если вас не нацелишь, вы, пожалуй, и убирать хлеба не станете»,— невесело острит один из назначенных на роль таких

опекунов, которому это занятие уже донельзя осточертело («День без конца и без края»).

В поисках источников народной инициативы, сметки, земледельческих и экономических талантов, источников, придавленных многолетними наслоениями бюрократических и грубо командных «методов» руководства, Можаев все чаще и пытливее обращался к сравнительно недавнему прошлому — к периоду, когда бурно шли в рост идеи ленинского кооперативного плана, опиравшегося на доверие к крестьянскому опыту и здравому смыслу, идеи, вскоре, увы, жестоко прихваченные административными «заморозками».

Явившийся результатом этой напряженной работы, размышлений и разысканий роман «Мужики и бабы» — одно из самых примечательных произведений последнего времени о той «трудной и все еще волнующей поре», как писал сам автор по поводу сходной по теме и материалу книги.

В недавние десятилетия нэп и все с ним связанное нередко трактовались в нашей литературе как-то «свысока», как досадное отступление, между тем как он был продиктован трезвым стремлением приноровить движение в социализм к пониманию любого крестьянина, найти простые, не отпугивающие сложностью и непривычностью пути, которые бы его к социализму подводили.

И действительно, завещанная Лениным новая экономическая политика была постепенно прочно освоена крестьянской массой, стала ее внутренней опорой, восстановила изрядно нарушенную войной и революцией стабильность и позволила людям загадывать на будущее. Явно набирало силу кооперативное движение в самых разных и гибких формах.

«...Мужикам воля — стройся, ребята,— размышляет один из персонажей на первых страницах можаевского романа,— работай, торгуй на всю катушку. Артель сколотили — все льготы ваши. И всякая поддержка тебе и от властей, и от банка, и от торговых заведений. Что значит кооперация... Милое дело».

Крепко стоят на ногах и работающие мужики, которые сами себе — голова, вроде Андрея Ивановича Бородина, чьи сметка и трудолюбие умножены к тому же и знакомством с агрономической наукой.

Правда, и в эту пору не обходится без разных административных действий, отнюдь не способствующих успехам хозяйственного развития деревни, но какое-то время они воспринимаются как досадные частные помехи, еще не прочерчивающие некую настораживающую «линию».

Поэтому поначалу Андрей Иванович пренебрежительно отмахивается от доходящих до него вестей насчет грядущих перемен — о планах «сплошной» коллективизации — и свято верит в неколебимость политики, освященной ленинским именем и авторитетом:

«...Сказано — строго на добровольных началах. Так что всё по закону: кто хочет, ступай в колхоз, а нет — работай в своем хозяйстве. Надо обогащаться, на ноги страну подымать. Что говорили на Пятнадцатом съезде?»

Разумеется, в те годы перед новорожденным обществом было, действительно, невпроворот неотложных задач и проблем (потребность в индустриализации, в укреплении обороны страны и т. п.), однако выбор их решения и характер осуществления этих решений во многом определялся и подстегивался, пожалуй, все-таки не только самими этими реальнейшими нуждами, но и быстро усвоенными значительной частью административного аппарата бюрократическими навыками.

Хотя многие руководители вовсю трубили о своей лютой неприязни ко всяческому «старью» — устоявшемуся быту, экономическому укладу, вековой морали, но в своей «новаторской» практике чрезвычайно охотно использовали и даже «усовершенствовали» весь арсенал давних бюрократических воззрений и приемов.

Некогда Щедрин саркастически уверял, что чиновник его времен, получив поручение вычислить, сколько Россия может вырастить картофеля, исполнит его самым простейшим способом: возьмет карту, поделит страну на квадраты, узнает, какой средний урожай можно в среднем вырастить на соответствующей площади, и перемножит эту цифру на количество квадратов! Нечто подобное не раз происходило и в куда более поздние времена.

Конкретные условия каждого «квадратика», на который должны были распространиться всевозможные планы, зачастую попросту игнорировались. Реальная, многообразная жизнь заталкивалась на прокрустово ложе отвлеченных, суммарных представлений и соображений.

Драматические последствия подобного подхода и испытывает в полной мере тот район Рязанщины, который изображен в «Мужиках и бабах»,— благословенная земля с «золотым половодьем» цветущих лугов, с «неохватным пространством» под «небом... густой синевы, по-летнему убранным разрозненными, крепко сбитыми грудастыми облаками», с шумными базарами и сенокосами, сочетающими в себе труд до жаркого пота и каменного сна с праздничностью, веселым азартом состязания в силе и сноровке.

Поначалу, в первой книге романа, весь этот традиционный круговорот трудов и дней еще властно задает тон повествованию, определяет его неспешный темп, нарушаемый лишь тоже исконными, при всем их драматизме, происшествиями, вроде увода дерзким конокрадом Жадовым любимой лошади Андрея Ивановича.

Многоликий, многоголосый, не чурающийся ни забористого словца, ни озорной проделки общинный сельский мир предста-

ет на этих страницах романа в своем живом, противоречивом единстве, не раз озадачивая нас пестротой человеческих характеров и заложенных в них возможностей, смесью практицизма и наивности, простодушия и расчетливости, терпения и яростных вспышек.

А сюда еще и «осколки прошлого» вкраплены, вроде семейства мелкого помещика Скобликова, и сельские священники из тех, что даже суровейшему Щедрину совсем не казались мироедами, каковыми их безоговорочно нарекали в разбитных частушках первых революционных лет, и, наконец, такие неприкаянные чудаки, как выходец все из того же духовного сословия Дмитрий Иванович Успенский, успевший и красным командиром побывать, и партийцем, и счетоводом в артели — и не потому что перекати-поле, а по той причине, что одновременно умен и зубаст — и безрассудно горяч, беззащитно откровенен в своем стремлении «во всем... дойти до самой сути».

Образ этого героя чрезвычайно интересен. Он, конечно, во многом, так сказать, поверенный автора и часто выражает его собственные мысли. Но самое главное — это то, что в размышлениях Успенского аккумулируется опыт народной истории, что с этим героем в роман входит великая русская культура, которая в полном своем объеме, разумеется, еще не дошла до крестьянства, но тем не менее теснейшим образом связана с ним множеством разнообразных нитей.

Да и в самом характере этого типичнейшего интеллигента есть несомненное родство с мятущейся народной стихией, с ее мучительными попытками выразить свои надежды, мечты, тревоги, сомнения — когда беспомощно-наивно и горестно-косноязычно, а когда и чрезвычайно метко и хлестко.

В страстных размышлениях Успенского воскресают и как бы снова сталкиваются в бурных спорах политики и историки, писатели и философы — и те, что нам знакомы со школьной скамьи, и основательно позабытые.

Кто-то может заподозрить в этом герое резонера, «рупор авторских идей», однако читатель иного склада призна́ет в Успенском прямого, законного потомка тех персонажей классической русской литературы, которые тоже не стеснялись многостраничных монологов, чуть ли не трактатов о том, чем жили и горели. Достаточно припомнить излияния «идиота» князя Мышкина или воспаленные речи Ивана Карамазова.

И дело тут не в том, что, например, сам Успенский и любимая им Маша Бородина в драматических словесных схватках не раз прибегают к авторитету Достоевского и могут даже бросить своим оппонентам знаменитые слова о «почтительнейше возвращаемом билете» на право существовать в мире, который они перестают принимать.

Важен накал раздумий, бесстрашный подступ к самым узловым вопросам истории и человеческого существования,

глубоко роднящий великую, исполненную тревоги за народные судьбы литературу и отважнейшие политические решения нашего века, истинный, глубоко чуждый какой-либо самоуспокоенности смысл и пафос их.

Когда Ленин, например, сравнивал создание советской власти с изобретением парового двигателя, круто изменившим всю картину мира, он не забывал добавить, что еще неизвестно — работал ли этот первый двигатель, поскольку был еще очень несовершенным. По убеждению Владимира Ильича, всё созданное революцией следует еще бесконечно улучшать. Он даже настаивал, что погибшими надо считать тех коммунистов, которые думают, будто можно строить задуманное без ошибок, без многократных переделываний сделанного ранее неправильно и т. п.

Драматизм последующего «великого перелома» в деревне во многом усугублялся тем, что, в отличие от Ленина, чьим именем на словах клялись вдохновители и организаторы «сплошной коллективизации», они пренебрегали этими его уроками, не желали должным образом учитывать склад народной жизни, вековой опыт, а то и попросту не считались с ними.

«...Ответь на такой вопрос,— допытывается у собеседника Федорок Селютан в можаевском романе,— почему Ленин ходил в ботинках, а Сталин ходит в сапогах?..

— Такая уж форма одежды. Сталин — человек полувоенный...

— Чепуха! — сказал Федорок.— Ленин был человек осмотрительный, шел с оглядкой, выбирал места поровнее да посуше, а Сталин чертом прет, напролом чешет, напрямик, не разбирая ни луж, ни грязи».

Можаевский Возвышаев на ранней стадии своей карьеры запомнился Успенскому только своим красивым почерком. Эта писарская старательность ретивого исполнителя, нахватавшегося лишь самых поверхностных верхов, затвердившего несколько примитивных пропагандистских азов, приходит в неизбежное столкновение с реальной действительностью.

Для Андрея Ивановича Бородина и подобных ему крестьян со знаменитого декрета о земле, с ее справедливого раздела в 1918 году, а затем с введения нэпа началась действительно новая эпоха — эпоха равных возможностей, чем-то напоминающая «соревнование» на сенокосе (вспомним испытанную в ту пору и Федором Кузькиным «веселую погоню за достатком»!). Тут по большей части вперед вырывались самые трудолюбивые, умелые, смекалистые, талантливые.

Для Возвышаева же с компанией всего трудного и вместе с тем в конечном счете весьма плодотворного опыта послереволюционных лет словно бы и не существует! Поднявшийся к зажитку в этих новых условиях крестьянин — для них неотличим от дореволюционного кулака и столь же подозрителен. А

вот не наделенный ни хозяйственными талантами, ни элементарным усердием, зато завистливо взирающий на чужое добро Якуша Савкин, метко прозванный Ротастеньким,— это «свой», «полномочный» представитель трудящихся!

Возвышаевскому выдвиженцу (ходячий термин тех лет) Сенечке Зенину вообще всё в нэпе не по нутру. «До двадцать второго года был коммунизм, а теперь торгашество, погоня за наживой...» — кричит он Андрею Бородину, обличая его за «уклон к частному накоплению» (три лошади, двадцать овец... страшное дело!).

В первой книге романа Возвышаеву и Зенину еще негде развернуться. Первый постоянно упрекает других руководителей района в «либерализме», второй вообще томится «в резерве» и — не хуже Ротастенького — заглядывается если не прямо на чужое добро, то на должность, сулящую какую-нибудь власть. Зато впоследствии оба чувствуют себя, как рыба в воде.

Нормальная жизнь, размеренный труд, обещающий нужные результаты лишь в перспективе, необходимость считаться с объективными условиями и с чужим мнением, уменье настоять на своем не «горлом» и угрозами, а терпеливым убеждением, весомыми аргументами, красноречивыми фактами,— всё это возвышаевым и зениным противопоказано.

«Наступление на кулачество развернутым фронтом... Где же он, этот фронт? Одни разговорчики!.. Надоело! Ежели фронт, дай мне наган...» — нетерпеливо ворчит Сенечка, заранее приходя в охотничий азарт и уже предвкушая, как под лозунгом коллективизации и раскулачивания сведет давние счеты с теми, кто в грош его не ставил и не скрывал этого.

Как и приезжий уполномоченный Ашихмин, Зенин глубоко чужд всей той жизни, которую берется переделывать,— и это особенно по душе Возвышаеву, который с явным удовольствием отмечает: «Значит, вы безродный?.. Это хорошо».

Ашихмин же с «высоты» своей полуобразованности, в сущности, ненамного превышающей скудную возвышаевскую и зенинскую грамотешку, вообще видит в «темных» крестьянах «двуногих сусликов, трясущихся над своим добром и вполне достойных того, чтобы их беспощадно выкурили из «нор».

Трагические картины этого выкуривания занимают важное место во второй книге романа.

Об этом больно читать. Каково же было это пережить?..

В ту пору особенно в ходу была поговорка: «Лес рубят — щепки летят». Но щепки-то летели живые; грубо ломались судьбы тех, кто хотел и умел трудиться, их близких, их детей.

Что ж, мы — трава? Что ж, и они — трава?
Нет, не избыть нам связи обоюдной.
Не мертвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стала неподсудна.

Читая роман, властно ощущаешь и подобное родство с изображенными в нем людьми, и видишь уходящие в ту историческую даль корни многих нынешних проблем — в частности, тех, которым посвящено все творчество Бориса Можаева.

«Такие, как он,— замечает один из персонажей о входящем в силу Якуше Ротастеньком,— не токмо что амбары, души нам повывернут...»

«Повывернуты», искажены души и судьбы не только самих свидетелей и участников происшедших «перегибов» (например, подрядчика Звонцова).

Как не хватает ныне таких людей, как Андрей Иванович Бородин! Пусть он сам, как выражается автор в эпилоге, «первый перевал» миновал благополучно: всего только денек под замком отсидел да еще из членов сельсовета был исключен,— мелочь...(Или все же преддверие новых «перевалов»?!) Но ведь дело явно идет к тому, что создаются такие условия, при которых сомнительно само «воспроизводство» людей этого типа — самостоятельных и энергичных. «Хочешь чего сделать — сперва доложи»,— как втолковывает один из возвышаевских соратников председателю колхоза.

Да и ликование упомянутого выше литератора насчет происшедшего, дескать, у нас «убийства раба в человеке» приходится признать несколько преждевременным.

Начать с того, что рвущийся к власти Сенечка — в душе сущий раб, готовый ради вожделенной цели буквально на любое унижение и подчинение. Как характерно, что при встрече с Возвышаевым, ставшей первой ступенькой его руководящей карьеры, он хоть и «присел в кресло, но на самый краешек, да еще подавшись туловищем к Возвышаеву, как бы подчеркивая всем существом своим, что не беседовать на равных он пришел сюда, а выслушать дельный совет, в любую минуту встать и двинуться в том направлении, куда ему укажут»!

Но горше другое: на наших глазах происходит в романе новая и во многом удавшаяся «прививка» множеству людей пассивности, покорности, безгласности, горестно подновляющая черты, и без того привнесенные в крестьянский характер минувшими веками.

«Не успеют кнутом хлопнуть, как бе-эгут»,— ярится по этому поводу Федорок Селютан, и ему вторит голос другого, куда более уравновешенного героя: «И те, кто погоняют, и те, которые везут,— все виноваты». Сходные мысли одолевают и Машу Бородину перед тем, как она отказывается участвовать в раскулачивании невинных людей.

«Не то беда, что колхозы создают,— рассуждает однажды Андрей Иванович Бородин,— беда, что делают их не по-людски... Всё под общую гребенку чешут, всё валят в кучу. Нет,

так работать может только поденщик. А мужику, брат, конец приходит».

Конец, нет ли, но «красивый» возвышаевский «почерк» различим не только на изображенных страницах истории рязанских деревень, но и в последующей летописи колхозного движения вообще, несмотря на то, что сам Возвышаев в эпилоге и угодил на скамью подсудимых за пресловутые «перегибы».

Ничего не скажешь, наплодили-таки поденщиков и в ту пору, и позже разнофамильные возвышаевы и зенины (кстати, сам Сенечка, пострадавший от рук возмущенных крестьян, откомандирован на учебу в совпартшколе и, думается, еще найдет случай «двинуться в том направлении, куда ему укажут!»).

Иные же из близких сердцу автора персонажей погибли в бурях времени: и Успенский, спасавший неразумного подростка, и расплатившийся за трусость Ашихмина Озимов, этот вечный возвышаевский противник, даже сама фамилия которого как-то отвечает его стремлению к тому, чтобы дать всему посеянному в нэповские годы неторопливо и уверенно вызреть, взойти.

Как уже было сказано ранее, Можаев рисует таких героев в труднейшем, а то и трагическом противоборстве с неблагоприятными обстоятельствами, когда они погибают, но не сдаются.

Писатель упрямо настаивает на том, что без этих «строптивцев» нет настоящей жизни, что именно таких людей призывал ценить Ленин,— тех, что ни слова не скажут против совести, не побоятся признаться ни в какой трудности и не испугаются никакой борьбы за достижение серьезно поставленной цели, какими бы долгими и трудными дорогами к ней не пришлось идти.

Цельность, последовательность, гражданская и художественная смелость — вот, пожалуй, слова, которыми можно определить самую суть творческого облика Бориса Можаева.

А. Турков

Повести

ТОНКОМЕР

1

Внезапно начавшиеся осенние холода застали меня в отдаленном поселке лесорубов. Весь речной транспорт оказался внизу километров за сто по Бурлиту, на главной базе. Ехать было не на чем. А тут еще по утрам пошла шуга — грозный признак! Река может покрыться льдом за одну ночь,— и я всерьез забеспокоился. Дело в том, что этот поселок, как и многие другие в здешних местах, после замерзания реки и до прокладки через перевал зимней дороги месяца два никакой связи с внешним миром не имеет. Даже почту завозят сюда раз в неделю,и ту бросают с самолета в мешках. Разумеется, оказаться в таком вынужденном заточении — удовольствие не из приятных.

И вдруг ночью, на рассвете, с реки раздалось утробное тарахтенье дизеля. Одеться и выбежать на реку было для меня делом одной минуты. Там я увидел с десяток таких же страждущих пассажиров. Мы обступили то место, где причалила темная одноглазая посудина, и ждали решения своей судьбы. Наконец, заглушив мотор, старшина этого спасительного ковчега, поблескивая в темноте кожаной курткой, спрыгнул на берег и сказал, что пришла самоходная баржа в последний рейс и что пойдет обратно после завтрака.

Напуганные скорым отплытием, будущие пассажиры расположились здесь же, одни на берегу, под высокими штабелями бревен, другие, более осторожные, перебрались на палубу баржи.

Между тем рассветало. В небе над поселком стали проступать подсвеченные невидимым солнцем розоватые поверху, а ниже — сизые растрепанные дымки; баржа,

притулившаяся в потемках бесформенной глыбой к берегу, теперь выглядела совсем маленькой, с игрушечным якорем на носу и рулевой будкой, похожей на кабину грузовика. А на голове у старшины баржи оказалась самая настоящая морская фуражка с позеленевшим медным крабом.

Среди пассажиров возле бревенчатого штабеля заметно выделялся один человек странной наружности: высокий, немного сутулый, в замызганной фуфайке и в старых кирзовых сапогах. Шапки на нем не было, густые каштановые волосы срослись в единый круг с рыжей всклокоченной бородой. По древесным оскреткам, приставшим к его бороде и волосам, было видно, что он давно уже не мыт и не чесан. Несмотря на густую окладистую бороду, ему можно было дать не более тридцати пяти лет.

Рядом с ним стояла маленькая пожилая женщина с морщинистым плаксивым лицом. Она то и дело теребила его за рукав и жалобно причитала:

— Женя, пошли на палубу! Не пустит ведь старшина... не пустит нас.

Рыжебородый не обращал на нее никакого внимания. Он разговаривал с обступившими его лесорубами — их человек пять. Видимо, это были провожающие. Из рук в руки ходил стакан, который наполнял водкой рыжебородый. Под рукой у него стояли бутылки, одни с водкой, другие пустые.

А утро было тихое и ласковое. Появилось солнце над темной хребтиной дальней горы. Ядреный колючий морозец словно прочистил тайгу; сквозь бурую прозелень елок, сквозь моховую кудель пихтача вдруг забелел заиндевевший валежник, и даже темные, не пробиваемые светом макушки кедра засквозили на фоне нежнозеленого, как первый ледок, неба. Река на середине румянилась, как красавица на морозе, и дышала белым тающим парком, а по краям уже неслась подкрашенная солнцем искристая шуга; цепляясь у заберегов за острые зубцы ломких ледышек, она мелодично позванивала.

Но вдруг эту тишину расколол утробный голос нашей баржи. Рулевой встал в кабину за штурвал, а старшина начал развязывать причальную веревку.

— Отчаливаем! — крикнул он.— Пассажиры — все на палубу!

Несколько человек бросилось по трапу на палубу. Последними шли рыжебородый со своей спутницей. За

плечом рыжебородого на палке болтался небольшой драный узел.

— Вороти назад! — сказал старшина, преграждая им дорогу.

— Ты чего, старшина? — спросил рыжебородый.

— Ничего. Деньги кто за тебя платить будет?

— Вот невидаль! А контора на что? У меня вычтут там за проезд.

— Там у тебя не то что за проезд, за переход нечем платить. Знаю я тебя! Меньше пить надо,— отрезал старшина и поднял трапик перед носом рыжебородого и его спутницы.

— Правильно, служба,— пить надо меньше. Теперь я тоже так думаю,— сказал спокойно рыжебородый, словно они уселись со старшиной на скамеечку для мирной беседы.

— Эх ты, черт лохматый! — распекал его старшина с палубы.— Ведь ты сколько сейчас пропил? На десять билетов хватило бы.

— Да, хватило бы,— согласно мотнул тот кудлатой головой.

— Вот я и говорю,— довольно отметил старшина, искоса глядя на рыжебородого сверху вниз, словно прицеливаясь.— Ты бы еще целый поселок напоил.

Старшина все стоял на палубе, держал в руках трап и, кажется, раздумывал. Рыжебородый почтительно и кротко ждал, но мне показалось, что он прячет в бороду лукавую улыбку.

— На свои личные, может, и я бы напоил целый экипаж,— все еще раздумывая, сказал старшина.— А тут билет, государственные деньги. Понял?

— Ясное дело,— скромно согласился рыжебородый.

Старшина, кряхтя, сердито стал опускать трап.

— Возьми их, возьми, старшина! — загомонили одобрительно в толпе с берега.— Что они тебе, баржу загромоздят, что ли? У них, видишь, пожитков — один узел драный.

Но это возымело обратное действие. Старшина опять поднял трап.

— Возьми, возьми! — отбивался он.— Я его и так по всем участкам вожу, и все бесплатно. Не первый раз...

Я подошел к старшине, взял его за локоть и сказал, что если в конторе не заплатят, то пассажиры сообща внесут деньги за них или я это сделаю один.

Старшина молча осмотрел меня, презрительно сдвинул на затылок свою морскую фуражку и сказал саркастически в толпу:

— Видали, какой гвоздь нашелся! — И, обернувшись ко мне, добавил сердито: — Без вас обойдутся. Чего я тут баржу держу? Понимать надо! — и с грохотом бросил трап. Рыжебородый со спутницей поднялись на баржу, и мы тронулись вниз по течению стремительного Бурлита.

2

Все приспособление для перевозки пассажиров на этой маленькой плоскодонной посудине состояло из брезентового тента, натянутого на палубе, и нескольких скамеек, расставленных вдоль бортов. Под тентом пахло ржавым железом и плохо провяленной рыбой, которую везли в мешках пассажиры.

Я уселся под открытым небом на носу. Вскоре подошел ко мне и рыжебородый.

— Впервые, должно быть, в здешних местах? — спросил он глухим баском, присаживаясь.

— Да.

— Он мужик хороший,— заметил рыжебородый, кивнув на рубку старшины.— Это он для виду куражится. Любит воспитывать. Откуда у вас эта флотская штука? — вдруг спросил он, разглядывая мою альпаковую куртку.

— От службы осталась,— ответил я.— Недавно демобилизовался.

— Уж не на Тихом ли служили? — спросил он, оживляясь.

— На Тихом. А вы что, тоже на Тихом служили?

— Бывал,— ответил он и стал задумчиво щипать курчавую бороду.

Я достал портсигар и предложил своему собеседнику:

— Курите!

Он взял папироску молча. Я обратил внимание на его крупные руки, все в застарелых черных отметинах металла. Мы закурили.

— Куда едете? — спросил я его.

— А никуда. Так просто еду, и все.

— Может, на новое место работы? — снова спросил я, несколько озадаченный.

— На новое место? — Рыжебородый грустно усмехнулся. — Для меня нет здесь новых мест — все старое.

— А где живете? Где постоянно работаете?

— Нет у меня ничего постоянного: ни работы, ни угла.

Он надолго умолк, глядя на проплывающий мимо крутой лесистый берег. Глаза у него замечательные, открытые, голубые и грустные такие, словно дымкой затянуты. Выражение его грубого, но красивого лица было печальным, очень усталым и в то же время тревожно-сосредоточенным, как будто бы он все пытался вспомнить нечто важное, но никак не мог.

Нашу посудину несет по течению, словно бревно. Рулевой, опершись на поручни, беспечно курит, сплевывая через разбитое окно рубки прямо в воду. Но как только река разбивается на протоки, он становится за штурвал и сердито кричит на нас, стоящих на носу:

— Не болтайтесь по курсу! Садись, говорят!

Мы садимся на невысокий железный бортик, а рулевой направляет баржу по горловине протоки, или, как здесь говорят — «по трубе».

Я тоже, как и рыжебородый, смотрю на берег, в надежде отыскать что-либо интересное, за что можно было бы зацепиться в разговоре. Но мне ничего особенного не попадается. Там, где сопки вплотную подходят к реке, по серым каменистым уступам карабкаются в небо реденькие островерхие елочки, да где-нибудь на самой вершине подпирает облака тупой, будто спиленной, макушкой могучий кедр. В низинах пологие размытые берега сплошь покрыты бурой щетиной оголенного тальника, из-за которого выглядывает порубленный, словно выщербленный, чахлый лес.

Вдруг рулевой из будки крикнул:

— Разобрать шесты! Подходим к перекату.

Из трюма вылез старшина с четырьмя длинными шестами. Рыжебородый взял первым шест, я — вторым.

— Оставайтесь на носу, — сказал нам старшина, а сам с двумя шестами пошел на корму.

Сразу за отвесной скалой река делала резкий поворот, спокойная до этого стремнина реки зарябила мелкими волнами, которые захлюпали о борта.

Выплывая на быстрину, мы увидели впереди белые буруны пенистого переката, а там, дальше — огромный зало́м, из которого торчали во все стороны обломанные, черные стволы деревьев. Оттуда доносился глухой угрожающий гул.

На палубе все притихли, даже бабы на корме, тараторившие всю дорогу, теперь смолкли и сбились в стайку, как испуганные овцы. По знаку старшины мы подняли кверху шесты.

— Отбивай к правому берегу! — крикнул рулевой.

Мы налегли на шесты, баржа чуть застопорилась и тихо стала приближаться к опасному залому.

— Евгений, держать строго по фарватеру! — крикнул старшина.

— Есть держать по фарватеру! — ответил рыжебородый, шестом направляя нос нашей посудины в нужную сторону.

Вода теперь бурлила и клокотала под нами; крупные шапки пены всплывали из-под камней, из-под коряг и ошалело крутились в водоворотах. Баржа, стремительно лавируя между темными корягами и каменными выступами, вырвалась наконец на спокойно разлившееся стремя реки.

— Отбо-ой! — протяжно крикнул рулевой.

— Спасибо за службу,— сказал старшина, проходя мимо нас и забирая шесты.

Мы, довольные собой, уселись на прежнее место и закурили. С кормы снова донесся женский гомон.

— Какая бешеная река,— сказал я.— Чуть зазеваешься — и амба.

— Река что жизнь,— отозвался рыжебородый.— Живешь вот так и лавируешь от берега к берегу, стремнину ищешь — фарватер. Не то — не успеешь оглянуться — в залом затянет. Видал — черные коряги торчат из залома. А когда-то они живыми деревьями были, да стояли возле берега, на опасном месте.

— Да, да! — охотно откликнулся я.— Нечто подобное и с людьми случается. Вы давно здесь живете?

— Порядочно.

— А не бывало при вас какой-нибудь...— я чуть не спросил «забавной истории», но вовремя спохватился, имея в виду его затрапезный вид, а следственно, и нечто неприятное, возможно, пережитое им совсем недавно, и, чтобы не задеть его самолюбия, сказал: — Поучительной

истории или, может, случая из производственной практики?

— Всякое бывало,— сухо ответил он, отбросил щелчком папироску за борт и, глядя на темную бегущую воду, погрузился в свои думы, вовсе не обращая на меня никакого внимания.

А я, заинтересованный необычной наружностью своего спутника, так не соответствующей его значительному лицу и трезвым рассуждениям, ломал голову над тем, как бы вызвать его на откровенность.

3

Баржа подходила к поселку, покинутому лесорубами. Внешне он был похож на тот, от которого мы отчалили: те же деревянные домики с тесовыми крышами, дощатая кузница, длинные приземистые бараки... Только нет здесь кудрявого дымка над кузницей, развалены сараи возле домиков, и грустно смотрят бараки черными глазницами выбитых окон. Здесь все тихо, безлюдно; и тоскливо становится на душе, как посмотришь на этот оставленный поселок. И даже редкие столбики дыма над отдельными домами не ослабляют этого чувства, а наоборот, подчеркивают картину запустения.

— Грустно, но поэтично,— сказал я своему попутчику, указывая на поселок.

— Это возмутительно! — зло отчеканил он.

— Скорее это неизбежно,— мягко возразил я.— Лес вокруг него вырублен, лесорубы ушли дальше... и поселок этот больше не нужен.

— А разве нельзя было построить поселок где-то выше и протянуть сюда узкоколейку? И не только сюда, а во все концы. И построить поселок не временный, на три, на пять лет, а постоянный? Не только можно, а нужно! — выкрикнул он с силой.— Чтоб жить там по-человечески, а не кочуя из барака в барак. Поэзия!.. Какая, к черту, поэзия? Бардель — вот что это! Цыганские злыдни. Два года назад бросили этот поселок, через два бросят тот, и так без конца. Миллионы бросаем! Знаете, на что это похоже? На то, если бы мужик повез на базар продавать крупу в дырявом мешке. Вот она, ваша поэзия! Вы что, стишки пишете? — с ухмылкой спросил он.

Признаться, я не ожидал от своего собеседника такого пыла. Видимо, я нечаянно задел больную струну и пытался оправдаться:

— Я — газетчик. С ходу не могу определить — где тут убытки. Чего ж на меня сердиться? Я здесь не работал и не считал эти убытки.

— Да только ли убытки,— поморщился он.— А сколько мучаются люди от этого! А лес? Что делают с лесом? — он показал рукой на бурое выщербленное редколесье, покрывшее бесконечные синеющие холмы: — Посмотрите! Рубили на выбор, а все остальное ломали... Захламили и бросили! Теперь тут ничего не вырастет. Чахнуть ему сто лет! Не лес и не поросль... И выходит, вроде как до чужого дорвались: мы пройдем, а после нас хоть потоп.

— Это другой разговор! Ваше возмущение мне по душе.

Он поймал мою руку и слегка тиснул ее в знак одобрения. Потом расстегнул фуфайку, достал из-за пазухи поллитровку водки и предложил мне, чуть заикаясь:

— Не откажитесь со мной выпить. Может быть, я эту последнюю пью.

— Как так последнюю?

— Да вот так! Хотите я вам расскажу кое-что? Но наперед давайте выпьем понемножку.

Я согласился.

— Ну, вот это хорошо! — повеселел рыжебородый.— Понравились вы мне почему-то. Эх, служба! С Тихого — значит, свой. Варька, юколы! — крикнул он своей спутнице.

— А теперь давайте знакомиться.— Он протянул мне руку и назвался: — Евгений Силаев.

Я назвался в свою очередь.

Варя принесла нам вяленой кеты и два стакана из розовой пластмассы.

Евгений сначала налил Варе. Она выпила просто, без ужимок; ее угодливое лицо с крошечным носиком и светлыми, словно перламутровые пуговицы, глазками, сделалось строгим и хмурым. Взяв кусок юколы, она ушла под тент.

Юкола оказалась крепкой, как сыромятные ремни. С трудом раздирая зубами бурые вязкие волокна, Силаев начал свой рассказ.

4

— Так слушай, друг. Началось это года четыре назад. Прослужил я к тому времени на флоте порядком: и с японцами успел повоевать, и годиков пять сверхсрочной прихватил. И вот возвратился в родной город, в Подмосковье. До службы я слесарничал на механическом заводе. Ну и потянуло опять, значит, к старому ремеслу. Да...— он машинально похлопал по карманам фуфайки, ища папиросы.— Я и позабыл — нет у меня ни хрена,— потом вынул папироску из моей пачки, закурил.

— Эх, служба! Ты не представляешь себе, как я радовался, когда снова шел по родной улице. Тут тебе не только людям — деревьям и телеграфным столбам готов был руку протянуть. А улица наша тихая, с палисадниками, вся в тополях да в акациях. Прожил я на ней девятнадцать лет и не забыл там ни одной канавы, помнил, где лужи разливаются в дожди, и мог бы с закрытыми глазами дойти до своего дома. Только моего дома там уже не было, то есть дом-то стоял, но жили в нем другие. Отец мой погиб на фронте, мать умерла во время войны... Я уж и номер в гостинице заказал, но все-таки потянуло меня к своему старому дому. Я и не предполагал тогда, что эта прогулка всю мою жизнь изменит.

Он умолк на минуту, у него погасла папироска. Все время, пока он разминал папироску и раскуривал, его крупные дымчатые глаза оставались совершенно неподвижными. Странное впечатление было от этого: не то он позабыл, про что рассказывал, не то думал совсем о другом.

— Помню как сейчас,— сказал он наконец,— подхожу я к знакомой калитке и думаю — открывать или нет? И чего мне в самом деле нужно здесь? Дом заводской, живут в нем незнакомые люди... Вещи наши тетка забрала. Одна гармонь моя осталась... Будто хозяин гармонистом был и попросил попользоваться, на время. Тетка писала. Думаю, может, и гармони-то уж нету. Да и неудобно с чемоданом заходить. Еще подумают: парень, мол, намекает... Ведь по правилу часть жилплощади в этом доме принадлежала мне. Я же на службу ушел отсюда. Но, думаю, заводское начальство разберется. Я уж хотел повернуться и уйти прочь, как со двора, через

сад, бросился ко мне черный лохматый кобель. Да такой свирепый, того и гляди, разорвет и калитку, и меня. Вдруг из дома закричали: «Шарик, нельзя!»

А через минуту возле меня уже стояла высокая блондинистая девушка и отгоняла Шарика. А я тем временем во все глаза смотрел на нее. Понравилась она мне сразу. Сильная такая — схватит собаку за ошейник и метров за пять отбрасывает.

— Да пошел, дурень! Голос надорвешь,— говорит.— Побереги на ночь — ухажеров отгонять...

Пес — скотина умная — сразу умолк и виновато поплелся в собачью конуру.

А мне смешно стало.

— И много у вас ухажеров? — спрашиваю.

— Сколько ни есть — все мои,— отвечает.— А вы к сестре, к Оле? Ой, да у вас чемодан! Вы приезжий, да? Уж не родственник ли? — И вопрос за вопросом. Тогда я приложил руку к фуражке и представился:

— Главный старшина Силаев в отставке.

Ну что ей Силаев? Поди, и фамилию нашу не запомнила. Приставила она к своим кудряшкам кулак на манер пионерского салюта и говорит:

— Косолапова — бывший пионервожатый.— А потом сморщила нос и показала мне язык.

Красивая она, и всякое кривляние ей шло. Посмотришь на нее, ну словно на токарном станке выточена. Стройная, ладная не по возрасту: бывало, наденет сарафан — от плеч-то глаз не отведешь: такие гладкие да упругие. А ей всего восемнадцать лет было в то время. Да...

Так вот, стою я возле калитки — положение дурацкое, будто в гости напрашиваюсь, и думаю, как бы мне поделикатнее объяснить свой приход.

А она мне:

— Ну, чего смотришь? Зачем пришел-то?

— Гармонь свою забрать...

— Какую гармонь?

— Жили мы раньше в этом доме. Мать у меня здесь умерла.

Тут до нее дошло:

— Ах, вон оно что! Значит, вы со службы возвратились?

— Да, со службы,— говорю.

— Куда же теперь?

— Дак на завод. Пока в гостинице поживу, потом на квартиру попрошусь...

— А-а! Знаете что, проходите к нам,— пригласила она меня.

И не успел я опомниться, как она отворила калитку, подхватила мой чемодан и потащила меня за собой.

Вдруг она так же внезапно остановилась, поставила чемодан и с улыбкой протянула мне руку:

— Ната! Меня все так дома зовут. И вы зовите так,— потребовала она.

Вот так мы и познакомились, служба. Я замечал, как она рада была нашему знакомству, и ведь не скрывала этого. Ей, видно, хотелось сделать мне что-то приятное; она показала на садик и спросила:

— Узнаете?

— Да не совсем,— ответил я.

— Ах да, я и забыла! — она снова рассмеялась.— Ведь у вас здесь были бесполезные деревья — клены да акации. Мы их вырубили, и вот, смотрите,— груши да яблони, а под ними — грядки. Двойная выгода!

Осмотревшись, я заметил, что все там не то, что было у нас. Вместо нашей густой сирени, кленов да акаций — приземистые яблоньки, вместо высокой травы и цветов — грядки с помидорами и огурцами. И наш белый дом с высокой красной черепичной крышей сиротливо оголился, будто облысел. Зато с торца, за верандой, к нему приткнулся большой сарай, откуда раздавалось мычание коровы.

Жаль мне чего-то стало, шут его знает! Может, белых акаций, которые сам сажал, а может, того, что не мы уже хозяева здесь. Я сказал об этом Нате.

— Не жалейте,— ответила она.— Стрючки акаций не съешь и не продашь. Один хлам от них.

Этот ответ я крепко запомнил. Меня прямо как ножом по сердцу. Тогда бы и надо было бежать. А я поплелся, как телок на веревочке...

Он снова умолк и уставился своими неподвижными глазами на бесконечные таежные холмы.

Чувствовалось, что мысли его забегали вперед событий и он, теряя нить рассказа, отдавался им, забывая о моем присутствии.

— Может, закурите? — предложил я.

— Нет,— ответил он, повернувшись ко мне.— Давайте лучше выпьем понемногу!

И, не дожидаясь моего согласия, он стал наливать в стаканчик водку. Я заметил, что руки его дрожали.

— Отчего же вам так не понравились эти грядки? — спросил я Силаева.

— Да черт с ними, с грядками! Мне не понравилось, как она радовалась оттого, что сирень вырубили, а это самое завели.

— Вспомните, какое время было! В магазинах пусто — все брали с рынка. А там цены ого какие! Это ведь только москвичи да ленинградцы упивались магазинным изобилием,— сказал я.

— Да разве я об этом думал? Я же после войны все время просидел как у Христа за пазухой. Вы-то где служили?

— Во Владивостоке, военным инженером. Между прочим, в Гнилом Углу построил завод железобетонных изделий, пирсы в Улисее, ну и все такое прочее.

— Так вы при деле были, жили в городе, по магазинам ходили, на рынок... А я служил в минерах. Был на всем готовом. Питался в офицерской кают-компании. И деньги приличные имел. Во Владивосток приедешь — маруху под крендель и в ресторан. А куда еще? Мы же были, служба, во всех гражданских заботах как дети несмышленые. Видели мы эти заботы в гробу да в белых тапочках. Зато умели держать линию. А наше дело — держать равнение в строю и слушать команду. А команда была — не хапай! Служи великому делу. И мы служили и верили — будь здоров. А когда возвращались на гражданку, тыкались везде, как собака, потерявшая след. Чуть что не так, не по-нашему, не по уставу, так рычали и зубы пускали в ход. И обламывали нас без церемоний...— Он опять похлопал по карманам, ища папиросы, но, увидев разлитую водку, взял розовый стакашек: — Ну, давай! По маленькой.— Он чокнулся, опрокинул его в рот и округло, коротко выдохнул.

5

— Ну, вот мы и познакомились с ней,— продолжал он через минуту, проглотив кусок юколы, похожий на канифоль.— Мать ее встретила нас в сенях. Понравилась она мне тогда: женщина степенная, полная, вся такая

домашняя и обхождением ласковая. Марфой Николаевной зовут ее.

— А я гостя веду! — сказала весело Наташа.— Это Женя Силаев.

— Батюшки! — всплеснула Марфа Николаевна руками.— Ивана Силаева сынок?! Со службы пришли?

И вдруг она закрыла лицо фартуком и заплакала.

— Проходите, проходите в избу,— приглашала она сквозь слезы.

В доме из разговора с Марфой Николаевной я узнал, что их «хозяин», как она называла своего покойного мужа, был предзавкома на том же заводе, где и я слесарничал. (Я даже вспомнил его: такой был важнецкий усач.) Что переехали они в наш дом по решению завкома уже после смерти моей матери. Что их «хозяин» тоже умер, что старые старятся, молодые растут, и в том же духе.

Она рассказывала, расспрашивала меня и все печально качала головой. Мне уж стали надоедать эти жалобы и расспросы. Наташа, видимо, поняла это и пришла мне на помощь.

— Мама, что ты напала на него? Надо же человеку прийти в себя после дороги!

Потом она схватила меня за руку и потащила к себе в комнату.

— Женя, вот вам моя комната — располагайтесь, и ни звука.

Я было попытался возразить. Куда там! Она затопала ногами, как коза.

— Не нравится,— кричит,— комната моя не нравится!

Я ей сказал, что это — моя бывшая комната. Она вдруг затихла, сделалась серьезной и так посмотрела на меня своими быстрыми серыми глазами, что мне стало ясно — между нами что-то произойдет. Может, она почувствовала это раньше меня, потому и притихла. Говорят, что дерево, перед тем как в него попадает молния, даже на ветру затихает — не колышется. Впрочем, все это — фантазия! Просто Наташе было жалко меня: сирота. Она впервые это увидела, а может, отца вспомнила? Одним словом, ушла она совсем другой — по-взрослому серьезной.

Я осмотрелся. Комната девичья была обставлена как обычно: кровать с кружевными чехольчиками, с расшитой подушечкой-думкой. В углу туалетный столик тре-

угольничком, на нем всякие безделушки и альбом с известными киноартистами, больше все заграничными.

Вдруг открылась дверь, и Марфа Николаевна внесла на вытянутых руках гармонь, внесла осторожно, как кастрюлю с горячими щами. «Вот,— говорит,— сохранилась».

Гармонь была у меня хорошая: хромка, и голосистая — баян перебивала. Я еще сыграл на ней что-то вроде «Ноченьки». Уж не помню точно. А Марфа Николаевна опять всплакнула.

Когда я умывался в сенях, из кухни донесся голос Марфы Николаевны:

— Молодой такой ушел на службу, а уже слесарем был. Видать, толковый.

— А ты еще сомневаешься? — спросила Наташа таким тоном, каким говорят: «А ты не спишь?»

И я еще раз подумал, что неспроста мы встретились.

На следующий день я пошел наниматься на завод. Начальник отдела кадров встретил меня тепло. «Я,— говорит,— проверенные кадры с хлеб-солью встречаю,— и в шутку протягивает мне ломтик хлеба, посыпанный солью.— Только вот с квартирами у нас туговато».

Он помялся с минуту и говорит: «Не знаю, как вам и предложить. Ко мне приходила Косолапова Марфа. Я с ней поговорил... Так вот она не против отдать вам одну комнату, вернее, возвратить. Как вы на это смотрите?»

Я согласился поселиться у Косолаповых. Начальник отдела кадров обрадовался. Мы ударили по рукам, и через день я вышел на работу.

Не буду вам расписывать свои производственные дела: там у меня все шло благополучно. Каждый вечер я спешил домой, и мы с Наташей либо пололи и поливали грядки, либо шли в кино. Но все это делалось засветло. Стоило только чуть засидеться нам, как раскрывалось окно и Марфа Николаевна кричала:

— Наташа, домой!

Дома они вязали по вечерам пуховые платки, а осенью и зимой продавали их. Хорошо зарабатывали! Вообще они умели зарабатывать на всем: на рукоделье, на огороде, на молоке... Любили жить в достатке, да и привыкли. Закваска уж такая — деревенская, что ли, кто ее знает! Тогда мне, потомственному пролетарию, ух как все это не нравилось!

— Да что же вам не нравилось? — спросил я Силаева.

— Все! Ведь у нас как было заведено, еще до войны? Отработал свое на заводе — и мотай на все четыре стороны. Кто в пивнушку, кто на улицу «козла» забивать, кто в парк. А там футбол, волейбол и всякая самодеятельность. И, конечно, танцульки на площадках деревянных. Я танцевал до глубокой ночи. А радиола испортилась — под гармошку дуем до зари. Сам играл...

— Ну, чего иное, а танцевать да «козла» забивать и теперь не разучились,— сказал я.

— Оно вроде бы и не разучились, да все теперь по-другому. Пива нет — водку дуют, и не столько в домино играют, сколько лаются друг с другом. Раньше было три танцплощадки, а еще — где гармонь заиграет, там и танцуют. А теперь одна на весь город. Там теснотища — яблоку негде упасть. На бывших футбольных да волейбольных полях полынь и лопухи, а подростки в карты под забором режутся. Девки да бабы платки по вечерам вяжут да на грядках сгибаются. Мужики, которые поумнее, дома себе строят и сено косят. Люди вразброд стали жить, понимаешь? На работе план гонят до остервенения, а по вечерам одни шабашничают, на обновки зашибают, другие же остатние деньги пропивают. Бывало, по вечерам-то и мужики и бабы на улице табунились, все обсудят и взвесят, что на твоем совете. Заботы свои обсуждали, душой отходили. На миру жили, понимаете? А теперь где он, мир-то? Все по углам жмутся, не то встретятся, чтобы раздавить одну на троих да посопеть в кулак или полаяться.

— Это вы чересчур хватили.

— Вы думаете — я пьян?

— Да нет. Сгущаете краски, как пишут в газетах. Очерняете.

— Побывали бы в моей шкуре, так запели бы другим голосом.— Силаев налил в стопки водки и выпил, не дожидаясь меня.

6

— Да, служба... Так вот, мало-помалу мы с Наташей и сближались. Надо вам сказать, что у Наташи была старшая сестра Оля, вся в мать — степенная, важная, обходительная. Она уже заметно полнела и была, как говорится, девкой на выданье. Работала она в лесной

конторе не то плановиком, не то учетчиком каким-то. И вот мне сказали, что за Олей ухаживает Игорь Чесноков, чуть ли не начснаб завода. Он был моим ровесником. Когда-то мы с ним вместе учились в вечерней школе. А теперь ему пророчили чуть ли не пост замдиректора, и звали его в управлении не иначе как «наш Чеснок» или «Чесночок». А Марфа Николаевна души в нем не чаяла, даже за глаза называла его «они», а иногда с ласковой усмешечкой добавляла — «мой зятек». После возвращения на завод я с ним не виделся, да, откровенно говоря, и не старался увидеться.

И вот вдруг в нашем доме объявляется полный аврал. Игорь придет! Марфа Николаевна и Ольга протирали полы, окна, сменили занавески; а в большой комнате, где стояла Олина кровать, надели новые чехлы на подушки, достали какое-то замысловатое покрывало, такое огромное, что его хватило бы три кровати накрыть. Заграничное, что ли? Скатерти накрахмаленные, с хрустом... Раму трюмо смазали деревянным маслом — блестит...

А Наташа все ходит, подсмеивается над матерью и сестрой и всякие уморительные рожи строит. «Женя, у нас,— говорит,— праздник — вознесение Чеснокова. Мама, а христосоваться будем?»

Наконец настал вечер. Сестры ушли в большую комнату наводить свои наряды. Дверь в мою комнату была приоткрыта, и я слышал их разговор. Наташа все подсмеивалась и задиралась. Оля отмалчивалась. Вдруг Наташа закричала:

— Ой, Оля, твой снабженец идет!.. Костюм новый, а на лице такая важность, ну — кот-обормот.

— Завидуешь? — равнодушно спросила Оля.

— Ха! — ответила Наташа.— Было бы чему! Не только позавидовала — отбила бы. Да он того не стоит: ему только подмигни — он и хвостом завиляет.

— Тебе, конечно, подай тигра с полосками на груди,— лениво отвечала Оля. На меня, должно быть, намекала.

Тут вошел Чесноков. Наташа стукнула мне в стенку, и я вышел. Мы поздоровались с Чесноковым как старые приятели. Я заметил, что он сильно изменился. Раньше он был худой, но жилистый; на заводе и в школе мы его прозвали «Репей». Цепкий он был. Бывало, станешь с ним бороться, вцепится в тебя — убей, не отпустит...

Теперь он раздобрел, и даже его скуластое лицо стало круглым, как брюква.

Наташа подошла к нам, сделала удивленную мину и спрашивает меня:

— Вы знакомы с моим бывшим женихом?

Чесноков хоть и покраснел, но ответил с достоинством:

— Я в бывших еще не ходил.

— Ну так будешь! — задорно сказала Наташа.

— Хорошо, запиши на очередь,— отбрыкался тот. Ольга засмеялась, а мне, признаться, неловко стало. А Наташа уже схватила нас под руки и потащила на улицу: «Марш в парк!» А потом посмотрела на Чеснокова и говорит:

— Почему ты пыльник не надел?

— А зачем?

— Чтобы костюм не испачкать...— И снова хохочет.

В парке мы взяли по лодке и устроили гонки. Я не ожидал в Чеснокове встретить такого ловкого гребца. Мы долго носились по озеру почти наравне. Но я заметил протоку, свернул в нее и оторвался от Чеснокова.

Наташа была довольна больше меня. Она встала на носу лодки и начала кричать и размахивать руками. Но лодка наша уткнулась в берег, и Наташа упала прямо на меня. Тут я ее впервые поцеловал. Она снова притихла, посерьезнела, как тогда в комнате, и сказала шепотом:

— Я знала, что так будет.

И в тот момент, когда мы целовались да обнимались, Чесноков разогнал свою лодку и с ходу врезался в нашу. От сильного толчка мы чуть не вывалились в воду. Я обернулся и увидел Чеснокова; он был до того зол, лицо такое красное, что казалось, вот-вот волосы на его голове вспыхнут.

— Мы, кажется, вам помешали,— прошипел он. А Наташа смеется и говорит:

— Нисколько! Целуйтесь и вы за компанию.

— В советах не нуждаемся,— процедил сквозь зубы Чесноков, развернулся и яростно налег на весла. Я видел, что Ольга готова заплакать, и сам не понимал, в чем дело.

— Отчего такой злой Чесноков? — спросил я Наташу.

Она в ответ:

— Наверное, цепочку от часов потерял.

Вскоре мы позабыли и про Чеснокова, и про все на свете. Мы бродили по самым безлюдным местам парка до

тех пор, пока сторожа не начали свистеть, выгонять загулявшихся. Мы уходили последними. Помню, подходим к мостику через протоку, Наташа вдруг сворачивает с дороги и мчится под откос. «Не хочу по мосту! — кричит.— Вброд, вплавь хочу!»

И прямо в босоножках по воде, а я за ней в ботинках... Вот так, служба.

Он налил в стаканчик водки и, не глядя на меня, выпил жадно, как пьют воду истомленные жаждой люди. Затем утерся рукавом фуфайки и продолжал:

— Домой возвратились мы за полночь. На веранде нам встретилась Ольга. Не помню, что-то я спросил у нее, но она только посмотрела на меня исподлобья и тотчас ушла в дом. Мы расстались с Наташей. В комнате мне показалось душно и тоскливо, я раскрыл окно. Спать я не мог, хотелось уйти и бродить, бродить всю ночь. Очевидно, и Наташа испытывала то же самое, потому что я слышал, как хлопнула дверь ее комнаты, а потом раздались и ее шаги, как всегда быстрые, твердые. Она прошла на веранду и спрыгнула в сад. Я уж собрался выпрыгнуть к ней в окно, как вдруг услышал разговор и остолбенел. Это она говорила — и с кем же, с Чесноковым! Я отчетливо запомнил каждое слово.

Сначала Наташа испугалась:

— Ой, кто это?!

— Это я, Игорь,— ответил Чесноков.

— Что тебе нужно? Ты к сестре?

— Нет, я к тебе... Выслушай меня! — И он заговорил быстро, запинаясь: — Я не к Ольге ходил, а к тебе... то есть к ней для тебя... Понимаешь?

— Ничего не понимаю.

И он ей признался, что любит ее давно, но не решался открыться.

Тут, надо сказать, мне стоило больших трудов, чтобы не выпрыгнуть в окно и не дать ему в морду. Я аж задрожал весь, оперся на подоконник и ждал, что она ответит.

Вероятно, он ее схватил за руку и хотел поцеловать, потому что она резко крикнула: «Остынь!» — и засмеялась. Остудить она могла, уж это я знаю. И веришь, служба, у меня такое творилось на душе, будто я только что мину обезвредил. Я сел на подоконник и чуть не заревел от радости.

Чесноков вдруг перешел на «вы» и заговорил глухо:

— Я вас прошу только об одном: не торопитесь. Замужество не уйдет от вас...

— В подобных наставлениях не нуждаюсь,— ответила насмешливо Наташа.

Но Чесноков не сдавался:

— Я понимаю — ты сейчас увлечена и ослеплена. Но пройдет время — и ты поймешь... Кто он? Простой работяга, и только. А ты — видная, красивая.

— И мне больше подходишь ты? — насмешливо перебила она его.

А он все свое:

— Тебе жизнь другая предназначена... Широкая! Ты имеешь право...

— Я уж как-нибудь сама соображу,— опять перебила его Наташа, но уже не так насмешливо, а вроде бы как размышляя.

— Твое дело,— сказал Чесноков.— Но помни, что бы ты ни решила, я все равно буду любить тебя и ждать.

— Ну что ж, ждите! — Наташа снова засмеялась и, немного помедля, добавила: — Ветра в поле.

Потом ее каблуки застучали по ступенькам крыльца.

— Спокойной ночи,— сказал тоскливо Чесноков.

— Спите спокойно, если можете,— ответила с крыльца Наташа.

Затем хлопнула дверь, и все смолкло.

7

Я всю ночь не спал. Да неужто, думаю, в самом деле есть какое-то различие в положении? Значит, я — работяга? А ты — фон-барон! Шалишь, дружок, уж тут я тебя с носом оставлю.

Я вспомнил, как мы, заводские подростки, занимались в вечерней школе. Время было предвоенное, веселое — то на футбол, то в кино, на учете каждая минута. А тут — собрание; ребят оповестить, взносы собрать... Кому поручить? Чеснокову. Маленький, верткий, он, как бесенок, так и шнырял по всем. Учился не блестяще, зато все разузнавал, со всеми был приятелем. За свое любопытство он часто получал по носу, но на него никто не злился: Репей свой в доску парень, его и побить не грех. А бывало где какое собрание — он уже начеку; головку закинет — кадык выщелкнется, как зоб у цыпленка,— и

понесет: в ответ на происки империалистов и фашистов мы должны сплотить ряды, утроить энергию... Ну и всякое такое, что на собраниях талдычат. Тоже — способность! И вот его как активиста от молодежи в завком ввели. Когда же подошла наша очередь идти в армию, его оставили по брони. Пока я воевал да служил, он успел окончить какие-то снабженческие курсы, продвинулся по службе... И теперь вот дал понять Наташе, что я ему неровня.

Но в душе я над ним смеялся тогда. Я представлял себе, как он взбесится, когда узнает, что Наташа выходит за меня замуж. И я решил жениться как можно скорее.

Наташа мое предложение встретила с радостью, как ребенок, которому подарили новую игрушку. Она тотчас же рассказала всем об этом. Теща для приличия поохала, всплакнула даже, но свадьбу решили сыграть поскорее. И только Ольга не поздравила нас.

На свадьбу Чесноков был приглашен, но не пришел. Ольга села за стол рядом с Наташей и ни с кем не разговаривала. Но когда закричали «горько» и мы стали с Наташей целоваться, Ольга вдруг встала из-за стола и вышла из дому. Немного погодя я вышел вслед за ней. Нашел я ее в саду; она стояла, опершись на яблоню, и плакала. Я подошел к ней, погладил ее по волосам и спросил:

— Что случилось, Оля?

Она с такой яростью на меня набросилась, что я растерялся.

— Пожалеть пришел? Непонятливым прикидывается! — зло выкрикивала она.— Вы, вы разбили мое счастье! И ты, и Наташа... оба вы хороши.

Я с минуту стоял, не двигаясь, пока она не вышла на улицу.

Дома за столом я сказал Наташе:

— Ольга плачет. Ты бы пошла, утешила ее.

— Пусть поплачет. Что ей сделается! — ответила беззаботно Наташа.— Она мне завидует... и злится, что Игорь бросил ее из-за меня...

Мой рассказчик снова налил машинально водки и выпил. Варя принесла нам красной икры. «Кушайте — своя»,— потчевала она меня.

Икра была пересоленной — передержана в тузлуке,—

икринки отскакивали одна от другой как дробь, и имели упругую, точно вулканизированную кожицу.

Закусив, Евгений продолжил свой рассказ, не обращая внимания на присутствие Вари.

— Любопытная это семья! Они друг друга не жалеют, не ласкают, при случае подсмеиваются и даже злорадствуют. Но зато как держатся вместе — не то что водой не разлить, не оторвешь их друг от друга. Не сразу я их раскусил.

Он закурил и помолчал с минуту.

— После смерти отца у них заготовкой сена для коровы занималась Ольга. Она и ордер на луга доставала, и там же в конторе договаривалась о покосе. А на этот раз она принесла ордер матери и сказала: «Косите как знаете, а на меня больше не рассчитывайте». Я-то не знал об этом до времени. Прихожу я однажды вечером с работы — на кухне обед меня ждет, ну просто праздничный: беляши, драчёны и даже водка. Наташа вокруг стола хлопочет, а Марфа Николаевна уселась возле окна и вяжет платок. «Эх,— думаю,— теща у меня — дай бог каждому!» Выпил я, а теща этак исподволь начала разговор:

— Денечки-то жаркие стоят, цветень с трав опадает. Теперь ее в самый раз косить: Петров день на носу.

— Как я люблю сенокос! — сказала Наташа, присаживаясь к столу.— Бывало, папка брал отпуск на это время, и мы всей семьей сено косили. Просохнет — сгребаешь его, а оно горячее, душистое, как чай малиновый. А вечером вокруг костра песни петь. Или в копну заберешься спать... Хорошо!

— Вот чего не испытывал,— ответил я.

— А ты испытай, может, и не пожалеешь,— говорит теща.

— На заводском дворе не испытаешь.

— А если отпуск взять? — спрашивает Наташа.

Я рассмеялся:

— Кто же мне его сейчас даст? Я всего без году неделю работаю.

— А ты не по закону положенный отпуск проси,— подсказывает мне Наташа,— а так просто, двухнедельный отгул, без зарплаты.

— А чем питаться, божьей травкой?

— Ну, уж это, соколик, не твоя печаль,— говорит теща,— а мы-то на что?

— Действительно, Женя, бери! — стала упрашивать меня Наташа.— И мы поедем сено косить. У нас есть и ордер на луга.

Она сбегала в соседнюю комнату и положила передо мной розовую бумажку.

— Вот! Оля принесла. Сейчас самое время корм для коровы запасти.

Я все еще не мог понять толком, что к чему, и спросил:

— Да вы это серьезно?

— А что нам шутить! — весело сказала теща.— И дело нужное сделаем, и приятно на лугах-то молодым порезвиться.

— Вот чудаки! Да кто же меня отпустит с завода на сенокос. И как отпрашиваться? Совестно ведь!

— Ах, какой ты непонятливый! — с раздражением сказала Наташа.— Ты и не просись на сенокос. Ты проси отгул по семейным трудностям. Ну, там жена, что ли, заболела или мать. Мы можем достать справку. Или еще какое несчастье выдумай. Мало ли что!

Тут только до меня все дошло: и водка, и беляши, и драчёны. Это я-то, главстаршина минзага, пойду канючить и вилять? Я посмотрел на Наташу как можно серьезнее и сказал внушительно:

— Нет, Наташа, так не пойдет. Ну, сама подумай: такой лоб и просит отгул — теща заболела. Смешно! Врать я не буду. И оставьте эту затею.

— А чем корову кормить? — спросила она.

— Ну, как-то выходили из положения.

— Нанимали косарей в лесхозе,— сказала теща.

— Ладно, я по вечерам буду ездить. Выкошу!

— На чем ты станешь ездить за сорок верст? Будет уж болтать-то.

— Ну, наймите косарей — я оплачу.

— Они просят тысячу рублей. Где ты ее возьмешь? — не сдавалась теща.

— Что вы от меня хотите?

— Подскажи, где выход? Может, корову продать? — спросила теща.

— Ну и продавайте!

— Так, так, умно рассудил,— заговорила теща, растягивая слова и качая головой.— Ну а на что же мы жить будем? Может, на твою зарплату? И оденемся, обуемся на твои гроши?

Надо сказать, что зарабатывал я в первые месяцы что-то около восьмисот рублей. Такой ехидный вопрос тещи застал меня врасплох, и я сказал первое, что пришло в голову:

— Наташа тоже будет работать. Все-таки она десятилетку окончила.

Теща даже вязанье отложила, услыхав такое.

— Хорош муженек,— сказала она с презрением.— Не успел еще и пожить с молодой женой, как на работу ее гонишь. А что она заработает? Каких-нибудь четыре сотни. Да я на молоке да на картошке больше возьму вдвое! Нет уж, пусть лучше дома сидит да мне помогает.

— Ну, а я врать да выкручиваться из-за этой торговли молоком не буду! — сказал я в сердцах, вставая из-за стола.

— Спасибо, зятек, на добром слове! — Теща тоже встала.

— Женя, ты думаешь, что говоришь? — набросилась на меня Наташа.— Зима подходит, а у меня даже шубы нет. Или ты хочешь, чтобы твоя жена в драном пальто ходила?

Я тоже распалился, водка заиграла во мне.

— А ты что хочешь?! — крикнул я, озлясь.— Чтоб я за шубу совесть свою продал!

Наташа вдруг расплакалась, упала мне на грудь и стала просить прощения. Зато теща разгневалась еще пуще.

— Ах, вот оно что! — сказала она, прищуриваясь.— Ну, голубки, милуйтесь как вам вздумается. Но с нынешнего дня садитесь на свой харч и живите как хотите. Вы честные, а мы нет. Гусь свинье не товарищ.

Она не вышла, а выплыла из кухни, даже не обернувшись.

— Пусть, пусть,— всхлипывала Наташа.— Я все равно тебя люблю... Правильно делаешь, так надо.

Потом она вытерла, как маленькая, кулаком слезы и сказала, улыбаясь:

— Похожу и без шубы. Наплевать!

Это была моя первая победа над тещей и над самой Наташей. Да какое там победа! Теща объявила мне открытую войну. Она со мной не здоровалась, не разговаривала; если я заставал ее в кухне, она тотчас уходила. Каждый месяц она высчитывала с меня за молоко и за

картошку. А заработки у меня в это время, как назло, были низкие. Заказы шли разнокалиберные, мелочь всякая, восемьсот рублей было моим пределом. Жить можно, конечно, но не жирно. А Наташе и горюшка мало. Она ничего не просила, но зато как у нее разгорались глаза, когда мы заходили в универмаг в отдел платья или обуви. В такие минуты я про себя клял свою слесарную профессию и завидовал хорошо зарабатывающим токарям. Впору хоть переучиваться.

— Неужели из-за этой вспышки, из-за одного только скандала у вас так надолго разладилось с тещей?— спросил я Силаева.

— Дело не в скандале... Теща поняла, что они сделали ставку не на ту лошадь. Чесноков-то под боком был, повышение получил и все холостым оставался. Соблазн ходил за тещей по пятам и душу ей бередил. Да и не ей одной. А я был самоуверенный и глупый.

Он закурил и задумался, глядя за борт.

— Как это у нас все вразнотык получается?— встряхнулся он и требовательно посмотрел на меня.— Вот в ваших газетах и в книгах пишут, что главное — это успех на производстве. Значит, вкалывай без оглядки — и тебе обеспечен почет.— Он усмехнулся и головой покачал: — Забывают при этом сказать, что к полному счастью еще и приварок нужен. Так что у нас есть почет голый и почет с приварком.

— Что это за приварок?

— Сам, поди, знаешь. У начальства, кроме оклада, всякие привилегии, а у работяг — выгодные заказы, а там ордерок на квартиру, или путевочка на курорт, или товары какие... по твердой цене со скидкой за счет профкома. Ага! Другие не ждут милости божьей и сами себе приварок добывают, вроде моей тещи. А я на голом энтузиазме жил: ну как же! Я — почетный минер и слесарь-наладчик с довоенным стажем.

— И теще надо помогать... Ей же не легко доставались эти молочные рубли,— сказал я.

— Я помогал... И сено копнить ездил. И привез его, переметал на поветь. Дрова доставал, пилил, колол. Помогал... Да хрен ли толку в моей помощи? Я потерял в ее глазах уважение. Плевала она на мой рабочий почет без приварка. А главное — я перебежал дорогу более

выгодному зятю — Чеснокову. Ей-то все равно было — на ком он хотел жениться, на Ольге или на Наташе, но из-за меня не женился ни на той, ни на другой. Вот досада...

8

Мы решили, что Наташа поступит на работу. И вот тут снова выплыл Чесноков. Впрочем, как я потом догадался, он ухаживал за Наташей и после свадьбы. Он стал начальником отдела и теперь часто проезжал на «Победе» мимо нашего дома, заговаривал с тещей, но к нам не заходил.

Однажды иду на работу и вижу, как теща вылезает из его машины возле рынка. О чем-то, думаю, все договариваются. И я узнал об этом вечером.

Принес я в тот вечер аванс, рублей триста пятьдесят, кажется. Наташа быстро пересчитала деньги и сказала, вздохнув:

— Маме надо за молоко заплатить.

Она отошла к окну и задумалась, глядя в сад. Вид у нее был очень грустный. Я подошел к ней, стал гладить ее по волосам и утешать.

— А ты не грусти,— говорю.— Вот в будущем году цех перейдет на новый поточный метод. Буду лучше зарабатывать.

— Глупый, я не об этом,— сказала она ласково.— У нас будет ребенок, я это давно чувствую.

И знаете, служба, во мне аж все зазвенело, как на палубе торпедного катера на полном ходу. Я поднял ее на руки, закружился, но в дверь постучали, и вошла Марфа Николаевна со свертком. Она села возле столика, мы на койке, напротив.

— Кажется, зарплату получили? — спросила теща, глядя на деньги.

— Да, мама, мы тебе должны,— сказала Наташа и, отсчитав, подала матери деньги.

Теща спрятала деньги в карман юбки и сказала:

— А я давеча иду на рынок. Вдруг нагоняет меня на улице в машине... И кто бы вы думали? Да Игорь Чесноков! Уж такой любезный молодой человек. Подвез меня.

— А я сегодня купаться ходила,— невпопад сказала Наташа и покраснела.

Но теща словно не замечала этого.

— А еще он просил меня передать тебе, что место машинистки у него свободное.

Я насторожился, а Наташа отвернулась.

— Меня это не касается,— сказала она.

— Как это не касается! — оживилась теща.— Ведь он же говорил с тобой в саду, ты обещала, а теперь...

Наташа крепится изо всех сил, вот-вот заплачет. Тут я и сорвался. Я понял, что Наташа виделась с Чесноковым, и все во мне закипело. Но ведь вот дело-то какое: злился я не на Наташу, а на тещу.

— Вы зачем пришли, за деньгами?! — крикнул я теще.

— А ты, соколик, не кричи. Тебя здесь никто не боится,— ответила она с вызовом.— Ишь ты какой прыткий! А вот я зачем пришла! — она разворачивает сверток и подает Наташе красивое шелковое платье.— Получай, доча, от меня!

— Ой, мамочка, какая прелесть! — сказала Наташа сквозь слезы, схватила платье, поцеловала мать и уже в дверях крикнула мне: — Я сейчас! Переоденусь только...

Теща встала из-за стола, посмотрела на меня победоносно и изрекла:

— Если сам не можешь покупать жене, так хоть другим не мешай это делать,— и ушла, сильно хлопнув дверью.

Я ударом раскрыл створки окна, стиснул зубы и заметался по комнате как ужаленный. И вот представьте себе: раскрывается дверь и передо мной сияющая счастливая Наташа в красивом новом платье.

— Ну, как, хорошо? Смотри! — И она закружилась передо мною, как волчок. А я ни с места, словно меня кувалдой по голове стукнули.

— Что с тобой? — спросила она вдруг, остановившись.— На тебе лица нет!

Я взял ее за руки, притянул к себе и сказал, глядя в упор в лицо:

— Давай уйдем отсюда, уйдем поскорее...

Видно, у меня был нелепый вид, потому что она испугалась и растерянно спрашивала:

— Что с тобой? Куда уйти? Я тебя не понимаю.

— Уйдем на квартиру, в другое место куда-нибудь, хоть к дьяволу!

Она жалко улыбнулась.

— Что ты, Женя, уйти от матери?! Ведь это же — позор. Нас все знают здесь.

— Пойми ты, я не могу больше здесь жить, не могу.

Она обняла меня и заговорила быстро, таким испуганным тоном, почти шепотом:

— Зачем ты так? Не надо, не надо... Ведь мама для нас старается... Она добрая. Видишь, платье купила! А деньги с нас берет? — так это для нас же...

— Мы ей не нужны,— говорю.— Мы, то есть я и ты вместе, семья наша, не по душе ей. Пойми ты!

А она в слезы:

— Нельзя так о матери говорить. Нельзя злиться друг на друга. Вы меня мучаете. Помирись с матерью! Я тебя умоляю: помирись!

— Ну как я могу помириться с ней, если она и говорить-то со мной не желает? Все с издевкой, с подковыркой, все побольнее задеть меня старается. Я для нее просто бедный родственник, которого терпят из милости.

— А тебе-то что, как на тебя смотрят да как о тебе думают? Лишь бы в лицо не говорили гадостей. Мама всегда вежливо говорит, а ты задираешься.

О бог ты мой! Я и виноватым оказался. Шумели мы, шумели, так и не договорились. Ей все казалось, что я из гордости не хочу уступить матери, а я пытался доказать ей, что не могу лгать и притворяться. Но она не понимала этого, просто не могла понять — отчего это нельзя из уважения к близкому человеку говорить не то, что думаешь. Так и заснула, всхлипывая, как обиженный ребенок.

9

В эту ночь я так и не заснул. Я понял, что жить мне больше так нельзя. Куда же податься? На квартиру? — Наташа не пойдет. Уйти одному — тоже нельзя. Люблю я ее! А там еще и ребенок появится. Разве я их оставлю? Вот тогда я и надумал уехать куда-нибудь подальше.

Но легко сказать: уехать куда подальше. Как уехать? Чего делать? Где пристроиться? На судно податься? Уйти в плаванье матросом? Ну и что? Заработаешь немного денег, но вернешься сюда же. Какой толк?

Помнится, как раз в то время у нас в городе вербовали в лесную промышленность на Дальний Восток. Афишу расклеили. На ней был нарисован маленький

домик в лесу, такой терем-теремок... Между прочим, там говорилось, что рабочим выдается ссуда в пятнадцать тысяч на строительство собственного дома или предоставляется готовая квартира. Выбирай, что лучше.

А я, служба, еще с детства полюбил лес. Дед мой лесником был. Каждое лето я проводил у него на кордоне, возде Оки. И все эдак складывалось одно к одному: днем лесную афишу увидел, вечером с тещей поругался, а ночью деда вспомнил и жизнь на его кордоне. Ну и размечтался...

В летнюю пору мы с ним, бывало, то на волчьи мари ходили, то порубщиков гоняли. В лесу, Енька, и волк, и порубщик — одной веревочкой связаны, говаривал он, одно слово — хищники. Не дать им окорота — без леса и без зверья останемся. А наше дело, говорит, охранять живые твари. У него и дерево вроде живую душу имело. Все, мол, дадено на радость. И лес пилить с умом надо, выбирать то, что созрело, отжило свое да то, что других теснит, росту не дает. Дед у меня был грамотный, книжки любил читать. Лес, говорит, беречь надо, он человеку душу врачует. Не будь леса — озверели бы все да перегрызлись. Ты гляди, что в степи творилось? То печенеги, то половцы, то нагайцы, то татаре. Поедом друг друга ели. Отчего, говорит, ордынцы так лютовали? Оттого, что по голой земле рыскали. И государство ихнее развалилось от этого. А Русь в лесах сохранилась, от лесу и сила у нее. Вот и потянуло меня в лес, в далекую тайгу.

Утром начал я Наташу уговаривать. Чего, мол, дома сидеть! Стал ей описывать красоту таежной жизни: про всякие там утесы говорил ей, про изюбрей, про соболиные шапочки, ну, словом, про все такое заманчивое. И надо сказать, к моему удивлению, она быстро согласилась. Больше всего ей понравился домик в тайге. «Я буду настоящей лесной хозяйкой,— говорила она,— как в сказке!» Да и мне, по правде сказать, немножко по-сказочному представлялось. Я думал, что в таежном краю ценят человека не по шелковым платьям и котиковым шубам.

Вот так я и подался, служба. Да разве один я такой? Сколько их едет сюда, в таежную глухомань, за счастьем! — закончил он, нахмурившись.

Он разлил оставшуюся водку по стаканам, выбросил бутылку за борт и своими дрожащими руками стал отдирать кусочки юколы и складывал их, словно щепки, в кучку.

— Ну, покончим с этим,— сказал он, поднимая стакан.

Мы выпили. Варя собрала хлеб, рыбу, завернула стаканы в тряпки и ушла под тент. Мы снова остались одни.

Ни рассказ, ни выпитая водка не меняли печальной сосредоточенности на его лице, и только по тому, как все суше и резче блестели его глаза, я догадывался о том, что он волнуется. Он пересел с низкого борта прямо на железную палубу и начал рассказывать, уставившись мне в лицо. Признаюсь, что мне было несколько неловко под его тяжелым неподвижным взглядом.

— Вот так я и уехал в Хабаровск. Уехал сначала один.

— Почему же один? — перебил я его с досадой.

Он улыбнулся.

— Я понимаю, что вы имеете в виду,— отвечал он.— Нельзя оставлять Наташу в одном городе вместе с Чесноковым, так? Но, во-первых, она была в положении, во-вторых, я ей верил, а в-третьих, я ведь не простым рабочим в лес решил поехать, а предварительно поучиться на мастера. Мне хотелось доказать и ей, и теще, и себе, что я умею добиваться кое-чего. Да и что греха таить, я надеялся на хорошие заработки. Почти год проучился я и курсы мастеров окончил на «отлично». Да, вот мой аттестат.— Он полез за пазуху, достал аккуратно завернутый в тряпицу аттестат в форме книжицы и протянул его мне: — Посмотрите!

Я раскрыл аттестат и пробежал глазами по довольно длинному столбику отличных оценок. Он снова тщательно обернул аттестат тряпкой и положил его в боковой карман.

— Ну и представьте себе мою радость,— продолжал Силаев,— когда я наконец встречаю на вокзале жену с дочкой. Подошел поезд, и вдруг я вижу ее в окне вагона. Окно открыто, она стоит в нем — ну, как в рамке на портрете. Да такая белая, пополневшая, красивая, что и сказать нельзя. Вместо того чтобы бежать в вагон, я стою и любуюсь ею... Так, в раскрытое окно, она мне и ребенка подала, потом чемодан, который подхватил шофер. Но когда она вышла из вагона, поцеловала меня, взяла под руку и мы пошли через вокзальную площадь, я будто и вовсе с ума сошел от счастья. Иду и улыбаюсь во всю физиономию, как Иван-дурак.

Из леспромхоза мне дали грузовик. Я посадил жену в кабину, сам сел в кузов, и поехали мы прямо в тайгу на участок, километров за двести пятьдесят.

Стоял август месяц. Вы же знаете нашу тайгу. Кому она не понравится! Все в ней так заманчиво, необычно, непонятно... То стелется понизу виноградная завеса, сквозь которую и солнце не пробивается; то вымахнет кедр, которому все деревья кажутся по плечо; то вдруг блеснет сквозь листья, засинеет укромная протока, да так и потянет к себе... И все это шепчется, шумит, пересвистывается. И во всем этом плавает, сквозит синий дремотный воздух. Хорошо!

Мы несколько часов ехали по таежной дороге, часто останавливались, пили родниковую воду с привкусом хвои. Сначала сам попью, на лицо побрызгаю, на голову. Потом Наташу заставляю: «Теперь ты испей. Причастись. Не то лес не примет». И я замечал, что Наташа была очень довольна. Но радовалась она тихо, задумчиво и все улыбалась так мягко, совсем по-новому. «Изменилась она к лучшему»,— думал я и тоже радовался.

Сперва мы заехали в леспромхоз. Контора была в длинном приземистом здании, похожем на барак. Странное дело! Сколько я потом ни ездил по здешним местам — все леспромхозовские поселки на одно лицо: то конторы, похожие на бараки, то бараки, похожие на конторы, щелястые стены, грязные полы, окна без наличников и двери не притворяются. И всюду валяются бочки железные, ломаные стальные рамы, обрывки тросов, старые автомобильные скаты, и лужи, и непролазная грязь посреди улицы.

И бревна везде... И на бревнах возле конторы всегда сидят оборванцы, вроде меня теперешнего, и судачат.

Так и в тот раз. Идем мы с Наташей в контору сквозь строй зевак, а шофер наш поотстал. «Кого это ты привез?» — спрашивают его. «Новенького». И потом ехидный голосок: «Олень идет на солонцы семейством по глупости. А медведь прет в одиночку. Хе-хе!»

Принял нас сам директор. Директор нам показался очень любезным и заботливым. Усадил нас в своем кабинете в кресла, все рассказывал, как он лет двадцать назад работал в этом леспромхозе простым сплавщиком, и все шутил, что, мол, вы через столько лет, пожалуй, трестом будете управлять. Надо сказать, что на бывшего рабочего он мало походил: полный, благообразный, с мягкими, как подушечки, руками, он скорее смахивал на бухгалтера.

— Значит, семьей приехали? — спрашивал он, поти-

рая руки.— Это хорошо. Вам повезло, товарищ Силаев. Я вас направлю на лесопункт Редькина. Это довольно далеко. Но зато там — природа! Загляденье.

— Как с жильем там? — спросил я.

— Все в порядке... Все как полагается. Теперь что? Теперь благодать! Вот мы труднее начинали: палатки — и все. Бараки некогда рубить было — план выполняли. Так что жмите на всю железку! — говорил директор, а сам смотрел куда-то в окно.

— И домик зеленый будет? — весело спросила Наташа.

— Какой хочешь. В любую краску выкрасим.— Директор пожал нам на прощание руки и проводил до крыльца.

Потом между собой мы всю дорогу обсуждали, какой он хороший, обходительный человек.

10

Дальше мы ехали дня два на тракторе, потом по узкоколейке, потом по реке до озера и по озеру и еще по другой реке километров двадцать на моторной лодке. Словом, как на край света на перекладных ездили раньше. Но чем дальше, тем места шли все красивее, и Наташа была даже довольна, что мы едем на самый дальний лесопункт.

Наконец лодка наша приткнулась к берегу под штабелем бревен, вроде того, от которого мы сегодня отчалили.

— Слезай, приехали,— говорит моторист.

Мы вышли на берег. Под бревенчатым штабелем сидел парень в гимнастерке. Он подошел к нам и спросил:

— Вы мастер Силаев?

— Да, я — Силаев,— отвечаю.

— Пойдемте, я вам покажу жилье.

— А начальника лесопункта разве нет? — спросил я.

— Уехал куда-то,— ответил лениво парень.— Вот мне приказал отвести вас в барак.

— То есть как в барак? — удивился я.— Нам квартира положена, домик.

— Сам директор нас заверил,— вмешалась Наташа.

— Может, вас-то и заверили, да мне приказано вас в барак отвести.

— Здесь какое-то недоразумение,— сказал я Наташе.— Ведь вербованным министерство дает ссуду...

— Ну правильно,— усмехнулся парень.— Бери эту ссуду и живи в ней. Ну, пошли, пошли, мне некогда стоять с вами тут!

Он пошел вразвалочку к серому облупленному бараку, а мы двинулись за ним по дощатым хлюпающим мосткам: а по сторонам грязища, бревна валяются и старые какие-то, оголенные и ободранные, пни с обрубленными корнями, словно лесные чудища с растопыренными руками, и дырявые заборчики вдоль огородов. Картина что надо. Во сне приснится — и то испугаешься, подумаешь, что в царство Бабы Яги попал. Это я теперь ко всему привык, а тогда меня покоробило.

И все у меня в памяти встало: и как Наташа в дороге радовалась, и как директор нас обласкал, и я никак не мог уяснить себе, что все это значит? Наташа шла молча и только иногда смотрела на меня так тревожно и растерянно. И дочка плакала...

Вошли в барак, осмотрелись: комнатка маленькая, грязная, шершавый пол из неструганых досок, выбитые стекла, ну и все в таком духе... Сквозь щели дощатой перегородки из соседней комнаты смотрела на нас с любопытством девочка лет шести, дочка кузнеца, вдового. Говорит: «Здравствуйте, тетенька!»

В другой соседней комнате кто-то стучал ведрами, а из третьего или четвертого отсека кто-то кричал: «Да не крути ты головой, сатана, макушку порежу!» Видать, кого-то стригли. Словом, все звуки слышны, как на улице.

Наташа эдак робко спрашивает рабочего:

— И надолго нас сюда?

— А уж этого я не знаю,— отвечает тот.— Мое дело маленькое — привести и показать.— И ушел.

Мне стало так стыдно, будто я обманул в чем, и не мог, понимаете, в глаза ей смотреть. Я начал с фальшивой бодростью насвистывать и разбирать вещи.

— Ну, это ничего для временного жилья,— говорю,— все же лучше, чем в палатке. А щели занавесим.

— Да, конечно,— отвечает Наташа, потом посмотрела на девочку, стоящую за перегородкой, и отошла к окну. А у самой слезы — кап, кап...

— Да ты что? Эх ты, глупая! — утешаю я ее.— Это же — временная трудность. Хочешь — я сегодня все устрою!

— Нет, не надо,— говорит она.— Я же все понимаю. Ты — хороший...— А сама еще сильнее плачет.

И эти слова — «ты хороший», и слезы — меня как ножом по сердцу.

Вышел я, помню, из барака злой и решительный. «Ну,— думаю,— держись, начальник!»

Разыскал контору, вваливаюсь и спрашиваю сердито:

— Кто здесь Редькин?

И встает мне навстречу из-за стола такой маленький, худенький мужичонка и говорит, ухмыляясь:

— Ого, какой сердитый! Новый мастер, если не ошибаюсь? — И так с усмешечкой осмотрел меня.— Ничего,— говорит,— подходящий.

И только потом сказал, что начальник-то и есть он самый.

— Ну, расположились?

— Я приехал не располагаться, как цыган, а жить по-человечески!

А Редькин все так же тихо и насмешливо:

— Живите на здоровье!

Лесорубы, сидевшие в конторе, засмеялись.

Я же долдонил, точно глухарь, про свое:

— А что квартира, достраивается?

Редькин опять хитровато усмехнулся и сказал:

— Скоро начнем сруб рубить.

Тут я уж совсем вышел из терпения и заорал:

— Где же мне зимовать?

А он и ухом не повел, будто не расслышал меня.

— Там,— говорит,— в бараке вас десять семей, за компанию весело будет. Зимой дров не жалейте, лес рядом.

— Меня же директор заверил, что здесь все готово,— не сдавался я.

— У него, мил человек, такая обязанность.

— Но ведь для нас же средства отпущены. Министерство платит! Почему же вы не строите дома?

Но он осадил меня своим тихим насмешливым голоском, да так, что мне стыдно стало:

— А кем строить-то, милый? Ведь у меня каждый рабочий — это плановая единица. Он должен план лесозаготовок выполнять, а не дома для мастеров строить. Ведь если я не выполню плана, с меня штаны снимут, и с тебя за компанию. Понял?

Но я продолжал спорить, скорее из упрямства:

— По-моему, рабочий — не плановая единица, а человек.

Он отмахнулся от меня, как от комара:

— Не надо мне политграмоту читать.— Сморщил свое маленькое лицо и взял меня за пуговицу рубахи.— Я тебе вот что лучше скажу: первую зиму я жил здесь в палатке. И ничего, как видишь. Но я, между прочим, начинал не со строительства дома для себя, а с выполнения плана. Однако я вас не виню: подход к делу бывает разный. Так что сегодня даю вам день на домашнее устройство, а завтра прошу приступить к работе.

11

Крепко он меня осадил. И что мы за народ? Вроде бы и неробкого десятка: случись какое несчастье — или там подраться, или дело какое опасное взять на себя, или воевать, или авария где произойдет — в огонь и в воду ледяную лезем. А за себя же заступиться, права свои отстоять, взять свое, что тебе наркомом положено, как на флоте говорят, вроде бы и стесняемся. Вроде бы нам и неловко чего-то. И стыдно даже. Подсунут тебе голую фразу: твое личное, мол, дороже общественного. Шкурные интересы! И ты сразу скис. Это еще ладно. А то яриться начинаешь на самого же себя. Так и со мной было.

Шел я из конторы и думал: как же это я не заметил, что омещанился! Мне, потомственному рабочему — и начинать разговор не с работы, а с квартиры, с ругани! Уперся я рылом в бытовое корыто, вот в чем суть. А я думал, что тещу победил. Нет, она меня одолела: прилипла ко мне ее расчетливость, как репей, и по миру за мной пошла. И я стал противен самому себе, и мне трудно было заходить домой: что я скажу Наташе? Утешать ее, врать, что все будет хорошо, то есть получим дом, я не мог. Убеждать ее в том, что главное жизнь не в удобстве, а в труде, и все такое прочее?.. Но зачем? Разве она сделала мне хоть один упрек за этот барак? Я вспомнил, как она испуганно и растерянно умолкла, когда рабочий вел нас к бараку. Я видел, как она глотала слезы в комнате и шептала мне: «Ты — хороший», точно извинялась передо мной за свою слабость. Ну что я ей скажу?

Прихожу, а та комната вроде бы уж и не та; теперь она прибрана, и словно все повеселело: на окнах занаве-

сочки, кровать под голубым покрывалом, над кроватью висит картина «Неизвестная» Крамского, из «Огонька» вырезала, и то место в дощатой перегородке, где были большие щели, завешено ковриком.

Наташа возле порога сидит на скамеечке и расчесывает и прихорашивает ту самую девочку, которая смотрела в щель сквозь перегородку. А рядом тазик с водой, где вымыта была эта девочка. И дочка наша спит посреди кровати.

— Молодец,— говорю,— Наталья. Сейчас я кроватку для Люськи смастерю.— А про то, что Редькин сказал, и не заикаюсь. И она молчит. Каждый свое делаем и молчим.

Под вечер уже с улицы донеслось хриплое пение: «Кээк умру я, умру ды пыхаронят меня...» Потом кто-то загрохал сапогами по коридору, и в дверях наших появилась волосатая личность в расстегнутом пиджаке и в замызганной рубахе. Это был наш сосед кузнец Серговамцев. Ухватился руками за косяк и любезно эдак осклабился:

— А, соседушек бог послал! Добро пожаловать к нашему шалашу.

А дочка подбежала к нему и дернула его за полу. Он ажно удивился:

— Дочка! Кто же тебя так убрал-то? — И вроде бы протрезвел в минуту. Присел у порога на пол, стал гладить ее по голове и приговаривать: — Пожалели тебя, значит. Эх ты, моя сирота-сиротинушка! Вы уж извините за беспокойство. Мать схоронили, вот она и прибивается, как ярочка, к чужому табуну.

— А что с ней? — спросила Наташа.

— Аппендицит! Хватились поздно. Везти на операцию, а дороги нет. Пока на этой чертовой волокуше везли — она и скончалась.

Кузнец ушел, а я снова за свои раздумья. Все мои мысли как бы разбились на две группы. Первая кричала: «Ты омещанился! Ты поддался бытовой трудности!» А вторая спрашивала: «А в чем виновата жена? Разве она в этот барак ехала?».

— Но ведь бывают же временные трудности? — перебил я Силаева.

— Вот-вот! — с живостью подхватил он.— Я тогда точно так и думал. Мол, какого черта в самом деле — это

же временная трудность! Очень удобный сучок, за который мы часто хватаемся. Но подо мной он тогда сразу обломился. Для директора леспромхоза и для вас — это все временные трудности. А для кузнеца Сергованцева какие ж это временные, когда из-за них он жену свою похоронил? Дочь его на всю жизнь сиротой осталась!

Он машинально протянул руку к тому месту, где стояла водка и, не найдя ничего, смущенно кашлянул, затем взял папиросу и долго молча курил, опершись подбородком на колени.

— Может, вам не интересно все, что я рассказываю? — спросил он раздумчиво, не глядя на меня.

— Нет, почему же? Рассказывайте, пожалуйста,— попросил я его.

— Ну, хорошо, я постараюсь покороче,— сказал он, поднимая голову.— С этого же дня захандрила моя Наташа. Правда, вечером нас позвали в гости. Пришел тот самый парень, который в барак нас провожал, Елкин по фамилии. Я из-за этого парня потом в скверную историю попал. А в тот вечер приходит он, зовет в гости. Говорит, начальник за вами послал. Нынче получка, план перевыполнили. Прогрессивка! У Ефименко собрались. Без вас, мол, не начнем. И чтоб с женой приходил.

Я смотрю на Наташу, она же только плечами пожимает, и на лице такая обида: сунули, мол, в этот барак, да еще веселись с ними за компанию. Но ответила чинно-благородно: «Спасибо! Но у меня ребенок. Куда я от него?»

А тут опять появился кузнец Сергованцев, видно, слыхал наш разговор: «Познакомиться надо,— говорит.— Да и выпить не грех с дороги-то. Ефименко у нас передовой. А насчет ребеночка не беспокойтесь: Манька возле него посидит. А заплачет — я ему соску дам».

Ну и пошли мы к Ефименко. Дом у него большой, пятистенный, с подворьем, сараем, с тесовыми воротами. У порога встретил нас сам хозяин, такой плотный подвижный мужик, лицо еще свежее, крепкое, а волосы седые. И хозяйка ему под стать: широкоплечая, сильная, а на лице такая тишь да благодать и полная покорность.

— В горенку пожалуйте, в горенку,— приглашали они нас в два голоса.

За нами сунулся было и Елкин. Но хозяин поймал его за шиворот у порога и сказал ему:

— А ты ступай в избу!

И потом жене:

— Настасья, налей ему водки!

А сам с нами вошел в горницу. Там за накрытым столом уже сидели Редькин и хмурый чернявый мужчина лет под сорок. Это был бригадир грузчиков Анисимов.

— Новый мастер! — представил меня Редькин.

Анисимов подал мне руку и усмехнулся:

— А я старый бригадир.— И, эдак хитровато щурясь, спросил Наташу: — Ну как, нравится вам дом-то? — и руками развел.

Наталья впервой за день улыбнулась. Нравится, говорит.

А Редькин уже в рюмки водки налил — и первый тост за хозяина, за его золотые руки. А Ефименко тотчас ответил:

— И за нашу голову. За вас, Николай Митрофаныч! Эх, голова да руки — не помрешь со скуки.

Ну, выпиваем, разговоры ведем, а Редькин все мне Ефименко нахваливает:

— Бригадир у нас что надо: и работает как черт, и жить умеет.

И как бы между прочим Наташу спросил:

— Как наши места, понравились?

— Красиво! — ответила она.— И река волшебная, и лес.

А Редькин засмеялся, подмигивая мне:

— Если смотреть не из окна барака!

А Наталья смутилась и покраснела.

— Ничего, это все временно,— ласково сказал ей Редькин.— Чего-нибудь сообразим. Не то я боюсь вашего супруга. Ух, как он налетел на меня нынче! И вам не бывает с ним страшно?

Она рассмеялась и сказала, что я у нее ручной медведь.

— Да из-за чего беспокоиться? Из-за дома? — спрашивал все, наваливаясь грудью на стол, Ефименко.— Экая невидаль! Вот они — хоромы! — и разводил руками.— Сам срубил. И вам срубим. Уж постараемся для мастера. С нами, брат, не пропадешь.

Ну и все в таком духе разговоры шли. Потом кто-то гармонь принес, я сыграл «Глухой неведомой тайгою». Все дружно пели и меня хвалили: мастер, мол, он и за столом мастер. Что петь, что играть...

Словом, друзьями расстались. И Наташа вроде повеселела. Да недолго была благодать,— как поется в старой песне.

На другой день в конторе лесопункта Редькин по карте показал мне границы моего участка, где лесосеки, где лесной склад, и все такое прочее. И опять напомнил:

— Имей в виду, бригада Ефименко — передовая, вымпел по леспромхозу держит.

— А где живут рабочие? — спросил я.

— У Ефименко в домах, у Анисимова в бараках.

— Почему такая разница?

— Кто как умеет... Вкусы у людей разные,— усмехнулся Редькин и эдак прищуркой, как в первый день, поглядел на меня.

Ладно, думаю про себя, разберемся.

А бригада у Ефименко и в самом деле была передовая, и народ в ней подобрался крепкий, все из «старичков». «Старичками» у нас называли старожилов поселка. И занималась эта бригада валкой леса. Эти вальщики держались годами. Зато грузчики и раскряжевщики сплошь состояли из вербованных, которые работали не больше одного сезона или от силы двух. Помню, мне бросилась в глаза разница между теми и другими. Вальщики имели огороды почти по гектару, луга, скотину. А грузчики жили скопом в бараке. И вот я с горячей головы решил уравнять, так сказать, условия.

12

Пришел я, помню, на лесосеку Ефименко, посмотрел — и ахнул. Повалены деревья как бог на душу положит. Да на выборку, помощнее! Упадет кедр — и десяти ясеням да ильмам макушки посшибает. А потянет его трактор, и словно утюгом весь молодняк под корень сносит. И захламлено все — ноги не протащишь. Здесь, думаю, и за полвека ничего не вырастет. Да что ж это мы, в чужом лесу, что ли, орудуем? Смотрю — нет ни одного вальщика. Только трактора ползают, вытягивают хлысты к лежневке. Подошел я к одному трактористу и кричу: «Где Ефименко?» Тот сплюнул в мою сторону. «Да пропади он пропадом,— отвечает.— Ему лишь бы план выполнить, а после него хоть надорвись тут».

Куда они могли уйти, думаю, может, на лесном складе?

Зашел я сначала в бригадный барак. Ну, брат, обстановочка! Стены дымом прокопчены, в два ряда койки стоят, на которых где постель, а где голый матрац с пиджаком. В конце барака стоял длинный дощатый стол. В одном углу печь с вмазанными в нее двумя котлами для варки пищи, в другом углу чуланчик, в котором, как я потом выяснил, жила Варя. За столом сидел в черной расстегнутой рубахе Анисимов и пил очень крепкий чай, с похмелья. Варя возилась возле котлов.

Поздоровались. Анисимов эдак руками обвел и сказал:

— Это все наше. Жилье.

А я ему со смехом:

— Гостиница «Приют комара».

Он пробурчал:

— Для нас гоже.— Потом подозвал Варю.— Знакомься,— говорит,— это наш завхоз, общий товарищ, так сказать.

Варя поздоровалась со мной за руку, но перед этим так усердно терла о фартук свою ладонь, что Анисимов рассмеялся:

— Кожу не сдери, Варька!

А я спросил:

— Что значит «общий товарищ»?

Варя вдруг покраснела и отвернулась к котлам. Анисимов удивленно пожевал губами и сказал:

— Нас тут мужиков много, а она одна у нас... Ну и, понятное дело, зовем, значит.— Он покосился на Варю, загремевшую ведрами, и добавил: — В общем — это все наше языкоблудство. Так что вы не думайте насчет чего иного.

От Анисимова я узнал, что бригада Ефименко выполнила еще вчера недельную норму, сэкономила два дня и что теперь все вальщики разъехались за сеном по берегам озера.

«Что ж это получается? — думал я.— Одни пятистенные дома отгрохали, коров да свиней разводят, а другие в бараках вповалку спят. Ну нет, так не пойдет...» И такая решительность у меня появилась, такая злость. «Ну,— думаю,— пусть я в бараке зимовать буду, но рабочим выстрою жилье перед носом твоим, товарищ Редькин».

— Женатые есть среди вас? — спрашиваю.

— Есть,— отвечает Анисимов.— Да семьи некуда вызывать — сам видишь.

— А почему не строите свои дома, как у Ефименко? Ссуды всем дают одинаковые.

— А зачем мне этот дом? Ведь поселок-то наш временный.

— Но так тоже нельзя жить, в бараках-то,— сказал я.

Он эдак поморщился:

— Да ты не волнуйся, тебе-то найдется дом.

— Не обо мне речь,— говорю.— Хоть бы общежитие построили. Живете как свиньи.

Тут он совсем ощетинился:

— Ты полегче,— говорит.— Строителей нам не дают, а самим некогда — план выполняем.

А я ему:

— Надо уметь и план выполнять, и жилье строить.

— Экой ты умный парень! — усмехнулся он.— Ну что ж, давай, покажи нам.

Мы пошли на лесной склад. Возле одного штабеля сидели кружком грузчики и раскряжевщики. Рядом стоял кран, возле которого лежал, задрав ноги, крановщик и посвистывал.

Я поздоровался с рабочими. Ответили мне разноголосо, нехотя.

— Что, загораем? — спросил я.

— Да вот собрались купаться,— сострил Елкин,— да не знаем, кого первого в озеро опустить. Может, его, ребята? — Он показал на меня.

Все захохотали.

— Весело у вас,— говорю.— Тоже, видать, как у Ефименко, недельную норму выполнили? Они не работают, и вы тоже.

— Мы-то? — переспросил крановщик, вставая.— Да мы от совести этого Ефименко горим как от керосина. Ты был на лесосеке?

— Был,— говорю.

— Видел, как он там наработал? Мало того что одни кедры валит, да еще внахлест. Оттуда бревна не вытащишь.

— Я-то вижу,— говорю.— Но куда вы смотрите?

— А что нам делать?

— Шуметь! Говорить кому надо. Требовать, чтоб валка велась по правилам.

— Вот мы и говорим,— сказал Анисимов.

— Кому?

— Тебе. Ты же наш мастер.

— И я вам скажу вот что: отныне конец будет этой выборочной рубке,— и пошел.

А за спиной у меня: «Поет он хорошо».— «Видать, из театра?» — «Тенор!» — и опять гогот. Смеяться будем потом, думаю.

Сел я в лесовоз и поехал на озеро, Ефименко искать.

Уже под вечер мне показали его лодку, груженную сеном, по озеру шла. Я лег возле стожка на берегу. Тут у него и огородик был, и сарай, нечто вроде заимки, и все обнесено забором — без шеста не перелезешь. Вот он подогнал лодку, выпрыгнул на берег и крикнул бабе, стоявшей в корме: «Настасья, выгружай!» Я узнал хозяйку. Та стала бросать сено на берег, а он перебрасывал его в копну. Я подошел к нему и опять подивился его крепости: хоть и сед, но здоров, черт! Загорбина-то что у хорошего быка. «Здорово, дорогой!» — это он ко мне и руки развел — прямо обниматься лезет. Артист! Только что ворчал сердито на жену, а тут и улыбка во все лицо, и глазки блестят.

И знаете, кого я вдруг вспомнил? — Тещу! Только у нее так лицо менялось на глазах из аспидного в ангельское. «Ну,— думаю,— такой лаской меня не возьмешь. Я уж знаю, какова она на вкус». А он все суетится.

— Да вы садитесь,— говорит,— вот в копешку, что ли... Ай, может, в сарайчик пройдем, потолкуем? Я уж думал, где вам тут домик сладить...

А я ему в ответ так строго, официально:

— С завтрашнего дня самочинные отгулы отменяются...

— Понятно,— закивал он и губы поджал.— Значит, перевыполнение нормы не в счет?

— Да, не в счет! Вы нарушаете технологию, выборочная рубка запрещена,— говорю.— И потом, придется вам выделить из бригады несколько человек — общежитие строить.

— У моих рабочих есть квартиры,— ответил он угрюмо.

— Зато у грузчиков нет.

— На этих лодырей я работать не буду,— зло сказал он.— И какое мне дело до чужой бригады!

Меня взорвало, и тут я выпалил такую мысль, которая только еще зарождалась в моей голове.

— Запомните,— говорю,— товарищ Ефименко! Через месяц не будет вашей бригады, а будет одна — общая...

Я повернулся и пошел от него прочь.

— Ну, это мы еще посмотрим,— пробурчал он вслед мне.

А мысль у меня была вот какая: создать из трех бригад одну — значит, поставить их под контроль друг другу. Чтобы, к примеру, вальщик знал, что если он навалит деревья как попало — трелевщики и грузчики норму не выполнят, значит, вся бригада прогрессивки не получит... На курсах нас этому учили.

Ну, вы сами понимаете, взбунтовался Ефименко, а грузчики, трелевщики, раскряжевщики — все за меня. Теперь это обычное дело на лесных участках, оно циклом называется. А тогда это еще в диковинку было. И главное — я хотел запретить выборочную рубку леса.

— Да в чем смысл этой рубки? Почему она вредная? — перебил я Силаева.

— Выборочная-то? — переспросил он и глянул на меня с удивлением.— Вот тебе и раз! Что у нас в тайге растет? Кедр, лиственница, ясень, ну и всякое разнолесье: ильм там, пихта... При выборочной рубке кедр и пихту начисто вырезают, ясень и лиственницу оставляют, иное ломают. Подрост губят. Лес не восстанавливается: не растет, а гниет — шурум-бурум получается.

— А почему же не берут ясень и лиственницу?

— Да потому, что они тяжелые, в воде тонут. А вывозить — дороги нет. Не удосужились построить.— Он приостановился и, махнув рукой, словно возражая самому себе, досадливо произнес: — Да не в дороге дело! Лет тридцать назад сплавляли по этим рекам и ясень, и лиственницу — вязали в плоты вперемежку с кедром, и получалось. Лоцмана были по таким делам. И теперь бы наладить можно, да уж пообвыклись. Вот и выходит — в книжке, на курсах, одно, а здесь другое. То, говорят,— правило, а это — жизнь. Здесь план выполняй. Выполнил — герой! И никто с тебя не спросит, во что иной раз обходится этот план? А надо бы спрашивать.

13

Он закурил и с минуту смотрел на меня пристально и сердито. Потом покривился, как от зубной боли, и рукой махнул.

— Все это известные штучки; говорят — работать не

хочешь или не умеешь, а потому, мол, прикидываешься законником. Ефименко после того разговора точно озверел, такое начал творить на лесосеке... Ну не валка, а разбой. Я его остановил, не соблюдаешь, говорю, технологию. Потолще выбираешь? А он мне: «Кубометры!» — «А сколько вокруг деревьев поломаешь? Сколько погубишь кубометров? Это ты считаешь?» А он дурачком прикинулся: «Кого?» — «Ты мне брось это дурацкое «кого»! Хватит за кедрами гоняться! Такую выборочную рубку запрещаю». А он мне: «За простой платить будешь ты». Бензопилу на плечо и пошел в контору...

Ну, а за ним и я подался. Прихожу — они, как два сыча, в углу на табуретках сидят и бубнят потихоньку. Редькин встал и спросил меня:

— В чем дело?

— Мы,— говорю,— не рубим лес, а губим.

— Ты что, с луны свалился? Здесь уже лет двадцать так рубят.

— Я за прошлые годы не отвечаю, а на своем участке лес губить не позволю. Во всех постановлениях выборочная рубка запрещена. Это браконьерство!

— Да ты не шуми, как постовой в мегафон,— он даже ухо, которое ко мне ближе было, прикрыл ладошкой.— Во всех постановлениях положено дороги строить. А у нас они есть?

— Если нет, значит, строить надо.

— Фу-ты ну-ты, лапти гнуты! Да ты кто такой? Управляющий трестом? Министр?! Ты за кого распоряжаешься?

— Только за себя. Есть порядок рубки. Это — закон. Его выполнять надо.

— Закон, говоришь? Ну, хорошо. Садись, потолкуем,— Редькин указал мне на табуретку, сам сел за стол.— Давай о законе. Значит, подрост ломать нельзя, рубить все подряд, потом зачищать деляны и насаждать новый лес. Правильно?

— Правильно.

— Ну, ладно. Начнем рубить все подряд... Лиственницу, ясень, ильмы, бархат молем сплавлять нельзя — тонут. Вывозить — дороги нет. Что делать? Начнем завтра дорогу строить? А кто за нас будет план выполнять?

— Давайте плоты вязать,— говорю.

— А где людей возьмешь? Мало связать плоты, нужны еще плотогоны, лоцмана! Чего молчишь? Лес государству

нужен? Нужен. Так, может, скажем государству: подождите, мол, годик-другой. Вот мы дорогу построим, тогда и лес будет. Так, что ли?

— Нет, не так.

— А-а! Дошло? — Он встал из-за стола, подошел ко мне, глазами так и сверлит и лупит безо всяких стеснений: — Да, мы выбираем только кедры, потому что их можно сплавлять молем. Да, мы заламываем молодняк, оставляем гиблые места. Даже зверь уходит из тайги, потому что кедр уничтожен, этот кормилец тайги. Нерестилища сплавом захламляем. Рыба исчезает. Ты думаешь, об этом никто не догадывается? Думаешь, у меня душа не болит? Я что, деревянный? Или мне сладко кочевать по временным лесопунктам? Или не хочется жить оседлой жизнью, по-человечески? Я не враг ни тебе, ни себе. Но и сообщником в таких делах, о которых хлопочешь ты, сделаться не могу. Мне совесть не позволит. Я знаю — государству нужен лес, нужен не завтра, а сегодня. И мы должны его поставлять любой ценой. У нас нет иного выхода.

— За двадцать лет иного выхода не нашли?

— Не нами заведен был этот порядок. Наше дело — выполнять задание! Нам некогда рассуждать да мечтать о лучших вариациях. Мы исполнители. Есть которые повыше нас. Они понимают лучше нас, они и решают, и отвечают. За все! В том числе и за нас с вами, и за этот лес.

— Интересно,— говорю,— и наш директор такого же мнения?

— А ты сунься к нему со своим разговором.

— Попробуем,— я встал и вышел.

А в прихожей заторкался, ребята стояли... И вот слышу из кабинета голос Ефименко — дверь-то щелястая, филенки тонкие: «Не то чокнутый, не то вредитель». А ему Редькин: «Это фрукт особый. За ним глаз нужен... Не то он все дело погубит».

Тут уж, возле конторы, и народу много собралось: одни посмеиваются, другие вроде бы с советом ко мне: да брось ты с ними канителиться. Плетью обуха не перешибешь. А я уж, как говорится, удила закусил...

— Милый мой, это же называется у нас донкихотством,— сказал я Силаеву с сочувствием.— Неужели вы не понимали, что Америку пытались открыть этим людям?

— Да разве ж в таких случаях спрашивают себя? Тут

прешь очертя голову! Когда у тебя цель впереди и ты знаешь, что это стоящее дело, справедливое, так душа из тебя вон, а добивайся своего. Иначе ты не человек, а скотина рабочая, слюнтяй! Или хуже того — мошенник и лжец. Думаешь одно, а делаешь другое.

Силаев насупился и опять сердито, с вызовом поглядел на меня.

— И вы пошли к директору? — спросил я участливо.

— Ходил. По звериным тропам, через перевал. Ноги в кровь избил за трое суток. Я еще верил, надеялся втолковать ему, что нельзя лес губить, что не одним днем живут люди, что земля-то не чужая — своя! А он смотрел на меня как на тронутого и жалел: «Ну зачем вы так волнуетесь, голубчик? Ведь никто не хвалит выборочную рубку. Но что поделаешь? Временная трудность. Вот станем открывать новые лесопункты, и все сделаем по науке. Поезжайте, голубчик, трудитесь. А мысли ваши ценные учтем. Правильные мысли». Но, правда, разрешил работать в едином комплексе. И на том спасибо...

14

Ввалился домой — Наталья хмурая. На тебя, говорит, смотреть страшно: худой и грязный. Одни глаза блестят. Дак я ж две ночи у костра ночевал в пути, комаров кормил. И тут, в бараке, комары. Аж гудят. Над кроватью полог висит, Наталья укуталась в платок. Вместо того чтобы по тайге шляться, говорит, ты бы лучше стены проконопатил. Комары-то сквозь щели лезут. Ладно, говорю, проконопачу.

Надрал я старого мха и вечером конопачу стены долотом. Вот приходит Анисимов. Сели на бревно, закурили. Сергованцев вышел к нам. Сидим, калякаем то да се. Рассказываю им, как директор утешал меня.

— Ему ветер в спину,— говорит Анисимов.— Живет рядом с райцентром. Едет к нам — командировочные получает. А дорогу построят — еще и леспромхоз сюда переведут. Торчи здесь.

— Опять же процент хороший даем,— заметил Сергованцев.— Премии идут. Дело не пустое.

— А как насчет комплексной бригады? — спросил Анисимов.

— Это разрешил,— говорю,— только просил поосторожнее, не жать сверху на лесорубов.

— А мы собрание проведем,— сказал Анисимов.— Все чин чинарем. Проголосуем. Попробуем перетянуть.

— Чего тут тянуть?— отозвался Сергованцев.— И грузчики, и трелевщики, и те, которые на раскряжевке,— все за. Смотреть будут, следить друг за другом в работе. Копейка всех воедино свяжет. Небось и вальщики не станут баловать.

— Еще бы наладить сплошную рубку — и жить можно,— сказал я.

Тут Анисимов мне подмигнул хитровато.

— Я,— говорит,— посылал одного паренька в Тамбовку. Это село на реке, в сотне километров от нас. Там кержаки живут. Так они согласны плоты вязать. И лоцмана у них есть.

Я аж подпрыгнул на бревне и по коленке его хлопнул.

— Да ты чего ж,— говорю,— молчишь, медведь снулый? Все! Завтра же собираем собрание. Объединим вас в одну бригаду, комплексную. И заработки будут едины. И дело пойдет по-другому.

Наутро уже весь поселок гудел. И вот вызывает меня Редькин и говорит спокойным, насмешливым голоском.

— Слушай, новатор, а ты знаешь, что в четвертом квартале не опытами занимаются, а план выполняют?

А я ему:

— Не знал, что в году есть специальные месяцы для опытов.

Но Редькин пропустил мою шпильку мимо ушей и все так же спокойно изрек:

— Мы должны дать двенадцать тысяч кубов. А третью часть — твоя ма́стерская точка. Понял?

— Ну?

— Вот тебе и ну. На этой сплошной рубке ты дашь четыре тысячи кубов?

— Дам!

— Смелый,— Редькин усмехнулся.— Вы все-таки подумайте, что вас ожидает, если завалите план.

— А я уж подумал.

— Ну, вы человек взрослый,— он снова чуть заметно усмехнулся.— Ваше дело — ваш ответ.

Я понимал, что несдобровать мне, если план не выполню, но и отступить я не мог.

В это время Ефименко подставил мне первую подножку. И ведь как ловко, подлец, использовал Варю!

Помню, решили мы вечером собрание провести, чтобы выбрать бригадира, одного вместо двух, и чтоб плотников выделить на строительство общежитий. Пойду-ка я, думаю, пораньше, с ребятами потолкую. Стемнелось уже, когда я подходил к бараку грузчиков. Вдруг слышу в стороне, в кустах, приглушенный говор. Один голос был Варин, второй тоже вроде бы знакомый, мужской. Варя, видимо, старалась уйти и упрашивала все; мужчина не пускал и приговаривал: «Подумаешь, какая недотрога!» Я уж было пошел своей дорогой, как вдруг Варя зло сказала: «Пусти, хам, кричать буду!» — «А я рот зажму — не крикнешь»,— ответил мужчина. Послышалась возня, Варя коротко крикнула. И я бросился на помощь. В потемках я схватил кого-то за шиворот и рванул так, что пиджак затрещал на нем. Он отлетел от Вари и упал на спину навзничь. И тут я узнал его — это был крановщик Елкин.

Он встал, заложил, как говорится, руки в брюки и уставился на меня нагло.

— Ах, это ма-астер! — прикинулся он удивленным.— Что ж, завидуешь? Видать, своя жена надоела... Решил к нашей общей приспособиться?

— Да это, кажется, новый мастер! — удивленно ахнул сзади меня Ефименко, словно из-под земли вырос.— Что же ты, Елкин, мешаешь людям? — И он многозначительно закашлял и засмеялся.

— Да не разглядел в потемках-то, думал,кто из наших с Варькой возится,— начал выкручиваться Елкин.— А это начальник, оказывается.

И тут вдруг наша тихая Варя подходит к Елкину и — раз его по морде. И так молчком. Тот оторопел, а Варя пошла в барак. Но Ефименко и тут не растерялся.

— Не надо сердиться, бабочка, на правду не сердятся,— сказал он наставительно вслед Варе.

— Вы сначала разберитесь,— сказал я Ефименко.

— Да я что ж? Я молчу. Мое дело маленькое.— Он снова многозначительно покашлял и подмигнул Елкину.

Мне эта комедия надоела, и я пошел в барак. А на собрании я и вовсе забыл про нее. Я не обратил внимания ни на то, как Ефименко перешептывался с

вальщиками, ни на то, как стали ухмыляться, поглядывая исподтишка на меня грузчики. Это все я потом припомнил, день-два спустя. Припомнил и то, как я приглашал Варю. Она спряталась перед собранием в своем чуланчике. А я постучал ей и сказал, чтоб она выходила и тоже присутствовала.

— В президиум ее избрать нужно,— смеясь, предложил Елкин.

— Ага, она будет у нас протокол писать... поварешкой,— сказал Ефименко, и все засмеялись.

Я одернул Ефименко, а Варе указал место за столом, говорю:

— Садитесь сюда.— И тетрадь перед ней положил: — Писать умеете?

Она покраснела и сказала:

— Постараюсь.

— Вот и хорошо. Пишите протокол.

И опять ужимки Ефименко и шепоток по собранию. Кто-то крикнул: «Где начальник лесопункта?» Я сказал, что он занят отчетом и доверил мне провести собрание.

Говорил я немного: что, мол, в комплексе работать сподручнее: и вальщики, и трелевщики, и грузчики — все будут связаны единой прибылью. И на те же работы людей понадобится меньше, а заработки вырастут. Контролировать будем друг друга. Я тут подсчитал, говорю, шесть человек можно выделить на строительство жилья. А с выборочной рубкой кончать надо, не то скачем по тайге, как зайцы, и сами мучаемся, и тайгу портим. «А кто плоты вязать будет?», «А где лоцмана́?» — стали спрашивать меня. Тут встал Анисимов и говорит, что он связался с кержаками. Они помогут и плоты вязать, и лоцманов дадут с весны.

Ну, предложения мои одобрили; грузчики, трактористы, раскряжевщики ликовали: «Даешь комплексную! Прогрессивку — всем!» И даже Ефименко проголосовал за.

— Если,— говорит,— мастер подсчитал, что так выгодней и людей меньше надо, давайте выделим на строительство общежитий. Я трех вальщиков даю.

И снова кричали: «Молодец, Ефименко!»

Мы выбрали бригадиром комплексной бригады Анисимова, назначили шесть плотников и разошлись. «Ну,— думаю,— теперь конец междоусобице».

15

А на следующий день в поселке только и разговору: «Варьку с новым мастером застукали!» Тут я и понял, что попался глупо, как заяц, в петлю Ефименко. Теперь все подробности истории с Варей встали в моих мыслях совсем в ином свете. И я понял, что сам же на собрании помог Ефименко затягивать на себе петлю и что теперь я ничего не смогу сделать в свое оправдание. Я догадался, что все это было подстроено Ефименко, и он, чтобы снять подозрения с себя, вчера при всех поддержал меня. Мне даже и оправдываться нельзя, ведь каждое слово оправдания — это капля масла в огонь сплетни. Мне оставался единственный выход — терпеть и не обращать внимания. Не подумайте, что это легко, особенно когда у вас есть жена, которую вы любите. Я понимал, конечно, что до нее дойдет сплетня, и готовился заранее вынести любой скандал. Но и здесь меня поджидал подвох. Да, служба...

Встречается мне в тот день на лесосеке Редькин, уцепился, как всегда, за пуговицу на моей рубахе, и так это снизу вверх поглядывает на меня своими насмешливыми глазками и с притворным прискорбием спрашивает:

— Как же это вы поступаете так неосторожно? Нехорошо, брат, весь участок ославил.

— Вы это,— говорю,— о выдумке насчет Вари? Пустая болтовня!

Он весь сморщился, как мяч, из которого выпустили воздух.

— Я не утверждаю, но тем не менее вам неприлично оставаться на этой площадке... Ни в пользу лично вам, ни для дела. Я на всякий случай держу для вас место на другой точке, в Озерном.

Ах ты, зараза, думаю! И здесь объегорить хочешь! Но молчу... А только эдак сдержанно говорю ему:

— Благодарю за заботу. Отсюда никуда не уеду.

Ты ж понимаешь, служба, что значило для меня уехать на новую мáстерскую точку? Во-первых, принять на себя позор сплетни, а во-вторых, и это — главное, бросить начатое, обмануть рабочих, поверивших мне; уступить перед той же мерзкой расчетливостью, которая вышибла меня из родного города. Нет, только не это.

Силаев быстро закурил и несколько раз глубоко и жадно затянулся.

— И знаете, что сделал Редькин в тот день? Он встретил мою жену, пригласил ее в моторку и свозил-таки на ту мáстерскую точку в Озерное. Там и домик незанятый оказался. Вот, мол, уговаривайте мужа и переселяйтесь себе на здоровье. Для вас специально постарался.

Прихожу я вечером домой — Наташа будто меня не замечает. Я сразу догадался: ей все известно про Варю. Но виду не подаю.

— Ну и денек был! — говорю.— Осень, а жара — спасу нет.

Она сидит у детской кроватки, качает ее и не оборачивается.

Я подхожу к кроватке, говорю, будто о дочке:

— Сердитая она у нас... Вылитая мать. Вон, во сне и губы надула.

Наташа молчит.

Прохожу к умывальнику, ковшом гремлю, говорю погромче:

— Анисимов у нас прямо академик. Плоты вязать будет, лоцманов нашел.

Она молчит.

— Ты чего такая пасмурная? — спрашиваю.

— Я все жду, когда же ты наконец обратишь и на нас внимание. Или тебе бревна дороже семьи?

— Постой! Вроде бы я все, что могу, делаю для тебя.

— Что ты можешь? Вон Анисимов плоты хочет вязать, и ты уж от радости готов спать на хворосте. Ты уже всем доволен.

— А чего ж мне не быть довольным?

— Конечно! А меня с дочерью тоже, может быть, на хворосте уложишь?

— Ну что ты хочешь от меня? Что я — министр? Ну, нет... Нет здесь дома! Я не вижу возможности.

— Ты не видишь, это верно. Зато чужие люди видят, как я здесь мучаюсь. Лицо вон задубело, смотреть на себя стало страшно. Господи! Так и состаришься в этой конуре.

— Ну, потерпи. Перемаемся как-нибудь. Зато потом будет хорошо. Люди станут жить по-человечески.

— У тебя все потом! Потом я, между прочим, старухой буду. И мне все равно тогда — где и как жить. А сейчас мне надоело мучиться. И если ты этого не замечаешь, так чужие хоть заботятся.

— Кто же это о тебе позаботился?

— И о тебе тоже. Редькин возил меня в Озерное. Место для тебя там готово, и дом очень хороший. Собираемся! И завтра же уедем отсюда.

— Ох, сукин сын! Езуит! Душить за такое надо!

А она с эдакой улыбочкой:

— Спасибо! Так ты людей благодаришь за внимание.

— Какое внимание? Ты просто дура! Он же от меня отделаться хочет. И я поддамся? Да кто я такой?

— Послушай, что о тебе говорят...

— А что говорят?

— Успехом пользуешься среди красавиц барака.

— Да ты что, в самом деле сдурела? Неужто поверила этой сплетне? Пойми, меня ж хотят выжить отсюда. Но я не поддамся! Никакой поклеп меня не выживет отсюда. Мне люди поверили... Так неужели ты хочешь, чтобы я обманул их и бросил?

И она закричала:

— А я жизни хочу нормальной! Это ты понимаешь? — Потом стала упрашивать: — Послушайся меня, Женя. Сейчас же давай соберем вещи и завтра уедем. Слышишь? Я прошу тебя!

— Да ты с ума сошла.

Тут она и взорвалась:

— Не-эт, это ты сумасшедший! Носишься везде со своими обвинениями... Все люди как люди — живут спокойно. А для тебя все не так. Все тебе мешают. Дома мать мешала, здесь Редькин. Везде свои порядки заводить хочешь! Умнее всех хочешь быть? Ты просто эгоист. Ты не любишь меня. А я, как дура, на край света за тобой потащилась. И здесь меня мучаешь... Ну что ж, иди к своей потаскухе! Но запомни, я губить свою молодость не стану. Хватит уж, сыта по горло...

И все в таком духе.

Я хлопнул в сердцах дверью и ушел из дому. Тошно мне стало и обидно. «Неужели, — думаю, — она права — не забочусь я о своей семье? Выходит, что мне Анисимов с Варей дороже Наташи? Но это же чепуха! Чепуха? А почему же я стараюсь для них общежитие построить, а для нее от готового дома отказываюсь? По совести это или не по совести? Но что такое совесть? Для Редькина совесть — выполнить план; для тещи — обеспечить дочь. А для меня что такое совесть?» И я не находил ответа.

Вышел я на берег озера. Ночь была темная. Смотрю — какой-то пень торчит. Вдруг этот пень заговорил голосом Анисимова:

— А, Аника-воин! Садись.

Я сел и заметил, что он выпимши.

— Совестливый, значит? Пожалел нас и получил первую затрещину за это.— Анисимов засмеялся, вынул флягу, отвинтил колпак, налил его и протянул мне: — Пей, я тоже тебя жалею.

Я отказался. Он выпил и подмигнул мне.

— Еще получишь по загривку, не горюй раньше времени.

— Не смеяться надо, а порядок наводить,— ответил я в сердцах.

— Ишь ты! — отозвался он насмешливо.— А чем здесь плохо? Зарабатываем тыщи по две на нос. План выполняем... Почет, брат, и уважение... Пей, гуляй... Чего тебе не хватает?

— У вас же,— говорю,— семья, поди, есть...

Анисимов долго молчал и вдруг заговорил совсем иным тоном, серьезно:

— Некому порядок-то наводить: хозяина нет... До министерства отсюда как до луны, не долетишь.— Он откинулся на траву и потянулся.— Эхма, я вот отбарабаню этот год — и прощай, золотая тайга. И ты удерешь года через два, если не раньше. А Ефименко будет жить.

— Да почему же так получается? — с досадой спросил я его.

— Да потому, что мы рабочие с тобой,— ответил он.— Не можем мы скакать по тайге, как зайцы. Уж лес разрабатывать, так по всем правилам, да на одном месте. А мы что? Тут попилим, там нашвыряем и бежать дальше. Мусорим только, лес портим... И поселок нам нужен, а не такая вот временная дыра... Ведь я бы тоже мог себе такую же избу построить, как Ефименко. А на кой черт она мне? Если участок года через два-три перенесут отсюда. Кто здесь останется? Ефименко да его друзья. Они станут либо охотниками, либо кородерами. И что им лесная промышленность! Они въехали на ее спине в лесное царство. Землицы отхватили, скот поразвели. Приспособились. А мы, брат, не умеем приспосабливаться. Бежим отсюда, или, как говорят в канцелярии, течем. А ведь им, чертям, деньги ежегодно отпускают,

чтобы строить для нас и дома, и все такое прочее. Но им некогда, х-хе! — план выполняют. А мы течем...

— Что же делать? — спрашиваю.

— Переводись-ка,— говорит,— милок, в другой леспромхоз, поближе к железной дороге. Там по-человечески все устроено. Там и с женой можно жить. А тут, в бездорожье, чего ты хочешь? Почта и та раз в неделю ходит...

«Ну, нет,— думаю,— это не выход».

16

После этого вечера мы близко сошлись с Анисимовым, но встречались либо на складской площадке, либо возле озера. В барак я перестал ходить, чтобы не давать повод к сплетням. Мне жалко было Варю. Очень она переживала. Однажды, помню, иду я по берегу и вижу такую картину: Варя взяла на плечо коромысло с ведрами и никак не может подняться по крутой тропинке,— дождь прошел, и земля была влажной, скользкой. Я быстро подошел к ней, снял ведра и вынес их на откос. Варя поблагодарила меня, а у самой слезы на глазах.

— Что вы,— говорю,— Варя, разве так можно? Ведь вы не виноваты!

Она только губу прикусила и пошла быстро-быстро к бараку.

Прошел еще месяц. И представляете, что сделал со мной Редькин? — спросил мой рассказчик.

— В калошу посадил! — с досадой воскликнул я.

— Конечно,— подтвердил Силаев.— И ведь на чем провалил меня, на тонкомере! Тонкомером в лесном деле называются тонкие деревья. Трелевать и раскряжевывать их очень невыгодно: хлыстов получается много, а объем маленький и отходы большие. Редькин с Ефименко и подобрали такую деляну, где было очень много тонкомеру, и пошли валить его сплошняком. Я-то не сообразил по неопытности, чем это грозит для меня, и спохватился лишь в конце месяца. Что ж получилось? По количеству поваленного леса план выполнили, но по товарной продукции крепко завалили. Понимаете, какая хитрая штука этот тонкомер? Вроде бы и настоящий лес, и кубатуру замеряешь на деляне — подходящая. А в дело пустишь — и половины нет. Отходы! Пшик...

Ну и получился, конечно, скандал. Поднялись и Редькин, и Ефименко, и даже директора вызвали. Как же — план завалил Силаев! И приехал директор. Вызвали меня в контору. И руки не подал сам-то. «Садись»,— говорит. Я сел, а он вокруг меня по конторе забегал. Невысокий, кругленький, так катышем и катается. И куда все его благодушие делось? Руки за спину заложил, молчит... И я молчу. Бегал он, бегал и наконец разразился.

— Что ж ты,— говорит,— со мною наделал? План завалил, лучшую бригаду лесорубов разогнал. Манипулятор ты, а не новатор! И на чем, на чем сыграть решил! Лес не так рубим!.. Не по правилам! Портим! Думаешь — ты один такой заботливый? Заметил... А мы все тут слепые? Демагог ты!

Здесь я не выдержал и говорю:

— Сами вы демагог.

Ух, он аж подпрыгнул, как ошпаренный.

— Хорошо,— говорит,— подобные художества тебе даром не пройдут. Запомни, у тебя договор на два года с леспромхозом. А я тебя не отпущу никуда. Мастером не захотел работать — грузчиком будешь!

Я встал и ушел. Иду и думаю: говорить Наташе или нет? Поймет ли она меня? И как она встретит этот новый удар? Но ведь это не скроешь. Да и душу отвести надо. Скажу!

И вот прихожу домой. Наташа показалась мне какой-то натянутой и рассеянной. Стала собирать мне ужин и вместо скатерти платок на стол накрыла. Платок лежал в детской кровати, подняла она его — а под ним письмо. Смотрю я и глазам не верю: письмо адресовано ей от Чеснокова. Я подошел к Наташе, тронул ее за плечо и говорю:

— Сними платок со стола и положи на старое место.

— Ох ты боже мой, совсем из ума выживаю! — сказала она и так суетливо свернула платок и понесла к кроватке.

А я смотрю на нее — что будет? Вот она подошла, заглянула в кроватку, увидела письмо и застыла. А потом тихонько стала раскладывать платок, не оборачиваясь; я только видел, как загорелись у нее щека и ухо. И я ей, понимаете, ничего не сказал. Я ушел в барак к Анисимову и в первый раз в жизни напился до беспамятства.

В бараке тогда никого не было, все ушли в кино. Директор на своем катере привез картину.

Захмелел я так, что за столом и уснул. А потом скверно, так скверно все получилось, что и вспоминать не хочется...

Он поморщился и покачал головой.

— Анисимов ушел, по обыкновению, на озеро. В бараке я один остался. Варя и позаботилась обо мне, взяла да уложила меня в своем чулане. Мол, проспится за вечер... Боялась, как бы директор не наскочил на меня пьяного. Да кто-то из ребят заметил. А потом в кино пустили слух, что мастер в Варькиной постели спит. Варя почуяла недоброе и бежать в барак. А Ефименко того и надо, он с дружками за ней. Варя-то уберечь меня хотела от скандала. Только все получилось еще хуже. Закрыла она свой чулан на замок и говорит этой братии, мол, нет у меня никого, не пущу, да и только... Но куда там! Полон барак нашло народу. Даже жену мою не постеснялись пригласить. Ну и открыли, конечно, чулан-то.

Он сурово свел брови и с минуту молчал, уставившись в палубу.

— Вот и вся история,— сказал он, встряхнувшись.— Проснулся я на следующий день поздно. Мне все рассказал Анисимов. Жену я дома не застал. Она уехала утром на директорском катере. Все в комнате было взбудоражено: валялись на полу газеты, грязное белье, одеяло с койки сорвано. На все я смотрел как-то тупо, равнодушно, еще сердцем не понимал, что она уехала. И только по-настоящему почувствовал всю жуть, когда над неубранной кроватью сквозь появившуюся снова щель в стене увидел дочку кузнеца. Так же, как в день нашего приезда, она смотрела своими черными глазенками и сосала пальчик. У меня будто оборвалось что внутри и стало так пусто и жутко, что захотелось бежать.

Помню, на столе лежала записка, оставленная Наташей. Всего несколько слов, вроде этого: «Прости, я больше не могу. Ты знаешь, к кому я уехала. Не пытайся видеть меня». Ну, и все такое прочее...

И я ушел в тот же день из этого поселка. В конторе был вывешен приказ, уже подписанный директором. Мастера такого-то за моральное разложение, за дезорганизацию производства и дальше в том же духе, за многие грехи, снять и зачислить рабочим того же леспромхоза.

С тех пор и брожу по всем участкам. Сначал пил от обиды и злости, а потом по привычке. Спохватился вот...

Ушла со мной вместе и Варя. Одинокая она, мужа-то

на войне убили. Тоже горемыка — приехала сюда счастья искать. Вот теперь везет меня лечиться. Настойчивая,— произнес он тихо и ласково улыбнулся.— Год уговаривала и добилась своего.

Он придвинулся ближе и заговорил, понизив голос:

— Вы не подумайте, что я оставлю ее в беде. Ни за что! Но ведь вы же видите — она старше меня лет на десять, и понимаете, что это значит для здорового мужика. Другая бы на ее месте жила бы с таким, каков я есть. А эта нет — тянет меня, на ноги поставить хочет. И знаете, что мне говорит? — он перешел почти на шепот: — «Не сердись, дорогой, если выйдешь из больницы здоровым и не найдешь меня: я тебе нужна больному». Вот они, люди-то, какими бывают, служба,— закончил он свой рассказ, встал и пошел к борту, но остановился и с какой-то растерянной улыбкой сказал: — Дочка у меня славная: глаза серые, вострые такие, материнские, а волосенки рыжеватые и кудрявятся... Уже смеялась вовсю.— Он вдруг засмущался и умолк.

Весь остальной путь до самой базы Евгений простоял у борта лицом к тайге, вглядываясь в дальние синие сопки, в бесконечные бурые щетинистые холмы.

17

К базе подходили мы на исходе дня. Огромное медно-красное солнце садилось быстро, словно проваливалось сквозь частую решетку оголенных прибрежных талов. Тонкие черные тени деревьев ложились на холодно блестевшую поверхность реки; на перекатах и бурунах они дрожали, извивались в медной толчее волн и казались живыми, ползущими к тому берегу. Наконец они достали тот берег, сплошь покрыли реку, и от воды резче потянуло свежестью и острым запахом мороза.

На крутом и высоком берегу, к которому мы подходили, виднелись дома, заборы и даже деревянный шатер электростанции с длинной железной трубой. Старшина баржи сам встал у штурвала, и через минуту раздались его сердитые властные окрики: «Эй, на баке, голову убери!», «Кто там на курсе встал?», «Приготовить швартовы!».

Рулевой, невысокий паренек в расстегнутой фуфайке, встал на носу баржи. И когда наша посудина, скрежеща

железным брюхом, поползла на прибрежный песок, он выпрыгнул на берег и привязал баржу на пеньковую веревку за обыкновенный, вбитый в землю кол, как привязывают корову на выгоне. Затем он прислонил маленький трапик к борту, и пассажиры начали расходиться.

Мы распрощались с Силаевым.

— Значит, в город? — спросил я его.

— Да, буду двигаться туда потихоньку.

— Ну, а потом куда, после лечения?

— Туда же, в лес,— ответил он неожиданно твердо.— Слишком дорого он мне обошелся, чтобы так просто расстаться с ним.

Он рывком тиснул мою руку жесткой, как терка, ладонью.

Взбирались они на бугор долго и медленно. Чуть впереди шла маленькая Варя, за ней, сутулясь, Силаев. Походка его была нетвердой, но он упорно взбирался на откос, опираясь на Варино плечо. За спиной его, на палке, болтался серый тряпичный узел.

1956

НАЛЕДЬ

1

Пасмурным майским утром в понедельник шел своим обычным рейсом из Приморска в Тихую Гавань чистенький морской катер, именуемый «трамвайчиком». Его сопровождала крикливая ватага чаек. Несколько молодых людей, стоявших на корме, кидали хлебные крошки и корки бананов; чайки с пронзительным криком суетливо толкались над волнами, шлепались в воду, торопливо заглатывали хлеб и, судорожно махая крыльями, повисали неподвижно в воздухе, словно привязанные на невидимой нитке.

Молодые люди, изловчась, в такие мгновения попадали кусочками бананов в чаек и, довольные, шумно смеялись.

— Ну, не бейте вы чаек! Это же дурная примета...— жалобным голосом упрашивала ребят круглолицая полная девушка в рыжей верблюжьей куртке.

— А ты не хнычь! — обрывала ее причитания подружка в коричневом платье и в синем распахнутом пальто. В этом платьице, в аккуратно заплетенных темных косах, в том, как она держала голову, слегка набок, было что-то ученическое.

Перед ней дурашливо выламывался высокий остроносый парень; он картинно размахивал руками, растопыривал длинные худые пальцы, встряхивал челкой русых волос, спадавшей углом на бровь.

Она плохо слушала его и часто поглядывала через плечо в сторону одиноко стоявшего возле борта рослого плечистого пассажира. Несмотря на свежий ветер, тот был в одной клетчатой рубашке, а легкий пиджак держал в руках.

— Хочешь, познакомлю? — внезапно предложил остроносый парень, перехватив один из ее взглядов и кивая головой в сторону одинокого пассажира.

— Ой, Миша, не дури! — потянулась к нему руками круглолицая.

— Была нужда,— сказала девушка в коричневом платье.— Захотела бы — и сама познакомилась... А тебе это не по зубам.

— Мне?! — протянул вызывающе парень.— Хорошо! — Он застегнул на все пуговицы светлый плащ и двинулся к одинокому пассажиру.

Тот стоял по-прежнему возле самого борта, опустив руки на поручни, и пристально всматривался в лесистые берега, чуть тронутые светлым налетом первой зелени. Широкие черные брови, распластанные в крутом взмахе, шишковатый лоб и густые, вздыбленные щетиной волосы придавали его лицу выражение властное, решительное и почти упрямое.

Парень в светлом плаще подошел к нему, но, посмотрев сбоку на сурово нахмуренное лицо, стал нерешительно переминаться на месте и насвистывать «барыню».

— Невесело,— произнес наконец парень и огорченно вздохнул.

Незнакомец посмотрел на него и вдруг широко и добродушно улыбнулся:

— Трудно знакомиться с мужчинами, правда?

Парень растерянно пожал плечами, но затем тоже рассмеялся и согласился:

— Правда!

— Ветер-то с кормы. Так что теперь я все ваши секреты знаю,— подмигнул ему пассажир в рубашке.— Вы из Тихой Гавани, работаете на стройке? Точно?

— Точно,— подтвердил парень.

Незнакомец протянул руку:

— Меня зовут Сергеем Петровичем, фамилия Воронов. Еду к вам, тоже на стройку.

— Да? — парень радостно потряс руку.— Михаил Забродин, прораб.— Затем он махнул рукой, и с кормы подошли две уже знакомые нам девушки и приземистый скуластый парень.— Вот, разрешите представить вам моих друзей. Все строители. Тоже из Тихой Гавани. В Приморск ездили на выходной.

Девушка в синем пальто назвалась Катей, полная в

желтой кофте — Лизой, парень — Семеном. Воронов разглядывал Катю; у нее были серые глаза, резко очерченные густыми черными ресницами, прямой нос с очень подвижными, открытыми, точно рваными ноздрями. «Такое лицо не забудешь»,— подумалось ему.

— А теперь позвольте заняться вами.— Михаил смешно округлил глаза, выпятил нижнюю челюсть; лицо его приняло выражение важное и строгое.— Вы институт кончали! Ваш аттестатик? — подался он грудью на Воронова.— А? Чего? Диплом? Все равно кладите на стол, мы проверим и окажем вам поддёржку,— он сделал ударение на «ё».

Лиза заливисто захохотала и, вытирая рукой выступившие слезы, сказала Воронову:

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Это он нашего начальника кадров изображает, Михаила Титыча. Ужас как похоже!

— Перестань кривляться,— с раздражением заметила Катя.

— А? Чего? — Михаил встретился с ней взглядом и, решительно повернувшись к Воронову, спросил грозно, басом: — Ваше семейное положение?

Катя насторожилась, искоса глядя на Воронова.

— Да вроде женат,— отвечал с улыбкой Воронов и в свою очередь посмотрел на Катю.

— Очень хорошо! — важно произнес Михаил, оборачиваясь к Кате.

— Паяц! — Катя резко повернулась и пошла прочь.

— Катя, подожди! — крикнула Лиза и побежала за ней вдогонку.

Затем ушел Семен. И, наконец, извинительно разведя руками, удалился и Михаил. Он догнал их у дверей в носовой отсек.

— Пожалуйста... Что и требовалось доказать,— донесся до Воронова голос Михаила.

— Не нужны мне твои доказательства,— сердито отозвалась Катя и прошла в помещение.

Воронов невольно улыбнулся — он оказался свидетелем простодушной хитрости Михаила... Тот устроил целое представление только затем, чтоб разоблачить в глазах Кати своего возможного соперника. Вот, мол, он каков — женатый...

Еще на вокзале, возле причала, Воронов почувствовал на себе пристальный настороженный взгляд Кати.

Он стал неподалеку от ее компании, возле борта, изредка поглядывая на нее, не решаясь подойти познакомиться.

«Экий донжуан неуклюжий! — посмеивался он над собой. — Такую отпугнул... Женатый! Кому нужна здесь анкета? Да еще фальшивая».

Глядя на далекий гористый берег, он продолжал думать о ней, пытаясь отгадывать — кто она? Чем занимается? Есть в ней что-то еще от школярской нетерпимости. Должно быть, из техникума? А может, и по вербовке приехала, из десятилетки... Счастье искать...

Ветер, отбушевавший за ночь, теперь дул ровно, мягко и гнал с моря лохматые тяжелые облака. Они текли навалом, точно овечье стадо, сбивались у прибрежных островерхих сопок. И волны, нагулявшиеся за ночь, шли так же спокойно и лениво: были они крупные, гладкие, а на мягких округлых гребнях тускло и ровно блестели, точно слюдяные. Все в море было солидно, невозмутимо, свежо, как на душе хорошо поработавшего, а потом отдохнувшего человека.

Кроме суетливых чаек Воронов заприметил несколько стаек припоздавшей чернети; но утки, еще издали завидя катер, кучно поднимались, мельтешили над гребнями и западали в волны. Маленькие пегие нырки подпускали катер близко и перед носом его ныряли, прощально махнув желтыми лапками, исчезали совершенно, словно растворялись в воде.

Воронов оглядывал всю эту благодать, вдыхал свежий арбузный запах моря и радовался безотчетно широко, всем существом. Ему приятно было сознавать, что наконец-то он вернется на «большую землю» и заживет жизнью женатого человека. Пора уже, пора. Тридцать пятый пошел...

«Все будет хорошо», — твердил он про себя. На Камчатке кочевал по мелким стройкам, а ей — проектировщику — на них делать было нечего. В Тихой Гавани другое дело — здесь строится целый город. В совнархозе ему сказали, что строительство крупное, многоотраслевое, что его посылают пока на участок, но многие участки в недалеком будущем превратятся в отдельные строительства.

— Так что готовьтесь на большее, — сказал ему начальник управления совнархоза. — Стаж у вас при-

личный. К тому же вы не только производственник, но и проектировщик в прошлом. Для нас это ценно...

Воронов из расспросов успел узнать, что начальник строительства в Тихой Гавани человек опытный, в годах, и оттого, видать, спокойный. Про главного инженера Синельникова говорили разное: одни уверяли, что это инженер с большим размахом и что из него выйдет крупный руководитель, другие отмалчивались, пожимая плечами, или отвечали ничего не значащей фразой: «Поезжайте, сами увидите...»

Тихая Гавань показалась совершенно неожиданно. На траверсе выступающего далеко в море скалистого мыса катер дал гудок — тягучий звук сирены был густой, дребезжащий, словно придавленный низко ползущими серыми облаками. Катер поравнялся с навесной скалой и юрко свернул за нее, как пешеход за угол дома. Затем он обошел огромный камень, отдаленно похожий на силуэт корабля, и оказался в гранитных воротах обширной бухты, по лесистым берегам которой были редко разброcаны аккуратные белые домики, дощатые бараки и строящиеся корпуса с черными глазницами пустых оконных проемов. Из отсеков на палубу вывалила шумная толпа; покрикивая, расталкивая людей, вдоль борта пробегали матросы. Среди пассажиров Воронов вскоре отыскал новых знакомых.

— Подходим! — весело приветствовал его Михаил.— Держитесь с нами. Мы вас живо передадим в руки самому начальнику.

— А где ваши вещички? — спрашивал Семен.

— А вот,— Воронов указал на фибровый чемодан, стоявший возле борта.

— Богато живете,— сказал Михаил, и Воронов заметил, как бросила Катя в сторону Забродина быстрый и сердитый взгляд.

«С характером девочка...» — подумал он.

Катер подходил к единственному в этой обширной бухте причалу, заваленному грудами кирпича, железобетонных плит, стальных балок и ферм. Возле причала тесно, в два ряда, стояли черные неуклюжие баржи с низкими грязными бортами. К одной из этих барж пришвартовался катер; бросили дощатые сходни, и народ повалил на берег.

2

Воронов поселился на время, до получения квартиры, у Михаила Забродина, того самого парня с белесой челкой, с которым познакомился на катере. Жил Михаил в собственном доме вместе с отцом Иваном Спиридоновичем, на отшибе от городских кварталов в маленьком поселке, прозванном Нахаловкой.

Эта Нахаловка разместилась, вопреки всем и всяческим генпланам, поближе к бухте, на жирной пойменной земле вдоль таежной речки Пасмурки. Нахаловку еще называли поселком «индусов»; разумеется, не в честь выходцев из далекой Индии, а оттого, что осели там индивидуальные застройщики.

Откуда они? Из каких концов света? Неведомо. Они приехали без договоров, без путевок, и в то время когда на месте будущих городских улиц еще бились на ветру рыжие полотнища палаток, здесь, в Нахаловке, уже светились солнечной желтизной новенькие стены добротно срубленных домов, а на выгоне паслись на приколах коровы, сушились рыбацкие сети. И с рассветной зорькой раздавалось на всю округу заполошное пенье петухов.

— Когда же вы успели все это построить, отец? — спросил Воронов Ивана Спиридоновича, оглядывая уютный, перегороженный на три части дом Забродиных.— И перегородки, и сени, и веранда!

— Э, милый! Долго ли умеючи сотворить,— говорил старший Забродин, накрывая на стол по случаю гостя.— Я сам и плотник, и штукатур. Михайло иногда помогал!

Тронутый густой проседью, но еще по-молодому синеглазый и рыжеусый, он говорил с чуть заметной иронией:

— Приехал я еще в прошлом годе к сыну. И вот ведут меня в палатку. Сунули топчан: «Располагайся, отец!» Да что я, цыган, что ли? Прости меня господи. Среди лесу да среди камня и жить в палатке! Ну, нет. Пошел в контору, выписал бруса, гвоздей и всякой иной мелочи. Да и ссуду дают каждому. Только стройся. Я и управился без малого за три месяца со своим домом. А на миру можно и быстрее отстроиться. Так что ж это у вас за мода такая заведена на стройках? Заводы всякие строят — и камня и бруса завались. А люди, это строители, стало быть, живут в палатках годами. Срам!

Воронов смущенно кашлянул в кулак.

— Ты ничего не понимаешь, отец,— отозвался из кухни Михаил.— Все это — временные трудности.

— Какие там временные! — возразил Иван Спиридонович.— У нас вон уж третий год в палатках живут. А на другое место переедут — опять палатки. Так и жизнь вся пройдет. А ведь она у меня не временная.

На столе между тем появлялись тарелки с картошкой, с огурцами, с копченой скумбрией. И все это было нарезано крупными кусками, как режут только мужики.

Широкий в кости, сутуловатый и крепкий, весь свилистый, как осокорь, Иван Спиридонович ходил мягкой медвежьей походкой, и голос его, глухой и хрипловатый, звучал мягко, без укора:

— Ну, я понимаю, дом каменный со всякими удобствами не враз построишь. А деревянный-то сколотить для самих себя нешто долго? Так нет, живут в палатках, по-цыгански. Что за корысть? Не понимаю.

Пол-литра водки он разлил по стаканам. Получилось почти по полному.

— Ну, с приездом вас! — чокнулся он с Вороновым, потом с Михаилом и сказал, как бы оправдываясь: — Я меньше ста пятидесяти не принимаю, не то изжога мучает. От малой дозы, должно быть. Значит, начальником над Михаилом будете? — Иван Спиридонович наклонялся к Воронову и весело подмигивал ему.— Хоть бы вы помогли оженить его. Тут девка одна есть добрая... И прыткая, что коза.

— Ладно глупости-то говорить,— Михаил старался держаться степенно, хотя выпитая водка нет-нет да и растягивала губы его в широкой беспричинной улыбке.
— А что! Либо неправду говорю? — подзадоривал его отец.— Нешто плохая девка? Или не нравится?

— Да при чем тут она? Нравится, не нравится!.. Ты бы лучше о деле поговорил,— пытался Михаил отвести отца от этой темы.

— Про дело и говорю. Вон какие хоромы отстроил, а толку-то что.

— Шел бы на стройку работать, вот и толк был бы.

— Эка невидаль твоя стройка! А мне и сторожем на вокзале неплохо. День отстоял — трое суток свободный. Хочу рыбу ловлю, хочу на охоту в тайгу иду. И мясо и рыба не переводятся. А много ли я там на стройке заработаю?

— Не в рыбе суть,— не сдавался Михаил.

Воронов вяло ел, рассеянно слушал Забродиных и чувствовал, как тяжелеют его веки и невольно щурятся глаза. Всю ночь он не спал; корабль в Приморск пришел поздно, в гостиницах мест не было, и он до самого утра бродил по вокзалу.

— Вам поспать с дороги-то нужно, а мы вас, простите, болтовней донимаем.— Иван Спиридонович заметил наконец сонное состояние Воронова.— Проходите в Михайлину комнату и располагайтесь без церемоний.

От койки Воронов отказался; он с трудом снял запыленные сапоги и сладко растянулся во всю длину на кушетке, прикрыв полотенцем лицо. В нахлынувшей дремотной волне ему показалось, что накренилась под ним кушетка и поплыла в размеренной корабельной качке.

Проснулся он от звонкого окрика:

— Есть кто-либо живой в этом доме?

В первое мгновение Воронов подумал, что он и не спал вовсе; но, сдернув с лица полотенце, заметил, что в комнате было сумеречно. За перегородкой кто-то ходил.

— Кто там?—хрипло спросил Воронов, еще толком не понимая, где он сам находится.

В комнату просунулась маленькая рука и решительно отдернула пеструю штору. Потом показалось девичье лицо.

— Простите,— Воронов быстро встал и никак не мог сообразить, где он видел эту, казалось, такую знакомую девушку с серыми глазами.

— Извините за беспокойство, товарищ инженер. Вы что же, за хозяев остались?

В вопросе сквозила явная ирония.

— Одну минутку,— Воронов стал обуваться и вдруг вспомнил, что это же Катя и пришла она, должно быть, к Михаилу.

— Как почивали на новом месте?—звучал ее насмешливый голос из соседней комнаты.

Воронов наконец вышел и столкнулся с ней лицом к лицу; она стояла возле шторы в синем нараспашку пальто, с открытой белой шеей, тоненькая, стройная, игриво поводила плечами и дерзко смотрела ему в глаза. Воронов смутился от этого открытого вызывающего взгляда, невольно посмотрел вниз и увидел черные туфельки, сухие статные лодыжки, сильные икры... и еще больше смутился.

— Что же мы стоим? Может, вы проводите меня? Дорога дальняя, время к ночи идет... А я все-таки девушка.— Катя говорила с легкой улыбкой недоумения.

— Я бы с удовольствием. Но видите, какая история — кроме меня, никого нет в доме. И ни ключей, ни замков...

— Не беспокойтесь. Во дворе старик сети вяжет.

«Значит, она знала, что Михаила нет,— подумал Воронов.— Зачем же она вошла? Странная девица! И удобно ли мне провожать ее? У всех на глазах... но и отказаться нельзя».

— Сейчас! — Воронов снял со стены плащ, перекинул на руку.— Пошли!

С крыльца Катя помахала Ивану Спиридоновичу:

— Дядь Иван! Мише — приветик.

Забродин встал с чурбака, бросил сеть и долго смотрел им вслед, прикрываясь ладонью от закатного солнца. Воронов, не оглядываясь, чувствовал на себе этот пристальный взгляд и шел с таким ощущением, будто его раздели до пояса и льют ему на спину холодную воду.

От Нахаловки на стройку шла извилистая каменистая дорога в ухабах и рытвинах. Но Катя свернула на тропинку в сторону моря.

— Куда же вы? — спросил Воронов.

— Я в город по дороге не хожу: пыльно, а я, видите — в новых туфлях.— Она внезапно рассмеялась.— У вас такой вид, будто вы босиком остались. Пойдемте! Здесь не колется.— Она протянула руку.

Воронов взял ее и крепко пожал:

— Пойдемте!

Тропинка нырнула в густые заросли лещины. Воронов шел впереди, отводя от лица мягкие податливые ветки с молодыми липкими листочками. Пахло нежным с горчинкой запахом распустившихся листьев и парным сыроватым духом раздобревшей весенней земли.

— Вы, должно быть, Михаила искали? — спросил Воронов, стараясь этим разговором смутить свою не в меру смелую спутницу.

— Нет.

— Гм. Хороший он парень.

— Жидковат.

Воронов засмеялся и все с большим любопытством смотрел на Катю.

— Это не беда. Возмужает.

— Не в том смысле. Характером жидок. Клонится,

как березка на ветру... То к Лукашину, то к Синельникову. А может быть, и к вам потянется, если вы окажетесь достаточно устойчивым. Если сами не погнетесь.

— Ого! Что же здесь, погода бурная?

— Всякое бывает.

— Вы говорите так, словно в управлении работаете.

— А я там и работала... старшим нормировщиком.

— А теперь?

— У Михаила сварщицей.

— Отчего же в прорабстве оказались?

— Видите ли, рука у меня слишком тяжелая. Носила я наряды на подпись к главному. И однажды ему захотелось поцеловаться. Ну я и отпечатала ему поцелуи из пяти пальцев на щеке. Пришлось переучиваться на сварщицу.

Они вышли на прибрежный откос, спустились к морю и пошли неторопко по галечной отмели вдоль самого приплеска.

— Откуда вы приехали? — спросил Воронов.

— Из Красноярска, от тетки сбежала.

— А где же родители?

— Мать умерла, отец в войну погиб.

— А что же тетка?

— Добрая душа. Все хотела меня устроить, как она говорит, по торговой части. А мне вот море нравится...— Катя усмехнулась.— Только с берега.

Она вдруг тоненько, заливисто запела:

Волны знают, волны говорят: вернется...

И оборвала песню на высокой ноте:

— Глупо все это. Никто ничего не знает.— Посмотрела на Воронова.— У вас нет одышки?

Воронов оглушительно захохотал:

— Зачем это вам понадобилась одышка?

— Так. Может, придется бежать от вас.

— Ну, брат, от меня не сбежишь.

— Я это и раньше заметила.

— Что?

— Что вы самоуверенный.

— А вы мне нравитесь.

— Целоваться не будете?

Воронов прислонил ладонь к щеке и покачал головой.

— Тогда пойдемте вон за ту скалу. Там бухточка есть маленькая. В ней по вечерам дельфины рыбу ловят.

Вход в бухточку преграждал высокий и острый выступ скалы; черный и гладкий, лоснящийся от воды, гранитный гребень, словно лемех, разваливал набегавшие на него волны. Они сердито шипели, отступая, пузырились крупной рыхлой пеной, таявшей на галечной отмели, и снова набегали, покрывая блестящую гальку, и лезли по черным бокам неподатливого утеса.

— Ого! Тут, брат, не прыгнешь. Давайте перенесу.— Воронов потянулся к Кате; он был в сапогах.

— Посторонитесь! — Катя отвела руку Воронова и отошла на несколько шагов от скалы.

— Раз, два, три...— Она считала волны и отшатывалась при каждом шумном ударе.— Оп-ля! — Катя рванулась по мокрой галечной отмели вслед за отползавшими пенистыми бурунами и в одно мгновенье оказалась за скалой.

Воронов побежал за ней, но следующая волна настигла его на полпути, упруго ударила в ноги, обдавая холодными брызгами. Он зашатался, потеряв равновесие, и еле устоял на ногах.

«Что за глупости я вытворяю! — с досадой подумал Воронов.— Занимаюсь каким-то нелепым ухаживанием... И еще недоставало искупаться...»

Он отряхивал с себя воду и хмуро исподлобья смотрел на смеющуюся Катю.

— О, какой вы сердитый! Идите сюда, здесь сухо.— Она сидела на высокой отмостке из булыжника, выложенной чьей-то заботливой рукой.— Вот сюда! И давайте глядеть на море. Только не говорите. Ничего не говорите...

Воронов зябко передернул плечами, накинул плащ и сел на камень в ногах Кати. Она сидела рядом, обхватив ноги и уткнувшись подбородком в колени, сжалась в комочек и казалась совсем маленькой, худенькой. Но смотрела она строго, сведя брови, и ее большие серые глаза были совсем черными от расширенных зрачков. И нечто властное, повелительное исходило теперь от нее, точно все, что она делала, было очень важным, необходимым; и Воронов подчинился этому и стал смотреть на загустевший в сумеречной хмари горизонт, и оттого казавшийся совсем близким, на темнеющее с каждой минутой море, все выше и выше обманчиво поднимавшееся в тяжелое облачное небо. Где-то у выхода в залив

стоял сторожевой корабль, заметный только по кормовым огням. Вдруг оттуда взметнулась зеленая ракета; она быстро осветила низкие сизые облака и, словно оттолкнувшись от них, долго падала, печально угасая.

Воронов следил за ракетой с каким-то странным чувством; ему показалось на мгновение, что все это он когда-то уже видал: и тусклое холодное море в этом дрожащем изменчивом свете, и далекий расплывчатый кораблик с красными огоньками... И она, сидевшая рядом, тоже была тогда, давным-давно, с ним. И тогда он испытывал такое же томительное чувство светлой и легкой грусти...

Он потянулся к Кате, взял ее руку — прижался к ней щекой. Ее шершавая рука была холодной и вялой. Он прикоснулся к ней губами и начал осыпать легкими поцелуями.

Катя резко отдернула руку и встала.

— Зачем вы это делаете?

— А?! Извините, я пошутил,— Воронов пожал плечами и вдруг понял, что сказал совсем не то.

Катя вскинула голову.

— Спасибо за шутку.

Быстрым упругим поскоком, словно кабарга, она полезла по высоченному глинистому откосу.

— Куда же вы?

Она обернулась и сказала, прищуриваясь:

— Я тоже хочу пошутить.

Воронов кинулся за ней:

— Подождите, Катя!

Он хватался за какие-то кривые корявые ветки кустарников, разбивал сапогами податливые глинистые комья, спотыкался и лез на четвереньках, стараясь догнать ее на откосе. И в тот момент, когда он уже поравнялся с ней и до вершины оставалось всего шагов пять, тонкая черная березка, за которую Воронов ухватился, выдернулась с корнем. Он, широко раскинув руки, опрокинулся на спину и покатился по откосу. Когда он наконец задержался, зацепившись за кустарник, и посмотрел наверх, то увидел на самой вершине утеса смеющуюся Катю.

— Подождите меня!

Она приветливо помахала рукой. Но когда Воронов вылез на откос, ее уже не было. Он пытался кричать — безответно. Несколько минут он простоял неподвижно,

ожидая, что Катя появится откуда-нибудь из-за темной стены кустарника, прислушивался, но ни хруста веток, ни шороха сухой прошлогодней травы — тишина. Лишь тоненько и насмешливо позванивала заряночка, словно дергала балалаечные струны: «Динь-динь, трень-брень набекрень».

— Подходящая шутка,— произнес Воронов вслух и пошел напрямую на эту темную таинственную стену, по-медвежьи подминая хрупкий кустарник, обдававший его горьковатой свежестью.

Плутал он долго и только к полуночи пришел в Нахаловку. Возле забродинской избы он тщательно обтер глинистые следы на плаще, на брюках, на сапогах и после этого постучался в дверь.

3

Через несколько дней Воронов принимал отдельное прорабство Михаила, которое находилось на отшибе, в строящемся рыбном порту. Пока что на месте будущего порта рыбников стояло полдюжины дощатых бараков да возле самой кромки моря маленький слип — несколько рельсовых путей, уходящих под воду, на которых неуклюже громоздились высокие, с двухэтажный дом, деревянные ящики — опалубка под будущие массивы-гиганты.

Бухта была с обрывистыми скалистыми берегами.

— Интересный здесь профиль работ,— говорил Воронову главный инженер Синельников, статный, моложавый, с черными усиками, с карими подвижными глазами.— Пирсы будем строить, да еще из массивов-гигантов, скалу убирать... Подземные склады. Жилищное строительство. Словом, здесь целый участок. Ну как, справитесь?

— Постараюсь.

Воронов жадно оглядывал с пологой лесистой сопки черные угрюмые берега небольшой бухты. К ним вплотную подступала светлая поросль тайги, местами уже порубленной; на этих проплешинах одиноко и удивленно тянули в небо сухие черные шеи башенные краны. А под ними, если приглядеться, полускрытые свежей листвой подлеска, проступали красные остовы будущих зданий. Дальше, туда по горбатым увалам, уходили в густую синюю дымку городские кварталы, оторванные друг от друга, словно залитые этим зеленым половодьем тайги.

Словом, города в обычном понятии здесь еще не было — он пока только проступал, проклевывался из-под земли на огромной площади и назывался в каждом месте по-разному: рыбный порт, судоремонт, рудник, вокзал и т. д.

«Ну что ж, начинать, так уж здесь,— думал Воронов.— Участок здесь будет действительно интересный»

Затем он вместе с главным инженером прошел по всем объектам. Их сопровождал Михаил Забродин и торопливо, потряхивая своей белесой челкой, давал пояснения.

— Первый жилой блок,— остановился он возле строящихся домов, замкнутых в большой четырехугольник.— Квартиры однокомнатные, с отдельным входом. Заселены будут строителями. В центре, во дворе, будут ясли и детсад.

Все вокруг было перекопано, огромные отвалы земли доходили до окон второго этажа; отрытые траншеи под канализацию, под водопровод были завалены битым кирпичом, мусором и осыпавшимся грунтом. Местами через траншеи были проложены мостки, по которым рабочие подвозили к крану кирпич в тачках. Люди ходили резво, весело, и со стороны казалось, что дела идут прилично. Но Воронов смотрел не со стороны. «Черт возьми! — думал он.— Это же надо так обвалить себя со всех сторон землей, что ни подъехать, ни подойти. А ведь в каждом приказе долбят, что коммуникации надо заканчивать вместе с фундаментами, потом уже приступать к кладке стен. На словах одно — на деле другое... Ведь на подготовленном месте и разворот другой. А тут попробуй покрутись...»

— Хоть бы транспортеры установили,— сказал Воронов Михаилу с плохо скрытым раздражением.— Чего людей зря гонять с этими тачками?

— Нет транспортеров,— развел руками Михаил.

— Как нет? — Воронов недоуменно смотрел то на Забродина, то на Синельникова. Еще сегодня утром он был на складах и собственными глазами видел целую шеренгу новеньких транспортеров, стоящих во дворе под надежной складской смазкой.— А там, на складе, не годятся, что ли?

— Там годные,— сказал Михаил.— Но это резерв.

— Чей?

— Главного инженера,— ответил Синельников, беря Воронова под руку.— Скоро бетон пойдет в доке. Вот и

берегу для этого. Раздай по участкам — потом соберешь поломанные. А рисковать перед бетоном не имею права.

Затем они спустились вниз, туда, где о береговую кромку сутолочно бились волны. Здесь, на рельсовых путях, на низких тележках стояли высоченные ящики — опалубка под будущие массивы-гиганты. Их было восемь штук. По узенькой шаткой стремянке все трое поднялись на один из гигантских ящиков. Внутри ящика, в частых переплетах арматурных сеток, лазали монтажники, вязали проволокой стальные прутья. В двух местах вспыхивали округлые языки сварочного пламени, при солнечном свете они казались осколками синеватых стекол. Ближняя сварщица в синем комбинезончике, сидевшая прямо на арматурных прутьях, откинула защитный козырек, и Воронов узнал Катю. Он приветливо кивнул ей. Катя внезапно, словно не по своей воле, улыбнулась и быстро натянула на лицо козырек, точно хотела скрыть эту непрошеную улыбку.

— Вот из каких красавцев пирсы-то будем строить,— окидывая взглядом огромные ящики, говорил Синельников.— Это же настоящие корабли из железобетона!

Главный инженер гордился массивами-гигантами, потому что они были его детищем. Проекты на них до сих пор не прислали из Ленинграда, поэтому Синельников запросил разрешение в совнархозе и спроектировал сам за несколько бессонных ночей.

Воронов слышал это и теперь придирчиво осматривал опалубку, поглядывая изредка на уверенное, решительное лицо Синельникова. Массивы ему нравились.

Однако на скальных выработках они снова сцепились. В неглубоком скальном забое только что подорвали очередной отвал, и теперь камень лежал грудой, завалив все подходы. Здесь же, возле бурового станка, возился уже знакомый Воронову Семен; его скуластое лицо было потным и злым.

— Разве это забурники? — спрашивал он, сердито перебирая кучу стальных стержней.— Это стамески, а не забурники! Два раза повернешь — и выбрасывай.

Но Воронова удивили не столько забурники — тут заводской брак,— сколько разборка и отвозка подорванного камня: и здесь разбирали вручную, а отвозили теми же тачками.

— Неужели экскаватор нельзя поставить? — спросил Воронов с заметным оттенком горечи.

Михаил молчал, поглядывая на главного инженера. Воронов понял, что это разговор уже не новый, и ждал теперь ответа не от Михаила, а от Синельникова.

— Я не против экскаватора,— ответил главный инженер,— но на этом карьере его можно использовать часа четыре в смену. А остальное время что он будет делать?

— Подумать надо,— сказал, насупившись, Воронов.

— Подумайте,— обронил главный инженер.

И Воронов уловил иронию.

— Заботиться прежде всего следует о том, чтобы избавиться от этих тачек,— ответил Воронов запальчиво.

— А коэффициент использования техники? Кто будет об этом заботиться?

— Это все для бумажной отчетности...

— Простите, что именно — «это»? Простои вы считаете бумажной отчетностью? Но за простои платить надо? За чей счет?

— А на чей счет запишем эту ручную маету?

— Так вы теперь хозяин, вы и решайте,— учтиво улыбнулся Синельников.

В последнюю очередь осматривали жилье: несколько дощатых бараков и оставшийся еще с зимы палаточный лагерь. Палатки были высокие, длинные, пожелтевшие от дождей и солнца и чем-то напоминали соломенные скирды. В каждой такой палатке тесно стояло на дощатом полу четырнадцать коек, а проход почти полностью занимали две громоздкие печи да длинный стол, похожий на топчан. В палатке было чисто и душно от нагретого солнцем полотна.

— Холостые в палатках живут? — спросил Воронов.

— В основном да, но есть и семейные,— ответил Михаил.

— Да, временные трудности,— озабоченно сказал Синельников.

— Ох уж эти временные трудности! — заметил Воронов.— Иногда они очень затягиваются.

— А что же вы хотели? Людей, которые строят город, сразу поселить в новые дома? Кто же для них должен построить эти дома? — спрашивал Синельников, и в его голосе опять послышалась ирония.

Воронов вспомнил, как вчера, знакомясь с титульными списками управления, всюду встречал одну и ту же картину — планы в целом выполнялись, а строительство жилья отставало. Перекрывалось это отставание за счет

производственных объектов. «Легче уложить лишний кубометр бетона в док, чем возиться с отделкой домов,— думал Воронов.— Легче и спокойнее. А то, что люди живут в палатках, так это временные трудности!..»

И он сказал как бы между прочим:

— Так-то оно так... Но вот эти дома... Когда их должны построить?

— Еще в первом квартале сдать должны,— торопливо ответил Михаил.

— Что вы говорите? — удивленно воскликнул Воронов.— Вот ведь они какие, эти временные трудности...

— Людей у нас не хватает,— вяло ответил Синельников.— Вы же понимаете, что жилье требует большего количества людей, чем, допустим, бетон...

— Еще бы!

— То-то и оно... А впрочем, вы теперь командуете здесь, вам и карты в руки. Покажите, как надо избавляться от этих временных трудностей.

Синельников коротко попрощался и прошел к своему «газику». Шофера у него не было, он водил машину сам. Через минуту его «газик», оставляя рыжие клубы пыли, катил по разбитой грузовиками дороге.

Не понравился ему этот новый инженер. «Тоже мне ревизор...— думал он про Воронова.— Все с подвохом норовит. И, кажется, склонный к демагогии...»

Синельников в общем был доволен тем, что ему быстро удалось отделаться от Воронова. Вчера всю ночь главный инженер кутил с друзьями, а теперь у него трещала голова. Ему хотелось бы свернуть домой и поспать немного, но он опасался, что начальник ждет его специально и хочет проверить: когда уходит главный инженер на обед. А потом при случае напомнит ему: «Мы должны уходить с работы последними. Мы — руководители. За нами смотрят, равняются по нас...»

Синельников быстро гнал машину по красновато-желтой пыльной дороге с шершавым щебеночным покрытием к центру города, как условно назывался в Тихой Гавани район Управления. Здесь, среди двухэтажных домов на увалистой, точно спиленной сопке красовалось трехэтажное белое здание с тяжелым фронтоном. Оно строилось под трест, и теперь его просторные кабинеты, кроме Управления, занимал Дом техники, а на первом этаже расселились еще и монтажники.

Синельников быстро поднялся к себе на второй этаж.

Его кабинет находился рядом с кабинетом начальника, а промежуточную комнату, как и обычно, занимала секретарша. Она встретила его приветливой улыбкой, кокетливо откинув голову и подставляя щеку для поцелуя.

— Что за глупости, Неля! — строго сказал Синельников.

— Да никого нет.

— Черт знает что! — недовольно проворчал он и торопливо поцеловал ее в щеку.

Это была совсем еще юная девушка с копной коротко остриженных черных волос, тонкошеяя и оттого похожая на черную хохлатую птицу. Она приехала сюда два года назад по комсомольской путевке, перебрала несколько профессий, пока Синельников не приютил ее у себя.

— Где Лукашин?

— Только что ушел на обед.

— Пешком?

— Разумеется.

— Моционит... Успею догнать?

— Конечно.

— Ну пока! Ступай обедать, Неля,— бросил на ходу Синельников.

Начальника догнал он на просеке, проложенной под высоковольтную линию. Лукашин стоял на тропинке возле стальной опоры и, прикрываясь рукой, смотрел наверх — там сидел, нахохлившись, ястреб возле свитого на самой макушке гнезда.

— Неплохо приспособился, а, деятель?! — заметил он, радостно щурясь.— Умнейшая тварь.

Лукашин любил прогулки — его сухое, серого цвета, словно пропыленное цементной пылью лицо выражало постное благодушие.

— А может быть, он подстерегает владельца этого гнезда? Кто знает,— поддержал разговор Синельников.

— Отвез новичка?

— Ознакомил.

— Ну, какое впечатление?

— Да не поймешь его: на вид — битюг здоровый, а ломается, как разборчивая барышня,— то ему не по душе, это не по сердцу!

Лукашин безмятежно улыбнулся.

— Да, на вид он ничего парень. Что ж, поживем — увидим.

4

Надежды Воронова на семейную жизнь не оправдались. Его невеста, или полужена, как он говорил, ответила, что приехать не сможет — очень занята...

И теперь он помимо воли своей в часы тягостного вечернего одиночества думал о ней, об их встречах, о прошлой ленинградской жизни.

Его поездку на Камчатку некоторые из друзей, и особенно она, назвали в свое время бегством сумасшедшего. В самом деле, доказывали они, уезжать из Ленинграда, из проектного института к черту на кулички рядовым производственником — дело совсем неразумное. К тому же Воронов занимался по вечерам в консерватории, и друзья видели в нем будущую музыкальную знаменитость. А она именовала его «мой композитор», и то, что это произносилось сперва в шутку, а потом вполне серьезно, было естественным. Воронов и не оспаривал их, он потихоньку от друзей завербовался на Камчатку и покончил с этой «музыкальной комедией», как он сам говаривал...

Воронов вспомнил тот летний день, когда он в расшитой рубашке с закатанными рукавами зашел в последний раз в проектный институт. За одним из столов с ним по соседству сидела она, Марина.

— Пошли,— поманил он ее.

— Куда ты меня ведешь? — спросила она в коридоре.— Что-нибудь случилось?

— Потом, потом скажу.

И только на улице, когда она отказалась идти дальше, он показал ей направление и билеты.

— Ты что, с ума сошел? — Она растерянно смотрела на него.— А как же я?

— Ты? — он в недоумении пожал плечами. — Если захочешь, то приедешь.

— Ты в самом деле уезжаешь? — спрашивала она с испугом.— Послушай. Сейчас же иди и сдай билеты.

— Марина, это невозможно...

— Как невозможно?! Что ты говоришь? А я для тебя ничего не значу?

Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала по-детски навзрыд. Он не ожидал такого исхода и растерялся. Женатыми они не были. И пожениться не собирались. По крайней мере в ближайшее время. «Не к чему нищету

разводить»,— думал Воронов. И в самом деле — получал он всего тысячу двести рублей, жил в каком-то чулане. Видов на прибавку и на квартиру — никаких. Идти в зятья, в директорскую квартиру папы, не хотел, гордость не позволяла... Так они и жили недолгими встречами наедине да надеждами. И вдруг эти слезы при расставании!..

— Ну ничего, ничего,— он неуклюже утешал ее.— Пока поживешь здесь... А там видно будет, захочешь — приедешь.

— Поживешь, приедешь...— говорила она, вытирая слезы.— Как все просто! И он все уже решил за меня.

— Да ведь я один уезжаю.

— Боже мой! А я тебе просто знакомая? Да?

— Ну, виноват... Извини.

— Так почему же ты не посоветовался со мной?

— Я знал, что ты будешь против,— простодушно ответил он.

— И это говорит человек, с которым столько пережито!.. А до него ничего не доходит. Спокоен, как деревянный истукан.

— Успокойся, успокойся,— он попытался обнять ее за плечи.

— Не трогай меня!

— Ну, хорошо, хорошо...

— Чего же хорошего?! — она обернулась к нему, тревожно смотрела в глаза.— Да что с тобой случилось? Какая тебя муха укусила? Зачем тебе нужна эта поездка?

Зачем? Что он мог ей сказать?

— Ты словно бежишь от чего-то? Может быть, от меня?

— Мариша! — он взял ее руку.— Я не могу тебе ответить так просто... Я еще сам многого не понимаю. Но ты здесь ни при чем. Тебя я люблю по-прежнему. Только не по себе мне как-то здесь. Будто я на чужом месте сижу и не своим делом занимаюсь.

— Почему не своим? Может быть, ты имеешь в виду консерваторию?

— Я — инженер, друг мой, и пора с этой художественной самодеятельностью кончать.

— Ну бог с ней, с музыкой! Но ведь ты проектировщик! Чего тебе здесь недостает?

— Какой я проектировщик! Я негр. И с меня хватит.

— А там тебе что, златые горы приготовлены?

— Мне уже тридцать лет... Я хочу жизни... Или по крайней мере настоящей работы.

— Пойми, Сережа, нам нельзя расставаться.

— Хочешь — я вызову тебя.

— И я стану домашней хозяйкой. Спасибо!

— Что-нибудь придумаем и для тебя.

— Сергей, не уезжай!..

Как давно это было! Казалось, не два года прошло с той поры, а целые десятилетия... Жизнь на пустынных морских отмелях, в глухих камчатских поселках, в заснеженных зимовьях. И все один, один... На Камчатку он не вызывал ее: боялся, что не приедет. Вот теперь позвал...

И все-таки он твердо знал, что поступил тогда правильно. Попав сразу по окончании института в проектный отдел, он смутно чувствовал какую-то скованность, неловкость, будто на него силком натянули тесный костюм и посадили в приличную незнакомую компанию. Его, деревенского парня, ширококостного, буйного, не могли приковать к месту расчетные нормативы, чертежная доска и справочники. Он потянулся к музыке — вспомнил увлечения детства: виртуозную игру на балалайке, гитаре... И даже духовой оркестр! На чем он только не играл. А потом и сочинять пробовал — песни, вальсы... Но суть оставалась все той же: полуголодная жизнь в чулане и все те же расчеты опорных узлов, подкосов, стоек...

Друзья коллекционируют марки, книги, значки и наклейки со спичечных коробок, мечтают о диссертациях и туристических походах, пьют по вечерам кофе с ликером. Воронов знал и чувствовал, что где-то рядом, как за стенкой, ворочается, шумно дышит, точно бык, другая — сложная и трудная жизнь с месивом и грязью, с нуждой и заботами. Живешь как в затоне, думалось иногда, и грызла душу растущая тревога. Так прошло четыре с лишним года. И наконец он решился.

Почему же в Сибирь, на Камчатку? Почему? Да разве так просто ответишь! Может быть, потому, что трудно начинать вторично с азов там, где неудачно сложилась твоя первая работа? А может быть, оттого, что его деревенскую натуру тянула из города та любовь к вольготной жизни на диких просторах, которая вековым корневищем проросла в душе русского мужика?

Он только знал, что его не тронула зависть к успехам

товарищей. Не был он захвачен и этой газетной романтикой. Не подвига в борьбе со стихией искал он. Ему просто нужно было такое дело, чтобы совесть заглушить. Но разве там, в институте, не было дела? Было. Но не его, не его... Это он точно теперь знает. Каждый человек рождается для своего дела. Дело — это как жена. Много женщин на свете, но ты ищешь свою, единственную. Бывает, увлекаешься. Но все не то. Настоящая жена всегда только одна. Найдет ли он ее?..

Воронову неловко было стеснять Забродиных, да и скучно по вечерам торчать в Нахаловке. Он встретил как-то своего камчатского приятеля инженер-капитана Юрия Полякова, по прозвищу Юпо. Тот вечно участвовал во всяких комиссиях и постоянно принимал от Воронова построенные морские объекты.

— Душа моя! Какими судьбами? Где остановился? — засыпал Юпо вопросами Воронова.— Ну как, женился? Не приехала? Тогда переселяйся к нам, на «Монблан». У нас — общество...

«Монбланом» в Тихой Гавани назывался гарнизонный поселок — несколько двухэтажных домов, ютившихся по склону Вороньей сопки. Дома деревянные, грязные, с длинными коридорами, с косыми дверями и дырявыми дощатыми перегородками. Это были обыкновенные бараки, построенные каким-то рыболовецким трестом для вербованных рыбаков. Но один чудак завербовал в Молдавии три цыганских табора. Кочевать цыганам запретили. И не все ли равно куда было им ехать. Идти в море, ловить рыбу они наотрез отказались. «Мы ее туда не пускали, начальник...» А недели через две переселились в Приморск. Опустевшие бараки самовольно захватили офицеры и сверхсрочники...

Воронов с радостью переехал к Юпо и по вечерам пропадал теперь в бильярдной Дома офицеров.

Однажды он встретил там Синельникова.

— Хочешь с ним сыграть? — шепнул Юпо Воронову, кивая в сторону Синельникова.— Вот соперничек... Пантера, тигра!..

— Не хочу.

— Почему?

— Не нравится он мне.

— Глупости! Он отличный мужик,— сказал Юпо.— Я вас сведу сейчас.

У Синельникова как раз окончилась партия.

Юпо быстро подошел к молоденькому лейтенанту в артиллерийских погонах и что-то шепнул ему на ухо.

— Чья очередь? — спросил Синельников.

— Я свою уступаю,— сказал, краснея, лейтенант.

— Очередь моя... Но я передаю кий лучшему игроку,— Юпо демонстративно отдал кий Воронову и крикнул маркеру: — Папаша, открывай новый сеанс! Шарики запасные сюда! Новенькие!

Подошел маркер, молчаливый, горбатый старик, прозванный Квазимодой, и вывалил на стол из мешка все шары разом, словно картошку. Шары и в самом деле оказались новыми, без единой выбоинки. Юпо поставил их треугольником и подозрительно повел горбатым носом.

— Братцы, жареным пахнет. Кажется, кто-то горит. Это не ты, случаем, Петя?

— Цыплят по осени считают,— ответил Синельников и разбил шары.

Игра началась. Воронов ходил вокруг стола молчаливый и сосредоточенный. Он подолгу приглядывался к шарам, потом как-то внезапно сгибался и мгновенно бил, выбирая только крупные очки, на мелочь совершенно не обращая внимания. Удары его были резкие, сильные, красивые. Во всей игре чувствовался особый шик уверенного в себе и щедрого игрока. Он совершенно не интересовался битой, или, как говорят бильярдисты — «своим» шаром. И в этом был тоже шик. Играть с ним было легко. Синельников подбирал его небрежности и держался по счету вровень. Этот Воронов сегодня нравился ему, и, против обыкновения, за игрой он изредка перекидывался с ним фразами.

— Все в Нахаловке обитаете?

— На днях переехал.

— Где поселились?

— Пока на «Монблане».

— Значит, в гору пошли.

— Повезло.

— А какие у нас охотничьи угодья! — сказал Юпо.

— Это не по моей части,— ответил Воронов.

— А рыбалка?

— Не интересуюсь.

— Петр Ермолаевич, в таком случае покажите ему сикамбриоз.

Все засмеялись.

Это слово на языке Юпо означало — крышка.

Счет у Воронова перевалил за шестьдесят. На столе осталось всего два шара. И тут Синельников применил жесткую тактику — он стал придерживать свой шар у торцовых бортов. Это он умел делать отменно. Дело в том, что с торцов бильярдный стол подходил близко к стенам, и поэтому с торца приходилось играть коротким кием. Для Воронова это было неожиданностью; коротким кием он бил плохо, начал нервничать и проиграл.

— Еще одну партию? — спросил Синельников.

— Нет,— отозвался Воронов.— Удар потерял. Утомился, должно быть.

Они втроем вышли из бильярдной.

— Что бы нам этакое сотворить, друзья мои? — сказал Юпо.

— Может, выпьем ради знакомства? — предложил Синельников.— У меня здесь машина. Заедем ко мне, посидим.

— Идея! — сказал Юпо.— А там видно будет.

— Я не против,— согласился Воронов.

— Пошли.

Возле Дома офицеров стоял «газик» Синельникова. Они сели в машину.

— В магазин завернем,— бросил через плечо Синельников.

— Как будем пить? — спросил Юпо.— Может, малую шведскую эстафету осилим?

— Ну тебя к аллаху с твоими эстафетами,— сказал Синельников.

— Мельчает народ,— мрачно изрек Юпо.— Раньше мы уж если сходились, так минимум брали большую шведскую. А малую шведскую всякий начинающий сопляк пил.

— А что это такое? — спросил Воронов.

— Слышал, Петя? Он спрашивает! Вот что значит гражданка — непросвещенный народ.— И, обернувшись к Воронову, Юпо пояснил: — Очень просто, малая шведская эстафета значит — три по двести. По стакану.

— А большая?

— А большая — три по триста.

В магазине взяли три бутылки коньяку, или, как выразился Юпо,— три банки. В дороге он предавался счастливым воспоминаниям.

— Н-да, было время... Понимали, что мальчикам повеселиться надо. Рестораны до четырех часов утра открыты... Бывало, придешь после культпохода: «Лялечка, три по три!» И несет она, моя милая, на подносике три пол-литра водочки и три огурца. Шик!

— Чему ты радуешься! — перебил его Воронов.— Тут плакать надо, а не радоваться. Все эти забавы от скуки нашей, а главное — от бедности. Кутеж с огурцом и водкой для нас уже событие. Высшую математику изучили и технику знаем, а вот по-человечески даже пить не умеем.

— Ого, да ты из современных! — воскликнул Юпо.— Эх, вы, бдительные. Что вы понимаете? Раньше мы в столовой коньяк распивали, и служба шла. А теперь в проходной обнюхивают тебя, как бобика: не пахнет ли спиртным? И чуть что, трах — и за борт. Каких людей посписывали с флота!

Синельников занимал половину небольшого коттеджа, обнесенного высокой оградой. В трех маленьких комнатах было тепло и уютно; на стенах висели рога сохатого, изюбря, косули, совиные чучела. Возле дивана и кровати валялись медвежьи шкуры; над кроватью висели ружья, охотничьи ножи и кортик.

Разглядывая все эти богатства, Юпо каждый раз говорил одно и то же:

— Живут же люди! Прямо черный барон этот Синельников.

На Воронова охотничье оружие и трофеи не произвели никакого впечатления, и он молча сидел на диване. Синельников возился над банками крабов и скумбрии.

— Петя, а чего бы тебе не жениться? Имея твои хоромы, можно такую птичку певчую отхватить! Прямо московскую канареечку.

— Птички хороши те, что на воле порхают. А канарейки, мой милый, нравятся тогда, когда они в чужих клетках. Своя быстро надоедает. Знаю по личному опыту. Я еще не настолько стар, чтобы довольствоваться одной и той же клеточной канарейкой. Кстати, а почему ты без своей канарейки?

— Пока обхожусь ширпотребовской... И потом, у меня есть невеста... Ребенок! Да. С первого курса... И представь — письма мне пишет. Эпистолярная любовь — это, братцы, деликатес.

— Бедный ребенок,— сказал Воронов.

— Ба! — воскликнул Юпо.— Я совсем забыл предупредить тебя, Петр. Осторожно, здесь присутствует возвышенная любовь.

— Перестань паясничать! — Воронов зло посмотрел на Юпо.

— Ну, баста! — Юпо растопырил пальцы.— Кроме шуток, тут дело серьезное. Мы люди свои, и нам нечего таить друг от друга. А ты, Серега, извини. Не при тебе бы так пошло чесать языки.— Он обернулся к Синельникову.— Ну, где же коньяк?

— Есть такое дело! — Синельников разлил коньяк по высоким рюмкам.

— Ну, братцы, за радости и горе! — Юпо поднял рюмку.— За нас самих. За то, что мы живем.

Выпили.

— Налей еще по одной,— сказал Юпо.— У меня после первой во рту образуется какая-то пустота, словно я язык проглатываю. Поэтому совершенно не могу разговаривать, пока вторую не выпью.

Выпили еще.

— Теперь другое дело.— Юпо пожевал крабы.— Так вот, Петя, у нашего друга горе не горе... Но причина для того, чтобы выпить и сказать: «Авдотью мне, Авдотью!» И только ты один можешь помочь ему...

Синельников удивленно пожал плечами, Воронов поморщился.

— Да не в том смысле, черти окаянные! — сказал Юпо.— Слушай сюда, как говорят в Одессе. Петя, надо провести боевой смотр нашей кавалерии. И выбрать направление главного удара...

— Дело знакомое,— отозвался Синельников, разливая коньяк.

Выпили.

— Может, к Нельке закатим? — спросил Юпо.

Синельников покосился на Воронова.

— Туда нельзя... Давай к вороным.

— В стойло геологов? Идея! — подхватил Юпо.— А что? Машина на ходу... Петя, голубчик! Да ты настоящий джинн из этой волшебной бутылочки.— Юпо поцеловал бутылку коньяка.— Выпьем за набег!

— Ну, положим, пить-то за это еще рано,— сказал Синельников.

— Славная эта штука, целебная,— сказал Юпо, ставя пустую рюмку.— В нашем положении только буйволы

могут не пить. Живешь как на лесной порубке, было время — стояло дерево к дереву, а теперь кругом щербины. Того убрали по чистой, тот в запас ушел, того списали за водку... И все за каких-нибудь пять лет... К черту философию! К вороны-ым!

Воронов захмелел, и ему было все равно, куда ехать. К вороным так к вороным. Поехали!..

Они снова заехали в магазин, купили коньяку, вина, каких-то консервов в стеклянных и жестяных банках, а потом долго тряслись по ухабистой лесной дороге. Остановились где-то на краю поселка; возле самой речушки притулилась деревянная халупа. Посигналили. Женский голос из открытого освещенного окна крикнул:

— Наши все дома!

Потом зашипела радиола, и гнусавый не то мужской, не то женский голос запел на японском языке.

— Все в порядке,— сказал Синельников.— Пошли!

Их встретили у порога дружными криками: «Хозяин пришел! Хозяин!»

За столом сидели четыре девушки и два бородатых парня в ковбойках и джинсах. Среди застолицы Воронов с удивлением увидел Катю. Он в момент протрезвел и замешкался у порога...

— Чего же вы, товарищ инженер, остановились? Иль не узнаете? — Она пьяно улыбалась и с вызовом глядела на него. На ней был теперь модный светло-серый свитер с оленями на груди, на плечи падали крупные волны распущенных кос.— Идите ко мне!.. Не бойтесь... Место свободное,— она хлопнула по стоящему рядом стулу и во все горло захохотала.

Воронов отступил в сени и впотьмах стал нащупывать наружную дверь. За ним вышел в сени Юпо.

— Ты куда?

— Я уйду... Не могу. Противно...

— Дурак! Х-хе. А мне нравится эта эпистолярная любовь.

5

Весна в этом году на Тихом океана была ранняя; еще в апреле на речных разводьях и по болотистым распадкам зазеленели красноталы, потом тронулся, закурчавился подлесок — черемуха, жимолость, амурская сирень; но

монгольский дуб долго еще держал прошлогоднюю жухлую листву, отчего прибрежные сопки до самого мая сохраняли красноватый ржавый оттенок, точно они были железными. Но майское солнце здесь горячее, и, несмотря на холодные ветреные зори, мало-помалу доверчиво раскрылся и монгольский дуб и сразу все заполнил своей широкой густой листвой, и скрылись в его округлых кущах все еще нагие голенастые ветки маньчжурского ореха и колючие сучья аралии, цепкие, точно пальцы. А к июню не выдержали и эти нежные недотроги и выбросили, как стрелы, редкие перистые листья.

— Ну, теперь жди погодки,— говорили старожилы.

И она пришла. По утрам высокое белое солнце так пригревало палатки, что в них становилось душно, как в парной на верхней полке; люди просыпались рано и выходили наружу с красными опухшими лицами, с тяжелой пьянящей одурью в голове. Ругали и палатки, и не в меру холодные ночи, и жаркое, как раскаленная сковорода, утреннее солнце.

Зато под вечер, когда яркие малиновые зори блестели на полированной от безветрия поверхности моря, дышалось легко и радостно. Люди становились добрее, общительнее. Они карабкались на лобастые прибрежные кручи, бродили по таежным сырым распадкам или собирались на заманчивые озорные причитания гармони, превращая бетонированные отмостки возле новых домов в танцплощадки. Особенно веселы и общительны были вечера получек или собраний в Управлении. В такое время стекались со всех участков минчане и туляки, краснодарские и приморские и гуляли, колобродили до самого утра. Маленький дощатый клуб, а точнее — плохонький барак, не вмещал всех танцоров и гуляк; тогда осаждались и брались с бою еще не заселенные новые дома, школы, и в вестибюлях, коридорах, комнатах, пахнущих известью, краской, гулких, как барабаны, гремели сапоги, выбивали дробную чечетку туфельки, пели, смеялись, целовались, плакали и дрались. Здесь были свои законы и порядки, свои герои и усмирители. Тревожные трели милицейского свистка здесь значили столько же, сколько воробьиное чириканье на базарной толкучке. Что мог сделать участковый с громогласной танцующей оравой людей, порой уносившей на своих подошвах свежую окраску полов? Да и никакой оплошавший прораб не обращался за помощью к милиционеру.

Для такого дела была более надежная сила — целая команда отоспавшихся за день пожарников или бригадмильцев — ударная сила Синельникова, как звали ее на стройке. Главный инженер подбирал в нее рослых отчаянных парней из владивостокских портовых грузчиков. Платил он им хорошо и требовал, когда нужно, навести порядок. Они отлично понимали его.

Под вечер второго июня рабочие вороновского участка собирались на стройку за получкой. Возле конторы их ждали грузовые машины. Те, кто постарше, наскоро сполоснув лицо и руки, лезли в машины в чем были на работе, поторапливали друг друга, покрикивали на шоферов:

— Поехали! Нечего ворон ловить...

— Журавля в руку захотелось.

— Ну, кому журавля подадут, а кому и синицу сунут.

— Кто на что горазд.

Торопились, предвкушая скорую выпивку, побаивались, что закроются магазины либо не достанется того, что следует.

А те, что помоложе, тщательно умывались, причесывались, надевали галстуки, яркие платья, пудрились... Погода стояла ясная, теплая. Значит, будут танцы, встречи, гуляния.

Лиза уже успела забежать в барак, надеть свое любимое васильковое платье и теперь вся трепетала от какого-то радостного возбужденного нетерпения.

— Ой, мальчики, ну где же Катя? Позовите ее.

— Придет,— равнодушно отзывался Семен.— Сварку последнего узла запорола... Вот и задержалась. Да и куда торопиться? Лишнего все равно не дадут.

Он не любил эти суматошные вечера, и вид у него был самый будничный: белесые кирзовые сапоги, видавшая виды репсовая курточка и выглядывавшая из-под нее какая-то рыжая застиранная ковбойка. К тому же первое жаркое солнце всегда отражалось, как говорили в шутку, на Семеновом лице: и его острые скулы и короткий толстый нос каждую неделю меняли новую кожу — то краснели, то синели, напоминая порой перезревшую сливу.

— Сеня, ты бы хоть сапоги кремом почистил,— сказала Лиза.— Они у тебя точно брезентовые.

— Брезентовые и есть. Не нравится?

— Бирюк ты.

— А ты пуговица. Сияешь, как будто тебя суконкой начистили.

Лиза не умела сердиться и прощала Семену всякие дерзости. Она считала его ужасно умным человеком и предана была ему, как отделенный ротному командиру. С ним она приехала из десятого класса на стройку и, когда распределяли их по участкам, не задумываясь пошла вместе с Семеном. Благодаря ему она и крановщицей стала. Втайне Лиза влюблена была в него. За что? А кто его знает! Наверно, за то, что он постоянно чем-то был занят: он и моторист, и механик, и студент-заочник, и даже изобретать может. Она все ждала, когда Семен объяснится ей в любви, но он звал ее по-смешному то пуговицей, то кнопкой, часто грубил ей. И Лиза потихоньку ото всех плакала. Но она совсем не умела сердиться, душа ее быстро обретала радость и спокойствие, как хорошо укрытое камышом светлое озерцо; кинешь в него камень — всколыхнется оно, подернется мелкими колечками, зарябит, потемнеет. Но быстро уляжется мелкая дрожь, и глядишь, снова голубеет эта глубинная чистота, и снова разливается спокойная гладь от берега к берегу. И опять звенит ее детский заливчатый смех, и снова раздаются ее наивные упрашивания: «Ох, мальчики, не надо так!», «Ой, девочки, миленькие, не сердитесь!».

— Миша, Миша, скорее сюда! — вдруг закричала она.— Вон видишь — Катя идет!

Забродин отправлял машины с людьми, но, увидав Катю, подошел к конторе.

— Ты еще не переоделась? — удивился Михаил.

На Кате был комбинезон; она широко распахнула ворот, запрокидывала голову, выгибая свою тонкую шею, озорно поводила глазами и говорила, кокетливо обмахиваясь платком:

— А вы меня ждете?

— Не валяй дурака. Осталась последняя машина,— Михаил говорил строго, но, встретившись с ее взглядом, невольно улыбнулся: — Ждем, да не тебя.

— Что ж это за важная персона появилась?

— Тебе хорошо знакомая.— Михаил помолчал.— Начальника участка ждем.

— Так я сейчас! Подождите минутку...

Но Воронов приоткрыл дверь конторы и сказал:

— Поезжайте, ребята. Я сегодня занят.

— Как же, Сергей Петрович? — невольно спросила Катя и, словно опомнившись, сказала другим тоном, улыбаясь, нарочито растягивая слова: — Ведь у вас первая получка... Кажется, с вас положено...

Воронов после того вечера избегал ее и на вызывающие насмешливые улыбки, которые она бросала при встрече, хмуро отворачивался. Его мужское самолюбие было уязвлено — какая-то пьянчужка из притона «вороных» разыграла перед ним сценку увлечения недотроги-десятиклассницы. И он поверил... Болван!

— Спасибо, что вы надоумили меня,— сухо ответил ей Воронов и крикнул в сторону машины: — Поезжайте, ребята! Не держите машину.

Затем он ушел в контору и тщательно притворил за собой дверь.

— Ну что ж, поехали,— равнодушно сказала Катя, комкая платок в опущенной руке.

— Ты что, Катька, с ума сошла! Ведь мы же в клуб пойдем. Танцевать будем,— набросилась на нее Лиза.

— Ну и что?

— Беги переодевайся.

— Если тем, которые в галстуке, стыдно танцевать со мной, так пусть не танцуют.

Все посмотрели на синий галстук Михаила, словно впервые заметили его.

— Если он не подходит к твоему комбинезону, то я сниму. Ну? — Забродин наклонился к ней, взял галстук за узел, потом произнес повелительно: — Поехали!

— Да что вы в самом деле! — взмолилась Лиза, округляя глаза.— Я хоть за твоими туфлями сбегаю.

И, боясь, что ее задержат, она опрометью бросилась к бараку.

Туфли Кате пригодились. На этот раз танцевали в спортзале новой школы. Полы еще не успели покрасить, поэтому никто особенно не возражал. Правда, здесь жили монтажники. Но их попросили перенести свои матрацы и рюкзаки в соседнюю классную комнату. И они уступили.

— Только до десяти часов,— сказал бригадир монтажников, флегматичный рябой детина.— У меня ночная смена. Проводку ведем. Нам тут не до танцев будет.

— Милый, по ночам работают слоны да китайцы, ибо первые сильны, а вторых много,— возразил ему косматый горбоносый парень, известный на всю округу по кличке Дербень-Калуга.— А порядочные люди веселятся. Может быть, тебе меню не подали? Так я распоряжусь. Выбор у нас подходящий.— Он положил на плечо монтажнику сухую костистую ладонь.— Ну, как? Твое помещение, наш продукт... Гуляем?

Монтажник хладнокровно снял руку Дербень-Калуги со своего плеча:

— Я предупредил вас. Только до десяти.

— А-я-яй, какой несговорчивый!

Дербень-Калуга появлялся на стройке, или, как здесь говорили, «спускался вниз», дважды в году — весной и глубокой осенью. Все остальное время он пропадал в сопках, работая экспедитором геологических партий. Появлялся он всегда с деньгами; одни говорили — с крадеными, другие утверждали, что деньги он заработал, накопил. Приходил он каждый раз на стройку с желанием осесть, закрепиться... Но всегда пропивался и после скандалов, драк снова уходил в сопки. На стройку его влекла еще давняя властная страсть к Неле. Но он скрывал эту страсть и говорил о своей возлюбленной нарочито пренебрежительным тоном: «Старуху пришел навестить».

На танцы привела его Неля. Семен заметил, что был он выпивши. Неля шептала ему что-то на ухо, он усмехался, подозрительно поглядывал в сторону Кати и Михаила. Все это настораживало Семена, и он старался ближе держаться к Забродину.

Танцевали под баян. Пол был шершавый, сухой, весь заляпанный известью и краской. Взбитая сапогами и туфлями известковая пыль белесым туманом висела в воздухе, садилась на разгоряченные лица, першила в горле. Но люди не замечали ее; тесно прижимаясь друг к другу, обхватив руками талии и спины, покачиваясь и шаркая ногами, они награждали друг друга довольными бессмысленными улыбками. В эти минуты, танцуя с Лизой, Семен думал о том, как люди ухитряются терять свои лица и делают это с радостью, словно облегчая себя от ненужной ноши. Как все мы теперь похожи друг на друга! И даже эти пестрые девичьи платья так уныло однообразны. А вот Катя в комбинезоне. Молодец! Но понимает ли она это?

В один из перерывов Неля оказалась рядом с Катей. Скользнув пренебрежительно своими смоляными глазами по Катиной одежде, она сказала:

— Ударница и в комбинезоне! Что это? Пренебрежение к людям?

— Не ко всем.

Они были одинакового роста и теперь с ненавистью смотрели друг на друга, глаза в глаза. Но говорили спокойно, учтиво улыбаясь.

— Пожалуй, за такую демонстрацию, неуважение к массе могут попросить.

— Главного инженера здесь нет.

— Найдутся и другие.

— Я знаю, что вы услужливы.

— Вы пожалеете...— Неля вспыхнула, не выдержав, и отошла.

У них была старая вражда. Неля ненавидела Катю за то, что она была ее вечной соперницей, и за то, что Катю обожали все геологи, и за то, что она не уступила главному инженеру и с той поры смотрит на Нелю с нескрываемым презрением.

— Что у вас тут случилось? — спросил Михаил, ходивший покурить.— Ее как ошпарили.

— Хочет попросить меня из зала.

— Почему?

— Одежда моя не понравилась.

— Говорили же тебе, что нужно переодеться... Ты все любишь делать напротив. Еще только скандала не хватало.— Михаил, увидев, как направились к ним через весь зал Неля с Дербень-Калугой, взял Катю за руку и потянул на выход.— Пошли, пошли... Нечего на скандал нарываться.

Катя почувствовала, что рука Михаила дрожит. «Трусит»,— подумала она. И ей стало противно. Она с силой вырвала руку.

— Пошел от меня прочь!

— Послушайте, девушка! Вы, простите, не по форме одеты,— говорил с наглой любезностью подошедший к Кате Дербень-Калуга.— Общественность просит вас удалиться.

— Что вам от нее надо? — сказал Михаил.

Но Дербень-Калуга, не оборачиваясь, небрежно оттолкнул его, словно чучело.

— Вы слышите, дорогуша?

— Я вам не дорогуша. И проваливайте своей дорогой, самозваная общественность.

— О, да вы дурно воспитаны! Придется поступить так.— Дербень-Калуга взял Катю выше локтя.

— Не трогай меня, мерзавец! — Катя свободной рукой наотмашь хлестнула его по щеке.

— Ах, так! — Дербень-Калуга сграбастал своими длинными ручищами Катю и бросился к дверям.

— Стой! — Семен откуда-то сбоку по-петушиному налетел на Дербень-Калугу и ударил его в скулу.

Дербень-Калуга лязгнул по-волчьи зубами, бросил Катю и, рванувшись к Семену, поддел его правой рукой, словно крюком, и бросил в дальний угол зала. Семен отскочил от стенки, как резиновый, и снова бросился на противника, осыпая его молниеносными ударами.

Дербень-Калуга, не ожидая такого напора, стал по-бычьи отступать и, наконец, страшным ударом в лицо опрокинул Семена на пол.

— Уймите этого крокодила! Он убьет его! — закричала Лиза.

Кто-то сзади взял Дербень-Калугу и в железном замке сцепил руки. Дербень-Калуга попробовал присесть, кинуть его через себя. Но тот был тяжел, как слон. Дербень-Калуга обернулся и узнал рябого монтажника.

— Чего тебе надо? — хрипло спросил он.

— А ничего,— ответил монтажник и легко поднял Дербень-Калугу.— Иди-ка, милок, остынь.

Он вынес Дербень-Калугу на лестничную клетку:

— Ступай!

— Ах, вы все тут заодно! Ну, так пожалеете.

— Иди, иди. Поговорили и будет.

— И я здесь не один. Скоро узнаешь, тертая морда.

Монтажник вернулся в зал и объявил тоном начальника:

— Танцы окончены. Прошу расходиться.

Семена и Катю он задержал.

— Вам нельзя уходить. Пока останетесь здесь.

С ними вместе остались Лиза и Михаил. Лиза все смотрела на разбитое Семеново лицо и всхлипывала.

— Перестань! — сердито унимал ее Семен.— Что я, покойник, что ли?

— Тебе больно, Сеня? — спрашивала она жалобно и еще пуще заливалась слезами.

Катя была бледная, глаза ее горели и казались теперь совершенно черными. Михаил держался поодаль, старался не смотреть на нее, отшучивался:

— Ничего себе история с географией. Придется ночную оборону вести.

В зале осталось еще несколько монтажников. Ими распоряжался бригадир:

— Запереть дверь! А теперь парты сюда! Живо! Дверь забаррикадировать!

Из классной комнаты стали сносить к двери парты и громоздить их друг на друга. Работали молча, в томительном ожидании, что скоро придут. И они пришли. Сначала по лестнице громыхали сапоги, потом сгруживались перед закрытой дверью, и слышно было тяжелое дыхание поднимавшихся людей. Наконец раздался громкий стук в дверь и голос Дербень-Калуги:

— Рябой, открывай!

Из зала никто не ответил.

— Послушай, бугор! — примирительным тоном сказал Дербень-Калуга.— Ты нам не нужен, и людей твоих мы не тронем. Выпусти этого щенка, я с ним посчитаюсь. И девчонку проучить надо. Ну?

— Пеняй на себя. Навались, ребята!

В дверь начали ломиться; она глухо задрожала от сильных ударов, но выдержала напор.

— Ну-ка вниз за бревном, живо! — кричал Дербень-Калуга.— Да потяжелее принесите.

Бригадир отвел Михаила к окну.

— На улице никого не видно?

Михаил приоткрыл створку, посмотрел:

— Никого.

— Нужно бежать в клуб. Там сейчас народ. Позвать сюда... И кого-нибудь из начальства.

— Но ведь отсюда не спрыгнешь... Тут, слава богу...— Михаил снова опасливо посмотрел в раскрытое окно.— Метров двенадцать будет.

Бригадир сходил в классную комнату и принес моток электрошнура. Привязав один конец за радиатор, он бросил второй в окно:

— Спускайся!

— Господи благослови! — Михаил криво усмехнулся и осторожно полез на подоконник.

Шнур показался ему слишком тонким. Он глубоко, до режущей боли впивался в руки. Михаил кряхтел, корчил-

ся, отталкивался от стенки коленями. Но его снова тянуло к стене, словно кто-то толкал его, хотел вдавить в эту шершавую, обдиравшую руки и лицо штукатурку. Наконец он почувствовал ногами землю, бросил шнур, огляделся — никого. Быстро отряхнул с пиджака белый известковый налет и побежал.

Недалеко от школы ему встретилась на дороге большая толпа. Впереди шли Синельников и комсорг Пятачков, быстрый круглолицый крепышок.

— Забродин, вы из школы? — спрашивал он своим пронзительным тенорком.— И вы допустили драку? Кто участник? Саменко? Безобразие! А еще член бюро...

— Саменко тут ни при чем,— пытался возразить Михаил.

— Молчите! Нам все известно.

— Пошли! — сказал Синельников.— Скорее, ребята!

Эти «ребята», молчаливые пожарники, держались кучно возле Синельникова, как телохранители. Толпа двинулась к школе, сохраняя свой особый порядок: впереди Синельников, за ним пять молодцов, Пятачков и Забродин, а уж потом все любители потешных зрелищ.

Дербень-Калуга со своими приятелями, выломав дверь, уже разбрасывали парты, когда подоспела неожиданная помощь. Увидев перед собой хладнокровно приближавшегося Синельникова, он понял, что терять ему больше нечего.

— Ах, главный инженер! — осклабился Дербень-Калуга.— Давно не виделись... А поговорить есть о чем... Свет! — вдруг рявкнул он и бросился к Синельникову.

Два пожарника, словно по команде, выдвинулись вперед и через мгновение сидели верхом на Дербень-Калуге.

— Тихо, милый, тихо,— ласково уговаривали они его, связывая.

Один из приятелей Дербень-Калуги, толстошеий, с медвежьим загорбком, побежал к выключателю, но там его встретил появившийся из зала рябой монтажник. Он поднес к его лицу увесистый кулак и сказал:

— Чуешь?

Синельников, кивнув на Дербень-Калугу, распорядился:

— В холодную его! — Потом через пролом в дверях вошел в зал.

За ним двинулась вся толпа.

— Кто еще виновен? — строго спросил Синельников, останавливаясь взглядом на Семене.

У Семена опух разбитый нос, на верхней губе остались следы крови. Он зло смотрел на Синельникова и вдруг сказал с вызовом:

— Вы виноваты.

— Я? — Синельников повернулся к комсоргу.— Пятачков, этот парень, кажется, из вашего бюро?

— Да, к сожалению,— быстро подтвердил Пятачков.

— Я повторяю, что виновны вы.

— Что это значит? — строго сказал Синельников.— Может быть, вы поясните?

— Да, я поясню. У нас вместо клуба — барак. В прошлом году должны были построить клуб. Но где он? Нет клуба. А деньги, отпущенные на клуб, вы вложили в док. Вы план выполняете... А мы вынуждены подобные сборища проводить... По углам! В этой пыли, с драками...

— Послушайте, вы, любитель увеселений! Зачем вы сюда приехали? Город строить? Или для приятных развлечений? Вы знаете, что такое док? Это — ремонтная станция кораблей. Это — тысячи рабочих!.. А вы хнычете, что вам танцевать негде. Забыли, чьи вы дети! Ваши отцы с ножовками и топорами города строили. Пайки хлеба, как мыло, нитками резали. Создали для вас, вручили вам лучшую в мире технику...— Синельников прервал свою речь, махнув рукой...— О чем тут говорить.

— Мне очень жаль, что этот парень из вашего бюро,— сказал он Пятачкову иным тоном.

— Обычная философия виноватых,— снисходительно заметил Пятачков.— Я займусь. Саменко! — крикнул он вслед уходившему Семену.— Мне поговорить с тобой нужно.

— Не о чем.

Семен быстро спускался по лестнице и вдруг услышал за спиной характерные щелчки высоких каблуков.

— Что ты за мной бегаешь! — сердито обернулся он к Лизе.— Что я тебе, нянька-воспитательница?

— Сеня, не надо так,— ее пухлые губы жалко задергались, в глазах появились слезы.

— Отстань!

Семен выбежал на улицу и быстро пошел в рыбный порт. Но частый топот Лизиных каблучков неотступно следовал за ним. Она всхлипывала и говорила одно и то же:

— Я же знаю, тебе так тяжело...

— Отстань!

— Ты бы не сказал такое Синельникову, кабы не драка.

Семен остановился:

— Дура ты. При чем тут драка? Такие, как Синельников, жизнь нашу обкрадывают. Пойми ты.

— Я понимаю. Только ты не прогоняй меня.

Она прижималась к нему, обнимая его за шею, и шептала:

— Не прогоняй меня, Сеня...

Он вдруг обнял ее и поцеловал в губы.

— Ничего ты не понимаешь.— Поцеловал снова и рассмеялся.— Дура ты, Лизка... Но хорошая и умнее меня.

6

Квартиру Воронов получил на втором этаже с балконом, с видом на море. Он купил кое-какую мебель: диван, стулья, два стола, шкаф для одежды,— но все это куда-то растеклось по углам, и обе комнаты казались пустынными и неуютными. И пахло в них, как на складе,— известью, клеем и чем-то похожим на жженую резину, должно быть, от новой мебели. И все-таки это была его квартира, первая в жизни. Она казалась ему непомерно большой, со множеством дверей, раковин, конфорок. И Воронов впервые почувствовал себя богатым.

А еще он купил пианино Приморской фабрики, тяжелое, как сейф, с глуховатым звуком, но мягким и приятным. Почти все накопленные на Камчатке деньги он пустил в расход и испытывал теперь некоторое облегчение. «В отпуск туда не поеду — не на что. Бросаем якорь здесь. Точка...»

За этими квартирными хлопотами пришло и душевное спокойствие. Хоть женитьба не состоялась, зато квартира есть. Тоже неплохо.

На новоселье нагрянуло много гостей. Пришел и Юпо, и Синельников с Лукашкиным, и начальник производственного отдела Зеленин, и Мишка Забродин вместе с Катей, к удивлению Воронова. Но главное, пришел старый друг Воронова — Володька Терехин, тот самый Володька, с которым они хлебали армейский суп из одного котелка и который теперь стал вездесущим даль-

невосточным журналистом — он и корреспонденции пишет, и очерки, и черт знает чего только не пишет.

После нескольких шумных тостов, когда за столом стало оживленно и говорили кто во что горазд, Терехин потянул за собой Воронова, прихватил бутылку, и они вышли в обнимку в соседнюю комнату.

— Ну вот, старик, мы с тобой снова вместе. Встретились на краю земли.— Терехин поставил бутылку на стол и взял Воронова за плечи.— Дай-ка я на тебя погляжу.

— А ты вроде еще длиннее стал,— сказал Воронов, улыбаясь.— И уши у тебя будто отросли.

Терехин ощупал руками свои большие оттопыренные уши, беззлобно засмеялся:

— А ты все такая же язва! Эх, старик! Сегодня с рыбаками прихожу с моря, устал, как черт. Думаю, только бы дотащиться до дому. А мне говорят, что появился в нашей гавани Воронов, получил участок и уже шумит. Сколько же мы не виделись? Почти три года.

— Да, почти три. На Камчатке я изредка почитывал твои длинные очерки.

— Не могу коротко писать, беда моя.

— А ты восторгайся поменьше, оно и выйдет короче.

— Нельзя не восторгаться, Сергей. Ты смотри, что делается кругом. Вот на этом месте, где мы сейчас с тобой стоим, два года назад шумела тайга. А в бухте? Давно ли на рейде покачивались только старые кунгасы? А теперь пирсы железобетонные, новенькие сейнера! А молодежь! Сколько к нам едет орлов с запада! Это воспевать надо. Газета, братец мой, это — гимн нашему труду, а журналисты — поэты в прозе.— Он выкинул длинный худой палец.— О! Выпьем за журналистов!

— Ну ладно, давай выпьем, а там разберемся.— Воронов налил в стаканы водку.— Будь здоров!

— Как твои успехи в музыке? — спросил Терехин.

— Так же, как твои в поэзии.— Воронов ткнул его в бок, и оба засмеялись.

— Мы с тобой, так сказать, нештатные творцы. С нас взятки гладки,— сказал Воронов.

— Славно сказано. Выпьем за творцов.

Терехин разлил остаток водки, выпили.

— А помнишь, Сергей, День Победы? Вечерняя Дворцовая площадь, море народу и сверкающий в огнях купол Исаакия!

— Врешь, бродяга! Купол Исаакия был весь заляпан серой краской.

— Ну, значит, мне показалось. Не в этом же суть, это детали. Главное — мы с тобой, два солдата-сапера, два будущих студента — строитель и филолог, идем вдоль Невы и мечтаем.

— Опять врешь! Мы просто горланили и были пьянее, чем сейчас.

— Не придирайся к деталям. Ты сказал, что, пока не построишь сотню домов,— не сядешь за пианино, а я поклялся написать сотню очерков, потом взяться за стихи.

— И полгода сочиняли песню,— усмехнулся Воронов.— Помнишь? «Ты далека, Россия, с ветрами буйными, с вихрями снежными...»

Он подошел к пианино и взял несколько резких аккордов.

— Помнишь? Кроме этих двух строчек, кажется, так и не продвинулись...

— Зато с каким жаром сочиняли...

— Кстати, почему — «Ты далека, Россия»? Этого я так и не понял.

— Мода была такая... Все куда-нибудь уезжали, кто в Германию, кто в Китай... Ну, как на стройке? Освоился?

— Вроде бы. Все тихо и гладко. Все как будто довольны, а особенно Лукашин.

— Я решил написать о нем очерк. Примерный руководитель.

— Не руководитель, а начальник. Разница! Эх, хороший бы из тебя богомаз вышел... в старину.

Терехин засмеялся.

— Люблю тебя, Серега, хоть и грубиян ты. Давай споем приморскую.

Воронов одним пальцем стал аккомпанировать, и они запели:

За мысом песчаным погасла заря,
В дозор вышел месяц, подняв якоря,
В лучах его тусклых лежит, молчалив,
Широкий Амурский залив.

Они не заметили, как в комнату вошел сильно захмелевший Зеленин.

— Хм, слова-то какие,— ухмыльнулся он за их спиной.— «Месяц, подняв якоря». Уж эти поэты — и якоря месяцу навесят, и рога приставят, и еще черт знает что.— Он подошел к столу, наклонил бутылку и, убедив-

шись, что она пуста, поставил на место.— М-да... Вы здесь поете, а там начальство сердится. Начальство любит почет и внимание к своей персоне, даже в гостях.

— А твоя персона что любит? — спросил Воронов.

— Водку.

— Вот учись у него краткости,— сказал Воронов Терехину.— Все ясно, ничего не убавишь и не добавишь.

— Нет, почему ж не добавить,— возразил Зеленин.— Пошли к столу и добавим.

Их встретил Лукашин поднятой стопкой:

— Вы что ж это прячетесь, деятель?

— Виноват! Друг с Фонтанки утащил...— сказал Воронов, наливая себе.

— А мы здесь как раз отмечали вашу домовитость. Значит, с Фонтанкой покончено навсегда. За дальневосточное пополнение!

Все выпили. Лукашин, поддевая вилкой заменитель шпротов — местную корюшку, развивал свою тему:

— Если с Камчатки заезжают к нам, это, значит, серьезно. Обычно на Камчатке отрабатывают срок и едут на запад.

— Все мы человеки и стремимся туда, где лучше,— вполне естественно,— сказал Юпо.

— Это еще вопрос — кому где лучше,— сказала Катя.

— На твоем месте я бы вернулся в производственный отдел, в контору...— подмигнул ей Зеленин.— А то осенью холодно станет.

— Боюсь, что меня Сергей Петрович не отпустит,— Катя озорно поглядела на Воронова.

— Кто из вас кого боится — это тоже вопрос,— сказал Юпо.

Воронов сердито посмотрел на него и, не скрывая раздражения, ответил Кате:

— Сдается мне, что вы держите курс на Фонтанку, только ждете попутчика. Уверяю вас — у Зеленина в конторе проще найти, чем у нас на участке.

— Мерсите за совет. Может быть, я им и воспользуюсь,— Катя мило улыбнулась, но ее слегка вывернутые ноздри округлились.

— Да бросьте вы. Далась вам эта Фонтанка.— Терехин не понимал причины неожиданной вспышки и с недоумением глядел то на Воронова, то на Катю.

Синельников решил отвлечь от назревающей перепалки и, откинувшись на спинку стула, заговорил:

— А я вот не знаю, где лучше: там — на западе, или здесь. В самом деле, чем хуже здесь? Тайга, море! А этот соленый дух! От него так и распирает грудь... Конечно, интересно строить дома где-нибудь на московской улице: техника, все образцово. Тут тебе и метро, и в театры ездишь. Но если ты расчищал кусторезом тайгу под будущую улицу, если ты переселялся из палатки в квартиру с паровым отоплением и с ванной... Ты этого никогда не забудешь. Здесь ты лучше видишь свою силу... на что способен.

— И давно вы переселились из палатки? — любезно спросила Катя.

— Ну зачем это? — Михаил взял ее за руку.

— Что? — Синельников смотрел на нее, словно не понял, о чем его спрашивают.

— Ну, деятели, что-то у вас все на личности переходит,— сказал Лукашин.— Надо говорить по существу.

— По существу и говорить не о чем,— сказал Юпо.— Это все слова, Петя. Все значительно проще. Одни едут сюда за чинами, другие — за рублем, третьи — выполнять свой долг. Земли осваивать. Хорошо! Значит, надо. При чем же тут чувство? Я долг выполняю и буду служить, сколько потребуется. Но восторгаться, говорить: приезжайте, мол, сюда, потому что на кабана ходить интереснее, чем в Мариинку,— не стану. Это фальшь, извините.

— Можно подумать, деятель, что вы сомневаетесь в чьей-то искренности,— сказал Лукашин.

— Не то, Семен Иванович,— вступилась опять Катя.— Просто надоела философия горожан, попадающих на лоно природы. Ах, море! Ах, тайга! А море, между прочим, соленое и мокрое. А в тайге комары водятся. Ну, мне пора! Извините, и так засиделась.— Она встала. За ней поднялся и Михаил.

— Мне проводник с вашего участка не нужен,— остановила она Михаила, но говорила, обращаясь к Воронову.— Спасибо за угощение.— И потом Зеленину: — Я, кажется, воспользуюсь вашим советом и перейду к вам в производственный отдел. Надо же чем-то и мне отблагодарить гостеприимного хозяина. Сделаю ему приятное. До свидания!

Она вышла, стуча каблучками.

— Извините,— сказал Воронов.

Он встал из-за стола, догнал Катю на лестнице и проводил ее до порога. Дальше она не позволила.

7

Вместе с горячкой дел нахлынула на участок и жара. В солнечные полдни от нагретой опалубки, от арматурных прутьев, от всего этого скопища железа и бетона исходил тягостный жар, и даже порывистый морской ветерок не приносил прохлады. Обычно непоседливые крикливые чайки в такие часы лениво покачивались на волнах. И когда глухие вязкие удары стального штыря в обрезок рельса, висевшего на углу конторы, возвещали обеденный перерыв, люди с наслаждением сбрасывали пропыленные рубахи, комбинезоны, обливались водой, ухали, притворно захлебываясь. Пищу привозили в термосах, разливали под открытым небом на столах, вынесенных из палаток и бараков.

Обычно в обеденное время Воронов, наскоро проглотив тарелку супа, уходил в бухту, заплывал далеко в море, потом загорал где-нибудь в укромном затишке.

Однажды, лежа за выступом скалы, он задремал; разбудили его резкие голоса споривших:

— Я тебе дело говорю,— убеждал хриповатый басок Семена.— Воронов прав — у нас лишние люди на объектах.

— Может, я тоже лишний? — зазвенел возбужденный тенор Михаила.— Может, и мне кельму взять и становиться на кладку домов? Так, что ли?

— Ты подожди, выслушай,— твердил Семен,— Посмотри как следует.

— Отстань!

— Давай сделаем, как прошу. Ведь пойми ты: двенадцать бетонщиков высвободим! На дома пошлем... Квартиры строить!

— Эх, Семен, Семен! Нам надо массивы бетонировать, а ты с чем носишься?

— А дома не надо?

— Все надо. Но ведь не это главное.

— Конечно. Особенно после того, как мистер Забродин себе собственный дом построил.

— Я не меньше твоего в палатках прожил.

— Скажи, чем хвастается! А я вот не хочу больше в палатке жить!

— Так заведи себе тещу с блинами и полезай на печь.

— А зачем мне теща? Может, я к себе жену хочу привести.

— Ну и приводи.

— Куда? В палатку?

— Слушай, жених! Ты что-нибудь про город Комсомольск слыхал?

— Например?

— Например, любителей мещанского уюта там презирали.

— А еще то, что там мерзли в землянках?

— Мерзли!

— А потом в сороковых годах мерзли в окопах?

— Было и такое.

— А теперь, в пятидесятых, ты предлагаешь мерзнуть в палатках? Прямо сплошная Антарктида. Да, энтузиаст ты с довольно однообразным воображением.

— А ты нытик.

Семен коротко хохотнул:

— Эге! Просто я хочу, чтобы люди не располагались на каких-то биваках и не занимались всякими штурмами. Время теперь не то. Не штурмовать, а работать надо и жить.

— Кончай философию! — неожиданно предупредил Михаил.

— Чего это Катерина сюда идет? — спросил Семен.— К тебе, что ли?

— Наверно, Воронова ищет. Хочет проститься,— тоскливо ответил Михаил.

Воронову стало не по себе: вставать теперь — неловко перед ребятами. Оставаться — Катя может найти... Еще хуже! Она и в самом деле взяла расчет — уходила в производственный отдел.

Сегодня она все ходила вокруг конторы, видимо, хотела наедине поговорить с Вороновым. Но он все время просидел в конторе в окружении то десятников, то экспедиторов... Он избегал этого прощального разговора,— еще сцену какую-нибудь разыграет. И теперь он решил притвориться спящим,— может, не найдет. А так выйдешь — и тут как тут: «Здрасте... я вас давно ищу»...

— Ты чего не уехала? — спросил ее Семен.— Обеденные машины уже ушли.

— Ей карету надо...— сказал Михаил.— С принцем на запятках.

— И запряженную двуногими ослами,— подхватила Катя.

— Да что в самом деле? Иль обходной лист не подписали? — спросил опять Семен.

— Какое тебе дело? — ответила Катя.— Я вот, может, с Мишей хочу побыть наедине. В укромном местечке... Отвернитесь! Видите, я раздеваюсь.

— Хоть донага,— сказал Семен и пошел прочь, грохая сапогами.

— А чего ты по сторонам смотришь? — спросил Михаил.— Или ждешь кого?

— А ты чего не раздеваешься? Или боишься?

— Пожалуйста! Как тебе угодно. Я тень души твоей.

— Какая несуразная тень!

— Это я заморился,— Михаил скинул майку и заботливо осмотрел свои крупные выпирающие ребра.— От любви сохну.

Катя залезла на скалу и оглядывала дальние извивы бухты, не догадываясь, что тот, кого она искала, лежит тут же, в пятнадцати шагах, за выступом.

— Ну что, не видать его... в «тумане моря голубом»? — спросил Михаил.

— Кого это?

— Ну, этот самый... парус одинокий.

— Давай сюда... Погляди — во-он он...

— Я за тобой и в небо поднимусь.

— А вот посмотрим, как ты летаешь, сокол небесный. Лови! — Катя прыгнула, вытянувшись ласточкой, с отвесной скалы. А через минуту, вынырнув, потряхивая блестящей, черной от воды головой, позвала его: — Ну, что же ты?

Михаил набрал побольше воздуха, угрожающе надул щеки, потом вытянулся во весь свой длинный рост и выбросил из руки камень.

— Подходящая высота,— произнес он, прислушиваясь к падению камня и, кряхтя, медленно стал спускаться вниз; потом поплескался возле берега и вылез за Катей.

— Какой ты все-таки трусливый,— сказала она пренебрежительно.

Михаил произнес миролюбиво:

— Выражайся точнее: благоразумный. Мне нельзя прыгать с большой высоты потому, что я руководитель. Мне положено занимать высоты, а не прыгать с них.

— Ну, будь здоров, руководитель!

— Подожди.

— Что еще?

Он подошел к ней, взял ее за руку и заговорил иным тоном:

— Зачем ты себя унижаешь? Почему бегаешь за ним? Ну кто он тебе? Что он такого сделал?

— Ах вон ты что? Хорошо, я тебе отвечу... У него есть совесть и мужество. Хотя бы для начала... Он не хочет мириться с бараками, например.

— Барак! А что такое барак с общественной точки зрения? — перебил ее Михаил опять шутовским тоном и назидательно ответил: — Барак — это временная трудность.

— Может, пояснишь, что сие значит?

— Пожалуйста! Представь себе, что один человек любит другого, но открыться пока не может. Вот это и есть временная трудность. Сейчас одни страдания, а впереди — блаженство.

— Боюсь, что такому человеку придется долго ждать.

— Э-эй! Лукашин приехал!..— закричал кто-то от конторы.

— Ладно, мы еще поговорим о показной храбрости и о трезвости,— сказал Михаил.— А сейчас пошли в контору. Начальство ждет.

— Торопись... не то вдруг чего подумают,— ответила насмешливо Катя, удаляясь.

Через несколько минут вышел из своей засады Воронов.

«Скажи ты на милость, она еще и в делах разбирается... Тоже следит»,— подумал он.

Против желания своего ему было приятно услышать от нее лестный отзыв о своих начинаниях. Дело в том, что он, собрав бригадиров и десятников, предложил отжать «лишки» с промышленных объектов на жилье. Из-за этого, собственно, и спорили Семен с Михаилом. Ради этого Воронов увез потихоньку от главного инженера его резерв транспортеров. Увез без накладных, нахрапом. Стояли они на наружном дворе под навесом, и завскладом просто просмотрел их. Воронов понимал, что это ему не простят, но ради пользы дела он готов и взыскание получить. «И зачем это Лукашин пожаловал? — думал он.— Не из-за этих ли транспортеров?»

Там, возле конторы, стояли окруженные рабочими начальник строительства Лукашин, главный инженер Синельников, секретарша Неля. Среди этой разноголосой шумной толпы Лукашин ходил по кругу, пожимал каждому руку, приговаривая:

— Здравствуйте, труженики, здравствуйте! Нуте-ка, стол сюда! — весело крикнул он.— Мы вам привезли, товарищи, так сказать, производственный подарок — ордера на квартиры. Многие из вас переселятся завтра в благоустроенные дома.

— Сколько?

— Кто именно? — послышались голоса.

— Только десять ордеров,— предупредил Синельников.

— А на очереди полторы сотни...

— Ничего себе — многие...

— Кто списки составлял?

— Товарищи, списки составлены в порядке строгой очередности месткомом. Прошу,— Лукашин передал лидериновую коричневую папку Неле. Та уселась за стол и стала выписывать ордера.

Синельников взял под локоть Воронова и отвел тихонько в сторону:

— Пройдем к карьеру.

— Пожалуйста! — сказал Воронов.

В неглубоком скальном забое только что подорвали очередной отвал, и теперь камень лежал грудой, завалив все подходы. Но ни одного грузчика не было. Ни тачек, ни носилок... Лишь около бурового станка возились двое бурильщиков. А над катальными ходами тянулась целая вереница только что установленных транспортеров.

— Значит, сняли грузчиков? — насупившись, спросил Синельников.

— Да. Поставлю на жилье.

— Все лишки отжимаете,— усмехнулся Синельников и спросил: — А где остальные транспортеры?

— На домах.

— Почему не выписали на них накладные?

Воронов отлично знал, что никто бы ему таких накладных не подписал, но ответил с извинительной улыбкой:

— Не успел в суматохе.

— Партизанщина...

— Но ведь они стояли без дела!

— А вы знаете, что это резерв? Через три недели пойдет бетон в доке...

— За день освобожу.

— Думаете, их так просто перебросить и установить?

— Я надеюсь, что вы это сможете.

— Надейтесь...— сухо сказал Синельников.— Но за самовольство получите взыскание.

Они вернулись к столу, когда уже началась выдача ордеров.

Неля выкликала рабочих, те подходили к столу, Лукашин вручал им ордера, пожимал руку, произнося свое неизменное: «Поздравляю, труженик, поздравляю».

Синельников стоял рядом, скрестив на груди руки, и каждая пуговица его светлого френча ослепительно блестела. И выражение лица его было снисходительно-степенным, полным собственного достоинства; и весь он был похож на маршала, принимающего парад. «Точно похвальные грамоты раздают. Духового оркестра лишь нет... Вот комедианты! — думал Воронов, глядя на застывшего в важной позе Синельникова.— Ведь уже сколько домов-то нужно было сдать и заселить!.. А они привезли десяток ордеров... Смотрите, какие мы добрые! Любим вас, заботимся...» И Воронову захотелось нарушить это парадное настроение Синельникова какой-нибудь неожиданной выходкой.

Дождавшись, когда назвали последнюю фамилию, он повернулся к толпе и сказал громко:

— Товарищи! Вы знаете, как нужны нам квартиры. Я подсчитывал — людей для строительства жилья дополнительно можно найти на участках.

— Что?

Воронов, даже не оборачиваясь, почувствовал, как вытянулось вместе с возгласом лицо Синельникова.

В толпе кто-то крикнул, кажется, Семен: «Правильно!» На него зашикали.

Покрывая шум, Воронов сказал:

— Я выделяю со своего участка сорок человек. Если так поступит каждый участок, к зиме у нас не останется ни одного барака!

Он повернулся к Лукашину. На лице начальника не осталось и следа от давешнего благодушия. Синельников прищурил карие глаза и с легкой иронией смотрел на Воронова.

— Как вы думаете, товарищ начальник? — спросил Воронов Лукашина.

С минуту длилось напряженное молчание. Но вот Лукашин улыбнулся, развел руками и произнес тихим добродушным голосом:

— Да что ж я! Давайте послушаем производственников. У нас здесь главный инженер Синельников.

— Я возражаю,— резко заявил Синельников.— Надо собрать совещание, обсудить. Нельзя же с ходу решать такие важные вопросы. План под угрозу ставить.

— Я обязуюсь выполнить его без сорока человек,— упрямо настаивал Воронов.— На наших участках лишние люди. Резерв на всякий случай.

В толпе послышался гомон, и Воронов понял, что выходка ему удалась.

— Кого ты хочешь снять? — спросил Лукашин.

— Часть землекопов, грузчиков, плотников. И потом часть бетонщиков.

— А бетонщики согласятся? Ведь они лишатся своих высоких заработков.

— Они сами предложили.— Воронов отыскал в толпе Семена Саменко: — Подойдите! Где ваши подсчеты? — спросил Воронов подошедшего Семена.— Изложите, в чем суть.

— Понимаете, мы предлагаем двенадцать бетонщиков высвободить,— смущенно заговорил Семен, обращаясь к Лукашину.

— А кто будет массивы бетонировать? — спросил Синельников.

— Справимся! Я тут одно приспособление придумал...

— Как план завалить,— вставил, улыбаясь Лукашину, Михаил.

— Извините... У меня даже чертежик есть. Вот! — Семен вынул тетрадный листок, пересыпанный хлебными крошками. Синельников усмехнулся. Семен заметил это, покраснел и стал торопливо пояснять:

— Вот что я предлагаю! Все вибраторы намертво прикрепить к опалубке массивов, соединить параллельно — и на один пульт управления. Понимаете? Только опалубку прочнее обычной надо сделать. И оставить по одному бетонщику на массив. Тут вся хитрость в вибраторах...

— Ну-ка! — Лукашин взял листок и с минуту разглядывал его.

— Ну что ж, дельно! — сказал он, передавая листок Семену, и спросил Воронова: — А как же все-таки бетонщики? Согласятся на жилье?

— Как, ребята? — обернулся Воронов к толпе.

— Выделим... Пойдем... Дело доброе.

— Ради жилья стоит и нам не поскупиться.

— Дело, дело, ребята,— загомонили в толпе.

Лукашин, улыбаясь, протянул Воронову руку:

— В таком случае — я ваш.

Рабочие стали расходиться.

Синельников, о чем-то разговаривая с секретаршей, прошел мимо Воронова, не прощаясь. Лукашин, наоборот, задержался и, пожимая на прощанье руку Воронову, одобрительно заметил:

— Хвалю, деятель, хвалю! Ответственное дело взял на себя. Только, чур, пока не подбивать другие участки. Посмотрим на твой эксперимент. Смотри не подкачай! — И, погрозив пальцем, пошел к машине, где его поджидали Синельников и секретарша.

Когда Воронов остался один, к нему неожиданно подошла Катя. Она как-то неестественно опустила руки по швам и сказала, чуть нагибая голову, словно кланяясь:

— Я теперь жалею, что ушла от вас. Но все равно, спасибо вам за все. Вы прекрасный человек! И если вам будет трудно, если потребуется чья-то помощь — позовите, я всегда приду,— и она побежала прочь, не дожидаясь его ответа.

8

Никакой тетки в Красноярске у Кати не было. И в жизни никогда не была она в этом городе. И тетку, и Красноярск она выдумала для Воронова. Нельзя сказать, чтобы сделала она это с умыслом... Просто у нее была пора, когда она играла роль бойкой десятиклассницы. Она всегда кого-нибудь играла. Перед родителями-педагогами, жившими в далеком городе Златоусте, она играла роль педагога. «Мы, Ермолюки, люди твердого характера,— говорила она.— И фамилия у нас мужская. Катерина Ермолюк звучит мужественнее, чем какой-нибудь Иван Наволочкин... Самое подходящее дело для нас учить людей ...»

Но в Свердловском педагогическом институте она проучилась всего полтора года. Как-то, уезжая в колхоз на копку картошки, она познакомилась на вокзале с художником, писавшим на стенах и на потолке исполинские фигуры рабочих и крестьян и груды золотых плодов изобилия... Художник был седой и неопрятный, с очень

длинными волосами, в вельветовой куртке, а на шее у него был повязан какой-то чудной пестрый шарф. Одет ну точно как в старину... Позже Катя узнала, что этот шарф он повязывал потому, что ходил без рубахи. Неожиданно художник открыл у нее талант живописца и позволил ей расписывать яблоки и груши. Она так влюбилась в художника, что ушла из пединститута и поступила в художественно-профессиональное училище ФЗУ. Но, расписав вокзал, художник бесследно исчез, а Кате до чертиков надоело шлифовать гранитные плиты и вырубать каменные цветочки на фризах.

На счастье, она познакомилась на главном почтамте с кинооператором местной студии. Этот был молодой, но опытный. Наметанным глазом он определил, что у Кати фотогеничное лицо и что она вообще обладает талантом актрисы. Ее пригласили на пробы — сниматься в каком-то художественно-документальном фильме, рассказывающем о красотах Урала. Там две студентки-выпускницы должны совершать путешествие по родному краю и часто купаться на фоне красивых гор. Художественная комиссия нашла, что у Кати для этой роли подходящая фигура, и особенно ноги. В эту пору Катя носила пальто без пуговиц, придерживая левой рукой борта, точно так, как носят знаменитые актрисы свои роскошные манто. Но кто-то где-то не отпустил на этот фильм денег, а ее знакомый оператор влип в какую-то коллективку по общежитию. Их разбирали на бюро за лозунги, вывешенные в коридоре: «Перекуем мечи на ключи» и «Да здравствует Манолис Глезос — почетный член нашего общежития!..». Оператора услали куда-то в Татарию, а Катя осталась без копейки в кармане, без работы, без жилья.

Тогда она махнула рукой на это искусство и завербовалась на Дальний Восток, на годичные курсы старших нормировщиков. Надо было иметь профессию, идти снова в институт не хватало ни сил, ни терпения... Хоть и горько было убедиться в бесплодности своих притязаний на артистический успех... Да ведь голод не тетка. Нужда заставит сопатого любить, как говаривал ее отец. И потом, еще не известно, что там ждет ее на Дальнем Востоке. Курсы она окончила успешно и попала на стройку в Тихую Гавань...

Она довольно быстро раскусила Синельникова — что он за тип и что ему надо от нее. Она уже испытала удовольствие — быть на положении полужены. С нее

хватит! Ее больше устраивали геологи; они неожиданно приходили и уходили — ничего не обещали и с нее ничего не спрашивали. Она была почти счастлива — по крайней мере выбирала того, кого хотела. Осечка у нее произошла впервые в жизни — с Вороновым. И она ушла с его участка; ушла еще и потому, что работа сварщицы дурно сказывалась на лице и на руках и вообще оказалась вовсе не такой денежной, как об этом трепались.

Единственно о чем сожалела она теперь — так это о том, что отдалилась от Воронова и не станет видеть его. Но неожиданно для себя она обнаружила, что даже здесь, в Управлении, Воронов присутствовал незримо, о нем говорили почти во всех отделах; он будоражил, вызывал споры.

Начальник отдела кадров Михаил Титыч Дубинин, по прозвищу «Поддержка», крупный, сырой мужчина со щеткой седых волос и с каким-то недоуменным выражением на лице, переписывая ее учетную карточку, обронил как бы вскользь:

— Вовремя сбежали вы от этого Воронова.

Катя вопросительно посмотрела на него.

— Говорят, он план заваливает... А это значит — сидеть его рабочим без денег.

В производственном отделе о Воронове заговорил Леонид Николаевич Зеленин.

— А начальник-то ваш бывший с бесинкой,— посмеивался он, поглаживая лысину.— Все лишних людей отыскивает. А главный инженер ему лишние объекты подкидывает. Интересное состязание получается — кто кого.

— И он берет? — тревожно спросила Катя.

— Бере-от! — весело протянул Зеленин.— Он все берет: и вокзал, и новый жилой квартал, и рудники ему хотят подкинуть. Раза в полтора программу увеличили его участку, а люди почти те же.

— Но ведь он сорваться может!

— Все может быть... Но он старается — мечется с объекта на объект, как торпедный катер. Но если еще и рудники получит, то уж сорвется наверняка.

— Почему?

— У нас эта площадка называется чертовым колесом. Так что кого хотят прокатить по наклонной плоскости — туда посылают.

— А что же такого непозволительного сделал Воронов?

— Ого! — воскликнул Зеленин. На его желчном сухом лице изобразилось удивление.— Вот что значит быть нормировщиком в чистом виде. Слушайте, вам это полезно знать. Вся примудрость состоит в том, что наше хозяйство всегда выполняет производственный план. Заметьте — всегда! И это главный наш козырь. За это нас хвалят и даже премируют. Правда, по вводу объектов в эксплуатацию, особенно жилья, мы отстаем — это наш минус. За это нас даже и критикуют. Но что за беда! У кого нет минусов?! Кого не критикуют?! А что хочет Воронов? Он решил снять часть людей, ну кой-какой резервишко, с основных объектов на жилье. Понимаете, чтобы и то тянуть и другое. Словом, за двумя зайцами решил погнаться. Ай-я-яй, какой неопытный! — Зеленин защелкал языком и покачал головой.— На пределе захотел работать. И думает, что все последуют его примеру, вся стройка. Но ведь работать так — значит смотреть надо в оба. А то, не ровен час, и сорваться можно. Разве могут рисковать такими вещами разумные люди? А во главе стройки у нас люди стоят очень даже разумные. Впрочем, вы и сами убедились в этом.

Желчная речь Зеленина делала свое дело, и Катя все больше тревожилась за Воронова. «Надо непременно поговорить с ним,— думала она,— убедить его, чтобы он поступал более осторожно...»

Но в эту минуту в кабинет Зеленина вошел высокий беловолосый паренек лет восемнадцати в вельветовой курточке, из которой он заметно вырос. По светлым голубым глазам, по густому щетинистому бобрику Катя уловила в нем сходство с начальником отдела кадров. Это был его сын Толя, работавший лаборантом.

— Леонид Николаевич, ну что это за безобразие?! — сказал он, капризно наморщив лоб.— Меня Воронов выгнал из лаборатории.

— Воронов? Тебя? Выгнал? — качал головой Зеленин, поджимая свои тонкие губы.— Как же он тебя выгнал, интересно?

— Я им приготовил состав бетона для массивов-гигантов. А он приехал с этим рецептом и как заорет: «Кто подписывал этот рецепт?» Я отвечаю: «Я, потому что начальник в отпуске». А он говорит: «А кто составлял его?» Я говорю: «Тоже я». А он как гаркнет: «Вон из лаборатории, чтобы ноги твоей здесь не было! Тебе, говорит, не состав бетона готовить, а мякину для коров».

Я ему сказал, чтобы он сам убирался подальше. Он тогда схватил меня за руки, повернул и коленом... вытолкал.

— Какая непочтительность!

— Если его не накажут, я не буду работать в лаборатории.

Зеленин развел руками.

— Ну зачем же так пугать, Толя? Ведь ты только подумай — на тебе вся лаборатория держится. Как же без тебя будет существовать стройка?

— Вы все шутите, Леонид Николаевич! Я вижу — мне тут делать нечего.

На пороге с Толей столкнулся Воронов, хмуро посмотрел на него и вдруг, заметив Катю, смутился.

— Что этот недоросль у тебя делал? Жаловался? — спросил он Зеленина.

— Нет, восторгался твоей силой.

— А черт с ним! Все равно его нужно выгонять.

— А ты об этом поговори с Синельниковым либо с начальником.

— И поговорю.— Воронов набычился и сурово смотрел на Зеленина.

— Что ты на меня уставился? Может, и меня выгнать хочешь?

Воронов вскользь посмотрел на Катю.

— Массивы бетонировать скоро. А этот недоросль прислал такой состав гравия, что им не тонкие стенки бетонировать, а фундаментные башмаки.

За дверью раздался трубный голос жены Дубинина:

— Идем, идем! Это ему так не пройдет. Я покажу ему...

Могучая, пышущая гневом, она ворвалась, как пожарный, почуявший запах дыма. За руку она тянула сына и с ходу пошла в атаку на Воронова:

— Ты что же это безобразничаешь? Думаешь, на тебя управы не найдется? Врешь! Я в суд подам! Я до Верховного Совета дойду!..

— Что случилось, Ефросинья Ивановна? — перебил ее Зеленин.

— Как, что случилось? И ты еще спрашиваешь? Он, злодей, осрамил моего сына. Толя, расскажи, как он тебя ударил. Ну, чего стоишь? Рассказывай!

Дверь снова распахнулась, и вошел сам Дубинин.

— Фрося, у тебя совесть есть?

Дубинин говорил глухо, просительным тоном, и чувствовалось, что подобные сцены для него не впервой и что ему стыдно.

— Ты не у меня совесть спрашивай, а у него,— она гневно показала на Воронова.— Вот кто бессовестный.

— Ну, кто здесь какой — это наше мужское дело. Разберемся. А ты ступай, ступай домой. Толя, бери мать!

Они вместе с сыном взяли ее под руки, но в самых дверях Ефросинья Ивановна остановилась и крикнула Воронову:

— Мы еще посчитаемся!

— Ступай, ступай...— Дубинин аккуратно притворил дверь и сказал, неловко переминаясь у порога: — Я случайно заметил, как жена-то к вам пошла. Ну и почуял, что недоброе учинит. Вот оно как...— Он неуклюже повернулся и вышел.

— Кой черт меня дернул! — досадливо произнес Воронов.— И как это я не сдержался?

— Да ничего... Нет худа без добра,— сказал Зеленин.— Ему в школе надо учиться, а не в лаборатории работать. Все синельниковская протекция. Пусть теперь почешет себе мягкое место.

— А чего ради он старается? — спросил Воронов.

— Э, брат! Здесь — тактика. Михаил Титыч и начальник отдела кадров, и парторг по совместительству. Для Синельникова Дубинин — находка. Человек он простой, честный, лет двадцать с лишком прослужил в армии на каких-то складах, старался. И здесь вот старается.

— Постой! — перебил его Воронов.— Разве у Дубинина нет технического образования?

— Какое там образование!

— Но ведь его же избирали?!

— Конечно. Начальство предложило, мы поддержали. Да и чего возражать? Человек он простой, честный.

— Но ведь одной честности мало. Это же стройка!

Зеленин пожал плечами.

— А что же Лукашин? — спросил Воронов.

— А ничего. Живет. Спокойно, хорошо живет. Работа идет как по маслу, план выполняется. Чего еще надо?

Невозможно было различить, где кончался серьезный разговор и начиналась желчная зеленинская ирония.

— Можно подумать, что вам очень весело от всего этого,— сказал Воронов.

— А вы-то чего нос повесили? — обратился Зеленин к

Кате, молча сидевшей в стороне.— Работать будете здесь, в моем кабинете, вон в стеклянной кабине,— он кивнул в сторону застекленной перегородки.— Будете сидеть, как на командном пункте. Вся стройка видна отсюда как на ладошке. Извините, друзья мои,— Зеленин округло развел руками,— я на минуточку отлучусь...— И он вышел.

— Ну, как вы здесь устраиваетесь? — спросил Воронов.

— Спасибо, все хорошо.— Она как-то напряженно посмотрела на него, словно колебалась — говорить или нет — и наконец спросила: — Сергей Петрович, может быть, я не в свое дело суюсь... Но тут Зеленин много говорил про вас. Послушайте, зачем вы берете новые объекты? Ведь это же с целью делают...

— Наплевать... Под большой нагрузкой жить веселее.

— Опять это не мое дело... Но я хочу вас предупредить — вам хотят рудники подсунуть. Не берите их.

— Спасибо, Катя, за участие,— он мягко посмотрел на нее и ободряюще улыбнулся.— Все будет в порядке... Но отказываться не в моих правилах.

За дверью послышались шаги, и Воронов направился к выходу.

9

Если бы Синельникову сказали, что он противник так называемой инициативы снизу, он бы от души рассмеялся. В самом деле, он много возился со всякими изобретениями: он первый, например, поддержал идею создания безманжетного краскопульта. Никому не известный рядовой механик участка Иван Селянин принес ему однажды в кабинет модель такого краскопульта, сделанную из портативного огнетушителя. Краскопульт был вдвое меньше обыкновенного, прост и безотказен в работе, а главное — не имел манжетного насоса, этого бича маляров. Синельников вмиг оценил его достоинство. Он сам помог Селянину сконструировать шаровой клапан и, не дожидаясь утверждения в совнархозе, заказал пятнадцать образцов в своих мастерских. А теперь и в совнархозе знают, что этот самый краскопульт куда лучше патентованного. Да и того же Селянина не кто-нибудь, а он, Синельников, поставил главным механиком. Нет, инициативных людей он умел ценить, и в совнархозе это знали.

Но Воронов!.. Это совсем другое дело. Воронов пытается доказать, что планы строительства перевыполняются за счет жилья, что эти планы попросту занижены. Словом, он бросил вызов ему, Синельникову. Работать на пределе захотел? Хорошо! Получит рудники...

В самом деле, в будущем оловянные рудники станут не только отдельным участком, но и, по всей вероятности, самостоятельным управлением. Пока там строится только жилой поселок, да фабрику нужно закладывать. Так что если Воронову отдать эти объекты, он и увязнет в них, и участок его будет там. И пусть себе в горах вытворяет свои чудачества. Все подальше. А Лукашин должен согласиться с этим. И уж если придется, Синельников сможет настоять на своем.

Лукашина он знал хорошо. Когда-то очень непоседливый, «летучий голландец», как именовали его на стройках, Лукашин исколесил весь Дальний Восток, и не было, пожалуй, ни одного шпунта, забитого в набережные дальневосточных портов без его участия. Он был и гидротехником, и фортификатором, и аэродромы строил. Синельников впервые увиделся с Лукашиным, когда лицо у того было уже в глубоких старческих морщинах. И он «пристал к берегу», как шутили в тресте. Его назначили начальником производственного отдела. Невысокий, узкоплечий, как подросток, но с большой угловатой головой, Лукашин говорил с инженерами высоким голоском и смотрел при этом куда-то вниз, в сторону, словно стеснялся. Ко всем у него было одно и то же обращение — либо «деятель», либо «труженик», в зависимости от занимаемой должности. Еще у него была поговорка — «Всего дела хрен да копейка». И в тресте звали его за глаза — капитан Копейкин. Когда организовался совнархоз, ему предложили должность заместителя начальника управления по делам строительства, но он отказался и уехал в Тихую Гавань «на самостоятельную работу». Здесь ему построили отдельный дом, обнесли высоким забором, и вскоре он весь заполнился многочисленной лукашинской семьей. Возле дома осталось много нетронутых деревьев. Лукашин разбил цветник и зажил на славу.

— Я уж, деятели, и помирать здесь буду. Никуда больше отсюда не поеду.

Синельников видел, что Лукашин ценит свой покой и уж конечно не станет ломать копья из-за какого-то

Воронова. И потом Синельников понимал, что такой заместитель, как он, нужен Лукашину. В производственном опыте он не мог с начальником соперничать, зато тонко знал планирование. Он отлично умел извлекать деньги из выгодных объектов, очень хорошо знал свои резервы, редко пускал их в ход и никогда не работал на пределе. Эти резервы Лукашин в шутку называл «запасами прочности». «Ну, как там наши запасы прочности? — говаривал он.— Не худо было бы нажать в этом месяце». И они «нажимали», перекрывая план в отдельные месяцы, за что получали благодарности и премии.

Строительство все разрасталось, и теперь уже каждому понятно, что вместо управления создадут трест. Вот почему Лукашин и Синельников отказались передать все портовые объекты Тихой Гавани — док, пирсы, набережные стенки — субподрядчику. Словом, всю гидротехнику оставили за собой. Это были все выгодные объекты с железобетоном, с металлом, с богатым «запасом прочности». И вот этот Воронов первым делом стал прощупывать их «запасы прочности». Но Синельников умеет дать по рукам... И Лукашин должен понять это и поддержать главного инженера.

Если бы Синельникова спросили, чему он завидует, он бы ответил: только одному — производственному опыту Лукашина.

Война застала его на студенческой скамье. Прямо из института Синельников завербовался в Дальстрой. Это была крупная строительная организация с основным «строительным кадром», так шутили инженеры,— то есть с заключенными. Там работникам выдавали бронь, и Синельников всю войну проработал на стройках. Правда, непосредственно на участках работал мало. Быстро попал в плановый отдел и, уже будучи инженером планового отдела, заочно окончил институт. Потом многие годы просидел в отделах треста. И теперь, наверстывая упущенное, постоянно бывал и в доке, и на рудниках, и на строительстве пирсов. Ему хотелось, чтобы все видели, как сведущ он в любом деле. Он охотно брался за проектирование тех объектов, на которые еще не было технической документации. Так спроектировал он массивы-гиганты, работая по ночам не жалея сил.

И вот это налаженное с таким трудом дело мог развалить какой-то пришлый человек. Словом, неприятности могли быть только со стороны Воронова. Но они

появились совершенно неожиданно для Синельникова с другой стороны.

Однажды Лукашин ездил осматривать массивы-гиганты и возвратился озабоченный.

— Деятель, зайди ко мне,— позвал он Зеленина и уже в своем кабинете спросил: — Ты считал массивы-гиганты на остойчивость?

— Нет.

— Почему?

Зеленин развел руками.

— В суматохе-то времени не нашлось. А потом, проект составлял главный инженер. Что же я его буду проверять?

— Ну, ты эти экивоки брось, деятель. Не к делу они. Посчитай.

Долго провозился Зеленин с расчетами и, когда подвел итог,— ахнул. Метацентр массива-гиганта оказался чуть ниже центра тяжести. Значит, массив должен перевернуться. У него отрицательная остойчивость.

Лукашин тщательно проверил расчеты и вызвал Синельникова.

— Петр Ермолаевич, тебе знаком этот массив-гигант? — Лукашин подал ему чертеж с расчетами Зеленина.— Полюбуйтесь! — Он смотрел по своему обыкновению вниз в сторону, но голос его звучал повелительно.

— Расчет? — спросил Синельников, недоумевая.— Я считал уже.

— Посмотрите! Если нужно, еще раз посчитайте.

Синельников с минуту просматривал расчеты и вдруг густо покраснел. Его самоуверенное холодное лицо изменилось, на губах появилась виноватая, просительная улыбка.

— Нет, не может быть, не может быть,— проговорил он, переводя глаза то на Зеленина, то на Лукашина, словно ища поддержки.

— Ну что ж, докажите обратное,— холодно заметил Лукашин.

— Постойте, постойте... Здесь что-то не то.— Он склонился над расчетом, стал быстро проверять формулы, прикидывал на логарифмической линейке, и чем дальше, тем все суетливее становились его движения. Наконец он распрямился, растерянно пожал плечами.

— Черт знает что! Не понимаю, как это могло произойти.

— Садитесь,— указал Лукашин рядом на стулья Зеленину и Синельникову.— Что делать? Как будем выводить массивы-гиганты в море?

— Единственный выход — на понтонах, — сказал Зеленин.

— Понтоны мы не достанем, по крайней мере, в эти месяцы,— возразил Лукашин.— А массивы ставить нужно.

— Придется изготовлять деревянные,— заметил Синельников, все еще виновато улыбаясь.

— Правильно мыслишь, деятель. Но деревянные понтоны — лишний расход. На него могут обратить внимание, и потом неприятностей не оберешься. Стало быть, этот расход нужно оправдать.

Лукашин долго выводил карандашом какие-то затейливые каракули; его большой палец смешно отгибался и был похож на кочедык, которым в старину плели лапти. Лукашин сидел сбоку стола, заплетя ногу за ногу штопором, и впереди вместо одного носка торчала пятка. «Как это он ухитряется так вывертывать суставы?» — думал Синельников и отмахивался от этих неуместных мыслей и досадовал, что в голову не приходило ничего путного.

— Вот что, деятели,— заговорил наконец Лукашин,— массивы-гиганты мы потом должны добетонировать на месте — голову пирса делать. Работа будет идти медленно — волны мешают. А понтоны нам позволят еще на берегу поднять стенки чуть выше проектной отметки, да и в море будут ограждать от волнения. Значит, дело пойдет быстрее. Вот и надо подсчитать, сколько дней мы сможем таким образом сэкономить, выиграть. И написать надо официальный документ, что за счет этого выигрыша во времени мы идем на дополнительный расход. На изготовление понтонов. А теперь ступайте и действуйте.

Уходя, Синельников подумал о том, что эта неприятность при разумном подходе еще и пользой обернется.

10

После работы в контору к Воронову сходились десятники, механики, мотористы — велись подсчеты сделанного за день, закрывались наряды, выписывались новые. Затем он ехал с рапортом к начальнику Управления на летучку.

Лукашин собирал всех к девяти часам вечера. «Время теперь горячее, деятели, извольте докладывать лично, что сделано и что намечено». Домой возвращался только к одиннадцати, наскоро перекусив сыром или копченой кетой, засыпал тяжелым тревожным сном.

По утрам вставал рано с неприятной вялостью во всем теле и, перекусив тем же сыром или кетой, бежал на работу. К семи часам, когда еще на объектах не было ни души, надо успеть в гараж — выколотить грузовики, разослать экспедиторов по складам, подписать путевки и накладные. Потом мчаться на груженом самосвале с каким-нибудь цементом или кирпичом на далекий объект, где уже началась работа и ждут его указаний, расстановки. Все это и называлось — «войти в дело» или «горячим временем»...

В последние дни они готовились к бетонированию массивов-гигантов. Бетон решили изготовлять на месте. Для этого сколотили дощатый навес и установили под ним три бетономешалки. Воронов сам тщательно осматривал опалубку каждого массива, проверял прочность арматурной вязки, сварные узлы... И вот, когда эта подготовительная работа подходила к концу, вдруг прислали на участок новое распоряжение.

Воронов вместе с Семеном лазили в сложном плетении арматурных сеток и проверяли электропроводку для вибраторов.

— Ну как? Не подведешь с бетонированием? — спрашивал Воронов.— Смотри, опозоримся на всю стройку.

— Что вы, Сергей Петрович!

По лестнице на опалубку поднялся Михаил Забродин.

— Сергей Петрович! — крикнул он, помахивая чертежом.— Новость! Вот! — Он подал Воронову чертеж.

— Что такое?

— Приказано понтоны деревянные делать для массивов,— ответил Михаил.

Воронов развернул чертеж, внимательно посмотрел его и озабоченно свел брови. Потом вынул карандаш и начал быстро набрасывать цифры на обратной стороне чертежа.

— Я поехал в Управление,— сказал он наконец Михаилу и сунул чертеж в планшетку.— Надо выяснить, в чем дело.

В кабинете начальника производственного отдела он

увидел уже готовый макет деревянного понтона. На столе перед Зелениным стоял миниатюрный массив-гигант с этим деревянным кольцом поверху. Воронов мельком взглянул на Катю, сидевшую за стеклянной перегородкой, и быстрым шагом, наклонив голову, пошел к Зеленину. Тот встретил его понимающей едкой улыбкой.

— Чего это ты как на ринг вышел? Зубы-то стиснул. Иль вправду хочешь подраться?

Воронов показал на макет массива-гиганта:

— Кто придумал массивы-гиганты на деревянных понтонах выводить?

— Лукашин.

— Что он — с ума сошел?

— Почему?

— К чему огород городить? Выведем в море как обычно, без понтонов.

— Видишь ли,— дипломатично произнес Зеленин.— С понтонами мы быстрее соорудим из них пирс. Восемь дней экономим. Это подсчитано.

— А не подсчитано, во что обойдется эта экономия? Сколько стоит каждый понтон? Тысяч пять?

— Примерно,— утвердительно кивнул Зеленин.

— А их нужно восемь штук,— горячился Воронов.— Восемью пять — сорок тысяч. Хорош выигрыш! Нет, тут что-то нечисто. Ты не хитри.

— А ты об этом с Лукашиным поговори.

— И поговорю, в кулак шептать не привык.

— Геройствуешь? — улыбнулся Зеленин.

— По крайней мере, не ехидничаю. Смотрю я на тебя, Леонид Николаевич, и удивляюсь — человек ты деловой, видишь все несуразности на стройке, но прячешься от них в насмешки, как черепаха в панцирь.

— В панцире жить можно,— сказал Зеленин и продекламировал:

— Из чего твой панцирь, черепаха? —
Я спросил и получил ответ:
— Он из мной пережитого страха,
И брони надежней в мире нет.

— Цинизм — это следствие озлобленной души,— отчеканил Воронов.

— Замолчи! — Зеленин встал и вышел из-за стола.— Озлобленный, говоришь? — Он остановился перед Вороновым.— Ты здесь работаешь пятую неделю, а я четвер-

тый год. Главным инженером был. Геройствовал так же вот. А теперь в производственном отделе сижу. Ниже катиться не хочу... Понял?

Катя во время этой перепалки в напряжении застыла над столом.

В кабинет вошел Лукашин.

— А, деятель, здравствуй! — обратился он весело к Воронову.— Что это у вас тут за шум, аж в коридоре слышно? — ласково взяв Воронова под руку, он подвел его к макету массива.— Ну, как тебе наше изобретение на понтонах, нравится?

— Нет.

— Почему?

— Ненадежно и дорого. Буду категорически возражать.

— За дешевизной гоняетесь,— сдержанно возразил Лукашин.— Кстати, издержки производства неизбежны в любом деле. А время нам дороже денег.

— Особенно когда они государственные,— отрезал Воронов.

Катя даже зажмурилась.

— Вот что, деятель! — холодно сказал Лукашин.— Я двадцать пять лет трудился на стройках и за это время не раз встречал таких речистых обличителей, которые живут в коллективе без году неделя. Извольте делать то, что вам поручено.— И уже на ходу, возле двери, не оборачиваясь, добавил: — Вперед советую выражаться уважительнее, хотя бы по долгу службы.

— Ну как, поговорил? — спросил Зеленин, почесывая лысину.

— Поговорил,— сквозь зубы произнес Воронов и, не простившись, ушел, хлопнув дверью.

Катя вышла из-за перегородки, взволнованно прошлась по кабинету.

— Не понимаю,— остановилась она перед Зелениным, пожимая плечами.— Зачем понадобились эти понтоны?

— М-да,— улыбнулся Зеленин.— Видишь ли, у массивов отрицательная остойчивость. Они перевернуться могут. Потонут!.. Без понтонов нельзя.

— Как так? Это же недопустимо!

— Да вот так. Их главный инженер спроектировал. Блеснул!

— А что же Лукашин?

— Дал втихую нагоняй мне и Синельникову. Но ведь он и сам виноват. Просмотрел! Не станет же он оглашать

этот конфуз. Авторитет свой бережет. Да и выход искать надо. Вот он и сделал ход конем: на понтонах выводить массивы. И оправдание нашел — восемь дней экономии. Вот как жить-то учи́тесь!

— Но ведь их опасно устанавливать. Перевернуться могут!

Зеленин остановил ее:

— Это — кабинет, а не площадь. Не кричи!

Она молча ушла за перегородку, надела свою клетчатую шляпу, взяла сумочку и направилась к выходу.

— Куда ты? — крикнул ей вслед Зеленин.

Но она даже не обернулась.

— Да что вы — с ума, что ли, посходили все?

На площади перед Управлением она села в автобус и доехала до старого порта. «А теперь недалеко, пешком вдоль берега»,— решила она и пошла торопливо по каменистой тропинке. Почему он все-таки согласился устанавливать массивы-гиганты с отрицательной остойчивостью? Ведь это опасное дело! Зачем он берет на себя такую ответственность? Или он не догадывается, в чем дело? Нужно предупредить его, поговорить с ним. Она понимала, что ее поспешный побег мало что изменит, и все-таки торопливо шла к нему на участок.

Тропинка вилась по оголенным, словно ободранным, отрогам большой сопки вдоль самого берега бухты. Внизу с шумом колотились волны, и Кате казалось, что это бьется ее сердце. Ветер трепал на ней спадающий воротник серой кофты, плотно лепил на ноги узкую юбку, и было трудно идти на спусках. «Словно спутанная»,— подумала она.

Ее одинокая фигура, спускавшаяся с голой обрывистой сопки, была хорошо видна со строительной площадки, от массивов. Лиза ее узнала сразу по клетчатой шляпе.

— Сергей Петрович! — крикнула она, запрокинув голову.

Сверху, из-за опалубки массива, высунулась сначала голова Воронова, потом Михаила.

— Что такое? — спросил Воронов Лизу не совсем любезно.

— Катя Ермолюк! — Лиза показала на подходившую Катю.

— А-а,— Воронов вылез из опалубки массива-гиганта, спустился на землю по лесенке и пошел навстречу Кате.

Лиза ушла за массив и стала подсматривать за ними

из-за угла опалубки. Вдруг ей на голову свалилась щепка. Она вздрогнула и вскинула голову: там, на высоте семи метров, сидел Михаил и хитро подмигивал ей: «Ай-я-яй!»

— Подумаешь, важность какая,— Лиза и не стронулась с места.

— Сергей Петрович, я пришла вам кое-что сообщить про массивы-гиганты,— говорила Катя, все еще волнуясь и тяжело дыша от быстрой ходьбы.— У них отрицательная остойчивость. Зеленин сказал.

Воронов взял ее за руку, с минуту шел молча к морю.

— Знаю,— наконец произнес он.— Уж проверил.

— Но ведь их опасно устанавливать!

— На то я и инженер, чтобы не бояться таких опасностей.— Воронов сорвал тальниковый прут, подошел к самому приплеску.— Присядьте. Чего вы волнуетесь?—указал он на большой валун.

Катя села и невольно оглянулась—отсюда их не видно было—заслоняла скала.

— Я вас не понимаю,— сказала она, с недоумением пожимая плечами.

— А чего же тут понимать? Кому-то надо исправлять ошибки. Дело стоять не должно.

— Но нельзя же молчать!

— А я и не собираюсь молчать,— задумчиво произнес Воронов, чертя прутом по влажному песку.

Они старались не смотреть друг на друга, испытывали какую-то странную неловкость, молчали... Но говорить ему хотелось с ней, только совсем о другом, о том, что она пришла к нему, пришла сама, и массивы тут ни при чем... Все проще и важнее—он ждал ее, ждал последние дни и ночи, и сам хотел к ней, и пошел бы, если бы не эта дьявольская занятость, если бы знал, что она выйдет навстречу...

— Значит, зря я сюда шла,— сказала она наконец.

— Нет, почему же! Очень даже не зря... Очень.— Он смотрел на нее как-то растерянно и робко улыбался.— Хотите знать—я бы сам к вам пришел.

Она встала.

— Сергей Петрович! Сережа, милый!..— она бросилась ему на грудь и вся тряслась и плакала, приговаривая:—Прости меня, прости...

Он целовал ее прохладные, отдающие морской влагой волосы и бормотал:

— Ну что ты, что ты, глупая! За что же? За что?

11

Голубые стены лукашинского коттеджа в летний день совершенно тонули в густой листве амурских бархатов, кленов и ясеней. Здесь, у бугристых, выпирающих из земли корней таежных исполинов, было тихо, свежо и тенисто. Лучшего места для отдыха и не найдешь. Лукашин любил под вечер растянуться в гамаке с газетой в руках, слушать заливистый хохот своей многочисленной неугомонной детворы и добродушную воркотню дородной супруги, оберегающей цветники.

Вечернее солнце с трудом пробивалось сквозь заслон деревьев: в подсвете красноватых лучей трепетали серебристые перистые листья бархата и мельтешили в глазах, как морская рябь. Лукашин отложил газету и, закинув руки за голову, долго смотрел на протекающее сквозь листья синее небо и думал о том, что вот прошел еще один день, что завтра будет новый, что дни, в сущности, так мало отличаются один от другого, как и эти листья.

— Сеня! — послышался от цветников голос жены.

— Аиньки!

— К тебе Петя пришел.

— Так пусть проходит,— не вставая, сказал Лукашин.

От дома шел Синельников, одетый, как всегда, щеголевато — он был в светло-сером костюме и кофейного цвета шляпе.

— Ну, что стряслось? — спросил Лукашин.— Ты, деятель, и после работы не даешь покоя.— Он, кряхтя, стал подниматься.

— Да вот распоряжение о закладке фабрики пришло,— подал Синельников депешу.— Пришел посоветоваться, кого послать завтра на рудники.

Лукашин прочел бумагу.

— Ну и кого думаешь? — спросил он.

— Мне думается, Воронова надо послать,— предложил Синельников.— Закладка фабрики — дело ответственное. К тому же там строительство жилого поселка идет скверно. Может, пристегнем ему и поселок? Я думаю, он двинет дело.

— Правильно мыслишь, деятель. Он потянет. Феня! — крикнул Лукашин, обернувшись к жене.— Принеси-ка чего-нибудь из графинчика!

— Сейчас.

Над гамаком, раскинув свои пестрые крылья, спланировал дятел и, усевшись неподалеку на толстый ясень, начал деловито постукивать носом. Лукашин с минуту наблюдал за ним. Потом перевел свои робкие глаза на Синельникова, усмехнулся:

— Видал, птаха какая? Порхает, суетится, а дело свое делает и место свое знает. Не лезет в соловьи. Так вот и в жизни, деятель, важно занять свое место.

— Правильно, Семен Иванович! Да не каждый знает, какое место отведено ему,— сказал Синельников в тон Лукашину, с оттенком многозначительности.

Жена Лукашина, седеющая женщина с могучим тройным подбородком, принесла графинчик густой вишневой наливки, две рюмки и тарелочку свежих парниковых огурцов. Лукашин снял с себя полосатую куртку, расстелил на траве, разложил на ней все это богатство и присел на колени.

— Давай сюда, деятель! — Он налил обе рюмки.

Синельников, боясь запачкать костюм, присел на корточки.

— За новую фабрику,— поднял рюмку Лукашин.

— И за успех Воронова,— добавил, улыбаясь, Синельников.

На следующий день он занес в производственный отдел папку с чертежами фабрики, положил на стол Зеленину.

— Вот, передайте Воронову чертежи. Пусть отправляется завтра закладывать обогатительную фабрику.

— Значит, Воронова решили на рудники послать?

— Да, Воронова. И передайте ему, чтобы он принял там еще жилой поселок.

— Но почему же Воронова? — вышла из-за своей перегородки Катя.— Ведь у него план повышенный. Он сорок человек отпустил с основных объектов!

— Вы напрасно беспокоитесь за него,— любезно возразил Синельников.— Он отличный производственник. И потом, если ему не под силу, он может сам отказаться.— Синельников слегка кивнул головой и вышел своей легкой походкой.

— Леонид Николаевич, да что же это такое? — с бессильной горечью спросила Катя.— Он план может провалить.

— К этому и ведут,— зло ответил Зеленин.

— Но зачем?

— Чтоб не лез поперед батьки в пекло. Вы знаете, что будет, если ваш Воронов выполнит план без сорока человек? Строительству удвоят жилищную программу. Понятно? А от Синельникова потребуют выполнить ее.— Он взял оставленную Синельниковым папку и сердито вышел.

В вестибюле за длинным некрашеным столом одиноко сидел шофер дежурного «газика» и выкладывал столбики из домино.

— Поехали в рыбный порт, к Воронову,— сказал ему Зеленин и, не задерживаясь, пошел к машине.

«Ну, Аника-воин,— невесело подумал он про Воронова,— вот теперь ты попрыгаешь!»

Ему нравилась открытая, горячая натура Воронова и эта ничем не поколебленная вера в правоту дела, в свои силы. А он давно уже растерял свою уверенность. Жизнь обходилась с ним далеко не любезно, она тискала его, точно пресс формовочную глину, и Зеленин не раз удивлялся своей выносливости. Первый удар обрушился на его голову совершенно неожиданно: это было в тридцать восьмом году. Он был тогда еще совсем юнцом, только что окончившим институт. Работал в Белоруссии, неподалеку от границы, на строительстве небольшой гидроэлектростанции. Грунты были болотистые, тяжелые, речушка своенравная, лесная. После сильных дождей размыло временную фашинную перемычку, залило котлован с оборудованием, посрывало насосы. Словом, убытки были большие. Началось расследование. И посадили за вредительство кое-кого из инженеров, в том числе и его, ответственного за перемычку. В сорок втором выпустили, и он сразу попал в армию. Потом бои, три раза был ранен и под самый конец войны получил тяжелую контузию — два с лишним года провалялся в госпиталях — и опять встал на ноги. Куда податься? Жена с маленьким сыном была угнана в Германию и пропала без вести. Знания порастерял настолько, что на большую стройку идти было стыдно. Он и подался на край земли, сюда, на Дальний Восток. И здесь начал все сначала: и стаж производственный зарабатывать, и семью наживать.

Четыре с лишним года назад его послали главным инженером в Тихую Гавань. Здесь тогда было маленькое строительство по реконструкции старого рыбного порта, кое-что закладывалось в рыбацком поселке да строился

рыбоконсервный заводишко. Но уже через год строительная программа увеличилась в несколько раз... А потом по соседству было открыто оловянное месторождение и запроектированы рудники с горняцким поселком. Прислали изыскательскую группу с представителем от заказчика.

Зеленин выбрал под будущий поселок широкую солнечную долину, километрах в пятнадцати ниже того ущелья, где должны быть рудники. Он составил проект и послал его на утверждение в совнархоз. И вот приехал сам председатель с начальником управления горнорудной промышленности и начисто забраковали зеленинский проект, приостановили уже начатые работы по закладке поселка и приказали перенести строительство ближе к рудникам в целях экономии и удобства. Зеленин пытался возражать, но его не поддержал Лукашин. «Не все ли равно, деятель, где нам строить. Мы подрядчики».

А через два месяца в Тихую Гавань приехал на должность главного инженера Синельников — автор нового проекта горнорудного поселка. В приказе говорилось, что, в связи с увеличением объема работ, целесообразно сосредоточить усилия Зеленина на производственном отделе, и далее в таком духе... Зеленин отнесся к этому философски спокойно, только чаще стал выпивать и насмешливее, желчнее получались его рассуждения. Собственный горький опыт научил его прозорливости. Он и теперь видел, чего добивается Синельников, и ему было жаль запальчивого в своем упорстве Воронова. А впрочем, ну их всех к чертям! Жизнь идет своим ходом. И все, в конце концов, в порядке вещей.

Воронова он застал на участке, в конторе.

— Привет передовикам! — воскликнул Зеленин, входя.— А вот и добавочная нагрузка.— Он подал папку с чертежами сидящему за столом Воронову.— Велено ехать завтра на рудники фабрику закладывать.

Воронов с недоумением принял папку, раскрыл ее и озабоченно стал рассматривать чертежи.

— Да, но ведь у меня план под угрозой! И потом, массивы-гиганты бетонировать надо.

— У всех план. У тебя есть заместитель, вот и поручи ему.

— У меня же повышенные обязательства!

— Вот тебе и отдали фабрику. Почетное дело! Кстати, горняцкий поселок тоже примешь.

Воронов испытующе посмотрел на Зеленина.

— Понятно! — наконец тяжело произнес он и встал. С минуту ходил, подминая скрипучие половицы. — Что делается! Что делается! И все довольны.

— Почему все? Вот ты, например, недоволен.

— А ты доволен?

— А я посмотрю, как ты теперь план будешь выполнять. А не выполнишь — уж на тебе отоспятся.

— Спасибо за откровенность... Все равно, рано или поздно, а нам с Синельниковым придется столкнуться.

— Да дело-то не в Синельникове, голова. Ведь Синельников не сам по себе, а при Лукашине. Но попомни меня, если Синельников будет проигрывать — Лукашин пожертвует им.

— Почем ты знаешь?

— По личному опыту. Он даже поддержит тебя.

— Почему — даже?

Зеленин усмехнулся.

— Поддержать может. Но учти, Лукашин никогда не поставит тебя главным инженером.

Воронов в недоумении пожал плечами.

— Не догадываешься? У тебя слишком много самостоятельности. Ты можешь гнуть свою линию. Нет, таких в заместители не берут. Впрочем, желаю тебе удачи.

12

Воронов выехал на рудники ранним утром. Впрочем, рудников никаких не было; так называлось прорабство в верховьях речки Снежинки на месте оловянного месторождения. Воронов ехал закладывать первую обогатительную фабрику для будущих рудников. Там уже строился жилой поселок для горняков, но, судя по донесениям, дела шли из рук вон плохо.

Дорога в верховьях Снежинки проходила по таежной долине и была в летнее время доступна только для тракторов, да, в порядке исключения, пробивались к рудникам грузовики — «татры».

Машину, на которой ехал Воронов, основательно загрузили кирпичом, так что рессоры вытянулись в стрелочку.

— Надо, чтоб лесная жижа вылетала из-под колес, как из-под пресса, — пояснил шофер, конопатый худенький

паренек в солдатской гимнастерке.— Чтоб до корней пробивало.

Грузовик был высокий, тяжелый, как танк, с двумя ведущими мостами да еще со свободной подвеской четырех спаренных задних скатов. В его тупорылом корпусе глухо рокотал могучий дизель.

— Цепи возьми на всякий случай,— сказали шоферу в гараже.

«Черт возьми! Словно на штурм Казбека собираемся»,— невесело подумал Воронов.

Сразу же за поселком, как только въехали в березовое мелколесье, дорога запетляла. Первый мосток через Снежинку, выложенный из кривых, неошкуренных бревен, под тяжелыми колесами грузовика забился, как в ознобе. Воронов опасливо покосился из кабинки на стремительный, бугристый, словно перевитый, поток:

— А не провалимся?

— Тут неглубоко,— равнодушно отозвался шофер.— Мы раз десять будем переезжать ее, Снежинку-то.

И в самом деле, километра через полтора невыносимо тряской дороги грузовик на мгновение застыл на гравийном речном откосе, словно приглядываясь, и, раскатисто всхрапнув, смело пошел в речной поток, шумно разбрызгивая воду. Потом этих бродов и через речку, и через потоки, и через болота было столько, что Воронов сбился со счета. Ехали по двум широким колеям, оттиснутым зубчатыми гусеницами. На корневищах и выворотнях могучий грузовик кренило и бросало с боку на бок. Воронов упирался обеими ногами в пол кабинки, держался за скобу, и все-таки его сильно потряхивало. «Эдак всю душу вымотает, пока доедешь,— думал он.— И что у нас за народ! Фабрику закладывают, а дороги к ней нет... Давай, давай! Будет и дорога. Разумеется, будет когда-нибудь. Но почему не с дороги начинать? Почему начинаем закладывать фабрику, когда еще поселок не готов?

Ведь и дорога и этот поселок нужны позарез, и, рано или поздно, они будут! Так почему их до сих пор нет? Ведь давно известно, что фабрику там ставить надо. Почему же рабочие, строя фабрику, теперь должны жить в палатках? Почему сначала не построить этот поселок? И рабочих завезти в те дома столько, сколько нужно для строительства фабрики. И поселить их в настоящие квартиры. И работа пойдет веселее и куда легче. А так

мы ломаем машины на этих вот дорогах, несем убытки на временном жилье... А люди? В какие убытки уложишь их лишения?»

Широкая лесная долина, по которой петляла Снежинка, все выше поднималась в горы. Они тянулись двумя ровными хребтами, увалистыми, пологими, затененными дремотной таежной синевой. Куда ведут они и где окончатся — кто знает? Их мягкие от лесного покрова, словно шерстистые, спины пропадали где-то высоко в лиловом мареве горизонта. А машина всё упорно шла, подпрыгивая, решительно ревела, и можно было подумать, что она в самом деле хочет забраться куда-то на небо.

Мысли Воронова от этой беспрестанной тряски постоянно прерывались, и в памяти возникал вчерашний вечер, Катя и как привел он ее домой.

Он ввел ее в квартиру по-смешному торжественно: оставил чемодан на лестничной площадке и повел ее, открывая двери и в комнаты, и на балкон, и в ванную — отчего квартира казалась больше и внушительней.

— Это все наше! — говорил он, радуясь, чувствуя, как смотрит она больше на него самого, чем на эти двери, белые раковины и блестящие краны.

— Наше,— тихо повторяла она.— Наше... я как во сне.

Потом они пили водку и смеялись, что на закуску нашлась только копченая кета. Они обдирали сухие вязкие волокна и складывали их в кучку, на столе перед собой, точно щепки. «Мы биндюжники!» — засмеялась Катя, не особенно представляя себе смысл этого слова. «Мы охотники,— возражал Воронов.— У нас есть юкола, но нет собак, поэтому мы поедаем ее сами...» Он наливал водку в высокие пластмассовые стаканчики. Каждый раз после выпитой стопки он обнимал ее за плечи и притягивал к себе. Она запрокидывала голову, закрывала глаза и жадно, торопливо целовала его.

Он вдруг легко поднял ее на руки и понес в спальню.

— Боже мой, в комбинезоне? — прошептала она.

— Наплевать! — он совсем позабыл, что не переоделся с работы.

— Наплевать,— повторял он, торопливо сбрасывая одежду с ее обмякшего податливого тела... У него дрожали руки и щемило где-то в горле, точно от испуга. Его и в самом деле охватил на какое-то мгновение страх — а вдруг всего этого не будет, не состоится? И то, к чему он теперь стремился, чего так жаждал, казалось важнее всего на

свете. И он всем существом своим чувствовал, как сильно забилось сердце, как отдавались эти удары гулом в ушах, как от радостной тревоги распирало грудь. «Ну, скорей же, скорей!» — все кричало в нем в какой-то слепой ярости. Катя, Катюша... Катенька...

А утром, когда он чуть свет очнулся от короткого сна, то увидел, как разбросанные на полу вперемешку валялись простыни, сапоги, одеяло, черный комбинезон и розовая сорочка. Катя спала совершенно нагой, свернувшись калачиком, положив голову ему на руку. Она показалась ему теперь худенькой и совсем небольшой. Он стал тихонько гладить ее ноги и удивился, что бедра были теплые, а голени каменно холодными...

Потом на балконе в пестрых халатах они пили кофе, и он удивлялся свежести ее лица — как будто и не было беспокойной ночи, словно проспала она восемь часов беспробудным сном.

— Ну, обживай здесь... хозяйка,— сказал ей на прощанье Воронов.

Она долго не отпускала его у порога:

— Приезжай скорее, Сережа!..

Грузовик, натужно ревя, медленно выползал из болотной гати; застоявшаяся зеленоватая жижа быстро затягивала следы, и только по хрусту фашин под колесами можно было предположить, что под ними есть все-таки какая-то твердая основа. Вместе с болотом внезапно окончился лес. Машина весело катила по мягкой, черной, взбудораженной тракторами дороге. На травянистой широкой впадине вовсе не было леса, и оттого казалось, что горы здесь внезапно расступились, отдав этот простор солнцу, ветру и веселым серебристым волнам, несущимся по высокому травостою в оранжевых пятнах саранок и синих вкраплинах касатиков. Посреди этой пестрой цветочной благодати серыми кочками возвышалось несколько заброшенных развалюшек, полузаросших бузиной и бурьяном.

— Что это за местечко? — спросил Воронов у шофера.

— Солнечное. Раньше здесь подсобное хозяйство леспромхоза было.

— Солнечное! — Воронов вспомнил, что в этом Солнечном по первоначальному проекту Зеленина и должен был строиться поселок горняков.

— А ну-ка останови!

Он вылез из кабинки как раз напротив невысоких куч битого кирпича. Осмотрелся. Здесь же, недалеко от дороги, чернели когда-то вырытые под фундамент траншеи: теперь они обсыпались, отвалы их позаросли травой. Да, в этом самом месте по замыслу Зеленина закладывался поселок. Сомнений не было. Ну что ж, по крайней мере, место выбрано подходящее. Посмотрим, что там. Воронов влез в кабинку.

— Поехали!

И снова пошел густой подлесок, только не светлый березовый, как в низовьях, а темный кедрач. По уступам скалистых отрогов карабкались островерхие ели; свилистые ветви ильмов и трескуна безжизненно свешивались над дорогой, точно перебитые. Высокие хмурые хребты, словно в отместку за приволье Солнечного, сошлись теснее, громоздя друг перед другом угловатые гранитные плечи. Долина перешла в горное ущелье. Снежинка зашумела тревожнее и вся растеклась по каменистому ложу на десятки пенистых ручьев. Вскоре скрылось за одним из хребтов солнце, и со дна ущелья, там, где сгрудились темные кедры, потянуло острой погребной сыростью. Чем выше поднимались в горы, тем все теснее становилось ущелье, все беспокойнее металась река по своему изменчивому руслу.

На рудники приехали лишь за полдень. Сперва показались дома так называемого аварийного поселка, то есть поселка, располагающегося у самой фабрики, в котором будут потом размещаться дежурные службы. Он был в основном уже построен. Воронов насчитал шесть восьмиквартирных двухэтажных домов, прижатых Снежинкой к самому подножию хребта. Чуть на отшибе стояло обнесенное забором деревянное здание школы. Полускрытая елями, виднелась белая коробка котельной, черная труба вровень с макушками елей. Прорабская дощатая контора вместе с двумя сараюшками-складами притулилась под самым скальным навесом. Воронов поставил машину под разгрузку, а сам пошел в контору.

Здесь, вокруг стола на табуретках, сидели человек пять ребят и отчаянно ругались. В конторе было сумрачно от табачного дыма и голо, как в проходной. В одном углу стоял грубо сколоченный из неоструганных досок стеллаж, на его полках вылялись чертежи. Возле стеллажа виднелось ведро, в котором плавал ковш.

— Что это у вас за спор? — спросил Воронов, поздоровавшись.

Один из споривших, с редкими рыжими волосами, сквозь которые просвечивался шишковатый череп, словно булыжник сквозь клок сена, сердито вскинул на Воронова голубые глазки с белыми ресницами и вызывающе произнес:

— А вы кто такой, чтоб отчитываться перед вами?

Воронов представился, показал направление, подписанное Лукашиным. Рыжий парень сразу как-то обмяк, и его белые ресницы часто замигали.

— Прораб Белкин,— протянул он руку и заговорил быстро, заикаясь, словно его подстегивали: — Что ж это за работа! Надо фундаменты закладывать, траншеи копать, а наши бригадиры только и знают, что скандалить...

— Да ты обеспечь нас насосами!

— Ломы давай нам, клинья! А потом работу спрашивай,— загудели все разом.

— Стойте! — Воронов поморщился.— Выкладывай по очереди. Кто первый?

Но все умолкли, как по команде. И снова заговорил Белкин:

— Насосов у нас не хватает. Да разве их напасешься! Ведь мы здесь только и делаем, что воду качаем.— Он огорченно махнул рукой.— Да и наледь замучила. Хватишь грунт штыка на полтора, а там — лед: ни киркой его, ни лопатой не возьмешь.

— Это где же наледь?

— Да по всему ущелью. Особенно на месте будущего главного поселка.

— В июне — и наледь? — удивился Воронов.

— Ого! Она тут до самого августа держится, как в хорошем погребе.

Один из сидевших, черноусый, с намотанным на голову полотенцем, похожий на турка, зло сказал, ворочая синеватыми белками:

— Мы ехали сюда за десять тысяч километров не воду качать, а работать.

— Так не будешь же в воде фундамент класть! — крикнул с каким-то тоскливым бессилием Белкин.— Или тебе все равно, лишь бы траншею завалить и деньги получить?

— Ты нас деньгами не попрекай,— угрюмо пробасил широкоскулый с облезлым носом рабочий в засален-

ной гимнастерке.— Много мы у тебя тут заработали денег-то?

— У меня заработали? Ты так же у меня работаешь, как я у тебя,— отбивался и наскакивал по-петушиному Белкин.

— Ты нас работой должен обеспечить, а не мы тебя,— упрямо твердил свое рабочий в гимнастерке.

— Поди ты, докажи ему, что здесь не частный сектор! — Белкин всплеснул руками и просительно посмотрел на Воронова в надежде получить поддержку.

Воронов знал, что подобные препирательства затягиваются надолго и тут порой трудно бывает не только разобраться, кто прав, кто виноват, но и доискаться до причины споров. Поэтому он решил попросту перевести разговор на другую тему. Посмотрев на широкоскулого, он спросил дружелюбно:

— Где это вы так нос перекалили? Вроде бы вас не балует здесь солнышко.

Парень в гимнастерке пощупал свой облупленный сизый нос.

— А вон там, на верхушке,— он поднял кверху палец.

— Он к нам недавно из экспедиции перешел,— пояснил Белкин.

— А что ж в экспедиции? Харчи кончились?

— Работу завершают геологи,— отозвался беловолосый паренек в розовой рубашке,— запасы пересчитали. Колоссальные залежи!

— Ну вот и мы к сроку поспели.— Воронов положил папку с чертежами.— Фабрику закладывать будем.

— Вот это дело!

— На сопке?

— Вот это можно рвануть...

— Да уж не воду качать.

Черные, мозолистые, заскорузлые руки потянулись со всех сторон к папке.

— Э, нет! — Воронов придавил ее ладонью.— Фабрику строить будут другие рабочие. Специально приедут сюда шестьдесят человек. Так что надо приготовить место для палаточного лагеря,— сказал Воронов Белкину.— А у вас же есть работа! — обернулся он к примолкшим рабочим.— Вы строите жилые дома... целый городок с клубом, с магазином и даже с центральным проспектом.

— Этот городок на воде вилами писан,— усмехнулся похожий на турка парень.— Пополоскать бы в этой воде тех, кто проектировал его.

— Ну что же, разберемся, товарищи! — Воронов посмотрел на часы. — Обед кончился, пора за работу.

Загремели табуретки, и рабочие стали расходиться нехотя, вразвалочку, засовывая руки в карманы.

— Новый начальник, новые обещания...

— Все они хорошо поют первое колено, — раздавались голоса в дверях, и Белкин настороженно посмотрел на Воронова: «Ну-ка, что ты возразишь?» Но Воронов равнодушно выкладывал из папки чертежи, словно ничего и не слышал. Потом посмотрел на стеллаж — куда все это положить? Там валялись замусоленные и протертые на сгибах чертежи, пухлые растрепанные книжки «пояснительных записок» и смет с оборванными корочками, «единичных расценок» — и все эти стопки были придавлены то счетами, то арифмометром, то какими-то ржавыми железными болтами. Перехватив тяжелый вороновский взгляд, Белкин бросился к стеллажу наводить порядок.

— Ладно, чего уж там, — примирительно сказал Воронов. — Есть и поважнее дело. Пошли-ка на строительную площадку. Что у вас там за веселье?

13

Будущий главный поселок лежал выше аварийного, за Снежинкой, на том месте, где виднелись разваленные избы и дворы, оставленные экспедицией. Через Снежинку переходили до середины по бревнам, дальше — вброд.

В одном месте Воронов оступился и залил сапог. Вода оказалась холодной до ломоты в костях.

— А, черт! — выругался он. — Хоть бы мосток уложили.

— Укладывали не один раз, да сносит, — уныло отозвался Белкин. — Сумасшедшая река. После дождей здесь такое творится, что и не подступишься. Море-окиян...

От самой кромки противоположного берега, сплошь покрывая неширокую речную пойму, поросшую низкорослым жиденьким леском, потянулась наледь. Из ее ноздрястой грязной поверхности торчала клочковатая бурая щетина застарелого бурьяна, отчего наледь смахивала на шелудивую шкуру издыхающего зверя. Она все еще была толстой и крепкой, от нее веяло холодной сыростью и горьковатым грустным запахом оттаивающей ольховой

коры. Все эти прихваченные наледью деревца стояли трогательно обнаженными и по сравнению со своими рослыми зелеными собратьями на склонах сопок выглядели какими-то жалкими недокормышами. Все здесь было запоздалым и почти ненастоящим: ольха казалась голенастой, и крохотные зеленые листики удерживались на ней рядом с черными прошлогодними шишечками; тонкие, словно вымученные березки росли кустами и были похожи на картофельные побеги, вытянувшиеся из подполья; на них тоже еле распускались листочки; багульник стоял совершенно голый и цвел вовсю, хотя пора его цветения прошла уже давным-давно — месяца два назад. И только темные ели, равнодушные и к теплу и к холоду, сохраняли свой обычный вид и достоинство, одиноко возвышаясь остроконечными макушками, да вокруг них теснились стайками маленькие лиственницы, опушенные налетом мягкой хвои.

Воронов долго оглядывал эту непривычную для глаз картину и наконец произнес сочувственно:

— Ничего себе кладовая! Холодильника держать здесь не надо.

— За зиму ее столько намерзнет, что дома по крышу закрывает. Из-под каждого камня прет.

— А ну пойдем, показывай свои дома.— Они пошли по наледи к подножию того хребта, на склонах которого будут карьеры и фабрика. Здесь, внизу, всюду остались следы от геологической экспедиции: валялись вмерзшие в лед ящики, бревна, остатки разваленных и растащенных сараев; а там, возле самого устья Снежинки, в редком ельнике, Воронов заметил три вмерзшие по самые крыши избы — их так и бросили, поснимали только кровлю да на одной разобрали верхние венцы сруба.

— Есть здесь кто-нибудь из экспедиции? — спросил Воронов.

— Есть. Кажется, главный инженер. Там, наверху, возле штольни обитает.

Весь будущий поселок горняков состоял пока из одного двенадцатиквартирного дома, выведенного почти под стропила. Здесь работали десятка два каменщиков и плотников: одни заканчивали кладку стен, другие трудились над чердачными перекрытиями. Окна первого этажа наполовину были скрыты наледью, междуэтажного перекрытия не было; изнутри здания десятка полтора рабочих вырубали лед.

— До сих пор не могли лед вырубить! — с заметным раздражением сказал Воронов.

— Так ведь рабочие заняты были в аварийном поселке.— Белкин по-девичьи заморгал своими белыми ресницами.

«Не в том беда, что лед поздно вырубают, а в том, что на этом месте дома строят»,— с досадой подумал Воронов и пошел к траншеям, вырытым под новые дома.

Закладывалось четыре фундамента: они вытянулись по наледи, окруженные кучами бутового камня и кирпича, завезенного зимой и снизу наполовину все еще скованного льдом. Под наледью шли тяжелые глинистые грунты, перемешанные с булыжником. Вода хлестала по дну траншей сплошным потоком, и насосы, установленные на фундаментах, не успевали откачивать ее. Люди ходили грязные и злые — одни ругались, вычерпывая воду ведрами, другие курили и, казалось, равнодушно смотрели, как вода затапливает только что уложенные стенки фундамента.

Здесь Воронов встретил тех ребят, что шумели в конторе; они выжидательно смотрели на него и тяжело молчали.

— Надо все насосы поставить на один фундамент,— сказал Воронов Белкину.

— А что будут делать люди на остальных фундаментах? — спросил Белкин.— Куда я их поставлю? Эх! — воскликнул он в сердцах.— Пока аварийным поселок строился, еще дело шло. А теперь вот сгрудилось все здесь...

— Ведь это же Снежинка, Снежинка бьет здесь из-под каждого камня! — выкрикивал он с каким-то злорадством, тыча рукой в траншеи.— Просто какая-то подземная река. Разве ее перекачаешь?

— Верно говоришь, река и впрямь будто подземная,— согласился Воронов.— Тут одними насосами не обойдешься. Здесь канал отводной нужно рыть. Сверху, на перехват воды.

— Да кто ж нам заплатит за такой канал? В проекте он не предусмотрен...

— Придется заняться этим проектом,— раздумчиво заметил Воронов.— Вот что, распоряжайся здесь. А я схожу к геологам, у них должен быть точный дебит Снежинки. А потом вместе подумаем, что можно сделать.

Он несколько раз пересекал ущелье, поднимался на-

верх к геологам и тщательно изучил многочисленные промеры Снежинки. Река действительно оказывалась, по меткому определению Белкина, подземной. Ее поверхностный дебит был в девять раз меньше грунтового. Она имела капризный, своенравный характер: постоянно меняла русло и гуляла в пределах ущелья как ей вздумается.

Характер наледи оказался тоже очень неприятным.

Если бы она имела определенное направление, ее можно было бы преградить барьером. Но она вырастала повсюду и принимала самые неожиданные формы. Здесь, в ущелье, били сотни ключей — грунтовые воды выбивались повсюду. Они неслись в Снежинку и наращивали наледь. «Очень сложные условия. И не столько для строительства, сколько для жизни здесь», — думал Воронов. Существующий проект, по его глубокому убеждению, не устранял этих трудностей. Снежинку, например, предлагалось взять в глубокое русло. Но это было б целесообразно, если бы река являлась обыкновенной, а не с подземным дебитом. А так она может пробиться в любом ином месте и попросту обойти уготовленное ей русло. Другое дело, если ее взять в огромную дренажную трубу, но это будет стоить колоссальных денег! И даже в таком случае трудно застраховаться от наледей.

Вечером Воронов долго просидел с Белкиным над генеральным планом поселка. Чертежи Белкин прихватил с собой на дом. Он занимал комнату в коммунальной квартире нового дома. В комнате Белкина было так же голо, как и в конторе: вся мебель состояла из койки, стола с двумя табуретками и грубо сколоченного стеллажа под книги. В углу висели фуфайка, комбинезон да валялись резиновые сапоги, прикрытые портянками.

— Вы расположились как временный постоялец, — сказал Воронов, осматриваясь.

— А я и так временный, — весело отозвался Белкин. — Меня уж два раза снимали отсюда. И опять посылают... Видать, лучше подыскать никого не смогли. Наверно, подыщут.

— За что же вас снимали?

— План заваливал. И в этом месяце завалю. — Белкин говорил с отчаянной веселостью, но за этой веселостью чувствовалась невысказанная горечь.

— Отчего же так примирился?

— А, шут с ней, — он равнодушно махнул рукой. —

Сначала-то вроде хорошо шло. А впрочем, все мы начинаем хорошо, да вот не все тянуть умеем.

— Вы здесь с самого начала?

— Да. Сразу после института сюда попал.

— Как же вас загнали в это ущелье? Ну-ка расскажите.

— Очень просто. Мы начинали строить поселок в Солнечном. Видели травянистую ложбину? Ну вот. В начале позапрошлой зимы приезжает к нам председатель совнархоза Мясников, а с ним начальник управления горнорудной промышленности да еще наши братья-строители. Председатель совнархоза, такой солидный, в бобровой шапке,— говорят, начальником главка был,— но мужик веселый, все с шутками да с прибаутками прохаживался. «Вы, говорит, хутора, что ли, здесь строите?» — «Нет,— отвечаем,— поселок для горняков».— «Для горняков? — он вплеснул руками.— А я и не догадался. А чем же здесь будут заниматься ваши горняки? Может, коров пасти?» — «Руду добывать»,— говорим. «Ишь ты, руду!.. А где же рудники будут?» — «Да километров пятнадцать отсюда по ущелью в горы».— «Вот бы проектировщиков заставить бегать на работу за пятнадцать километров, да еще в горы».— «Для рабочих автобусы будут»,— сказал Зеленин. «Ага! — иронически согласился Мясников.— А возить их за счет государства? Вот умники! Ну-ка, поехали к рудникам...» И все подались сюда. Здесь красиво было. Все снежком припорошено. Наледь еще не успела образоваться — начало зимы. «Вот здесь и строить нужно поселок,— сказал Мясников.— Тут тебе и работа, и жилье под боком. И возить их никуда не надо. Экономно и для государства, и для рабочих удобно».

— Да неужто никто не возразил ему из строителей? — спросил Воронов.

— Зеленин возражал. Здесь, говорит, условия трудные, наледи много. А Мясников ему: «А вы что, трудностей испугались? Наледи устранить и строить поселок. Орлы горные будут здесь жить!» Вот так сказал да уехал. А потом уж появились и проект Синельникова и рабочие чертежи домов из проектного института.

Воронов встал и, заложив руки за спину, крупно зашагал по комнате.

— Но солнце-то, неужели они не заметили, что солнца здесь нет! — воскликнул Воронов.

— Солнца? — переспросил Белкин.— О солнце ничего

не говорили. День был пасмурный, его вообще не было, солнца-то.

— Ну а что ж заказчик? Будущие горняки! Они тоже молчат? Ведь им здесь жить! Рудник рядом и на высоте... Значит, пыль от выработки породы будет оседать в ущелье. Это ж верный силикоз!

— Заказчики каждый месяц возмущаются. Как приезжают принимать работы, так все грозятся прикрыть это дело и перенести в поселок Солнечное. Вы, говорят, построили да уехали, а нам силикоз наживать... Вроде в Москве хлопочут... Ну, заговорились мы совсем, спать пора.— Он встал из-за стола и лениво потянулся. Потом принес откуда-то раскладушку для Воронова и одну подушку.

— Вот оказия-то,— виновато говорил он,— забыл я совсем про постель. Надо бы у коменданта взять. А теперь придется кое-как.— Белкин достал из чемодана одну простыню и кинул Воронову еще свой облезлый плащ.— Больше ничего нет.

А через минуту он уже захрапел на своей кровати, сраженный мгновенным сном. Воронов долго еще не спал и думал о том, что Синельников расчетливо занижает планы жилья, шоферы надрывают моторы на расхлябанной дороге, Белкин строит неразумно поселок и тратятся впустую трудовые копейки. «Это как наледь,— думал Воронов,— прет из подземных глубин в лютые морозы и находит теневые ущелья, где скапливается, мешает работе и жизни. Вокруг горы великого дела, а в ущелье наледь... И ведь не в том особая беда, что ошибается Мясников. Он не семи пядей во лбу. К тому же и не специалист. А беда в том, что тотчас же находятся ловкие сообразительные люди, вроде Синельникова, которые любую ошибку могут преподнести в ореоле гениального открытия. И уж конечно не без выгоды для себя...»

14

Весь вечер у Семена было скверное настроение. Завтра бетонировать массивы, а сегодня выяснилось, что не хватает вибраторов. Звонили на склад — там сказали, что разобрали по участкам... Прислали какой-то жалкий десяток. А их нужна чертова уйма. Вот и выкручивайся как знаешь. Был бы Воронов, тот что-нибудь придумал бы. А Михаил замахал руками, расшумелся: «Комитетчи-

ки! Суетесь не в свои дела. Вот и расхлебывай за вас эту кашу. Как хотите, так и бетонируйте». Теперь он и не смотрел на Семена и разговаривать не желал.

В первые дни их знакомства Забродин работал десятником, а Семен крановщиком у него на объекте. Жили они в одной палатке — койки рядом и харчи пополам, по-братски. Семен хоть и носил украинскую фамилию Саменко, но был коренным дальневосточником, из Ханкайского района. Его родители по доброй украинской привычке присылали ему ежемесячно свиное сало, которое, впрочем, поедалось сообща. И за Семеном с той поры прочно закрепилось прозвище Салменки. Его компанейский нрав, безобидный юмор и простецкая физиономия с комично вздернутым носом — все это располагало к нему и малого, и старого. Вскоре его избрали комсоргом прорабства, а потом и в бюро ввели.

На стройку он пошел работать после окончания десятилетки. Говорили, что теперь так положено, что нужно зарабатывать трудовой стаж. К тому же весь класс после выпускных экзаменов решил ехать на стройку в Тихую Гавань. Чего ж еще искать? Куда ребята, туда и он. Ему везде было интересно: и на курсах, и теперь вот, в механизаторах. Поступил он еще и на заочное отделение в институт. Надо ж чем-то заниматься по вечерам.

Семен сидел в палатке за длинным столом перед расчетными схемами.

— Что же придумать? А? — поминутно спрашивал он вслух.

Собранные со всех объектов шланговые вибраторы и даже старые вибробулавы закрепили всего на трех массивах. А их еще пять. Да сколько башмаков для отмостки! Эх, если бы бетонщиков не отпустили! Но они теперь на кладке. Снимать их оттуда — значит кладку срывать. И так план полетит и эдак. А там скандал на всю стройку. И во всем виноват он — Семен. Его идея... И чего это Воронов застрял на проклятых рудниках? Тут без него хоть на стенку полезай...

Позади Семена лежал на койке арматурщик Бойков и наигрывал на балалайке «польку-бабочку».

Балалайка была расстроена, струны дребезжали и зудели, словно осы.

— Да прекрати ты эту дурацкую игру! — крикнул Семен, обернувшись.— И так тошно!

Бойков положил балалайку, поскреб небритую щеку.

— А чего ж не играть? Нынче праздник. Аванс — это, понимаешь, звезда пленительного счастья. Она взошла.

— И ты доволен?

— На сегодня? Да.

— Очень хорошо! Вместо того чтобы задержаться часа на два, подвезти вибраторы да закрепить их, все разбежались до конца работы. Бегут за авансом, как на пожар. Ведь никуда же не уйдет от вас.

— Сеня! — раздался в углу из-за полога слабый женский голос.— Ты бы поискал моего Федьку. Получил он ай не получил деньги-то.

— Ну где я его найду, тетка Марья?

— Получил ай не получил,— бормотала женщина за ситцевым пестреньким пологом.

Федька — ее сын, с которым она приехала из-под Калуги и с полгода как поселилась здесь, отгородив для себя палаточный угол.

— Насчет аванса ты, Семен, не прав,— сказал Бойков.— Аванс — это, понимаешь, как свидание с любимой девушкой. Никто ничего с тебя не спрашивает. Благодать! А вот получка — это как отчет перед женой. За то удержат, за другое высчитают... Н-да. Поэтому спеши за авансом, как на свидание, ибо оно может и не состояться. Уж тут поверь мне, старому строителю.

— Поискал бы Федьку-то,— доносилось из угла.— Кабы не пропил, родимец его взял бы.

— Да ведь эдак с ума можно сойти! — Семен стукнул карандашом.

— Мы все сойдем под вечные своды,— бормотал Бойков.— И я, несознательный, и ты, передовой. Все мы — одна ступень к счастью, так сказать, грядущих поколений.

Расхлестнулась дощатая дверь, и в палатку ввалилась целая ватага ребят с гармоникой.

— А, привет нашей технике!

Федька сорвал с головы серую шестиклинку и приветливо помахал Семену с порога. Полог в углу дернулся, сначала высунулась сухая коричневая рука, потом показалась и тетка Марья.

— Федька, иди сюда! Нализался? Так я и знала. Ах ты, черт сопатый.

— Да ты что, мамка! Я не пьяный... А денег у меня хватит. Вот они, во!

Он блаженно улыбался, вынимая из кармана деньги, и совал их в материнские руки.

— А чего это наш Саменко сердитый? — ребята окружили Семена.— Ну-ка, играй туш!

— Да пропадите вы все пропадом! — Семен схватил свои папки и выбежал из палатки.

Наутро, еще задолго до работы, он взял одну из занаряженных участку машин и прямо из гаража поехал на центральный склад. Но и там вибраторов не оказалось. Они были розданы по участкам.

— Когда? — спросил Семен.

— Да вот развезли... На днях. По разнарядкам Синельникова. Больше нет,— тучный краснолицый завскладом с недоумением поглядел на остолбеневшего Семена и спросил: — Да что у вас там за прорва такая?

— У нас? Нет, это у вас...— Семен тяжело поплелся к поджидавшему грузовику. Что теперь делать? Куда податься? Конечно, можно, скажем, бетонировать и по два массива, но этак они протянут волынку до конца месяца.

— Куда? — спросил шофер влезавшего в кабинку Семена.

— Давай к Управлению.

Семен решил зайти к главному инженеру. «Авось распорядится собрать вибраторы с участков,— подумал Семен.— Хоть он и подложил нам свинью, но дело-то не должно страдать».

В приемной посетителей не было. Секретарша, постно поджимая губы, минуту с любопытством осматривала Семена, словно впервые видала его. Потом воинственно тряхнула своим черным хохлом и спросила с усмешкой:

— Как доложить?

У Семена была с Нелей старая тяжба помимо драки с Дербень-Калугой, и если бы не этот исключительный случай, он бы лучше с вышки без парашюта прыгнул, чем пошел к ней на поклон.

Долгое время она была главным прогульщиком на стройке и вечно околачивалась возле Дома офицеров. Ее вызывали на бюро. «Надо работать, а не дефилировать»,— обвинял ее Семен. Но Неля ничуть не смутилась: «Саменко хочет, чтобы девушки построили для него коммунизм, а он за моторами приглядывать станет. У нас девчата всю грубую работу выполняют, а ребята поближе к технике лезут». И все заседание бюро она тогда в сумбур превратила. Ловкая, черт! И к Синельникову

подлизалась. Семен смотрел на нее с чувством скрытой досады, что не может послать ее ко всем чертям вместе с этим ехидным «как доложить?».

— Скажите, что с участка Воронова,— хмуро ответил он наконец.

— Вон что!.. А я и не знала.

Через минуту она вышла от главного инженера и сказала с издевательским поклоном:

— Просят войти...

Синельников сидел за столом своего обширного кабинета и молча указал на длинный ряд стульев, стоящих у стены.

Семен сел, убрав под стол свои пыльные сапоги, и, тиская в руках серую кепку, стал смотреть куда-то поверх головы Синельникова.

— Чем могу служить? — спросил главный инженер.

— Вибраторов у нас не хватает для бетонирования массивов.

— Возьмите на складе.

— Мы уже забрали.

— И все еще мало?

— Да. Мы ведь почти всех бетонщиков отпустили.

— Слышал. Ну, а чем же я могу помочь?

— Прикажите взять вибраторы с других участков.

Брови Синельникова поползли кверху.

— То есть прекратить работу на остальных участках? — спросил он с веселым удивлением.

— Ведь не везде же бетон идет,— простодушно уверял Семен.

— Может быть. Но для того чтобы выяснить, где что идет и что можно забрать — нужно время. И думать об этом следовало раньше. А впопыхах такие вещи не делаются. Понимаете?

— Ясно! — Семен мотнул головой.

Синельников сделал неопределенный жест рукой, как бы давая понять, что раз все ясно, о чем же говорить? Семен встал и распрощался.

В коридоре он остановился возле двери начальника производственного отдела и нерешительно переминался. Зайти или нет? Там работала теперь Катя. Может быть, она поможет? Ведь попадет-то больше всего не ему, Семену, а Воронову. Должна же и она беспокоиться! Он робко постучал и, не дождавшись ответа, открыл дверь. В кабинете у телефона стоял Зеленин и громко разговари-

вал. Тут же у стола стояла Катя и с напряжением следила за разговором.

— На складе вибраторов больше нет! — кричал в трубку Зеленин.— Где же я вам возьму? А? На других участках? С других участков главный инженер забирать не разрешил. Что вам делать? Так вы же сейчас начальник участка, товарищ Забродин, вам виднее. Раньше надо было думать,— и он с силой придавил трубку.

Семен понял, что звонил Михаил, по той же самой причине, по которой и он пришел сюда. Его по-прежнему не замечали, и он оставался возле двери, не осмеливаясь подать голоса.

— Что у них? — спросила Катя Зеленина.

— Бетонирование массивов заваливают, вот что,— сердито ответил Зеленин.

— Им надо помочь!

— Чем? Мудрыми советами?

Зеленин отошел к окну и демонстративно повернулся к Кате спиной.

Катя выдвинула верхний ящик стола, достала чистый лист бумаги, потом взяла ручку и протянула все это Зеленину.

— Леонид Николаевич, напишите распоряжение участкам — пусть передадут все свободные вибраторы. Я сама поеду и соберу их.

— Что? — спросил удивленно Зеленин, оборачиваясь.— Решить за главного инженера, самовольно?

— Хорошо,— сказала Катя.— Тогда я сама пойду к нему. Вы хотите этого?

Она положила на стол ручку и направилась к двери.

— Подожди! — окликнул ее Зеленин. Он сердито написал распоряжение, размашисто расписался, затем подал ей листок.— На!

Катя быстро прочла распоряжение.

— Спасибо!

— А! — кисло скривился Зеленин и, заметив Семена, спросил: — Что вам нужно?

— А вот то же самое, что и Ермолюк.

— Что?

— Я с участка Воронова.

— А, тоже, поди, из героев,— усмехнулся Зеленин.— Дело это решенное. Ступайте на участок.

— У кого машину взять? — спросила Катя.

— У меня бери,— торопливо ответил Семен.— Возле Управления стоит.

Зеленин снова криво усмехнулся и сказал Кате, все еще стоявшей у стола:

— Ступайте, ступайте. И действуйте.

Семен добрался до рыбного порта на попутных кузовах.

Под бревенчатыми сводами бетонного завода среди грохочущих бетономешалок он столкнулся с Михаилом. Тот был весь перепачкан цементной пылью, точно мельник мукой, и слушал Бойкова, только что поднявшегося на средний помост.

— Придется бетонщиков снимать с кладки,— кричал тот.— Бетон застаивается.

Михаил отрицательно покачал головой и поманил пальцем рабочего-дозировщика.

— Отключите две бетономешалки,— приказал он.

Тот пошел к щитку и выключил рубильники. Грохот стал значительно слабее: теперь в ряду бетономешалок вращалась только одна. Ее пронзительный скрежет разрывал Семену душу.

— Ну, экономист, видишь? — произнес Михаил, указывая на бетономешалки.— Эдак мы с тобой до зимы пробетонируем.

— Ермолюк скоро привезет вибраторы,— виновато ответил Семен.

— Вибраторы! — передразнил его Михаил.— Считать надо было лучше. Разогнал бетонщиков...

Катя появилась только к обеду. Грузовик с полным кузовом вибраторов, вихляя на ухабах, катил по участку. Рабочие шарахались в стороны с дороги, прикрываясь ладонями от густых клубов поднятой пыли. Первым заметил его Семен.

— Приехала! — закричал он во все горло и опрометью бросился вниз с высоченной опалубки массива.

15

Переполох в Управлении поднялся с самого утра. Сначала в производственный отдел вошел Синельников и, сердито покосившись в сторону Кати, сухо сказал Зеленину:

— Зайдите к начальнику.

Потом прибежала Целикова из технического отдела, про которую говорили: «Ее ни объехать, ни обойти», разумея при этом не только ее тучность, но и яростное любопытство. Несмотря на свою раннюю полноту, она сохраняла удивительную подвижность, и ее заплывшие, но острые, как гвоздики, глаза впивались в лицо Кати.

— Что это натворил Воронов на руднике?

— Понятия не имею,— Катя растерянно пожала плечами.

— Да не притворяйтесь!

— В самом деле, что-нибудь случилось?—уже тревожась, в свою очередь спрашивала Катя.

— А ну вас!—разочарованно махнула рукой Целикова.— Все равно ведь будет известно.

— В самом деле я ничего не знаю,— с досадой уверяла ее Катя.

— Да?—Целикова огорченно вздохнула и произнесла:—И я ничего не знаю.

— Так в чем же дело?

— Пришел к нам Синельников и потребовал все чертежи по рудничному поселку и сказал еще сердито нашему начальнику: «Я никому не позволю своевольничать». Как будто мы-то и были виноваты. У нас решили, что это Воронов расшевелил их.

Потом по коридору бегала секретарша, хлопали торопливо закрываемые двери, и в кабинет к Лукашину спешили сотрудники их отделов с папками в руках.

Наконец вернулся Зеленин. Вид у него был нарочито торжественный, словно он только что побывал на важном приеме.

— Ну, можете поздравить своего... мила дружка.— Его тонкие губы привычно кривились в усмешке.

— С чем?—спросила Катя.

— Он остановил строительство рудничного поселка.

— Как остановил?

— Очень просто. Запретил строить поселок на том месте.

— А разве у него есть такие права?—Катя еще не понимала, шутит Зеленин или говорит правду.

— Вот именно—права!—Зеленин сел за стол и, разглядывая свои руки, заговорил:—У некоторых это слово, как хлыст у погонщика, вечно под рукой для устрашения. С этого, между прочим, Синельников и начал. «А по какому праву?»—Зеленин резко откинулся

назад и, глядя на Катю исподлобья, сердито отвечал: — А по тому праву, что Воронов инженер и гражданин. В том ущелье, точнее — в ледяном колодце, должны люди жить. А Воронов этого не может допустить. И поступил на свой страх и риск. Конечно, на него семь собак повесят и «за самовольство», и за срыв плана, и за все смертные грехи. Но и мы не лыком шиты.— Зеленин все более воодушевлялся, и его желчное лицо преобразилось — глаза гневно сверкали, на впалых щеках проступили бурые пятна.

Катя еще не видела его таким возбужденным и теперь все острее понимала, что дело не шутейное затеял Сергей и что быть буре.

Потом Зеленин показал ей свой старый проект строительства рудничного поселка в Солнечном. Потом долго рассказывал, сопоставлял оба варианта — старый и новый, синельниковский.

— Ну, как? — спросил он наконец.

— По-моему, Сергей прав.

Зеленин усмехнулся.

— Это еще ничего не значит. Вот если он выстоит, тогда другое дело.

— Так надо помочь ему!

Зеленин пристально посмотрел на нее и серьезно сказал:

— Да, надо. Кстати, Синельников срочно отозвал Воронова с рудников. Завтра он приедет. Так что будем готовиться.

Они расстались по-дружески.

Воронов приехал с рудников пополудни и, не заходя домой, явился прямо в кабинет Лукашина. Его зеленая куртка была заляпана белесой подсыхающей грязью.

— Эко тебя разукрасило, деятель! — встретил его Лукашин.

— С самого рассвета добирался,— Воронов потянулся к графину с водой.

— Может, отдохнешь с дороги-то? А вечером поговорим.

— Чего ради откладывать? — возразил Воронов, выпив одним махом воду из стакана.

— Ну, как знаешь.— Лукашин нажал кнопку, и немедленно вошла секретарша.— Неля, позови Синельникова, Дубинина и Зеленина.

— Хорошо, Семен Иванович! — Неля вышла.

Лукашин усадил Воронова в кожаное кресло, а сам зашагал вокруг стола, заложив руки за спину.

— Признаться, не ожидал я от тебя такого.— Лукашин, по своему обыкновению, смотрел куда-то в сторону, мимо Воронова.— Ну что ж, будем решать совместно. Дело-то серьезное.

«Не скоро тебя склонишь к решению»,— думал Воронов, оглядывая кабинет начальника. Все здесь было солидно, внушительно: и длинные столы, покрытые зеленым сукном, и массивный из серого мрамора чернильный прибор, изображающий маяк, и над столом морской пейзаж с портальными кранами, подаренный заезжим художником, и мягкая мебель, и бархатные коричневые шторы. Среди всего этого внушительного великолепия сухонькая фигура Лукашина чем-то смахивала на тихого служителя музея. Воронов перевел взгляд на свои болотные запыленные сапоги и вдруг заметил, что каблуки его как раз придавили голову жар-птицы в малиново-синем оперении с огненным венчиком. Он невольно подобрал ноги. «Черт возьми, а уж ковер зачем? Только и ходить по жар-птицам в наших сапожищах».

В кабинет вошли сначала Дубинин с Синельниковым, потом Зеленин, он незаметно подмигнул Воронову. Они уже виделись. Перед тем как зайти к Лукашину, Воронов на минуту заскочил в производственный отдел и на тревожный Катин вопрос: «Ну, что у тебя?» — ответил скороговоркой: «Все будет хорошо...» Ему хотелось увидеть ее, успокоить. Хоть бы руку пожать... Деликатный Зеленин вышел из кабинета, и они обнялись.

— Сережа, милый, я боюсь за тебя...

— Все обойдется,— утешал ее Воронов.

— Рассаживайтесь,— предложил Лукашин,— да к столу поближе. И давайте начинать без лишних слов.

Он удобно уселся на свой высокий жесткий стул; его голубые кроткие глаза привычно отыскали ближнее, справа, окно, а там — в синеющей дымке дальнюю полоску берега и сосредоточенно застыли: со стороны казалось, что он весь ушел в себя, что ему нет никакого дела ни до собравшихся, ни до этих разногласий.— Будете сообщение делать, Петр Ермолаевич? — спросил он, не меняя позы.

— Да! — Синельников встал.— Собственно, делать подробное сообщение нет смысла. Причина нашего маленького заседания всем известна. Мы имеем дело с

совершенно беспрецедентным фактом — начальник участка Воронов самовольно, превысив не только свою власть, но, я бы сказал, власть начальника Управления, приостановил строительство рабочего поселка на рудниках. Это не просто недисциплинированность — здесь срыв плана. Поэтому мы должны крайне серьезно подойти к выяснению мотивов поступка Воронова и, по возможности, принять согласованное решение по этому вопросу.— Синельников думал, что мягко выраженной объективностью речи он будет выгодно отличаться от неизбежных резкостей Воронова и тем самым даст почувствовать, что это он — Воронов — невозможен в своих выпадах и волей-неволей обходиться с ним надо строго.

Зеленин, разгадав скрытый замысел Синельникова, усмехнулся; Дубинин старательно потер пятерней свои щетинистые волосы, и недоуменное выражение на лице его еще больше усилилось. И только Лукашин оставался совершенно непроницаемым.

Воронов встал, расстегнул планшетку и выложил на стол пачку чертежей.

— Главный инженер обвинил меня в превышении власти, в срыве производственного плана.— Он тяжело придавил кулаком чертеж и поглядел исподлобья на Синельникова.— Я ездил на рудники не затем, чтобы показать свою власть. И не задумывался над тем, какой у нее предел, у этой моей власти. И нужно ли задумываться о пределе власти, когда требуется разумное решение?

— То есть, по-вашему, что разумно, то вам и подвластно? — спросил его Синельников.

— По крайней мере, я не пройду мимо головотяпа, бьющего оконные стекла или уличные фонари,— повысил голос Воронов.— Пусть на мне нет милицейского мундира, но я схвачу его за руки.

— Ну, с точки зрения милицейского мундира легко установить предел разумного,— насмешливо заметил Синельников.

— Я две недели прожил на руднике не как праздный соглядатай.— Воронов поднял чертежи.— Я изучил и эти проекты — старый и новый варианты — и в большой мере ту местность, где должен строиться поселок. Разумеется, все это я делал не с той целью, чтобы показать свою власть.

— Какие же мотивы руководили вами? — спросил Синельников.

— Очень простые. Я думал о том, что в этом каменистом ущелье должны жить люди. Да, да! Жить на тех булыжниках, где и цветника не разобьешь, не говоря уж об огороде.

— Да, это верно — огородникам там делать нечего,— заметил Синельников.

— Изложите, деятель, свои выводы,— попросил Лукашин, которого стала раздражать эта перепалка.

— Основной вывод заключается в том, что строить поселок в ущелье нельзя. И вот почему. Ущелье это не только каменистое — оно лишено солнца. Три часа в сутки, и то летом, бывает там солнце. А самое неприятное — ущелье подвержено сильной наледи. Толщина льда весной местами достигает трех-четырех метров. До самого августа залеживается там лед, и с ним вместе держится погребная сырость. А там будут жить рабочие, вырастать их дети. Мы должны построить там школу, детские сады. Сами подумайте, товарищи, что это за детский сад, куда солнце и не заглянет? Что это за поселок, где летом вместо мягкой травы оледенелые булыжники? Я полностью разделяю протест наших заказчиков — рудокопов. Они не хотят жить в том ущелье. К тому же там возможен силикоз из-за близости рудника. Они требуют строить поселок в Солнечном. И я согласен с ними. Нельзя лишать людей солнца и радости во имя грошовой экономии на автобусных перевозках. И к тому же строительство поселка в ущелье обойдется значительно дороже. Вот мои подсчеты.— Воронов вынул пояснительную записку, сшитую из нескольких листков.— Можете познакомиться с ними. Строительство в речном ущелье вести неизмеримо труднее, чем в сухой долине. Рабочие буквально в воде тонут. Вот почему я прекратил строительство поселка.

Лукашкин наконец перевел взгляд на Воронова.

— Ну-ка, деятель, дайте ваши подсчеты!

Воронов подал ему пояснительную записку и сел. Дубинин с удивлением посмотрел на Лукашина. Этот лукашинский жест, кажется, удивил и Синельникова, он заговорил с еле заметным раздражением:

— Наконец-то Воронов объяснил истинную причину того, что заставило его столь энергично принять запрещенное решение, или, иными словами, ради чего он сорвал производственный план. Строить или не строить там поселок в конечном счете определяет не начальник

участка, а совнархоз. И поскольку совнархоз уже решил, то, стало быть, поселок строить там будут, не Воронов, так другие. Почему же Воронов прекратил временно строительство? Дело-то в общем не в горняках. О них позаботиться есть кому. И нечего на силикоз сваливать — поставят фильтры, и вся недолга. Дело в том, что строить там, возле рудников, значительно труднее, чем в другом месте. Вот оно что, оказывается!

— Да, и поэтому! — воскликнул Воронов.

— Вот-вот. Сегодня Воронову показалось трудно строить на рудниках, и он закрыл поселок. Завтра ему покажется трудным строительство рыбного порта. Он и его прикроет. А послезавтра он, может быть, перенесет свой участок куда-нибудь в Подмосковье под тем предлогом, что там строить легче. Так, что ли? Нет, так не пойдет, товарищ Воронов. Значит, там, в ущелье,— вода, работать тяжело? А в Комсомольске в непролазной тайге, в болотах, в бездорожье, порой без куска хлеба... легче было?

— Правильно, расскажите ему о строительстве Комсомольска,— перебил Зеленин.

Синельников строго посмотрел на Зеленина и продолжал с прежним напором:

— Мы строим, не выбирая легких путей. И живем не нынешним днем. Нам важнее конечный итог труда, а не его сегодняшние тяготы. И прав был председатель совнархоза, который отдал предпочтение строительству поселка в горах. Рабочие будут жить рядом с рудником. И никаких перевозок. Экономия в государственном деле — вещь немаловажная. Земли пахотной нет? Ну так что ж? Не огородники там будут жить. Председатель совнархоза, конечно, не пожалел строителя Воронова, которому, видите ли, трудно придется. Что ж поделать, такой уж мы народ — не жалостливые! — Синельников сделал паузу.— Вот мое главное возражение. Детские сады и школу можно вынести на солнечный склон. Это вопрос не принципиальный. А что касается наледи, в проекте предусмотрена борьба с ней путем углубления русла Снежинки.

— При условии сохранения постоянного русла Снежинки? Так? — спросил Воронов.

— Разумеется,— небрежно согласился Синельников.

— Но ведь за последние десять лет Снежинка трижды меняла русло! — воскликнул Воронов.— Где же гарантия, что она и впредь не станет менять его?

— Мы прикажем не менять русла,— заметил Зеленин.

Синельников холодно посмотрел на Зеленина, но возразил с раздражением:

— У нас нет таких сведений.

— Это установила геологическая экспедиция,— пояснил Воронов.— Сведения точные, можете удостовериться.

Синельников не ожидал такого удара и с минуту растерянно молчал, втянув голову в плечи, словно погружался в холодную воду.

Лукашин просматривал расчеты Воронова. Зеленин с блуждающей улыбкой поглядывал на стены, и только Дубинин внимательно смотрел то на Воронова, то на Синельникова. По всему было заметно, что спор захватил его и он никак не может решить, на чьей стороне истина.

— Вам известно, что Снежинка — река подземная? — продолжал спрашивать Воронов растерявшегося Синельникова.

— Разумеется.

— Ее подземный дебит в девять раз превышает поверхностный. Так согласитесь сами, что простым углублением русла мы от наледи не избавимся.

— Ну что ж, может быть, придется в таком случае брать реку в подземную трубу,— Синельников снова вернулся к своему испытанному снисходительному тону.

— Это верно! Только строительство этой бетонной трубы будет стоить примерно столько же, столько и весь поселок. Вот посмотрите подсчеты.

Синельников вспылил:

— Что вы мне суете свои подсчеты! Прошу избавить меня от этой экзаменовки. Я не спорю, что отдельные детали технического проекта не решены еще. Но следует искать решение в заданном проекте, а не отвергать утвержденный совнархозом план работ. А все эти рассуждения о детских садах и о солнышке просто непринципиальны.

Воронов резко встал.

— Конечно, для вас не принципиально, где будут жить горняки — в солнечной долине или в ледяном ущелье! Это, мол, не наше дело, мы — подрядчики!

— Я довольно ясно сказал, что вы попросту спасовали перед трудностями,— перебил его Синельников.

— Да, вы ловко отвели спор от существа вопроса. Вы переключились на обвинение меня в том, что я боюсь

трудностей. Дело не в трудностях, а в равнодушии к людям. Почти два года многие рабочие живут у нас все еще в палатках! Вас это не трогает. Вас не смущают невыносимые лесные дороги, где калечатся машины и надрываются люди. Все это вас мало заботит не потому ли, что вы избавлены от многих тягот? Это не вы стоите в ледяной воде на закладке фундаментов. И в палатке вы не живете. И не из вас вытрясают душу ежедневные рейсы по таежному бездорожью. И тем не менее вы говорите от имени этих людей, что нам важен конечный итог нашего труда, а не его сегодняшние тяготы. По какому праву вы говорите от имени других?

— Однако мы отвлекаемся, деятель,— перебил его Лукашин.

— Я кончил.— Воронов решительно сел и нахмурился.

— Мне думается, что нам следует попытаться найти какое-то общее решение,— предложил Лукашин.— Как вы полагаете, Петр Ермолаевич?

— Решение очень простое,— уверенно заявил Синельников.— Строительство поселка продолжать, а персональное дело Воронова разобрать на бюро. Что же касается некоторых предложений Воронова, то пусть ими займутся производственный и технический отделы.

— В таком случае я вынужден буду обратиться в крайком,— сказал Воронов.

— Не надо торопиться, деятель,— досадливо поморщился Лукашин.— Как вы думаете, товарищ Зеленин?

— На днях у нас будет производственное собрание по итогам месячного плана,— ответил Зеленин.— Вот и пусть выступит Воронов. Обсудим и решим, что делать. Если нужно будет, пошлем в совнархоз резолюцию собрания.

Лукашин хорошо понимал, что от вороновских расчетов так просто не отмахнешься. И уж если узнают об этом горняки, то заварится каша. Значит, на тормозах надо съезжать. Мысль Зеленина показалась ему стоящей. Выступит коллектив Управления, а там пусть разбираются, пусть решают.

— А что! Это заслуживает внимания.— Лукашин посмотрел на Синельникова.

— При чем тут собрание? — резко возразил тот.— Мы сами в состоянии известить об этом совнархоз.

Синельников больше всего не желал этого коллективного обращения — оно неизбежно вызвало бы широкую

огласку и могло спутать все карты. На худой конец, ему нужно успеть съездить в совнархоз, подготовить почву.

— С мнением коллектива следует считаться,— бросил Зеленин.

Синельников вызывающе промолчал.

— А как вы, Михаил Титыч? — Лукашин повернулся к Дубинину.

Дубинин так и не мог разобраться, кто же прав, Синельников или Воронов, поэтому охотно согласился обсудить этот вопрос еще и на собрании.

— В таком случае давайте соберем специальное собрание,— предложил Синельников.— Приготовимся как следует, пригласим представителей совнархоза...

— А зачем второй раз беспокоить людей? — простодушно возразил Дубинин.

«Ох, идиот!» — выругался про себя Синельников.

— В самом деле, деятель,— согласился и Лукашин.— Давайте послезавтра и поговорим.

«И эта старая лиса заюлила»,— зло подумал Синельников, а вслух сказал:

— Как хотите.

Само собрание для него, в конце концов, не страшно... Лишь бы успеть убедить кое-кого, что дело тут не столько в престиже Синельникова, сколько в авторитете самого совнархоза. А свою позицию он отстоять сумеет.

Он пришел к себе в кабинет и тотчас заказал билет на вечерний поезд до Приморска...

16

На другой день утром Лукашин вызвал к себе Воронова. Там уже сидели Дубинин и Зеленин.

— Вот так, деятели... Только что звонили из совнархоза. Приказано явиться туда сегодня же. Я заказал билеты на самолет. Поедете все втроем, сразу же, от меня.

А после обеда они были в приемной председателя совнархоза.

Зеленин отказался идти в Управление строительства к Пилипенко.

— Только к самому председателю...— настаивал он.— Иначе дело наше дрянь.

Их вызвали первыми.

Высокий крутоплечий Мясников встал из-за стола и пошел к ним навстречу. У него было широкоскулое лицо, слегка рябоватое, редкий седеющий бобрик и рыжие густые брови, придававшие ему выражение насупленное и властное.

— Строители? Привет, привет,— говорил он, здороваясь.— Чего это вы всем колхозом пожаловали? Проходите к столу, проходите.

«Эх черт! Вот так медведь! — подумал Воронов, пожимая объемистую ладонь Мясникова.— Такого не скоро собьешь и не свалишь...» Воронов питал слабость к людям крупным, напористым и теперь не без удовольствия поглядывал на Мясникова, на обстановку кабинета. В центре стоял огромный на толстых дубовых тумбах стол, обтянутый сверху зеленым сукном — настоящее бильярдное поле, возле стола — старомодные черные кожаные кресла с высокими резными спинками...

— Садитесь,— приглашал Мясников, указывая на кресла, потом сел за стол, вынул расческу и сперва причесал брови, затем волосы.

Воронов посмотрел на эти диковинные брови, вспомнил из истории, что какого-то Цимисхия, византийского императора, звали «Бровястым», и улыбнулся.

— Ты чего это заранее веселишься? — грубовато спросил его Мясников.

— А потом, может быть, поздно будет,— ответил Воронов.

Мясникову шутка понравилась, он пошевелил насупленными бровями, и из-под них весело блеснули светлые голубые глаза.

— Ну, с кого начнем? Вы, кажется, парторг Управления? — спросил он Дубинина.

— Да.

— Ну, давайте вы.

Дубинин пожал плечами.

— Вопрос-то у нас сложный. Я, право, не знаю, как попроще изложить суть дела. Вот тут специалисты сидят. Может, с них начнем.

— А вы разве не инженер? — брови Мясникова удивленно взметнулись.

— Нет,— ответил Дубинин.

— На стройке-то? Парторг! Н-да,— Мясников перевел взгляд на Зеленина.— Говорите.

— Речь идет о строительстве жилого поселка для оловянных рудников.— Зеленин говорил, чуть растягивая слова, стараясь скрыть проступавшее волнение.— На этот поселок было два проекта; по первому проекту предлагалось строить поселок в пятнадцати километрах от рудников, в долине Солнечное. Это был мой проект,— его отвергли. По второму проекту поселок перенесен к рудникам в ущелье. Но строить в том месте нецелесообразно. По нашим расчетам строительство обойдется значительно дороже, чем в Солнечном. Вот наши расчеты,— Зеленин взял папку из рук Воронова и передал ее Мясникову.— А главное — жить в том ущелье очень неудобно. Мы предлагаем пересмотреть это решение, пока еще не поздно.

— Любопытно,— Мясников стал бегло просматривать расчеты.— А почему же вы ко мне-то сразу обратились? Ведь у нас есть в совнархозе и строители, и горняки... целые управления!

— Потому, что поселок в том ущелье строится по вашему распоряжению,— сказал Воронов.

— Как? По моему распоряжению? Вот это новость! — Мясников захлопнул папку и с любопытством уставился на Воронова.

— Для вас это новость? — переспросил Воронов.

— Разумеется. Ведь я председатель совнархоза, а не проектно-изыскательская контора. Я места для городов и поселков не выбираю.

— Но вы же были у нас на рудниках года полтора назад,— сказал Зеленин.

— Был... Теперь я припоминаю эту поездку. Я еще критиковал вас за то, что слишком далеко отнесли поселок от рудников. Большие расходы придется нести на перевозку рабочих... Вот и предложил вам перенести поселок поближе. Предложил... Понимаете?

— Да, но потом был проект Синельникова, утвержденный совнархозом,— возразил Зеленин.

— Совершенно верно. Мне докладывали потом, что поселок решили строить рядом с рудниками — удобнее.

— Там жить нельзя! — громко сказал Воронов.— И я остановил это строительство.

— Одну минутку,— Мясников нажал на кнопку звонка.

Вошла высокая худая секретарша в черном костюме.

— Пригласите ко мне Пилипенко.

— Почему же там нельзя жить? — спросил Мясников у Воронова после ухода секретарши.

— Ущелье очень сырое, до августа месяца держится в нем наледь, и солнце бывает часа три в сутки. Потом, строительство поселка обойдется в том месте слишком дорого.

Мясников покачал головой.

— Значит, строят по моему распоряжению. Интересно... очень.

В кабинет без стука вошел начальник Управления строительства Пилипенко. Он был высокий, очень моложавый, с белоснежными висками.

— Знакомьтесь. Строители из Тихой Гавани,— сказал Мясников.

— Знаю,— Пилипенко приветствовал их легким наклоном головы.— У меня сидит главный инженер Синельников.

— Они доказывают, что поселок возле рудников строить нельзя. Вот расчеты. Просмотрите.— Мясников подал ему папку с расчетами.

— Я уже знаком с ними,— сказал Пилипенко, мельком взглянув на расчеты.— Горняки, наши заказчики, прислали мне их вместе с жалобой. Правда, жалоба направлена в министерство, а мне копия.

— Вот как! Как же попали к ним эти расчеты? — спросил Мясников.

— Я им дал,— ответил Воронов.— Еще неделю назад.

— Однако вы разворотливый,— усмехнулся Мясников.— А что они в жалобе пишут? — спрашивал он.

— То же самое, что в расчетах. Пишут еще, что поселок попадет в зону силикоза, и воздух там будет загрязнен, вреден для здоровья,— отвечал Пилипенко, стоя как на строевой линейке.

— Н-да.— Мясников встал из-за стола.— Вот что, сегодня же свяжитесь с проектными отделами и немедленно создайте комиссию. Пусть хорошенько займутся этим делом. А выводы доложите мне.

— Слушаюсь,— сказал Пилипенко.

Мясников провожал посетителей до двери. Прощаясь с Вороновым, он задержал его руку.

— Ну как, строптивый? Доволен?

— Разумеется,— ответил Воронов.

— Вот так... Разберем, уладим.

В приемной Зеленин тронул Воронова и Дубинина:

— Смотрите, Синельников!

Главный инженер сидел возле стола и что-то на ухо нашептывал сухопарой секретарше. Она вытягивала к нему шею из широкого воротника, точно из хомута, и как-то заливисто, по-лошадиному, взвизгивала и смеялась. Заметив своих сослуживцев, Синельников даже бровью не повел — продолжал свое нашептывать. И они прошли мимо него, не окликнув, не поздоровавшись...

— Ну, а теперь и по маленькой пропустить не грешно,— сказал Воронов, беря под руку Дубинина и Зеленина.— Пошли в гостиницу!

— Не с чего веселиться,— возразил Дубинин.— Мне, по крайней мере.

— Чего это вы нос повесили, Михаил Титыч?

— Видал, как Мясников посмотрел на меня, когда узнал, что я не инженер,— сказал Дубинин.— То-то и оно. А мне совестно: сидишь как чучело. Ведь это мое дело разбирать — кто прав, кто виноват. И где поселок строить, где не строить... Но у меня багаж не тот. А на одном старании далеко не уедешь. Того и гляди, шею сломаешь и себе, и другим. Вот так-то. Ступайте пейте. А я в крайком схожу, в промышленный отдел. Попрошусь, чтобы освободили... С меня хватит!

— Но ведь мы вас избирали,— сказал Зеленин.

— Ничего, переизберете.— Дубинин насупился и тяжело, грузно пошел на выход.

— Черт возьми! — развел руками Воронов.— Товарищи называются. Неужто и ты мне не составишь компанию? Ведь это законное торжество... как фронтовые сто граммов. Мы их взяли с бою...

— Погоди веселиться. Смотри не прослезись,— сказал Зеленин.— Не нравится мне этот Пилипенко.

17

Комиссия была создана на другой же день под председательством Пилипенко и немедленно выехала на рудники. Делом этим заинтересовалась краевая газета, и к работе комиссии подключился ее собственный корреспондент Терехин.

Лукашин потребовал от Воронова письменного объяснения о причине простоя на рудниках. Воронов подал ему рапорт. В нем написал он и про горнорудничный

поселок, и про массивы-гиганты, доказывал, что наблюдаются непроизводительные резервы и что отставание жилищных объектов ничем не оправдано. Синельников окрестил это заявление поклепом на весь коллектив и требовал строго наказать Воронова. Поговаривали, что сам Пилипенко остался очень недоволен резкостью Воронова. Корреспондент Терехин вернулся с рудников, прочел вороновский рапорт и явился к Лукашину.

— Здравствуйте, Семен Иванович! — шумно приветствовал он Лукашина от самого порога и, размашисто пройдя через кабинет, журавлем перегнулся над столом, с улыбкой выкинул руку.

Лукашин слегка приподнялся.

— Привет, привет советской печати! Садитесь. Чем могу служить?

— Да вот очерк собираюсь написать о вас,— сказал Терехин, усаживаясь в кресло.— Вы на счету, так сказать, примерного руководителя.

— Ну, что вы, деятель! Какой я примерный руководитель? Так, стараемся по малости.

— Как у вас с планом в этом месяце?

— В целом неплохо. Но участок Воронова не выполняет.

— Воронова? — удивленно спросил Терехин.— Вот оно что! А я только что читал его заявление о неполадках на стройке. Что вы об этом думаете?

— А что же тут думать? Я начальник... Вы послушайте, что об этом говорит коллектив.

В кабинет неслышно вошел предупрежденный секретаршей Синельников.

— Петр Ермолаевич! — сказал Лукашин Синельникову.— Вот корреспондент интересуется заявлением Воронова.

— Заявлением Воронова? — переспросил Синельников.

— Да. Это интересно и, по-моему, важно! — воскликнул Терехин, поздоровавшись.— Вы можете сказать что-либо поподробнее об этом?

Синельников отошел на два шага в сторону, заложил руки за спину и озабоченно потупился.

— Видите ли, я в этом деле, так сказать, лицо заинтересованное,— начал он, смущенно улыбаясь.— Мне трудно быть объективным, но я постараюсь. Воронов — человек новый в нашем коллективе, и вполне понятно,

что многое видится ему в ином свете. Это — нормальное явление. Было бы более странным, если бы все непривычное для него он принимал безоговорочно. Ну-с, ближе к делу. Воронов решил, что мы быстрее можем двинуть жилье. Он отжал кое-какие резервы, попросил еще техники. Мы дали. Пожалуйста, как говорится, ему и карты в руки! Но эффект получился не тот. Он распылил людей и, попросту говоря, не выполнил плана. Вы понимаете, разумеется, что не можем мы по примеру Воронова снимать людей с основных производственных объектов и ставить на жилье. Мы просто оголим участки и завалим план.

Терехин сделал несколько пометок в блокноте.

— Собственно, Воронов на этом и настаивает в своем заявлении. Судите сами!

— Да, интересно... Ну, а насчет рудничного поселка? — Терехин смотрел на Синельникова.

— Несколько месяцев управление совнархоза и мы — проектировщики — выбирали место для рудничного поселка. Чем мы руководствовались? Естественно, близостью к рудникам, а стало быть, малыми затратами, связанными с перевозкой рабочих. А Воронов предлагает вернуться к старому проекту. За пятнадцать километров возить горняков на работу! И это называется создать удобства! А с какими расходами будут связаны перевозки? Они в копеечку будут обходиться государству. Тут, видите ли, еще одно обстоятельство следует учесть: около рудников условия для строительства более трудные, чем в Солнечном. Воронов столкнулся с грунтовыми водами, ну и забил тревогу.

— А что вы скажете о массивах-гигантах?

— Здесь Воронов прав в том, что мы пошли на сооружение дорогостоящих коробов. Но зато потом, при бетонировании головы пирса, мы не будем делать опалубки, и эти коробы нам позволят на десять дней сэкономить время. Как видите, расходы окупаются.

— Да. Интересно. Еду к Воронову.— Терехин встал и пожал руку Синельникову.— Увидимся еще,— сказал он Лукашину.— До вечера! — И стремительно вышел.

Лукашин снял трубку телефона.

— Зеленин? Сделали подсчет выполнения плана по участку Воронова? Занесите ко мне.

— Я посмотрел твой доклад,— сказал Лукашин Синельникову, положив трубку.— Обдуманно составлен.

— Стараюсь, Семен Иванович.
— Заметно.
— Ничего не поделаешь, таков уж я. Терпеть не могу людей без такта и меры.
— Говорить ты умеешь, деятель.
Синельников вопросительно посмотрел на Лукашина и сказал, словно оправдываясь:
— Жизнь учит.
В кабинет вошел Зеленин.
— Давай сводку! — протянул к нему руку Лукашин.
Зеленин подал.
— Итак, девяносто два процента,— заявил Лукашин, просматривая сводку.— На восемь процентов не дотянули. Причины?
— В суммарном выражении Воронов дал больше, чем остальные, стало быть, фактически...
Синельников перебил его:
— Спрашивают о причинах невыполнения плана!
— Воронов рассчитывал на вашу помощь, а вы ему пристегнули рудники.— Не дожидаясь возражений, Зеленин вышел.
— Слишком много он стал брать на себя,— заметил Синельников, глядя ему вслед.
— Жизнь учит,— сказал Лукашин.
Синельников уловил скрытую иронию и спросил:
— А вы подготовили доклад для комиссии?
— Нет.
— Как же так?
— А вот так. Достаточно и твоего.
— Да?
— Да, деятель.
— Ну что ж, пока.
«Заюлила старая лиса. Трусит»,— думал Синельников, идя к себе в кабинет.
Еще во время спора с Вороновым он почувствовал шаткость своего проекта. Если он проиграет дело с рудничным поселком — ему конец.
Но когда он прочел заявление Воронова, то воспрянул духом. Глупец этот Воронов! Все свалил в одну кучу: и рудничный поселок, и резервы, и планы, и жилье. Синельников рассчитывал, что это вызовет и раздражение Лукашина, и протест начальников участков. Но главное — это взбесит Пилипенко... Чего это Воронов суется один за всех решать? К тому же сам не выполнил

план. В такой обстановке Синельников сможет разбить Воронова, а комиссия среди прочих вопросов похоронит дело и о рудниках.

Терехин зашел к Зеленину, отозвал его в сторону и спросил:

— Как дела у Воронова?

— Неважно. А что говорит комиссия? Пилипенко?

— Будут отстаивать свой проект... Экономия государственных средств — прежде всего. А наледь и силикоз — это, говорят, временные явления. Устранятся.

— Понятно... Как бы не пала тень на Мясникова.

— И я так думаю.

— Значит, у Воронова — дело табак. Отсюда его ударят и за невыполнение плана.

— Свезите меня к нему,— попросил Терехин.

Они нагрянули в Рыбный порт на лукашинской «Победе».

— Вот ты где засел, Аника-воин! — воскликнул Терехин, входя в контору.— Да это настоящий дот! Смотри — не окна, а бойницы, щели!

— Читал поклеп на коллектив, как теперь называет мое заявление Синельников? — спросил Воронов, тиская руку Терехина.

— Читал.

— Ну?

— Все это надо доказать.

— Люди докажут,— сказал Воронов.

— Ишь ты какой! Хорош, хорош...— покачал головой Терехин.

— Милый, люди бывают разные,— сказал Воронову с обычной своей усмешкой Зеленин.— А если ты окажешься в меньшинстве? Что тогда?

— Это пустая формальность. Истина не знает ни большинства, ни меньшинства.

— Ну, а если ты все-таки не сумеешь доказать ни Синельникову, ни Лукашину?

— Ну, это уж пусть они мне докажут, что я не прав,— горячился Воронов.

— Нет, он законченный борец,— важно сказал Зеленин.

— Да, конечно...— кивнул Терехин.— Он могуч... Ну кто тебе будет доказывать, если комиссия решит не в твою пользу. Надо подчиниться. Дисциплина!

— Дисциплина?! Тот дисциплинирован, кто добивает-

ся правды, а не безмолвствует лукаво ради служебных выгод.

— Да пойми ты, голова! Надо не только воевать за свою правду, но еще и уметь слушать противника. Понимать его,— сказал Терехин.

— Это кого, Синельникова, что ли?

— Хотя бы его.

— Я давно его понял. Он — фокусник.

— Ну, фокусниками ты никого не удивишь. А я вот слушал недавно его, и говорит он, между прочим, убедительнее тебя. И комиссия больше к нему прислушивается, а не к тебе.

— Да! — крикнул Воронов.— В таком случае нам не о чем с тобой разговаривать.— Он замолк и, сердито нахохлившись, сел за стол.

— Чего ты на меня набросился? — сказал Терехин.— Я же тебе не Синельников. Может быть, ты и прав. Но ты не видишь — позиция твоя не прочная. И не лезь ты на рожон.

— В предостережениях не нуждаюсь,— сердито пробурчал Воронов.— И в сочувствии тоже.

— Ну, ладно, ладно,— похлопал его по плечу Зеленин.— Поехали с нами. Остынешь немного, а там заправимся... Потолкуем.

— Не хочу и не могу.

— Бирюк! — беззлобно выругался Терехин.— Ну и оставайся, дьявол с тобой. Счастливо тебе шишек набить! — крикнул он с порога.— Авось поумнеешь, трезвенник.

В машине Зеленин сказал.

— Сейчас ему можете помочь только вы.

— Каким образом?

— Выступить в газете, защитить его.

— Интересно! Работает целая комиссия, выводы складываются не в его пользу. И нате вам! Местный корреспондент — великий специалист — все опрокидывает вверх дном...

— Но ведь вы ему друг!

— А при чем тут друг?

— То есть как при чем?!

— Это совсем другое,— уклончиво ответил Терехин.— Дружба дружбой, а служба службой...

— Да... Встречаются и такие, кто дружбу на службу меняет. Ну что ж, поезжайте, служите...

Зеленин тронул за плечо шофера, попросил остановить. Тот затормозил. Зеленин открыл дверцу.

— Куда вы? — спросил Терехин.

Но Зеленин не ответил; он вылез из машины и пошел по откосу, поросшему кустарником, в сопки, напрямик, домой.

18

— Ну-с, деятель, комиссия работу окончила. Внесла, как говорится, полную ясность. Спорить больше не о чем. Будем трудиться,— говорил Лукашин вызванному с участка Воронову.

Выводы Пилипенко Воронов прочел в производственном отделе, на вопрос Зеленина: «Что будешь делать?» — только поскреб небритую щеку и мельком взглянул на Катю. Она улыбнулась ему виновато и жалостливо... Что делать? Он и теперь еще не знал, сидя в кабинете Лукашина и слушая ласковый успокоительный тенорок начальника. Шуметь, доказывать, что они не правы? Но перед кем шуметь? Кому доказывать? Лукашину? Снова крутить карусель? Но дело-то не должно стоять. Строить поселок надо... Тут уж Лукашин медлить не станет.

— Как вы сами смотрите на выводы комиссии? — спросил наконец Воронов Лукашина.

— А что ж, деятель! Не глупо... Перебазировать жилой поселок в Солнечное — хлопотно. Много времени потеряем. А у нас и так планы под угрозой... Твои замечания частично учтены — детские ясли, школа выносятся на солнечный склон. Поставим фуникулер. Реку возьмем в трубу. Денег добавят. Что еще нужно?

— Вы говорите как производственник. А я вас почеловечески спрашиваю: как жить в таком поселке? Вы бы туда переселились? Вместе с женой, детьми!

— Пустой вопрос... При чем тут я? Мы с вами строители. Наша обязанность — делать то, что нам заказывают. Мы строим по проектам. А проект для нас — приказ. За приказ отвечают вышестоящие инстанции, а мы обязаны выполнять его.

— Нет уж, извините. Отвечает не только тот, кто приказывает, но и кто исполняет.

— Не собираюсь спорить с вами на отвлеченные темы. Извольте выслушать мое распоряжение: с сего-

дняшнего дня вы являетесь начальником участка на рудниках. Вы лучше всех изучили этот участок — вам и карты в руки. Отныне программа его увеличивается втрое. Деньги отпущены. Сдавайте Рыбный порт Забродину и переселяйтесь на рудники.

— Строить самому то, что я считаю ошибочным?! Спасибо!

— В таком случае вы будете уволены.

— Я сам уйду.

К вечеру они уехали вместе с Катей... Уехали из Тихой Гавани налегке, как уезжают для того, чтобы вернуться...

1959

ПОЛЮШКО-ПОЛЕ

1

Егор Иванович встал еще по-темному и почти до обеда провозился во дворе. Даже на работу не пошел...

Первым делом Егор Иванович осмотрел тесовые ворота под двускатным верхом. Они хоть и позеленели от лишайника, но были еще крепкими,— двустворчатые, набранные в косую клетку, прихваченные железными ободьями к дубовым столбам, с окованными пятами, опертыми на мельничные жернова... На века ставились! Егор Иванович легким ударом сапога выбил забухшую подворотню, откинул кольцевую накладку с круглой деревянной запирки, потом, покряхтывая, с раскачкой вынул и самое запирку — длинную, с обоих концов затесанную жердь. Подворотню и запирку он отнес в сторону и прислонил к избе. Ухватившись за накладку и упираясь ногой в осклизлый булыжник, он потянул ворота.

— Ну! Да ну же, дьявол!

Ворота, глухо скрипнув, чуть было подались, но отшатнулись на прежнее место, словно кто-то держал их живой и невидимый, на которого сердито крикнул Егор Иванович. Еще лениво, как бы нехотя пошатавшись, они вдруг разом раздались с надсадным хрипом, широко раскрывая зев.

— Вота, заплакали, сердешные!

Егор Иванович потрогал исшарканную железную обивку пят, камни-подпятники и вспомнил, что эти осколки жерновов он приволок с отцовской мельницы, когда она в разор пошла. Камни почернели от времени, и круглые ямки, в которых ходили ворота, тоже были черными.

— Для блезиру живут тридцать лет, почитай...

«В самом деле,— думал Егор Иванович,— растворяю я их два раза в году — дров да сена привезти. Корова с овцами и калиткой обходятся. А двор без ворот и не двор... Хлев, да и только».

Нынче должны пригнать тракторы, последнюю МТС ликвидировали. А навеса в колхозе нет. Вот и решили: покамест разместить тракторы по дворам. У Егора Ивановича два сына в трактористах — стало быть, пригонят сразу два «ДТ». Машина — не корова, в хлев ее не загонишь. И под открытым небом грешно оставить.

Место для стоянки тракторов Егор Иванович определил в старом каретнике. Это был дырявый трехстенный сруб с навесом, который захватили куры под насест. В углу валялись дрожки без колес — колеса растаскали на ручные тележки — да санки с фанерным задником и с железными подрезами. Санки купил еще в двадцатых годах отец Егора Ивановича — любил пофасонить старик. Но узкие, сделанные на городской манер, они кувыркались на заснеженных сельских дорогах. Однажды на масленицу молодой тогда еще Егор чуть было не обогнал в них на своей кобыле рысака сельского барышника. Может быть, и настиг бы того Егор Иванович, да санки подвели: на первом же снежном перемете за селом они опрокинулись — Егор Иванович вывалился. А лошадь — в сторону. Санки треснулись об столб — и копылы долой. С той поры и стоят они в этом каретнике.

Но карет здесь никогда не было, да и не видывал их отродясь Егор Иванович. Название же каретнику принесли Никитины с Оки; оттуда у них все замашки, и прозвище оттуда пошло. Отец Егора Ивановича был мельником; переселившись сюда, на уссурийские земли, он первым делом смастерил ветряк. И стал брать за помол не деньгами, как тут было заведено, а зерном, называя это «батманом». Это пришлое непонятное слово быстро прилипло к самому мельнику. Ветряки здесь не в моде были, да и не могли они соперничать с местными паровыми да водяными мельницами. В двадцать седьмом году, в пору небывалого урожая, когда не только помол, хлеб ничего здесь не стоил, старик Никитин разорился вконец и умер. Остались от ветряка Егору Ивановичу столбы, камни под воротами, да вот еще прозвище перешло по наследству: «Батман».

Почти полдня трудился Егор Иванович: перенес насест, повети подправил, каретник вычистил, булыжник

местами переложил: трактор не кобыла, упор не тот. Напоследок он решил замести свое широкое, мощенное булыжником подворье — пусть к порядку привыкают, черти.

Глухо звякнула щеколда, и в калитке появился Митька-рассыльный, конопатый мальчонка в материнской фуфайке, съехавшей с тонкой шеи на плечи, точно хомут... Сперва он шмыгнул носом и провел тыльной стороной ладони по ноздрям и, только убедившись, что все в порядке, сказал:

— Дядь Егор, тебя в правление зовут.

— А что там стряслось?

— Кто-то из района приехал.

— Из рийона? — переспросил Егор Иванович.— Коль из рийона, надо итить. Один приехал, другой уехал... Работают, значит. Ступай, Митька, я приду...

«Не осень, а чистая напасть,— думал Егор Иванович.— Не успел от одного уполномоченного избавиться, как другой прикатил. И чего они сюда заладили? Летят — как воробьи на ток. Оно еще то плохо, что председатель Волгин занемог. «Опять лихоманка взяла», как говорит про него кузнец Конкин. Энтот всегда в трудную пору ложится, как опоенный мерин,— чуть поклажа потяжелее — он на колени. Агрономша на семинар укатила, по кукурузе совещаться. Тоже нашли время — картошка в поле, а они семинарии развели. А на меня, бригадира, все уполномоченные навалились».

Дома Егор Иванович натянул на стеганку жесткий, как из толя, брезентовый плащ и пошел в правление.

У правленческого крыльца увидел он райкомовский «газик» с потемневшим от дождя брезентовым верхом. «Не сам ли нагрянул?» — подумал Егор Иванович.

«Сам» — секретарь райкома Стогов — наезжал к ним редко. Не потому, что на подъем был тяжел, а потому, что дорога к ним дальняя — кружным путем сто верст. Да и не каждое лето проехать можно — тайга. А напрямик, через переправу, ездили из районного начальства только уполномоченные,— тут верст пятьдесят, не более. Добросят их до переправы, нанаец Арсё перевезет через Бурлит, а там подвода или грузовик — и газуй до самого Переваловского. На перекладных, стало быть. «А этот на «газике». Видать, сам...»

Но Егор Иванович ошибался. Приехал второй секретарь, Песцов Матвей Ильич. Заехал он в Переваловское

не то чтоб попутно, но и не самоцельно. «Будешь возвращаться из Зареченской МТС, заверни-ка в Переваловское. По морозу проскочить можно,— напутствовал его Стогов.— Разберись-ка, что у них с картошкой...» Ездил Матвей на закрытие Зареченской МТС. «Это бельмо на глазу убрать надо»,— говаривал Стогов. Все МТС в округе распустили два года назад. А эта все еще держалась. И вот — убрали.

В правлении, тесно заставленном столами и скамейками, Матвей застал трех колхозников и все допытывал, как поморозили картошку. Отвечали ему односложно, туманно, вкось:

— Мороз что медведь — то поздно ляжет, то рано...

— Река ноне дымилась — быть снегу...

— А по морозу да по снегу можно в дырявой кузнице работать? — спрашивал, в свою очередь, сухонький старик с барсучьей бородой — белой по щекам и черной под усами.— Ты ступай на кузницу, посмотри.

— А вы кузнец? — спросил старика Песцов.

— Был кузнецом, стал начальником,— сказал старик и добавил: — Стало быть, пожарной охраны... Конкин Андрей Спиридонович...— Он протянул руку, как бы вызывая его на эту словесную игру.

Матвей пожал протянутую руку — игра принята.

— А кузница?

— И кузница на мне. И то сказать: кузница на мне, сушилка, сеялки-веялки разные, теперь еще и пожарная охрана. А заместителя нет. Вот говорю председателю: дайте мне заместителя, чтоб я его к делу пристроил. А вдруг я, не дай бог, помру? Ведь не бессмертный же. Чего тогда делать будете? — И Конкин умолк, словно давая почувствовать собеседнику всю тяжесть возможной утраты.

Песцов озабоченно заметил:

— Да ведь, поди, все заняты, Андрей Спиридонович... Работают!

Конкин сверкнул своими желтыми глазками и, оглаживая левой рукой бородку, пошел на откровенность:

— Какое там работают! Сказать по правде, это не работа — суета сует. Тут к тебе кажный приступает со своими приказами да законами: председатель одно говорит, уполномоченный — другое, а директор мэтээс приедет — все по-своему норовит переиначить. Тут, парень, как на торгу: кто сильнее крикнет, больше посулит — того

и верх. Намедни уехал от нас уполномоченный Бобриков. Может, знаете?..— Песцов кивнул головой.— Вот мастак говорить-то... Куда! Как заведет, только слушай: и про инициативу, про структаж какой-то... Все уплотнение трудодня хотел сделать. Чудно! День хотел уплотнить, вроде как табак в трубке. Кспиримент, говорит... А напоследок картошку заморозил да уехал. И колхозники оттого не ходят на работу. Плюнули! Теперь только на шефов и надёжа.

Вошел Егор Иванович. По тому, как мужики повернулись к нему и смолкли, Песцов определил, что это и есть бригадир. Невысокий, в темном топырившемся брезентовом плаще, в низко нахлобученной кепке, небритый, весь замуравевший черной щетиной до глаз, он неприветливо смотрел на Песцова. «Вот так дикобраз! От этого не скоро добьешься откровения...» Егор Иванович, в свою очередь, осматривал Песцова; тот был высок, погибист, в зеленой плащ-накидке, без кепки. У него были глубоко посаженные, по-медвежьи, карие глаза, крутой, иссеченный резкими морщинами лоб и богатая темная шевелюра. «Лохматый, как Полкан,— отметил про себя Егор Иванович.— И востроглазый...»

— Я насчет картошки хочу разузнать,— начал вежливо Песцов.

— Пойдемте,— коротко ответил Егор Иванович.

От самого правления свернули в поле. Шли молча по тропинке к сопкам. Идти было трудно — тропинка петляла по глинистым буграм, потом и вовсе пропала. Дальше пошли по пахоте. После сильных осенних заморозков немного отпустило. С востока низко валили рыхлые пеньковые тучи; разорванные островерхими бурыми сопками, они сползали в низины, наполняя воздух острым запахом сырости. На мерзлую землю сыпалась косо мельчайшая морось, отчего верхний глинистый слой налипал на подошвы, ватлался за ногами. Повсюду скользко, хмуро, неприютно.

«Быть снегу,— думал Егор Иванович.— Вон и земля отмякла на снег. Небось уж прилепится в самый раз... А там скует морозец, и напрочно до весны».

Картофельное поле было под самыми сопками. Мелкий, но спорый дождь смыл обнажившиеся из отвалов картофелины, и они отливали глянцевитой желтизной. Егор Иванович поднял картофелину и подал ее Песцову.

— Полюбуйтесь! Чистый камень.

Матвей взял холодную тяжелую картофелину, колупнул ее ногтем.

— Сколько здесь?

— Почти тридцать гектаров прахом пало. И какой картошки! — Егор Иванович повернулся к Песцову и зло сказал: — Я ее выращивал, понимаете, я! А сгубил уполномоченный Бобриков да директор мэтээс. — Он выругался, сердито отвернулся и запахнул полу плаща.

— Вы не шумите. Лучше расскажите толком: как это случилось?

— А что рассказывать, только себя расстраивать!.. — Но рассказывать Егор Иванович стал горячо и подробно: — Тут все одно к одному. С уборкой кукурузы зашивались, и картошка подоспела. Председатель слег, хозяйничал Бобриков. Вызвал он директора мэтээс. Тот явился и говорит: «Я вам за два дня всю картошку развалю, только поспевай собирать». Я воспротивился. К чему это? А ну-ка морозы ударят! Пропадет картошка. Бобриков и говорит мне: «Ты ничего не знаешь. Шефы приедут, помогут...» Ну, пригнали трактор, и пошли ворочать. Один деньги зарабатывал, второй план на бумажке выполнял. Распахали. А шефов нет. Тут и ударил мороз. Бобриков сел да уехал. А колхоз без картошки остался.

— Но ведь он думал, как лучше...

— Думал? А мы что ж, думать разучились?

Песцов вспомнил, как месяца полтора назад на бюро райкома они приняли решение — послать Бобрикова, заведующего отделом пропаганды, в колхоз для усиления руководства... «Ты у нас человек грамотный — пропаганда! Установки знаешь, — говорил ему Стогов. — Вот и направляй!..» Он и направил.

— Почему ж все-таки не собрали картошку? — спросил, помолчав, Песцов.

— Морозом сцементовало так, что две недели отходила.

— Ну, а потом, когда отошла?

— А потом она мороженой стала. Кому ж ее?..

— Хоть скоту.

— Скоту?! А платить с нее, план сдавать, как с нормальной? Не, вина не наша, вы ее сактуйте.

— Хорошо, спишем... Но корм все-таки хороший.

— А мы по ней и так свиней пасли. А что осталось — в удобрение пойдет... Вот так мы и хозяйствуем.

В этом «мы» Песцов уловил явный намек на райком, на его собственную персону...

— Меня другое удивляет... Почему же колхозники молчали? — спросил Песцов.

— А кто их слушает? Я бригадир, за председателя оставался, меня и то не послушали.

— Ничего. Теперь вы сами хозяева. Вся власть у бригадиров будет.

— И бригадир не хозяин. Да иного бригадира к власти, как козла на огород, допускать нельзя.

— Отчего же? Ведь вы сами бригадир.

— Был бригадиром, и хватит с меня.

— Что так?

— Ничего. Вам сколько годков, тридцать с хвостиком? А мне под шестьдесят. Поработайте с мое, поковыряйте эту землю, тогда и узнаете.

Расстались они холодно. Песцов пошел к своему «газику», а Егор Иванович домой.

Хоть и сказал эти слова Егор Иванович по запальчивости, но мысль такая у него зародилась еще раньше. Давно уж он понял, что в колхозе у них не та пружина работает: и начальства много, и стараются вроде, а все вхолостую крутится. Мужик сам по себе, а земля сама по себе. А ведь мужик и земля, как жернова, должны быть впритирку. Тогда и помол будет. И задумал Егор Иванович, заплантовал на свой манер перекроить все. И слышал он, что в других местах вроде бы так делается.

К дому подошел он в сумерках, — с дороги к его воротам вел широкий и черный след гусениц. Приехали!

Сынов застал он во дворе; тракторы стояли в каретнике (догадались, черти!), а Иван и Степка возле заднего крыльца мыли руки, — мать поливала им из ковша теплую воду — пар клубился до самого карниза.

— Приехали?! — приветствовал их Егор Иванович и первым делом прошел к тракторам. Он провел рукой по радиаторам, похлопал по капоту. Машины были еще теплыми и сухими. «Сперва их протерли, а потом уж за себя взялись, — отметил Егор Иванович. — Молодцы!»

— Ну вот тебе, батя, и тягло, — сказал старший, Иван, подходя к отцу и вытирая расшитой утиркой руки.

Поздоровались.

— Хороши?

— Кабы мне их в руки, я бы наделал делов, — сказал Егор Иванович, снова оглаживая радиаторы.

— Не зарься, батя, не то раскулачат,— крикнул от крыльца младший, Степка, рыжий чубатый здоровяк в новенькой кожанке.

— Глуп ты еще, Степа. Я сам отвел свою кобылу в колхоз. Первым.

— Стара она у тебя была. Вовремя успел отвести, а то сдохла бы.

— Небось она была подороже твоей кожанки. А ты вот отдай свою кожанку.

— Э, батя, на личную собственность руки не поднимай.

— Да перестань зубы-то скалить! — оборвала его старуха в безрукавной стеганой душегрейке.— Ступайте ужинать.— Она с грохотом бросила ковш в ведро и поплыла в сени.

— И то правда,— согласился Егор Иванович.— Проголодались, поди? — он взял под руку безотчетно улыбающегося круглолицего, приземистого старшого, Ивана, потрепал за ворот Степку.— Пошли, пошли! Мать, поди, все глаза проглядела, дожидаючи вас.

За стол сели всей семьей, каждый на своем месте: с торца на табуретке Егор Иванович, на широкой скамье вдоль стенки уселись братаны, далее в самом углу под божницей сноха Ирина, жена Ивана, а уж с краю, на самом отлете, елозил на скамье младший Федярка, мальчонка лет двенадцати. Свободная сторона стола оставалась за Ефимовной,— отсюда она поминутно металась к шестку, гремела чугунами, орудовала ухватом и половником. Как только появилась огромная чашка щей, в которой, по выражению Ефимовны, уходиться можно, все смолкли и стали есть. Ели не торопясь, вдумчиво, молча.

После ужина, тщательно вытерев усы, губы и руки полотенцем, Егор Иванович заговорил, обращаясь к сыновьям:

— Вот и кончилось ваше мэтээсовское житье. Теперь круглый год дома. И слава богу — расходов меньше. Да и тракторы во дворе. Удобно.

— Скоро навес построят в колхозе. Общий! Перегонят туда и тракторы,— возразил Иван.

— Э-э, когда его построят! Да и что под навесом? Там и ветер, и слякоть, и снег. А здесь они сохраннее.

— Ты, батя, на тракторы-то смотришь как на свои,— сказал Степан.

— Так и смотрю.

— Земли бы тебе еще дать гектаров полтораста,— хмыкнул Степан.

— Получу и земли,— серьезно сказал Егор Иванович.

— В Америке?

— Нет, у себя в колхозе.

— Ха! Фермер Гарст!

— Смеяться будешь потом.

Братья переглянулись, а старик, считая, очевидно, что сегодня довольно с них, прошел к печке, достал из печурки подсохнувшие листья самосада и начал перетирать их пальцами — на самокрутку готовить.

Иван с удивлением посмотрел на отца и вдруг ударил по коленке:

— А что, батя, это идея! Звено создадим законно. И всей семьей... А?! Колоссально!

— И не сто пятьдесят гектаров, Степа, а двести возьмем,— сказал Егор Иванович.— Половину картошки, половину кукурузы. И сработаем. За полколхоза. А? Втроем!

— А я четвертая! — подхватила Ирина, жена Ивана.— Отдежурю в магазине, да к вам в поле. Вот и отдых.

— Спасибо, милая! — сказал Егор Иванович, и к Степану: — Ну, работничек, поддерживаешь коллектив?

— С твоей смелостью, батя, надо в министры идти, наверх. А ты к земле тянешь, под уклон. Несовременный ты человек. Скучно будет с тобой работать.

— А мы для тебя стол на поле поставим. Вот и повеселишься,— сказал Егор Иванович.

— Папань, а мне можно теперь на тракторе ездить? — спросил Федярка.

— Можно... А куда ж ты будешь на тракторе ездить?

— В магазин, мамке за хлебом.

— Ах ты мой заботливый! Мы тебя связным поставим, а мать звеньевой. Мать, согласна?

— Да ну вас... Языком-то молоть...

— Теория в отрыве от практики,— сказал Степка.— А мы люди темные. Нам не нужна амбиция, подай амуницию.

Он стал собираться в клуб: под кожанку небрежно мотнул на шею белоснежное кашне, бархоткой надраил низко осаженные, в «гармошку», хромовые сапожки, кинул на затылок пупырчатую кепочку и подмигнул Ивану:

— До встречи в долине Миссури...

Вскоре ушли на свою половину, в горницу, Иван с Ириной, и оттуда сквозь притворенную дверь долго еще доносилось неясное «бу-бу-бу» да звонкие всхлипывания от счастливого смеха.

Ефимовну сморило на печи — оттуда торчали ее подшитые валенки. Федярка притих на скамье на разостланном полушубке.

А Егор Иванович долго ворочался на койке, ждал снега... И снег пошел; прошлепав босыми ногами по полу, Егор Иванович отдернул штору на окне, приложился лбом к стеклу — так и есть! Близко, у самого носа, густо мельтешили крупные хлопья, и такие видные, будто кто их подсвечивал. Егор Иванович оделся, в сенях настроил фонарь «летучая мышь» и вышел во двор. В дыры с торцовой стены в каретник задувало — снег ложился легкой кисеей на тракторы. Егор Иванович обмахнул рукавицей капоты и кабины, усмехнулся про себя. И принялся затыкать соломой дыры в стене.

— Выходит, и для трактора защитку надо делать.

2

Первый снег приносит много радостей на селе. По крутым склонам оврага елозит ребятня на лыжах и салазках, на облепленных коровьим навозом оледенелых корзинах, а то и прямо так, на задубевших от снега пиджаках. А на конном дворе прилаживают к упряжке сани, тащат хрустящие кошевки для розвальней, сено. Озябшие возчики прыгают возле саней, борются, смеются, похлопывают овчинными рукавицами.

Нынче со снегом возвратилась в Переваловское агрономша и как ни в чем не бывало вышел на работу председатель Волгин. Оправился от своей загадочной болезни.

По-праздничному чувствовал себя и Егор Иванович. Надел новый полушубок черной дубки, валенки белые раскатал на всю длину, аж за колена — и пошел, похрупывая снежком, на конный двор.

— Кум! — встретил его радостно на конном дворе заведующий конефермой Лубников, дотошливый мужик, высокий, тонкошеий, на котором все болталось, словно на колу.— У Волгина баня топится. Пошли ужо смоем осеннюю грязь-то. Да горяченького пропустим. Обмывать

надо технику. Волгин с утра был. Без бригадира, говорит, не начнем.

— Хватит, отбригадирствовал.

— Чего? — разинул от удивления рот Лубников.

— Села баба на чело... В отставку ухожу.

— По причинам убеждения аль к примеру? — Лубников от интересу сдвинул на затылок замызганную фуражку.

— Вечером узнаешь,— ответил Егор Иванович и ушел, оставив Лубникова в сильном недоумении: как это уйти из бригадиров добровольно! Пост оставить!! Шутка сказать...

А вечером в большой, перегороженной на две половины избе председателя Волгина собрались почти все правленцы. Среди гостей выделялся солидностью и степенством круглолицый завхоз Семаков. «Вечно румяный, как девка с морозу»,— говорил про него Лубников. Возле молоденькой светловолосой агрономши Нади увивался заведующий овцефермой Круглов, старый холостяк и сердцеед, красивый, горбоносый, в крупных седеющих кудрях.

Сам хозяин Игнат Волгин, невысокий, квадратный мужик, рябоватый, отчего казался суровым, хлопотал возле длинного стола; ему подавала тарелки с закусками рослая, выше его на голову, хозяйка с равнодушным, усталым лицом. Ни шутки, ни смех нисколько не трогали ее; она невесело глядела кроткими серыми глазами, думая о чем-то своем.

— Марфа, грибков! Марфа, помидорчиков! — поминутно кричал ей в ухо Волгин, и Марфа доставала все, что нужно, откуда-то из подпола, из чулана и все ставила и ставила в тарелках на длинный, покрытый вязаной скатертью стол.

Марфа была глухой, и, очевидно, эта почти полная глухота наложила отпечаток печального равнодушия на ее крупное лицо. Раньше она работала фельдшером, но, оглохнув, пошла на ферму дояркой, а затем стала заведующей...

Марфе помогала Ефимовна — нарезáла квашеный вилок, огурцы, окорок, чистила ножи...

А гости все прибывали. Пришел Иван с женой, Степа. Крякали с мороза, обметали у порога валенки. Только Егор Иванович с Лубниковым все еще парились в бане.

Шутили все больше насчет Нади.

— А чего это Сенька-шофер не идет! — поглядывал подозрительно на нее Волгин.— Или подвенечный костюм ищет?

— Ему поглядеться не во что... Он зеркало выдрал из своей машины да пристроил на ее велосипед,— сказал Круглов.

— Так вот почему он чумазым-то ходит последнее время,— захохотал Семаков.

— Это он слезы по щекам размазывает,— подмигнул Степка Наде.

И все были такие веселые, праздничные, особенно Надя. Высокая, тоненькая, с тяжелыми желтовато-светлыми, как спелая рожь, волосами, собранными на городской манер копной на макушке, в красном джемпере с большим воротником, она была какой-то новой для этих людей, привыкших видеть ее то в плаще, то в сапогах верхом на лошади или на велосипеде.

— У вас сегодня натуральный вид,— сделал ей комплимент Круглов.— Фасон для культурного человека — великая сила.

Сам Круглов был одет, как ему казалось, по новейшей моде. Толстый рыжий пиждак, зеленый пуловер, клетчатая рубашка и синий галстук.

— Эка ты разукрасился...— заметил Волгин.— Не мужик, а прямо селезень.

— Где ж твои кумовья? — спросил Семаков Игната Волгина.— Может, в шайках уходились?

— Идут! — крикнул от окна Степка.— Распарились, как раки вареные.

По заснеженной тропинке от бани шли гуськом, нога в ногу, Лубников и Егор Иванович. У Лубникова на одной руке висели портянки, в другой он нес валенки. Шел он босым по снегу, засучив штаны по самые колена.

— Батюшки мои! — всплеснула руками Ефимовна, увидев на пороге босого Лубникова.— У тебя, никак, копыта, а не пятки, козел старый!

— Эх, кума! Ежели меня подковать, я с любым рысаком потягаюсь.— Лубников прошел к скамье у шестка, оставляя на ходу мокрые следы.

— Натурально — снежный человек,— заметил с усмешкой Круглов Наде.

— Обезьяна человекообразная,— засмеялась Надя.— Сибирская разновидность. Глянь, следы-то...

— Помесь медведя и козы,— изрек Егор Иванович.— Зверь болтливый.

— Между прочим, снег после парной очистительно действует на голову,— сказал Лубников, наматывая портянки на свои костистые, словно суковатые, синие ноги.— Вся дурь сквозь пятки уходит в снег. Тебе бы, Егòр, не мешало пройтиться босым.

— Хватит вам, петухи. За стол пора,— подал знак Игнат Волгин.

И все двинулись к столу.

Старики Волгины — народ хлебосольный, после каждой бани угощения ставили. А куда копить-то? Детей не нажили, старость подходит. «Для чего живет человек на земле? — рассуждал Игнат Волгин.— Для своего удовольствия, красотой полюбоваться, поесть чего вволю. А уж коли выпить со своим другом-приятелем, так и помирать не хочется. Кабы еще почка не тревожила, а то ведь на четыре миллиметра отошла от стенки почка-то. После контузии... Вот и живи как хочешь...»

— Игнат, списали нам картошку? — перебил раздумья Волгина Круглов.

— А вон Егор Иванович встречал вчера уполномоченного. Говорит, спишут.

— Хоть и мороженая, а выбрать ее давно надо. Не срамились бы перед районом-то. А то ведь стыдок,— укоризненно покачал головой Семаков.

— А чего там выбирать-то? Свиньи все пожрали,— сказал Лубников.

— Стыдок перед рийоном?! А кто ее поморозил? — Его Иванович зло уставился на Семакова.— Нет, будь моя воля, я бы ее до самого коммунизма оставил в таком виде — и каждого уполномоченного возил бы туда, как в музей... Носом тыкать.

Желая сгладить излишнюю резкость, Игнат Волгин поднял стопку, сказал:

— Ну, теперь мы сами хозяева... За тракторы! Будем здоровы!

Выпили.

— Хозяева, да не совсем,— возразил Егор Иванович.

Он решил, что теперь наступил самый подходящий момент, чтоб обнажить всю до корня свою затею. Мельком Егор Иванович взглянул на Надю, она подмигнула ему: давай, мол! Молодец девка! Егор Иванович с ней все уже обговорил,— обещалась поддержать.

— У тебя и так два трактора на дворе,— усмехнулся Волгин.— Чего ж тебе еще?

— А вот чтоб они под моим началом и работали, звеном, значит.

— Ого! Да ты, батя, и надел заодно проси,— подзадорил его Степка.

— И попрошу! — повысил голос Егор Иванович.— Сколько мы сеем кукурузы всем колхозом? Гектаров шестьсот? Дай половину мне. Я с этими тракторами такую кукурузу выхожу... Как сравнишь тогда эту общую, что у нас растет, да мою, и скажешь: «Э, Клим Фоме не родня». Я покажу тебе, что значит хозяин и тракторов и земли.

— Правильно, дядя Егор! — крикнула через стол Надя.— Хватит за спину друг другу прятаться.

Степан от удивления даже рот разинул да так и застыл с вилкой на полпути.

— Это пахнет автономией,— пожимая плечами, заметил Круглов Наде.— Мы должны ограждать колхозников от духа частной собственности.

— Жалко, что для глупости нет ограды.

— Но ведь ты бригадир,— заметил Волгин.

— Хватит, отбригадирствовал.

— Эдак и другие побросают бригады,— сказал Семаков.

— Ну нет, не много найдется охотников с твердого оклада уходить,— усмехнулась Надя.

— Гнать надо таких бригадиров-то. Пора уж,— сказал Егор Иванович.

— Это как же следует понимать? — Круглов извинительно улыбнулся.

— Как хочешь, так и понимай.

Наступило неловкое молчание.

— Кум, а лошадки тебе не спонадобятся? — потянулся к Егору Ивановичу Лубников.

— На что они мне?

— К примеру, если отстанешь с тракторами-то. Я тебя на буксир возьму... На кобыльем хвосте вытяну.

— Ты уж вытянешь,— отмахнулся Егор Иванович.

— Что ж ты молчишь, товарищ председатель? — спросила Надя Волгина.

— По мне что выгодно, то и подай,— туманно отговорился Волгин.— Я человек малограмотный. У нас здесь партийное начальство.

Семаков, не торопясь, отложил вилку, отпил несколько глотков мутно-желтой медовухи и только потом заговорил:

— Допустим, что дадим мы Егору Ивановичу поле и обработает он его хорошо...

— Ну? — перебила Надя.

— Даже отлично! Я верю. Но давайте смотреть в принципе. Ведь кроме него попросят поля и другие звеньевые.

— Правильно,— согласилась Надя.

— А потом скажут: закрепите-ка за нами коров, лошадей, пасеки...

— Очень хорошо!

— А зачем колхоз создавали? — спросил Семаков Надю.

— Чтобы жить лучше.

— Не всякая хорошая жизнь подходит нам.

— Конечно,— согласилась Надя.— А вдруг при хорошей жизни вас заставят в поле работать?

Лубников неосторожно хмыкнул. Семаков значительно посмотрел на него.

— Гости дорогие! — постучал Волгин вилкой о стакан.— За столом пьют. А эти разговоры давайте перенесем на правление.

— Как бы пожалеть не пришлось,— многозначительно сказал Семаков.

3

На другой день только и разговору было на селе о выдумке Егора Ивановича.

— Гли-ка, Матрена, Батман-то чего удумал — на отделение пошел. Земли просит,— доложил Лубников бухгалтерше сельпо Треуховой, прозванной на селе «Торбой».

— А то ништо, держи карман шире! Получит надел там, где по нужде сел,— хохотала Торба, откидываясь на спинку стула.

У Лубникова трещала голова с похмелья, вот и забежал он с утра пораньше к Торбе, у нее сроду медовуха не переводилась.

— Это ишшо полдела! Он вот что отчубучил: «Отныне, говорит, я вам столько-то кукурузы да картошки, а вы мне деньги кладите на стол. И чтоб без обману, договор составим, с подписями. Законной печатью скрепить,—

Лубников старался вовсю умилостивить Торбу и не сводил глаз с глиняной поставки, до краев наполненной медовухой, стоящей тут же на столе, вот так — рукой достать.

— Будет языком-то молоть,— наконец смилостивилась Торба.— Скажи уж прямо — выпить хочется.

— Ты, Матрена, как в воду смотрела. Проницательный ты человек.

Торба засмеялась, а Лубников, облегченно вздохнув, подставил кружку. Торба налила. Лубников — человек полезный: он и лошадьми командует, и все колхозные новости приносит. А уж у Торбы ни одна подходящая новость не залеживалась,— она-то знает им цену.

Впрочем, эта последняя новость и без Торбы разошлась по селу. Новость была необычной,— во-первых, бригадир уходит со своего поста сам, от оклада добровольно отказывается; во-вторых, вроде на самостоятельное управление выходит — попросил двести гектаров земли под кукурузу и тракторы. Выходит, сам себе хозяином станет. И земля и тракторы — все в одних руках.

И к вечеру в правление было подано пять заявлений, все от трактористов — просили закрепить землю и договор заключить — оплату с урожая.

Разбирали заявление Волгин, Селина и Семаков.

— Вот так и маяки открываются,— сказала Надя.

— Маяки не открываются, их открывают — разница! — возразил Семаков.

— Наверно, мужики выгоду чуют, вот и идут на такое дело,— заметил Волгин.— Придется правление собирать. Всех пропустим?

— Остановимся пока на трех, а там видно будет,— сказал Семаков.

— На трех так на трех,— согласился Волгин.

Правление проводили вечером. Народу привалило много, стульев и табуреток не хватило, пришлось из клуба принести скамейки. Даже старики собрались, но женщин почти не было, за исключением членов правления. Толпились отдельными кучками, хотя все обсуждали примерно те же самые вопросы: если закрепить поля, то как быть с оплатой? От урожая? А посреди лета что — аванс? А какой урожай сдавать?

— К примеру, на Солдатовом ключе какую урожайность определить по рису?

— Рисовые поля ноне закреплять не будут.

— В Калинкином логу у нас кукуруза давала по сто центнеров зеленки.

— Закрепите его за мной. Я и двести выращу.

— А триста не хочешь?

— Платить надо.

— Аванс!..

Возле самых дверей несколько мужиков окружило пасечника, высокого бородатого старика.

— Как думаешь, Никита Филатович?—спрашивали его.—Если зарплату положить, хоть и авансом, старики повалят на работу?

— Повалить-то повалят, ежели обману не будет. Зарплата—оно дело хорошее,—теребил он бороду.—Я бы целину вспахал на пасеке под гречиху. Но аванес нам, мужикам, брать нельзя.

— Почему?

— Указания сверху нет. А вдруг прикажут эти закрепленные поля отдать и аванес возвратить? Чего делать будем? Коров сведут со двора!

— А ты сам-то возьмешь поле?

— Да не знаю, мужики... Чего-то боязно. Кабы не омманули.

Еще одна группа толпилась возле ведомости трудодней—большущего бумажного полотнища, висевшего на стене. В ее клеточках длинными цепочками тянулись единицы да нули.

— Вот она, наша зарплата!

— На этих палочках цельный год едешь.

— На них где сядешь, там и слезешь...

— Это что ж, такие палки и за поля закрепленные ставить будут?

— Авансу дадут...

— А эту ведомость пора на растопку в печь.

— Не, паря! Ее в сундук запереть надо или в сейфу.

— Детишки смотреть будут, как на ихтизавру.

— Во-во! На зебру, значит...

Наконец Волгин, Семаков и Селина вышли из бухгалтерии, отгороженной от кабинета Волгина дощатой перегородкой. Стали рассаживаться.

Председательствовал Волгин. Протокол выбрали писать Ивана Бутусова, мужа директорши семилетки. А Семаков пристроился к столу с торца, на отшибе вроде повиднее, чтобы не заслоняли члены правления.

Несколько минут Волгин читал по бумажке, что кукуруза — королева полей и что без нее теперь вести хозяйство не положено.

— Значит, и мы окажем кукурузе всемерную поддержку. По звеньям закрепим ее.

«Ишь, куда хватил, козел старый. В самую политику»,— подумал Семаков.

— Вот и давайте разберем заявления колхозников насчет закрепления за ними земли и техники,— предложил Волгин.

— А как платить будете? — спросили сразу.

Волгин еще и сесть не успел.

— Кто соберет выше урожай, тот и получит больше. Договор подпишем.

— А посреди лета чем платить?

— Деньгами.

— Где они?

Волгин внушительно крякнул, и его тугая шея стала наливаться кровью...

— Найдем,— выдавил он наконец.

— Где найдешь? На какой дороге?

— Откуда возьмете?

— Дай гарантию.

Семаков поднял руку и привстал над столом. Шум утих.

— Товарищи, если председатель говорит от имени правления, значит, верить надо. Он знает...— Семаков кивнул на Волгина, и легкая усмешка тронула его полные красные губы.— Заверьте их еще раз, товарищ Волгин...— Семаков глядел на председателя как-то весело, подбадривающе, а про себя думал: «Ну что, козел старый, попался! Схватили тебя за бороду... Погоди, еще и рога пообломают...»

— Да, да... Я гарантирую.— Волгин хоть и старался глядеть прямо перед собой, но его шея, уши и даже скулы предательски краснели все сильнее и сильнее.

— Чем гарантируешь? Малахаем, что ли?

Волгин распахнул черной дубки полушубок с подкрашенным рыжим мехом на отворотах, вынул жестяной портсигар и протянул через стол Семакову. Тот отвел портсигар ладонью.

А в зале забубнили, загалдели промеж себя, и только насмешливые реплики долетали до стола президиума:

— Он нам облигациями заплатит...

— Ага, нашим салом — нам же по сусалам.

— Товарищи, мы ведь, в конце концов, ничего вам не навязываем! — заговорил опять Семаков, покрывая шум.— Закрепление земли не директива, а всего лишь опыт. Мы понимаем, что экономические условия для этого еще не созрели. Может быть, лучше отложить этот вопрос до будущего года? Давайте посоветуемся.

— Ежели опыт, тогда я не согласный...

— Кабы не оммануди, мужики.

— Это не опыт, а хомут...

— Ты в него влазь, так тебя ж еще и засупонят...

Выкрикивали с места, не поднимаясь; многолетний опыт приучил этих людей выказывать придирчивость и осмотрительность. Семаков сидел, смиренно потупясь, разглядывая свои широкие белые ладони.

Волгин торопливо курил и смотрел перед собой. Наконец встал из-за стола президиума Егор Иванович и двинулся к Семакову.

— А если не закреплять землю, ты что же, платить больше станешь? — спросил он сурово.

— Я, товарищ Никитин, не кассир,— Семаков кивнул в зал.— И потому к ним обращайтесь.

— Одно дело на общей работе, другое — на самостоятельную выходить,— отозвались из зала.

— А Батману что? У него оклад!

— Мне важно дело вести по-хозяйски. Понятно? — повысил голос Егор Иванович.— Довольно уж земля-то настрадалась.

— И нам не больно сладко! — крикнули из зала.

— Вот я и говорю — закрепить ее надо на личную ответственность кажного звеньевого. А уж коль на то пошло — платить нечем, так я от оклада своего отказываюсь. Пусть моя бригадирская сотня на аванс пойдет звеньевым. И я сам звено беру.

— Свято место пусто не бывает,— прервал Егора Ивановича Семаков.— Вы из бригадиров уйдете — другой встанет, ему и платить будем.

— Да уж ежели колхоз настолько обеднял, что и сотни звеньевым платить не может, так я буду бесплатно бригадирствовать. В общественную нагрузку! Ну, довольный ты теперь, парторг?

— Чего спорить? — вмешался Волгин.— В звеньях трактористы работать будут — платить им известно как.

И другим — найдем. А там — заключим договоры, урожай хороший вырастите, и заплатим хорошо.

— Вот я и прошу закрепить за моим звеном двести гектаров земли... под кукурузу и картошку. Нас трое: я, Иван и Степа. И два трактора у нас.

— Один «ДТ» у вас отберем. Колесный дадим взамен,— сказал Волгин.

— А на общих работах они будут участвовать? — спросил Семаков.

— Само собой,— отозвался Егор Иванович.— Только после того, как свои дела покончим.

— Ну как, закрепим за ними землю? — спросил Волгин.

— Конечно!

— Сам в хомут лезет...

— Закрепим.

— А мы посмотрим.

— Дело доброе.

— Поглядим...

— А сколько?

— Чего считать! Дать, сколько просит...

— Он потянет.

— Мужик надежный.

— Значит, двести гектаров закрепляем,— прочел Волгин и сказал Егору Ивановичу: — Принято. Садись.

— А кто его на работу выгонять будет? — поддел Лубников жидким тенорком.

— Старуха горячим сковородником в мягкое место,— пробасил кто-то.

— Следующий! — покрывая шум, прочел Волгин.— Еськов с подручным Колотухиным.

К столу протиснулись сквозь скамьи сразу двое: тракторист Еськов, бойкий мужик лет тридцати пяти с челкой светлых волос, спадавших на лоб, как петушиное крыло, и подручный его — Иван Колотухин, здоровенный молчаливый детина.

— Мы просим сто пятьдесят гектаров наполовину кукурузы, наполовину картошки,— сказал Еськов Волгину.

— А не много ли будет? — спросил Семаков.— Ведь у вас один трактор.

— А вот другой! — Еськов хлопнул по плечу Ивана.

Тот довольно осклабился.

— Трактор завязнет — Иван вытянет...

— Что твой мерин,— загоготали в зале.

— Дать!

— Не замай копают, а мы поглядим...

За Еськовым поднялся юркий черноволосый Черноземов и вместо кукурузы попросил ячмень и рис.

— Дать! — уже заведенно кричали колхозники.

— Только кукурузу,— доказывал Волгин.

— А я говорю — ячмень... Верное дело, говорю...

— Да-ать! — покрывали этот неожиданный спор колхозники.

Семаков, переглянувшись с Бутусовым, встал, заслоняя своей широкой грудью Волгина.

— Значит, мы утвердили для начала три звена,— Семаков поднял руку.— Закрепили за ними землю... И хватит пока. Посмотрим, что получится.

— А теперь жребий! — крикнул кто-то с места.

— Жребий! Кому какое поле достанется...

— Шапку на стол!..

— Расписывай поля, Надька! — крикнул Волгин агрономше.— Довольно дурачиться. Перейдем к делу.

Надя подошла к столу. Семаков настойчиво и долго стучал карандашом о графин. Наконец наступила тишина.

— Поля будем расписывать в рабочем порядке,— сказал Семаков.— Чего торопиться? Мы же не на торгу.

— Правильно,— улыбаясь, подтвердила Надя.— Почвенные карты прежде всего составить надо, договоры заключить...

— Верно, верно.

— Торопливость в таком деле ни к чему...

— Чай, не блины печем,— пробасил кто-то.

«Так-то лучше,— подумал Семаков.— А то расшумелись, как на сходке. Им только дай волю...»

4

Все-таки это закрепление и распределение земли насторожило Семакова. «Укрепить надо правление-то, укрепить,— думал он.— А то в момент они такую карусель выкинут, что и перед районом опозорят».

Однажды вечером после разнарядки Семаков задержал Волгина.

— Игнат Павлович, а несоответственно у нас получается,— сказал Семаков.— Влился в нашу семью

отряд механизаторов, а мы вроде бы их на расстоянии держим.

— Это почему же?

— Ни одного из них даже в правление не ввели. А ведь это все специалисты, молодежь...

— Ну что ж, подбирайте кандидатуру!

— Уже подобрали... Петра Бутусова.

— Брата Ивана?

— Да. Авторитетный товарищ. И грамотный.

— А вместо кого в правлении?

— Хоть вместо Егора Ивановича. Ему теперь и не до правления. У него и тракторы, и поле — со своим делом только впору справиться.

— Улаживайте!

Против ожидания Семакову удалось быстро все «уладить». Егор Иванович согласился «уступить место молодежи». Занят он был по горло. Вместе с сынами решил сам тракторы ремонтировать.

— А зачем? В рэтээс все починят,— возразил было Степан.

— Там тебе так починят, что на дороге развалятся. Знаю я их.

«Их» Егор Иванович в самом деле хорошо знал — сам до войны работал в МТС и тракторы водил и комбайны. А после осел в колхозе — семья большая выросла. Куда с ней мотаться из родного села? Зато теперь он был несказанно рад тому, что все собрались «до кучи». И работал с азартом, или, как говорил он, с «зарастью». Сам в РТС ездил, подобрал весь инвентарь для своих тракторов; на станцию, за сто верст, на перекладных мотался насчет селитры под будущий урожай,— разузнал, когда ее получить да завезти можно. Степана на вывозку навоза поставил, а Иван рис домолачивал — бригадные дела кончались вместе с рисом.

Рис убирали вручную по снежку. Он так низко полег, что многие кисти вмерзли в землю, и жалко было смотреть на обезглавленные стебли. Уж чего только не повидал за долгие годы Егор Иванович. И соя под снег уходила — паслись в ней дикие козы да фазаны круглую зиму, и луга некошеными оставались, и картошка мерзла... Ко всему уж привыкли глаза, а вот поди ж ты,— подкатит иной раз жалость при виде гибнущего добра, да так и полоснет, ровно ножом.

Этот год был трудным. Деньги, что скопились, пошли

на покупку техники. Трудодень оказался пустым. Перестали ходить колхозники на работу—и шабаш. Не выгонишь! А тут рис убирать надо...

— Игнат, давай заплатим рисовой соломой за уборку. Не то пропадет рис-то,—уговаривал Егор Иванович Волгина,—кормов хватит у нас.

Сена запасли в этом году вдоволь. А почему? Пятую часть накошенного сена получал колхозник. И не то что выкосили—выскоблили луга-то...

— Ладно, заплатим соломой,—согласился Волгин.— Оповещай людей.

После болезни Волгин стал податливым, только пил чаще; в такие минуты его большой нос краснел, а продолговатая щербина на носу заполнялась потом. Согласился и Семаков, только поворчал для порядку:

— Эх, народ! И где только его сознательность? Как ноне летом дали им болото выкашивать исполу, по шейку в воде буркали. Пупки готовы понадорвать, когда выгоду свою чуют...

Егор Иванович на радостях сам прошел по домам, оповестил всех, и народ валом повалил.

И хорошо ж было молотить рис на току в морозное зимнее утро! Прохладный чистый воздух, отдающий таежной хвоей; желтое, как спелая дыня, солнце; легкий морозец, от которого грудь распирает; и тугой звонкий рев барабана—все это будило бодрость и создавало то бесшабашное состояние духа, когда тебе сам черт не брат.

Егор Иванович вместе с кузнецом Конкиным молотилку старую проспособили, лет десять без надобности провалялась. Женщины встали с граблями на отбой. И загудела, родимая!

— Пошла душа в рай, только пятки подбирай,— комментировал дед Конкин.

В последний день обмолота авария случилась на току. Валерка Клоков, стоявший на подаче при молотьбе риса, прибежал к Егору Ивановичу и выпалил впопыхах:

— Подшипники у барабана полетели. Иван собирается втулки свезти в мастерские. А Конкин не дает: «Знаю я вас, горе-мастеров! До моркошкина заговенья продержите. Сам, говорит, смастерю». Пойдем, а то Иван ехать хочет.

Егор Иванович наскоро выпил кружку молока, махнул рукой на завтрак, приготовленный хозяйкой, и быстро пошел на ток.

Там — тишина. Под молотилкой на разостланных мешках лицом кверху лежал кузнец Конкин и ковырялся во втулке.

— Мы сичас, си-ичас, в один момент,— бормотал он, стиснув зубы.

— Ну, как дела, механик? — спросил Егор Иванович, опускаясь на колено возле Конкина.

— Как сажа бела,— ответил дед, продолжая завинчивать и кряхтеть. Затем он встал, степенно отряхнулся и равнодушно сказал: — Вот и вся недолга.

— Бабы! — крикнул он, повернувшись к женщинам.— Чего расселись! Не чаи гонять пришли. Работать надо.

— Андрей Спиридонович, ты чего-нибудь вставил туда или только плюнул? — серьезно спросила Татьяна Сидоркина, крутоплечая, чернобровая, про которую говорили на селе: «Эта мужику не уступит».

Женщины, сидевшие тут же на соломе, порскнули и закатились довольным смешком. Дед Конкин по-козлиному боднул головой и ответил:

— Вставил, матушка, вставил.

— Чего? — простодушно спросила Татьяна.

— Пуговицу от штанов.

На этот раз даже Татьяна не выдержала и разлилась неторопливым сильным смехом, подбрасывая кверху могучие округлые плечи.

Егор Иванович отвел Конкина в сторону:

— Что здесь стряслось?

— Да пустое. Роликов недосчитались. Так я деревянные выточил. На день сегодня хватит. А завтра новые поставлю. Так и домолотим. Тут весь секрет в смазке.— И Конкин стал подробно объяснять секрет смазки деревянных роликов.

— А ну-ка, давай испробуем твою починку! — сказал Егор Иванович.— Валерий, дай-ка очки. Хочу к барабану встать. Ну, бабы, держись! Замучаю!

— Барабан не трибуна, Егор Иванович,— хохотнула неугомонная Татьяна,— руки не язык — не берись, коль работать отвык.

— Чем судить, кума, становись сама,— ответил в тон ей Егор Иванович.

— А что ж, мы не побоимся.

Скуластое суровое лицо Егора Ивановича осветилось лукавой мальчишеской улыбкой:

— Ко мне на подачу? Идет?!

— Идет,— Татьяна двинула плечами.— Валерий, уступи место.

Егор Иванович снял полушубок. Синяя трикотажная рубашка плотно обтянула его бугристую грудь и сухие мосластые плечи, чуть вывернутые вперед.

— Ого! — воскликнул Конкин, оглаживая свою барсучью бороду.— Вот так старик! Держись, Танька! Он те укатает.

— Как бы машину твою не укатал,— огрызнулась Татьяна.— Ты подопри ее бородой.

— Ох, бес баба!

Егор Иванович взял первый сноп и ощутил приятный озноб, пробежавший по телу.

Молотьба на току звучала в его душе давней, но непозабытой песней; она была ему знакома вся: от работы мальчика — погонщика лошадей до знойной захватывающей работы барабанщика — короля тока. Кажется, не было во всем селе барабанщика, равного ему, Егору Батману. Бывало, все одонья обойдет он с общественной молотилкой. Каждый мужик поклонится ему, двадцатилетнему парню, по отечеству величает: «Пожалуй на помочь, Егор Иваныч. Не обойди, голубарь!» И Егор пособлял, старался. Ах, как он молотил! Потом уж в колхозе отдалился от молотилки, пересел на трактор, на комбайн. А теперь где встретишь этот давнишний способ молотьбы? А если и встретишь, так нет ни коней с надглазниками на уздечках, толкущихся по кругу под залихватский свист и хлопанье кнута погонщика, ни копновозов с длинными веревками, да и барабан не тот, а раза в два покрупнее, и вращает его либо трактор, либо электромотор. Словом, все не то, и все-таки в душе Егора Ивановича вспыхнул знакомый огонек.

Татьяна принимала снопы, ловко переворачивала их в воздухе и бросала комлем вперед на стол перед Егором Ивановичем. Ее полные крупные руки, обнаженные несмотря на мороз, мелькали играючи и, казалось, не ощущали никакой тяжести. Егор Иванович левой рукой хватал сноп, правой срывал свясло, развязанное Татьяной, и с маху рассеивал сноп по блестящей наклонной плоскости, ведущей в пасть барабана. Раздавался короткий басовый рев, желтыми брызгами вылетала солома, и снова барабан гудел высоко и протяжно. «Да-ва-ай, да-ва-ай»,— чудилось Егору Ивановичу в реве барабана, и он крикнул:

— А ну-ка, нажимай!

— Девоньки! — крикнула Татьяна.— У барабанщика аппетит разыгрался. Подбросим ему!

Снопы полетели друг за дружкой. И все-таки Татьяна успевала каждый сноп поймать, повернуть его в нужном направлении, точно бросить под руки Егору Ивановичу да еще свернуть узел свясла. «Ах, ловка, чертовка!» — подумал он, восхищаясь своей напарницей. Горка снопов стала расти все выше и выше. Татьяна озорно блеснула зубами:

— Завалю!

— Меня? Врешь, Танька!

Егор Иванович остервенело сграбастал своей пятерней сразу два снопа, рванул свясла и оба сразу туда, в пасть, где отбеленные зубья слились в один сверкающий круг. Барабан заурчал ниже, гуще и басил довольным утробным ревом.

— А вот эдак не хошь? Гуртом вас, гуртом! Ходи, милые, ходи веселей! — покрикивал Егор Иванович, захватывая последние залежавшиеся на столе снопы.

Так они, распаленные работой и задором, простояли больше часа плечо в плечо, упорно, не сдаваясь друг другу, пока Конкин не остановил молотилку.

— Шабаш! Отдохните малость, а то мотор пережгете.

— Ну, Татьяна, семь потов с меня согнала,— говорил Егор Иванович, вытирая подолом рубахи лицо и шею.

— Небось и вы, Егор Иванович, попотеть нас заставили,— сказала одна из женщин.

— То-то, козы! А то вы нас, стариков, уж в зачет не берете,— ухмыльнулся Конкин.

— Эх, Татьяна, кабы так все время работали! — сказал Егор Иванович.

— Эх, Егор Иванович, кабы все время платили бы...

— Ничего, бабы, ничего. Выправится.

— Ничего, конечно... А то что ж? Вот и мы — ничего,— сказала Татьяна.

И все засмеялись. На току появилась Надя Селина, подошла к Егору Ивановичу, отвела его в сторону.

— Я была на твоем поле, дядя Егор, видела, как Степан навоз возит.

— Ну?

— Сваливает где попало.

— Он что, с ума спятил?

— Все равно, говорит, его разбрасывать по весне.

— Как все равно! Да он до весны-то вымерзнет. Вымоет его — одна труха останется.

— Поди сам с ним поговори.

— Уж я с ним поговорю...

5

Егор Иванович, насупясь, двинулся к полю напрямки, через Воробьиный лог. Даже в логу снег был неглубоким, и черные валы зяблевой вспашки повсюду выпирали из-под жиденького снежного покрывала. На склонах по крутобоким увалам шумели низкорослые дубнячковые заросли. Дубнячок был не выше ковыля — по колено. Но жухлые листья красновато-ржавого цвета громыхали на ветру, словно жестяные банки. «Не дерево, а трава... но поди ж ты, шумит!» — думал Егор Иванович.

На крутом взъеме, под глинистым обрывчиком, из дубнячковых зарослей струился блеклый вялый дымок. «Кабы не загорелось,— подумал Егор Иванович.— Притушить надо». Он поднялся наверх, разбросал небольшую стылую кучку сизого пепла; мелкими блестками сыпанули на снег искорки, запахло вроде бы паленым. Егор Иванович оглядел валенок — не прихватило ли? Валенок был в порядке. На снегу возле ног чернела странная головешка — вроде бы на палку насажено маленькое копыто. Егор Иванович поднял ее — так и есть: копытце. Обуглившаяся ягнячья нога. Ах ты, ягода-малина! Ягнят жгут.

Егор Иванович сунул в карман эту ножку и свернул к лугам, где виднелись камышовые крыши приземистых сараев кошары.

Встретил его старший чабан овцефермы, Богдан. На нем огрубелый, какой-то белесой дубки полушубок.

— Твой полушубок супротив моего не годится, даром что новый. Мой ни ветер, ни дождь не берет,— смеялся Богдан.— А палкой ударь в него — звенит, что твой колокол. Только волков пугать.

— Ты случаем не этим полушубком волков пугаешь, которые у вас ягнят таскают? — ехидно спросил Егор Иванович.

— Этим полушубком! Вчерась накрыл одного!..— обрадовался Богдан.— Ты уже слыхал?

— Желаю послушать.

Сели на бревно возле плетневого овечьего база. Богдан достал кисет, моментально свернул цигарку и чиркнул спичкой; огонек где-то пропал в огромных лапах цвета дубовой коры. «Не руки, а лопаты,— подумал, прикуривая, Егор Иванович.— В таких руках не то что спичку, костер можно уберечь от ветра». По сравнению с жилистой худой шеей Богдана, с угловатым сухощавым лицом и неширокими плечами эти натруженные руки выглядели непомерно большими,— казалось, они принадлежали какому-то великану и были одолжены Богдану на время.

— Дело было не шутейное,— начал свой рассказ чабан.— Повадился к нам волк ходить, каждую ночь следы у база оставляет. И никто выследить его не может. Да какие у нас охранники! Так, приблизительный народ... А ну-ка, думаю, я сам его подкараулю. Взял ружье — и на баз. Сижу на этом самом бревне, курю да с доярками балакаю, они с вечерней дойки возвращались... Здесь их Круглов все перехватывает. Они привыкли. До нас дойдут, останавливаются, как солдаты на линии огня. А там перестрелку полюбовную ведут. Стоят, балакают со мной, ждут Круглова. А ночь темная такая, глаз коли — в двух шагах ничего не увидишь. Вдруг слышу — овцы на мой конец шарахнулись. Уж не волк ли, думаю. Вскочил я да бежать на баз. Пока через плетень перелез, пока овец растолкал, добежал до дальнего плетня, смотрю — так и есть. Задавил волк овцу и убежать успел. Вот, думаю, наглец так наглец. Ведь надо же, почти под носом у меня овцу загрыз. На другой день осмотрел дыру, куда он пролез, и поставил возле нее капкан. А сам спрятался на базу под плетнем. И что ж ты думаешь? Пришел ведь, наглец, и на другую ночь! Но в дыру не полез — капкан учуял. А решился обойти баз от конторы. И людей не побоялся. Идет себе за доярками, как на полюбовное свидание. Они в контору к Круглову, а он на баз через околицу пролез — и к овечкам. Я к околице. Овцы ко мне сгрудились. А он почуял беду — да на плетень. Прыгнет с разбегу, но перепрыгнуть не может. Пока я пробирался к нему сквозь овец, он повернулся — и на меня. Тут я его и вдарил из ружья. Он очумел, видать, бросился в дыру и попал в капкан. Я снял вот этот полушубок, накинул на него, связал ему морду, взвалил его на спину вместе с капканом и принес до конторы. Вошел в контору и говорю так тихонько Круглову: «Данилыч, волк еще

четырех овец задавил». Он ажно привстал и закурил от волнения. «Ну, говорит, Богдан, теперь тебе и коровы не хватит расплатиться». А я эдак заглядываю в окно и говорю: «Данилыч, а что это там чернеет у телеги?» Он припал к окну да как крикнет: «Волк!» Схватил топор и бегом. Пока мы вышли с доярками, он его уже убить успел. «Ну, говорит, конец вражине». И вид у него такой довольный. А я посветил фонариком и говорю: «Ишь какой понятливый волк. К телеге привязался. Знал, что его убивать станут». А девчата как увидели, что волк в капкане, так и покатились со смеху. «Как вы с топором-то не побоялись, Константин Данилыч. Волк хоть и в капкане, а страшный, да еще ночью». И с него, бедняги Данилыча, весь полюбовный лоск сошел, как корова языком слизнула.

— Больно уж волк у тебя смелый... Чумной, что ли? — недоверчиво спросил Егор Иванович.

— Волчица! Два соска обсосаны были. Значит, два волчонка где-то в логове лежат. Да разве их найдешь! — Богдан от огорчения ударил своей широкой ладонью по коленке, накрытой полой полушубка. Раздался гулкий ухающий звук, точно ударили лопатой о деревянное корыто.

— А это случаем не волчата разбойничают? — Егор Иванович вынул из кармана обугленную ногу ягненка.— Таскают у вас ягнят, а остатки на костре сжигают, чтоб не заметно было.

Богдан взял ее, потрогал ногтем копытце.

— А это мне неведомо. Да и не мое дело.

— Конечно! Ваше дело — получать премию за стопроцентную сохранность ягнят. А коли сдохнет ягненок, так уж лучше не показывать его нерожденным. Концы в воду, то бишь в огонь.

— Охранники смотрят за ягнятами. А я — чабан. Мое дело овец пасти.

— А концы прятать — это чье дело?

— Не кипятись, Егор Иванович. У тебя картошка померзла, кто виноват?

— Это другое...

— Ах, другое! Вот и учти, тут нас, на ферме, три чабана, да три охранника, да учетчик, да заведующий. А ты ко мне прилип, как банный лист к известному месту.

Богдан встал и ушел на баз.

Егор Иванович с минуту потоптался на месте и решил зайти в контору к Круглову. Тот сидел за столом в тесной комнатенке и аккуратно обертывал газетой журнал учета. Егор Иванович вынул из кармана ягнячью ножку и положил ее на журнал.

— Ягнячья... Ишь ты! Откуда она взялась?— Круглов невинными глазами глядел на Егора Ивановича.

— Отсюда же, с твоей фермы.

— То есть?

— Вон там в костре валялась.

— Так это колхозники жгут... Личный скот. А у нас учет — тут все в порядке.— Круглов ласково оглаживал книгу учета.

— Колхозники не получают за стопроцентную сохранность ягнят. Зачем же им концы в огонь прятать?

— Уж ты не с ревизией ли?

— Не мешало бы.

— Да кто ты такой? Бывший член правления?

— А вот мы комиссию организуем.

— Для комиссии у меня все — пожалуйста, в любой момент. А самозванцам здесь делать нечего.

— Ловок, ловок... Но смотри, не ровен час — оступишься.

— Не тебе судить. Не дорос еще.

С тяжелыми мыслями шел Егор Иванович на свое поле. «Что же это за порядки мы завели? Картошку поморозили — виноватых не найдешь. Ягнята дохнут — опять отвечать некому. Их там целая контора. Небось отчитаются по бумажке. Писать умеют. Да еще, глядишь, премию получат. Высокая сохранность! Пятьдесят ягнят вырастят от сотни овец... Зато, мол, все живые. А где остальные? А то неведомо. Отчитались — и все козыри в руках. Простой мужик к ним и не подступись. Заговорят, запугают. Не верь глазам своим. Ох-хо! Нет,— думал Егор Иванович,— не по-хозяйски у нас все устроено, не так... Кабы все было у чабана, спросили бы с него. А то что? — один охраняет, другой стадо гоняет, третий руководит, четвертый учитывает... И никто ни за что не отвечает... Да коснись хоть меня, выросла бы на моем поле картошка, допустил бы я какого-то уполномоченного до нее? Никогда! С кулаками пошел бы на супостата: не губи добро! В кажном деле хозяин должен быть».

Не заметил Егор Иванович, как и до поля дошел,— тут и там, перемешанные снегом, враструску валялись

навозные кучи... «Так и есть — сваливал, окаянный, где придется и как придется. Ну, я ж ему!»

Егор Иванович выломал длинный прут из краснотала и в самом скверном расположении духа пошел домой.

Степана застал он на конном дворе. Скинув фуфайку, тот в одном свитере набрасывал вилами навоз на волокушу. Егор Иванович молча подошел к Степану сзади и вытянул его вдоль спины прутом наотмашь, со свистом, вложив в этот удар всю свою злость, накопившуюся от сегодняшнего непутевого дня.

— Ты что, очумел?! — Степан кинул вилы и ухватился за прут.

— Ах ты, сукин сын! — кричал побагровевший Егор Иванович, пытаясь вырвать прут.— Что ж ты навоз в снег бросаешь?

— Да всего две волокуши скинул-то...

— Ах, две?! Вот я тебе второй раз по ушам... Ну!

Степан обломил прут и бросился бежать со двора.

— Отца позорить перед всем честным миром. Я тебе покажу! — бушевал Егор Иванович.

Через минуту, поднимаясь на крыльцо, он все еще ворчал:

— Весь доход мой в снег бросает...

6

В добрую зимнюю пору, когда жизнь на селе катится легко и ровно, словно розвальни по хорошему санному пути, неожиданно свалилась беда на Волгина.

Однажды в его тесный кабинет вошла агрономша Селина и удивила:

— Игнат Павлович, проверила я семена... Всхожесть всего шестьдесят процентов.

— Ну и что?

— Придется покупать новые... Я подсчитывала — центнеров сто шестьдесят надо пшеницы. Да кукурузы сотню.

— Посеем тем, что есть. Не первый год.

— А звенья? Они не пойдут на это.

— Да вы что, помешались на этих звеньях?! Хватит с меня ваших перестроек! Вопросов больше нет. Все!

Волгин почти силой выпроводил Селину из кабинета и в сердцах укатил в райцентр. Надо было отвезти в

чайную мед; дорога накатанная, снег неглубокий, покамест проскочить можно. А там хоть отдохнуть часок, отойти от этой канители.

Меняются времена... Или народ избаловался, или уж старость подходит, не поймешь, в чем суть, только труднее становится с каждым годом. Там начальство жмет на тебя: сей то, а не это, делай так, а не эдак, а тут свои умники завелись. «Ох, уж эта жердина длинноногая! — с неприязнью думал он об агрономше.— Два года в печенках у меня сидит. А мужики тоже хороши. Каждый для себя норовит урвать. Стервецы, кругом стервецы!»

В такие мрачные минуты размышлений Волгин любил подкрепиться. Спасибо, хоть чайные есть на белом свете.

Пока Сенька-шофер сдавал мед и оформлял накладные, Волгин ушел в парикмахерскую «подъершиться», как он говаривал, то есть подстричь, подровнять местами свой густой седой ежик, похожий на платяную щетку из отборной щетины. Затем отвели им кабину в чайной и принесли ящик пива. По мере того как бутылки пива опорожнялись, большой нос Волгина все более краснел. И на душе вроде бы полегшало, и воспоминания пришли хорошие.

— Пошли, Сеня! Раздувай свой самовар. Мы еще погремим!

А ведь бывали времена, гремели... Не раз Волгин завоевывал районное знамя досрочной сдачей хлеба. Выезжал его обоз раньше всех колхозов. Не гляди, что мы на отшибе... А чуем что к чему. Нюх у нас тоже имеется. Волгин сам паромы наводил, сам и въезжал в райцентр впереди на тучном вороном жеребце...

— Вот казак! — говорил про него секретарь райкома Стогов.— Любит блеснуть перед народом. Раньше себя никого не пустит... Жить умеет...

И жили... По крайности знали, на чем верх можно взять. Одна торговля чего стоила. Уж, бывало, Волгин не повезет с осени рис на базар, не продешевит, подождет, пока цена не поднимется. Однажды в Приморске он костью подавился. Сидит в докторском кресле — сипит, язык не шевелится. А все ж поманил шофера знаками, написал ему: «Сходи на рынок, узнай, почем рис...» А кто на Сахалин баржу лука отвез? Игнат Волгин! С Сахалина приволок корабельный дизель — в сто семьдесят сил. Всех переплюнул! Осветил село, что твой город... А теперь обрезали торговлю. Одни разговоры — повысим урожай!

Да что ж он, поля свои не знает? Земля добрая, да не в ней суть. Мужики не больно стараются... Медведи! Обленились... А все орут — повысим! Как будто бы кто против. А как повысить? Есть семена, удобрения... И сей на здоровье, только по норме. А Селина чего выдумала? Не по сто семьдесят килограммов высевать, а по двести пятьдесят. Ишь ты, семена плохие! Десять лет хорошими были, а теперь вдруг плохие... Нет уж, дудки! Семена перерасходовать он не позволит. Нашли причину — всхожесть низкая! А ты повысь, на то ты и агроном. А перерасходовать не позволю... Легко сказать — семян купить. Где? На что? В долг?! А вот этого не хочешь! — и Волгин выкинул кукиш в смотровое стекло грузовика.

— Ничего, посеем тем, что есть,— продолжал он рассуждать, не обращая внимания на улыбающегося шофера.— Будет и урожай не хуже, чем у других. Так, что ли, Семен?

— Принято единогласно...

Словом, возвращаясь домой, Волгин чувствовал в себе уверенность и силу. Сегодня же он решил отчитать агрономшу... И чтоб не чирикала попусту. Вовремя не пресечь, такой гвалт подымут, срамота.

Агрономшу он встретил возле правления.

— Придержи-ка! — сказал он шоферу и, вылезая из кабины, крикнул: — Селина, зайди ко мне!

Через минуту агрономша сидела перед ним на стуле. Игнат Павлович некоторое время стучал волосатыми пальцами по столу и внушительно покрякивал — выдержку делал. Потом еще для острастки смерил ее с ног до головы крутым взглядом белесых в красных прожилках глаз и наконец спросил:

— Не передумала еще?

— Нет.

— Так вот, сто семьдесят на гектар — и не больше! Понятно?

— Нельзя сто семьдесят — зерно имеет всхожесть всего шестьдесят процентов.

— Повысь!

— Пожалуйста. Но для этого надо купить еще семян.

— Так-то и дурак повысит. Ты повышай не покупая.

— Это невозможно! Семян не хватит...

— А подрывать авторитет колхоза и председателя возможно?

— Но что же делать? Иначе будет низкий урожай.

— Сколько еще хочешь купить семян? Дай мне твою цифру.

Селина вынула из планшетки лист бумаги и написала «250 цн.».

— Пожалуйста,— протянула она листок.

Волгин взял красный карандаш, жирно обвел кружком эту цифру, поставил точку и сказал:

— Эту цифру я беру в арбит. Ясно? Сей пшеницу по сто семьдесят килограммов! А кукурузу — ту, что есть. Все!

«Взять в арбит» у Волгина значило — спор окончен.

«Ну подожди, баран упрямый. Вот проспишься, я тебе устрою парную с веником»,— думала Надя.

Она знала, что спорить с ним теперь бесполезно, и решила подготовить к завтрашнему звеньевых. Егора Ивановича она застала дома. Он сидел за столом, подсчитывал свои будущие доходы и заносил их в школьную тетрадь.

— А, племянница! — приветствовал он Надю не вставая.— Проходи.

К столу вместе с Надей подошла Ефимовна, кивнула на исписанную тетрадь.

— Все считает, все плантует...

— А как же? Доходы!

— Журавель в небе.

— Нет, мать. А вот он, договорчик с председателем...— Егор Иванович показывал бумагу не столько Ефимовне, сколько Наде.— Смотри, вот она, его подпись, вот — моя. «Егор Никитин». И печать есть... А роспись у меня — прямо директорская.

— От росписи до урожая окарачиться можно,— заметила Ефимовна.

— Ничего! И урожай будет, и премию получу. Эх, мать! Куплю я тебе мотоциклу, и будешь ты на ней ездить корову доить...

— Будет тебе дурачиться,— Ефимовна махнула рукой и отошла.

— Поди ты... не верит колхозная масса в высокую оплату... — с ухмылкой сказал Егор Иванович.

— Ты семена-то свои видел, дядя Егор? — спросила Надя.

— Нет еще, а что?

— Проверяла я всхожесть...

— Ну?

— Не знаю, как тебе и сказать. Пойдем-ка завтра на склад. Сам посмотришь.

На следующий день ранним утром, открывая амбар, Семаков недовольно ворчал:

— Вы бы еще среди ночи подняли меня. Ни свет ни заря взбаламутились. Что ж вам теперь, фонарь прикажете подавать?

— Разберемся и так.— Егор Иванович прошел к ларям, запустил руку в один, в другой, в третий; он пересыпал кукурузу из ладони в ладонь, близко подносил ее к глазам, брал на зуб. За ним ходили Надя и Семаков. Молчали. Наконец Егор Иванович тревожно спросил Надю:

— Какая всхожесть? Не темни!

— Шестьдесят процентов.

— Сама наполняла растильню?

— Да.

— Это не семена, а мякина! — сердито сказал Егор Иванович Семакову.— Я такой кукурузой сеять не буду. И другие откажутся.

— А где взять лучше? — спросил Семаков.

— Не знаю.

— Каждый год сеяли, хороша была.

— По шестьдесят центнеров зеленки-то? Ничего себе, хороша!

— Ступай к председателю. Это его дело.

— И пойду.

А через час после этого разговора все звеньевые и подручные сбежались в правление, словно по тревоге. Кто их успел оповестить? Когда? Уму непостижимо. Волгин ничего хорошего не ждал от этой встречи, вчерашней смелости у него и следа не осталось. Трещала голова. И он сказался больным, но и дома его не оставили в покое. В обед к нему нагрянули Егор Иванович, Надя и Семаков.

— Вы уж и помереть не дадите спокойно.— Волгин лежал на кровати с головой, обмотанной полотенцем.

Он встал и, кряхтя, натянул валенки.

— Поменьше пить надо,— сказала Надя.

— Эх, не до пиву — быть бы живу,— переиначил пословицу Волгин, подошел к столу, зачерпнул пол-ложечки питьевой соды и проглотил, запивая водой из чайника.— Вот теперь мое питье.

— Слушай, решать надо с семенами... Пока не поз-

дно,— сразу приступил к нему Егор Иванович.— Не то все звеньевые откажутся сеять...

— Ты что, Егор, в себе? Весна на дворе, а ты семена бракуешь. Где я тебе их возьму? — Волгин с печальным укором смотрел на Егора Ивановича.

— Да всхожесть у них низкая! Мало их, понял? Чего ж мы их без толку бросать будем?!

— Ну, а если лучше нет?!

— Доставать надо.

— Послушай, кум, ведь мы еще осенью доложили, что с семенами все в порядке. Ну как мы теперь заявимся в райком?

— А я предупреждал вас.

— Дело не трудное, предупредить-то. А дальше что?

— В райком надо ехать,— сказала Надя.— Помогут.

— Да вы что? Опозорить меня хотите? Ославить на весь район? Спасибо, кум.— Волгин обиженно отвернулся к окну и заложил руки за спину.

— Куда ж деваться? — хмуро отозвался Егор Иванович.

— Сейте теми, что есть... Не первый год.

— Так не пойдет. Это ж так мы хорошее дело загубим и ничего не заработаем. Да и другие звеньевые откажутся.

— Они, пожалуй, правы,— неожиданно поддержал Егора Ивановича Семаков.— Придется ехать...

Волгин обернулся. Семаков выдержал пристальный взгляд председателя, и чуть заметная усмешка тронула его губы.

— Ну что ж, поедем,— сказал Волгин.

Уходили от Волгина все вместе, но в сенях Семаков замешкался и вернулся:

— Я зашел тебе сказать: эти автономщики там, в правлении, устроили что-то вроде бунта. Я, конечное дело, в райком сообщу. Это моя обязанность. Надеюсь, ты поймешь правильно.

— Валяйте... Мне все равно.

7

А через неделю пришел вызов из райкома. Поехали на лошади — снегу много подвалило, дороги замело. Запрягли в санки гнедого жеребца, а в пристяжку ему бегунца

вороного: полсотни верст — не шутка. Оделись потеплее в шубы да в тулупы да еще медвежью полсть прихватили. Волгин, Семаков и Надя уселись в задке, а Лубников пристроился в передке на скамеечке — правил.

В тайге заносов не было, и санки скользили легко по накатанной дороге. Певучее поскрипывание подрезов да частые восклицания Лубникова мешали Волгину собрать свои отяжелевшие мысли — перед поездкой он выпил стаканчик для сугрева. И теперь эти мысли разбредались, точно овцы по выгону.

— Эй, ходи, манькой! Н-но! — ежеминутно покрикивал Лубников на гнедого рысака, дергая вожжами и похлопывая шубными рукавицами.

— Перестань зудить-то,— не выдержал наконец председатель.

— Ай обидел чем? — насмешливо спросил Лубников.

Волгин промолчал. Он все думал о совещании в райкоме. «Бобриков меня поддержит. Андрей Михайлович свой человек. С агрономшей я сам разделаюсь — зелена еще тягаться со мной. А вот как Песцов выступит? Человек новый, неопределенный... И сам, старик, сурьезный больно... Ежели уж подцепит, так поволокет... Трактор! Фук-фук-фук. А ежели не подцепит, так и промолчит. Все дело в том — подцепит или не подцепит?..» Так и не решив этого вопроса, «подцепит или не подцепит?», Волгин задремал. Очнулся он уже на полпути, когда подъезжали к переправе через реку Бурлит. Впрочем, переправа была здесь летом, а теперь лежал обычный санный путь по льду. На берегу стояла одинокая изба перевозчика-нанайца. Она была так сильно завалена снегом, что издали походила на сугроб. Здесь остановились покормить лошадь, обогреться.

Встретил их старик Арсё, молчаливый и строгий, как бронзовый бог. Он поставил на стол талу — мелко наструганного мороженого тайменя, заправленного уксусом и луком; таежные люди знают, что это за чудесная закуска — свежая, розовая, она холодит и тает во рту. При виде полной чашки талы Лубников крякнул от удовольствия, распахнул тулуп и вынул бутылку самогона. Семаков строго покосился.

— Откуда?

— Понюхай и определи,— Лубников насмешливо протянул бутылку Семакову.— Ты ж у нас нюхатель.

— Чего там определять-то! И так за полверсты

разит,— отозвался Волгин.— Торба снабдила. Ее рукоделье. Кислым шибает.

— Вас вместе с Торбой связать бы по ноге да пустить по полой воде, чтоб закон не нарушали,— сказал Семаков.

— Эх ты, парторг! Ты только и смотришь за тем, чтобы чего не нарушили... Ты что, милиционер, что ли? Разве этим ты должен заниматься?

— А чем? Может, подскажешь? — Семаков насмешливо глядел на Лубникова.

— Я те все выскажу... Вот дай только выпить да закусить. А там — дорога дальняя, я те выскажу...

— Как жизнь, Арсё? — спросил Волгин.

— Рыба есть — и жизня есть, рыбы нет — и жизни нет.

Больше Арсё не проронил ни слова; пока проезжие выпивали, закусывали, покрякивали с мороза, шутили, нанаец сидел на полу на медвежьей шкуре и посасывал свою медную трубку.

От переправы свернули с большой дороги и опять поехали лесом — так короче. К тому же санный путь укрыт в лесу от снежных переметов. Лучшего и желать не следует.

— Что ж ты мне доказать хотел? Или передумал? — спросил в лесу Семаков Лубникова.— А может, и думать нечего?

— Я тебе задам такой вопрос, а ты уж сам решай — думать ай нет.

— Ну?!

— Раньше были на селе староста, урядник и поп... Так?

— Слыхал.

— Скажи, каждый тогда при своем деле состоял или все скопом вели?..

— Наверно, у каждого свои обязанности были.

— Ага, были? Значит, поп в церкви служит, староста подати собирает, урядник воров ловит... Так?

— Ну, так!

— А теперь ответь мне, чем занимаешься ты, парторг, и чем занимается он, председатель?.. Да одним и тем же — как бы план выполнить...

Надя засмеялась, хмыкнул и Волгин. А Семаков нахмурился:

— По-твоему, мы только и делаем, что план выполняем?

— Но-но, милок! Не придирайся... Делов-то много — и посевная и уборка... Собраний одних не перечесть. Да все едино — что у тебя, что у председателя. Чем ты в работе отличен? Вот вопрос. Вы даже собрания вместе проводите. Да нешто поп раньше податями занимался?

— Ты меня с попом не равняй. Я не служитель бога.

— Ну, бога в покое оставим... А ты подумай, как работал поп: каждый житель села скрозь его руки проходил. Родится человек, поп крестит его, имя ему дает, в книжку записывает. Женится — поп опять венчает его, умрет — отпевает... Кажного!.. Праздник подойдет — по избам ходит поп. В каждой избе побывает и не одно слово скажет... А проповедь прочтет!.. А причастия? Приобщения? А службы!.. Другое дело — чего он проповедовал... Но ведь это ж работа! К кажному не то что в дом, а в душу влазил! А ты, парторг, побывал хоть раз за многие годы у кажного колхозника в дому? На собрании поговорили на общем? Да?! И довольно!.. Иль ты думаешь, что путь к душе человека скрозь ладошки лежит — похлопали на собрании и все постиг? Иль никому уж не нужна душа-то моя? План выполнили — и точка...

— А что ты от меня хочешь?

— Так вразуми, куда мне девать себя, как с конюшни приду... У попа была и заутреня, и обедня, и всенощная... На клиросах пели и мужики и вьюноши. И величальные, и погребальные... На все случаи в жизни. А у нас в клубе? Танцы до петухов на грязном полу да мат трехаршинный. Ну, а вот я, поскольку вырос из танцевального возраста, что я должен делать? Самогонку пить, иного выхода нет. А ты, вместо того чтобы душой моей заняться, вынюхиваешь, откуда я самогонку достаю. Какой же ты парторг?! Милицанер ты...

— Ох-хо-хо! Вот это отбрил,— смеялся Волгин, запрокидывая голову, наваливаясь на плетеный борт санок.

Смеялась, прикрываясь для приличия варежкой, Надя, и даже Семаков, еще пуще раскрасневшийся не то от выпитой самогонки, не то от смущения, дробно посмеивался — не принимать же всерьез ему этого бреда болтливого конюха. Лубников приосанился, важно покрикивал и теребил вожжи.

— Но-о, манькой... Шевелись, милай!..

Как бы ни была длинна зимняя лесная дорога, наскучить она не может. Летят и летят тебе навстречу

взлохмаченные медно-красные, словно загоревшие на солнце, кедры; они причудливо изгибаются над тобой, протягивают свои буро-зеленые косматые лапы, словно стараются схватить тебя, и угрюмо смотрят вслед ускользнувшей из-под них подводе. Степенно выплывают из серого разнолесья аккуратненькие пихточки, принакрытые хлопьями снега, точно в пуховых платочках; вид у них такой застенчивый и робкий, будто они стыдятся этих корявых, обнаженных ильмов и ясеней. А то вдруг выглянут из-за огромной валежины юные стройные елочки, сбившиеся плотно в кучу, как стайка ребятишек; смотришь на них и думаешь: хорошо им, должно быть, так вот слушать старые таежные сказки и перешептываться между собой... А дорога все петляет, вьется; скрипят монотонно полозья, покрикивает незлобиво возница,— и тебе поневоле начинает казаться, что едешь ты не час и не два, а много-много лет.

Перед самым райцентром выехали на большак, открытое широкое поле, прямая, как кнутом хлыстнуть, дорога — и в заснеженной вечереющей дали сизые дымки Синеозерска.

— Ну, а теперь я вас прокачу,— сказал Лубников.

Он весь подобрался, посуровел, привстал над скамьей, натянул вожжи да как гикнет:

— Эй, царя возили! Ходи-и!..

Высоко выбрасывая ноги, покачивая крупом, закинув храп и бешено осклабив зубы, рысаки чертом полетели, разбрасывая снежные комья... А Лубников озорно откинулся со скамейки вполуоборот к Наде и крикнул, прищурив глаз:

— Эх, красавица! Был бы я помоложе, не допустил бы до тебя ни одного ухажера, малина им в рот!

Надя прикрыла лицо воротником, и на ее шапочку, на шубку, на медвежью полсть густо полетела снежная замять.

Такой заснеженной, раскрасневшейся, в белой пуховой шапочке, в заячьей шубке, в расшитых удэгейских унтах Надя первой влетела в приемную секретаря. Из кабинета Стогова навстречу ей вышел Песцов и встал как вкопанный, в меховой куртке, затянутой молниями, в унтах — он высился гигантом.

— Здравствуйте, Снегурочка! Откуда вы такая явились?

— А из лесу.

— Одна?

— Волков боюсь.

— А где ж ваш Дед Мороз?—Песцов с беспокойством поглядывал на Семакова, вошедшего вместе с Волгиным и Лубниковым.

— А вот,—показала Надя на Лубникова.

— Ах, этот!—обрадовался Песцов.—Жидковат для Деда Мороза.

— Ты, парень проходи своей дорогой,—отшучивался Лубников.—Не то дойдет до дела—ишшо посмотрим, кто из нас жидковатый...

Надя расхохоталась.

— Заткнись, дурень!—дернул Волгин за рукав Лубникова.

— Ого, какой грозный!—Песцов подошел к мужикам.—Здравствуйте, товарищ Волгин! По какому делу нагрянули?

— По семенному.

— А-а, семенной бунт! Мужики забастовку объявили... Слыхал, слыхал,—говорил Песцов, здороваясь.

И опять Наде:

— А я вас не узнал. Быть вам богатой.

— Дай бог...

— Защищаться будете или нападать?

— Мы—люди мирные.—Надя посмотрела на Волгина.

— Сам-то у себя?—спросил Волгин.

— Скоро будет... А вы пока отдохните с дороги, пообедайте... Или, вернее, поужинайте. Так я не прощаюсь, на ваше совещание непременно приду.—Песцов вышел.

— Что это за вертопрах?—спросил Лубников.

— Второй секретарь... новый,—ответил Волгин.

— Да ну!—Лубников важно поджал губы.—Не похож...

8

Песцов только что возвратился от рыбаков—на подледный лов ездил. А вечером надо на юбилей—в мелькомбинат. Не пойдешь же туда в куртке и свитере... Черт возьми—надо опять домой бежать, переодеваться, рубашку гладить... Снова—сюда, к Стогову... Колгота! Не хотелось идти на это торжество. Но не хотелось не

только потому, что хлопотно, а еще и по другой причине... Эта высокая агрономша, вся такая белая, пушистая, как снег на голову свалилась. И он все думал: где они остановились? И поедут ли домой вечером или ночевать останутся? А может быть, его услуги понадобятся? Вот войдут сейчас и скажут — нет в гостинице мест. Куда поселить приехавших из «Таежного пахаря»? Он медлил, не уходил домой, взаправду ждал этого сигнала, как будто во всем райкоме, кроме него, и некому заниматься было гостиничными делами! А потом Песцов решил, что не успеет уж сходить домой и переодеться до совещания, а после совещания переодеваться уже поздно... А так идти тоже неудобно — все-таки юбилей... И потом, есть же у них Бобриков, для него посидеть на банкете — удовольствие. А доклад Песцов уже написал, передаст Бобрикову, тот прочтет — и вся недолга. Песцов, скинув куртку, просматривал этот вчера еще наспех набросанный доклад.

Вошла секретарша, маленькая гуранка с янтарными раскосыми глазками.

— Матвей Ильич, звонили из мелькомбината. Приглашали к восьми. Вот, билеты прислали.— Она положила на стол два пригласительных билета.

— Некогда мне, Маша,— ответил Песцов, не поднимая головы.

— Что-то вы все отнекиваетесь? Стогов занят, вы тоже... А они ждут.

— Бобриков пойдет. Я договорюсь с ним.

— Говорят, банкет будет,— мечтательно сказала Маша.

Песцов встал, торопливо сложил листки доклада и протянул Маше:

— Бобрикову передашь. А меня сегодня вечером нет. Поняла? Я исчез.

— Где же вы будете?

— Гм,— Песцов ухмыльнулся.— Пока у Стогова.

— А билеты?

Песцов взял со стола билеты, вложил их в руку Маше:

— Всё, Машенька, твое. Приглашай лучшего парня — и прямо в президиум, за стол. И надень на себя что-нибудь эдакое белое...— Песцов сделал округленный жест.

— Почему белое? — Маша кокетливо улыбнулась.

— Ну, наверно, будет к лицу.

Так в одном свитере Песцов прошел к Стогову. Здесь все уже были в сборе. В центре, за большим столом, покрытым зеленым сукном, сидел сам Стогов, массивный старик с красивой седой шевелюрой. Рядом с ним Бобриков в защитном френче, коротко стриженный, прямой, как гвоздь, сразу видно — из военных. Инструкторы и приезжие сидели на стульях, вдоль второго стола. Песцов осторожно присел на диван.

Когда началось совещание, Надя заметила, что нос у Волгина изрядно покраснел,— значит, после посещения чайной он будет отстаивать свою точку зрения. Говорил он мало, но внушительно:

— К весеннему севу колхоз готов. Вывезено навозу на поля триста тонн, запланировано вывезти еще триста. Получено минеральных удобрений шестьдесят тонн. Инвентарь и техника готовятся, семенами обеспечены. Правда, наш агроном Селина еще молодой и неопытный агроном. Она сделала неверный подсчет семян. Селина, товарищи, на восемьдесят килограммов завысила норму. Она предлагает высевать по двести пятьдесят килограммов пшеницы на гектар. Я, товарищи, тридцать лет сею на этих землях, да и вы, Василь Петрович, не меньше,— сказал он, обращаясь к Стогову.— И по стольку никогда не высевали. Конечно, товарищи, Селина агроном молодой и неопытный. Ей трудно сразу от книжки да в борозду. Но мы ей должны помочь. Я предлагаю: пусть райком прикрепит к нам в помощь опытного агронома на время посевной кампании.

Надя не ожидала такого поворота и покраснела. Когда Волгин сел, она потупила глаза и стала машинально расстегивать и застегивать кнопки на своей потрепанной планшетке, оставшейся в память от отца. До ее слуха доносилась спокойная, с многочисленными запинками речь Бобрикова, и ей вдруг показалось, что это говорит вовсе не Бобриков, а Лубников погоняет лошадь: «Н-но, ходи! Эй, веселей! О-о, эй, манькой».

И сквозь эту назойливо звучавшую в ушах дорожную воркотню возницы до ее сознания долетали слова другие, но почти такие же несвязные.

— Волгин, товарищи, старый партиец... Опытный руководитель... Мы его все знаем... К таким работникам надо прислушиваться... Селина молодой работник, товарищи... Мы ее плохо знаем... К таким тоже нужно

прислушиваться. Таким надо помогать. Я предлагаю направить в колхоз «Таежный пахарь» на время посевной агронома Федькина. Он опытный агроном, товарищи...

Он говорил, и его круглое лицо в тоненьких красных прожилках двоилось в глазах Нади. Временами она улавливала в нем что-то общее с Волгиным, но что именно — понять не могла. Может быть, волосы? У Бобрикова они были тоже седые и жесткие, как у Волгина, только подстрижены короче. Может, лицо? Да нет, не то; внешне это были люди, как говорится, разного калибра,— Волгин широкий, с красным лицом, а этот — маленький и весь какой-то коричневый. И вдруг, перехватив взгляд Бобрикова, Надя поняла, в чем сходство. И Бобриков и Волгин, выступая, направляли взгляд только на секретаря, когда же они обращались к остальным, то смотрели или поверх голов, или еще выше — в потолок. А когда они говорили, глядя в потолок, казалось, что они думают совсем не то, о чем говорят.

После выступления Бобрикова Волгин приосанился, и Надя только теперь заметила, что был он одет в новый черный шевиотовый костюм и даже при галстуке, который лет пять назад был, очевидно, коричневый, а теперь уже не коричневый и не совсем еще черный. Затем она перевела взгляд на свою серую спортивную блузку, потянула кверху замок на застежке и снова почувствовала неловкость.

Поначалу говорила она сбивчиво, путаясь:

— Всхожесть семян низкая... Всего шестьдесят процентов... Определяла вместе со звеньевыми. Сама заполняла растильню. По моим подсчетам требуется еще сто шестьдесят центнеров пшеницы да кукурузы центнеров семьдесят.

При этих словах Волгин крикнул:

— Ерунда!

Стогов постучал карандашом по графину. Окрик Волгина словно подстегнул Надю; она вскинула голову, яркий румянец ударил лаптами по щекам, глаза потемнели, сузились.

— Я так думаю, товарищ Волгин, люди не хотят больше отсеваться чем попало и как попало. Лишь бы в срок!.. Мы же технику им дали, землю закрепляем... А порядок? Тот же самый! Сей тем, что бог послал. Лишь бы отрапортовать вовремя. Кому это нужно? Вам?! — Она указала на Стогова и Песцова.— Мы даже обмануть друг

друга можем сводками, рапортами. Но колхозников-то мы не обманем. Стал бы раньше мужик засевать свое поле плохими семенами? Нет! Он бы последний пиджак с себя продал, а семена купил хорошие. Вот и давайте хоть пиджак с себя продадим, а семена добудем стоящие.

Надя села.

Стогов переглянулся с Песцовым и чуть заметно одобрительно улыбнулся:

— Здорово она раздела нас с вами, товарищ Волгин. Пиджаки сняла.— Все засмеялись.— А вы докладывали — все в порядке. Да вы сами-то проверяли?..

— Здоровье у меня, Василий Петрович, не того. За всем не доглядишь.

— Опять почка?

— На четыре миллиметра отошла от стенки, почка-то. Контузия! Теперь на жирах только и еду.

— Ты что ж, семена на жиры переводишь? — грозно спросил Стогов, и все опять засмеялись.

— Что будем делать, Матвей Ильич? — уже серьезно спросил Стогов Песцова.

— А мы еще парторга не спросили.

Семаков с готовностью привстал:

— Я уже там, в колхозе, сказал — семена плохие.

— Есть у нас немного пшеницы в резерве... А из кукурузы только воронежский сорт... на базе,— сказал Песцов.— А деньги-то у них найдутся?

— Наскребем,— хмуро произнес Волгин.

— Тогда и мы наскребем,— сказал Стогов.

— А насчет того, чтоб агронома прислать на помощь... по-моему, торопиться не следует. Как вы думаете, Василий Петрович? — Песцов глядел на Надю.— Они справятся.

— А ты шефом им будешь? — озорно спросил Стогов.

— Если понравлюсь — пожалуйста.

— Ну как, согласны? Не подведете своего шефа? — Стогов весело поглядывал на Надю.

Она, густо покраснев, снова занялась планшеткой.

— К нам дорога дальняя, медведи в лесу водятся. Не забоится? — усмехнулся Волгин.

— Ты что, работников райкома медведями пугать? — повысил голос Стогов.— Смотри, сам приеду!

Так, с шутками, со смешками и расходились с этого короткого совещания. Песцов отвел в сторону Бобрикова и стал упрашивать:

— Будь другом, выручи... Старик послал меня на торжество в мелькомбинат, а я видишь? — оттянул он воротник свитера.— Не по форме. Сходи за меня. Доклад я уже написал... Возьмешь у Маши,— остановил Песцов пытавшегося возразить Бобрикова.

Тот пожал плечами, сделал нарочито огорченное лицо и согласился.

9

Песцов бросился вниз по лестнице и в вестибюле нагнал Надю.

— В гостиницу? — спросил он, растворяя перед ней дверь.

— Да.

— Я подвезу вас.

Возле райкома стоял «газик». Песцов открыл дверцу, подсадил Надю, сел сам.

— Быстро? Медленно? Как вы любите?

— Быстро.

«Газик» с ревом сорвался с места, юркнул в узенький переулок, вылетел на главную улицу и ошалело помчался по широкому шоссе. Редкие прохожие шарахались в стороны и чертыхались, провожая глазами шалопутную машину.

На угловом двухэтажном доме, откуда начинался съезд к озеру, тускло светилась вывеска: «Гостиница «Уссури». «Газик», не замедляя хода, промчался мимо гостиницы, перемахнул через канаву и бросился прямо к озеру... Резко заскрипев тормозами, он замер на высоченном откосе.

— Проскочил мимо,— сокрушенно развел руками Песцов.— Скорость заело... Извините.

— Не расчетливый.

Надя, приоткрыв дверцу, с опаской поглядывала на обрыв, который начинался прямо от колес.

— Боитесь? — спросил Песцов.

Надя неопределенно улыбнулась.

— Пойдемте на берег?

Песцов вылез из машины, перешел на другую сторону, хотел принять Надю на руки. Она отстранила его руки и спрыгнула на землю.

Иссеченный ручьями глинистый обрыв, на котором и снег-то не держался, круто уходил под лед. Отсюда, с

обрыва, далеко видно было в ночном сизом полумраке застывшее озеро; местами из-под снега пробивались круглые темные проплешины льда, отчего озеро казалось пегим. Темное низкое небо высвечивало крупными яркими звездами, одна звезда была такой большой, что от нее по льду, как от луны, тускло тянулась дорожка.

— Я все хотел спросить у вас,— тронул Надю за локоть Песцов,— как же это ваши колхозники взбунтовались? Отказались от семян?

— Очень просто. Не захотели сеять плохими семенами.

Матвей засмеялся.

— Не так-то уж просто... Картошку осенью поморозили — молчали. А тут вдруг зашумели. Странно!

— Картошка была общей. За нее никто не отвечал. А кукурузу мы распределяем в этом году по звеньям. На совесть каждого... Поля закрепляем.

— Слыхал... про ваше новое землепользование. И вы на это идете? — Песцов заглядывал ей в глаза.

— Иду.— Надя смотрела прямо и серьезно.

— Зачем вам это нужно? Вы же агроном! У вас свои дела. Обязанности ваши расписаны, наставления присылают... Оклад есть. И трудитесь спокойно.

— А если я не согласна с вашими наставлениями, тогда что?

— Тогда...— Песцов пытался удержать строгое выражение лица.— Тогда... Хвалю за смелость! Как вы на Бобрикова да на Волгина набросились? А ведь они начальники... Не страшно?

Надя улыбнулась.

— Как-то я не подумала об этом.

Песцов взял ее за плечи, хотел поцеловать. Она уклонилась.

— Не надо! — прошептала с досадой.— Что вы делаете?

— Тоже вроде вас: не подумал об этом...— Потом уже иным тоном, усмехаясь: — Голову теряю, как говорят в подобных случаях.

— Нельзя терять головы, да еще в присутствии подчиненных. Я тогда отсюда и дороги не найду. Так и замерзну в чистом поле.

— Ну, уж это — отойди прочь! Я не из тех, что друзей на дороге оставляют. На эту руку можно опереться,— он

протянул ей раскрытую ладонь: — Беритесь смело! А остальное уж не ваше дело.

— Поедемте! — рассмеялась Надя.

Они сели в машину.

— Как поедем? Быстро? Медленно?

— Как хотите,— отвечала Надя.

И снова, взяв на пустыре разгон, «газик» пролетел мимо гостиницы, и снова шарахались с дороги редкие прохожие, а Песцов косил глаза в сторону Нади. Она молчала. Машина пересекла городок и выбежала на холмистую, заснеженную равнину, порезанную на две половины темным хлыстом дороги. Это была та самая дорога, на которую Надя выезжала сегодня из леса. Но теперь лес оставался в стороне, машина мчала в открытую степь. Песцов восторженно поглядывал на Надю, словно спрашивал: «Ну, каково?» Надя вспомнила санки Лубникова и улыбнулась. Песцов прибавил газу.

Из-за сопки выплыла огромная красная луна; в ее печальном свете, тускло поблескивая желтыми глазами, «газик», точно сова, парил над темной дорогой. Вымахнув на покатую спину увала, он остановился на самой вершине.

— Нравится? — спросил Матвей.

— Очень,— тихо ответила Надя.

Песцов погасил фары.

После рева мотора, после сильного шуршания колес о дорожную щебенку наступила неестественная тишина. И эти заснеженные холмы с каким-то зеленоватым, мертвым отблеском, и эти черные таинственные сопки, и эта кирпично-красная с седым налетом по краям, словно задымленная, луна — все казалось ненастоящим.

— Я еще в детстве любил останавливаться на буграх,— сказал Матвей.— Куда бы ни шел, как бы ни спешил, а все задержишься, бывало, на самой высоте, посмотришь вокруг — и радостно и как-то торжественно становится. И успокаивает.— Он курил и смотрел прямо перед собой в смотровое стекло.

— Церкви раньше ставили на буграх,— отозвалась Надя.

— Ближе к богу? — улыбнулся Песцов.

— К солнцу,— серьезно ответила Надя.

— Скажите, а ваши колхозники охотно пошли на закрепление земли? — неожиданно спросил Песцов, обернувшись к Наде.

— По-разному... Одни — охотно, другие обману боятся, как они говорят,— улыбнулась Надя.— Но правление ограничило. Остановились только на трех звеньях.

— А вы требовали большего?

— Да.

— Любопытно. Непременно загляну к вам... Хочется пожать вам руку.— Матвей покрыл своей ладонью Надину руку и крепко сжал ее.

— Поедемте...— Надя выдернула руку.

И опять неистово мчались по степи, по сонным улицам ночного городка.

Возле гостиницы Песцов услужливо помог Наде сойти.

— Спасибо, Матвей Ильич! — Она подала руку на прощанье.

Песцов снял с Надиной руки перчатку, сжал ее захолодевшие пальцы и вдруг быстро поднес к губам.

— Что вы! — испуганно сказала Надя, отдернув руку, а потом шепотом: — Спокойной ночи.

Песцов стоял до тех пор, пока она не скрылась в подъезде, и только потом сказал:

— Спокойной ночи!

Садясь в машину, он спохватился: «Ах, черт! Я ж не договорился на завтра встретиться... Впрочем, бесполезно. Завтра утром она уедет. Да и зачем?! Все это блажь...»

Ехать в гараж не хотелось, и Песцов свернул опять к озеру, но поехал не через пустырь, а мимо палисадников, вдоль пустынного проулка. Внезапно от ограды отделился высокий грузный прохожий и как-то резко выкинул перед собой палку. Песцов сразу узнал Стогова. Он остановил машину и пошел навстречу секретарю, улыбаясь во все лицо.

— Ты чего это по улицам скачешь, казак?! Добрым людям спать не даешь...

— Эх, Василий Петрович, Василий Петрович!

— Что, наехало? А вот я палкой тебя вдоль спины-то... Ах ты, разбойник!

Песцов покорно подставил спину:

— Виноват, батюшка... Лукавый попутал.

— Ну, будет, будет! Зайдем ко мне, потолкуем.

Переваливаясь с ноги на ногу, точно слон, Стогов понес по тропинке свое большое, грузное тело к дому.

Стогов жил на берегу озера в белом кирпичном особнячке, обнесенном тесовым забором. В прихожей

встретила их полная седеющая женщина в розовом переднике и в пенсне — жена Стогова, учительница.

— Здравствуйте, Антонина Ивановна! Извините за поздний визит,— сказал Песцов.

— Проходите в залу...

— Ничего, мать, ничего... Мы в кабинете похолостяцки покалякаем,— сказал Стогов.— А ты не хлопочи...

Стогов провел Песцова в свой маленький кабинет, здесь над книжными шкафами висели ружья, оленьи и козьи рога, чучела... На полу валялась огромная шкура бурого медведя. С кушетки свешивалась пятнистая шкура барса. Каждый, кто входил в этот кабинет, видел, что хозяин пожить любил...

Стогов усадил Песцова в кресло к низенькому столику на раскоряченных ножках, вынул из секретера графинчик с прозрачной, как рубин, настойкой, налил в старинные граненые рюмки:

— Лимонник — дальневосточный эликсир... На чистом спирту. Всю усталость снимает. Будь здоров, Матвей!

Выпили.

— Вот и вся моя норма,— отставил пустую рюмку Стогов.— Да, Матвей, подходит скучная пора... Кажется, все лимиты израсходовал. А вроде бы еще и не жил... Наливай себе.

Песцов снова выпил.

— Ты с кем уехал из райкома?

— Подвез переваловскую агрономшу... До гостиницы.

— Подвез...— Стогов многозначительно усмехнулся.— А может, увез?

— Заговорились... По научной части,— улыбался и Песцов.

— Странный ты мужик. Вроде бы умен, учен... А пустяков не понимаешь.

— О чем это вы? — нарочито округлил брови Песцов.

— Тебе бы тройку с бубенцами. «В гривы конские ленты вплету...» — Стогов потряс шевелюрой и прищелкнул пальцами.— Сани устелить коврами да красавиц увозить бы.

— Да венгерку, да шапку набекрень. Красиво, черт побери!

— Во-во! Забываешься, братец, забываешься...

— А кто-то мне рассказывал, Василий Петрович, как зимним вечером один кавалерийский комиссар украл у

богатого инженера жену на одну ночь... Прямо с вокзала!

— Тихо, тихо, трам твою тарарам! — Стогов поднял палец и осторожно поглядел на дверь.

— Бородатый инженер ждет ее у главного входа на собственном экипаже... А они по задворкам да на извозчика... Да в лес на дачу... А на другой день: «Извини, мой милый... Я отстала от поезда!»

Стогов добродушно посмеивался:

— Учти, Матвей, то был нэп... Лихой кавалерист с глупостями в голове. А теперь — иное время. И не забывай — кто ты? что ты?..

— Что ж я! Остался я на полдороге, Василий Петрович, — иным тоном сказал Песцов. — От научной работы оторвался... Тут вот в суете да в маете...

— Это ты брось, Матвей! Идешь ты по самой столбовой дороге. Тяжелая судьба у нашего брата: собой не распоряжаемся — куда пошлют, туда и едешь. Ни степеней, ни ученых званий мы не заслуживаем... А конец подойдет — что передавать-то? Ни завода, ни стройки, ни кафедры. Незаметная наша работа, что и говорить. Руками ее не потрогаешь. Зато сколько добра людям сделаешь! Так и растворишься среди людей. Не каждый способен на это, Матвей...

— Э, Василий Петрович, всегда другие найдутся...

— Другие!.. Трудно, Матвей, передавать живое дело в другие руки... Налей себе еще.

Песцов засмеялся.

— Чего это вы так минорно настроены, Василий Петрович? Вам еще работать да работать.

— Моя работа теперь вон к чему идет, — Стогов указал рукой на длинный китайский вымпел, на котором по красному начертаны черные иероглифы, и перевел многозначительно: «Не выходя из дому, познаю весь мир».

— Тоже дело!

— Дело делу рознь. Посмотришь вокруг себя — везде нужны толковые люди, а их хвать-похвать — по пальцам перечтешь.

— Они готовыми не рождаются.

— Твоя правда. Смотрю я давеча на Волгина... Ну какой он председатель колхоза по нынешним временам? Грамотности кот наплакал, да и здоровье никудышное. А попробуй поставь нового! Кого подберешь?

— Да хоть Селину! Напористая, умница... Как она посадила Волгина вечером-то. А? Красота!

— Ты скор на решения, батенька. Еще не влюбился?

— Заметно? Нельзя?!

— Кроме шуток, Матвей, ты слишком впечатлителен и доверчив.

— Если доверчивость — грех, то я уж не раз искупил его, поплатился в свое время.

— А мы не имеем права на такую роскошь. Подобрать председателя — не шутка. Селина — молода. А молодой человек часто бывает угловатый, жесткий. Председатель, друг мой, что седелок — весь упор на нем. Он должен хорошо притереться, иначе холку набьет.

— Притереться к кому, Василий Петрович? К хозяйству или к вам?

— Хитер, хитер. А ты как думаешь?

— Если к вам, тогда лучше Семакова и желать нечего.

— Что-то они напутали там со звеньями,— уклонился Стогов.— После совещания мне Семаков докладывал.

— Что именно?

— Да вроде бы семейственность развели...

— Какая чепуха!

— И мне кажется. Но проверить все-таки надо. Сигнал неприятный. Придется тебе съездить.

— Когда?

— А в посевную. Разберешься и доложишь.

10

Весна в этом году запаздывала. В марте подули холодные северо-восточные ветры, они подхватывали желтую пыль с обнаженных обрывистых берегов оврагов и рек и подкрашивали ею до блеска отшлифованную корку наста. По увалам, по скатам сопок, рыжих от полузанесенной прошлогодней травы, со звоном катились сорванные засохшие дубовые листья. Солнце всходило тусклым, желтовато-пепельного цвета, словно и его запылили буйные маньчжурские ветры.

Пришел апрель, а снега все еще держались. Вот тогда и решился Волгин выбраковать и сдать два десятка яловых коров, которые давно уже мозолили ему глаза. И время было самое подходящее,— зиму продержались коровы хорошо — справные, много потянут. И денег не

было в колхозе — все резервы пошли на покупку семян да запасных частей к тракторам.

Но, как Волгин и ожидал, ему встали поперек горла Семаков и Бутусов. На правлении колхоза они бушевали, что-де, мол, не имеем права. Мы и так не выполняем план по этому поголовью. Да кто нам позволит плановых коров продавать?!

«Они же третий год яловые!» — убеждал их Волгин. «Вы сами в этом виноваты».— «Да что ж я, бык, что ли?» — «Это не по-государственному!» — кричал Семаков. «Да надо же платить колхозникам!» — «Не за счет продажи плановых коров...» — «Ну вот что... Я хозяин, а не вы! — вскипел Волгин.— Я и сделаю так, как хочу...»

Но сделать ему это не удалось: поначалу помешала внезапно пришедшая распутица, а потом из райкома позвонили и строго-настрого предупредили: не разбазаривать плановый скот. На расследование выехал второй секретарь Песцов.

Перед самым отъездом Песцова из «Таежного пахаря» прилетела еще одна скверная весть: «Вместо сева звеньевые пашут собственные огороды...»

Приехал Песцов под вечер. Волгин пригласил его к себе.

— Дорога дальняя, иззябся да намаялся. Отойди малость... А завтра и делами займешься.

За долгим вечерним разговором Волгин все жаловался на здоровье и на жизнь и на то, что помощи ниоткуда не жди. Слушая его, можно было заключить, что человек он самый разнесчастный, что жизнь ему дана в сплошное наказание, что колхоз это и не хозяйство вовсе, а тяжеленный воз, который суждено везти одному Волгину.

— А что я имею, кроме одного-единого старания? — спрашивал он, подаваясь к Песцову. Потом растопыривал свои узловатые заскорузлые пальцы, смотрел на них с некоторым удивлением и отвечал: — А ничего больше. Но ведь на одном старании далеко не уедешь. Лошадь в борозде тоже старается, да смотрит себе под ноги. Так вот и я, пока в землю смотрю,— тяну, а вперед посмотрю — борозды не вижу.

— Но почему?

— Потому что не хозяин я.

— Кто же хозяин?

— А никто. Ни я, ни ты, ни Стогов. Все мы связаны по рукам и ногам.

— Кто же нас связал?

— Сами себя связали. У нас не работа, а сплошные представления. Делай так, а не эдак. Разумно, не разумно, а делай... В каждом деле представители, и все указы знают. Посей не то, а это — и сразу разбогатеешь. А кто будет сеять, кто убирать,— этим представителям наплевать.

— По-твоему, райком только и делает, что посылает таких представителей?

— Я все на райком не валю. У меня их и в колхозе полно, таких представителей-то.

— Кто же они?

— Люди... И в правлении, и в активе ходят. Все в начальстве... Вот и Иван Бутусов, муж директорши, техникум окончил, а работает пчеловодом. Разве ж это работа? Ему какими делами-то ворочать надо! А поди ты поговори с ним. Он меня за пояс заткнет в разговоре-то.

Песцов знал Бутусовых, особенно Марию Федоровну, директора семилетки. Часто по школьным нуждам приезжала она в район вместе с мужем, рассудительным, грамотным, с лицом жестким и угловатым, точно вырезанным из дерева. Где он работает? Чем занимается в деревне? Такие вопросы тогда не приходили на ум.

— А Семаков, а Круглов? Да мало ли их! — продолжал Волгин.— Ты думаешь, они не понимают, что коров надо выбраковывать? И продавать их сейчас выгодно, пока они в цене? Понимают. А вот подняли шум, вас всполошили... Почему? Чтоб отличиться — план, мол, нарушаем. Да какое же это нарушение?

— Но ведь план-то вы сами составляете?

— А кто его утверждает? Вы же!.. Попробуй я чего не так сделать, как Стогов написал... Значит, семнадцать коров на сто гектаров. А у меня их только по девять приходится. Стало быть, не можешь ни сдать, ни продать... Хоть кормить нечем... Хоть в убыток, а держи. Что же это, как не представление?! Представление и есть.

— А может быть, не надо их выбраковывать. Ведь зиму прокормили.

— Да какой же от них толк! Ну ладно, вот Марфа придет, с ней еще потолкуешь.

Часам к одиннадцати ночи пришла с фермы Марфа. Она молча прошла к столу, кивком поздоровавшись с Песцовым, и, ни на кого не обращая внимания, приня-

лась за жареную картошку, запивая ее кислым мутноватым медком.

— Как звать-то вас по отчеству, простите? — обратился к ней Песцов.

Марфа покачала головой.

— Она у меня глухая,— сказал Волгин и, подойдя к ней, прокричал в самое ухо: — Марфа, это Песцов из района.

— Ну что ж, хорошее дело,— сказала Марфа.

Волгин сел на скамью.

— Она заведующая фермой. Ты не гляди, что она такая молчаливая. А вот поговори с ней. Она тебе все распишет. Марфа! — крикнул он.— Расскажи-ка Песцову про наших коров.

— А что ж тут рассказывать? — Марфа смотрела на Песцова большими грустными глазами.— Коровы как коровы. Только удои низкие. Иные по три года в яловых ходят. Вымя усохли... У некоторых и сисек-то нет. Не коровы, не быки, а жрут в три горла. Их выбраковывать нужно, да не позволяют.

— Видал,— толкал Песцова локтем Волгин.— А как на меня навалился Стогов по телефону-то... Удой, говорит, от руководителя зависит. Что же я, вместо коровы молоко давать буду?.. Нет, не дают хозяйствовать... Одни представления разыгрываем.

С утра Песцов побывал на ферме вместе с Волгиным, осматривали коров.

— Твоя правда,— сказал он после осмотра.

— А мне от этого не легче,— отозвался Волгин.

В правлении они застали Надю и Семакова. По тому, как были взбиты высокой копной ее светлые волосы, по тому, как подозрительно чернели белесые брови, как выделялись чуть подкрашенные, успевшие растрескаться от весеннего ветра губы, Песцов понял, что Надя ждала этой встречи и готовилась к ней. Но даже в присутствии Семакова и Волгина она, подавая руку Песцову, густо покраснела. Против обыкновения Волгин не шутил насчет Сеньки-шофера, да и Семакову было не до шуток.

— Ну, расскажите, как у вас тут огородничают... Значит, вместо сева огороды пашем?..— спросил Песцов Семакова.

— Это дело агронома. Она более сведуща,— отозвался тот.

— Поля еще сырые... А огороды что ж? Они ведь

тоже наши.— Надя глядела на Семакова, как бы отвечая ему.

— Личные,— усмехнулся Семаков.

— Зато земля обезличена.

— Может, раздадим ее по мужикам?

— Вы не утрируйте.

«Э-э, тут коса и камень»,— подумал Песцов.

— Может быть, сделаем проще — вы покажете мне поля? — обратился он к Наде.

— С удовольствием.

Надя была в резиновых сапожках, в синем плаще. Она встала из-за стола, накинула клетчатый платок, взяла планшетку.

— Идемте!

На улице было тепло, солнечно. У самого крыльца рябилась от ветерка огромная лужа. Надя посмотрела на хромовые сапоги Песцова.

— В таком виде на поле теперь не ходят.

— Я еще с утра хотел попросить резиновые сапоги у Волгина, да позабыл.

— Ладно. Пошли на конный двор! Лошадей возьмем.

Песцов с детства не ездил верхом; служил на флоте, потом институт... А в седле сроду не держался. Но признаться в этом постеснялся. «Удержусь как-нибудь»,— подумал он.

На конном дворе встретил его Лубников как старого знакомого, за руку поздоровался.

— Я вам самого Рубанка заседлаю.

— Что это за Рубанок? — спросил с опаской Песцов.

— Наш рысак... Жеребец.

— Мне что-нибудь попроще,— Песцов показал рукой.— Пониже.

— Тогда Буланца.

Надя в момент заседлала свою Красотку, темно-гнедую кобылку, и легко вскочила в седло. Песцова подсаживал Лубников. Матвей так рванулся от земли, ухватившись за луку, что чуть было не перемахнул низкорослого меринка.

— То-ой, дьявол!.. Не увертывайся,— нарочито строго обругал Лубников спокойно стоящего Буланца.

Глядя, как Песцов путался в стременах, Надя не выдержала и чуть не прыснула со смеху, отвернувшись.

— Он ничего, смирный... А если понесет, осаживай корпусом,— наставлял Лубников не то в насмешку, не то

всерьез.— А теперь шенкеляй его под ребра-то... Эй, бегемот!

Надя, слегка откинувшись, шевелила сапожками, не то что била, а как бы оглаживала бока своей Красотки, и та легко пошла иноходью. Буланец затрусил рысцой, и Песцов с ужасом почувствовал, что валится набок. Он привстал на стременах, но стремена были короткие, а ноги такие несуразно длинные, что он чуть было не перевалился через голову лошади. Тогда он плюнул на эти стремена, выпростал из них ноги и, слегка придерживаясь за луку, весело нахлестывал своего Буланца. Тот перешел в галоп. Между тем ноги Песцова почти доставали до земли, и, сбоку глядя, можно было подумать, что бежит шестиногая лошадь.

— Матвей Ильич, лошадь не уроните! — смеялась Надя.

— Не суйтесь вперед руководящих! — Песцов обогнал Надю, погрозил ей прутом и первым влетел в речушку. Она оказалась неглубокой, даже брюхо лошади не замочило...

Надо сказать, что весной в здешних местах не бывает половодья и даже самые мелкие речушки не выходят из берегов. Снега зимой были глубокие, но сухие едучие мартовские ветры слизнули снежный покров по увалам да взгорьям, а жадная до влаги земля крепко держала талые воды, исподволь сбегавшие по скатам сопок. Уже вскрылся, прокипел льдом буйный Бурлит, уже серебристым пухом покрылись прибрежные вербы, и на утренней зорьке бессильный морозец чуть подбеливал бурую, низко полегшую старь, а поля все еще были топкими. Вода тоненькими ручейками стекала вдоль борозд в низины, образуя желтые болота на массивах прошлогодней сои.

Лошади зачавкали копытами, погружаясь по бабку в отмякший грунт. Поднялись на бугор. Здесь было суше. Песцов и Надя спрыгнули с коней. Разминая руками подсыхающую землю, Надя с беспокойством оглядывала топкие низины.

— Медленно просыхает, ой как медленно! Теперь понимаете, почему мы начали с огородов?

— Огороды — дело личное колхозников.

— Личное?! У нас под огородами гектаров полтора-ста. Тракторами мы вспашем эту землю дня за четыре. А сколько дней колхозники будут ковырять ее лошадьми да лопатами?

— Не знаю.

— А я вам скажу: недели две вечерами да утрами. Вот и получается — огороды личные, а убытки колхозные.

— Мне кажется, что вы смешиваете тут два понятия — «мое» и «наше».

— А зачем нам противопоставлять эти понятия? Мы стремимся вытравить на земле чувство «моего» и взамен суем «наше» где надо и где не надо.

— Что-то замысловато вы говорите.

— Нет, все просто. Как у нас колхозы организованы? Да все так же, как и в тридцатые годы. Еще тогда были введены и бригадиры, и учетчики, и охранники, и завхозы, и еще бог знает кто. Для чего?

Песцов улыбнулся:

— А как вы думаете?

— Все для контроля... И все равно никто ни за что не отвечает.

— Почему же?

— Да потому что и земля, и инвентарь, и тягло — все это было обезличено.— Надя помолчала с минуту.— Как будто нельзя было работать в том же колхозе на закрепленных лошадях и на закрепленном участке земли. Нет, свалили все в кучу...

— Зато была идея...

— Во-во! Искореним это самое «мое»... Чтоб вместо «мое» все и вся стало «наше».

— «Вьется улица-змея, дома вдоль змеи. Улица — моя, дома — мои»,— бодро продекламировал Песцов.

— Ага! Зато квартира — наша... На несколько семей... Кухня — наша, комната — наша... Все шиворот-навыворот.

— Ну, здесь-то мы коммунию упраздняем.

— А земля все еще обезличена,— серьезно возразила Надя.— Видите вон то соевое жнивье? Не нынче завтра сев начинать, а поле пока не вспахано. Почему его под зябь не вспахали? Попробуйте разберитесь... И виновных не найдете. Потому что земля колхозная, или, как говорят мужики,— ничья... А если бы закрепили это поле за кем-то, так не то что вспахали бы его под зябь — и навоз бы сюда вывезли.

«А ты девица когтистая»,— подумал Песцов. Он не был готов к такому спору и просто не знал, как возразить, да и возражать не хотелось. Она была права — это он чувствовал. Да и осмыслить надо, подумать хорошенько. Поэтому он уклонился от разговора.

— У нас компания неподходящая для споров,— кивнул он на лошадей.— Мы говорим — они молчат. Боюсь, мой Буланец обидится и сбросит меня на обратном пути.

Надя как-то неловко улыбнулась и первой села в седло. По дороге Песцов спросил внезапно:

— Скажите, а почему ваши звенья семейные? — Он теперь наверняка догадывался, что создание таких звеньев было и ее рук дело, и полагал, что прямой вопрос смутит ее.

— Очень просто, звенья сами комплектовались... Каждый подбирал того, кого хотел. И потом, чисто семейное звено у нас только одно. Остальные — друзья.— Надя так доверчиво смотрела на Песцова, что весь его подвох теперь показался ему глупостью.

— Простите, но ведь подбор кадров как-то нужно контролировать!

— Матвей Ильич, эти люди не спектакль разыгрывать создали звенья. Они будут хлеб растить и не один год работать вместе, жить... Тут надо не просто доверять,— знать друг друга, надеяться как на самого себя, любить... Да, да, любить! Ведь мы не подбираем жен мужьям. Сами находят. Так и здесь,— работа на земле не менее сложна и капризна, чем семейная жизнь.

— Вы так уверенно говорите об этом, словно сами лет двадцать прожили замужем.

— Замужем не была, колхоз не создавала, с кулаками не боролась... А туда же лезет... рассуждать. Это я уже слыхала.

Надя приподнялась на седле и тронула поводья. Лошадь взяла рысью с ходу и потом перешла в галоп. Песцов догнал Надю только возле конного двора.

— Мне хотелось бы поговорить с кем-нибудь из ваших звеньевых,— сказал он, подъезжая.

— Пожалуйста! Хоть с Никитиным, хоть с Еськовым.

— Который из них помоложе?

— Еськов. Он вроде бы на охоту собирался.

— Вот и отлично! Я как раз ружье прихватил с собой. Сходим вместе позоревать.

11

На закате Песцов вместе с Еськовым отправились на охоту. На этот раз Песцов надел высокие резиновые сапоги Волгина. Тропинка на рисовые поля вела вдоль

извилистой речушки, заросшей по берегам молодым ясенем, бузиной и диким виноградом. Небольшая рыжая собака, помесь сеттера с дворняжкой, бежала сбоку, ныряя в жухлой прошлогодней траве. Разговор шел чисто профессиональный — на охотничьи темы. Высокий дюжий Еськов в резиновых сапогах, скатанных в голенищах, и в брезентовой куртке, делавшей его похожим не то на шахтера, не то на рыбака, рассуждал категорически:

— Я охоту без собаки не признаю. Это все равно что езда ночью без фар. Летишь, а куда — черт-те знает.

— Это справедливо, но не на всякой охоте,— осторожно возражал Песцов.— Допустим, охоту на уток можно вести и без собаки.

Еськов смерил Песцова с ног до головы удивленным взглядом, словно впервые увидел его.

— Да вы что, Матвей Ильич! — воскликнул он, готовый рассмеяться.— А если подранок, к примеру, в камыши упадет? Ты его чем, бреднем, что ли, доставать будешь?

— Это бывает редко.

— Ну, не скажи! Вот видишь мою Берту! — Собака при этом слове остановилась и повернула длинную морду к хозяину.— Нет, ты не гляди, что она такая, не легавая. Она всю весну моего тестя утками снабжает. Вечером охотники стреляют уток у реки, а он с ней утречком на другой день выйдет, и Берта, глядишь, штук десять — пятнадцать принесет ему.

Песцов чувствовал, что Еськов врет, но перечить не стал: впереди был серьезный разговор.

Позиции выбрали охотники на рисовом поле метрах в ста друг от друга. Песцов встал у болотца на пятачке редкого желтовато-бурого камыша. Еськов — возле канавы под кустом ольхи.

Огромный темно-красный диск солнца медленно спадал на четкую бледно-голубую кромку дальних сопок; коснулся ее и на минуту остановился, словно в самом деле почувствовал под собой твердую опору. Песцов смотрел, не утомляя глаз, на солнце, ощущая его слабое тепло, и чему-то радовался, непонятному, но очень знакомому. Но вот оттого ли, что просто утомились глаза, или оттого, что он задумался, ему стало казаться, что солнечный диск быстро-быстро вращается. В голове промелькнула нелепая мысль: «Сейчас покатится солнце по этой голубой

кромке». И вдруг он вспомнил детство, приокскую вечернюю степь и так же готовое покатиться по горбатому горизонту багровое солнце. И он понял теперь, почему он радуется, глядя на солнце: в нем проснулся тот светлый и чистый восторг перед добрым, непонятным солнышком, который уходит от нас вместе с детством.

Солнце садилось быстро, уходило за сопку, а радость эта все росла в душе Песцова, и он живо вспомнил, как скакал вслед за Надей, как трепался на ней клетчатый платок, обнажая шею, затылок с высоким пучком ржаных волос. «А шея у нее такая тонкая»,— вспомнив, подумал Песцов. И ему так захотелось поцеловать эту тонкую шею, уткнуться носом в эти поднятые на затылке, заколотые в большой пучок волосы... «Я непременно должен увидеть ее вечером,— решил Песцов.— Непременно».

Слева от него неожиданно грохнул выстрел. Песцов вздрогнул и повернулся. Стайка уток невысоко над землей трепыхала крыльями. Послышался свист рассекаемого воздуха и частые гнусавые звуки: кво-кво-кво. «Клохтун»,— машинально подумал Песцов, взвел курки и присел. Теперь он весь превратился в слух и зрение и с неудовольствием почувствовал, как сильно забилось сердце, отдавая звоном в ушах. «Ах, черт! Выдержки у меня нет. Промахнусь»,— сокрушался он.

Как ни всматривался Песцов, но первая стайка все-таки появилась неожиданно, вывернулась откуда-то сбоку. Вф-ю-ю-ю-ть! — просвистело над головой. И он, не целясь, вскинул ружье, выстрелил. Кво-кво-кво,— насмешливо ответил подброшенный кверху выстрелом косячок. Песцов выстрелил из второго ствола вдогонку, уже прицелившись. Одна утка, раскинув по-ястребиному крылья, спланировала куда-то в траву. Песцов вскочил с места, как подброшенный пружиной, и бросился за уткой. Через минуту он увидел, как из высокой травы выскочила Берта, держа в зубах эту утку, и опрометью бросилась к Еськову. «Ты скажи, какая нахальная тварь»,— подумал Песцов, оторопев.

— Значит, попадаем?! — крикнул ему, смеясь, Еськов.— Она же в моем звене работает.

Чем гуще становились сумерки, тем чаще шли один за другим небольшие косяки. Грах! Грах! — гремели выстрелы попеременно то у Еськова, то у Песцова, и Берта сносила уток в одну кучу к ногам хозяина.

Между тем незаметно смеркалось. Уток можно было различить только над головой или на фоне заката. Песцов перестал стрелять, осмотрелся.

На востоке в густой ультрамариновой хмари тонули дальние почерневшие сопки, холмы, низины. Тяжелый, таинственный мрак, казалось, исходил от этих сопок и все дальше и больше окутывал землю. И только на западе, где играл золотисто-розовый закат, земля еще сопротивлялась; зубчатым изломом, подкрашенные невидимым солнцем, высились горы в молочно-голубой дымке.

Тишина стояла полная, и малейший звук отчетливо улавливало ухо. Вот кто-то крикнул на реке: «Куда полез, дьявол! Держи левее!» Затем с минуту влажно шлепали по воде весла. Где-то раздался свист,— видать, охотник кличет собаку. Вот оборвала первую высокую ноту лягушка, словно испугавшись своей дерзости. И опять тишина... В воздухе плавали запахи болотной прели и тот особый сыроватый дух добреющей, от тепла пробудившейся земли. И вдруг Песцов уловил тонкий свежий запах молодой травы. Он жадно потянул в себя воздух. «Ах, черт! Трава пробивается,— сказал он радостно.— Как хорошо-то, боже мой. Как хорошо!»

— Пойдем, что ли? Чего ждать!— окликнул его Еськов.

Песцов подошел к нему. Еськов раскладывал поровну убитых уток; их оказалось десять штук. Песцов знал, что сам он убил не более трех.

— Хорошо стреляешь,— сказал он Еськову.

Тот вынул из кармана кисет, протянул Песцову, закурили, и только потом уж, затянувшись дымом, ответил:

— Так мне плохо стрелять не положено. Все ж таки я кавалер «Славы» всех степеней.

— В каких частях служили?

— В разведке.

— А я на флоте.— Песцов решил разговор вести издалека.— Тоже прихватил японскую. А вы были на западе?

— Да.

— Поди, в переделки попадали... не раз.

— Всякое бывало... Говорят, вы к нам насчет звеньев?

— Расскажите про то, как первый орден получили,— попросил уклончиво Песцов.

— Да как тебе сказать...— Еськов смотрел прищуркой,

как бы прицеливаясь.— Главную награду вот как получил. Посылают меня в тыл к немцу и дают мне пятнадцать человек... Я был помкомвзвода. Смотрю я на них, вот как сейчас на тебя. Большинство впервой вижу — пополнение. И думаю: брать или не брать? Дело сурьезное. Если один человек оплошает, все пропадем. Подумал я и сказал командиру: «Не надо мне столько. Есть у меня пять своих ребят, проверенных... Вот с ними и пойду».— «Тяжело»,— говорит. «Ничего, зато надежно. За пятнадцать сработаем». И сработали. Награды получили. Вот так...

Еськов искоса выжидательно смотрел на Песцова, тот улыбнулся:

— Хитер ты, парень, хитер... Прямо — ученый.

— Жизнь учит нас, товарищ секретарь,— улыбнулся и Еськов.

— Выходит, мы и о звеньях договорились?

— Да вроде бы...

— И кто вас только упреждает?

— Грачи в поле...

— Ну чего ж это мы стоим? Бери уток-то,— Еськов протянул Песцову пять уток.

— Да куда мне столько! Будет и двух.

— Как знаешь...

— Ну и охота! — восторгался Еськов в пути, обвешанный спереди и сзади утками.

А Песцов шел молча. Ему уж не хотелось вести ту самую беседу, ради которой он шел на охоту. Зачем? Еськов уже все сказал.

«Что мне, в конце концов, от того, что Еськов работает в паре с Иваном, со своим другом или родственником? И почему он должен работать с тем, кого ему пристегнут в правлении? Разве он хуже нас знает, с кем ему надо работать? Нет, они правы,— в работе на поле, как в любви, как в бою, нельзя подсовывать человеку то, что не по душе. А мы везде суем свой нос, и где надо и где не надо. Игру ведем вместо жизни... Одни представления, как говорит Волгин».

В сенях Песцов оставил уток, ружье и, не заходя в дом, вышел на улицу. Он торопливо шел к школе, где была Надина квартира. Но света у нее в окнах не было. Песцов потоптался с минуту возле палисадника.

— В клубе, должно быть... Там сегодня кино показывают.

И снова быстро пошел, разбрызгивая лужи. Возле клуба одиноко торчала на столбе лампочка. Песцов на свету глянул на сапоги и ахнул: все было густо заляпано по колена грязью. «Куда ж я в таком виде?» Он нагнулся, зачерпнул ладонью из лужи воду и вдруг выпрямился. «А что я буду делать в этом клубе? Ее увижу?! Ну и что? Не танцевать же нам. И провожать не пойдешь — тут село. Да и к чему все это? Все равно через день, через два уезжать надо. Нечего заниматься блажью... Людей только смешить. Хорош бы я был в таких сапогах...»

Песцов вымыл в луже сапоги и пошел к Волгиным. У Волгиных дома никого не было. Песцов прошел в горницу, где ему стелили постель — высоко взбитую перину на деревянной кровати. При виде этих белых простыней, этих огромных цветастых подушек Песцова потянуло в постель, как истомленного ходока по летней дороге тянет в прохладное озеро. Но странно: заснуть он не смог. С непривычки на перине казалось жарко, и Песцов без конца ворочался. «Не так, не так, не так...» — точно передразнивая его, стучали на стене ходики.

Он вставал, закуривал, снова ложился, и все казалось, неловко лежать, не на том боку.

«Не так, не так, не так»,— мерно стучали ходики.

«Видно, себя не обманешь... Я должен поговорить с ней...» — решил Матвей. Он быстро оделся и пошел в конец села, к школе,— туда, где жила Надя.

12

Он пристроился на скамье возле школьной ограды, как раз напротив Надиного дома. Здесь, на отшибе села, у неосвещенного школьного здания его и в десяти шагах никто не заметил бы; зато ему отсюда, с пригорка, хорошо видны были далеко разбросанные друг от друга дома, за ними крытые соломой дворы, похожие на стога сена; черные телеграфные столбы, одиноко торчавшие посреди улицы; высокие плетневые заборы, смахивающие в темноте на крепостные каменные стены.

Разговор с Волгиным, с Надей, с Еськовым растревожил его мысли; он понял теперь, что не заснул не только потому, что хотелось видеть Надю, но еще и по другой причине. На него нашло какое-то озарение. «Здесь, именно здесь кроется вопрос всех вопросов — человек и

земля должны быть связаны и по любви и по расчету. Именно — и по любви и по расчету,— повторял все эту фразу Песцов.— Здесь связь должна быть крепче, чем в семейном браке... И главное теперь — не подсчитывать великие возможности, которые таятся в суперфосфатах, а в том, чтобы нащупать и восстановить эту извечную прихотливую связь земли и хлебороба, которая давала бы радость и выгоду ему, хлеборобу, и в конечном итоге всему обществу. А мы все ищем, придумываем — как бы поудобнее руководить этим хлеборобом, диктовать ему условия...

А ведь эти условия должна диктовать ему земля. Она, и только она. Вот в чем суть... Мы танцуем не от той печки».

И тотчас же вспомнились ему слова любимого учителя, сибирского агронома-селекционера Скалозубова: «Знания у народа от векового общения с природой. А наука только дисциплинирует ум...» Не народ у нас, а мы должны учиться у него. Но почему же все обернулось шиворот-навыворот?..

Песцов заметил Надю как-то неожиданно. Она уже поравнялась с оградой и сворачивала к своему дому. На ней был все тот же плащ, резиновые сапожки и повязанный углом платочек. Шла она торопливо, глядя в землю, и от окрика Песцова вздрогнула.

— Это вы, Матвей Ильич? — спросила она, подходя.

— Жду вас... Поговорить хочется.

Надя заколебалась — приглашать к себе или нет? Она даже посмотрела на свою неосвещенную половину пятистенной избы, и Песцов было встал, шагнул к тропинке в ожидании приглашения. Но она как бы отклонила это невысказанное намерение и сама села на скамейку.

— Давайте поговорим. Только о чем?

— Я был с Еськовым на охоте. Он мне рассказал нечто вроде притчи. Смысл ее вот в чем: командир дает только задание, а как его выполнять? С кем? То есть кого брать в напарники? Какой дорогой идти? Как возвращаться? Это все — дело не командира. И вдруг я вспомнил теперь одну чрезвычайно меткую фразу из тридцатых годов,— ее придумали мужики. Вот что говорили наши мужики про иных руководителей: «Они хотят выдоить всех коров сами...» Понимаете! И себя я поймал на этом же намерении. А для чего же я сюда, к вам, приехал? Чтобы запретить Волгину продавать коров... Чтоб разо-

гнать ваши звенья, потому что в них семьи и друзья... Заметьте... Разогнать не потому, что они плохо работают... А потому что — семейственность! А если семьей работают на земле, значит, вредно. Почему? Да я и не задумывался. И те, которые меня посылали, тоже не особенно задумывались. Мы решили только, что у вас что-то делается не по-нашему. Значит, исправить надо, заставить вас делать все так, как мы считаем нужным. Но мы и не думали о том, что перед тем как исправить, сначала надо хотя бы выслушать вас. Мы вас не слушаем, мы просто делаем все за вас. Иными словами — мы хотим выдоить всех коров сами.

Надя рассмеялась, и Матвей отметил с удовольствием, что смех ее был уж очень радостный, какой-то неестественно высокий.

Смешного было мало в том, что говорил он. Значит, она была возбуждена по другой причине. И приятный озноб охватил Матвея, он тоже засмеялся и почувствовал, как легко у него стало внутри. И ему хотелось говорить и говорить.

— Это хорошо сказано! — Она как бы подхватила его скрытое желание.— Очень верно. Я сама об этом думала, но не смогла бы так выразить... Превосходно! Но вы вот что скажите: откуда все это пошло?

— От семинарской логики! — живо отозвался Матвей.— Хотите, я вам расскажу сказочку. Сам сочинил. На социальную тему, так сказать... В одной заморской стране самые ортодоксальные мыслители либо из поповичей были, либо выходили из семинаристов. У них была простая и оттого надежная логика; они знали по семинарскому опыту: чем больше ограничений, тем выше порядок... Монахи! И лозунг выкинули: «Ограничение — мать сплочения».

И вот представьте себе,— один из них стал генерал-губернатором. Он сказал людям: «Я вам дам и хлеб, и организацию...» А так как он был семинаристом, то по своей семинарской логике тотчас сообразил: чем меньше лиц будет распределять хлеб, тем больше порядка станет в губернии. Вот этот генерал-губернатор и стал забирать хлеб у людей, которые его выращивали, и возвращать, распределять им его же в другом, так сказать, качестве — пищу! Дар божий!! Люди стали благодарить генерал-губернатора за доброту, заботу и мудрость. Но, давая им пищу, генерал-губернатор понимал: чтобы люди не взду-

мали оспаривать его право, чтобы порядок не расшатывался, надо было ограничить их, а с другой стороны, повысить свой авторитет, перед которым они должны еще более преклоняться для своего же благополучия. Цель ограничения должна быть понятной. Во имя чего? Во имя разумного распределения общественных благ. То есть во имя счастья и процветания всей губернии. Отсюда и пошло: чем больше указаний свыше, тем крепче авторитет самого́, тем восторженнее преклонение перед ним. И порядок, казалось, наступал, а изобилия хоть и не было, но все говорили — до него рукой подать. Но все неожиданно рухнуло. Прослышал этот генерал-губернатор, что в соседней губернии урожай снимают выше. «Узнать, в чем дело?» — приказал он своим исполнителям. Те дознались и доложили: так, мол, и так — пашут они глубже, стервецы. На целых восемь вершков лемеха погружают. «Пахать по всей моей губернии только на восемь вершков!» — приказал наш герой. «Есть!» — ответили все хором. И пошли ворочать... А надо сказать, что губерния нашего героя лежала севернее той, с которой они пример взяли. И земли там были тощие, с тонким плодородным слоем. Вот и завалили этот слой, подняли песок... Похоронили землю. Подошла осень — хлеба нет. Собрались со всех концов губернии люди на площади перед дворцом генерал-губернатора и протянули руки: «Хлеба!»

— А что же генерал-губернатор? — спросила, улыбаясь, Надя.

— Он был человеком принципиальным. Не захотел он срамиться перед народом — просить взаймы хлеб у соседей. Он умер в гордом одиночестве. Собственно, мертвым-то его никто и не видел. Приказал он натопить пожарче баню, залез на полати, на самую верхнюю полку... И испари́лся. Растворился в окружающей среде, так сказать. В этом вся загвоздка.

— Забавно! — Надя засмеялась.— А насчет восьми вершков вы все-таки загнули.

— Вы так думаете? — Песцов взял ее за руку, снял перчатку, сжал захолодавшие пальцы и спросил, заглядывая ей в глаза: — А вы помните февральский пленум сорок седьмого года? Да нет, где же вам! Вы тогда еще в начальную школу ходили. А я студентом был, Тимирязевки. На том пленуме постановили: всюду пахать только на двадцать-двадцать два сантиметра. Мы же понимали, что

это — преступление перед землей. Но что вы думаете? Нашелся кто-либо из профессоров или хотя бы из студентов, кто поднялся на кафедру, да крикнул: «Как они смеют?!» Черта с два! Зато иные нашлись, которые от восторга млели и кричали: это новая глава в науке! Вот ведь какая штуковина, эта семинарская логика моего генерал-губернатора,— она и подобные восторги предвидела. И молчание оправдывала. Как же? Это ведь все — единство взглядов! Монолитность общества, так сказать...

— Вы что же, против единства? Против разумного распределения?

— Ни в коей мере! Я только против того, чтобы это делалось за счет ограничения.

— Но разве это возможно?

— Я понимаю, что вы хотите сказать! — горячась, воскликнул Матвей.— Нельзя добиться единства без ограничения. Нельзя распределять блага на всех, без ограничения каждого. Так?

— Примерно...

— Так пусть это ограничение изберет себе каждый в разумных пределах. Вот тогда и настанет добровольное объединение общества... то самое братство, к которому мы стремимся.

— Но где же мерило разумного ограничения? Нет ничего труднее установить его каждому для себя.

— А кто сказал, что построить идеально-разумное общество — легкое дело? Его нельзя построить, не решив попутно другой задачи: каждая личность должна определить сама меру своих возможностей и своего ограничения. Иными словами, каждый человек должен сам выбирать степень своего участия в общественных делах. Поймите, весь фокус в том, что не общество должно ограничивать человека, а он сам себя, естественно, строго соблюдая законы; а общество обязано давать ему полную возможность проявить себя, так сказать. Вот это и пугает людей с семинарской логикой. Они понимают: чем больше выбор у человека, тем ему труднее. И главное — управлять им труднее. И не верят они, что человек способен выбрать для себя то, что нужно. Не верят они ни в людей, ни в бога, а верят только в самих себя, в свое всемогущество. Вот почему мой генерал-губернатор отобрал у своих подопечных и хлеб, и право выбора. Он все решал за них сам. И верил, что он сделал это для блага

народа. И не забывайте, что он растворился в окружающей среде. Он присутствует всюду незримо, аки бог.

Надя рассмеялась, потом возразила:

— Не верил он в это благо народа. Плевал он на него с высокой колокольни. Но мы-то... ведь что-то же надо делать? Не сидеть сложа руки, не ждать, когда этот индивид сам созреет, как яблоко.

— В том-то и дело, что вы не сидите сложа руки. Вы начали интересно, чрезвычайно! Это закрепление земли за звеньями вроде автономии колхозников. То есть вы их выводите на самостоятельную дорогу. Каждого! И они теперь должны многое решать сами... Личность свою должны определить... Интересно! Я непременно буду вас поддерживать.

— Спасибо.

— Вы дали мне в поле хороший урок. Я ведь и раньше ломал голову, думал... Все искал: где же собака зарыта? Поначалу мне казалось: надо вырастить какой-нибудь новый, мощный сорт пшеницы или сои, подарить его колхозам — и все дело наладится. Ведь было же раньше знаменитое сибирское масло, которое подняло хозяйство. На весь мир гремело! Кстати, вы знаете эту историю с маслом?

— Нет.

— О-о, тут целая поэма! В конце прошого века Николай Лукич Скалозубов приехал в Тобольскую губернию. Земля обильна и богата, а отдача невелика. Вот и решил он развить маслобойный промысел. Травы — море-океан. Да в пояс, да богатейшего ботанического состава! Он сразу понял — с таких кормов будет не масло, а духи Котú. Вот он и завез быков ярославской породы, коров вологодской да шарнгорстов... Да скрестил все это с местной сибирской коровкой. И такую породу вывел — что прямо мечта. По жирности молока голландцев переплюнул. Настроили маслобоен... И отправили сибиряки свое масло в Западную Европу. И что же? Эти европейские маклеры сразу оценили высокие качества сибирского масла и стали выдавать его за голландское. Сибиряки — скандал! Тогда же пустили в газетах утку: сибиряки, мол, подмешивают в свое масло бараний жир. Не покупайте его! Николай Лукич добился на копенгагенском контрольном пункте публичной проверки сибирского масла. Собрались эксперты. Проверили... Масло оказалось самого высокого качества. Выше голландского. И спрос на него появился

колоссальный. Вот и я думал поначалу: вырастить надо новый сорт, отдать колхозам — те и заживут... Четыре года работал я на селекционной станции вместе с Костиковым. Знаете такого селекционера?

— Еще бы! Но, кажется, его нет в живых...

— Да, умер старик... Сколько вывел он сортов сои! На все пояса, на все виды почвы хватило бы. И ранние, и кормовые, и морозоустойчивые, и высокой жирности... А где они? Что мы сеем в крае? Гуньчжулинскую переселенку с низко растущими бобиками,— стало быть, с большими потерями зерна. Вы-то что сеете?

— Ее же... Что присылают.

— То-то. Махнул я рукой на селекцию, пошел в аспирантуру. И опять вижу — проку никакого. Наука растет, на институтских огородах порядок, а в некоторых колхозах неразбериха, застой. Тут я и решил пойти в колхоз.

Песцов встал, и тотчас поднялась Надя.

— За вашу откровенность я заплатил вам откровенностью. Но это не все. Я хочу, я надеюсь, что мы будем работать вместе. А пока я постараюсь помочь вам не здесь, а там. А что делать тут — вы знаете лучше меня.

Надя молча протянула ему руку. Песцов пожал ее и слегка поклонился. Так они и разошлись, не сказав друг другу больше ни слова.

13

Стогов встретил его с некоторым удивлением:

— Ты чего это завернул оглобли? Сев только начался, а ты в кабинет... Хорош руководитель! — журил он слегка Песцова, но глядел с беспокойством, в ожидании чего-то серьезного. Ведь не станет же Песцов без толку возвращаться сюда в разгар посевной.

— Свихнулся я, Василий Петрович.

— А где вывих-то? Покажи, я выправлю. Дело знакомое.

Они сидели вдвоем в просторном стоговском кабинете; в приемной никого не было — можно и шутить, и в разговоре душу отвести.

— Вот мы с тобой руководители... Партийные! Так? — спрашивал Песцов.— А на кой черт мы в поле лезем?

— Здорово живешь! Что ж, по-твоему, мы будем краснобайством заниматься в кабинетах? Да? Мы должны быть там, где куется, а не где эхо отдается.

— Вот оно что!.. Не ковать, а быть там, где куется... А зачем? Болванку держать, огонь раздувать? Чего делать-то?

— Дешево, Матвей, дешево!.. Хозяин раньше и то по цехам ходил, и по полям, и по фермам. Везде нос совал.

— Хозяин! Так он был один, а другим наплевать. Вот он и совался всюду! А наша задача — сделать всех хозяевами.

— У нас и так все хозяева.

— На словах-то... Зачем же мы тогда рассылаем по всем колхозам уполномоченных? Да еще накачку делаем: смотри, в сроки отсейся, иначе шкуру спустим.

— Не беспокойся, когда нужно — и с рядовых спросим.

— Спросить — это еще полдела. Надо все устроить так, чтобы каждый человек выгоду видел и хозяином своего дела был. Тогда он сам будет спрашивать и с земли, и с себя, и с нас... Одним словом, Василий Петрович, мы должны добиваться того, чтобы каждый по-хозяйски распоряжался своим делом.

— Это все слова, Матвей.

— Ага. А теперь перейдем к делу. В «Таежном пахаре» денег нет.

— Знаю.

— Они выбраковку стада провели. И двадцать коров решили продать.

— Нельзя. Об этом мы уже говорили. И запретили...

— Но им даже горючее не на что купить. А колхозникам чем платить? Ведь сев идет!

— Колхозники подождут, а горючее пусть занимают.

— Где?

— А я что, председатель колхоза?! Надо было раньше думать.

— Они же технику купили.

— Не одни они покупали технику.

— Им помочь надо.

— Матвей, разве я не знаю, что помочь надо! Но как? Не коров же плановых продавать...

— Подождите, Василий Петрович. Давайте спокойно. Эти коровы, собственно, и не коровы: молока от них н

жди. Я сам их видел. Упитанности хорошей. Теперь они в цене. Пусть продают.

— Превосходно! Все превосходно... И колхозу отдушина и нам: сдать весной мясо — козырь. Но они же плановые, пойми ты. Сколько мы должны иметь коров на сто гектаров? Семнадцать, а у нас всего девять... в «Таежном пахаре» не хватает ста пятидесяти коров до планового поголовья! А мы еще двадцать разбазарить хотим...

— Да разве это разбазаривание?!

— Не придирайся к словам. Назови это продажей — не возражаю. Но мы должны смотреть не с позиции одного хозяйства, а всего района, края, если хочешь. Ну, хорошо! Нынче продаст «Таежный пахарь» двадцать коров, завтра «Рассвет» тридцать, а там и потянутся друг за дружкой. К чему это приведет, ты понимаешь? Иной деятель только и мечтает избавиться от лишней сотни коров — хлопот меньше. Баба с возу — кобыле легче. А чем кормить государство будем? Что мы сообщим в крайком? Чем порадуем? Двадцать коров продали! Это от каких излишков? Да кто нам позволит?

— Вот оно, что и требовалось доказать. Какой же, спрашивается, председатель колхоза хозяин, если он негодных коров продать не может?

— Ты не лови меня на слове... Пожалуйста, пусть продает этих негодных коров, но взамен покупает двадцать хороших.

— Но это же невозможно, Василий Петрович!

— А как же иначе, милый?.. Колхозы не частные лавочки, а плановые хозяйства. Каждый должен план иметь на все, и на продажу в том числе. А если начнут продавать направо и налево, чем мы будем кормить государство? Ты об этом думаешь? Или для тебя важнее потрафить запутавшемуся председателю колхоза, чем соблюсти государственный интерес? Давай, мол, продавай, пока есть что. Нынче — блины и канки, а завтра — одни лихоманки. Так, что ли? Эх, Матвей! А ведь нам государство доверило важный пост.

— Да не часовые же мы, в конце концов!

— И часовые... Так точнее,— Стогов нежно погладил Песцова по плечу.— Милый мой, мы должны думать прежде всего о государстве. И мы не имеем права проявлять ни жалости, ни снисхождения за счет интересов государства. Я ведь знаю, что ты парень добрый.

Поехал, увидел трудности, пожалел председателя. Пускай, мол, продаст, сведет концы с концами. Смешно и грустно. Нет, Матвей, так не пойдет. И на бюро не советую выносить. Погоришь! Цифры поголовья не нами установлены.

— Но ведь мы становимся рабами этих цифр!

— Это не рабство, Матвей, а дисциплина. Контроль и дисциплина — вот два кита, на которых зиждется государство.

— А экономика? А здравый смысл?!

Стогов глубоко вздохнул и с грустью посмотрел на Песцова:

— Здравый смысл заключается прежде всего в том, чтобы держать общую линию, а не искать отклонений от нее. А экономику не следует путать с анархией.

— Поймите, Василий Петрович, люди уже по горло сыты от подобных логических фигур. Им нужна самостоятельность.

— Но прежде все-таки надо усвоить эту логику. Тогда им и самостоятельность не страшна.— Стогов толкнул в бок Песцова и оглушительно захохотал.— Ты не глуп, Матвей, но у тебя не хватает твердости. Да и негде было взять ее тебе. Она куется на руководящей в низах, у горна, так сказать. От бережка начинать-то надо, друг мой. А тебя плюхнули сразу в середину озера, в райком! Вот ты и потерял ориентировку...

— А кто плюхнул-то?

— Мой грех, Матвей! Ну, да у тебя все еще впереди. Это мое дело — в коробке,— Стогов постучал пальцами по длинной коробочке с валидолом, лежавшей на столе, возле чернильного прибора, и невесело улыбнулся.— Что там за семейственность, в этих звеньях? Ты выяснил?

«Дело не в семьях, а в закреплении земли»,— подумал Песцов. Но ему не хотелось сейчас спорить об этом. Можно навредить Наде. И самому разобраться надо, подождать лета.

— Да чепуха, Василий Петрович. Досужие разговоры,— отмахнулся он.— Работает сват с братом — шут с ним. Лишь бы урожай хороший был.

— Ну, ну...— Стогов вдруг навалился на Песцова плечом и озорно спросил: — А на чем свихнулся-то? Чего ж молчишь?! Знаю — подходящая девка. А-а, краснеет, краснеет... У-у, трам твою тарарам,— он шутливо замахнулся на Песцова.— Кайся!..

— Невинен, батюшка.

— Кроме шуток, Матвей, рисковый ты человек.

— Да чем я рискую?

— По анкете ты — женатый, живешь холостым. Женат ты или холост, в конце концов?

— Есть такая порода чудаков — женатые холостяки. Вот я и отношусь к ним.

— Хитришь ты, парень.. За три года хоть бы раз показал жену-то. Либо она у тебя слишком красива, либо страшна. Боишься, что отобьют? Или стыдишься?

— Впрок держу.

— Ну, брат, жена не гриб, в засол не годится. Смотри, возьмем да всем райкомом вызовем ее! А я уговаривать поеду.

— Бесполезно!

— Слушай, Матвей. Я не раз пытался говорить с тобой об этом, но ты постоянно закрываешься, как еж. Одни колючки! Я вовсе не хочу бередить тебе душу. Но пойми меня по-хорошему. Наш брат живет как регулировщик на большой дороге — весь на виду. И тайн у нас не должно быть ни общественных, ни личных. Их все равно разгадают, домыслят. А эти домыслы только вредят и нам и делу.

— На что вы намекаете?

— На то же самое — на болтовню вокруг тебя.

— Что я сбежал от жены и мне одному вольготнее?

— Пойми, это может неожиданно повредить тебе. Если ты сам запутался, то посоветуйся — помогут. Я добра тебе желаю от души. Как отец говорю.

— Сбежал...— Песцов вынул папироску, долго и рассеянно мял ее пальцами.— Это правда и нет. Мы жили с ней скверно. Она — птица с замахом. А я, по ее мнению, высоту не набирал. И компания у нее была все из людей высоких: геологи, газетчики, художники. Собирались у модной портнихи, у жены актера. И напевали ей всякий вздор в комплиментах. После этого она мне со злобой нет-нет да и выдаст: «Все меня ценят, только ты один ничего не замечаешь». А мать ее и откровеннее выбалтывала: «Катины подруги говорят — Матвей должен ноги ей мыть и юшки выпивать...» Тьфу, гадость! — Песцов бросил папироску, встал и нервно прошелся по комнате, потом оперся на стол и продолжал рассказывать стоя.— Я не ходил с ней туда и был равнодушен к ее успехам. Она еще сильнее злилась. «Ну подожди! Еще пожалеешь»...

Что быть должно, того не миновать. Уехал я в экспедицию в тайгу, женьшень рассаживали... Она и загуляла в открытую... С одним столичным журналистом. Он даже снимок ее опубликовал в газете: «Молодой аспирант читает лекцию». Здоровенная кафедра, что твоя крепостная башня, и она из-за нее тянет шею, как жирафа. Вернулся я в город — мне подсовывает эту газету один из ее дружков, сюсюкает: «Хочешь знать, что было за этой кафедрой? Недорого возьму — пол-литра водки»... Я ему съездил по морде. «Получай! — говорю.— А на закуску рукавом утрись». Но всех по мордасам бить не станешь. По правде говоря, мне скверно было ходить по улицам города и перехватывать то сочувствующие, то насмешливые взгляды. По счастью, тут меня и отпустили в деревню. И ведь как все повернулось: нашлись мудрецы, которые рассудили: «А что ж ему оставалось делать? Только бежать»... И еще что самое удивительное — она в это поверила. Да, да, в самом деле! Она стала считать себя виноватой, что будто бы выжила меня из института. Уж она-то знала о моих намерениях задолго до этого случая. И все-таки считала себя причиной моего так называемого бегства в деревню. И плакала, убивалась. Чего я от нее никак не ожидал. О разводе и слышать не хотела. Письмами закидывала меня в деревне. Умоляла простить. Просила помириться, вызвать ее. И я знаю, стоило бы мне позвать ее — приехала бы. Как бы там жизнь сложилась у нас — трудно сказать. Но приехала бы. Это точно. А я долго молчал... Потом мало-помалу все улеглось. Через год увиделись — в отпуск ездил. И... все началось сначала. Сошлись.

— Ну и что же? — подался заинтересованно Стогов.

— Эх, Василий Петрович! Себя, видно, не обманешь. Дня на три хватило любви да мира. А потом я стал так противен самому себе, что впору хоть из шкуры собственной вылезать. Чужие мы, чужие! А разорвать сейчас же, после этих ночей... оскорбить ее — духу не хватило. И ненависти к ней не было. Но тянуть дальше, жить с ней стыдно. Вроде сам перед собой мошенником был: знаешь, что сбежишь, но тянешь — удовольствие справляешь. Тут я и выдумал срочный вызов. Уехал.

— Так она и не знает до сих пор, почему уехал? Не написал ей?

— Написал. Да она говорит — не верю. Это, мол, вспышка обиды. Пройдет.

— Так за чем же дело стало?
— Дело, Василий Петрович, по двум колеям пошло.
— Надо соединять колеи-то. Или уж...
— Требовал я и развода... Да не вовремя. Просит подождать. Защитит диссертацию, поднимется по службе — сама этот развод затребует. Не век же гулять будет.
— Смотри, батенька. Так нельзя тянуть.

14

На весеннем севе звеньевые опять не подчинились.
Нынешней весной особенно нажимали на кукурузу; открыли новый способ — парафинировать семена и сеять по холоду в начале мая. И машину привезли в Синеозерск, похожую на примитивную растворомешалку. Вот вам — покрывайте парафином семена кукурузы и отсевайтесь досрочно. Где-то там, в филиале Академии наук, какой-то ученый хотел защитить на этом парафинировании диссертацию. А секретарь крайкома хотел удивить страну — вырастить кукурузное зерно раньше кубанцев.
Он, может быть, и толковое дело затеял, тот ученый, но вот беда — пропустили через машину зерно в Синеозерске, напарафинировали — оно и слиплось. Комом село. Хоть ножом режь. Стогов махнул рукой на эту машину и приказал сеять попросту. «Главное — отрапортовать пораньше. Парафин на ростках не заметишь»,— подумал он.
Но в «Таежном пахаре» звеньевые отказались сеять кукурузу в холодную землю, и шабаш. Агроном за них. А что с нее взять? Беспартийная. И тех сило́м не заставишь. Сговорились, что ли, все вместе, уперлись, как быки. Не столкнуть.
И решил Игнат Волгин сходить вечерком к Егору Ивановичу, в отдельности потолковать.
Хозяина встретил он во дворе; тот лежал на брезентовой подстилке возле трактора и копался в гусеничном траке. На гусеницах была еще свежая, не успевшая захряснуть грязь. «Трактор только что пришел с поля,— отметил про себя Волгин.— Неужто послушался? Но почему тогда второго, колесного трактора нет?»
— Здорово, кум!
— Здорово! — Егор Иванович встал с подстилки, но руки не подал — грязные были руки, он комкал паль-

цами тряпку и выжидающе посматривал на председателя.

Волгин тоже молчал, оглядывая трактор.

— Ходовые части проверяю. Завтра большой перегон,— сказал наконец Егор Иванович.

— Куликово болото вспахали? — спросил Волгин.

— Кончили.

— А где же второй трактор?

— Бобосово поле пашет. И этот перегоню туда же завтра.

— А кто будет кукурузу сеять на Куликовом?

— Я. Оно же за мной закреплено. Но посею, когда земля прогреется.

— А я тебе приказываю сеять завтра же, понял? — сорвался Волгин.

— Ты, Игнат, не кричи. Все-таки на моем дворе находишься.

— Ты с меня голову снимаешь, понял? На тебя же глядя бунтуют Еськов и Черноземов.

— Пусть другие сеют. У нас еще восемь трактористов.

— Так те на пшенице! А кукуруза на вашей совести.

— Во-во, я и хочу по совести поступить.

— Егор, не доводи до греха!..— Волгин азартно стукнул себя в грудь.

На заднем крыльце появилась Ефимовна.

— Вы чего же это на дворе митингуете? Ай в правлении не наговорились?

— Да вот, мать, в гости к нам пришел куманек. Уж так соскучился, что руку к грудям прилагает. Пошли в избу, Игнат, пошли.

Егор Иванович ласково обнял за плечи оторопевшего Волгина и повел в дом.

— А ты, мать, поставь-ка на стол рябиновой нашей кувшинчик, да сальца порежь, да вилочек квашеный достань из подпола. Давно уж мы с тобой, Игнат, не певали да про житье наше партизанское не вспоминали...

И Егор Иванович вдруг запел дребезжащим тенорком:

Эх-да, вспомним, бра-га-гатцы, мы куба-ан-цы,
Как хади-ги-ги-ли на врага.

Расторопная Ефимовна быстро накрыла в горнице стол красной скатертью, вязанной из шерстяных ниток, принесла из чулана белого, толщиной в ладонь, свиного

сала, подала в тарелке половину квашеного вилка и ушла из горницы, притворив за собой дверь.

Егор Иванович налил в стаканы розовато-желтой, прозрачной настойки и чокнулся.

— Будем здоровы, кум...

Пили медленно, цедили сквозь зубы, сильно морщась. Настойка была крепкой и горькой.

— Ф-фуй! Ну и рябина. Хлеще перца продирает,— сказал Волгин.— И крепка!

— Хмеля не жалел,— отозвался Егор Иванович.— Вот теперь и покалякать можно.— Он вынул из кармана черный кисет с махоркой, пачку сложенных вдвое листков численника, протянул Волгину.

Закурили.

— Ты, Егор, военным человеком был. И в гражданскую партизанил, и в Отечественную воевал. Ответь ты мне: рота может вести наступление на позицию врага, если каждый солдат будет сам себе командиром? — начал издали Волгин.

— Разно бывает... К примеру, мне вспоминается один случай: как мы на Вяземскую в разведку ходили,— отвечал обиняком и Егор Иванович.— Ты у нас командовал отделением. Приказ какой был? Разведать — есть японцы или нет? Разведали... но тебе мало того было, надо еще и отличиться. Нас в засаду посадил, а сам пробрался на станцию, в тупик... Снял часового и в вагон ампломбированный влез...

— Так я ж думал, что там винтовки...

— Винтовки! А упер ящик апельсинов да полный сидор натолкал коньяку и шампанского. Всю дорогу бахвалился... Всем было весело — коньяк да апельсины жрали и корками бросали друг в друга от радости. И командир похвалил тебя за коньяк-то. А наутро японцы пришли в тайгу по этим апельсиновым коркам и чуть было не ухлопали нас всех...

— К чему ты это все рассказал? — Волгин смотрел на Егора Ивановича как-то избочась, выпятив нижнюю губу.

— К тому же самому... Ты выпей да подумай.

Егор Иванович налил еще по стакану:

— Давай! Поехали на ту сторону.

Выпили.

— Ты все-таки поясни, к чему ты про апельсины рассказал? — хмуро спросил Волгин.

— Тут и пояснять нечего. Этим ранним севом кукурузы ты ведь отличиться хочешь вместе с Семаковым. Вас, наверно, похвалят за то, что первыми отсеетесь. Нонешний командир-то отметит. Знамя еще вручит. А что потом? Ну-ка да не взойдет эта кукуруза? Как людям в глаза смотреть буду? Тебе-то что?!

— Эх, Егор, не с того боку заходишь, вот что я тебе скажу. Ты что думаешь — я за урожай не болею? Или мне на землю наплевать? Или я олух царя небесного — не понимаю ничего?.. Так по мне — делайте все так, как лучше. Я бы вам полную самостоятельность дал, будь на то моя воля. Но нельзя. Я ж лицо подотчетное, должен отчет во всем держать, проводить передовую линию, чтоб все было по уставу. Порядок должен быть или нет?

— Да какой же это порядок — кукурузу бросать в холодную землю?

— А откуда ты знаешь, что это плохо?

— Вот тебе раз! Полсотни лет сеяли — и откуда знаю?

— Так ты ж по старинке сеял-то, голова! А теперь наука вон как!.. Все вверх дном норовит перевернуть.

— Так ведь и Надька против!

— То агроном, а то — ученые. Разница. Это они приказывают... Они ж руководители! Не нам чета.

— Но у меня пока своя голова на плечах...

— Вот о своей голове ты только и заботишься. А на других тебе наплевать. На меня, по крайней мере.

— Это как же так?

— Все так же... Подумай сам — начался сев кукурузы, все рапортуют... А мне что — врать? Разоблачат... Тот же Семаков сообщит. Прогонят. Молчать? Спросят, потребуют. Откажусь? На бюро вызовут, всыпят по третье число. А там ведь и попросить могут — не справляюсь, мол. Сам знаешь — не больно надежное положение у меня. Так что ж ты хочешь? Посадить на мое место какого-нибудь Семакова? Да он вас по снегу заставит сеять...

— Но, Игнат, хуже будет, коли захолонет кукуруза... не взойдет. Придется семена покупать да подсевать в июне.

— Э-э, брат! Это не страшно. Еще бабушка надвое сказала: захолонет или нет. Коли не захолонет, так все хорошо. А уж коли захолонет... Тогда я и развернусь. Стогов-то молчать будет — сам ведь приказывал сеять пораньше. А я поросят продам. И семян куплю и вам аванс выдам. А там, может быть, и коров бракованных

пущу в оборот. Вот и отдушина будет к сенокосу да к уборочной. Видишь, как все оборачивается. Так что давай сеять, Егор. Не упрямься! Ведь все равно же заставят...

Егор Иванович покачал головой.

— Ах ты, ягода-малина! Ну ты и Аполеон...

— А что делать? Нужда заставит волком выть.

Егор Иванович налил по стакану:

— Давай еще ополоснем мозги-то. Авось и придумаем что путное.

Выпили. Егор Иванович долго ковырял вилкой капусту. Волгин курил, глядя в окно.

— Вот что, Игнат,— сказал наконец Егор Иванович.— Ты, наверное, и прав, но сделать по-твоему не могу.

Волгин круто подался к Егору Ивановичу, тот остановил его ладонью:

— Обожди! Я тоже не дурак... Меня ведь и заставить можно, понимаю. Но зачем разваливать то, что мы начали осенью? Так?

— Ну, так.

— Вот потому я и не стану сеять по холоду на своем поле. Пойми, не столько сам боюсь опозориться, как дело нужное боюсь провалить. И без того, чтобы не сеять, сейчас тоже нельзя. Ладно! Я тебе даю один трактор и Степана. Пусть сеет кукурузу там на общей земле, в пойме. А в конце мая освободится — опять ко мне перейдет. Я успею отсеяться... Две смены организую, а надо будет — и три.

— Вот это правильно,— облегченно вздохнул Волгин.— За тобой и Еськов и Черноземов сдвинутся. За это и выпить можно.

— Но захолонет у тебя кукуруза.

— Не захолонет! Важно линию держать. А там посмотрим. Давай еще по одной и — песню!

Егор Иванович налил.

— Эх, Егор, Егор! И до чего ж у меня тяжелая жизнь наступила,— прямо как в тиски я зажатый. И все-то у меня расписано, все расплантовано. Хочешь не хочешь, а делай. И всем угодить надо. А как? Продать — не смей. Купить — опять не смей. Сей то-то, тогда-то... Тут поневоле запьешь.

— А ты мужиков выводи на самостоятельность. Тверже будет. Одного тебя и на убыток подбить сподручнее. А с миром, с обществом труднее справиться.

— Какое в нашем колхозе общество?! Чего им с трибуны крикнешь — за то и проголосуют.

— Все потому, что выгоды своей не чуют. Им что орел, что решка... Понял?

— Понял... чем мужик бабу донял. Поехали!

Выпили. Волгин облокотился на стол, набычился, мрачно втянул в себя воздух и запел хрипловатым, но сильным баритоном:

Эх-да, вспомним, бра-а-а-тцы, мы куба-анцы,
Как ходи-и-или на врага.

Егор Иванович подхватил дребезжащим фальцетом, высоко вскинув голову и закрыв, как бы от удовольствия, глаза:

Эх-да, с нами му-у-узыка игра-а-ет,
Бараба-а-а-ны громко бьют.

15

Как и предполагал Егор Иванович, ранняя кукуруза, посеянная в пойме в холодную сырую землю, захолонула. Не взошла она в мае. Целый месяц расхаживали по этим посевам важные, горластые грачи. Толковая птица этот грач: у хорошего хозяина червей выбирает, а у плохого — зерно. Поторопился посеять — заклекло зерно в холодной почве, залежалось, разбутило... Тут как тут и грачи слетаются. Кр-ак! Непорядок! И квадратно-гнездовой метод освоили; идет прямехонько, солидно покачиваясь и голову — чуть набочок... Не грач — инспектор! Отмеряет десять шагов, на одиннадцатом остановится, долбанет в гнездо — есть. Вынет зерно, склюет — шагнет дальше... И когда в июне появились тощие изреженные всходы, стало ясно: надо подсев делать.

Семаков вдруг прихворнул, потом отправил жену в больницу — давнюю женскую болезнь лечить, сам остался с ребятней и не выходил на работу. А Волгин запил.

В такие минуты в нем просыпалась прежняя решительность и власть удалого добытчика. Он разведал рыночные цены на поросят и приказал Сеньке-шоферу настроить «газик».

— Сам продавать буду! В объезд, в обход... через тайгу! Чтоб не «газик», а танк был... Понял?

— Самортизируем, Игнат Павлович! — сказал Сенька-шофер. — Под дифер лягу, а вас провезу.

И шофер целые сутки экипировал свой побитый на немыслимых таежных дорогах старый «газик»: наматывал цепи на колеса, собирал топоры, пилы, лопаты, ломы, — как будто саперный взвод готовил в наступление.

— Игнат Павлович, счет от продажи поросят нужно бы через банк оформлять и закупку семян тоже, — робко намекнул Волгину колхозный счетовод Филька однорукий. — А то члены правления на вас и так, не тово... Знаете, от греха подальше...

— Да что ты, шептунов боишься? Пока мы с тобой счета будем оформлять — сенокос начнется. Покупать буду у частников. Кто же из них согласится с твоим банком возиться?

— Ну, как знаете. Я только вам напоминаю.

Всю неделю разъезжал Волгин на «газике» с поросятами в кошелках. И за деньги продавал и на кукурузу обменивал и на овес — по весу, без всяких счетов и расписок — на совесть, как говорится. Семян много требовалось — две сотни гектаров погибло... не шутка! Подсевали и кукурузой, и овсом, чем бог пошлет.

Возвращался Волгин в колхоз поздно вечёром с лицом, напоминавшим по цвету столовую свеклу. В правлении он, тяжело ворочая языком, говорил Фильке однорукому, сколько килограммов живого веса нужно списать со свинофермы и сколько центнеров семян следует оприходовать. Утром его видели в колхозе недолго и всегда хмурым. В такие минуты ему был сам черт не брат; он любил появляться в людных местах и поносить на чем свет стоит своих «демократов», как называл он правленцев. Натерпевшись от них за долгие месяцы тихой «тверезой» жизни, Волгин рыкал теперь, как медведь, которого выгнали из теплой берлоги.

Однажды в такое хмурое хмельное утро, проходя мимо конного двора, он заметил группу девчат и Селину среди них. Они стояли у запряженной подводы и громко смеялись, слушая шутки Лубникова, запрягавшего для них вторую лошадь. Тот был в новой клетчатой рубахе с распахнутым воротом, с засученными рукавами; юлой вертелся вокруг девчат, хлопал по крупу лошадь, сыпал шутками, прибаутками. «Молодится перед девками, старый хрен», — подумал Волгин. Девчата стояли спиной к Волгину и не замечали его. Председатель остановился.

— Что, не хочешь? — Лубников толкал в оглобли упиравшегося гнедого мерина.— Я его, девки, председателем зову, потому как норов у него такой, как у Игната Палыча. Ведь скотина, а соображает. Чует, что пробежка туда-сюда голодная, вот и упирается. А как в район ехать, сам в оглобли идет. Знает, что там овсом потчевать станут.

— Чего собрались? Ай делов нет? — внезапно окликнул их Волгин.

Лубников крякнул в кулак и засуетился вокруг лошади, девчата умолкли.

— На прополку собираемся... В пойму, на кукурузу,— сказала Надя.

— Пешком дойдете... невелики господа. Или, может, вашей особе лень приспичила? Одышка донимает? — ехидно спрашивал он Надю.

— Туда пять километров,— ответила Надя.

— Спать поменьше надо! — рявкнул Волгин.— Иль перенедужили? Надломились, бедные? Чего ж молчите?

— Это кто же нашей графине две подводы отвалил? Ты, что ли, конский кавалер? — обернулся он к Лубникову.

— Дак порядок был заведен такой...

— Порядок! А вот тебя ради порядку в оглобли запрячь да десять верст прогнать бы, бездельника... Перед девками расщедрился?! Ишь рукава-то засучил!.. Ты бы ишшо штаны задрал на радостях да рысцой впереди девок пробежался бы. Чего рот разинул? Распрягай сейчас же лошадей...

Волгин заметил стоявшего возле коновязи еще одного члена правления — пчеловода и налогового агента Ивана Бутусова — и направился к нему. Тот отвязывал свою заседланную лошадь.

— Ты тоже полоть собрался, казачок? — спросил он еще издали Бутусова.— Или ты не полешь и не колешь, а только рублики сшибаешь? Куда ж это ты скакать хочешь? Иль сладенького захотел? За медком летит пчела?

— У меня дела, я — пчеловод.— Иван Бутусов взялся за стремя.

— Обожди, обожди, я тебе что-то скажу...

— Ну? — Бутусов отпустил стремя и глядел на подходившего Волгина.

— Пчеловод, говоришь? Да?! — Волгин сладко улыбался.

— Ну, да...

— Не-ет... Ты не пчеловод, а — хлебоед. Ты же пчелу от трутня не отличишь. Тебе мало, что на тебя люди работают... Ты и скотину не оставляешь в покое. Лошадку оседлал, прогуляться решил... Дар-рмоеды! Заездили и людей и скотов... У-у, демократы!

— Не больно ли ты разошелся?..

— Это вы больно разошлись!.. Моими руками подлости творили... Три сотни гектаров кукурузы угробили... И все шито-крыто... На лошадках разъезжаете? А тот на кровати отлеживается. Ждете, когда Волгин совсем запутается!..

— Не я ж ее приказывал сеять.

— Ты в стороне стоял, поджидал, как Волгин не посеет — укусишь. И теперь за то, что посеял, укусить норовишь... Да вот тебе! — Волгин выкинул ему дулю под нос и пошел прочь.

— Ну, это тебе так не пройдет...— Бутусов отвел в конюшню заседланную лошадь и направился к Семакову домой.

Семаков встретил его во дворе у дровосека. Он был в диагоналевой гимнастерке, на ногах подшитые валенки. Вокруг дровосека валялся нарубленный хворост из дубняка.

— Добро пожаловать! — сказал Семаков, протягивая руку.

— Чего это ты валенки надел? Или еще температуришь?

— По бюллетеню положено. Ноги оберегаю...

— От твоих щек-то хоть прикуривай,— усмехнулся Бутусов.— Может, в правление заглянешь?

— А что?

— Волгин козырем пошел. Пора его на покой отправлять.

— Проходи в избу, потолкуем,— Семаков кивнул головой на дверь.— А я вот дровишек прихвачу.

Бутусов вошел в избу первым. Трое ребятишек, один другого меньше, все одетые в пестрые ситцевые не то платья, не то рубашки, молчаливо уставились на него; каждый из них был маленькой копией Семакова — те же тугие красные щеки, вздернутый пупочкой носик, круглые птичьи глазки. Бутусов ткнул в животик меньшого и засмеялся:

— Вот это барабан... Вошь убьешь на животе...

Малыш попятился от такой бесцеремонной попытки завести знакомство, но, задев половик, упал на задик; лицо его немедленно изобразило протест и обиду, а затем раздался пронзительный плач.

— Колька, перестань,— равнодушно сказал вошедший Семаков.

Затем он зачерпнул стакан молока из кастрюли, стоявшей посредине стола, отрезал толстый ломоть хлеба и сунул в руки мальчику.

Колька еще раза два всхлипнул, выпил молоко и, осмотрев ломоть хлеба, бросил его на пол. Бутусов заметил, что такой же толстый ломоть хлеба клевали в сенях куры.

— Эдак на одном хлебе разоришься.

— По две буханки в день съедает ребятня,— отозвался Семаков.

«Эх ты, горе-хозяин! А еще в председатели норовишь»,— подумал Бутусов.

— Садись,— Семаков подставил табуретку, смахнув с нее хлебные крошки.

Сам он сел на детскую скамейку напротив Бутусова. Ребятишки прошмыгнули в соседнюю комнату, отделанную дощатой крашеной перегородкой, и заглядывали сквозь ситцевую в горошинку занавесь. В избе было сыро и неуютно. Возле кухонной плиты стояло множество кастрюль, из одной торчал детский валенок. По полу была рассыпана сырая картошка, валялась картофельная кожура. Перехватив взгляд Бутусова, Семаков усмехнулся.

— А ты думал, я себе курорт устроил?

«А ты думаешь, я не знаю, почему на работу не ходишь? — думал Бутусов.— Почему жену приспичило отправить?..» Но вслух он проговорил озабоченно:

— Твое отсутствие, Петро, скверно сказывается. Волгин поросят разбазаривает.

— Знаю, знаю,— вздохнул огорченно Семаков.— Колхозникам подачки готовит... Выслуживается.

— За счет нашего добра. Да что делает? Продает поросят как купец Иголкин и счета в банке не оформляет. Мне Филька однорукий сказал.

— Эх, не вовремя занедужила моя хозяйка, не вовремя.— Семаков встал, заложил руки за спину и начал ходить по комнате, оставляя на полу мокрые следы.

— Сегодня на конном дворе скандал учинил...

— Демократами обзывал?

— По-всякому... Просто стыдок! Не председатель, а Петрушка... Пора его на место посадить...

— Да, пора, пора!

Вечером, тщательно побрившись, надев защитный командирский китель, Семаков появился в правлении.

— Эк тебя изнурила болезнь-то,— сказал насмешливо Волгин, здороваясь с ним. Он только что возвратился из очередной поездки с поросятами и был шибко навеселе.

— Поговорить с тобой хочу, Игнат Павлович.

— Ну что ж, давай поговорим.— Волгин достал из кармана темно-синих галифе жестяной портсигар и протянул Семакову: — Кури.

— Я воздерживаюсь.

— Тогда пошли в кабинет,— Волгин резко хлопнул створками портсигара.

— Игнат Павлович,— начал Семаков в кабинете.— Не дело ты с продажей поросят затеял. Это наш плановый фонд. Мы осенью должны сдать их государству.

— А чем кукурузу подсевать? Чем звеньевым платить?

— Почему счета через банк не провели?

— Что, ревизию хочешь учинить? — выкрикнул Волгин.— Можешь справиться в бухгалтерии, я ничего не скрываю.

— А для тебя финансовая дисциплина существует?

— Для меня дисциплина? А совесть у тебя есть?! — загремел Волгин.— Не ты ли настаивал сеять раннюю кукурузу? Не посей я — весь район обзвонил бы. А как дело дошло до пересева — в кусты: пусть, мол, Волгин отдувается. А я его в незаконной продаже уличу... На место мое хочешь, да? А вот тебе, вот! — Волгин показал ему кукиш.— Не видать тебе председательского стула, как своих ушей. И плевал я на твои доносы. Стогов-то сам попался с этой кукурузой. Его указ, понял? И теперь для меня твои доносы — тьфу!

Председатель и парторг стояли у стола, подавшись друг к другу, словно два борца, готовые схватиться в любую минуту. Семаков — громоздкий, рыхлый, с пламенеющими щеками, с круглыми бегающими глазками; Волгин — плотный и приземистый, со вспухшими жилами на красной шее. С минуту они стояли молча.

— Ну что ж, спасибо за откровение,— сдержанно проговорил Семаков.— Поглядим, что ты еще выкинешь.

— Во-во... Погляди да утрись...

Волгин, что называется, закусил удила. Чем дальше, тем больше хотелось ему теперь делать все наперекор этим «демократам». «Погодите, я вам еще и не такое коленце выкину. Вы у меня еще взвоете от злости...»

На следующее утро он нагрузил трехтонку картошкой и уехал покупать шифер для фермы. Уже год как текла крыша на ферме, и целый год ему не удавалось уломать правленцев перекрыть ее. Не на что!.. «А вот я найду вам, найду,— твердил он по дороге,— и магарыч пропью у вас на глазах».

Денег от продажи картошки на шифер не хватило. Тогда Волгин заехал к одному знакомому директору ресторана, продал ему заочно двух коров, взял авансом деньги, погрузил шифер в машину, заодно прихватил директора ресторана с ящиком пива и приехал в колхоз.

Пиво Волгин поставил в магазине под прилавок, директора завез на ферму к Марфе выбирать бракованных коров, а сам, не разгружая машины, с шифером выехал в поле. «Пусть полюбуются теперь мои демократы,— думал Волгин.— Может, кого и настигну... Уж поговорю по душам».

«Настигнуть» ему удалось только Селину; она стояла возле самой дороги у сваленных мешков с семенами. Слева от дороги лежал узкий, метров триста по ширине, длинный клин земли, упиравшийся широким концом в подножие сопки и сходивший на нет своим острием к речке. Это был последний участок ранней кукурузы из намеченных к пересеву. Пересевали ячменем, мало надеясь на приличный урожай,— поздно слишком, уже сенокос наступал.

Надя указывала возчику места расстановки мешков с зерном. По клину, в поперечном направлении, вихлял трактор.

— Тракторист, ко мне! — крикнул Волгин, вылезая из кабины.

Белобрысый паренек остановил трактор и, застегивая на ходу рубаху, медленно пошел к председателю.

— У тебя есть голова на плечах? — закричал Волгин.— Ты что крутишь трактор на клину, как кобылу?

— Мое дело маленькое,— равнодушно отозвался тракторист.— Вон начальство велит перекрестным сеять этот загон.— Паренек кивнул в сторону Селиной.

— Ах, вот оно что? Теорию, значит, применяем? — Волгин подошел к агроному.— А это вы соображаете,

товарищ теоретик, что одного горючего на таком клочке больше сожжешь, чем земля уродит? А! Или как? Об этом в книжке не записано? Сеять на клину рядовым! — повернувшись к трактористу, приказал Волгин.— А вы, товарищ ученый, заплáтите за весь перерасход горючего из своего кармана.

Волгин резко хлопнул дверцей и покатил дальше. Тракторист с улыбкой посмотрел на Селину:

— Как же будем сеять, товарищ агроном?

— Как хотите, так и сейте.— Надя тихо пошла к селу. Тоненькая потрепанная планшетка сиротливо свешивалась с ее узенького плечика и плавно покачивалась.

— Что вы, Надежда Александровна? Надежда Александровна, подождите! — кричал ей вслед оторопевший тракторист.

А она все шла, не оборачиваясь, низко опустив голову. Постепенно навертывались слезы. Она глотала их и потихоньку всхлипывала. Ей вспомнились многочисленные обиды от председателя, настороженные, подозрительные взгляды правленцев и всегда ожидающие лица колхозников: «Ну, что-то скажет наша научная поддержка?»

«Они ждут от меня действия, а я — бесправная... Бесправная я...»

Подходя к ферме, Надя услышала шум голосов. Привычка человека, разрешающего частые споры, повела ее подсознательно к тому месту, где шумели и спорили колхозники, окружив что-то лежащее на земле.

— Кто разрешил забивать корову на ферме? — кричал Семаков на Марфу Волгину.

— Что ты на меня кричишь? — тихо отвечала она.— Председатель приказал, с ним и говори.

— «Председатель приказал!» — не унимался Семаков.— А ты чем думаешь? Что тебе ферма — бойня, что ли?

Надя подошла вплотную и увидела зарезанную корову. Над ней стоял толстый незнакомый человек в кожаной куртке и растерянно смотрел на колхозников.

— О чем шумите? — глухо спрашивал он.— Ведь корова-то продана.

— Где председатель? — спросил Семаков.

— Кажись, в магазине,— ответил Лубников.— Стало быть, магарыч пропивает.

— А, черт! — Семаков размашисто побежал к магазину.

Через несколько минут у магазина образовалась другая толпа. Надя подошла в самый разгар ругани. Волгин стоял на крыльце магазина раскрасневшийся, в распахнутом пиджаке. Одной рукой он держался за перила, другой, сжатой в кулак, размахивал в воздухе и кричал:

— Это они, демократы, колхоз разваливают! Как собаки, только не на сене... Сами жрут, а другим не дают. Вот он, цепной кобель! — указывал он рукой на Семакова.— Я знаю, чего ему надо... Он до наших умственных мозгов добирается!.. На место мое хочет сесть? У, иуда, убью!

Несколько человек взяли Волгина под руки и повели домой.

— До чего добирается! — кричал, упираясь, Волгин.— До моих умственных мозгов... А вот этого он не хочет? — он пытался выкинуть рукой этакую замысловатую дулю, но его крепко держали за локоть и уводили все дальше и дальше.

В тот же вечер Семаков написал обстоятельное донесение Стогову, не преминув отметить, что все эти нарушения были допущены в его отсутствие по причине болезни жены.

16

Стогов знал эту слабость Волгина — раза два в году загуливать и чудить. Но это были скорее выходки скомороха, чем злостного нарушителя. К тому же после них Волгин надолго затихал. «Не было криминала и на этот раз. Продажа поросят — штука вынужденная,— думал Стогов.— Всему виной эта ранняя кукуруза. И меня черт попутал, увлекся я. Да еще приказывал в пойме сеять, на лучших землях. А там и сыро и холодно... То-то и оно, крепки мы задним умом. Так ведь и мне приказывали! Авторитеты нашлись, утверждали, ранний сев — открытие! Передовая точка зрения... А там соревнуйся, жми — кто скорее оправдает ее. Так что если и была ошибка, так не моя, а наша».

По этой причине Стогову и не хотелось судить строго Волгина — вызывать на бюро и отматывать ему на полную катушку. Потом мог и скандал выйти на бюро. Песцов-то был против ранней кукурузы. Так что лучше не затрагивать этот вопрос. Пускай там на месте решают.

Стогов позвонил в «Таежный пахарь» и сказал Семакову:

— Соберите партсобрание и продрайте Волгина... с песочком. Но объявлять не больше выговора... Понял?

— Не могу, Василий Петрович. Он трое суток пластом лежит. И неизвестно, когда встанет.

— Что с ним?

— Да то же самое. Опять почки.

— Тогда другое дело... Придется председателя вам подбирать.

— Есть! Когда прикажете кандидатуру высылать?

— Да ты меня не так понял... Мы сами подберем вам кого следует.

— Понятно,— сказал упавшим голосом Семаков.

— Вот так,— Стогов положил трубку.

«Сам метит в председатели, сам,— подумал Стогов.— Но с таким ноне далеко не ускачешь».

Давно уж Стогов подумывал о том, кого послать председателем, если Волгин свалится. И всегда останавливался на Песцове. Его, и только его по всем признакам. У него и образование подходящее, и с людьми поработал — три года уж в райкоме. И сам когда-то просился в председатели — затем и приехал из города. А главное, главное... не тот он человек для райкома. Он и не глуп... И продвинуться успел до второго секретаря... И все-таки не тот.

Нельзя сказать, чтобы Стогов относился к нему с предубеждением... наоборот, он его и в райкоме оставил, и поддерживал, и продвигал. Но единомышленника из него так и не сделал. Не из того теста он, что ли, затворён? Или просто не дозрел, не дошел, так сказать, до стиля.

Находясь с ним, Стогов часто испытывал какое-то странное беспокойство — как будто этот зрелый муж того и гляди оглушит тебя четырехпалым свистом. Не было в нем надежной ровности успокоившегося человека, которая необходима для партийного работника. Это не та успокоенность, что присуща инертным людям,— нет, это спокойствие приходит от уверенности в себе, от зрелости, от убежденности в правоте своего и нашего дела. Вот чего Песцову не хватает! Он мечется, он рыскает. И в этом смысле он не надежен. Пусть дозревает на низовой работе.

Но как ему это предложить, чтобы он не обиделся? Как убедить его, что надо идти в колхоз?.. Задача.

— Маша, как только появится Матвей Ильич, сразу посылай его ко мне,— наказал Стогов секретарше.

Песцов появился в райкоме к вечеру — небритый, запыленный, в забрызганных грязью резиновых сапогах ввалился он в кабинет Стогова и сразу на диван:

— Что у вас за пожар? Вы уж и передохнуть не даете. Полтораста километров отмахал: и на машине, и на лодке, и на тракторе, и верхом, и пешком... Легче на край света съездить, чем в наш леспромхоз.

Песцов трое суток ездил по дальним участкам леспромхоза и досрочно был отозван Стоговым.

— Да вот соскучились по тебе...— ответил Стогов.— Бюро хотим собирать.

— По какому вопросу?

— Сенокос начался. Но об этом после. Как наши лесорубы?

— Все так же... И лес калечат, и людей мучают.

— Ты опять за свое?

— Это уж, извините, не мое, а наше... Расследовал я один печальный случай. По весне жена умерла у кузнеца на «Горном». И обвиняли фельдшера. А фельдшер тут ни при чем.

— Кто же виноват?

— Мы с вами, Василий Петрович.

— Любопытно! — Стогов встал из-за стола, подсел к Песцову на диван.— Не часто приходится слышать, как тебя обвиняют в смерти. Ну, ну?!

— Аппендицитом заболела. Вроде и болезнь пустяковая... Везти на операцию — дороги нет. А река вскрылась. Трактор послали... Уложили на волокушу больную да фельдшера. Сквозь тайгу день и ночь — сутки прочь... А на вторые сутки она и скончалась на этой самой волокуше. Так при чем же здесь фельдшер?.. Девчонка двадцати трех лет! Это мы виноваты. Дороги до сих пор не построили. А люди живут там уже десять лет!

— Да, Матвей! Временная трудность,— вздохнул Стогов.

— Для нас с вами, Василий Петрович, временная трудность. А для кузнеца какая же она временная?

— Н-да...— Стогов откинулся на спинку дивана, закурил.

Песцов, подперев подбородок, смотрел на свои забрызганные грязью сапоги.

— У одного народа, кажется у немцев, есть хорошая

пословица — дороги определяют степень культуры и благосостояния,— сказал Песцов, как бы вспоминая что-то свое...

— Ну что ты хочешь, Матвей! Мы же с тобой, в конце концов, не строители дорог. И финансами мы не распоряжаемся.

— То верно. Но вот на том дальнем участке есть начальник, Редькин Николай Митрофанович.

— Неплохой работник.

— Да, нами не раз отмечен. Каждый год ему отпускают деньги на строительство дороги. Но он ее не строит.

— Почему?

— По двум причинам: во-первых, и это главное, некогда! План надо выполнять, и во-вторых,— без дороги удобнее выполнять этот же план.

— То есть? Не понимаю.

— Сплавлять можно только легкие породы — кедр, пихту, ель... А береза, ясень, дуб тонут. Поэтому их оставляют на корню... Мелочь! А рубят, гоняются только за кедром: он потолще да повыше. Как повалят одну кедровину — сразу кубов десять. Полнормы есть! Такой кедр упадет сам и вокруг десяти березкам да ясеням макушки посшибает. Наплевать! Пусть гниют.

— Но ведь за это штраф платят.

— Правильно! Из государственного кармана берут и кладут в тот же карман. Фокус-покус. А за перевыполнение плана премию дают уже в карман Редькину... И мы его хвалим — передовик! А он оставляет после себя гиблые места, где ни птицы, ни зверя, ни рыбы... Не лес и не порубка, а сплошной залом...

— Это, Матвей, взгляд со стороны. Нам вроде виднее и все проще кажется, легче. А вот посади нас на его место и дай нам его план, мы запоем другим голосом.

— Так в том и беда, что у нас голоса меняются согласно занимаемому месту, выданному заданию, плану и прочая и прочая...

— Да пойми ты, государству важнее получить лес именно сейчас, когда ждут его гигантские стройки... Сейчас, а не завтра, когда будут проложены дороги. В строительстве коммунизма фактор времени стоит на первом месте. А издержки производства неизбежны. Но они окупятся быстротой процесса созидания.

— Раньше об этом говорили проще,— усмехнулся Пес-

цов.— Лес, мол, рубят — щепки летят. Теперь для вас издержки производства окупаются быстротой, так сказать, процесса созидания. Показатели!.. А во что это обходится земле, лесу, людям, наконец? Это нас часто не интересует. Вот что отлично понимает Редькин. Далеко пойдет этот Николай Митрофанович...

— Не знаю, как Редькин, а ты не всегда понимаешь, что мы живет не в безвоздушном пространстве...

— Капиталистическое окружение?.. Пережитки прошлого, так сказать?..

— Не ехидничай! Состязаться мы обязаны... Это не игра, а вопрос нашей жизни.

— Разумеется... Был бы престиж, а всякие издержки — не в счет.

— Это все слова... Делами надо доказывать, Матвей. Теоретизировать всегда легче.

— Конечно... Кстати, ведь вы меня по какому-то иному делу вызвали.

— Да. Волгин слег... Уже неделю не встает. Вот и будем бюро собирать. Кого-то посылать надо в Переваловское. В председатели... Но кого?

— Ясно! — Песцов встал, отошел к окну, заложив руки за спину.

Стогов опять закурил. С минуту молчали.

— Я туда поеду,— сказал наконец Песцов, не оборачиваясь.

Стогов подошел к нему, обнял за плечи.

— Спасибо! Обрадовал старика! Эх, Матвей, люблю я тебя, как сына... несмотря ни на что.

Он отошел, смущенно кашлянул и сел в кресло:

— В моем возрасте поневоле думаешь о том, кто тебя сменит. Не о наследнике на пост, так сказать... А вообще, в большом смысле. Но какой же руководитель будет из того человека, кто сам в колхозе не поработал? Нет, там начало всех начал. Там передовая линия, оттуда и фронт начинается.

— Передовая линия. Фронт. Битва... Зачем эти громкие слова? Люди жить хотят, а мы им все суем борьбу, как на цирковом ковре.

— Хо-хо! — Стогов как-то весело поглядел на Песцова.— Вы, теперешние, не любите громких слов. А для нас, Матвей, это не просто слова,— это годы борьбы, крови, нервов. Это святые слова.

— Да дело-то не в словах...

— Ну ладно, не задирайся. Готовься к бюро — выдвигать будем.

— Пока!

Песцов вышел из райкома, когда уже стемнело. Лил сильный дождь. Но Матвей, не обращая на это никакого внимания, шел домой напрямки, задами, без разбора месил грязь и давил сапогами лужи. «Нет, батенька, не по любви ты меня посылаешь,— думал Песцов.— Хлопотно тебе становится со мной... Вот в чем загвоздка. Да и мне не сладко... Лучше разойтись друзьями, по делу...»

Только теперь Матвей почувствовал сильную усталость; спина ныла, и словно кто-то неприятно оттягивал в стороны лопатки; ноги отяжелели; он постоянно оскользался, нелепо взмахивал руками и, несмотря на дождь, вспотел. Ему хотелось в жарко натопленную комнату, раздеться, шлепать по чистому полу босыми ногами, выпить водки и развалиться на широкой кровати, на прохладных, чистых, с хрустом простынях.

Он подошел к своему дому, нащупал в темноте замочную скважину и открыл дверь.

Пустующие комнаты его холостяцкой квартиры были пугающе неприютны, словно увидел он их впервые: узенькая железная койка, покрытая серым солдатским одеялом, голый диван, ворох газет на полу... У него была скверная привычка — бросать просмотренные газеты на пол и не убирать неделями. Он долго стоял у порога и вдруг остро почувствовал одиночество; и такая тоска подкатила к самому горлу, что дышать трудно стало. Он растворил окно и начал собирать газеты: «Хоть печку затоплю — все веселее с огоньком будет...»

17

Через неделю, июньским погожим утром, Песцов укладывал свой нехитрый багаж в райкомовский «газик». Всего-то было два потертых фибровых чемодана, зеленый охотничий рюкзак да ружье в чехле. На машине можно было добраться только до переправы, а дальше придется ехать километров двадцать по таежной дороге на телеге. Уложив багаж на заднем сиденье, Песцов посмотрел на прикрытые ставнями окна, на опустевшую избу, где он прожил почти три года, и невесело подумал: «Как берлога... Хозяин вылез — и все мертво. Шатуном живу, бродягой».

Он круто повернулся и крикнул шоферу:

— Трогай! Чего ждать!

Шофер нажал на стартер, и «газик» тронулся, набирая скорость. Ветер ворвался в щель под приподнятое смотровое стекло, надул рубахи на Песцове и шофере, сразу сделал их толстыми и горбатыми.

— Смотри, кажется, сам идет,— сказал шофер, кивнув головой в сторону высокого пешехода, идущего навстречу обочиной дороги.

— Ну-ка останови! — приказал Песцов и вылез из машины.

К ним приближался Стогов в расстегнутой белой рубашке, с толстой суковатой палкой в руке.

— Быстро ты уложился,— сказал он, здороваясь.— А я думаю, что за сборами тебя застану. Вот, решил пройтись до твоей хаты. Моционю, брат. Одышка донимает, да и нога расшалилась. Вчера пришел к врачу, он спрашивает: «Что с ногой-то?» — «Да, говорю, наверно, старость подходит». А он посмотрел на меня и выпалил: «Она уже подошла». Вот и пришлось прихватить палку, чтобы от старости отбиваться.— Стогов громко засмеялся.

Песцов скупо улыбнулся.

— М-да,— неопределенно произнес Стогов, и его широкое рыхлое лицо сделалось озабоченным.— Матвей, ну-ка на минутку отойдем! — Он взял Песцова под руку, отвел на несколько шагов от машины.— Жене-то не звонил перед отъездом?

Песцов вскинул голову.

— Зачем?

— Ну...— Стогов неопределенно покрутил ладонью.— Хоть бы развод запросил.

— Запрашивал.

— А что она?

— Говорит, не время,— Песцов невесело усмехнулся.— Диссертацию готовится защищать... Потерпи, говорит, до осени.

— Ты вот что, Матвей, примешь там дела и до уборочной махни-ка недели на две в город, а? Может быть, и столкуетесь с ней... Сойдетесь. Мой шофер подбросит тебя от переправы до станции... Только позвони.

— Зачем вам это нужно? — Песцов печально глядел на Стогова.

— Не мне это нужно, а тебе. В колхоз едешь.

— Спасибо за внимание.

— Ишь ты, какой гордый! Ну, как знаешь. Присматривайся к колхозу. На твои выборы сам приеду.— Он подал Песцову мясистую ладонь.

— Мишка! — крикнул Стогов шоферу.— Матвея Ильича с ветерком доставь, чтоб в горле щекотало.

— Есть, чтоб в горле щекотало, Василий Петрович!

Песцов сел. «Газик» сорвался с места, точно нетерпеливый рысак, разбрасывая засохшие комья грязи.

— Тише ты, разбойник! — погрозил палкой Стогов вслед машине.

— Это он только для острастки машет,— озорно улыбаясь, говорил Миша Песцову.— А сам любит, когда я так срываюсь... Старик что надо...

Немного помолчав, Миша стал развивать свою мысль:

— Я его за что ценю? Вот приедем с ним в колхоз. Он первым делом скажет: «Накормить моего шофера!» А я от себя добавлю: «И поднести!» И полный сервис, как говорят в Америке. Про вас я ничего не скажу, потому что вы ездите один... Сами водите. А вот поедешь с Бобриковым, он не то что шофера покормить — сам не сядет, когда его приглашают: «У меня все при себе... С собой...» Вынет из портфеля газетный сверток, отвернется и мусолит какую-нибудь обглоданную куриную ногу. Да еще поучает: «Первое дело в человеке — это неподкупность...» А по-моему, такое дерьмо и подкупать никто не станет.

Ехали быстро. Дорога то полого спадала в глубокие, заросшие орешником и молодым темнолистым бархатом распадки, то обручем обхватывала крутобокие увалы, по которым густо зеленели всходы яровых. Изредка вдоль обочин попадались одинокие, понуро стоящие дубки, точно пешеходы, сошедшие с дороги в ожидании попутной машины. «Газик», то легонько шурша дорожным гравием и припадая на передние колеса, спускался в низины, как гончая собака, вынюхивая след пробежавшего зверя, то, радостно воспрянув, мчался на взгорья, оставляя за собой густые клубы дорожной пыли.

Песцов рассеянно смотрел на раскинувшиеся холмистые просторы и думал о селе Переваловском, о колхозе, о земле, на которой придется ему жить и работать. Наконец-то он придет к ним не ревизором, не наставником, а сотоварищем. Поймет ли он их? Примут ли они

его? Изберут ли еще? И что ждет его там? Какие удачи? Какие горести? Выдержит ли? Главное — в руки себя взять. Упасть духом, раскваситься — последнее дело. Эту заповедь Песцов усвоил с детства.

«Эх, Мотя, милый! — говаривала ему мать.— Ведь она, наша жизнь-то, какая? Одно сумление да беспокойство. В муках рождаемся, в муках и помирать будем. Так чего же духом падать?!»

Он рано потерял отца. Пять человек малолетней ребятни остались на руках его матери, простой крестьянки. И не по книжкам усвоил Песцов, что значит пустой трудодень,— эту тяжелую мужицкую истину. Бывало, с весны, еще загодя до сева, они, ребятишки, с мешками да кошелками, словно грачи, рассыпались по старой картофельной пахоте, собирая прошлогоднюю, не чисто выбранную картошку. Картошка была мокрой, липкой, вонючей, но ребятишки с жадностью хватали ее и совали в мешки. А потом, кряхтя, выгибая спины, обливаясь потом и липкой вонью, несли ее с великой гордостью домой... Там на рогожах и старых ватолах рассыпали на солнце, высушивали и перетирали пальцами — уже сухую, похожую на спрессованную золу картофельную труху. Это был их «трахмал», их хлеб, блины, оладьи... Да, не по книгам знал Песцов, что такое пустой трудодень. И не по зову времени, не по романтическому настрою и прочим выдумкам досужих умников ушел он, преуспевающий аспирант, в деревню. Он шел туда для того, чтобы поставить на ноги хоть одно село, чтобы достаток вошел в избы. Сделать людей счастливыми.

— Вот и переправа! — прервал раздумья Песцова Миша.

По еле заметной в траве дороге «газик» подкатил к пологому берегу Бурлита. В стороне, в кустах, стояла крытая щепой изба перевозчика-нанайца. Возле самой воды на опрокинутом бате — узкой и длинной долбленой лодке — сидели Арсё и Лубников, курили. На противоположном лесистом берегу виднелась телега, возле которой паслась привязанная гнедая лошадь. Переправа стояла на кривуне; Бурлит лениво разворачивался, поблескивая белесой мелкой рябью, и исчезал за поворотом в синих лесистых берегах.

Лубников встал навстречу Песцову, протянул руку:

— А мы вас ждем... Багажишко в машине будет? Мы в один момент все обделаем. Арсё! — повернулся Лубников

к нанайцу.— Спущай снасть на воду.— И, молодцевато покачивая плечами, пошел к машине.

Арсё неторопливо выбил маленькую бронзовую трубочку и столкнул бат на воду. Песцов с Лубниковым принесли багаж, попрощались с шофером и уселись в бат.

— Поехали! — крикнул Лубников.

Арсё ловко прыгнул в корму и, балансируя, стоя стал отталкиваться шестом.

18

Село Переваловское растянулось по берегу Бурлита километра на три. Деревянные избы, крытые щепой, теснятся отдельными группами, разбросанными одна от другой, словно хуторки. В двух местах село прорезают протоки, через которые уложены неошкуренные ильмы для перехода. С ближайшей сопки к селу сбегает молодая поросль когда-то порубленного леса, и многие избы заросли по самые трубы узколистым темным бархатом. В ветреный день, когда потревоженные листья начинают рваться в небо, показывая свою белую исподнюю сторону, по деревьям пробегают серебристые волны.

Песцов временно поселился у Волгиных. Хозяин хоть и оклемался, как он сам говорил, но выглядел хмурым и вялым, словно недоспал.

— Ну вот и мне подсмена,— сказал Игнат Павлович Песцову.— Небось выберут тебя — может, и я на лечение угожу.

— Уж больно хорошо у вас летом! — восторгался Песцов.— Река, лес... курорт!

— Смотри не протяни ноги на этом курорте,— усмехнулся Волгин.— Тебе не с природой жить придется, а с людьми.

— А что — люди?

— Ничего... Поживешь — увидишь.

Песцов понимал, что его успех будет зависеть от того, насколько глубоко изучит он колхозные дела, да и не только дела. Поэтому он просил не торопиться с перевыборами. Он хотел окунуться с головой в эту неторопливую, как река, размеренную жизнь села.

Целыми днями Песцов обходил и объезжал колхозные владения то один, то вместе с Волгиным. Как-то в поле на второй день неожиданно встретились с Надей. Она

ехала на велосипеде тропинкой сквозь зеленя овсов. Увидев Песцова, она резко затормозила, остановилась поодаль и смотрела не то с испугом, не то с недоумением.

— Ты чего? Не узнаешь, что ли? — спросил Волгин.— Песцов Матвей Ильич.

Надя наконец подошла, протянула руку:

— Здравствуйте! Значит, к нам в председатели? — и еще более смутилась от ненужного вопроса.

— А что, не гожусь?

— Нет, почему же? Я не об этом думала...

— Выберут его, никуда не денется,— сказал Волгин.

«Она, конечно, знала, что я здесь,— думал Песцов,— но почему не пришла ни разу в правление? Или боялась смутиться на людях?»

Она сильно изменилась с весны и мало походила на ту, какой увидел он ее впервые в райкоме. Весеннее солнце и ветер словно продубили ее кожу на лице, и теперь резко выделялись обтянутые скулы да заостривщийся нос. На лбу, на щеках, как глинистые пылинки, прилипли мелкие конопушки. И вся она казалась какой-то вытянутой в этих спортивных рейтузах. И шея теперь казалась слишком длинной и руки слишком худыми, особенно пальцы. И только глаза под белесыми выгоревшими бровями все так же поражали застойной синевой.

Песцов увидел на руле Надиного велосипеда большое круглое зеркало и, чтобы нарушить затянувшееся неловкое молчание, спросил:

— Откуда у вас эта штука?

— Сенька, шофер наш, из машины выдрал,— ответил за нее Волгин,— да преподнес ей любовный подарочек.

— Какой там любовный подарочек! — вспыхнула Надя.— Как вам не стыдно?

...К Песцову вскоре привыкли. Колхозники перестали его стесняться и часто отпускали при нем крепкие шутки по адресу односельчан. Он услышал, что налогового агента Ивана Бутусова зовут по-уличному «Ванька Клещ», бухгалтершу сельпо — «Торбой», плотника Бочагова — «Шибаком». И каких только прозвищ не было здесь! И свой «Колчак», и «Японец», и даже «Кулибиным» звали кузнеца Конкина. По вечерам, когда бригадиры собирались в правлении выписывать и закрывать наряды, возле

правленческого палисадника на скамейках рассаживались мужики. И тут можно было услышать самые невероятные истории. Особенно отличался Лубников. Не раз, полускрытый сумеречной темнотой, Песцов слышал, как шли разговоры о его собственной персоне.

— Сказать вам по секрету, мужики... Ведь я ишшо с весны знал, что Песцов к нам подастся в председатели.

— Да ну?

— Вот те и ну. Помните, с первесны он был у нас? Так вот, зашел он в тот наезд ко мне на конюшню. Верховой езде поучиться. Ну я, конечно, ему: аллюра три креста и «шенкеля в бок». В момент все приемы показал. Он и признался. Решил, говорит, к вам податься. Надоело мне, там от одних прениев голова кругом идет. А тут самая верная жизнь. Взять хоть твою конюшню: лошадки скотина умная, бессловесная и дух от нее здоровый. Конечное дело — и поллитровку не грех.

— Будя врать-то,— оборвал его Егор Иванович.— Может, он у тебя разрешение спрашивал?

— Разрешение не разрешение, а совет спрашивал.

— Х-ха! Да что ты знаешь? Что умеешь? Писать кнутом на спине у кобылы!

— Что умею?! Да если хочешь знать, Песцов меня своим заместителем назначит.

— Лошади не согласятся... Боюсь, не отпустят тебя,— сказал Егор Иванович под общий хохот.— Где они еще найдут такого разговорчивого кавалера?!

Лубников пренебрежительно сдвигал на затылок свою замызганную фуражку и спрашивал нанайца Сольда как ни в чем не бывало:

— Ну ты, брат, расскажи-ка нам, как с учителем спорил о происхождении человека.

Моложавый, лет за сорок, нанаец с черными жесткими волосами, торчащими во все стороны, как иглы у ежа, смущенно улыбаясь, начинал всем известный рассказ:

— На курсах в Приморске был. Неграмотность ликвидировал. Учительница наша говорила на уроке: «Человек произошел от обезьяны». Зачем, думаю, так нехорошо говорит? Плохой зверь обезьяна, маленький, трусливый... В зоопарке видел. А человек храбрый, ничего в тайге не боится. Неправда это, думаю. Нанайцы говорят — от медведя произошел человек. Это верно, медведь — зверь сильный, хозяин тайги. Встал я тогда и сказал учительнице: «Почему так плохо говоришь о человеке? Как мог

человек от обезьяны произойти? Маленький зверь обезьяна. Неправда это!» Она отвечает: «Это давно было, еще до ледников больших...» Много говорила — слова все непонятные. Не запомнил я их... Слушал я, слушал... «Понятно, Сольда, теперь?» — «Понятно, говорю, один человек произошел от обезьяны, другой от медведя».

Все дружно засмеялись. Лубников хлопал рукою по коленке и плевал себе под ноги.

— Эй, Кулибин, расскажи, как кузницу сжег?

— А черта ль в ней, в кузнице! — огрызался дед Конкин, оглаживая свою барсучью бороду.— Одно названье и есть, что кузница.

Один по одному выходили из конторы правленцы и присаживались тут же на скамьях. Разговор становился всеобщим. Песцов часто и сам не замечал, как оказывался втянутым в эти бесцельные, как ему казалось, беседы.

— В самом деле, кузница у вас обгорелая какая-то,— заметил Песцов, вспомнив обуглившиеся, черные, точно покрытые растрескавшимся лаком, бревенчатые стены.

— Это вот мудрец — литейную из кузницы хотел сделать, да чуть под суд не пошел,— ответил Иван Бутусов, широкоплечий, скуластый мужик, кивая на деда Конкина.

— Мудрец не мудрец, а кольца отлил из бронзы,— ответил обиженно Конкин.

— И крышу сжег,— сердито вставил Волгин.

— Да ей и цена-то — грош.

— Как же это случилось? — спросил Песцов.

Волгин начал неторопливо рассказывать, посмеиваясь. Конкин ревниво следил за ним, склонив голову.

— Задумал он кольцевые подшипники отлить. Смастерил вентилятор, слепил из глины форсунку наподобие ночного горшка, только горлышко узкое. Подладил ее снизу к горну, навалил кучу древесного угля и дунул. Уголья-то как пушинки разлетелись, искры в крышу. А крыша из щепы, что порох. В момент занялось и пошло рвать. Сбежался народ. А он крутится возле кузни, машет руками, как кочет крыльями, и кричит: «Граждане колхозники, не гневайтесь. По техническим причинам пожар произошел...» Затушили. Вошли в кузницу. Увидел я эту форсунку и спрашиваю: «Что это такое?» А он отвечает: «Это мое техническое изобретение». Эх, тут я и взбеленился. «Я тебя за такое пожарное изобретение, говорю,

под суд отдам! Мы тебе трудодни платили, а ты изобретениями занимаешься... Работать надо, а не изобретать!»

Песцов крутил головой и смеялся.

— Оштрафовал он меня на десять трудодней,— сказал, смешливо щурясь, Конкин.— А я ему вынул из кармана гривенник, отдал. В расчете, говорю, Игнат Павлович. По копейке на трудодень, ты больше и не даешь.

Все снова загоготали.

— А бронзовые кольца все ж таки отлил.

— Ты лучше скажи, как на Бутусова в суд хотел подавать?— спросил Конкина Лубников.

— Я его Кулибиным обозвал,— стал услужливо пояснять Бутусов.— Ну, пацаны и подхватили: «Кулибин, Кулибин!» Он так обиделся — жалобу в правление написал. В суд, говорит, подам. За оскорбление личности. Ну там ему шепнули: «Темнота! Кулибин — великий механик».

— А он?

— В район ездил...— ухмыльнулся Конкин.— В своей библиотеке неудобно справляться: а ну-ка врут? А потом жалобу, значит, забрал. Не возражаю, говорю, против Кулибина. Пусть мою кузницу и в квитанциях зачисляют на имя товарища Кулибина.

— Ну и как же?— спросил, улыбаясь, Песцов.

— Волгин отказал. Много чести, говорит. Будь доволен, что пацаны из подворотни Кулибиным тебя зовут.

И снова хохот.

...Один раз ночью шли они с Волгиным домой. Неподалеку от правления, возле пятистенной избы Торбы, гомонили мужики. А из раскрытых окон вырывались в дремотное небо свист и топот:

Эх, сыпь, Семеновна!
Подсыпай, Семеновна!
Неужели, Семеновна,
Юбка-клеш зеленая?

А потом нестройно, тягуче запели бабы:

Я одену тебя в темно-синий костюм
и куплю тебе шляпу большую...

Возле палисадника раздавались иные голоса:
— Что у них ноне — медовуха или самогон?
— Не-е! Спирту привезла Торба. На спиртозавод ездила...

— Намедни в магазине водку чайком назвала. Я ей, говорит, сроду не напиваюсь.

— И мужики с ними, вся компания.

— Вот живут, малина им в рот!

Говорили без осуждения, наоборот, иные с завистью, иные с восторгом.

Отойдя от палисадника на почтительное расстояние, Песцов спросил Волгина:

— Что у них за веселье?

— Да, наверно, курицу зарезали. Торба с фельдшерицей Бочаговой частенько гуляют. Мужики-то у них в колхозе не работают.

— А что ж они делают?

— Да так, все вокруг сельпо да школы околачиваются.

— Кто они такие? Рабочие или колхозники?

— Ни то ни се. В школе дрова рубят. Их Иван Бутусов, муж директорши, вроде при себе держит.

— И много у вас таких приблизительных колхозников?

— Всех не перечтешь. Они для блезиру работают в колхозе. А зарабатывают и на реке, и в тайге — кто плоты гоняет, кто корье пробковое заготавливает, кто клепку ясеня... Приспосабливаются. Жить-то надо. Мужики-то еще выкручиваются. А бабам туго.

— Давно уж не платите на трудодни?..

— Оно кому как. Вот бригадирам, учетчикам, охранникам платим. А теперь еще и механизаторам, звеньевым. Остальным прочим — нет. Не хватает. Ведь у нас одних охранников да объездчиков сорок человек.

— Кто у вас пьет? Больше всё эти полуотходники?

— Да все пьют.

— От какого же богатства?

— Какое там богатство! Пьют из озорства... Чтоб не работать. Зерно воруют да самогон гонят.

— Но есть же охранники!

— Они сами и воруют.

— Так распустите их.

— Тогда и вовсе все растащат. Село большое, а поля-то аж до Уссури тянутся. Не-ет, избаловался народ. Работать не хотят. Лодыри...

— Но ведь им не платите?!

— Конечно, какая там плата...— охотно соглашался Волгин.

— Какой же выход?

— Торговлю открывать надо.

— Сие, как говорится, от нас не зависит.

Все эти разговоры ни к чему не приводили. После них Песцов чувствовал себя вялым и раздраженным, как после снотворного.

«Откуда берется этот застой и равнодушие?» — думал он, глядя на размеренную жизнь супругов Волгиных. Он не слышал, чтобы они что-то обговаривали между собой, решали... Нет! Если и говорили, то каждый свое и не для каких-либо согласований, а просто так, по привычке говорить. Здесь нечего было обсказывать, объяснять друг другу. Даже обязанности по хозяйству были давным-давно распределены между ними и вошли в привычку. И даже ругань в привычку вошла. Каждое утро Марфа щепала лучину и ворчала на то, что полено кривое, но тем не менее Игнат приносил снова все такие же суковатые и мозглявые поленья. «Нешто это полено? Камень! Его долотом не возьмешь. Этим бы поленом да хозяину по башке,— ругалась Марфа, впрочем довольно мирно.— Тоже хозяин!..» А этот хозяин сидел поблизости прямо на полу, тяпал табак и жаловался кому-то, глядя в угол: «А у меня, брат, опять под ложечкой свербит... Ну словно веретено проглотил...» И после таких жалоб по привычке выпивал кружку вечёрошнего молока.

«Ну что за народ?..— вопрошал Песцов.— Ко всему привыкает, со всем сживается... Да выбери ты полено поровнее, много ли надо для лучин? Сходи, съезди, наконец, к доктору, узнай, что у тебя там за веретено сидит, и поставь на этом точку. Не тут-то было! Ему и «жисть не в жисть» без этих жалоб на веретено да на почку...»

Вечерами он подолгу не мог заснуть. Лежа на высокой перине, все думал о том, с чего же начинать, когда изберут председателем.

И вспоминалась ему в такие минуты Надя, едущая сквозь овсы на велосипеде с круглым зеркалом на руле. И уже не то наяву, не то во сне он видел, как клубились ее льняные волосы, как растягивались в улыбке ее потрескавшиеся от ветра губы... И он тянулся к ней, чтобы обнять, поцеловать ее, но перед ним вырастало до огромных размеров круглое зеркало и глупая рожа улыбалась ему оттуда.

«Уберите этот любовный подарок!» — кричал он. «Ну нет,— отвечала эта морда голосом Волгина.— А что скажет Сенька-шофер?»

19

Надя стала выходить на работу в белой шелковой кофточке, в серой юбке и в светлых спортивных туфлях. И шаровары и синие резиновые тапочки бросила в сенях. В сумерках она появлялась в правлении и, разговаривая с Песцовым, старалась пересидеть всех посетителей.

Как-то они рассматривали посевные карты, изучали план полей.

— Рожь опять нас подвела, гектаров двести вымерзло,— поясняла Надя.— А всходы яровых хотя и неважные были, но, я так думаю, их ще можно вытянуть. Надо что-то делать. Но не раскачаешь, не поднимешь никого.

— Мне одно только ясно: низкие урожаи не причина, а следствие,— сказал Песцов.— Дело не в земле и даже не в удобрениях, а в равнодушии колхозников. Это просто бедствие, эпидемия!..

— Ну зачем же так? Равнодушие не антонов огонь... И вообще не болезнь. Это вроде засухи. Она от ветра зависит. Как зарядит один и тот же ветер — дует и дует все в том же направлении. А оттуда только сушь да пыль. Ни капли дождя! Менять направление надо.

— Ну, я допускаю, что от этого урожаи страдают. Да ведь суть не только в урожае. А как быть с этим разбродом, с пьянством, с этой унылой серостью?

— Все идет от земли... Пока там нет порядка, не будет его и среди людей на селе.

— Может быть, оно и верно, да не утешительно, особенно для тех, кто здесь живет. Сколько вы прожили тут?

— Почти три года.

— Не сладко, поди?

— Всякое бывает.

— Глухомань.

— Вы еще не знаете, что это такое.

— У меня все впереди.

— Иногда мне кажется, будто мы выпали из какого-то состава. Вагоны в тупике...

— Вы просто устали.

Надя чуть заметно улыбнулась:

— Мне порой хочется почувствовать себя как-то по-новому. Словно переодеться во все другое, непривычное.

Она перехватила взгляд Песцова, скользнувший по ее белой кофточке, и неожиданно произнесла, глядя на свои загрубелые, красновато-бурые руки:

— Но вот эти перчатки не снимешь и не заменишь.

Наступила неловкая пауза; через минуту, глядя куда-то в темный угол, Матвей тихо сказал:

— Я вас понимаю... Одиночество — штука трудная.

«Да, несладко ей живется здесь. Бьется как рыба об лед — и все одна. Поддержать порой и то некому,— думал Песцов.— Окончить институт, нажить ум, вкус приобрести... И бух! Как в заточение. В монастырь! Поля полями, дело делом. Но ведь у нее еще и глазищи вон какие. И губы не только ложку хотят целовать. Но куда пойдешь? В школе одни учительницы. В медпункте — сестры да фельдшерицы. Опять бабы...»

Встречая Надю, Волгин и Семаков неизменно подшучивали насчет Сеньки-жениха. Надя отвечала раздраженно. И Матвей догадывался, что между ними существуют размолвки совсем иного характера.

Однажды днем Песцов застал ее в правлении спорящей с Семаковым. Тот, моложавый, краснощекий, в клетчатой рубашке с закатанными рукавами, размахивал перед ее лицом руками и говорил возбужденно:

— Нечего его агитировать. Он просто саботажник. Мы с ним по-другому поговорим.

— Как это вы быстро решаете!

— Что значит — вы? Мы — это правление.

— Чего это вы расшумелись? На дворе слышно,— сказал Песцов, входя.

— Ну ладно! Я пошла.— Надя перекинула через плечо парусиновую планшетку и направилась к двери.

— Куда?

— Агитировать одного комбайнера. Не хочет на комбайне работать.— Надя усмехнулась.— Не выполняет решения правления.

— Он просто саботажник. Лодырь,— повторил свое Семаков.

— Да? — Надя искоса взглянула на Семакова.— А я все-таки схожу.

— Погодите, я тоже с вами,— Матвей вышел вслед за Надей из правления.

— Что это за комбайнер? — спросил он ее на улице.

— Лесин по фамилии. Инвалид. Лет двадцать проработал в МТС трактористом-комбайнером, а осенью к нам

пришел. Ну и обидели его. Трактора не дали. А теперь он в комбайнеры не идет. А уборочная не за горами.

— Как же это случилось?

— А так же, как все здесь случается,— с горечью ответила Надя.

Изба Лесина стояла с краю, на том порядке, с которого начиналось село. Изба большая, но уже заметно осевшая наперед. Она смотрела окнами в землю так, словно глубоко задумалась о цели своего существования. В левом углу почти пол-избы занимала огромная глинобитная печь, такая же старая, как сама изба. Печь тоже осела, только задней частью, и теперь похожа была на бегемота, разинувшего черную пасть. Под печью стоял высокий сруб из пожелтевшей, словно бронзовой, лиственницы — подпечник. Песцов еще не видел такой диковинной печи и с любопытством разглядывал ее.

За длинным непокрытым столом на широких скамьях сидела вся многочисленная семья Лесиных. Вместе с хозяином курила толстые цигарки сама Лесичиха — пожилая женщина с худым смуглым лицом. У молодой хозяйки на руках двое детей, за столом сидело еще трое ребятишек в коротких замызганных рубашонках; они раскрашивали нарисованные домики и деревья в невообразимые цвета.

— Здравствуйте, хозяева!

— Здравствуйте! Гостями будете.

Хозяин встал со скамьи и, сильно припадая на правую ногу, подал Песцову и Наде по табуретке. Сели. К Песцову подошла худая дымчатая кошка; она вопросительно смотрела на него и вместо мяуканья издавала какие-то скрипучие отрывистые звуки.

— Странная у вас кошка,— сказал Песцов.— Не мяучит, а крякает.

— Ей в субботу сто лет. Небось закрякаешь,— отозвалась старуха.

— А печке? Тоже небось под сотню?

— Без малого семьдесят. Она избе ровесница. Да что избе? Селу! — Лесичиха тихо посмеивалась, обнажая щербатые зубы.— Когда ее сбили, то потолка еще не было. Четверть водки на ней ро́спили. Вот и стоит.

На лице хозяина тоже появилась какая-то тихая, застенчивая улыбка.

— Не передумали насчет комбайна? — спросила Надя.

— Нельзя мне сейчас браться. А ну-ка погоды не

будет в уборочную? Чего я на нем заработаю? А у меня вон ртов-то сколько.

— Так ведь не вы же один сядете на комбайн,— сказал Песцов.

— Оно конечно. Только у других комбайнеров тракторы есть. А мой отобрали. Я бы теперь сколько трудодней на нем заработал! Мне бы и простой не страшен был.

— Как же это у вас отобрали трактор? — спросил Песцов.

— Я ремонтировал комбайн в РТС. Но комиссия с приемкой комбайна запоздала. А тут посевная началась. Приезжаю в колхоз, а мой трактор «Беларусь» уже другому отдали — Петру Бутусову.

— Это брат Ивана? — спросил Песцов Надю.

— Да.

— И вместо «Беларуси» дают мне старый «ДТ-34»,— продолжал Лесин.— А мне на «ДТ» работать нельзя: у него тормозные муфты под правую ногу... А у меня, видите,— нога-то правая не годится. Чего ж вы мне, говорю, даете? А не хочешь этого, отвечают, ничего не получишь. Так я и остался без трактора.

— Но вы должны были требовать, настаивать,— сказал Песцов.

— Он у нас не говорок,— махнула рукой Лесичиха, добродушно посмеиваясь.— Где уж ему!

— Не мне тягаться с Бутусовыми,— сказал Лесин.

— А если вам предложат гарантийный минимум в случае непогоды, согласны? — спросила Надя.

Лесин медленно улыбнулся.

— Да кто ж со мной так разговаривает? Мне твердят: садись на комбайн, не то плохо будет. Срывать, мол, уборочную решил!.. Под суд отдадим. Чудаки!..

— Садитесь на комбайн. И трактор вам возвратим,— сказал Песцов.

— Где уж там! У Бутусова не отберешь...

Лишь только вышли за порог лесинской избы, как Матвей заговорил возмущенно:

— Что это за Бутусовы? Что за сила у них? То они бездельников покрывают, этих Бочагова и Треухова, то трактор отобрали у инвалида... Почему же вы молчите?

— Формально Бутусовы всегда правы,— сказала Надя.— Начался сев, а трактор простаивает. К тому же новый. Непорядок. Вот и отобрали.

— Вы говорите так, словно оправдываете их.

— Нет, просто я их хорошо знаю.

Уже вечером, возвращаясь домой вместе с Песцовым, она оглянулась назад, словно боясь, что их подслушают, и тихо сказала:

— Они меня всё за девчонку принимают, а ведь мне двадцать шесть лет...— И, немного помедлив, вздохнув, добавила: — Трудно, когда тебя в расчет не берут... Не та, мол, сила.

— Вы по желанию сюда или назначение получили?

— Родина моя здесь... Родители намаялись — в город сбежали. А мне запало в душу деревенское детство... И все сюда тянуло, как в сказку. Метель послушать зимним вечером... при лампе, а еще лучше — совсем погасить свет. И сидеть у окошка. А то сходить во льны... Хорошо звенят они в жаркий полдень. Словом, у каждого есть свои глупости.

— А на целину не хотелось? — с улыбкой спросил Песцов.

— Нет. Я знала, куда еду. Предвидела все...

— И это одиночество?..

— Ну?! Знать бы, где упасть...

— А что? Мужа прихватили бы с собой?

— Брак по нужде...— рассмеялась Надя.— На это храбрость нужна.

Они шли по вечерней пустынной улице. В небе истаивало чистое сияние лимонной зари. Некоторые избы тускло светились сквозь лиственные заслоны палисадников освещенными окнами. Стояла тишина, и где-то далеко-далеко, как на краю вселенной, раздавался одинокий собачий брёх.

Песцов невесело усмехнулся.

— А я знаю одного чудака, который однажды женился с благими помыслами: хотел воспитать из нее своего двойника... духовного, так сказать.

— И не смог?

— Просто она оказалась сильнее и упрямее. И потом, всегда была уверена в своей правоте.

— Я понимаю. Значит, по уставу жила...

— Вроде бы!

Песцов взял ее впервые под руку и проводил до крыльца.

— Пойдемте завтра утром рожь посмотрим?

Надя согласилась и быстро пошла к двери, стуча каблуками о деревянные ступени.

20

На другой день их отвез Лубников на дрожках верст за пятнадцать, к речке Су,— «в степя», как говорили в Переваловском.

— Вот вам и рожь. Только любоваться нечем,— сказал он и укатил.

Рожь оказалась жидкой, малорослой, с огромными черными плешинами. Надя срывала тоненькие серо-зеленые стебли и, подавая Песцову, говорила:

— Видите, как вытянулась? Это от зимы, морозная худоба.

— По-моему, от озимой ржи надо отказаться.

— Но она в плане. Вы же сами его утверждали... Заставляли...— Надя засмеялась.

— Допустим, я лично не заставлял...

— Ну какая разница — кто именно? От вас писали, что посев озимых — это нечто новое в здешних краях. Все за новым гоняемся, да старое забываем. А вы знаете, как занимались наши предки скотоводством, ну — тысячу лет назад?

— Летом пасли скот, а зимой — в стойле... Вроде бы так,— улыбнулся Песцов.

— А мы все по-новому норовим — и беспривязное содержание и зеленый конвейер... Но, между прочим, у наших предков мясо было, а у нас его мало. Почему? Ведь все эти новшества разумны?!

— Значит, мы плохо стараемся.

— О, нет! Порой мы очень стараемся, да пропадают наши старания... Уходят, как вода в песок. Надо, чтоб они старались, колхозники. Они с землей связаны. Все дело в них. Надо сделать так, чтобы они сами хватали эти новшества. А не навязывать их.

— Послушайте, Надя, а что бы вы сделали, если б вас назначили председателем?

Она внимательно посмотрела на него и сказала с чуть заметной усмешкой:

— Во-первых, сделала бы вас заместителем. Вы человек покладистый.

— Ну что ж, я согласен,— Матвей подал ей руку.— Похвастайтесь, чем богаты.

Надя весело улыбнулась.

— Пойдемте!

Взявшись за руки, они поднялись на пологий откос

сопки, густо поросшей лещиной и высокой травой с яркими вкраплинами цветущих огненных саранок и синих касатиков. Отсюда далеко-далеко видны были синеватые холмы, распадки и поблескивающая на солнце серебристая спираль реки. Совсем крошечные лепились где-то внизу, у речного берега, бревенчатые бараки станов, а еще дальше видны были стада.

— Это наши отгонные пастбища,— сказала Надя.— Здесь и работают и живут... Особый мир.

Возле реки, в небольшом укромной озерце, Песцов увидел огромный розовый цветок — он поднимался на высокой ножке, как журавель над водой. А под ним распластались по воде два зеленых плотных листа с чуть загнутыми краями, величиной с добрый поднос каждый. Песцов засучил штаны, снял туфли и пошел в воду. Но вода оказалась глубокой. «Ух ты, черт! Вот так болото...» Песцов погрузился по пояс, вскинув от неожиданности руки кверху. Вылез он мокрый, но счастливый:

— Лотос... наш, дальневосточный.

— У нас его зовут нелюмбией,— сказала Надя.

— Чудесно! — Песцов положил сорванный цветок на громадный лист и подал ей, как на блюде.

Откуда-то из-за прибрежных зарослей тальника и жимолости донесся плеск воды и заразительный девичий хохот. Надя и Песцов вышли к берегу и увидели стайку купающихся доярок.

— Надюша, в воду! Девочки, хватайте ее! — закричали со всех сторон, но, увидев Матвея, на мгновение смолкли, придирчиво разглядывая его.

Наконец одна, маленькая, конопатая девчушка, находившаяся ближе всех к Песцову, разглядев его мокрые брюки, закричала:

— Девочки, а будущий председатель-то ухажеристый!

— И храбрый,— заметила другая,— штанов не побоялся замочить.

— Черт знает что,— смущенно пробормотал Песцов, оглядывая свои брюки.

— А вы не обращайте на них внимания,— сказала Надя.— Давайте купаться.

Она непринужденно сняла через голову кофточку, потом расстегнула юбку и не опустила, а как-то вылезла из нее, вышагнула... Вместе с этой кофточкой, с юбкой куда-то исчезла и ее худоба. И вся она стояла ослепительно-белой в черном купальнике; и длинные ноги ее,

неожиданно сильные в бедрах, и открытая гладкая спина, и плечи, и шея — все теперь выглядело совершенно иным, волнующим. Песцов опустил глаза и тяжело засопел, развязывая шнурок.

— Что же вы? Скорее! — нетерпеливо покрикивала она, стоя возле самой воды.

Наконец Песцов разделся и в трусах, длиннорукий, поджарый, как волк, побежал за Надей.

В воде на него тотчас налетели со всех сторон девчата с визгом и хохотом и начали обдавать его тучей брызг. Он неуклюже отмахивался, наконец вырвался из кольца и поплыл на глубину, шумно отфыркиваясь.

Купались долго. Потом побывали в стаде, заходили на станы, пили холодное, поднятое со дна реки молоко.

Возвращались поздно. Молоковоз подбросил их под самое село, до протоки. Извилистая тропинка, раздвигая высокие, кустистые заросли пырея и мятлика, привела их к переходу. Через протоку было перекинуто неошкуренное бревно ильма. У невысокого, но крутого берега Матвей с Надей остановились.

— Не боитесь? — спросил он.

— Нет.

— Дайте мне руку! Так будет лучше.

— Нет! — Она отступала от него, смеясь, и быстро побежала по бревну.

Но на середине протоки Надя оступилась, отчаянно закрутила руками и упала в воду. Матвей спрыгнул к ней. Протока была неглубокой, чуть выше колен. Он взял мокрую, испуганную Надю за руки, вывел ее на берег и почему-то продолжал стоять, не выпуская ее рук. Мокрая юбка облепила ее ноги. Лицо ее, чуть запрокинутое, было близко, и синие глаза смотрели на Матвея удивленно. Он притянул ее к себе.

— Ой, что вы! — вдруг Надя словно очнулась.— Пустите меня. Что вы! — Надя оттолкнула Матвея и пошла по тропинке торопливо, молча до самого села.

Песцов шел за ней и против воли смотрел на ее ноги, облепленные мокрой юбкой. На краю села Песцова и Надю остановил Бутусов. Он стоял у калитки своего пятистенного дома, обнесенного высоченным забором, щурил зеленоватые глаза, приветливо улыбался. Белый, сетчатый тельник обнажал его волосатую грудь.

— Привет завтрашнему председателю! — Бутусов развел руками, словно хотел обнять Песцова.— Слыхал?

Стогов к нам собирается на твои выборы. Уж выберем тебя, никуда не уйдешь теперь.

— А я и не хочу уходить,— ответил Матвей в тон Бутусову.— Мне здесь нравится.

Из сеней вышла Мария Федоровна, жена Бутусова, директор семилетки. Внешне она мало походила на педагога: широкоплечая, дюжая, с крупным обветренным лицом, в какой-то белесой кофте с закатанными по локоть рукавами и в клеенчатом переднике,— она скорее смахивала на повариху.

— Уж нет, так вас не отпустим,— говорила она ласково, нараспев.— В гости не захо́дите — на дороге словим.

Со двора выбежала тощая легавая сука. Извиваясь всем телом, словно приветствуя Матвея, она подошла к нему и уткнула в колени коричневую, угловатую, точно вырезанную из полена, морду.

Песцову тоже захотелось сказать что-либо приятное хозяевам.

— Хорошая собака у вас, но больно худа.

Бутусов усмехнулся.

— Собака не поросенок, что ж ее кормить.

— Проходите в избу,— пригласила Мария Федоровна.— Что это вы все обходите нас?

— Да нет уж, не стоит,— возразил Песцов.— Мы, знаете, рожь вот осматривали.

— Оно и прогуляться не грешно,— подхватила Мария Федоровна.

— Конечно, дело молодое.— Бутусов внимательно осмотрел Надю, цветок нелюмбии в руках и растворил калитку.— Проходите хоть во двор.

Песцову подали ящик из-под улья. Бутусов сел на чурбак, Мария Федоровна — на маленькую скамеечку. Надя осталась стоять возле калитки и чувствовала себя крайне неловко под косыми многозначительными взглядами хозяев. От смущения она теребила глянцевитые лепестки лотоса.

— Значит, к нам, председателем,— говорила весело Мария Федоровна.— Это хорошо, и нам легче будет. Вы свой человек, школьные нужды знаете. А то мне приходится самой дрова заготавливать и рабочих держать.

— Это кого же? Треухова с Бочаговым? — спросил Песцов.

— Да, их. Это опора моя.

Песцов слышал, что директорша школы дружно живет с Торбой, и простодушно спросил об этом.

— Мы все здесь дружим,— уклончиво ответила Мария Федоровна.— Село — что семья большая.

— Вот и надо заготовкой дров заниматься всей семьей,— сказал Песцов.— Кстати, как вы оплачиваете Треухова с Бочаговым?

— По нарядам.

— А осенью и зимой что они делают?

— Охотятся, рыбу ловят.

— Кто же они? Колхозники или рабочие?

— А шут их знает! Да мало ли таких ходит здесь. Это дело не мое.

Мария Федоровна беспокойно задвигалась на скамейке и неожиданно предложила:

— Может, медку хотите?

— С градусами?

— Самая малость.

— Ну, тогда давайте.

Хозяйка ушла в избу.

— А я, знаете, давно к вам собирался,— признался Песцов Бутусову.— Потолковать хотел.

— Это можно,— с готовностью отозвался Бутусов, но в его умных зеленоватых глазах застыла настороженность.

— Как же это вы трактор отобрали у инвалида Лесина?

— Я не отбирал. Так правление решило.

— Почему?

— Потому что трактор простаивал.

— Да-а... Кажется, у вас среднее образование?

— Автодорожный техникум окончил.

— А почему же по специальности не работаете?

— Война помешала. Сразу по окончании техникума на фронт попал. За пять лет войны да службы все позабыл. Теперь хоть снова берись за книжки, да уж старость подходит. Проживу и так.

— А я для вас место подходящее подыскал...

Из избы вышла Мария Федоровна с кринкой в руках.

— Из подполья. Хороший медок! — говорила она, наливая мутновато-желтый медок в алюминиевый ковш. Ковш покрылся снаружи, словно бисером, мелкими капельками — запотел.

— Пейте на здоровье! — подала она ковш Наде.

Та отказалась. Песцов, не отрываясь, выпил терпкий медок.

— Хороша мальвазия, хозяйка! — шутливо воскликнул он и, подмигнув Бутусову, сказал: — Хватит на пасеках отсиживаться. Берите-ка строительство.

— Нет, я не смогу,— мрачно отрезал Бутусов.

— Что вы, какой он работник! — сказала хозяйка.— Он больше лечится...

— А что у вас?

— Желудком маюсь. Катар.

— Беда невелика. Вместе его изгонять будем. Значит, приготовьтесь к собранию. Буду предлагать.

В зеленоватых глазах Бутусова блеснул огонек раздражения. Он покосился на Надю и холодно произнес:

— Ну что ж, приготовлюсь.

Когда они отошли от Бутусова, Матвей спросил:

— Какого черта они стерегли нас? Зазывали... Зачем?

— Не знаю... не нравится мне эта встреча.

Бутусов стоял возле калитки и долгим взглядом провожал Песцова и Надю.

Они шли рядом, плечо в плечо. Их ноги погружались в мягкую глубокую дорожную пыль. Она поднималась золотистыми клубами и повисала в густом и вязком вечернем воздухе. Повсюду на холмах, на берегу протоки, тяжело опустив ветви, застыли настороженные ильмы, словно в ожидании чего-то важного и значительного. И даже вечно беспокойный маньчжурский орех замер в оцепенении, как слепой, растопырив свои чуткие длинные, точно пальцы, листья.

21

— Ну, видела? Она уже к рукам его прибрала,— сказал Бутусов жене, отойдя от калитки.— Это ж не человек, а ехидна. Тихой сапой действует. И удовольствие справляет и к власти добирается.

Бутусов понимал, что с приходом нового председателя налаженная спокойная жизнь, катившаяся, точно хорошо смазанная телега, без стука, без скрипа, могла свернуть на кочки и ухабы. Легко сказать — идти в строители! По утрам людей расставлять на работу. День-деньской топором махать... Спорить до хрипоты в правлении. А заработок? Какой, к черту, у них в колхозе заработок!

Нет, эта статья не для него. Он доволен своей судьбой: сидит возле меда. Как-никак — бригадир пчеловодов... И член правления!

Конечно, если председатель окажется толковым, он не станет рубить сплеча свою же опору — членов правления. Но в том-то и беда, что этот Песцов уже теперь сквозь Надькину кофту смотрит. А она давно бы всех порасшвыряла, дай ей только верх. Известно, Батманов выкормыш. Раньше с таким разговор другой был: скрытая контра — и точка! А теперь распустились...

«Надо к Семакову сходить,— решил Бутусов.— Тут первым делом линию выработать... Что ж это выходит? Просчитались мы! Хотели Волгина убрать, а Семакова поставить. Хоть и дурак, да свой... надежный. А вылезает Селина с дружком. Эти не чета Волгину. С ними запоешь не тем голосом. Да, метили мы в галку, а попали в ворону... Впору хоть переигрывать...»

Бутусов верил, что в райкоме выдвинут именно Семакова. Человек он политически подкованный. И прислан был когда-то райкомом, поди, не просто, а с прицелом. Но нашелся козырь повыше.

Да и сам Семаков надеялся наверняка на свой партийный авторитет, на стаж. Уж в чем ином, а в партийной работе Семаков не видел себе равных. До пятьдесят шестого года ходил капитан Семаков в инструкторах политотдела бригады. Мечтал до полковника дослужиться, до начальника политотдела... И вдруг все рухнуло — расформировали бригаду. И пришел капитан запаса Семаков в райком по месту службы, к Стогову: «Трудоустройте!» Куда? Образования нет, ни профессии, ни ремесла... «Возьмите в инструкторы».— «Всех не можем». Инструктором взяли Бобрикова, бывшего секретаря партбюро дивизии. А Семакову предложили парторгом в колхоз, да вот завхозом по совместительству. Поехал. Куда ж деваться? Правда, Семаков мечтал еще выбиться в председатели. Волгин долго не протянет, свалится. Он ждал этого дня, надеялся... Но и тут его обошли. Последние недели Семаков ходил глубоко обиженным, и разговор с Бутусовым пришелся как нельзя кстати.

Бутусов застал его на огороде, он мотыжил картошку.

— Отдохни, труженик! Чай, не на бога работаешь.

— Присаживайся.— Семаков бросил мотыгу в густую высокую траву и сел, приваливаясь спиной к плетню.

Закурили.

— Ты замечаешь, как агрономша спарилась с этим кандидатом в председатели?—спросил Бутусов с наигранной веселостью.

— Еще бы!—Семаков жадно затянулся дымом.— Вчера уже водила его к одному обиженному.

— Это к кому же?

— К Лесину. Наверно, всласть наговорились там. Пока молчат...

— Уже проговариваются. Заходили ко мне. Я вот о чем, Петро,—ходят они везде в обнимку. Нынче возвращаются с поля, а у нее спина-то мокрая. Стыдок!

Семаков едко усмехнулся.

— На любовной основе колхоз хотят строить... Ни стыда, ни совести! Что за люди?

— Это твое дело,—сказал Бутусов.—Ты парторг.

— Твое! Все должны смотреть за этим... Это наше, общее дело...

— Да, мы можем остаться на бобах,—Бутусов бросил окурок и вдавил его каблуком в землю.—Понимаешь, Петро, по-моему, такого председателя она может к рукам прибрать... А потом все здесь вверх дном поставит. Председатель нужен не ей, а нам—колхозу.

— С Кругловым поговорить надо. С другими членами правления. Как бы она его в свою земельную авантюру не вовлекла.

— Все может быть...

— Одного я не понимаю,—угрюмо сказал Семаков.— Неужто из нашего огромного села нельзя было кандидата в председатели подобрать?

— Сами-то мы не понимаем, что к чему,— сострадательно улыбнулся Бутусов.—Нам подавай варягов. А они плюют на нас. Блудом занимаются у всех на глазах. Видать, и за людей нас не считают.

— Ладно, я займусь этим.

— А я с народом поговорю. Пока!

Вечером Бутусов зашел к Треуховым и, посмеиваясь, рассказал, что видел Песцова с агрономшей.

— С поля возвращались... В обнимку. А у Надьки спина-то была мокрая.

— Да ну? Что ты говоришь?—подхватила Торба.— Эх ты, не побереглись, сердечные! Вот так приспичило!

И она хохотала, сотрясаясь всем телом.

А на следующий день в магазине Бутусов уже сам

слушал, как маленькая конопатая бабенка Чураева, работавшая на ферме телятницей, торопливо рассказывала сельским девчатам гульнувшую с его легкой руки забавную историю про любовь Нади с Песцовым.

— Пусть глаза мои лопнут, если вру! — поминутно восклицала она под прысканье и хохот девчат.

— И спина была у нее мокрая? — торопливо переспрашивали ее.

— И спина, и все как есть отпечаталось,— отвечала Чураева, помаргивая от удовольствия своими круглыми куриными глазками.— И следы на спине от травинок, все зелененькие да в елочку... Глаза лопнут, если вру!..

Надю с того дня стали встречать многозначительными улыбками, то притворными вздохами, то игривыми частушками да песенками. Особенно старались девчата. Но эти намеки были безобидными, произносились они в шутку и с легкой завистью. Однажды возле школьной ограды Надю остановили бабы. Они сидели на скамейке, грызли семечки. Среди них были Фетинья Бочагова и Торба. По красным пятнам на остром птичьем лице фельдшерицы Надя определила: пьяные.

— Что мимо проходишь? Присядь, потолкуем,— пропела Фетинья.

— Некогда, тороплюсь очень.

— Девка скорая,— сказала Торба,— быстро ты отыскала себе полюбовника. Хоть бы место посуше выбирала, а то вся любовь на твоей спине отпечаталась.

— Как вам не стыдно!

— А то рази! Твой грех — наш ответ,— и загоготала.

Слышал эти россказни краем уха и Песцов, да не придал им особого значения. Как-то под вечер, подходя к правлению, он остановился возле палисадника, чтобы прикурить. За оградой на скамейке сидел звеньевой — тракторист Михаил Еськов в серой, пропитанной пылью длинной рубахе навыпуск. Его окружило человек пять парней. Еськов увлеченно рассказывал, потряхивая головой; его пропыленные, отдающие солнечной подпалиной волосы дыбились, как прошлогодняя трава.

— И сказала она ему: «Вот что, мальчик, на язык ты крепок. А как на ноги?» А что язык? Язык, скажу тебе, в любовном деле — последняя деталь. Ты силу покажи.

— Ну, а Песцов что? — спрашивали Еськова.

— Мужик не промах... Взял ее на руки...

Тут кто-то заметил Песцова, рассказчика толкнули, и тот закашлялся.

— Дочь у меня родилась... Вот и выходит, что старался я, братцы, даром,— продолжал как ни в чем не бывало Еськов.— Когда я узнал, у меня аж руки опустились; а сын мне и говорит: «Не горюй, папка, мы на нее все равно штаны наденем и Володькой назовем».

Все захохотали, довольные этой бесхитростной мужской выдумкой, и кто-то ворчливо заметил:

— А что же вы хотели: баба — она и родит бабу,— причем сказал он это с непостижимой уверенностью, будто не знал ничего о собственном происхождении.

«Ну и артисты!» — подумал Песцов, отходя от палисадника.

— Где косишь завтра?

— Возле поля Егора Иваныча,— ответил Еськов.

— А свое поле обработал? — спрашивал тот же голос.

— На своем полный порядок.

Песцов уже побывал на закрепленных полях вместе с Волгиным. Отличные поля! Но звеньевые, как на грех, все были на сенокосе. Песцов ждал, когда схлынет сенокосная горячка. Тогда взять Надю и вместе нагрянуть к одному из них на поле... и докопаться до самых корешков.

Сидя в правлении, Матвей сквозь раскрытые окна наблюдал, как вечереет, как отходит, готовится ко сну село,— славная это пора!

Вечер приходит в Переваловское из-за речных плесов, по мягким округлым купам береговых талов, по отбушевавшему за день и теперь никлому разнотравью. Лишь только солнце нырнет за горбатый заслон переваловской сопки, как посвежеет, потянет прохладой от таежных проток, и на дальних кустистых увалах появляется густая вечерняя просинь, подбеленная сединой невыпавшей росы. Тут и там на разных концах села протарахтят запоздалые тракторы. По широкой травянистой ложбине сельского выгона пробежит легкой рысцой конский табун, подгоняемый частыми похлопываниями кнута Лубникова да пронзительными голосами подпрыгивающих в седлах мальчишек. И вот наконец плетется ленивое стадо коров; их зазывают в растворенные околицы, загоняют во дворы... А там уж разводят дымокуры, чтоб отогнать от скотины злые, ошалелые от крови комариные стаи. И вот потянутся со дворов в темнеющее

небо высокие белесые столбы от кизячных дымокуров, примешивая к ночной свежести тревожный запах гари.

В этот вечер Надя пришла раньше обычного и не в белой кофточке, а в клетчатой рубашке и в спортивных шароварах. Возле ограды она оставила свой велосипед.

— А я с поля... У Егора Ивановича была.

Надя кивнула головой, не подавая руки, прошла мимо Песцова, села к окну и стала смотреть в него. Песцов с недоумением постоял посреди комнаты, с минуту молчал: «Что это на нее наехало?»

— Возвратился Егор Иванович с сенокоса? — спросил наконец Песцов.

— Да, в поле работает.

— А я давно ждал его. Давайте сходим к нему, побеседуем. Это очень важно.

— Нет, я не могу, занята.— Надя вдруг засмущалась и стала прощаться.

— Подождите, я провожу вас.

Матвей захлопнул раскрытую папку и бросил ее в стол.

— Нет, спасибо. Мне надо по делу зайти... Тут недалеко. И потом, я на велосипеде. До свидания!

Она быстро пошла вдоль ограды, не оглядываясь. Там виднелся ее велосипед с зеркалом на руле. Матвей вдруг вспомнил: «Сенькин любовный подарочек». И подумал невесело: «Стесняется все еще, как девочка».

22

Недолго отдыхает село в короткие летние ночи. Сначала в том краю, откуда бегут прохладные, отдающие таежной хвоей воды Бурлита, вспыхнет брусничная полоска зари и начнет растекаться по горизонту, будто не в силах поднять ночное тяжелое небо. Но вот постепенно блекнет, словно истаивает, густота небесной сини, и уже мягкая нежная прозелень потихоньку ползет все выше и выше и растворяет в себе блестящие кристаллы звезд. А на это просветленное небо вдруг разом хлынет рассветное пламя, и покроются тихие таежные протоки отблеском зари цвета надраенной меди. А там начнут перекликаться деревенские петухи с летящими спозаранку чибисами, и наконец расколют утробным грохотом утреннюю тишину отстоявшиеся за ночь тракторы.

Песцов проснулся рано; в рассветном полумраке оделся, накрыл постель и тихонько вышел из избы, стараясь как можно осторожнее ступать на скрипучие половицы. На улице было свежо. Песцова охватило ознобом, и он долго бежал через весь выгон. Поле Егора Ивановича лежало за лугами, километрах в семи от села, и Песцов, чтобы не прийти туда слишком рано, завернул на ближние станы. Бывал он там уж не в первый раз, и молодые доярки встретили его шутками, как старого знакомого.

— Что-то к нам Матвей Ильич зачастил?

— Может, он в молочные инспекторы хочет пойти?

— А что ж к нам не идти? Выбор у нас богатый.

— Он уже выбрал...

— Кого же?

— Во поле березоньку.

Песцов не умел отшучиваться. Он смущался от этих прозрачных намеков и сердился на себя: «Черт возьми! Дяде под сорок, а он отбрехиваться не научился».

Потом Песцова поили парным молоком. Девчата в белых халатах, в белых косыночках окружили его, и он чувствовал себя среди них как больной в кольце докторов.

— Покажите, как пройти на поле Егора Ивановича.

— Вон через тот ложок ступайте. Потом протока будет — обогните ее справа. А там по лугам. А вы бы взяли кого-нибудь из нас в провожатые. Говорят, вы на пару уверенней ходите по полям.

— Спасибо. В вожаках не нуждаюсь,— сердито ответил Песцов.

— Смотрите не заблудитесь!

— А то агронома на розыски пошлем,— кричали ему вслед доярки и смеялись.

Песцов и в самом деле заблудился. Он перешел ложок, обогнул протоку, долго ходил по лугам, и снова попадались ему и протоки, и ложки, и болота. А поля так и не видно было. Наконец он услышал за кустарником грохот трактора. Он единым духом проскочил малорослый лесок и вышел прямо к зарослям высокой, шелестящей на ветру кукурузы.

— Ах, черти! Ах, дьяволы! Ведь могут... Все умеют,— бессвязно вслух произносил он, идя по дороге, и трогал, оглаживал рукой кукурузные листья, словно волосы малого ребенка.

Под высоким тальниковым кустом на обочине дороги

сидел Степан в выгоревшей добела майке. Перед ним лежали на брезенте культиваторные лапки, окучники, тракторные запчасти, резиновые камеры.

Поздоровались.

— Наша семейная мэтээс,— усмехнулся Степан, указывая на все это добро.

С увала прямо на них шел «Беларусь». За рулем, часто подпрыгивая, потряхивая головой, сидел Егор Иванович. Поравнявшись с кустом, он заглушил мотор и, кинув обычное приветствие в сторону Песцова, спросил Степана:

— Ну как, подобрал культиваторные лапки?

— Подобрал.

— Ну и добре.

Егор Иванович слез с трактора. На нем была такая же выгоревшая добела майка, рубаху он скрутил жгутом и повязал через плечо.

— Вот оно дело какое: хватились было окучивать, да земля не пускает. У нее свои законы,— заговорил он с Песцовым.

— А у вас?

— Наше дело — приноравливаться. Неволить землю нельзя.

Песцов смотрел на его небольшую сутуловатую фигуру, припорошенную золотистой пыльцой, на пыльные сапоги, на выгоревшие, землистого цвета волосы, и казалось ему, что Егор Иванович сам вышел из этой горячей земли и, как вещун, знает все ее повадки.

— Земля — дело живое,— говорил Егор Иванович, присаживаясь.— Вот она, видишь, травка выросла,— указал он на высокий мятлик.— А на другой год здесь все по-другому вырастет, и метелки будут не те. А наше дело — чувствовать, как оно растет, и способствовать этому.

Он скрутил толстую цигарку и долго курил ее до самого основания, прикапчивая пальцы, курил, как человек, знающий цену табаку.

С пригорка, от куста, далеко, куда хватает глаз, видны картофельные грядки, в которые глубоко врезается клин шелестящей на ветру кукурузы.

— Это все ваше? — спросил Песцов.

— И тут наше, и там, за увалами, тоже наше. А скажите мне, у американского фермера, такого, что в средних ходит, больше земли?

— Меньше.— Песцов улыбнулся.

— Вот так и запиши, что фермер Никитин рабочих не держит, все делает своими руками.

— Правда, племянница помогает... спасибо ей,— добавил он после паузы, испытующе глядя на Песцова.

— А кто она?

— Надя... агрономша.

— Она ваша племянница?! — удивился Песцов.

— Да.

— Вот оно что! Тогда все ясно.

— Что ж это у вас прояснилось, если не секрет, извиняюсь? — Егор Иванович прищуркой смотрел на Песцова.

— Это я так, свое.

— Ну да, свое — не чужое.

Песцов отвел глаза и стал оглядывать поле.

— Ну как, хороша? — спросил тем же тоном Егор Иванович.

— Кто? — отозвался Песцов.

— Про кукурузу спрашиваю,— улыбнулся Егор Иванович.

— Ах, кукуруза!

— Да, да, кукуруза.

— Очень хороша! Очень...

— Ну то-то! — удовлетворенно крякнул Егор Иванович.

Степан, заметив, что батька собирается основательно поговорить, сел за руль. Через минуту его трактор, поднимая легкое пыльное облачко, поплыл по картофельному морю, туда, где виднелись две фигурки пропольщиц.

— Это моя хозяйка с невесткой. Она у нас продавец, по вечерам в магазине, днем — в поле. Стараемся. Работаем, как на огороде...

— Ну, там в основном мотыгой стараются,— усмехнулся Песцов.

— Мотыгой, известно... Ноне, спасибо Надьке, хоть трактором вспахали, а то ведь лопатами вскапывали...

— Неужели нельзя избавиться от этой огородной каторги?

— Если по-хорошему взяться за землю, никакой нужды в огородах не будет. Ведь раньше, до колхозов, у нас сады были, а картошка — в поле. Бывало, и яблоки, и сливы, и вышенье... За садом отведешь грядок десять под

капусту да огурцы, и хватит... Теперь все картошка заняла. Съела сады... И село облысело, смотреть тошно. Срамота.

— Так что же нам мешает? В чем собака зарыта?

— А я тебе скажу... Все дело в подходе к земле. Вон давеча Степка стал окучивать. Смотрю, ведет окучники, и где картошку заваливает, а где и совсем подрезает ее. Стой, говорю! Жесткая земля! Подсохла... Да в каком же наряде такое предвидеть можно. Хорошо, как это моего звена картошка. А если бы она ничейной была, просто колхозной? Послали Степку, он и попер бы. Ну, подваливает чуток картошку — подумаешь! Не такое бывает. Ноне здесь Степка царапал, завтра Сидора пришлют, потом Ивана... не уродится — кто виноват? И концов не найдешь. Главное — к сроку окучили, план, значит, выполнили... Отчитались. А коль отчитались, у тебя и все козыри на руках. Так-то, дорогой товарищ. Как вас по батюшке, извиняюсь?

— Матвей Ильич.

— Вот тебе, Матвей Ильич, и сады-огороды. Надо сперва наладить порядок на большой земле, а потом уж за малую браться. Тут, как говорится, не до поросят, когда свинью палить тащат. А то ведь у нас как думают иные начальники: прикажи эту самую чудесницу посеять или удобрения завезти — и в момент изобилие настанет. Ну, ты положи удобрение, а вон Степка вовремя корку не собьет... и все дело погубит. Ему-то что? Он за культивацию получит, что причитается.

— Но ведь есть же люди, которые следят за качеством, контролируют...

— Следят, контролируют... Да нешто на земле за всем усмотришь? Она велика, матушка. Вы сколько у нас живете? Недели две?

— Да.

— А все ли поля обошли?

— Еще не успел.

— То-то и оно. А ведь их не просто надо обойтить. Каждый клин свою личность имеет. Тут единой меркой не обойдешься: один участок требует одну культивацию, другой — две, а то и три. Не в контроле дело. Я-то ведь знаю — земля не девка уличная, переспал с ней ночку, бросил и пошел дальше. Ее любить надо да обхаживать, тогда и она тебе откроется. А мы все норовим пройтиться по ней скопом, как в строю, да сорвать поболе...

— Да, Егор Иванович, да! — Песцов глядел в землю широко открытыми глазами, подперев пальцами левой руки подбородок.

— Вы какой-то чудной,— усмехнулся Егор Иванович.

— Почему?

— Да как вам сказать... Не встречал я еще, чтоб начальник мужика слушал. Все учить тебя норовят.

— В том-то и беда.

Помолчали.

Егор Иванович снова достал кисет, свернул цигарку толщиной в добрый палец и затянулся, собираясь с мыслями.

— Теперь бы вот с планами еще дело наладить, и тогда жить можно.

Но Егор Иванович не успел досказать. По еле заметной травянистой дороге к его полю подкатила двуколка. В ней сидели Волгин и Круглов. Отпустив чересседельник и разнуздав лошадь, Волгин пустил ее прямо в картошку.

— А мы по твою кукурузу приехали,— говорил он, подходя к Егору Ивановичу.

— Кукуруза у тебя отменная,— весело сказал Круглов, почтительно поздоровавшись с Песцовым; он бил тальниковым прутом по блестящим голяшкам своих щеголеватых хромовых сапог.— И подумать только: на буграх такая выросла. В жисть не поверил бы.

— Мы хотим этот участок скосить на подкормку.— Волгин указал на кукурузный клин.

— Э, нет! Так не пойдет.— Егор Иванович покачал головой и весело поглядел на Песцова.

— То есть как — не пойдет? Ты что, запрещаешь? — спросил Волгин.

— Может, и запрещаю. Как хотите, так и называйте. Только за этот участок перед колхозом отвечаю я.

— А мы что, в бирюльки играем? — Волгин посмотрел на Круглова и Песцова, как бы ища поддержки.

— А я не знаю,— Егор Иванович оставался невозмутимым.— Мы же давали обязательство снять отсюда триста центнеров с гектара. Эдак вы и обязательство срежете на подкормку. И заработок наш туда же.

Круглов засмеялся.

— Ты, наверно, решил, что это поле не колхозное, а твое.

— И мое и колхозное.

— Ну как же мне быть? — спросил, усмехаясь, Волгин. — Может, у соседей занять кукурузу на подкормку?

— Срезайте ту, что в пойме. Ее ведь все равно зальет в августе.

— Так чего там срезать! — сказал Круглов. — Там не кукуруза — чеснок. Вот, с палец.

— Ну так раньше думать надо было, где на подкормку сеять, где на силос... У меня тут на зерно может выйти, а вы — на подкормку...

— Так кто хозяин? — запальчиво спросил Круглов.

— Здесь — я, — спокойно ответил Егор Иванович. — А ты ступай на овечью ферму и распоряжайся там.

— Я член правления!

— А мне наплевать. Ишь командиры приехали. Вон лошадь-то пустили в картошку, как в чужую...

— Ну что она там съест?! — примирительно сказал Волгин. — Ты вот что, дело-то ведь безвыходное. Ну, проморгали с весны, не засеяли на подкормку. А теперь, кроме вашей кукурузы, ничего нет.

— Посреди лета так уж ничего и нет? — сказал Егор Иванович. — Вон луга... В тайге травы пропасть, а это ж чистое золото. Зачем же его коровам под ноги бросать?

— Егор, не самовольничай! — повысил голос Волгин.

— Нет, это вы самовольничаете! — вспыхнул и Егор Иванович. — У нас колхоз, слава богу, не забывайте! Вот и решим на общем собрании. Собирайте! Я готов.

— Видал? — обратился Круглов к Песцову. — Натурально, частный сектор развели. Он тебя и допускать к полю не хочет. Жмет свою выгоду. А на колхозные дела ему наплевать.

— А по-моему, не наплевать, — сказал Песцов. — В том все и дело.

— Да? — Круглов от неожиданности открыл рот. — Не знаю, не знаю, — торопливо пробормотал он и, взяв под локоть Волгина, сказал: — Поехали!

— Ладно, разберемся, — сердито сказал Волгин и спросил Песцова: — Хочешь с нами?

— Пешком пойду.

Через минуту их тележка бесшумно покатилась по узкой травянистой дорожке.

— С богом! — крикнул Егор Иванович и, прищуриваясь, лукаво посмотрел на Песцова. — Ну, как порядок?

— Правильный порядок!

23

Впервые за эти недели, входя в правление, Песцов чувствовал себя хозяином. Увидев Надю и не обращая внимания на присутствие Семакова и Фильки однорукого, он направился к ее столу:

— Надя, я только что был на полях Никитина. Интересно! Нам надо посидеть вместе... Обдумать.

Семаков и Филька многозначительно переглянулись. Надя, вспыхнув, встала из-за стола:

— Матвей Ильич! Стогов недавно звонил. Просил передать, что приедет на ваши выборы. На той неделе.

— Спасибо.

— Ну ладно. Я пошла.

Матвей догнал ее на дворе.

— Подождите!

Надя остановилась, он взял ее за руку.

— Я говорил сегодня с Егором Ивановичем.

— Я уже знаю.

— Но, поймите, мало знать! Надо еще и действовать.

— Что вы имеете в виду?

— Во-первых, сегодня же надо собрать правление, посоветоваться... А нам с вами не худо было бы набросать план. К перевыборам подготовиться, подумать насчет закрепления земли.

— К сожалению, мне сейчас некогда.

— Надя, я вас не узнаю сегодня.

— А вы будьте внимательней... И поменьше восторгайтесь.

— Спасибо за совет.

Надя как-то криво усмехнулась:

— До вечера.

Но вечером в правление Надя не пришла.

«В чем дело? — терялся в догадках Песцов.— Ведь она знает, что доклад буду делать... Всю программу выложу. Предупредил же... И потом, важно мнение ее для членов правления — агроном! Впрочем, они, кажется, мало с ней считаются».

Собрались в просторном бревенчатом пристрое, именуемом кабинетом председателя. Волгин и Песцов сели у стола. Тут же на диване, похожем на обтянутую половиком скамью, расположились Бутусов и Семаков, на стуле «посередь избы», закинув ногу на ногу в хромовых сапожках, уселся Круглов. В углу на табуретках пристро-

ились Марфа Волгина, Лубников и Петр Бутусов, брат Ивана, такой же скуластый и широкогубый, только чуть помоложе.

Ждали Надю. Наконец вошел рассыльный Митька, желтоголовый, как подсолнух, паренек в распоясанной рубахе, босой, и сказал:

— Агрономши дома нет. Замок на дверях.

— Начнем, пожалуй,— предложил Волгин.— Видать, занята.

Песцов невольно поглядел на дверь, за которой скрылся мальчик.

— Ну что ж, начнем. Хотелось бы посоветоваться. Одно переизбрание председателя колхоза еще ничего не даст. Вам нужно наметить, выработать целую программу, чтобы сдвинуть с места воз... Засел колхоз, как телега в трясине. Плохо живут колхозники. И скажем откровенно — живут за счет огородов. Обрабатывают их вручную мотыгой да лопатой. Подумать только — мотыга кормит колхозника! А виноваты мы сами — не платим за работу. Вот и давайте думать, искать — как нам обеспечить колхозника? Обеспечим хлебом, деньгами — и огороды не нужны будут! Сады рассадим.

Песцов говорил, все более оживляясь, чувствуя, как настороженно притихли Круглов и Семаков, как, повернувшись всем корпусом, следил за ним Волгин. Он встал из-за стола, кинул карандаш на свои записки, отмахнул левой рукой со лба густые волосы и смотрел попеременно то на того, то на другого, словно с каждым вел задушевную беседу с глазу на глаз.

— Корень зла в том, что вы лишены самостоятельности... Все! Начиная от председателя колхоза и кончая последней дояркой. Скажите, выгодно вам сеять кукурузу в пойме? Нет. Рожь озимую? Нет! Пустых коров держать? Нет! Луга распахивать? Нет! Свиней кормить? Нет! Нет, нет и нет... Почему же вы все это делаете? Потому что вам предписывают, заставляют,— Песцов поднял руку.— Я понимаю, у вас больше права кинуть мне в лицо обвинение за все это. Но я затем и пришел к вам, чтобы принять не только обвинения, но взять на себя всю ответственность за искоренение подобной практики. Если меня изберут председателем, я не буду делать того, что в ущерб хозяйству. Я не стану лезть с кукурузой в пойму, а распаханные луга залужим или будем засевать ячменем и овсом, которые успеют созреть до августовского наводне-

ния. Мы откажемся от озимой ржи, которая вымерзает, откажемся от свиней,— они в копеечку влетают колхозу, самим богом, как говорится, дано здесь разводить коров да овец. Такие луга, такие пастбища на отгонах... А вы свиней разводите, которых кормить нечем. Но главное, товарищи, надо ввести ежемесячную зарплату колхозникам.

— С деньгами не выкрутишься,— сказал Волгин.— Работа сезонная, кредитов не дают. А торговлю обрезали.

— Знаю. И тут у нас скверная практика Госбанка. Кредит даем кому угодно, только не своим колхозам. Знаю!.. Мы пойдем на самые решительные меры. Нам нужен денежный запас во что бы то ни стало. Иначе колхоз будет чахнуть. Но это не все; есть еще одна не менее важная сторона дела, которая зависит не только от меня, но и от вас. Так же как председателя колхоза, вас в какой-то мере лишили самостоятельности управления, а вы в свою очередь не даете колхозникам проявить себя. Вы их задергали, ставите каждый день на работу, как поденщиков, командуете. Земля обезличена! И человек на земле тоже обезличен. Какой же это колхоз? Хозяйство коллектива!.. Вдумайтесь в эти слова. Хозяйство... да еще коллективное! Значит, общение хозяев должно быть, то есть людей самостоятельных в работе, облеченных правом и ответственностью. А у нас что? Кроме командира, никто ни за что не отвечает. Почему у Егора Ивановича, у Еськова такие хорошие поля? Да потому, что они стали сами себе командирами, хозяевами. Вот и давайте закрепим все поля, а там гурты, отары, табуны... А вам, дорогие товарищи, придется оставлять свои командные должности и делом заниматься. Подбирайте себе работу по силам.

Песцов понимал, что это был открытый вызов, он ждал бури... Или хотя бы спора. А может быть, поддержат? Но ни поддержки, ни спора не получилось. После его выступления молчали долго, курили, шаркали сапогами...

— У нас еще один вопрос,— сказал наконец Волгин.

— Какой? — спросил Песцов.

— Да хотели же Треухова с Бочаговым вызвать. Побеседовать.

— Ну так зовите,— с досадой произнес Песцов.

Круглов встал и крикнул, высунувшись в окно:

— Митька!

Заскрипела дверь, и на пороге появился рассыльный.

— Сбегай к Бочаговым и Треуховым. Хозяев позови.

— Это к Торбе, что ли?

— Да.

— Сичас!

Митька, шмыгнув носом, вышел на порог: бежать он и не собирался. Так, между прочим, разогнал камешками кур, и они, кудахтая, разлетелись по улице. Потом ожег прутом поросенка, и тот долго визжал как резаный...

— Ну, что там творится? — поморщился Песцов.

— Эй, фараон! — кричал на Митьку Лубников, высунувшись в окно. — Ты пойдешь ай нет? А то я у тебя повыдергаю шагалки-то...

— В районе не разрешат нам продажу коров, — сказал Семаков.

— Это я беру на себя, — Песцов поднял ладонь.

— А вы и нас не сбрасывайте со счета, — возразил Бутусов угрюмо. — Мы тоже знаем, что можно продавать, а что нельзя.

Лубников вдруг привстал и, вытянув шею, смотрел в окно.

— Что там такое еще? — строго спросил Волгин.

— На чьем телке он скачет?.. Вот химик!..

Все потянулись к окнам. Митька, лежа животом на холке телка, скакал по улице; телок, подняв хвост трубой, летел сломя голову прямо к дому Торбы. Она жила наискосок от правления.

— Ей-богу, на Торбиной телушке гарцует, — радостно комментировал Лубников. — Сичас она его встретит... си-час.

В самом деле, из ворот вышла Торба с веревкой в руках.

— Что ты вытворяешь, родимец тебя побери! — крикнула она на всю улицу.

Митька с перепугу свалился с телка и, встав, ошалело смотрел на гневную могучую хозяйку, грозно приближавшуюся к нему.

— Си-и-час екзекуция начнется.

— Хватит тебе балабонить-то, балабон! — нарочито строго сказал Волгин, и все расселись по местам. — Ну, кто будет говорить? — спросил Волгин. — Чего же молчите? Вон кукурузу в пойме затапливает.

— Так район планирует... Лучшие земли.

— Когда затопляет, а когда и нет.

— Зачем же рисковать? Лучше овес посеять там или ячмень. До наводнения убрать можно,— сказал Песцов.

— Овес вместо кукурузы? — Семаков с Бутусовым переглянулись.

— А насчет ржи? Вы-то сами что думаете? — горячился Песцов.

— Она же в плане!

— Где вымерзает, а где и нет.

— Рожь — она и есть рожь. У всех она такая...

— Мы ее не по охоте сеем.

— Ясно, ясно! — уже начал раздражаться Песцов.— Не вы виноваты. А что думаете о закреплении земли? Ведь колоссальные возможности!

— Значит, землю разделим по мужикам? Зачем тогда правление? — спросил Бутусов.— Может, распустить его? А заодно и колхоз...

— В правлении будут те, кто на полях работает, а не на своих огородах,— ответил Песцов.

— При чем тут огороды? — сказал Семаков.

— К слову... Если люди хорошо заживут, сами от огородов откажутся. На месте огородов сады рассадим. А картошки в поле хватит. Овощи на бахчах вырастим. А землю закрепить надо!

Семаков и Бутусов опять многозначительно переглянулись.

— Автономия, значит? — заметил Круглов.— Как же руководить такими мужиками?

— Сложно! Тогда не заставишь хорошую кукурузу срезать на подкормку.

— М-да,— сказал Волгин.

— Да,— отозвался Круглов.

И воцарилось тяжелое молчание.

— Ну так что, товарищи? Давайте обсудим,— сказал Песцов.

— Вроде все ясно,— ответил Бутусов, глядя в окно.

Заскрипела дверь, на пороге появился Митька и доложил:

— Привел Треухова с Бочаговым. На завалинке сидят.

— Я сейчас позову их.— Круглов встал со скамьи и вышел.

— Вы уж давайте сами с ними побеседуйте,— сказал Волгин Песцову.— А то я в этом деле не мастак.

— Тут мастерства никакого не требуется.

— Ну, не скажите!

Вошел Круглов, за ним в дверях, заслоняя собой проем, остановился массивный Треухов.

— Понимаешь, сколько с ними ни говори, все без толку. Натурально, избалованный, никудышный народ, скажу вам. Вот поговорите с ними, поговорите, сами узнаете, что здесь за работа.

— Ну, завел шарманку,— буркнул Волгин.

Круглов говорил быстро, запинаясь, и вся его торопливая речь так не вязалась с выразительным красивым лицом, крупными седеющими кудрями. Наконец он посторонился. Вошли Треухов и Бочагов; первый, муж Торбы, высокий и угрюмый, второй — юркий, маленький, извинительно улыбающийся. Они сели на скамью, не снимая фуражек.

— Как живете, товарищи? — спросил Песцов.

— Живем — хлеб жуем, манны не ждем,— скороговоркой ответил Бочагов.

— Не жалуемся,— солидно пробасил Треухов.

— Вижу,— сказал Песцов, глядя на болотные яловые сапоги Треухова.— Вот мы вас и позвали сюда затем, чтобы вы не жаловались потом. В этом сезоне заготовку дров для школы колхоз берет на себя. Как дальше думаете жить?

Бочагов снял фуражку и начал ее рассматривать. Треухов оставался неподвижным.

— Ну?

— Как жили, так и будем жить,— ответил наконец Треухов.

— То есть работы поищем,— сказал Бочагов, теребя фуражку.

— А чего ж ее искать? Она сама вас найдет. Выходите с завтрашнего дня на работу в колхоз.

— Нет, не желаем.

— Почему?

— А ты заплати за работу.

— Будем платить.

— Поживем — увидим.

— Ну, как знаете. Усадьба у вас есть, скота много. Можем и попросить с колхозной земли.

— А ты нас не пугай,— сказал Треухов.— Да кто ты есть, чтоб нам такое задание давать?

— Он будущий председатель,— ответил Волгин.

— Ну, мы его пока еще не выбирали.

— Может быть, вас и на выборы не пригласят,— сказал Песцов, задетый за живое наглым тоном Треухова.

— У нас его никто не знает, может, окромя одной Надьки-агрономши,— усмехнулся Треухов.

— Что это значит?

— А тебе лучше знать. Не я же с ней в обнимку по полям хожу.

— Что он говорит? — Песцов вскочил, багровея.

Треухов тоже встал.

— А что народ говорит. Ты думаешь, мы слепые? Нет, мы все видим. Послушай, может, полезно будет.

Он пошел неторопливо, грохая сапогами, за ним бесшумной тенью скользнул Бочагов. А Песцов все стоял неподвижно и вопросительно смотрел на правленцев.

Первым нарушил молчание Волгин. Скромно кашлянув в кулак, он сказал смущенно:

— Может, лампу зажечь? Сумеречно.

— Пожалуй, не надо. Чего делать-то? — отозвался Семаков.

— Да и так уж насиделись.

— По домам пора.

— Тогда пошли домой,— предложил Волгин все еще стоявшему Песцову.

— Нет. Прогуляюсь.

— Ну, как знаешь.

Матвей вышел из правления и побрел за село по тропинке сквозь заросли лещины и жимолости, от которых его обдавало каким-то грустноватым горьким запахом.

Но после ухода Песцова разговор в правлении завязался бурный.

— Ну, слыхали о великих преобразованиях? — спросил саркастически Бутусов.— Х-ха! Земельная реформа...

— А нас готов завтра же выбросить,— сказал Семаков.

— Это что такое? Что такое?! — ходил и всплескивал поминутно руками Круглов.— Разделить землю, закрепить за звеньями! Частный сектор плодить... Натурально.

— Я говорил вам,— осуждающе выкидывал руку Семаков в сторону Волгина,— что с закреплением земли хватим горя. Это все ее выдумки! Ты посади всех этих Еськовых и Никитиных на землю, так они на всех плевать станут. Они и на поле нас не пустят. Видел, как сегодня Никитин тебя отблагодарил.

— Я что ж, ведь я не по своей охоте,— оправдывался

Волгин.— Она настояла, и колхозники поддержали ее. Вот и закрепили землю.

— Он ходит, как уполномоченный: то ему подай, другое... Требуют! — сказал Бутусов.

— Так ить у него урожай больно хорош,— вступился Лубников.— А землю закрепят,— может, у всех такой будет?

— Послушай, умная голова! — взял его за плечо Бутусов.— Осень пройдет, Никитин одной картошки наворочает горы. А ты что дашь? Хвост да гриву от кобылы? Что люди скажут? Никитин колхоз кормит, а ты языком мелешь, но в правлении сидит не он, а ты...

— Так ить я сказал это для порядку...

— Порядок? А порядок будет такой: вот тебе, Лубников, скажут, сто гектаров земли и вот тебе трактор. Паши, сей... Покажи, на что ты способен? — Бутусов махнул рукой.— Да тебе и земли-то никто не доверит. А ты — член правления... Понимаешь ты, голова?

— Понимаю...

— Как твое здоровье? — спросил Семаков Волгина.

— Да вроде отпустило. Не жалуюсь.

— Вот и хорошо,— сказал Семаков и многозначительно переглянулся с Бутусовым.— А если, к примеру, тебя переизберут? Останешься?

— Что ж я, хуже иных людей, что ли? — Волгин вскинул голову.— Чай, не один год колхоз кормил.

В село возвратился Песцов уже затемно. То чувство смятения, с каким он ушел, нисколько не рассеялось. Там, в груди, где-то ниже горла, сдавило все — не продохнуть, словно задвижка какая-то закрылась. Ему было тоскливо и тревожно, и что-то толкало его туда, к ней. Он шел и думал, что туда совсем не нужно идти, да еще теперь. И он понял, почему она не пришла. «Хорошо сделала... Как бы совестно было, если бы она слышала Треухова».

Проходя мимо школы, Матвей заметил возле скамеек под акациями стайку девчат. Окруженный ими, невидимый гармонист заливисто рванул частушки, и тут же звонкий голос подхватил:

Приходи ко мне, залетка,
Не скитайся одинок.
Ночи нужен ясный месяц,
А голубке голубок.

Затем раздался дружный смех. Матвей понял, что это был намек по его адресу. «Ну и шут с ними. От этого все равно не уйдешь»,— решил он, и ему стало как-то проще, обыкновеннее, словно девичья выходка приобщила его к этому шумному, беззаботному кружку. Да что, в самом деле! Не на свидание же идет он, а поговорить с ней по делам.

В Надиной половине избы горела лампа, свет из окон вырывался широкими пучками и, попадая в густые топкие ветви акации, глох в них, словно запутывался. Песцов осторожно стукнул в наличник и увидел, как тревожно метнулась Надина тень к двери. Потом загремела щеколда, раскрылась дверь и в черном проеме показалось Надино лицо. Выражение его было испуганным и удивленным.

— Проходите, Матвей Ильич...— пригласила она наконец.

Песцов поздоровался, прошел в избу. Здесь было очень просторно, чисто и как-то пусто. В углу стояла узенькая железная койка, покрытая пестрым покрывалом, небольшой столик прижался к стене, возле него две табуретки да еще невысокая жиденькая этажерка, на которой лежала темная горка книжек, прикрытая белой салфеточкой. На стенах голо, только над столом висел полотняный конвертик, из которого выглядывали фотокарточки.

Надя держалась застенчиво, села на уголок табуретки, подальше от стола. Матвею было тоже как-то неловко, и он пожалел, что пришел.

— А мы сегодня в правлении собирались,— сказал Песцов.

— А я в поле задержалась... до вечера,— быстро, словно оправдываясь, сказала Надя и покраснела.

— Не получилось у нас разговора.

— Почему?

— Шут их знает... Не пойму я их. Что здесь за народ! С ними по душам хочешь. Мыслями делишься... А они бормочут как деревянные.

— Вы только с членами правления говорили. При чем же тут народ?

— Ну, так они же представляют народ.

— Вот именно, представляют. Не больно они утруждают себя.

— Так зачем же их держать?

— Сами они себя держат.

— А народ?

— Что ж народ! Народ у нас доверчивый. Как-никак правление лицо колхоза,— значит, поддерживают. До поры до времени, конечно.

— Как же они держатся?

— Друг за друга... Крепко держатся. И все проходит сквозь них, как через сито: и сверху и снизу. А что не нужно им — не пропускают.

— Так надо менять их!

— Менять нужно заведенный порядок. Ведь у нас половина мужиков ходят в руководителях, учетчиках да охранниках.

— Да, это все толкачи...

— Их ведь развелось что воробьев... И шумят они громче всех. И хлеб им дармовой... Они и держатся кучно, друг за дружку.

— Черт возьми, и все это идет на холостые обороты.

— А если закрепить землю, да еще скот... Придется им работать. Они чуют это. Вот и зашумели.

Песцов подошел к Наде.

— Надя, Надюша! Вы просто умница... Вы необыкновенная умница...

Она стояла перед ним, потупившись, и твердила каким-то чужим голосом:

— Не надо... Не надо, Матвей Ильич.

— Но почему? Я не могу без тебя...

— За нами же следят.

— Ну и черт с ними! Хочешь, я останусь у тебя?

— Это может плохо кончиться.

— Надя, но я люблю тебя! — Он обнял ее и стал целовать.

— О боже! — и она сама, жадно целуя его, глядя на него с испугом и тревогой, шептала: — Мы сумасшедшие... сумасшедшие.

— Милая, славная моя!

— Уходи... Не мучай меня.

— Хорошо... Я уйду.

Они вышли в сени. Надя долго в темноте не могла нащупать щеколду. Они стояли рядом, и Матвей слышал, как она часто и тяжело дышит. Он поймал ее за руку, потом обнял за талию и поцеловал.

— Завтра я приду к тебе... И навсегда! Слышишь? — прошептал он.

Она крепко стиснула его руку, и он почувствовал, как левая щека его увлажнилась. Она плакала; губы ее были вялые и холодные, и вся она мелко дрожала, как от озноба.

Спрыгивая с крыльца, Песцов услышал, как затрещал плетень, потом мелькнули две тени от палисадника к сараю. И долго еще, удаляясь, гулко топали сапоги в ночной тишине.

24

Песцов оказался временно за председателя. Волгин уехал в район покупать горючее и запасные части к тракторам и оставил за себя хозяйствовать не Семакова, как делал обычно, а Песцова.

— Приноравливайся,— говорил он на прощание.— А то сразу-то невдомек чего будет. Хозяйство — воз тяжелый, тянуть его надо исподволь, а не рывками. Иначе холку набьешь.

— Волгин на попятную пошел, натурально. Сам уступает место Песцову,— с едкой усмешкой жаловался Круглов.

— Это еще ничего, ничего,— утешал его Семаков.— Погоди маленько. Узнаем, что думает Стогов. Волгин заедет к нему, посоветуется. А я донесение в райком отправил. Все описал, все его антиколхозные умыслы. Ничего, ничего. Пусть пока хозяйствует, а мы поглядим.

Внешне Семаков ничем не выказывал своей неприязни к Песцову. Он был с ним вежлив и даже советовался:

— Матвей Ильич, что нам делать с Иваном Черноземовым? На его поле ячмень подошел... Жать пора. А он не берет к себе третьего комбайнера.

— Как это — не берет?

— Очень просто, вдвоем с Лесиным, говорит, справлюсь. А Петра Бутусова мне не надо.

— Ничего не понимаю.

— За звеном Черноземова мы закрепили кроме кукурузы поле ячменя. На Косачевском мысу. Слыхали?

— Ну?!

— Договор с ним подписали. Вот он и надеется премиальные получить. Ну и понятное дело — поделиться с Бутусовым не хочет.

— Так пошлите того, с кем он хочет работать.

— Матвей Ильич, правлению некогда устраивать любовные сделки меж колхозниками.

— Ладно. Я завтра съезжу на Косачевский мыс. Разберусь с этим Черноземовым.

Ячмень на Косачевском мысу подошел как-то неожиданно, в разгар сенокоса. «За усы он тянет ячмень-то, что ли? Иль колдует?! — удивлялся Волгин.— Дней на десять раньше срока поспел».

Накануне жатвы Иван Черноземов долго не ложился. Еще с вечера перегнал он свой комбайн в поле; бочку горючего про запас схоронил — в глинистом обрывчике нишу выкопал, свежей травой укрыл бочку, землей присыпал, чтоб воспарения не было.

А потом до вторых петухов просидел с Лесиным на завалинке.

— Эх, сосед, теперь мы как двинем, так уж двинем! — говорил Черноземов, опираясь на колени руками, и, глядя в землю, крутил головой.

— А я тяги на своем комбайне переклепал,— ласково улыбаясь, сказал Лесин.— Один убирать буду, без копнильщика. Мне тоже нахлебник не нужен.

— Егор Иванович Батман не то что тяги, ножи переклепал. Вот так, нормально — пшеницу жать, а эдак вот повернет, горбылем кверху — под сою получается. Наземь ножи-то кладет, чтоб ни один бобик не остался несрезанным.

— Тот универсал!

— Ах, сосед! Дожили мы до настоящего дела. Я ведь, по секрету сказать, из председателей колхоза сбежал.

— Когда же?

— А в тридцать пятом году! Я лют был до работы. Первым в селе технику освоил — и тракторы и комбайны. Меня и выдвинули в председатели. Ладно, работаю. И вот присылают мне с первесны указ из рика — засеять поле под ольхами гречихой. Место низменное — болота рядом, туманом обдает. А гречиха тепло любит. Какая там гречиха вырастет?! Но мне звонят — сей, и больше ничего! Я сам-то пензяк. У нас гречихи на всю страну славились. А может, и во всем мире лучших не было. Культура эта тонкая. Помню, как мы с отцом ее сеяли. Бывало, чуть засереет небо, а мы уж на загоне. Гречиху до солнца надо посеять, а по росе запахать... И того мало. Отец, бывало, снимет штаны, сядет голым задом на

землю и скажет: «Ванятка, садись, покурим». Вот мы и сидим на земле-то, курим. Ждем — чего она скажет? Переглядываемся... Отец встанет, отряхнется: «Рано иш-шо, Ванятка. Поехали домой. Земля холодновата». А тут звонят по телефону: сей, да и только! Ладно, говорю, посеем. Написал я им сводку: мол, посеяли гречиху. И отправил,— отвяжитесь, думаю. А посеял гречиху только недели через две, да и то в другом месте. И что ж ты думаешь? Приходит ко мне эдакой косой дьявол — Яшка Сизов — и говорит: «Иван, дай-ка мне подводу на базар съездить?» — «Ты что, в уме? В разгар посевной и за двадцать верст на базар! И не проси!» — «Кабы пожалеть не пришлось! Что-то ты самовольничаешь, Иван? Все без правления норовишь... Гречиху не посеял, а сводку дал...» — «Ступай, я не из пугливых!..» Донес ведь, стервец! И вот ко мне нагрянул сам председатель рика на пару с каким-то полувоенным. В тарантасе, на тугих вожжах! «Садись! Поехали к ольхам». Подъезжаем. «Где гречиха?», «Когда посеял?», «Ах, два дня назад?! Займись!» — сказал он этому полувоенному да уехал. Тот и спрашивает меня очень даже вежливо: «Как же вы, дорогой товарищ, решились на такой шаг? Директиву рика не выполнили?» Я ему пытаюсь объяснить, что гречиха тепло любит, а он мне: «Не возражаю. Но почему вы директиву не выполнили?» — «Вы крестьянством занимались?» — спрашиваю. «Никогда в жизни».— «Откуда вы, извиняюсь?» — «А с Красной улицы».— «Понятно».— «Ну, раз вам понятно, тогда зайдите завтра к нам. Один придете, раз вы такой понятливый». И просидел я у них две недели. На мое счастье, вся гречиха, посеянная другими по холоду, пропала. А моя как на опаре поднялась. Меня и выпустили. «Извините, говорят, производственная ошибка. Можете работать». Я на другой же день собрал свои манатки и уехал вместе с женой и ребенком.

— По шахтам, по леспромхозам мотался... А после войны опять к земле потянуло. Что ни говори, крепко она держит нашего брата, за самую душу.

Прилег Иван Черноземов уже за полночь в сенях на деревянной кровати. И приснился ему дивный сон. Будто на всей Руси хлеба поспели. И по его родной Земетчине, вдоль всего сельского порядка от избы к избе старики пошли. Возле каждой избы останавливаются, стучат подожками в наличники, окликают: «Эй, Иван, не спишь?

Жать пора!» — «Не сплю, тятя!» — отзывается Иван. И вот будто входит к нему в сени отец в белой рубахе, босой. Садится на край кровати: «А ну-ка, покажи, что за хлеб уродился на твоем Косачевском мысу? Вставай, пойдем!» — «Да ведь это далеко, тятя... Аж на Дальнем Востоке, на краю земли». — «Раз далеко, вставать пораньше надо. Чего ж ты прохлаждаешься?» — «Да я и не сплю вовсе». — «Идем!»

И вот вышли они вместе с отцом в поле... А кругом такая благодать! Во все стороны лежит степь, вся светло-желтая от созревшей пшеницы, от жухлой поникшей травы; струится сквозь легкую синеватую испарину земли этот мягкий солнечный свет, и кажется издали, что это вовсе не подкрашенный солнцем парок, а тихо падающие на землю золотистые зерна. И не видно ни дымных заводских труб, ни сел, ни одиноких путников. Только дорога, бесконечная, как степь, дорога, и куда ни глянешь, все падает и падает золотистая пороша зерна. «Видишь, какое добро приспело, а ты спишь... Эх, Иван!»

Черноземов очнулся, как от испуга; с минуту приглядывался: не светит ли сквозь щели солнце? Потом высунулся в дверь — зябко обдало утренней прохладой. «Роса сильная, значит, денек будет хороший, — отметил радостно Черноземов. — Солнце еще не встало. Успею». В избе возле печки уже суетилась хозяйка.

— Собери-ка мне чего поесть в сумку. Я в момент обуюсь и пойду.

— Господи! — всплеснула та руками. — В эдакую рань-то! Подожди... Позавтракаешь, а там на машине подбросят.

— Не велик барин на машинах-то разъезжать. Небось и пешком дойду.

Черноземов сердито засопел, натягивая сапоги. Перечить было бесполезно, и хозяйка, печально вздохнув, стала укладывать дневную провизию в сумку.

Утром после разнарядки Песцов и сам поехал туда, на Косачевский мыс, верхом на Буланце. В лощине, возле Солдатова ключа, он встретился с Лубниковым. Тот пас табун. Увидев Песцова, Лубников еще издали крикнул:

— Покурим, Матвей Ильич?

— Давай!

Лубников лихо подскакал:

— Моего самосаду. До печенок продирает.

Свернули по цигарке.

— Далече путь держите? — спросил Лубников.

— На Косачевский мыс. Там ячмень подошел. Думают нынче жать.

— Это поле Черноземова... Он там дневал и ночевал.

— Один, что ли?

— Подручный у него, тракторист. А теперь вот еще и Лесина взял к себе в звено.

— А почему от комбайна Бутусова отказывался?

— Бутусов не той породы... Этот все напоказ любит.

— А Черноземов?

— О, энтот мужик лют — он теперь за кажным колоском гоняться будет. Отрыжка капитализма, как сказал Семаков.

— Уразумел! За лошадьми поглядывай... В овсы поперли.— Песцов хлыстнул Буланца и помчался прочь.

Поле Косачевский мыс лежало на горбине высокого увала. Песцов поднялся по распадку, заросшему мелким шиповником, и выехал на дорогу.

«А места здесь в самом деле косачиные,— думал Песцов, оглядывая одинокие стога, разбросанные вдоль распадка; за ними начиналось желтое, широкое поле ячменя.— И зерно есть, и главное — стога, где тетерева любят табуниться. Надо осенью сюда заглянуть с ружьецом».

С краю поля, у дороги, выстроились три комбайна, два самоходных, один прицепной, с трактором; тут же сидели тракторист и комбайнеры, среди них Лесин, Черноземов — плотный широкоскулый мужчина в гимнастерке, Петр Бутусов и тракторист — молоденький паренек в ковбойке.

— Ну как? — спросил Песцов, спешиваясь.— В чем задержка?

— Роса была сильная... Влажновато малость. Плохо вымолачивается по росе-то,— сказал Черноземов.

— Ишь вы какие разборчивые! — усмехнулся Песцов.— Небось раньше и по дождю жали.

— Так то раньше.

— Все ж когда думаете приступить?

— Думаем двинуть,— отвечал за всех Черноземов, вороша колосья.— Спелый...

Песцов вошел в ячмень, потрогал колосья:

— Да, косить можно. Когда третий комбайн подогнали?

— Только что.

— Вы же не хотели его брать?

— А кто нас слушает,— хмуро ответил Черноземов.

— Значит, вы вроде на помощи у соседа?—спросил Песцов Бутусова.

— Мне все равно... Где бы ни работать.

— А где ваш копнильщик?—обернулся Песцов к Лесину.

— Без него обойдусь,— ответил Лесин.

— Как? На вашем комбайне, с прицепным копнителем?

— А я приспособился,— Лесин застенчиво улыбнулся и заковылял к комбайну.— Гляди! Изготовил я две тяги... Первой сбрасываю солому. Р-раз — и готово! А вот этой тягой закрываю копнитель.

— Ну, ребятки, двинули!—весело сказал Черноземов.— Бутусов, ты начинай с этого краю. А ты, Лесин, в тот конец давай. А я начну отсюда.

Черноземов вытянулся, как ротный на смотру, и сказал торжественно:

— Ну, Матвей Ильич, с хлебом!

— С хлебом!—сказал Песцов.

Потом взревели моторы, застучали, застрекотали ножи и побежали колосья по транспортерам.

Целый день мотался Песцов в седле; был и в пойме, и на кукурузе, которую подкармливали звеньевые, с пастухами обедал на отгонах, часа три метал стога. Пропотевший, усталый, но довольный и хорошим днем — началом жатвы, и погодкой безоблачной, и работенкой, от которой лопатки на место встали, Песцов возвращался домой.

Переходя Солдатов ключ, Буланец остановился и начал пить. К переезду подкатил грузовик с полным кузовом ячменя. Шофер высунулся из кабины:

— Матвей Ильич! Там у Черноземова на поле скандал.

— Что такое?

— Звеньевой с Бутусовым не поладил. С поля гонит его.

— Что за черт!—Песцов заторопил Буланца. Тот упрямился, не шел в обратную сторону. Песцов огрел его плеткой и рысью свернул в знакомый распадок.

Поле Черноземова отсюда, от дороги, словно полысело теперь, и сквозь желтизну жнивья проглядывала серая земля. Сжато было много, но один комбайн стоял в стороне. К нему-то и направился Песцов, а от дальнего, тоже остановившегося комбайна бежал Черноземов.

— Что случилось? — спросил Матвей Петра Бутусова.

— Он, сукин сын, половину зерна в землю втаптывает! — кричал, подбегая, Черноземов.— Чешет на полной скорости, как на пожар. Смотри, какое жнивье высокое.

— Так ведь показатели давать надо,— пытался оправдаться Бутусов.

— На черта мне твои показатели! — крикнул опять Черноземов.— Он с этими рекордами колхоз без зерна оставит, а меня — без зарплаты. Не нужен мне такой помощник. Смотри, что он делает! Смотри! — обращался Черноземов к Песцову и показывал на жнивье.

— Дело ясно,— сказал Песцов.— Я позову агронома. Завтра утром она определит потери. Платить будет он.

— А не рано ли распоряжаетесь? — угрюмо спросил Бутусов.

— Не рано, а поздно!.. За подобные рекорды давно уже надо бить.

— Утром будет у вас агроном. Обязательно! — сказал, прощаясь, Песцов Черноземову.

«От такого геройства я постараюсь избавиться,— думал Песцов на обратной дороге.— И тут выходит — закрепление полей необходимо. Снимешь большой урожай со всего поля — и получишь больше. Пусть они и ломают голову. Быстро слишком жать — не доберешь, потери большие; медленно жать — перестоится хлеб, начнет осыпаться... Вот и думай, кумекай, как жить? Хоть раздельным способом, хоть прямым комбайнированием. Какой для тебя выгодней, тот и есть передовой. Соображай, работай головой. Хватит на дядю рассчитывать».

В распадке у Солдатова ключа Песцов встретил Лубникова с табуном. Он спешился и передал повод Буланца Лубникову:

— Забери его.

— А ты как же, Матвей Ильич? Пешком?

— Подожду на дороге вечернего молоковоза. Мне на отгоны съездить надо.

— Что так? Аль седалище натер?

— Лошадь утомилась. А туда километров десять, не меньше.

— Ну, знамо. В машине оно способнее, чем в седле... Там подушечки мягче.

— Давай без комментариев.

— Я это вам к тому, чтоб вы ноги не слишком раскидывали в стороны после седла-то. По-нашему, по-деревенски, это называется враскорячку ходить. А то девки засмеют на отгонах.

— Иди ты к черту!

— Есть! Малина вам в рот...— Лубников приложил к козырьку растопыренную пятерню и лихо поскакал, уводя в поводу заседланного Буланца.

Песцов пошел к дороге и вдруг почувствовал странную расслабленность в коленях, словно оттуда выпали какие-то пружины и ноги теперь сами собой подгибались и трудно было устоять. Он присел на придорожную кочку и поморщился от неожиданной боли.

— Ну и казак! — усмехнулся он.— Наверно, в самом деле смешно, как я танцую на полусогнутых...

Он лег на спину, вскинул ноги на кочку и приятно почувствовал, как становились они легче, невесомее, как отходили ступни, словно сняли с них деревянные колодки. Он пытался уверить себя, что едет на отгоны по важному делу — разыскать Селину, послать ее, чтоб замерила, определила потери зерна. После того вечера она исчезла из села; говорили, что ночует на отгонах. И теперь Песцов ждал встречи с ней и волновался.

25

На отгоны Песцов приехал на закате солнца. На станах было пусто,— доярки ушли на дойку. Двери в длинном бревенчатом бараке заперли на щепки. Он заглянул в окно и увидел Надин велосипед, прислоненный к стенке. Значит, где-то здесь и сама хозяйка.

Неподалеку от бревенчатого барака, на берегу озера трое пастухов — два мальчика и дед Якуша — лежали возле костра. На закопченной перекладине висел котел, в нем крупными пузырями булькал суп. Мальчишки шуровали в костре, ломали и подкладывали сучья. Дед Якуша, босой и в драной фуфайке, не снимавший ее даже в

лютую жару, посасывал короткую трубочку и сплевывал с обрывистого берега прямо в озеро.

Огненно-бурая, косматая амурская лайка, вскинув острую морду, требовательно смотрела на подходившего Песцова.

— Селину тут не видели? — спросил Песцов.

— Там,— указал старик трубкой в сторону прибрежного дубняка.

Собака вскочила, поглядела в ту сторону, залаяла и стала пружинисто раскидывать траву короткими сильными ногами.

— Замолчь! — Один парнишка выхватил головешку и запустил ее в собаку. Та взвизгнула, мгновенно улеглась, но сердито и напряженно провожала Песцова своими желтыми немигающими глазами.

— Ступайте, ступайте! Во-он к той рощице! — кричал ему вслед старик.

Зеленая кипень невысокого дубнячка подступала к самому озеру. По-над берегом вилась, прижатая к воде, узенькая тропка. На обочинах ее в густой и высокой траве мельтешили красные в черных точках саранки, откуда-то снизу доносилось тихое неясное пение.

Песцов спрыгнул с обрывистого берега к озеру, за ним посыпались комья в воду. Здесь он увидел певиц; они сидели под берегом в лодке, возле высокой стенки камыша. Одной из них оказалась Надя, второй — приемщица молока, грузная пожилая украинка в расшитой полотняной кофточке с широкими рукавами.

— Здравствуйте, Матвей Ильич! — сказала Надя.

— А мы туточки спиваемо. Сидайте до нас! — Приемщица приветливо смотрела на Песцова, который нерешительно переминался с ноги на ногу.— Эх, дура я, дура старая! — всполошилась она вдруг.— Мени ж молоко принимать пора.— Она неожиданно легко выпрыгнула из лодки.— Ну, до побачення! — И скрылась в кустарнике.

— Прошу, Матвей Ильич!

Надю нисколько не удивило неожиданное появление Песцова; она смотрела на него чуть насмешливо, как будто знала заранее, что он придет. На ней была красная в крапинку, под стать саранкам, косынка и пестренький сарафан, открывавший ее прямые плечи.

«Даже не спрашивает, как нашел ее... Неужели ждала?» Песцов прыгнул в лодку, потянулся к веслам.

Но Надя перехватила их:

— Помните, как вы меня катали на «газике»! А теперь моя очередь. Садитесь, прокачу!

Песцов сел на корму и тихонько запел, весело поглядывая на Надю:

Поедем, красотка, кататься!
Я долго тебя поджидал.

— И часто вам приходится поджидать? — насмешливо спросила Надя. Она гребла с замахом, резко выбрасывая весла, отчего лодка шла рывками.

— Увы... А чего это вы на меня злитесь?

— А вы не догадываетесь?

— Понятно... Неосторожно поступаю. Но, помилуйте, господа присяжные! — Песцов посмотрел в небо и вскинул руки.— Кроме всего прочего, я еще и человек. И представьте себе, у меня могут быть даже настроения...

Надя засмеялась.

— Значит, вы пришли по настроению?

— Скорее по необходимости. Почему вы не появляетесь в селе?

— Необходимо отвечать?

— Как хотите.

— Не думала, что вы приедете сюда.

— Вы меня осуждаете?

— Нет, благодарю...

— Спасибо. К тому же у меня небольшое дело к вам. Сегодня начали жать ячмень на Косачевском мысу...

— Знаю.

— Черноземов с Бутусовым поссорился. Требует, чтоб с того удержали за потери зерна. Вам надо подсчитать потери... Завтра утром. Я им обещал.

— А где Волгин?

— В район уехал. Оставил меня за себя. Догадываюсь, что с целью. Проверить хотят, как я хозяйствую...

— И вы на радостях сразу на отгоны подались... На лодке кататься? Хорош борец за народную справедливость!..

Песцов извинительно развел руками:

— Во-первых, у меня дело...

— Да, конечно. Я завтра утром съезжу на Косачевский мыс, определю потери.

— А во-вторых, вам нужно быть в селе.

Надя положила весла и вопросительно смотрела на

него. Лодка врезалась в камышовые заросли и остановилась.

— Да, да!.. Нужно! Наверно, вслед за Волгиным приедет Стогов. В любую минуту я должен быть готов к собранию. А мне и посоветоваться не с кем. Мой главный советчик сбежал из села... Вы не смейтесь! Даже на заседание правления не пришли. А ведь я говорил там о закреплении земли...

— Об этом уж все село толкует... Еще о том, что вы хотите огороды отобрать у колхозников.

— Но это неправда! Придирка... Я сказал, что, если закрепить землю, урожаи станут высокими, как у Егора Ивановича,— тогда и огороды не нужны будут. Сады рассадим.

— Если бы да кабы... Поймите же, люди сыты по горло этими «если»...

— Но вы же сами говорили о необходимости закреплять земли!

— На одном закреплении земли далеко не уедешь.

— И то правда...

— Видали на Косачевском мысу ячмень?

— Хороший!

— Черноземов его вырастил... А убирать послали Петра Бутусова. И половина зерна на стерне осталась. Зато косят быстро, Семаков сводку даст — рекорд!

— За такой рекорд да по мягкому месту...

— Учтите и другое — за этот ячмень мы обещали премиальные выплатить Черноземову. Но мы не то что премии, трудодни оплачиваем с грехом пополам.

А если мы не выдадим обещанных премий, тот же Черноземов или Егор Иванович в глаза нам наплюют. И работать в будущем году не станут. А где взять деньги?

— Все же как вы оказались в таком безденежье?

— Мы?! А кто нам планировал озимую рожь? Вы!.. Планировали и знали, что она вымерзнет. Кто запланировал нам кукурузу? Семьсот гектаров! Знали, что нам не под силу и половина этого. Знали и планировали сеять. Да еще в пойме, на лучших землях. А свеклу?

— Общая установочка,— усмехнулся Песцов.

— Во-во! Вы общую установку выполняете, а мы разоряемся. Поглядите на того же Волгина. Он же задерган этими установками да планами, как старый конь удилами. И все исполняй и докладывай. Он усвоил одну истину: угодишь секретарю — все в порядке, а мужик

стерпит. Вот и старается. Но трудно стало угождать — годы не те и возможности обрезаны. Раньше он приторговывал — то луком, то ранними огурцами, то рисом... Изворачивался, покрывал неразумные расходы. А теперь и торговлю обрезали — как хочешь, так и живи.

— Что и говорить, советчик вы не веселый.

— Порадовать, извините, нечем.— Надя взяла весла.

Лодка стояла в затончике, укрытая камышовой стеной от озерного плеса.

— Дайте-ка я сяду на весла! Давно уж я не занимался этим флотским ремеслом.

— Ага! И порезвимся на озере. Благо, что и покрасоваться есть перед кем: доярки как раз возвратились на станы.— Надя загребала одним веслом, другим табанила, поворачивала лодку к берегу.

Песцов привстал, потянулся к веслам.

— Не надо, Матвей Ильич...

— Подвиньтесь!

— Не надо,— она крепко держала весло, которое пытался отобрать Песцов.

Вдруг он покачнулся, выпустил весло и, потеряв равновесие, схватил Надю за плечи. Она откинулась на локти и смотрела на него настороженно и пытливо. Потом быстро и крепко обняла его за шею...

— Эх ты, горе мое! — прошептала она наконец.

Потом как-то выскользнула из его объятий и спрыгнула на берег.

— Куда же ты?

— Не вздумайте бежать за мной... Ухажер.

— Ладно, ладно... Перестраховщица,— Песцов шутливо погрозил ей пальцем.

Она оттолкнула от берега лодку и быстро пошла к станам.

Песцов появился на станах позже, доярки встретили его привычными шутками:

— Говорят, вы к нам в подпаски нанимаетесь, Матвей Ильич?

— Кнут таскать... А то дед Якуша обессилел.

— Вот я вам, просмешницы... Кнутищем вдоль спинто,— сердито ворчал от костра дед Якуша.

— Молчи, старый тарантас!.. Взял бы хоть одного мужчину на весь стан... Для духу. А то у нас моль развелась.

Доярки покатывались со смеху, они расселись вокруг

непокрытого дощатого стола шагах в десяти от костра — кто ужинал, кто вязал, кто гадал на картах.

Надя смеялась вместе со всеми и часто поглядывала на Песцова. На этот раз и он не смущался от шуток, вступал охотно в словесную перепалку:

— Я бы пошел приглядывать не за телятами, а за доярками...

— Дед Якуша, принимай нас к себе в стадо!..

— Девчата, кто переходит на телячье положение, поднимай руки!

— Пусть он своих подпасков, то бишь подсосков, уберет... А то они мешать будут.

— Ха-ха-ха!

— Сами вы подсоски! Кобылы необъезженные,— огрызались подпаски.

— Ах, срамницы!.. Вот я вас кнутищем-то...

Постелили Песцову в плетневом пристрое; на деревянный топчан положили охапку сена и покрыли одеялом. Подушка была тоже набита сеном. От сена исходил сухой душный запах мяты. Песцов с наслаждением вытянулся на постели, закрыл глаза и только теперь почувствовал, как он устал... Ноги тяжело гудели, ломило спину, и гулко стучала кровь в висках.

26

Проснулся он от какой-то протяжной, заунывной песни,— низкий женский голос звучал глухо и тоскливо, словно из подземелья просился наружу:

Счастливые подружки,
Вам счастья, а мне нет...
Не лучше ли мне будет
Живой в могилу лечь...

Песцов щурился от яркой солнечной ряби, пробивавшейся сквозь плетневую стену, и сначала не мог понять, где он находится. Вдруг с резким, дребезжащим звоном упало где-то ведро. И Песцов сразу очнулся от полусна. Закинув руки за голову, он прислушался к тому, как доярки на станах погромыхивали ведрами. Он живо представил себе, как они вяло, словно сонные куры, разбредаются сейчас по загону к своим коровам и уже через несколько минут весело зазвенят молочные струйки, а потом зальются песенные девичьи голоса. Потом

они с шутками, с хохотом сойдутся возле приемного молочного пункта; косы, ловко перехваченные белыми, строгими, как у сестер милосердия, косынками, высоко закатанные рукава, тугие, округлые руки и бойкие, смешливые, вездесущие девичьи глаза. Здесь уж им не попадайся,— засмеют. С таким народом горы можно ворочать, думал Песцов. А что они видят, кроме коров? От скуки с дедом Якушей побранятся. Да молоковоза ради шутки столкнут в озеро. Иль, может, помарьяжат за картами с заезжими рыбаками.

Живой в могилку лягу—
Скажите: умерла...
До самой до могилы
Была ему верна,—

с отчаянной решимостью признавался низкий голос, но гудел он теперь где-то наверху. И Песцов невольно посмотрел на крышу, в надежде увидеть там певицу.

— А я знаю, о чем вы думаете,— сказала Надя.

Он не слышал, как она вошла, и вздрогнул от неожиданности.

— Ой, трусишка! — Она подошла к топчану.— Вам доярок жалко, что их любить некому...

Песцов приподнялся на локте.

— Как ты догадалась?

— Песни поет тетя Пелагея. А когда звучит один женский голос, грустно становится, тоскливо.

— Умница!

Матвей обхватил ладонью ее шею и почувствовал, как под гладкой кожей напрягаются упругие и тонкие мускулы. «Точно струны,— думал он.— Тронешь — зазвенят...» Потом притянул ее к себе и поцеловал в губы.

— Вам пора! — наконец сказала Надя.

— А сколько времени?

— Уже пять часов.

— Молоковоз приехал?

— Он сегодня опоздает, будет только в восемь. Вчера приемщицу предупредил... Что-то поломалось у него.

— Как ты сказала?! — Песцов скинул ноги на земляной пол и растерянно глядел на Надю.— Мне же надо быть на разнарядке.

— Да, к семи часам в правлении.— Надя поглядела на часы.— Меньше двух часов осталось... Возьмите мой велосипед.

Она вышла на минуту и вернулась с велосипедом. Песцов быстро натянул клетчатую рубаху, застегнул сандалеты:

— Вот так номер...

— Возьмите,— Надя подвела велосипед к Песцову.

— Но ведь все знают, что это твой велосипед,— замешкался Песцов.

— Ничего... Хуже будет, если вы не приедете на разнарядку.

— А как же ты?.. На Косачевский мыс?

— Я с молоковозом уеду.

— Ну, спасибо.

Одной рукой он взял велосипед, второй обнял Надю, поцеловал:

— До вечера!..

С непривычки Песцов никак не мог удержаться на узкой тропинке; руль постоянно вело куда-то в сторону, колесо виляло, и он со страхом считал луговые кочки. Раза два упал, и после каждого падения противно дрожали колени.

Наконец он плюнул в сердцах и повел велосипед по тропинке, сам запрыгал по кочкам. К селу он подошел только в восемь часов не то что в поту, а в мыле. На конном дворе решил передохнуть.

Здесь возле коновязи стояла целая вереница верховых лошадей. Лубников с конюхом выводили со двора очередную заседланную, упирающуюся лошадь.

— Что это за кавалерия?—спросил Песцов у Лубникова.— Мобилизация объявлена, что ли?

— Так ить это все для руководящего состава,— ответил Лубников.— Закрепленные лошадки. Вроде персональных.

— Какой руководящий состав?

— Да как же,— бригадиры, всякие заведующие, учетчики, объездчики, охранники. Работает руководство, слава богу...

— Так сколько же их?—Песцов кивнул на коней.

— Иной раз почти полсотни седлаю,— ответил Лубников.— Колхоз большой, за всем уследить не шутка.

— Н-да, расплодили командиров-надзирателей,— усмехнулся Песцов.— Уже восемь, а они еще и не чешутся.

— Так пока энти, которые работают, не вышли, тем тожеть делать нечего.

— Черт знает что!

И «энти» и «те» сидели возле правления и на лавочке, и на крыльце, и прямо на траве вдоль палисадника; тут и бригадиры, и учетчики, и трактористы, и шоферы, и много прочего люду, про которых говорят в колхозе: «Ждут, куда пошлют».

Подъезжая, Песцов поздоровался. Ему ответили разноголосо, весело, приветливо кивали головами. Он поставил велосипед возле ограды и пошел в правление.

— Кажись, Надькин? — спросил кто-то и хмыкнул.

— Заткнись! — уже из коридора услышал Песцов чей-то голос.— Что за шутки!

В правлении было тоже людно и так накурено, что не продохнуть. Множество народу окружили стол, за которым сидел Семаков. Заметив Песцова, все ринулись к нему, каждый со своим вопросом.

— Товарищ секретарь? — спрашивали одни.

— Товарищ председатель,— величали другие.

— Куда же мою машину направят?

— А я ремонт трактора закончил. Что делать?

— А мне лошади нужны... Лес подвозить.

Песцов поднял руку.

— Стойте!.. Я еще не председатель.

Все с недоумением смотрели на Семакова: что, мол, за канитель? Тот встал из-за стола, подошел к Песцову:

— Ну что за формальность? Вы же оставлены за Волгина. Вот и хозяйствуйте.

Песцов, как бы вспоминая что-то свое, оглядывал примолкших, настороженных людей, стол, заваленный бумагами, и наконец произнес:

— Ну, давайте... Что у вас?

Он сел за стол. И мгновенно его окружил разноголосый хор:

— Подпишите мне путевку!

— Не торопись, милок! Я дольше твоего ждал.

— Да не галдите вы! — кричал на всех рыжеусый, в синей косоворотке, стоявший ближе всех к Песцову, и спрашивал сердито: — Да вы дадите нам лошадей или нет? Лес подвозить.

— Завхоз! — крикнул Песцов.

К столу протиснулся Семаков.

— Вот на лесозаготовки лошадей просят,— сказал Песцов, кивая на рыжеусого.— Сколько вам?

— Пять запрягли... Еще десять подвод надо,— отвечал рыжеусый.

— Нет лошадей,— сказал Семаков.

— Как — нет? — спросил Песцов.— А там, на коновязи?!

— Верховые, что ли?

— Конечно.

— Те нельзя. Не могу же я бригадиров да учетчиков без коней оставить.

— Черт знает что! — с досадой сказал Песцов.— Да разберитесь вы хоть по порядку! Что вы облепили меня, как мухи?

Целый час он подписывал то накладные, то наряды, то путевые листы, то заявления какие-то нелепые разбирал: «...отказываюсь перебирать клещи и потник, потому как за бесценок...»

— Вы что, шорником работаете?

— Без расценок какая работа. Я тебе, положим, клещи переберу, но ты опиши все, как есть. Или возьми потник...

— А мне вчера горючее не подвезли... Это как рассудить?

— Его Кузьма, черт, спьяну на Косачевский мыс увез. Свалил там бочку.

— Сам ты с похмелья! Ему бригадир приказал туда свезти.

— О це ж рядом! Тильки с бугра сойтить...

— Сойтить... А подниматься тожеть надо. А кто платить будет? Это как рассудить?

Через час у Песцова голова пошла кругом. И когда наконец все разошлись, он встал из-за стола и тупо уставился в окно.

— Туговато, Матвей Ильич? — раздался за его спиной голос Егора Ивановича. Когда вошел он, Песцов не слышал, а может быть, и не выходил вовсе, остался незаметным где-нибудь в углу.

— Здравствуйте, Егор Иванович! — Матвей задумчиво прошел к столу.— Суета какая-то.

— Машина большая, а сцеп один — вот она и тяжело вертится,— сказал Егор Иванович.— У нас ведь все от одного колеса норовят двигать.

— Да, Егор Иванович, норовят. Добро хоть колесо-то надежное попадет.

— Мы вот, колхозники, промеж себя часто балака-

ем — порядок у нас не тот. А ведь можно к хозяйству приноровиться...

— Как?

— А вы приходите вечером ко мне на чашку чая. Мужики соберутся. Вот и потолкуем.

— Приду обязательно!

Вышедшего из правления Егора Ивановича встретил Семаков.

— Дай-ка прикурить, Егор Иванович.

Тот достал спички, протянул их Семакову.

— Далеко идешь? — спросил Семаков, возвращая спички.

— Заверну домой на минутку да на поле.

— Может, велосипед прихватишь, — кивнул Семаков на прислоненный к палисаднику Надин велосипед.— А то Песцову-то некогда отвозить его... Председатель! Временный, правда.

— Какой велосипед? — переспросил Егор Иванович.

— Да ты что, не узнаешь? Твоей племянницы велосипед, агрономши!

— Надькин? А чего он здесь валяется? При чем тут председатель?

— Чудак человек! — губы Семакова тронула снисходительная усмешка.— На нем Песцов на работу приехал.

— Откуда? — все еще недоумевая, спрашивал Егор Иванович.

— Говорят, возле реки в копнах спали... Вот он и торопился.

Вдруг Егор Иванович побагровел и угрожающе двинулся на Семакова.

— Сволочь!

— Полегче! — Семаков отстранился, растопырив пальцы.

— Блоха! — Егор Иванович пошел прочь.

— Все-таки советую взять велосипед. А то чужие приведут,— очень вежливо сказал Семаков.

Егор Иванович вернулся, взял велосипед и, сдерживая ярость, процедил:

— Гнида...

«Ну ж я ей задам, срамнице!» И чем ближе подходил он к Надиному дому, тем сильнее кипела в нем ярость. Велосипед внес в сени и, сердито грохая сапогами, прошел в дом. Но Надя словно не заметила его; она приехала с

Косачевского мыса, легла на койку поверх одеяла, запрокинув голову, и смотрела в потолок.

— Велосипед привез,— грозно сказал Егор Иванович.

— Спасибо.

— Валялся возле правления.

— Кто?

— Не́кто! Совесть потеряла ты. Вот кто!

— Ты что это, дядя Егор? — Надя присела на кровати и с недоумением уставилась на Егора Ивановича.

— А я-то, дурак старый, еще дорожку ему указывал. Способствовал. Думал, у вас как у порядочных людей. А вы уже в копнах ночуете!

— Ах, ты вот о чем! Это мое дело. Тебя оно не касается.

— Конечно, меня не касается! — Егор Иванович всплеснул руками.— Твои грехи-то глаза мне колют. На людей стыдно смотреть. Хоть бы седины мои пожалела.

Надя резко поднялась и подошла к Егору Ивановичу с побелевшим лицом.

— Стыдно, говоришь?! А мне, думаешь, не стыдно? А меня кто жалеет? Мне двадцать шесть лет... А у меня лицо-то задубело, как выделанная овчина... Круглыми днями мотаюсь на ветру, на жаре, на холоду... А ночью уткнешься в подушку да ревешь от тоски. Кому слово скажешь? С кем здесь пойдешь? С Сенькой-шофером, что ли?

— Ну, ты это другой оборот взяла,— сказал Егор Иванович, отступая.

— Тебя бы на мое место, небось другим голосом запел.

— Как бы там ни было, а линию свою держать надо.

— Наплевать мне на линию! Я жить хочу!..

— Сдурела ты совсем, баба. У всех на виду... Срам!

— Ну и пусть смотрят! А я буду, буду!..

— Эх ты, атаман.— Егор Иванович вышел, хлопнув дверью.

Надя легла на кровать и зарыдала, комкая подушку.

27

Вот и прошли две недели, которые так много значили для Песцова. Он и раньше ходил по земле не гоголем, но все-таки, приезжая в колхозы, давал указания, продвигал в жизнь, так сказать, решения, вынесенные в кабинетах,

то есть делал все то, что обычно делают люди его положения и круга, но теперь он как бы остановился и понял, что дальше он не пойдет по той дороге ни за какие коврижки.

«Какой-то странный заколдованный круг...— думал Песцов.— На все нам спускают планы. И нас не спрашивают: выгодно или нет? под силу ли? разумно ли? Двигай — и все тут... И мы никого не спрашиваем. Двигаем дальше... Мол, не по своей воле делаем... Мы тоже выполняем указания... Вот она — спасительная веревка, за которую хватается каждый усердный исполнитель. И рассуждают: я что ж! Я выполняю указ. Меня заставляют прыгать. И через меня прыгают. Но кому нужна такая чехарда?»

А сможет ли он управлять таким сложным колхозом? Может быть, и нет. Но это не главное. Председатели найдутся. Та же Надя... Отменный председатель из нее может выйти. Может! Но для этого он, Песцов, должен прошибить стенку, которая отгораживает колхозника от земли... Председателю развязать руки. Это, главное, отныне и будет делать Песцов, где бы он ни находился — в колхозе ли, если изберут, или в райкоме.

Он набросал на двух листках свои предложения — как поднять колхоз «Таежный пахарь», переписал поразборчивее и положил перед Семаковым.

— Если сочтете нужным, соберите партбюро, обсудим.

А вечером пошел к Егору Ивановичу. Там застал всю компанию звеньевых в сборе; сидели в горнице, и возле стола, и возле стен, и прямо на пороге,— здесь и сам хозяин с сыновьями, Еськов, Лубников, Черноземов, Лесин, Конкин и четверо незнакомых Песцову. Один из них заметно выделялся — старик с густой сивой шевелюрой, с огромной бородищей. Он степенно приподнялся с порога, подал руку и назвался:

— Никита Филатович Хмелев.

«Этому деду попадешься в руки — натерпишься муки»,— подумал Песцов, пожимая необъятную ладонь таежного Геркулеса.

На столе стоял самовар, множество чашек с блюдцами. Прислуживали Ефимовна и Надя.

— Пожалуйте к столу, Матвей Ильич! — пригласила хозяйка.— Пирожка с гонобобелем отведайте.

— Вы откуда? С Оки, с Волги? — радостно спрашивал Песцов.— Это у нас там голубицу так называют.

— Да уж здешние,— махнула рукой Ефимовна.— Маленькой оттуда вывезли меня родители.

— Откуда же у вас голубица? Она еще не созрела.

— А из погреба. С осени ставим, перемешаем ее с сахаром — она и стоит. Кушайте пирог. Чайку, пожалуйста!

Надя налила ему чашку густого фиолетового чая.

— А зачем мне чернила? Я писать не собираюсь,— дурашливо надув губы, Песцов глянул на Надю.

Она ответила такой счастливой улыбкой, так сузились и потемнели ее глаза, что Песцова точно горячей волной окатило.

— А мы решили выпить все чернила. Может, писучих поуменьшится. Не то больно уже много их развелось,— сказал Егор Иванович.

Песцов пил этот фиолетовый до красноты чай, заваренный из корня шиповника, чуть кисловатый, с вяжущим привкусом, и слушал неторопливую и, казалось бы, поначалу беспорядочную беседу колхозников.

— Волгин приехал... Говорят, в районную больницу заезжал.

— Да, плох Павлович-то.

— Ничего мужик был, проворный. В последние годы обмяк, а то круто завинчивал.

— В торговле мастерство имел.

— Да, мастер был... Вон чешский дизель купил и бросил... Сто пятьдесят тысяч кобелю под хвост.

— Проворный... Маслобойню схлопотал и вон под дождем бросил.

— Почему?

— Купить купили, а поставить — сил не хватает.

— А что дизель? — Песцов вспомнил, как наткнулся однажды в деревянном пристрое электростанции на огромный ржавеющий дизель.

— Чешский он, с корабля. У него заднего хода нет, потому и продали,— пояснил Конкин.— А генератор к нему нужен с малыми оборотами. Наша промышленность таких не выпускает.

— Зачем же тогда покупали?!

— А кто нас слушает?

— Ты не побоялся пришел к мужикам покалякать. А ну-ка скажут: потайной сход устроил секретарь? Чего тогда будешь делать? — спросил Никита Филатович.

— Откажусь... А вас всех выдам с головой.

И все загоготали.

— Я уж ему говорил: вы больно начальник-то чудной. Колхозников слушаете,— сказал Егор Иванович.

— Таких у нас и не было.

— Так уж и не было! — усмехнулся Песцов.

— Нет, были, мужики...— вступился Никита Филатович.— Были... Похожие на одного большого начальника... К нему наш Калугин ходил. Да ты, Егор, помнишь. Два часа слушал он Калугина! И чай вместе пили... А начальник был ба-альшой...

— Кто ж это? — спросил Песцов.

— Ленин.

— Эка вы хватили!

— Так я это к примеру. Слухай дальше. Опосля того Калугин полгода на сельских сходах рассказывал, как его Ленин слушал. И бумагу от него читал. А в ней сказано: мол, очень правильно вы, товарищи крестьяне, думаете, как передал мне ваш ходок Калугин; главное — это чтоб богатство развивать. Вы теперь хозяева. Вот и покажите, на что способны. И мешать никто не станет. Мы Калугина с этой бумагой встречали, как наследника царского в старые времена. Може, читали в исторических книгах — наследник к нам приезжал... По селам ездил. По его имени и затон назвали на Бурлите.

— По имени наследника?

— Зачем — наследника? Говорите чего не надоть,— обиделся Никита Филатович.— По имени Калугина.

— И хорошо вы хозяйствовали?

— А я тебе скажу. Егор, не дай соврать! Ме́не ста пудов с десятины сроду никто не сымал. Брали и по сто пятьдесят и по двести пудов. Порядок на поле-то был и честность была. А вчерась я иду с пасеки, смотрю — за Солдатовым ключом сою боронуют, Петька Бутусов и Ванька Сморчков. Чешут, стервецы, друг перед дружкой, как на пожар. Ажно пыль столбом. Зашел я это на поле, гляжу — половину сои выборанивают. Значит, ставят эту самую... рекорду.

— Это моя вина,— сказала Надя.— Я недоглядела.

— А ты, Надька, не красней! За всем не усмотришь. Их шестнадцать тракторов, да десять комбайнов, да сколь вон косилок, жаток, сеялок-веялок...

— Тут хитрость вот в чем: связь мужика с землею нарушена,— сказал Егор Иванович.— Хозяина у земли нет, царапают ее, милую, нонче Иван, завтра Петр,

послезавтра Сидор... А не уродится — и спросить не с кого.

— В поденщиков превратились колхозники,— отозвался Еськов,— и смотрят на землю, как на чужую.

— Так ить оно и на фермах то же самое,— встревает в разговор Лубников.— Никто ни за что не отвечает. Вон с весны на отгонах перебодались коровы, ноги переломали. И пастухам хоть бы что... А удерживают с Марфы Волгиной, с заведующей.

— Ну отчего же такое равнодушие? — спрашивал Песцов.

— Выгоды нет, вот и равнодушие.

— Как же сделать, чтобы была эта выгода?

— Платить надо,— сказал Егор Иванович,— и колхозникам дать послабление...

— Какое послабление?

— Ну вроде самостоятельности. И поле, и отара, и пасека пусть на учете за каждым колхозником будут... А то всем командуют... скопом.

— А что делать бригадирам, заведующим фермами? — спрашивал Песцов.

— Дело найдется,— сказал Никита Филатович.— Беда в том, что их много развелось. Да что там говорить! Семен, сколько было у нас лошадей спервоначала в колхозе? — спросил Никита Филатович Лубникова.

— Да с молодняком без малого тысяча.

— А теперь сто пятьдесят голов. Так?! Но тогда были два конюха да табунщик, вон Семен... И все. А теперь? Он вот заведующий, у него — кладовщик, учетчик, два охранника, три конюха. А лошадей в пять раз меньше.

— Да ить оно и на овцеферме то же самое,— Лубников не оставался в долгу.— Тогда на каждую отару был чабан. Семья помогала ему — и все. И овец боле вдвое было. А теперь мало ли там кормится энтих тунеядцев-надзирателей? А возле коров? А на свиноферме...

— Этих учетчиков да охранников — эскадрон.

— Кавалерия!

— Вот и надо всех этих посредников между колхозниками и землей убрать,— сказала Надя.— Это все — воробьи на дармовом зерне.

И сразу все повернулись в ее сторону, отчего она смутилась, но закончила решительно:

— И ввести зарплату от урожая, от поголовья...

— Правильно, ясно море! — воскликнул Лубников.— Я опять табун возьму.

— Не каждый заведующий на табун пойдет,— сказал молчавший до этого Лесин.

— И не каждому доверить можно,— заметил Егор Иванович.

— Да, да... Правильно! — кивал головой Песцов.

Расходились поздно. Егор Иванович стоял на крыльце, пожимал всем руки.

— Спасибо за чай-сахары!

— На здоровьичко!

— Заходите почаще.

— Спасибо!

На крыльцо вышли Надя с Матвеем; увидев их, Егор Иванович вдруг засуетился:

— Надюша, ты бы осталась у меня. Уже поздно.

— А меня Матвей Ильич проводит,— весело сказала Надя.

— Да, да, вы не беспокойтесь,— подтвердил Песцов.

— Ну, как знаете, как знаете,— Егор Иванович смущенно кашлянул и вдруг заметил высунувшегося из двери Федорка.— Пошел вон, шкеть! — наградил он звонким подзатыльником мальчика, сорвав на нем всю свою досаду.

На улице было свежо, и Надю охватил озноб. Песцов взял ее под руку.

— Ну и дипломаты!..— восторгался он.— Издалека начали. И не то чтоб грубо, а похвалили Волгина. Но так, что лучше в прорубь нагишом опуститься, чем такую похвалу слушать. Вот, мол, парень, мотай на ус...

— А ты?

— А я вот что... Землю закреплять будем, гурты, табуны, отары! Все по звеньям. На зарплату переведем. Аванс будем давать ежемесячно.

— А не рано ли?

— Если изберут, конечно.

— Я не об этом.

— Где взять деньги?

— Да.

— Я уж все обдумал. На другой же день после избрания пущу в продажу тех выбракованных коров. А там от молока кое-что скопилось. Вот и выдам деньги, как на фабрике. А через месяц те деньги принесут мне новые... Увидишь, как станут работать колхозники... Деньги, Надежда, удиви-

тельная штука! Они умеют приносить новые деньги. Только их надо в оборот пускать. А мой оборот — это зарплата колхозников.

Они подошли к Надиному дому. Возле крыльца Надя остановилась:

— Спокойной ночи.

— Присядем! — Песцов указал на лавочку.

— Не могу.

— Почему?

— Ну что тебе сказать?!

— Ты жалеешь? Боишься?!

— Нет.

— Так что же?

— Не сердись, милый!.. Я не могу объяснить тебе... Но так встречаться не надо... Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— тоскливо повторил Матвей.

Проскрипела дверь, грохнула щеколда, и Надя скрылась... А Песцов долго еще стоял перед сумрачной, не освещенной изнутри избой.

28

Стогов приехал в Переваловское на другой день к вечеру. В правлении застал он Песцова и Семакова за подготовкой к собранию. Им помогали два паренька; все вместе вносили и расставляли клубные скамейки, сваленные в кучу возле порога правленческой избы. Матвей был в майке, на плечах и на правой щеке его лежали пыльные полосы от скамеек.

— Как дела? — спросил его Стогов.

— Отлично! — весело ответил Песцов.

— Познакомился с колхозом?

— Вполне!

— И все ясно?

— Так точно!

— Ишь ты какой понятливый,— усмехнулся Стогов.— А что, кроме тебя скамейки некому таскать?

— Да все равно тут крутимся. Повестку дня вот составили. И вообще готовимся.

— Ну, ну, готовьтесь.— Стогов шумно вздохнул и тяжело опустился на табуретку.

— Я схожу переоденусь. Да помыться нужно, Василий Петрович.

— Давай, давай.

Сразу же после ухода Песцова явились, словно по команде, Бутусов, Круглов, Волгин.

— Ну, как твоя почка? — спросил Стогов Волгина.

— Все в порядке! — бодро сказал Волгин.

— Чудная у тебя болезнь.

— Бюро будем проводить перед собранием? — обратился Стогов к Семакову.

— Не знаем, как и поступать, Василий Петрович,— сказал озабоченный Семаков.— Нам-то ведь все ясно...

— В каком смысле? — Стогов настороженно повел своими отекшими глазами.

— Да я уж вам писал... Недоверие у нас к Песцову.

— Вы мне подробнее поясните, что здесь происходило? — строго спросил Стогов.

— Не тем боком показал себя,— вмешался в разговор Бутусов.— Такое наговорил на правлении, что и деваться не знаешь куда.

— Да что там на правлении! Он вчера подал целую программу... Вот! — Семаков протянул Стогову два листа, густо исписанные Песцовым.

Стогов не стал читать, положил их в карман.

— Что же он вам предложил?

— Предложил всю землю закрепить не то по семьям, не то по звеньям, не поймешь, а бригады ликвидировать,— сказал Семаков.

— Что значит ликвидировать? — спрашивал Стогов, все более хмурясь.

— Говорит, звенья надо создавать, автономию!.. Значит, заинтересованность будет выше... Спайка,— пояснил Бутусов.— А бригадиров разогнать... И учетчиков не надо, и охранников.

— Так! — оборвал его Стогов.

— А насчет ликвидации огородов установка есть, что ли? — осторожно спросил Волгин.

— Какая установка? Никто установки не давал.

— Так ведь сказал на правлении Песцов,— скороговоркой начал Круглов, словно боясь, что его перебьют.— А после правления в момент по селу разнеслось. Вот и волнуются люди. Вполне натурально.

— Коров хочет продать...

— Это еще зачем?

— Чтоб колхозникам платить... Зарплату, говорит. А не хватит, еще и свиноферму — в расход!

— А вместо кукурузы овес или ячмень сеять, поскольку, говорит, звеньевые не согласны.

— Черт знает что!

— Опыта у него нет. Хозяйство наше плохо знает. Вот в чем беда,— сказал Бутусов с ноткой огорчения.

— Да это еще полбеды,— обронил Семаков.— Мог бы и выучиться.

— Да что он у вас, убил, что ли, кого?

Семаков извинительно улыбнулся.

— Мне, Василий Петрович, как секретарю партбюро, о таких вещах положено докладывать.

— Ну?

— Роман у него здесь завелся.

— Ты это серьезно?

— Очень даже. Только и разговоров на селе о его любовных делах. Тут у нас агрономша... Молодая. Ну и...— Семаков свел свои толстые ладони:— Спарились, значит. А ведь здесь село. Все на виду. И просто неудобно перед колхозниками. Он же не холост, семейный человек. Словом, впору ставить на партбюро вопрос, как говорят, о его моральном облике.

Стогов, словно окаменев, в упор сердито смотрел на Семакова.

— Ладно,— он встал, опираясь на свою суковатую палку.— Готовьтесь к собранию. А я прочту его программу, похожу тут по колхозу. Посмотрю.

Возле школьной ограды он сел на лавочку, вынул из кармана сложенные вчетверо листки — предложения Песцова,— начал внимательно читать. Чем дальше он читал, тем все более сердился и наконец не выдержал — стукнул палкой о землю и встал.

«Ничего себе сюрприз, подходящий,— тяжело думал Стогов, идя по улице.— Вон куда заводят эти теоретические вольности... Планы его не устраивают... Кукурузу — долой! Землю закрепить по звеньям, по группам, разделить, раздробить... Что-то похожее он мне и раньше напевал: каждому делу своего хозяина. Вот тебе и «хозяин»! Он требует убрать бригадиров, учетчиков, заведующих фермами — целое руководящее звено колхоза. Это ликвидатор какой-то, а не хозяин».

За свою долгую жизнь на селе Стогов уяснил одну непреложную истину: контроль и учет — основа колхоза. И вот явился человек и начал рубить сук, на котором все держится. И не то удивляло, что нашелся такой чело-

век,— люди есть люди, всех на одну колодку не сделаешь. Но как допустил это он, Стогов? Вот что удивительно! Сам, сам во всем виноват. Давно уж замечал, как Песцова заносило в сторону. Надо бы одернуть... Строго, по-отечески, встряхнуть так, чтоб почувствовал... Ан нет! Побасенки плел вместе с ним. Доброту выказывал. А может быть, здесь какое-то недоразумение? Сцепились, как петухи... Песцов и написал сгоряча. Молодость. Все удивить хотят... Выдвинуться!

Когда-то Стогов и сам мечтал выдвинуться. По совести говоря, судьба была несправедлива к нему. Начал он партийную работу еще в двадцатых годах, после демобилизации из армии. Молодой юрист с дипломом... Бывал безупречен, педантичен до мелочей. И все-таки его обходили по службе. Обходили менее образованные. Почему же? Да потому, что у Стогова в анкете была одна скверная графа — «Происхождение из чиновников». Так пост секретаря райкома и стал для него потолком. Со временем он превратился в этакий эталон секретаря: «Выдержан, опытен, предан...» И его перебрасывали из района в район то «поднимать», то «подтягивать» чьи-то хвосты. Поуменьшилось с годами его усердие. Но зато властность выросла и в масштабах района его мнение было неоспоримым.

На улице он встретился с Песцовым; тот шагал широко, размахивая руками, и по-мальчишески с разбегу прыгал через лужи.

— Вы куда? — весело спросил он Стогова.

Секретарь не ответил, повел насупленными бровями и спросил в свою очередь:

— Что у тебя с агрономшей?

Матвей вдруг покраснел и замялся:

— Тут в двух словах не скажешь...

— Не скажешь! — Стогов тяжело засопел; опытным глазом сразу определил — виноват.— Нашел время!.. Ну что ж, зайдем в сельсовет, потолкуем!..

В сельсовете — старой, рубленной крестом избе — сидела одна секретарша, девушка лет семнадцати, и тоненькой школьной ручкой заполняла какие-то бланки.

— Чем заняты? — спросил Стогов, входя.

— Страховку выписываю,— секретарша встала.

— Вот и хорошо... Подстрахуешь нас... Только на крыльце. Выйди, посиди там, чтобы никто не входил.

Девушка с недоумением глядела на Стогова.

— Ничего, ничего... Скажешь, секретарь райкома занял помещение. Мы ненадолго.

Девушка молча сложила свои бумаги в картонную папку, сунула ее в кованый горбатый сундук и вышла.

Стогов сел за стол, достал из бокового кармана крупную белую таблетку, положил ее под язык.

— Без валидола я теперь ни на шаг. Так-то, Матвей.— Стогов глянул на Песцова дружелюбно и с каким-то веселым любопытством.— Ты садись! Чего стоишь?— Он указал на деревянный, грубо сколоченный диван.

Песцов сел.

Стогов вынул исписанные Песцовым листки бумаги, развернул их:

— Твоя работа?

— Да.

— Эх, Матвей! Такими вещами не шутят.

— А я не шучу.

— Ты что же, в самом деле от плана хочешь отказаться? Сократить всех бригадиров, заведующих, учетчиков?! Живем, мол, неправильно. Все деньги — колхозникам. А не хватит, так еще и коров продадим... Что это за декларация? Ты что, серьезно?

— Я очень рад, что вас так быстро информировали...— начал было Песцов, усмехаясь.

Но Стогов перебил его:

— Я обязан все знать.

— Ничего плохого я не затеваю.

— Вот и я так думаю. Затем и позвал тебя, чтобы ничего плохого не было. Что ты носишься с закреплением земли?

— Землю в самом деле надо закрепить за звеньями.

— И за семьями? — перебил его Стогов.

— Если семья надежная, трудовая, закрепим и за семьей. А что тут плохого?

— А то, что собственников хотите расплодить! — раздраженно бросил Стогов.

— Да что мы, на откуп, что ли, отдаем земли-то? Просто хозяин на поле будет. Теперь его нет, а тогда будет — спросить с кого можно! И что ж плохого, если будут работать сыны с отцами? Ведь есть же у нас рабочие династии! А на земле, значит, нельзя? Собственность! Откуда? Где логика?

— Ты мне не суй эту логику... Мы тридцать лет

колхозы строили, а вы за год хотите опрокинуть?! Не выйдет!

— Да что я хочу опрокинуть?

— Ты не прикидывайся мальчиком. Одумайся! Что значит ликвидировать бригадиров, заведующих фермами? Это же оставить колхозников без руководства.

— Не без руководства, а без опекунства. Работу свою колхозники знают.— Песцов резко встал с дивана, подошел к столу, оперся ладонями, подавшись к Стогову.— Пора уж слову «руководить» вернуть истинный смысл и не подменять его другим словом — «командовать». Что значит в нашем понятии руководить? Строится кошара — посылай туда командира. Пашут землю — бригадира ставь над пахарями. Мастерские завели — вожака туда, вдохновителя, так сказать. Командиры... на всякое дело командиры. И какая формула при этом, какое оправдание хитренькое. Чтобы спросить с кого было... Спросить с командира! А того не понимают при этом, что, возводя в ранг ответственности одно лицо, мы снимаем ответственность с каждого рядового. Да почему надо смотреть за работой этих пахарей? Почему нужно контролировать их, замерять все за ними, охранять от них? А почему бы не сделать проще? Пусть эти плотники, пахари, доярки сами работают, сами замеряют, сами охраняют. Только нужно, чтобы у каждого были свои коровы, свой участок земли. Тогда все видно...

Песцов отошел от стола, закурил и сел на диван. Стогов смотрел на него с улыбкой горького сострадания.

— И охранников, значит, долой? — спросил наконец Стогов.— Валяй, ребята, кто во что горазд.

— Дело не в охранниках. Надо накормить колхозников. Дать им все необходимое для жизни. Пусть они не думают о куске хлеба. Тогда и они завалят хлебом. Ведь еще Маркс говорил: если производителю не дать всего необходимого для жизни, так он все это достанет иными путями. А если открыть летописи некоторых наших колхозов и посмотреть, то увидишь: годами колхозники получают по двести граммов хлеба да по гривеннику деньгами. Ведь каждому понятно, что на этот заработок человек прожить не может. А он живет. Значит, он добывает себе средства на жизнь иными путями. А эти иные пути ох как дорого обходятся и для государства, и для колхоза, и для самого колхозника.

— Ясно, ясно...— Стогов откинулся на спинку стула,

насмешливо прищурился.— Живи, как хочешь, бери, что хочешь... Без руля и без ветрил... Да это шаг назад не только от коммунизма... От социализма! Вы мне хозяйчиков хотите наплодить...

— Не хозяйчиков, а хозяев. Хозяев своего дела, своей судьбы. Хватит людей опекать — они давно уже выросли и не глупее нас с вами. Так пусть они распоряжаются и собой, и своим делом. Ответственность каждого повысится... Личность! И это не шаг назад, а вперед, и прямо к коммунизму.

— А руководство? Контроль?

— Все будут контролировать... Все!

— А мы с тобой что будем делать? Книжки читать?

— Воспитывать надо людей, Василий Петрович. А мы забыли об этом... Вместо того чтобы руководить, командуем, на работу посылаем, расставляем людей на полях, как шахматные фигурки...

— Я давно замечал, что тебя заносит... Но всему есть мера. Ты замахнулся на обязанности райкома партии!.. Не выйдет! Не затем мы тебя растили, чтобы ты наше святое дело разваливал.

— Не надо говорить от имени партии. Вы не партийный судья, а я не подсудимый. Права у нас одинаковые. «Святое дело! Развал!» Оставьте эти громкие слова. Все значительно проще: вы готовите себе помощников по образу и подобию своему... На себя похожих. Как бог лепил Адама. И вдруг этот Адам в божьем саду съел не то яблоко. Долой!.. Бог не учел один пустячок — то, что Адам был человеком, со своим умом, со своими руками и на этот свет божий глядел своими глазами, а не глазами бога... И делать он стал то, что хотелось ему, Адаму, а не богу.

— Спасибо за сказку... Но, между прочим, молодежи я давал ход. И не тебе обижаться.

— Да я не обижаюсь... Вы мне даете ход, но только по вашим стопам, так сказать... Идти след в след за вами.

— Правильно! Иначе ты черт знает куда уйдешь. Что ты здесь написал? — Стогов ткнул пальцем в листки.— Кукурузы много? Матвей, ты что, с луны свалился? Кто ты такой? Щелкопер заезжий? Турист? Ты же второй секретарь! Уж кто-кто, а ты-то знаешь, что у нас с тобой план — девять тысяч гектаров кукурузы! Сверху спущен... Где же мы будем сеять эти девять тысяч? На улицах райцентра, что ли?

— Так неразумен этот план! Давайте откажемся, наберемся мужества!

— Что? Отказаться от плана? Какой же ты руководитель после этого? Только тот имеет право руководить, кто умеет подчиняться. Ты не пуп земли, а всего лишь одно звено, переходное звено. Проводник в цепи... Понял? Если и один проводник не сработает, вся цепь не годится. А ты требуешь умышленного неподчинения! Где же здравый смысл, с которым ты носишься?

— Вот во имя здравого смысла я и откажусь.

— И станешь продавать плановых коров?! Да?

— Да поймите, надо же людям гарантировать зарплату!

— Ты подаешь дурной пример!.. Не в каждом колхозе можно гарантировать зарплату. Это ты понимаешь?

— А если не гарантировать зарплату, вы станете работать? Нет! Почему же колхозник должен работать?

Стогов побагровел и хрипло крикнул:

— А потому, что ты молод еще! — Он тяжело навалился грудью на стол и стал медленно подниматься, опираясь на руки, дрожа от натуги.

Наконец он встал, достал из бокового кармана еще одну таблетку, положил под язык и прошел к окну.

— Извините, Василий Петрович,— сказал Песцов, смущенный гримасой боли на лице Стогова.— Но ведь нужно искать выход из этого заколдованного круга! Делают же нечто подобное вон на Амуре... на Алтае...

— Ты мне Амуром в глаза не тычь. Мы сами с усами. Мне жаль тебя, Матвей,— сказал Стогов, не оборачиваясь от окна.— Оказывается, все живут не по-твоему. Вся рота идет не в ногу, один прапорщик в ногу...

— Просто я верю, что так будет лучше.

— «Просто»? Ничего себе... Вот что я тебе скажу: попал ты под влияние собственников. Ступай! Готовься к собранию.

29

Народ стал собираться засветло; мужчины курили возле палисадников, а женщины садились на задние скамейки в правлении и гудели, точно шмели. Входили колхозники и здоровались сначала с Песцовым, а потом уже с Волгиным. И по всему было видно, что к Песцову здесь относились уже как к председателю колхоза.

Потом пришел и Стогов, большой и грузный, он заполнил собой весь проход между скамьями и долго пробирался к оттесненным до самой стены столам президиума. Сел он сбоку, стараясь не стеснять председательствующего.

Он чувствовал, что между правлением и Песцовым сложилась не просто антипатия. Здесь нечто более серьезное и важное. И на душе у него было тревожно. «Что же будет, если изберут Песцова? В какие руки попадет колхоз? — думал Стогов.— Ведь он же чужой... чужой... Или юродивый? Или уж он с ума спятил? От него и в райкоме теперь жизни не будет. Что же делать? Выступить? Песцов может навязать здесь дискуссию. А вступать с ним в дискуссию на этом собрании небезопасно... Надо сделать проще...»

Стогов тронул Семакова за локоть, тот быстро наклонился. Стогов сказал ему на ухо:

— Доклад Песцова перенеси в конец повестки дня... Ты меня понял?

— Так точно! Мы так и полагали,— улыбнулся Семаков.

Он набросал несколько строчек на листе бумаги и положил перед Волгиным.

— Порядок такой...— тихо сказал Семаков. Потом обернулся к Стогову.— Первое слово вам?

— Ну что ж, товарищи! — поднялся Стогов.— С Песцовым, надеюсь, вы познакомились. Знаете его хорошо... Давайте, решайте.

Бутусов, подозрительно и загадочно улыбаясь, как будто он знает что-то такое, чего не знает никто за столом, нагнулся к Семакову и шепнул:

— Ага, Стогов-то не рекомендует! Значит, как договорились — моральное разложение и насчет огородов.

Семаков значительно и важно посмотрел в зал и потом зашептал рядом сидящему Волгину. Тот покраснел и виновато посмотрел на Песцова.

Наконец Волгин, горбясь, поднялся над столом, постучал железной ручкой о пустой стакан и начал зачитывать повестку дня.

— У нас, товарищи, стоит два вопроса. Первый вопрос — переизбрание председателя Волгина Игната Павловича, то есть меня; второй — ...как? — спросил он Семакова, сидевшего рядом с ним. Тот прочел.— Так,— подтвердил Волгин и повторил: — Второй вопрос —

мероприятия по поднятию урожайности, то есть доклад товарища Песцова.

Тотчас встал Семаков:

— Мы думаем, товарищи, что целесообразно приступить сразу к перевыборам. Отчетный доклад правления вы слышали в конце года. Повторять его нет смысла. Перевыборы у нас, так сказать, внезапные, в связи с болезнью Игната Павловича Волгина. Что же касается предложений товарища Песцова, то мы их заслушаем после перевыборов. Разумно? Будут новые предложения нового председателя.— Семаков улыбнулся и обернулся к Песцову: — Вы согласны?

— Конечно.

— В таком случае приступим. Пожалуйста, товарищ Песцов, скажите колхозникам о своем желании работать председателем нашего колхоза.— Семаков сел.

Матвей, не догадываясь об истинном намерении президиума, коротко, с улыбкой, сказал:

— Ну что ж, товарищи! С колхозом я ознакомился. Надеюсь, что вы меня все знаете. Если изберете председателем, работать буду с большим желанием.

— Поясните колхозникам вашу идею насчет огородов,— сказал Семаков.

И вопросы посыпались со всех сторон, точно зал только что проснулся,— каждый хотел узнать все сразу.

— Что было на заседании правления?

— Почему у нас огороды хотите отобрать?

— По какому закону?

— Пусть секретарь скажет!

— Откуда пошла такая установка?

Стогов поднялся сутулой громадой над столом, и зал снова умолк, как по команде.

— Я лично такой установки не давал. Надеюсь, что товарищ Песцов пояснит вам.

Матвей поражен был такой озлобленностью колхозников.

— Дело обстоит не совсем так,— начал Песцов, с трудом подбирая слова.— Я против огородов теоретически, так сказать. Не от хорошей жизни они. Картошки и в поле хватит. Не в данном, конкретном случае, а в будущем. Село должно иметь сады, а эти огороды... В них надобность отпадет.

— Яблоко не картошка, сыт не будешь! — крикнули из зала.

— О чем разговор? — повысил голос Песцов.— Разве я хочу отобрать ваши огороды? Успокойтесь! Я просто говорю: станете жить лучше, сами сады рассадите.— Песцов сел.

— Теория!..

— Саду-винограду захотелось...

— Тут картошки не хватает.

— А ему что?..

— Мягко стелет...

Долго еще бубнил растревоженный зал.

Первым слово взял Бутусов. Его большегубое, скуластое лицо приняло строгое и решительное выражение. Бросая попеременно взгляды то прямо в зал, то через плечо на Стогова, он заговорил о высокой ответственности председателя:

— Каждое слово должно быть глубоко продумано. А товарищ Песцов то предлагает от огородов отказаться, то землю чуть ли не поделить. А во имя чего? И сам толком не знает. Более того, товарищи, на заседании правления он предложил отказаться от посева кукурузы в пойме, то есть на лучших землях. А вместо нее сеять овес! Это вместо кукурузы-то!.. По всей стране люди отводят лучшие земли под кукурузу, а вот товарищ Песцов иного мнения. Прямо скажем, непартийное это мнение. Нельзя не отметить еще одно, наиважнейшее обстоятельство.— Бутусов повысил голос: — Председатель — пример для всех! Тут надо, чтобы у человека все соответствовало, и его, как говорится, партийное выдвижение, и его, так сказать, семейные обстоятельства. А все ли соответствует у данного товарища Песцова? Давайте его спросим: где ваша семья, Матвей Ильич? Жену привезете или холостым по нашим полям будете прохаживаться?

По залу прокатился шумок.

— Резон! — выкрикнул Лубников.

— Надо у девок спросить, кого им надо — холостого или женатого,— серьезно предложил тенорок, и зал захохотал.

— Ухажеристый мужик!.. Чего там...

И выверт Бутусова, и смех в зале — все это было настолько неожиданно для Песцова, что он растерялся. И теперь, собираясь с мыслями, ошалело глядел в хохочущий зал: вот, запрокинув голову, тряс седой бородищей Никита Филатович; вот, глядя по сторонам, словно приглашая других смеяться за компанию, по-козлиному

заливался Лубников; вот, подбрасывая могучие плечи, грохотала Торба... И всё лица, лица — смеющиеся и добродушно, и весело, и ехидно, и зло...

«Да что же это такое? — спрашивал Песцов.— Чего им от меня надо? Что я могу сказать? Что жена загуляла? Что я сбежал от нее?.. Что люблю Надю? Да разве это скажешь? Ну почему молчит Стогов? Он же все знает!..» Они встретились взглядом, и Песцов чуть было не сказал: «Помогите!» Но Стогов сонно, слегка насмешливо прикрыл глаза и отвернулся. И вдруг Песцов все понял: и эта манипуляция с повесткой дня, и этот демократический жест Стогова: я, мол, ни при чем, сами решайте. Он подал им сигнал... Да им и сговариваться нечего. Они понимают друг друга с полуслова. Эти — Семаков с Бутусовым — оборотная сторона стоговской медали. Что у того на уме — у этих на деле... Подлецы! Ничем не брезгуют...

Песцов почувствовал, как жарко заходила в нем крутая ярость. Он встал, высоко держа голову, и сказал сердито:

— Жену я вызывать не буду.

— Почему, Матвей Ильич? Поясните нам! — Бутусов с учтивостью и улыбкой на лице смотрел в зал, хотя и спрашивал Песцова.

«Ах ты, проходимец двуликий!» — с бешенством подумал Матвей, еле сдерживаясь.

— Пусть пояснит, пусть! — загомонили в зале.

— От пояснения отказываюсь,— грубо отрезал Песцов, сел и вдруг почувствовал, как предательски загорелись у него уши.

«Все пропало!» — мелькнула мысль, и тупые горячие толчки крови зачастили в висках.

Шум в зале усилился, а Бутусов, обернувшись к Стогову, с довольным лицом человека, решившего сложную задачу, уверенно закончил:

— Вот я и говорю, тут дело серьезное. А человек ни женат, ни холост. И объяснить нам не хочет. Выходит, мы, по его мнению, недостойны...

— А чего ж тут пояснять! Мы и сами видим.

— Хорошую девку выбрал,— сладко произнес кто-то.

И снова все захохотали.

— Вот я и спрашиваю: как прикажете понимать его? А ведь мы на свою ответственность выбираем! Так что семь раз отмерь, один — отрежь.— И, еще раз победно взглянув на Стогова, Бутусов, довольный, сел.

— Без жены — значит временно! — выкрикнул высокий женский голос.

— Известное дело,— подтвердил хриплый бас.

— Да не в том суть,— возразил кто-то с досадой.

— Вот именно... Не из-за жены сыр-бор.

— Оно и поразведать не грешно,— неопределенно заметил Лубников, стараясь попасть в общий тон и в то же время угодить Песцову.

— Чего тут смешного? — сказал Егор Иванович, вставая с места.— Про дело надо говорить.

Но его прервали:

— А мы про что?

— Про то, как баба с мужиком спорила — брито или стрижено? Да нам-то наплевать.

— Не плюй в колодец, Егор Иванович,— вставил Семаков.

— А ты не темни! — огрызнулся тот.— Что нам от того — женат он или холост? Главное — он человек с головой. Не огороды он хочет ликвидировать, а землю закрепить. Вот это кой-кому и не нравится. Привыкли за чужой спиной отсиживаться... Хватит! В поле надо работать. Всем! Я призываю голосовать за товарища Песцова.— Егор Иванович сел.

— А кто будет голосовать против, тот, значит, не хочет в поле работать,— иронически произнес Семаков.

Бутусов и Круглов засмеялись.

— Значит, Егор Иванович снял семейный вопрос Песцова,— привстал Бутусов.— Его больше устраивает холостой председатель. Причина вполне ясная.

В зале снова засмеялись.

— А как думаете вы, товарищи колхозники?

— Без жены ненадолго.

— Кто поручится?

— Да не в том суть,— упорно повторил свое чей-то голос.— Не из-за жены сыр-бор...

Встал Никита Филатович и, вопреки своей могучей фигуре, степенной осанке, заговорил тихо, сбивчиво и как-то скороговоркой:

— Оно, конечно, и посмеяться не грех. Почему ж не посмеяться, ежели, значит, по моральной линии. Мужик молодой и поухаживал немного... Не в обиду будь сказано. Только я омману не верю, поскольку насчет огородов, значит. Потому как Матвей Ильич не такой человек. Он и колхозников слушает, и сам поговорить

умеет. Не гордый. Легко ли сказать — на чай к нам приходил... Не побрезговал. А он — секретарь! Давайте за него голосовать.

Не успел сесть Никита Филатович, как вскочил в дальнем углу Петр Бутусов и крикнул:

— Они за чашкой чая договорились! Подсластили!!

Вокруг Бутусова громко засмеялись,— видно, дружки.

А гул в зале все поднимался, нарастал. И Песцову показалось, что он попал в какой-то водоворот и его относит в сторону: «Ну, нет!.. Так не пойдет. Я не чурка». Он встал и вскинул руку. Шум утих.

— Товарищ Песцов, мы вам не давали слова! — окрикнул его Семаков, приподнявшись.

— А я и не прошу его у вас...— Песцов глядел на него вкось, сжав кулаки, словно готовый броситься врукопашную.— Ваше слово мне не нужно. А своему слову я сам хозяин. Вы привыкли распоряжаться не только зерном, но и словом. А по какому праву? Вы что, больше других трудились? Вы больше всех знаете? Вы честнее других? По какому праву, я спрашиваю, эти люди,— он указывал на президиум и обращался в зал,— распоряжаются вашим зерном и вашей судьбой? Кто они? Вот первый — Иван Бутусов, пчеловод...— Песцов отыскал глазами Никиту Филатовича.— Скажите, Никита Филатович, вы доверяете этому пчелиному руководителю пасеку?

— Что вы, Матвей Ильич! Он трутней от пчел отличить не может,— ответил, приподнявшись, Никита Филатович.

В зале засмеялись.

— А вот второй!..— продолжал Песцов, указывая на Семакова.— Завхоз, так сказать... Кладовщиками руководит. Как будто бы кладовщик сам не умеет замок отпереть! А что умеет делать этот завхоз? Давайте его спросим: чему он учен? — Песцов обращался в зал, и люди стали отвечать ему, словно говорили с ним с глазу на глаз.

— А чего спрашивать? Начальником быть и обучен.

— Он человек политический.

— Это не ремесло, а образование.

Семаков не пошевельнулся, только по налившимся кровью щекам можно было догадаться, чего это ему стоило.

— Понятно! Он еще по телефону не посоветовался,— сказал Песцов, и все грохнули, разгадав его намек.— А

вот еще один,— обращался в зал Песцов, и легкая усмешка проскользнула в концах его губ.— Заведующий овцефермой Круглов... Встаньте!

Круглов привстал, откинул рукой со лба седеющие кудри, раскланялся на обе стороны.

— Можно ему отару дать? — спросил Песцов.

— Да вы что, Матвей Ильич, шутите?

— Он от нее оставит рожки да ножки...

— Как волк от козленка,— отвечали с хохотом из зала.

— Так ведь он же заведующий овцефермой! — воскликнул Песцов.

— Ему бы галантерею продавать, бабы на поглядку валом бы повалили.

— Мужик красивый.

— Пусть идет в подпаски,— предложил Песцов.

— Кто его возьмет? Он и кнутом-то как следует хлыстнуть не умеет.— И снова хохот.

— Семаков, ведите собрание! — крикнул Стогов.

Семаков, словно очнувшись, вскочил и яростно замахал руками:

— Прекратите шум! Это что еще за анархия! Товарищ Песцов, сядьте!

Постепенно шум утих.

— Теперь вы понимаете, товарищи колхозники, почему я неугоден некоторым.— Песцов указал на президиум и сел.

— Есть предложение — переизбрать товарища Волгина,— сказал Семаков.— А товарища Песцова предлагаем в заместители... Пусть поживет у нас, войдет в курс дела... Себя покажет, как говорится.

Волгин неторопливо закрыл папку с колхозными «делами» и, опираясь на ее ребро, степенно встал.

— Если такое дело по необходимости случилось и для общества требуется, то я, конечно, премного благодарен.— Волгин торжественно помолчал с минуту и закончил: — Только бы мне подлечиться малость... Почка отошла от сте ки.

— Прошу голосовать! Кто за то, чтобы остался председателем Волгин? — спросил Семаков.

— Сперва голосуем за Песцова! — крикнул Егор Иванович.

В зале раздался топот и свист.

— За Волгина!

— За Песцова!..

Семаков долго стучал ручкой о графин.

— Прошу голосовать! Кто за то, чтобы остался товарищ Волгин?

Но шум не утихал. Тогда встал Стогов, вышел на середину перед столами и молча смотрел в зал, наклонив голову. И руки потянулись кверху.

— Считайте, Семаков!

Семаков, приподнимаясь на цыпочки, поклевывая пальцем в воздухе, начал считать.

— Большинством голосов прошел товарищ Волгин,— объявил он. Потом обернулся к Стогову, что-то сказал ему, нагнулся к Бутусову и наконец произнес в зал: — Так как товарищ Песцов не прошел, то второй вопрос снимается с повестки дня. Что же касается самого товарища Песцова, то он может остаться в заместителях, если пожелает, конечно.

Потом загремели, задвигали скамейками, и колхозники валом повалили на улицу. Члены президиума окружили Стогова, не обращая внимания на присутствие Песцова.

Песцов тихо вышел.

Стогов с Бутусовым и Семаковым уходили последними. От палисадника метнулась к ним темная фигура.

— Василий Петрович, мне поговорить с вами надо.

— Селина? — Стогов узнал агрономшу.— Давай поговорим.

Они сели на скамейку, и Надя, подождав, пока удалились Семаков с Бутусовым, сказала тихо:

— Он хотел колхозников поддержать... Это их идея насчет закрепления земли.

— Спасибо за откровенность, но, как видите, они проголосовали против.

Надя помедлила и проговорила, запинаясь:

— Это не они... Они не виноваты. И он не виноват... Ни в чем не виноват.

Стогов пожал плечами.

— Его и не винит никто.

— Я понимаю...— Она говорила, запинаясь, чтобы не расплакаться.— Но зачем же вы с ним так обошлись? Вы знали его и раньше... Он честный, умный... И его семейную историю знали. Вы все знали...

— Но помилуйте! При чем тут я? Выборы есть выборы.

— Это не выборы, это обструкция!

— Он сам ее устроил себе... И своим прожектерством, и своим легкомысленным поведением. Я не понимаю, что вы от меня хотите?

— Честности...

— Что это значит, товарищ Селина?

Стогов встал.

— Для вас ровным счетом ничего,— сказала Надя глухим голосом и быстро пошла прочь.

— Селина! Подождите! — крикнул Стогов.

Но Надя не остановилась.

Возле школьного палисадника ее встретил Егор Иванович.

— А я жду тебя, Надюша.

— Это ты, дядя Егор?

— Да, Надюша. Пойдем к нам. Что тебе сидеть в пустой избе-то! Пошли, пошли,— он ласково обнял ее за плечи...

— Ох, дядя Егор! — Надя опустила на его плечо голову, и вдруг те обида и боль, что сдерживала она, прорвались, и обильные слезы хлынули из ее глаз, как теплый дождь после сильной затяжной грозы.

— Дядя Егор! Дядя! За что же это?.. За что? — произносила она, по-детски всхлипывая.

— Ничего, дитя мое... Ничего... Все обойдется, все обойдется.

30

На другой день поутру Стогов и Песцов ехали в телеге до переправы. Они полулежали на охапке свежескошенной травы, еще влажной от утренней росы, и молчали, погруженные в свои думы.

Песцов думал все о том, как провалился на собрании. Ему вспоминалось скуластое, большеротое лицо Бутусова, его манерная учтивость и его обдуманная речь и то, как умело апеллировал он к собранию, вызывая подозрительность к Песцову. Вспомнилось и то, как устроил он переполох... И хохочущий зал. И взбешенного Стогова. А Надя? Каково ей теперь? Вчера, выходя из правления, он мельком встретился с ней взглядом. Это не взгляд, а немой крик!

Сразу после собрания он забрал свои вещи от Волги-

ных и отнес в конюшню, уложил их в телегу Лубникова. И всю ночь просидел у Надиного крыльца, но так и не дождался ее.

Стогов ночевал у Семакова. После собрания Волгин как-то скис, позеленел, всю ночь, говорят, пил, а утром и провожать не пришел. Сказали, что слег... Кого же теперь посылать председателем? Стогов перебирал в памяти возможных кандидатов. Семаков напрашивался... Он и предан, и свят, как говорится, да невежда. Его и парторгом-то нельзя больше рекомендовать. Селину тоже нельзя. Она одной веревкой с Песцовым связана. Та же анархия... Этот, поди, одумался после вчерашней бани-то. И все-таки на самостоятельную работу его опасно пускать. По крайней мере, выждать надо. И в райкоме держать после вчерашнего провала негоже.

В передке сидел Лубников, избочась и низко свесив ноги. Носком правой ноги он доставал до чеки и от нечего делать расшатывал ее. Он несколько раз пытался заговорить со своими седоками, но они не отзывались, и Лубников решил, что надо подобрать подходящую тему, такую, чтоб захватила.

А утро было тихое. Еще неяркое солнце грело мягко, словно обнимало. Легкий ветерок чуть трогал на луговинах пеструю, в июльских цветах траву, и она мельтешила в глазах, как речная толчея. Но отдельные, разбросанные там и тут деревья стояли неподвижно, окутанные белесой влажной дымкой, будто у каждого из них были причины хмуриться и быть недовольными.

Наконец Стогов не выдержал и спросил сердито:

— Ну как, Матвей, протрезвел?

— Я-то что?.. Это у вас теперь голова кружится от победы, как с похмелья.

— Упрекаешь, что не рекомендовал?

— Хвалю... По крайней мере, наши с вами карты теперь открыты.

— Глубоко же в тебе засело упорство.

— Говорите уж откровеннее — заблуждение.

— А что ж, и скажу... Ну с этой любовью еще понятно — лукавый попутал. А с землей что ты выдумал? С планом?.. С колхозом? Разогнать бригады... Хозяйчиков плодить. Инстинкты частнособственнические! Мы их тридцать лет корчуем, а ты насаждать решил. Да ты в себе ли?

— Какие там инстинкты. Один Никитин стоит больше всех этих бездельников из правления... Они только хлеб дармовой жуют и чирикают, как воробьи, громче всех. Вот кого мы расплодили — воробьев!

— Матвей, не туда гонишь... Одумайся.

— А я думаю...

«Да, я слишком много говорил и мало делал,— думал Песцов.— Но таким, как Стогов, слова что горох. На нем панцирь! Мы поговорим — да в сторону... Только подразним их. А они прут напролом, как слоны. И чем дальше, тем больше наглеют. Нельзя уступать им ни вершка».

И вдруг он понял, что должен теперь, сейчас же, решиться на что-то важное, сделать это... Иначе вся его жизнь потеряет смысл.

— Кажись, агрономша? — воскликнул Лубников, натягивая вожжи.— Откуда ее вынесло? Да стой, дьявол! — выругался он на гнедого мерина.

Мерин зафыркал, замотал хвостом и остановился. На обочине дороги, опираясь на велосипед, в розовой кофточке стояла Надя.

— Здравствуйте! А я на овсы ездила,— сказала она неестественно громким голосом.— Уезжаете?

— Да вот, уезжаем,— ответил Стогов.

— На овсы? — удивленно переспросил Лубников.— Да ить овсы-то лежат в трех верстах отсюда. За Солдатовым ключом.

Песцов привстал на локте и ткнул в спину Лубникова. Он заметил, что зеркала на руле Надиного велосипеда не было. «Совсем как девчонка»,— подумал он. Ему хотелось как-то подбодрить ее, и он сказал подвернувшуюся фразу:

— Все в порядке, Надюша.

— Все будет как надо,— добавил Стогов и приветливо кивнул ей.

Надя растерянно улыбнулась и сказала тихо:

— Волгин опять слег.

— Как? — встрепенулся Стогов.

— Совсем плох... Скорую помощь вызывают.

— Н-да...— выдыхнул Стогов.

— И еще...— Надя смотрела под ноги.— У Егора Ивановича кукурузу срезают.

— Кто срезает? — спросил Песцов.

— Правленцы. На подкормку. Утром комбайн послали... Ну, до свидания! — и пошла ровной мертвой походкой, ведя сбоку велосипед.

— Вот и достукались,— сказал Песцов.

Стогов шумно засопел, но отмолчался...

Лубников тронул мерина и воодушевленно заговорил, решив, что напал на тему, которая захватит:

— Баба хорошая, а без мужа ходит. Не дело. Нынче с этим строго. И правильно! Особенно ежели человек партийный! Тут надо, чтоб и семейная линия, и партийная одна в одну шли. Соответствовали, значит, как Бутусов на собрании сказал.

— Чего ты плетешься, как нищий? — оборвал его в сердцах Стогов.— Гони! — И уже про себя добавил: «Эдакая глухомань...»

Лубников приподнялся и, «хакнув», вытянул кнутом вдоль хребта мерина. Тот подпрыгнул и, кося влажным выпуклым глазом на возницу, потряхивая темной гривой, пошел машистой рысью.

Песцов долго смотрел на розовую Надину кофточку, горевшую на луговой траве как саранка. А телега все катилась, гремя и подпрыгивая, и все меньше и меньше становился розовый огонек Надиной кофточки и наконец затерялся, превратившись в один из бесчисленных цветков безбрежного лугового моря.

— Останови! — вдруг сказал Песцов Лубникову.

Лубников натянул вожжи.

— Останови, говорю!

— Тпру! Стой, сатана!

Телега остановилась. Матвей бросил на землю рюкзак и взялся за чемоданы. Стогов вопросительно смотрел на него.

— Буду ждать,— сказал Песцов Лубникову.— Отвезешь Стогова, на обратном пути прихватишь меня.

— Что это значит?

— Останусь здесь.

— Ты это серьезно? — спрашивал, хмурясь, Стогов.

— Да уж не до шуток.

— Я бы тебе не советовал...

— Отныне в ваших советах не нуждаюсь.

— Как знаешь... но учти, на бюро отвечать придется.

— Кстати, меня бюро послало в колхоз...

— Да уж в секретарях тебе не ходить после вчерашнего провала.

— А я пойду в заместители к Волгину. Или хоть рядовым.

Стогов долго и пристально смотрел на Песцова, пытаясь сказать что-то осуждающее, но вдруг неожиданно произнес:

— Пожалуй, это выход... Да! Волгин вышел из игры. За него останешься... Но помни вчерашнее и не зарывайся. Гони! — приказал он Лубникову и уже с отъезжающей телеги крикнул: — Чего надо — звони! И чтоб без этих самых... без выкрутасов!

31

Срезáть кукурузу приехали Круглов и Петр Бутусов на самоходном комбайне. Еще издали приметили они, как оторопел Егор Иванович,— вышел на дорогу и стоял как вкопанный.

— Видал, какой суслик... чует, что за его припасами пришли,— усмехнулся Круглов.

— Сейчас мы его раскулачим,— сказал Бутусов.

— Частный сектор! — кривил губы Круглов.— Я ему покажу, как плевать на правление.

Егор Иванович, чуя недоброе, преградил путь комбайну на краю поля. Комбайн остановился. Спрыгнул Круглов, вразвалочку подошел к Егору Ивановичу.

— В чем дело? — спросил тот.

— По решению правления колхоза мы приехали косить твою кукурузу,— отчетливо выговорил Круглов.

— Оно недействительно, ваше решение.

— Почему?

— Хотя бы потому, что меня на него не пригласили,— ответил Егор Иванович.

— А мы не обязаны перед всякими отчитываться.

— В таком случае и я не обязан тебе подчиняться! Пусть колхозники решают на собрании...

За разговором подошли братья Никитины и стали поодаль.

— Отойдите с поля! — крикнул Круглов. И, обернувшись к Бутусову, сказал: — Бутусов, выполняйте приказ!

Бутусов включил скорость, затрещали ножи хедера, и комбайн стронулся. Егор Иванович стоял — ни с места.

— А ну, куркуль, прочь с дороги! — крикнул Бутусов, наезжая.

— Дави, гад... дави! — сжимая кулаки, сказал Егор Иванович.

Злобно осклабившись, как-то похохатывая, Бутусов медленно стал наезжать на Егора Ивановича.

— Батя! — крикнул Степка и бросился к отцу.— Ты что? Смерти захотел?

— Пусть давит, гад.

— Да что ты? Что ты?!

Вместе с Иваном они схватили отца за руки и отвели почти из-под колес.

— Пустите меня! Пустите, говорю!

Егор Иванович разбросал сынов и схватил увесистый булыжник:

— Убью гадов!

Круглов, увидев булыжник, отпрыгнул в сторону и в момент обогнал комбайн. Егор Иванович бросился было за ним, но его опять схватили сыновья...

— Батя! Да ты что? Перестань... Успокойся.

— Ах, гады! Ах, мироеды! — ругался он, но движения его становились какими-то вялыми, и наконец он затих, понуро опустив плечи.

А комбайн уходил все дальше по полю, и все длиннее становилась оголенная полоса на зеленом поле. И, глядя на эти юные стебли, еще только что шелестевшие на ветру, а теперь недвижно лежавшие на стерне, Егор Иванович тихо плакал, не вытирая слез...

На Бобосово поле Песцов пришел только пополудни. На стерне стоял грузовик; вокруг него орудовали с вилами бабы, навивали кукурузу. Егор Иванович безучастно сидел в стороне, курил. Увидев Песцова, он вроде бы очнулся, но продолжал недвижно с удивлением смотреть на него, как на неведомую диковину.

— Не узнаешь, что ли, Егор Иванович? — сказал Песцов, подходя.

— Матвей Ильич! Неужто вернулся?

— Как видишь.

— У нас остаетесь? Насовсем?

— Остаюсь...

— Матвей Ильич, дорогой! — Егор Иванович вскочил, засуетился.— Да вы садитесь. Вот хоть на камушек. Вернулись? Ну, спасибо! Обрадовали старика... Садитесь вот сюда...

— Да вы не хлопочите.— Песцов присел.

— А меня, видите, как обстригли,— кивнул Егор Иванович на скошенную кукурузу.

— Слыхал... Вижу...

— Грозятся и остальную срезать... И звенья разогнать.

— Это мы еще посмотрим, кто кого разгонит! — раздувая ноздри, сказал Песцов.

— Вот это по-нашему, Матвей Ильич. Правильно! С ними только так и надо, лоб в лоб. — Егор Иванович столкнул кулаки.

— Я слишком много говорил, но мало делал, — ответил Песцов. — А для них слова, что горох. Они прут напролом, как слоны. Нельзя им уступать ни вершка.

— Ведь что делается, что делается! Одни с прутиком ходят, контролируют тебя да распоряжаются... Другие, вроде Петьки Бутусова, не работают, а вперегонки играют. Ведь он не пашет, а словно на пожар чешет. И на меня же злится, что я из этой игры в перегонялки вышел.

— Ничего, Егор Иванович, скоро мы с этой игрой покончим. — Песцов встал и после некоторой заминки спросил: — А вы, случаем, не знаете, где агроном?

— Надя? На дальние отгоны поехала.

— Я, пожалуй, пойду, Егор Иванович, — заторопился Песцов. — Вы уж извините, что ненадолго. В следующий раз поговорим.

— Конечно! — с радостью подхватил Егор Иванович. — А то что ж? Разговор, он и есть разговор. А дела прежде всего.

Километров десять отмахал Песцов, не передохнув, — пришел на отгоны уже в сумерках. Доярки отправились в стадо, и на станах не было ни души. «В стане ей нечего делать, — подумал Песцов. — Может быть, возле речки где-нибудь бродит. Поискать надо...»

Надя решила заночевать у доярок на дальних отгонах. Более всего она боялась остаться теперь на ночь одна, да еще в своей пустой избе с этими голыми холодными стенами.

Пока девчата доили коров, она долго, до устали гоняла на велосипеде по вечереющим лугам. Потом отыскала то укромное озерцо, где Песцов сорвал для нее нелюмбию, села у самого берега в высокую траву да так и затихла, опершись подбородком на колени.

И, словно с ней за компанию, притихли камыши, и листья, и вода. Ничто не шелохнется, нигде не шумаркнет... Будто все живое повымерло, застыло. И когда на дальнем берегу от темного кустарника поплыли, потянулись над травой белесые жидкие пряди тумана, она зябко повела плечами и еще плотнее обхватила колени. Она

упорно смотрела в воду, с каким-то мрачным отчаянием, словно все теперь зависело от этого озера: появится он оттуда или нет? И он появился: сначала выплыла откуда-то из-под берега его косматая голова, потом плечи, руки... Он был в клетчатой рубашке, через плечо перекинул вельветовую куртку. Она не испугалась, не вскрикнула... только зажмурила глаза и обернулась. Он стоял перед ней живой, настоящий и даже улыбался. Она поднялась медленно, не спуская с него глаз, точно боялась, что это видение и оно в любую секунду может исчезнуть. Так же молча обнялись они, крепко прижимаясь друг к другу, и растворились в этой высокой многоцветной траве.

Только на какое-то мгновение почувствовал Песцов ладонями жгучий холодок росы. Потом все погрузилось в густой и жаркий мрак, будто сама земля, напоенная за день горячим солнцем, раздалась перед ними, приняла их в себя и обдала этим восхитительным зноем...

На рассвете стало холодно. Песцов сбегал к ближнему стогу, надергал сена и расстелил его под низкорослыми дубками.

— Нет, милый! Я хочу смотреть на небо. Постели вот здесь, на бугре.

— А ты знаешь, как я впервые увидел небо?

— Нет, ты смотри на меня. Вот так! А теперь рассказывай.

Ее глаза были совсем близко, и ему показалось, что в самых уголках дрожат золотые искорки.

— Светлячки,— сказал он, целуя ее в глаза.

— Как ты увидел небо?

— Взглянул однажды на окно, оно горит. Заглянул в окно — ворота горят! И наверху всё в огне. «Какой пожар!» — говорю. «Глупыш ты. Это закат. Небо».— «А что такое небо?» — «Ничего, пустота».

— Люди привыкли к небу и не замечают его.

— Умница моя... Тебе не холодно?

— Мне очень удобно. Я и не знала, что земля такая удобная постель.

— Умница моя!

— Еще что?

— Красавица!

— Не говори так, милый. Я конопатая, нескладная... Меня жердиной прозвали за мои ноги.

— У тебя прекрасные ноги! — Он стал целовать ее

колени и выше колен. Кожа была прохладная и гладкая и пахла травой.

И она как-то робко вздрагивала от каждого прикосновения его губ, а он снова почувствовал, как жарко ударило в голову...

Он долго лежал рядом, обняв ее, тесно прижавшись, чувствуя ее сильное, упругое бедро. Его одолевала усталость, теплыми волнами накатывал сон. Но он крепился, сам не зная для чего. И все-таки задремал. Очнулся он на рассвете. Надя спала, все так же запрокинув лицо в небо, дышала ровно и тихо. Он накрыл ее курткой, привстал на локте.

Солнце еще не взошло, но восточный край неба уже заиграл пронзительно-светлой желтизной. Трава была седой, как в изморози. А озера совсем не было, вместо него лежала белая слоистая плитка тумана.

И рубашка, и брюки на нем были влажными. Песцов зябко передернулся, но вставать не стал, боялся разбудить Надю.

Закинув руки за голову, он прислушивался к тому, как доярки на станах погромыхивали ведрами, как призывно и жалобно мычали коровы. И где-то далеко-далеко высокими, короткими и сиплыми, словно сдавленными, звуками отзывался бугай: «Мм-ы-ы! Мм-ы-ы!» Потом хлестко и сухо ударил пастуший кнут, как будто сломали где-то рядом хворостину. И зычный, такой же сиплый как у бугая, прокуренный голос деда Якуши как-то округлоугрожающе застонал:

— О-о! О! Куда прешь? О!

И снова удар кнута и злобный собачий лай.

Потом поднялось багряное солнце. Песцов смотрел на него, не утомляясь, как тогда, на охоте. И ему стало казаться, что солнце как бы подпрыгивает от радости.

1963

ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ

1

Они вылетели утром на вертолете из райцентра Воскресенского. Целый час летели над таежной извилистой рекой Вереей, заваленной всяким лесным хламом на бурных порогах; бревна с такой высоты казались спичками, а черные выворотни и коряги, окруженные шапками пухлой пены, похожи были на ломаные сучья в снегу. Река то бурлила на перекатах, заметных по извилистой череде белесых гребней постоянных волн, то растекалась на спокойные темные протоки, обросшие по берегам купами краснотала, черемухи и дикой амурской сирени-трескуна.

Тайга стояла еще однотонно-зеленой, и только кое-где, на косогорах, проступали опаловые пятна рано пожелтевших берез и осин, да радужным оперением просвечивали порой сквозь мелколистные макушки ильмов плетни дикого винограда, обвившие эти могучие стволы и раскидистые ветви.

Рядом с пилотом сидел светловолосый и худой лейтенант милиции Коньков; у него было темное, словно продубленное лицо с аскетическими складками на впалых щеках. Такие лица бывают у людей, не знающих угомона ни днем, ни ночью. Он пристально глядел на эти игравшие слюдяным переблеском речные перекаты, на затененные и длинные протоки, стараясь определить то самое место, где ждали их председатель промысловой артели Дункай с проводником убитого зоолога Калганова.

Река везде петляла, везде были заломы, перекаты, песчаные косы да протоки — попробуй определи с эдакой высоты, которая из них та самая протока, называемая местными жителями Теплой? Правда, Семен Хылович

Дункай сказал по телефону, когда вызывал лейтенанта Конькова на место преступления, что на косе они разведут костер. Но из-за этого костра они чуть было не приземлились на другой косе, да вовремя спохватились — здесь, у костра, сидело не два человека, а четверо, валялись какие-то железные бочки, и у самого приплеска была черная развалистая лодка, совсем не похожая на длинный удэгейский бат.

Все это они заметили только при посадке, когда зависли на стометровой высоте над водой. Коньков толкнул пилота в бок и крикнул, прислонив ладонь к его уху:

— Это не они! Теплая протока километров за сто вверх по реке. Столько мы пролетели?

— Сейчас определим,— ответил пилот, глядя на приборы.— Примерно шестьдесят — семьдесят километров.

— Тогда крой дальше!

— А, чтоб тебя скосоротило! — выругался летчик, подымая вверх вертолет.

— А я виноват? И песчаная коса, и протока рядом, и костер... Попробуй разберись тут,— проворчал обиженно Коньков.

Помимо Конькова и пилота, в вертолете, в пассажирском отсеке, сидели два санитара в каких-то белесых, застиранных халатах, похожих на робы грузчиков, врач в черном костюме при галстучке и в соломенной шляпе, да еще в форменной одежде плотный и благообразный, с широким добродушным лицом следователь из районной прокуратуры, по фамилии Косушка.

Наконец увидели они длинную песчаную косу, и костер, и двух человек возле него; те, заметив вертолет, встали и начали размахивать руками.

— Вот теперь они! — крикнул Коньков.— Узнаю Дункая по шляпе; он у нее поля обрезал, чтоб, говорит, ветер не сдувал. Вон, видишь? Как ведро на голове...

Пилот утвердительно кивнул головой и начал снижаться прямо на песчаную отмель.

2

Дункай с Кончугой встретили прилетевших у трапа вертолета, словно делегацию,— Дункай почтительно протягивал всем по очереди руку и представлялся:

— Председатель артели Семен Хылович.

Коренастый, широкоплечий Кончуга стоял чуть поодаль и сосал маленькую бронзовую трубочку с черным мундштуком. Его плоское скуластое лицо было безразлично-спокойным, полным сурового достоинства.

— Где Калганов? — спросил следователь.

— Идите за мной,— ответил Дункай.

Он повел их к лесной опушке по песчаной косе. Не доходя до кустарников, Коньков жестом остановил Дункая и спросил:

— Вы тут без нас следы не затоптали?

— Да вы ж не велели,— ответил Семен Хылович с некоторой досадой, как маленьким.— Ни я, ни Кончуга вплотную к Калганову не подходили.

— А есть следы? — спросил Косушка.

— Есть. В кедах кто-то был,— ответил Дункай со значением, словно по секрету.— Сейчас увидите.

Он свернул за ивовый куст и остановился.

— Ах ты, голова еловая! — воскликнул Косушка, увидев Калганова.

Тот лежал лицом вниз, неудобно подвернув голову. Пуля вошла в грудь и засела в теле — на спине никаких отметин, расстегнутая кожаная куртка с распластанными вразлет по песку бортами, точно крылья подбитой птицы, была чистой от крови. По всему было видно, что человек убит наповал — упал и не трепыхнулся. От лесной опушки вел к нему размашистый след: его массивные сапоги с рифленой подошвой были в песке.

Косушка, даже не замеряя следов, сказал:

— Дело ясное — следы его.

А чуть поодаль, также из лесу, вели к нему другие следы, мельче, с частой рифленкой в елочку. Следы эти уводили обратно в лес.

Косушка снял с плеча фотоаппарат и стал фотографировать и убитого, и эти мелкие следы.

— Кажется, кеды,— сказал Коньков.

— Да! — кивнул головой Косушка.

— Женские, что ли? — спросил Коньков.

— По-видимому... тридцать седьмой — тридцать восьмой размер. Впрочем, у местных жителей вообще ноги маленькие.

Коньков невольно покосился на ноги Кончуги, но тот был обут в олочи.

— Семен Хылович,— спросил Коньков Дункая.— Вы не интересовались — куда ведут эти мелкие следы?

— Интересовались, такое дело,— ответил за Дункая Кончуга.— Следы ведут к ручью.

— А потом? — спросил Косушка.

— Потом пропадай,— ответил Кончуга.

— Надо поискать,— сказал Коньков.

— Бесполезно. Я сам искал вместе с Кончугой. Наверно, человек разулся и пошел по ручью,— ответил Дункай.

Косушка раскрыл свой черный чемоданчик, вынул оттуда флакон, встряхнул его, насыпал порошку и стал заливать след, оставленный кедом, белым раствором гипса.

— Странно! — сказал Коньков, разглядывая те и другие следы.— Вроде бы они шли вместе, но стреляли не сбоку, а в грудь.

— А может, замешкался Калганов и обернулся на возглас, или там под руку взяли,— рассуждал Косушка.— Повернулся грудью, в упор и выстрелили.

— По следам не скажешь,— отрицательно покачал головой Коньков.

— Почему не скажешь? — спросил Кончуга, потом вынул изо рта трубочку и указал мундштуком на реку: — Стреляй оттуда. Наверно, с лодки.

— Откуда ты знаешь? — спросил его Косушка.

— Тебе смотри следы: Калганов шел быстро из тайги, от своей палатки, к реке. Падал на ходу, вперед лицом. С реки стреляли! Другой человек тихо шел, его мелкий след, неглубокий. Осторожно шел, тебе понимай? Когда увидал убитый, его стоял немножко, потом назад ходил совсем тихонько.

Меж тем доктор осматривал и прощупывал тело Калганова.

— Когда наступила смерть? — спросил его Косушка.

— Должно быть, вечером или ночью,— ответил доктор.

— А когда стреляли? — спросил Коньков Кончугу.

— Не знай,— невозмутимо ответил тот.

— То есть как не знаешь? Где ж ты был? — спросил Косушка с удивлением и даже на Дункая поглядел вопросительно.

Дункай только плечами пожал. А Кончуга пыхнул дымом и сказал как бы нехотя:

— Вечером на пантовка ходи. Ничего не находил, вот какое дело. Утром приходил сюда — начальник убит.

— И выстрела не слыхал?

— Нет. Далеко ходи. Тайга.

— Что за пантовка? Речка или распадок?—спросил Косушка, раскрывая блокнот с намерением записать ответ Кончуги.

Коньков чуть заметно усмехнулся, отворачивая лицо. Дункай глядел с удивлением на Конькова, а Кончуга сунул опять в рот трубочку и задымил.

— Вы почему не отвечаете?—сердито сказал Косушка.

— Я все отвечал,—с той же невозмутимостью отозвался Кончуга.

Косушка вопросительно поглядел на Дункая.

— Что это значит? Его спрашивают, а он и отвечать не хочет.

— Пантовка не река и не распадок. Это охота на изюбра с пантами. По-нашему так называется,—извинительно пояснил Семен Хылович.

— Ну, хорошо!—строго сказал Косушка.—Тогда пусть ответит—где охотился?

— Река Татибе,—сказал Кончуга.

— Ладно, так и запишем,—Косушка сделал запись в блокнот.

— А ты когда сюда приехал, Семен Хылович?—спросил Коньков Дункая.

— Утром. Когда за мной Кончуга приехал, я тебе позвонил—и сразу сюда.

— Никого не встретил на реке?

— Нет.

Косушка поманил пальцем Конькова.

— Давай сходим в палатку Калганова!—И, обернувшись, спросил Кончугу:—Где его палатка?

— Там,—указал трубочкой на таежный берег Кончуга.

— Тело отнесите в вертолет,—приказал Косушка санитарам.—А пулю сохраните.

— Хорошо,—ответил доктор.

Потом дал сигнал санитарам, те уложили Калганова на носилки и двинулись к вертолету.

А следователь с Коньковым поднялись на берег. Палатка стояла под кедром. Ее передние полы были приподняты и привязаны к угловым крепежным веревкам. В палатке еще был натянут из пестрого ситца полог. Косушка приоткрыл его; там лежал спальный мешок на

медвежьей шкуре, а возле надувной подушки валялась кожаная полевая сумка.

Сфотографировав и палатку, и все вещи Калганова, Косушка взял сумку и заглянул в нее: там была сложенная карта, альбом для зарисовок, две толстых тетради в черном переплете — дневники Калганова, и еще лежало несколько блокнотов, исписанных, с вложенными в них газетными вырезками. Косушка раскрыл один из блокнотов и прочел вслух:

— «Речь идет о коренном пересмотре устаревшей точки зрения на лес как на нечто дармовое и бездонное...»

— М-да... А где же его карабин? — спросил Косушка.

— Его лежит под матрац,— крикнул Кончуга откуда-то сзади.

Косушка оглянулся: Дункай с Кончугой остановились возле кедра на почтительном расстоянии от начальства.

— Проверим! — Косушка откинул матрац.

Карабин лежал в изголовье.

— Странно,— сказал Косушка.— Ночью вышел из палатки и карабин не взял.

— Он, наверно, люди слыхал,— отозвался опять Кончуга.— Зачем брать карабин, если человек на реке?

— Уж больно много ты знаешь,— усмехнулся Косушка.

— Наши люди все знают,— невозмутимо ответил Кончуга.— Калганов был храбрый начальник. Все говорят, такое дело.

— Ну, тогда скажи: кто убил Калганова?

— Плохие люди убили.

— Оч-чень хорошо! — Косушка хлопнул себя по ляжкам.— А фамилия? Кто они такие?

— Не знай.

— Ну что ж, зато мы узнаем,— сказал Косушка, пристально глядя на Кончугу, потом, после выдержки, приказал Дункаю: — Сложите все вещи Калганова и отнесите их в вертолет.

А Конькова, взяв под локоток, отвел в сторону:

— Тебе придется здесь остаться. Установи, кто ездил вчера по реке. И вообще пошарь. А с Кончуги глаз не спускай.

3

Коньков решил первым делом сходить на лесной кордон, где жил лесник Зуев. Вытащив на берег бат, они с Дункаем и Кончугой пошли по еле заметной лесной тропинке.

Неподалеку, за приречным таежным заслоном, открылась обширная поляна с пожней, поросшей высокой, по щиколотку, салатного цвета отавой; посреди пожни возвышался внушительных размеров стог сена, побуревшего от долгого августовского солнца.

Изба лесника, окруженная хозяйственными пристройками: амбаром, сараем, погребом и сенником, стояла на дальнем краю у самого облесья...

И огород был на кордоне, засаженный картошкой, огурцами, помидорами и всякой иной овощной снедью, и все это было обнесено высоким тыном от лесных кабанов. Недурственно устроился лесник, подумал про себя Коньков.

На крыльце их встретила молодая хозяйка: миловидная, опрятно причесанная, с тугим пучком светлых волос, заколотым на затылке огромными черепаховыми шпильками. Ее большие серые глаза были в чуть заметных красных прожилках, и смотрела она как-то в сторону, будто кого-то ждала, и от нетерпения прикусывала пухлые губы. Одета она была в пушистую бурую кофту ручной вязки, синие брюки, заправленные в хромовые сапожки. На руках у нее висели пестрые половики.

Поздоровавшись с Дункаем, она пригласила всех в дом:

— Проходите, пожалуйста! А я вот полы помыла только что,— указала она на половики и первой вошла в сени.

— Гостей ждете?—спросил Коньков.

— Какие тут гости!—не оборачиваясь, сказала хозяйка и стала раскатывать от порога половики.— Проходите и присаживайтесь.

В избе было чисто и уютно; по стенам развешаны ружья, чучела птиц и засушенные, связанные пучками травы. Хозяйка поставила на стол глазурованную поставку желтоватой медовухи, потом соленые грибы, вяленую рыбу, огурцы:

— Кушайте на здоровье! Небось проголодались с дороги.

Дункай налил в стаканы мутноватой медовухи, а

Коньков, заметив на левом виске у хозяйки синяк и сообразив — почему она на крыльце все смотрела в сторону, подворачивая правую щеку, спросил с улыбкой:

— Кто же вам эту отметину на лице поставил? Или с лешим в жмурки играли?

— Да в погреб вечером спускалась за молоком, оступнулась и ударилась об косяк,— ответила она, слегка зардевшись.

— А где хозяин? — спросил Коньков.

— В городе. Третьего дня уехал в лесничество.

— Вы вчера вечером или ночью не слыхали выстрела?

— Нет, я спала,— поспешно ответила она.

— А недалеко от вас Калганова убили. На Теплой протоке.

— Мне Кончуга говорил... утром,— и глаза в пол.

— И мотора с реки не слыхали? — Коньков подался к ней всем корпусом, как бы желая расшевелить ее, приблизить в эту мужскую застолицу, говорить, глядя друг на друга глаза в глаза.

Она сидела поодаль от стола на табуретке, с лицом печальным и спокойным, и, как бы понимая этот тайный вызов Конькова, посмотрела на него безо всякой робости, в упор:

— Нет, не слыхала. А вы кушайте, пожалуйста, кушайте!

— Давайте горло прополощем! — сказал Дункай.— Потом поговорим.

Мужики чокнулись стаканами, и все выпили.

— Хорошая медовуха! — похвалил Коньков.— С хмелем?

— Самая малость,— ответила хозяйка.

— А вы что ж не пьете за компанию?

— У меня работы много, а с этой медовухи в сон клонит.

— Вы знали Калганова? — неожиданно спросил ее Коньков.

— Да,— она опять опустила голову и стала разгонять руками складки на брюках.

— Когда его видели в последний раз?

— Третьего дня. Они с Кончугой останавливались у нас на ночь. Муж еще был дома. Они располагались там, на сеновале.

— А когда уехали?

— Тогда же, утром. Они на реку, муж в город.

На дворе закудахтали куры и залаяла собака. Хозяйка вышла из дому. Коньков встал из-за стола, прошелся по дому, остановился у подпечника, где хранилась обувь: ботинки, сапоги, туфли.

— Чего гуляешь от стола?—спросил его Дункай.

— Вы пейте, ешьте!—сказал он своим напарникам.— Я дома заправился.

Он закурил и вышел в сени; здесь в углу валялись старые шкуры, олочи, резиновые сапоги; на стенах висели искусно сплетенные связки новых корзин, липовые да вязовые туеса, берестяные лукошки.

Вернулась хозяйка с тарелкой красных помидоров.

— Ну, что там?—спросил ее Коньков.

— Ястреб кружит. Куры разбежались.

— У вас тут прямо настоящий промысел!—кивнул Коньков на лукошки и туеса.

— Сам занимается, любитель. Тайга.

— Сапожки у вас аккуратные. Какой размер?

— Тридцать восьмой.

— А я вот в бахилах топаю. Сорок третий! Тяжело в тайге в сапогах-то: ноги тоскуют, как говорят у нас в деревне. Но форма одежды, ничего не попишешь. А вы чего в сапогах? Олочи удобнее. А то кеды! С дырочками.

— Нет, я не ношу кеды,—поспешно сказала хозяйка, стараясь пройти в избу.

Но Коньков жестом задержал ее:

— А может быть, Кончуга в кедах ходил? Вы не заметили? В тот самый вечер, когда они ночевали у вас?

— Я не обратила внимания... Но вряд ли. Удэгейцы-охотники не любят кед.

— А где у вас обувь хранится?

— Старая вон в углу, то есть здесь, в сенях, да еще на кухне, в подпечнике. Тут рабочая обувь. Сподручно. А новая в шкафу. Хотите поглядеть?

— Спасибо. Я вам верю, Настя.—Коньков поглядел на нее пристально и спросил:—Кажется, вас так зовут?

— Да,—Настя отвела взгляд и потупилась.

4

— Батани, а чем занимался твой хозяин?—спросил Коньков Кончугу, когда они садились в лодку.

— Смотрел следы изюбра, записывал—какой трава ест изюбр, куда его ходил.

— А почему он выбрал для лагеря эту косу?

— Нерестилище рядом. Калганов рыбу считай. Смешной человек, понимаешь. Разве хватит ума столько рыбы считать?

— Ишь ты какой дотошный! Тогда давай на нерестилище! — приказал Коньков.

Кончуга завел мотор, и бат стремительно полетел вверх по реке.

— А ты чем занимался? — спросил опять Кончугу Коньков.

— Немножко рыбачил.

— Х-хе! Немножко? Вон, целый мешок навялил,— Коньков раскрыл лежащий на дне бата мешок.— И ленки, и кета... А ведь нерест начался!

— Мне максиму давали на нерест, сто пятьдесят штук.

— Максимум,— усмехнулся Коньков.— Ты уж, поди, три раза взял свою максиму.

Коньков поднял длинную острогу со дна лодки и спросил:

— Все острогой бьешь?

— Есть такое дело немножко.

— А вот лейтенант штрафанет тебя за такое дело,— сказал сердито Дункай.— Ты что, не знаешь, что острогой нельзя бить рыбу? Да еще во время нереста!

— Почему не знай? Знаем такое дело.

— Зачем же нарушаешь? — спросил Коньков.

— Я совсем не нарушаю. Я только на еду брал. Себе да собакам немножко.

Коньков рассмеялся.

— Уж больно большой аппетит у твоих собак!

— Он изюбра за неделю съедает со своими собаками,— сказал Дункай.

— За неделю нельзя,— покачал головой Кончуга.— За две недели можно съесть, такое дело.

— Быка за две недели? — удивился Коньков.

— Можно и корову,— отозвался невозмутимо Кончуга.

— Да у тебя просто талант! — опять засмеялся Коньков.

— Немножко есть такое дело.

Кончуга сбавил обороты и погнал бат к берегу. Впереди загородил реку огромный залом: свежие кедро-

вые бревна вперемешку со старыми корягами торчали во все стороны и высились горой.

Коньков выпрыгнул на берег первым, Дункай и Кончуга вытащили на отмель лодку и пошли к залому за Коньковым.

— Здесь работал, говоришь, Калганов? — спросил Коньков Кончугу.

— Здесь сидел, — указал тот на обрывистый берег, — смотри и считай — сколько рыбы приходит сюда и подыхай.

Вся отмель перед заломом была усеяна трупами дохлой кеты; иные еще трепетали, били хвостами и, судорожно замирая, хватали жабрами воздух.

И вода перед заломом кишела кетой: одни с разлета выпрыгивали из воды и, сверкая радужным оперением, долетали до самой вершины залома, потом шмякались на бревна и, пружиня всем телом, изгибаясь и подпрыгивая, все в кровоподтеках и ссадинах, снова падали в воду; другие, обессилев от этой отчаянной таранной атаки, вяло разбивали хвостами бугорки прибрежной гальки и не в песок, а в воду выметывали икру, которую тотчас уносило течением, угоняло пустые икринки, не оплодотворенные молоками.

— Что ж это такое? Кто залом навалил? — со злым отчаянием спросил Коньков.

— Леспромхоз. Они ведут сплав, — ответил Дункай.

— Но это ж нерестовая река! — шумел Коньков. — По ней запрещено сплавлять лес, да еще молем.

— Калганов тоже говорил, запрещал такое дело, — отозвался Кончуга.

— Ну и что? — спросил Коньков.

— Сплавляют, — ответил Дункай.

— Хоть бы залом растащили. — Коньков покривился, как от зубной боли.

— Ого! — воскликнул Дункай. — Целой бригаде на неделю работенка.

— Калганов требовал. Растащили, такое дело, — сказал Кончуга. — Два дня проходил — новый залом, понимаешь.

— А что делать? — спросил Дункай. — Дороги нет. Остается одна эта река. Вот по ней и сплавляют.

— Почему же дорогу не строят? — зло спросил Коньков.

— Хлопот много. Без дороги легче план выполнять, —

усмехнулся Дункай.— Берут только толстые кедры. Одно дерево повалят — сразу десять кубометров есть. А другие деревья заламывают — наплевать.

— Отчего другие деревья не берут? — спросил Коньков.

— Ильмы, ясень, бархат, лиственница — все тонет.

— И все молчат? — накалялся Коньков.

— Почему молчат? — спросил Кончуга.— Калганов шумел, понимаешь.

— А вы почему молчите, Семен Хылович? Вас же кормит эта река и тайга!

— Кому говорить? Кто нас послушает? — Дункай вяло махнул рукой на залом и пошел к лодке.— Мы уж привыкли.

— Ты привыкыл, а я не привыкыл,— ворчал Кончуга, идя вслед за Дункаем.— Тайга болеть будет, гнить. Плохое дело, привыкыл...

— Ладно, мужики! — сказал Коньков примирительно.— Давайте съездим на ту косу, где мы хотели приземлиться на вертолете. Что там за люди? Чем они занимаются?

— Это лесная экспедиция,— ответил Дункай.— Они определяют сортность леса.

— Каким образом?

— Берут полосу вдоль реки, метров на двести шириной, и считают — сколько и каких деревьев растет на этой полосе? Какой возраст? Что можно брать, что нельзя...

— А давно они здесь работают?

— Да, пожалуй, второй месяц.

— Тогда едем к ним! — приказал Коньков.— Они должны знать Калганова и видели, наверно, кто ночью по реке проезжал.

Не успел еще Кончуга завести мотор, как где-то за лесистым холмом раздался далекий, но зычный звериный рык.

— Вроде тигр? — сказал Коньков, прислушиваясь.

Но рык не повторился.

— Чужой приходил,— ответил Кончуга, запуская мотор.

— То есть как чужой? — удивился Коньков.— У вас что, свои тигры здесь пасутся?

Кончуга раскурил свою трубочку, вывел бат на стремнину и только тут ответил:

— Есть и свои, понимаешь. На Арму один, на Татибе два, где солонцы — тоже есть тигрица и два тигренка. Я все тигры знай. Этот чужой.

— Ты что, видел его?

— Не видел, такое дело.

— Как же ты определил, что он чужой? По рыку, что ли?

— Его собачек таскал.

— Твоих собак?

— Моих не трогал. Которые лес сортируют, у них утащил. Такой тигр человека может кушать.

— На то он и тигр, — сказал Коньков.

— Это не наш тигр. Его из Маньчжурии приходил. Старый тигр, охотится на изюбрь не может. Только собачек таскай. Корову может, овечку, человека.

— Это кто ж тебе говорил, Калганов?

— Я сам знай.

— М-да... — многозначительно покачал головой Коньков и вспомнил давешнюю фразу Косушки: «Уж больно много ты знаешь».

5

Лесотехническую экспедицию они застали на косе. Тут горел костер, на перекладине над костром висели закопченные чайник и котел. Рабочие, вернувшиеся из тайги на обед, успели разуться, скинуть защитного цвета куртки с капюшонами и сетками от комаров; трое блаженно растянулись возле огня, четвертый лежал в палатке, высунув наружу ноги в шерстяных носках.

Коньков, сидевший в носу бата, махнул Кончуге рукой, тот резко вырулил и с разгона направил бат на песчаную отмель. Лодка, скрежеща брюхом о песок и гальку, почти всем корпусом выскочила на сухое.

Коньков выпрыгнул первым из бата и подошел к костру:

— Здорово, ребята!

— Здорово, начальник! — иронично отозвался бородатый детина в черной рубахе с расстегнутым воротом.

Видно было по тому, как остальные рабочие помалкивали, этот детина и был бригадиром.

— Какой я начальник? — сказал Коньков, присаживаясь на корточки и вынимая из костра головешку, чтобы

прикурить.— Я из тех, которые следы потерянные ищут, вроде гончих на охоте.

— Их вроде бы легавыми зовут,— подмигнул Конькову беловолосый парень с облупленным от загара носом и прыснул в кулак.

— А ну, заткнись! — цыкнул на него бригадир.

— Да я это к слову... Насчет чего иного вы не подумайте,— оправдывался тот, разводя извинительно руками.

— Легавые — это те, которые хвостом виляют,— сказал Коньков, таким же озорным манером подмигивая беловолосому парню.

Все дружно рассмеялись.

— Я из района, участковый уполномоченный; звать меня Леонидом Семеновичем.— Коньков протянул руку бригадиру.

— Павел Степанович,— отрекомендовался тот.

— Вот и гоже! — сказал Коньков.— Вы давненько на этом месте?

— Четырнадцатый день. А что? — спросил бригадир.

— Чем занимаетесь?

— Тайгу сортируем.

— Слыхали, Калганова убили? — сказал Коньков, глядя поочередно на рабочих.

— Какого Калганова? Ученого, что ли? — аж привстал бригадир.

— Его...

— Когда?

— Где? — допытывался каждый.

— Нынче ночью. На Теплой протоке,— ответил Коньков.

— А может, вечером, понимаешь,— сказал Кончуга, подходя и присаживаясь к костру.

— Какая сволочь? — процедил сквозь зубы бригадир и заковыристо выругался.

— Кто сволочь? — спросил Коньков.

— Да тот, кто убил.

— Во был мужик! Настоящий таежник,— сказал третий рабочий, пожилой лысоватый мужчина, заросший седой щетиной.— Травы нам привез для подстилки в сапоги. И что за трава такая? И пружинит, мягкость придает, и в труху не перетирается.

Подошел к костру и Дункай; в наступившей тишине неторопливо раскурил сигарету от головешки и сказал:

— Забо-отливый был мужик, это правда. Обо всем заботился: и о людях, и о лесе, и о воде. Да не всем это нравилось. У одних забота на словах, другие же с кулаками лезут доказывать свою заботу. В драку лезут. Таких у нас не жалуют.

— Значит, видишь безобразие — и посапывай себе в кулак? — спросил, недобро смерив Дункая взглядом из-желта-смоляных глаз, Павел Степанович.

— Да я не про то,— покривился Дункай.— За порядок переживай, но и себя не бросай, как затычку, в любую дыру. Прорех у нас много. Всех прорех своим телом не закроешь.

— Рассуждать мы научились, а делаем все — через пень колоду валим,— сказал более для себя Павел Степанович и уставился долгим взглядом в костер.

А пожилой мужичок с лысиной подтянул свои сапоги, вытащил из них травяную прокладку и положил просушить ее поодаль от костра.

— Травки подарил нам,— говорил он ласково.— Раньше про таких говорили — божий человек. Мир праху его!

— Такой трава хайкта называется,— отозвался Кончуга.— Я сам доставал ее.

— Ты лучше расскажи, как стадо кабанов съел? — сказал беловолосый парень, посмеиваясь и подмигивая Кончуге.

Павел Степанович грустно усмехнулся и встряхнулся как бы из забытья.

— Это нам Калганов рассказывал,— пояснил бригадир Конькову.— Зимой, говорит, охотились с Кончугой. Стадо кабанов подняли. Я, говорит, убил трех, а Кончуга шесть штук. Снег лежал глубокий. Как вывозить кабанов? Прямо беда. Я, говорит, пошел в деревню за лошадью. Пятьдесят верст просквозил на лыжах. Нет лошадей — все в извоз ушли. Я в райцентр, говорит, подался. А Кончуга посадил всю свою семью на нарты и на четырех собаках привез к убитым кабанам. Раскинул палатку и пошел пировать. Пока, говорит, я лошадь нашел, пока приехал — он уже пятую свинью доедал.

Все засмеялись, и только Кончуга невозмутимо посасывал свою трубочку и смотрел в огонь, будто и не слушал никого.

— У кого ж это рука поднялась? — опять с горечью, покачав головой, спросил пожилой рабочий.

— Кто-нибудь из вас видел вчера вечером мотор на реке? Никто не проезжал тут? — спросил Коньков.

— Вроде бы тарахтел мотор,— сказал бригадир.— Да мы спали в палатке.

— А Николай с Иваном? — воскликнул пожилой рабочий.— Они же долго у костра возились, картошку чистили, рыбу.

— Николай! — крикнул бригадир, обернувшись к палатке.

Но высунутые из палатки ноги в шерстяных носках и не шелохнулись.

— Во зараза! Уже успел заснуть,— удивился бригадир.

— Сейчас я его подыму,— сказал парень с облупленным носом и, схватив дымарь, строя всем уморительные рожи, стал на цыпочках подкрадываться к палатке.

Перегнувшись через лежащего и просунув дымарь в палатку, парень начал качать ручку дымаря. Через минуту из палатки во все дыры повалил густой дым, как из худой печной трубы. Потом оттуда раздался протягновенный мат, прерываемый чихом и кашлем, и здоровенный верзила, протирая глаза, высунул из палатки взлохмаченную голову. Увидев беловолосого с дымарем, крикнул:

— Ты чего, спятил?!

— Это ж я паразитов выкуривал,— ответил тот и, кривляясь, стал отступать к костру.

— Ах ты, химик! — заревел верзила.— Я те самого раздавлю сейчас, как паразита.

Не успел разбуженный встать на ноги, как беловолосый бросил дымарь и дал стрекача в таежные заросли.

— Ладно тебе ругаться, Николай! — сказал бригадир, едва скрывая улыбку.— Дело есть к тебе. Вон лейтенант поговорить с тобой хочет.

Заметив Конькова, Николай заправил рубаху и подошел к костру.

— Вы вчера вечером не видели моторной лодки на реке? — спросил опять Коньков.— Или ночью, под утро.

— Слыхал мотор... И вроде бы не один. Да уж в палатку залез.— Он силился что-то вспомнить, морщил лоб, шевелил бровями и вдруг воскликнул: — Стой! А Иван-то еще на берегу сидел. Рыбу разделывал.

— Что за Иван? — спросил Коньков.

— Это кашевар наш, Слегин.

— А где он?

— Черт его знает! Вот сами ждем,— сказал брига-

дир.— Пришли на обед, а его нет. Утром пошел на Слюдянку хариусов ловить.

— А где эта Слюдянка? — спросил Коньков.

— Да километра два отсюда будет до нее. Речка. Чистая такая. Форели в ней много.

— Когда же он придет?

— А кто знает? Он у нас заводной,— ответил бригадир и снова выругался.— Если рыба клюет, до вечера просидит. Зато уж без добычи не приходит. Тут с него хоть три шкуры дери. Улыбается, как дурачок: крючок, мол, зацепился за тайменя, чуть в горы не увел. А я вот хариусов по дороге подбирал. Все тайменя обещает принести. Мы уж привыкли к его выходкам и не ждем его. Сами вон обед варим,— кивнул бригадир на кипящий котел.

— Эх, работенка! — сказал Коньков, откидываясь на спину и закладывая ладони на затылок.— Устал, будто чертей гонял. С трех часов утра на ногах. Не везет!

— Зачем не везет? Можно найти кашевара,— сказал Кончуга.

— Где ты его найдешь?

— Я схожу, такое дело.

— Разминешься,— сказал бригадир.— Иван выбирает места укромные.

— Почему разминешься? — возразил Кончуга.— Тайга не город, здесь все, понимаешь, видно.

— Пусть сходит,— сказал пожилой рабочий.— Иван уж там засиделся.

— Ну, валяй! — отпустил Кончугу Коньков.— Только смотри сам не заблудись.

— Смешной человек, понимаешь,— Кончуга пыхнул трубочкой, встал, закинул карабин за спину и ушел.

— А вы отдохните, Леонид Семенович,— предложил Конькову Дункай.— В лодке у нас медвежья шкура.

— Зачем в лодке? Вон лезь в палатку. Там надувной матрац,— предложил бригадир.— А хочешь — лезь под полог.

— Я и в самом деле малость вздремну,— сказал Коньков и полез в палатку.

Заснул он быстро, как в яму провалился. Ему снился сон: будто он еще мальчишкой идет полем, по высоким оржам; чем дальше идет, тем все выше становится рожь, наконец он скрылся в этих колосках с головой, и ему стало жутко оттого, что не видит и не знает, куда надо

идти. И вдруг откуда ни возьмись налетают на него два лохматых черных кобеля, хватают его за штаны и начинают рвать их и стаскивать. Он смотрит по сторонам — чего бы найти и огреть этих кобелей, но нет ни камня, ни палки, одна рожь стоит вокруг него стеной. Он хочет ударить их кулаком, но не может: руки онемели от страха и не слушаются. Хочет крикнуть — язык не ворочается, и голоса нет.

— Да проснитесь же вы, наконец! — услыхал он над самым ухом и открыл глаза.

Над ним склонился Дункай и теребил его за брюки и за китель.

— Что случилось? — тревожно спросил Коньков, вскакивая.

— Кончуга вернулся. Говорит — кашевара нет нигде.

— Что ж он, сквозь землю провалился? — сердито проворчал Коньков.

— Наверно, в другое место ушел. Сидит где-нибудь на протоке и рыбачит. Тайга велика. Чего делать будем?

Коньков наконец пришел в себя от сонной одури, вылез из палатки, подошел к костру. Тут вместе с рабочими сидел и Кончуга.

— Ты хорошо смотрел? — спросил его Коньков.

— Хорошо. Кричал много. На Слюдянка нет никого.

— Павел Степанович, куда же он делся? — обернулся Коньков к бригадиру.

— Где-нибудь рыбачит в другом месте. Да вы не беспокойтесь. Вечером придет,— отвечал тот, помешивая в котле деревянной ложкой.— Отдохните у нас. Вместе и пообедаем.

— Нам, брат, не до отдыха,— сказал Коньков, потом повел носом: — А что у вас на обед варится? — и бесцеремонно заглянул в котел.

— Нынче варим рыбные консервы,— ответил бригадир, вылавливая огромной ложкой хлопья разваренной лапши и нечто розоватое, похожее на раздерганные и расплывшиеся клочья розовой туалетной бумаги.

— Значит, нынче консервы! А вообще что варите? — спросил Коньков.

— Уха бывает. Изюбрятину варим.

— А что, изюбрятина кончилась?

— Есть. Да Иван куда-то схоронил. Искали, искали... Где-то у воды прикапывает, в холодке. Или в реку опускает. В кастрюле она у него хранится, веревкой

обвязана, да еще в целлофановом мешке. Так она сохраннее.

— А где достали изюбрятину? — спросил Коньков, все более оживляясь.

— У охотников Иван покупает.

— Вы ему продавали, Семен Хылович? — спросил Коньков у Дункая.

— Нет,— ответил тот твердо.— К нам за мясом он не приезжал. Да и пантовка кончилась.

— У вас кончилась, у других нет,— усмехнулся бригадир.— До сих пор бьют. Тут эти охотники шныряют, как барыки на базаре. Вот приедет Иван — он вам все расскажет.

— Ладно,— сказал Коньков.— Мы завтра приедем. Только вы предупредите его, чтобы он никуда не уходил.

— Будет сделано,— сказал бригадир.

— Кончуга, заводи мотор! — приказал Коньков, вставая.— Поехали к вам в село.

6

Село Красное стояло на высоком берегу укромной протоки. Сотни полторы новеньких домов, рубленных в лапу, то есть с аккуратно обрезанными да обструганными углами, крытые серым шифером и щепой, вольготно раскинулись по лесному косогору. Каждый поселянин норовил повернуть свой дом окнами на реку, то есть на протоку, широкий и спокойный рукав, отделенный песчаным наносным островом от протекавшей неподалеку шумной и порожистой реки Вереи.

Тут не было ни улиц, ни переулков, отчего все село смахивало на огромное стойбище; каждая изба, казалось, стоит на отшибе, в окружении зарослей лещины, жимолости да дикой виноградной лозы. Между отдельными группами домов стояли даже нетронутые раскоряченные ильмы, голенастые деревья маньчжурского ореха да густые иссиня-зеленые шапки кедрача. Жили здесь и удэгейцы, и нанайцы, и орочи, и русские, и татары. Дункай, посмеиваясь, называл свое таежное село лесным интернационалом.

Они подъехали к песчаному берегу, где на приколе стояли такие же, как у них, длинные долбленые баты, похожие на африканские пироги. Дункай цепью привязал бат к столбу, врытому у самого приплеска, и сказал Конькову:

— Я схожу домой, прикажу хозяйке, чтобы обед приготовила.

— Спасибо, Семен Хылович! А может, у вас столовая есть? Неудобно, право,— засмеялся Коньков.

— Столовая только вечером откроется. А до вечера живот к спине подведет. Как допрашивать будешь? — засмеялся Дункай.— Пошли со мной!

— Я через часик приду. Пока вон со стариками поговорю.

Старики сидели тут же на берегу на бревнах, поглядывали на приезжих, покуривали.

— Ну, давай! Тебе виднее.

Дункай взял весла и ушел домой, а Коньков с Кончугой поднялись на высокий берег, к бревнам. Здесь же один старик с редкой седой бороденкой и жидкими усами, засучив рукава клетчатой рубашки, заканчивал работу над долбленной из цельного ствола тополя остроконечной лодкой-оморочкой. На бревнах, в синих и черных халатах — тегу, расшитых ярким орнаментом по бортам и по стоячему вороту, сидело пять стариков, каждый с трубочкой во рту. Возле бревен кипел черный большой казан со смолой.

— Багды фи! [1] — приветствовал их Коньков по-удэгейски.

— Багды фи! Багды! — оживленно отозвались старики.

— Хорошая будет оморочка! — похвалил Коньков плотника.— На такой до большого перевала доберешься, легонькая, как скорлупка.— Коньков хлопнул ладонью по корпусу новой оморочки, и гулкое эхо шлепка отдалось на дальнем берегу.— Во! Звенит как бубен. Шаманить можно.

Старики опять, довольные, заулыбались.

— Одо! [2] — обратился Коньков к самому ветхому старику с желтым морщинистым и безусым лицом, в меховой шапочке с кисточкой на макушке.— Ты знал ученого Калганова?

— Калганова все село наше знай,— ответил тот.— Хороший человек был. Кто его убивал, свой век не проживет. Сангия-Мама́ [3] накажет того человека.

---

[1] Багды фи! — удэгейское приветствие, вроде русского «здорово!». Переводится как «ноги есть!».

[2] Одо — уважительное обращение к старику *(удэг.)*.

[3] Сангия-Мама́ — главное лесное божество *(удэг.)*.

— А у вас на селе не знают, кто это сделал?

— Не знают.

— Когда у вас последний раз был Калганов?

— Неделя, наверное, проходила.

— Почему наверное? А точнее?

Собеседник Конькова посасывал трубочку и молчал, словно и не слыхал вопроса Конькова.

Коньков допытывался у других стариков:

— А может, две недели прошло? Никто не помнит?

— Может быть, две, понимаешь,— ответил лодочник.

— Так две или одна?

— Зачем тебе считай? Две, одна — все равно,— сказал старик в шапочке.

— Нет, не все равно,— сказал Коньков, несколько обескураженный таким безразличием.

Потоптался, подошел опять к плотнику, тесавшему лодку.

— Не продашь?

— Для себя делай,— ответил тот.

— Н-да... А кто из вас хорошо знал Калганова?

— Сольда,— ответил лодочник.

— Который это Сольда? — спросил Коньков.

— Я, понимаешь,— ответил старик в шапочке.

— Ты с ним в тайге бывал?

— Бывал, такое дело. Проводником брал один раз.

— Ты ничего не замечал за ним? Может быть, он ругался с кем? Враги у него были?

— Может, были. А почему нет?

— Да не может быть, а точно надо знать.

— Не знай.

— Ну, как он относился к вашим людям и вы к нему? Не обижал?

— Его смешной, понимаешь,— ответил Сольда, выпуская клубы дыма.— Немножко обижал.

— Каким образом? — оживился Коньков.

— Его говорил: человек произошел от обезьянка.

Старики засмеялись, а иные стали плеваться.

— А чего тут смешного или обидного? — удивился Коньков.

Сольда поглядел на него, как на неразумного младенца, вынул трубочку и мундштуком ткнул себя в голову.

— Разве я обезьянка? Тебе чего, ребенок, что ли? — и, скривив губы в саркастической усмешке, стал говорить

горячо и яростно: — Мы видали, такое дело, обезьянку. В Хабаровске было совещание охотников. Потом в цирк возили, обезьянки показывать. Маленький зверь вертится туда-сюда. Как может человек произойти от такой зверь? Разве я, понимаешь, туда-сюда голова верти? Детей за такое дело наказывать надо.

Коньков едва заметно улыбнулся и спросил:

— А как ты думаешь, Сольда, от кого произошел человек?

— Наши люди так говорят: удэ произошел от медведя. Его зовут Одо, старший рода, понимаешь. Это правильно. Медведь ходит важно, никого в тайге не боись. На двух ногах может ходить, одинаково человек.

Старики закивали головами:

— Так, так...

— Ну, ладно! Удэ произошел от медведя,— согласился Коньков, поблескивая хитровато глазами.— А русский от кого? Или, допустим, татарин?

— Я не знай. Ты, может, от обезьянка. Чего стоишь, вертишься? Садись!

Старики опять засмеялись. Коньков, тоже посмеиваясь, сел на бревнышко, закурил.

— Все ты знаешь, Сольда.

— Конечно,— согласно кивнул тот.

— А вот скажи, что это за тигр тут появился? Говорят, из Маньчжурии пришел? Собак таскает.

— Э-э, Куты-Мафа́[1] собачку любит кушать. И наш, и маньчжур одинаково.

— Но этот бродит везде, людей пугает?

— Э-э, тигр нельзя говорить. Сондо![2] — сказал Сольда и пальцем покрутил вокруг себя.— Его все слышит. Потом пойдешь на охоту — его мешать будет. Сондо!

— Ну, ты прямо профессор,— опять усмехнулся Коньков.

— А почему нет?

С невидимой за лесным заслоном реки послышался отдаленный стрекот мотора. Коньков мгновенно встал и прислушался.

— Ровно гудит. Значит, издалека. Кто-то со станции едет, из райцентра. Кончуга, а ну-ка сбегай на реку, погляди!

---

[1] Куты-Мафа́ — тигр *(удэг.)*.
[2] Сондо — грешно *(удэг.)*.

— Зачем бежать? — спросил Сольда.— Это Зуев едет. Его мотор. Самый сильный. Такой больше нет у нас.

— Зуев! Тогда я сам сбегаю. Он мне нужен,— сказал Коньков, выплевывая папироску и собираясь бежать на реку.

— Опять не надо бежать,— невозмутимо сказал Сольда.— Его сам сюда поворачивает.

Коньков влез на бревна и стал поглядывать на протоку — свернет сюда Зуев или нет?

— Слушай, Сольда,— спросил Коньков.— А ты не слыхал вчера вечером мотора на реке?

— Слыхал.

— Не Зуева? Не узнал?

— Нет, не Зуева. Проходили два мотора «Москва».

— Чьи?

— Не знай.

Зуев и в самом деле завернул в протоку; его новая длинная лодка, крашенная в голубой цвет, стремительно вылетела из-за кривуна и, обдавая волной стоявшие на приколе удэгейские и нанайские баты, лихо пришвартовалась к причальной тумбе. Зуев, сильный, рослый мужчина средних лет, с коротко подстриженными рыжими усиками, в кожаной тужурке и в высоких яловых сапогах, пружинисто выпрыгнул из лодки и быстро пошел вверх по песчаному откосу, остро и резко выбрасывая перед собой колени.

— Здорово, лейтенант! — подошел он к Конькову, протягивая руку.— Я уж в курсе. В городе слыхал о несчастье. Хочу поговорить с тобой.

— Вот как! — удивился Коньков.— И я тоже хочу с тобой поговорить.— Потом крикнул Кончуге: — Батани, сбегай к Дункаю, принеси ключ от конторы!

— Зачем бегай? Контора открыта. Заходи и говори сколько хочешь,— сказал Сольда.

Деревянная контора артели, похожая на обычный жилой дом, стояла тут же, у самой протоки. Невысокое крыльцо, дощатый тамбур и — наконец — рубленая изба, перегороженная тесовой перегородкой на две половины. На стенах были наклеены плакаты: «Берегите лес от пожара!» — огромная спичка, от которой вымахивает пламя на зеленую стенку леса; «Браконьер — злейший враг природы» — стоит молодчик в болотных сапогах и целится из ружья в стаю лебедей; в кабинете председателя висела карта района величиной с Бельгию.

Из мебели — в одной половине скамьи вдоль стен и табуретки возле стола; в другой половине, в кабинете, стоял клеенчатый диван, просиженный до ваты, и несколько венских стульев возле длинного стола, покрытого красным сатином.

Двери настежь. И — ни души.

— Садись! — указал Коньков Зуеву на диван, сам же сел за стол, на председательское место, вынул из планшетки толстую клеенчатую тетрадь и ручку.

— Эх, мать-перемать! — выругался заковыристо Зуев и хлопнул ладонью о голенище своего сапога.— Ведь надо же?! Такого человека ухлопали! Окажись я дома — может, ничего и не было бы.

— То есть как? — спросил Коньков с некоторым удивлением.

— У меня жил бы — и вся недолга.

— Значит, вы знакомы были?

— А как же?! Положение мое — прямо скажем — незавидное.— Зуев потупился, сцепив зубы и выдавливая на скулах желваки, покрутил головой с досады.

— В чем же дело? Что значит незавидное положение?

— Да как ни верти, а случилось это неподалеку от моего дома. Вот и гадай и думай что хочешь. Теперь каждому вольно нос совать. То да се... трепать начнут. Мало меня, так и жену прихватят. Народ есть народ: на несчастье и любопытные летят, как мухи на мед.— Он требовательно уставил на Конькова свои узкие, стального отблеска глаза и хищно передернул ноздрями.— Ведь не просто же ты меня завел в эту контору?

— Тебе неприятен этот разговор?

— Да не в том дело...

— А чего ж ты волнуешься?

— Ну, как не волноваться? Ведь знакомы... И не один год.

— Бывал он у вас?

— Перед моим отъездом ночевал на сеновале. Следователь спрашивает: на кого думаешь? Ну, как скажешь? Сболтнешь — на человека подозрение. А я за сто верст оказался. Ну, предположения у тебя есть? — спрашивает. А какие предположения? Что я их, во сне видел?

— Поди, знаешь, что у него были с кем-то трения? — спросил Коньков.

— Как не бывать! Живой человек. Взять хоть эту же промысловую артель. Они убили семь пантачей сверх

лицензий. Калганов и сцепился с председателем, с Дункаем.

— А что же Дункай?

— Дункая тоже понять можно: нынче взяли сверх плана, а могли бы и недобрать. Зверь есть зверь, не в загородке пасется.

— Ну, не скажи! — возразил Коньков.— И зверю можно учет наладить.

— Конечно, можно. Оттого-то Калганов и встал у них поперек горла.— Зуев даже по коленке прихлопнул.— Артель с охотоуправлением спелись. Те спускали сюда план только для видимости. Сколько ни набьют охотники — все хорошо. Да еще проценты получали за перевыполнение... А Калганов шел от науки. Он говорил: это, мол, узаконенное браконьерство. Судом грозил.

— Он часто бывал здесь?

— Каждое лето. А то и зимой приезжал, смотрел, как соболь расселяется. Он выпускал в здешней тайге баргузинского соболя, а тот не держится, ходом идет.

— Но эта же территория не относится к заповеднику?

— В том-то и дело, что нет. Вот охотники и сердились на него: чего это он лезет в наши угодья?

— А что, потихоньку браконьерствуют охотники?

— Х-хе, потихоньку! — усмехнулся Зуев.— Наш, местный охотник как скроен? Где зверя увидит, там его и убьет. Взять того же Кончугу — у него карабин отбирали за браконьерство, вроде в прошлом году. И не кто-нибудь, а Калганов.

— Зачем же он взял его в проводники?

— Ума не приложу. Дункая спроси — он назначал. Он и знает. И насчет Ингани знает.

— Какой Ингани?

Зуев как-то дернул плечом и вроде бы нехотя ответил:

— Это племянница Кончуги. Она в прошлом году ложилась от Калганова в больницу. И теперь, говорят, у них произошла промеж себя запятая.— Зуев вроде как бы извинительно развел руками: передаю, мол, слухи по необходимости.— Вот я и говорю: лезть в чужую душу со своим копытом... Дело нескладное.

— Правильно! — кивнул головой Коньков.— Чужая жизнь — потемки.

Помолчали. Коньков что-то записывал в свою тетрадь.

— Дак я пошел? — спросил Зуев в некоторой нерешительности, втайне надеясь, что Коньков, заинтригованный этими известиями, задержит его с расспросами.

Но лейтенант неожиданно сказал:

— А чего ж время-то терять?

Зуев встал, козырнул по-военному и пошел к двери.

— Квиток от гостиницы не сохранился? — спросил Коньков.

Зуев остановился у порога и сказал небрежно, через плечо:

— Я его оставил у следователя.

7

Коньков познакомился с Дункаем еще в Приморске, в ту пору, когда уволился из милиции. Семен Хылович учился в краевой партшколе, а Коньков был внештатным корреспондентом молодежной газеты, заочно учился в университете на юридическом факультете и еще подрабатывал шофером. Однажды он возил по городу удэгейскую делегацию из Бурлитского района. Старшим этой делегации был Дункай. Разговорились. Оказалось, что у них был общий знакомый — старшина милиции Сережкин.

Старшине Сережкину Коньков когда-то помогал распутать дело о краже в селе Переваловском. А Дункай был односельчанином этого Сережкина, ходил в парторгах колхоза имени Чапаева, а потом уж попал в партшколу. Дункай был нанайцем, выросшим в русском селе Тамбовке, говорил отменно по-русски, по-нанайски и по-удэгейски. После окончания партшколы его и направили сюда, на Верею, председателем охотно-промысловой артели, где поселился, по выражению самого Дункая, целый интернационал. Здесь, в артели, знание языков очень пригодилось Семену Хыловичу.

А года через три попал сюда, в Воскресенский район, и Коньков; хоть и окончил он юридический факультет заочно, но устроиться следователем в Приморске, так, чтобы и квартиру получить, не смог; а жить в частных комнатенках надоело, к тому же стал подрастать ребенок. И жена забастовала. Вот Коньков и явился с повинной опять в милицию...

Его встретили радушно, простили старый грех, но предложили самый захолустный район, где была готовая

квартира. Делать нечего, Коньков согласился. Поселились они в Воскресенском, жена пошла работать учительницей, а Коньков стал районным уполномоченным и в зимнее время не раз охотился со своим старым другом Дункаем.

Семен Хылович встретил его сегодня по-барски: на столе стояла обливная чашка, полная розоватой талы[1] из тайменя, присыпанная перцем и черемшой, глубокая тарелка красной икры, нарезанная крупными кусками юкола[2], пропитанная горячим сентябрьским солнцем и оттого облитая проступившим ароматным жиром золотистого оттенка, да еще целая жаровня запеченных радужных хариусов. И бутылка водки посреди стола, и рюмочки, и бокалы желтоватого сока лимонника, который до краев наполнял высокую стеклянную поставку. И вдобавок ко всему — хрустальная ваза, полная, будто золотыми слитками, нарезанного кусками сотового меда.

— Семен Хылович, да разве можно голодного человека встречать таким пиршеством? Я умру от аппетита, не дотянув до стола! — сказал Коньков, оглядывая все это богатство.

— Все свое. Сам добывал,— смущенно и радостно улыбался Дункай.— Садись, пожалуйста!

На Дункае была рубашка с закатанными по локоть рукавами и с распахнутым воротом, обнажавшим его крепкое тело цвета мореного дуба. Голову он коротко стриг, отчего его черные волосы торчали густо и ровно, придавая голове форму идеального шара.

— А где Оника? — спросил Коньков, присаживаясь к столу.

— Вот он я! — смеясь, выглянула с кухни, из-за цветной занавески, маленькая, похожая на школьницу жена Дункая.

— Отчего ж вы не за столом?

— Я сытый. Кушайте на здоровье! — и скрылась опять на кухне.

— Мы выпьем первую рюмку за ее здоровье. Вот и ей почет,— посмеивался Дункай, наливая в рюмки водку.

— А ты знаешь, сюда Зуев заезжал,— сказал Коньков, ожидая вызвать у него удивление.

---

[1] Тала — нанайское блюдо, строганина из свежей рыбы.

[2] Юкола — провяленная на солнце кета.

— Я в окно видел,— равнодушно ответил тот.
— А чего ж ты в контору не пришел?
— Зачем? Что нужно, ты и здесь спросишь.
— Пра-авильно! — шутливо произнес Коньков.— А еще знаешь, почему ты не зашел?
— Ну?
— Не любишь ты его.
— Тоже правильно. Ну, поехали!
Они выпили, выдохнули, как по команде, и стали закусывать.
— Он мне, между прочим, рассказывал про Ингу, племянницу Кончуги.
— Есть такая.
— Что она делает?
— Заведующая нашего медпункта.
— Говорит, что она с Калгановым была знакома?
— Была.
Дункай ел, пил, потчевал гостя и ласково поглядывал на него. И Коньков чокался с ласковой улыбкой, ел, хвалил талу, форели и вдруг сказал:
— Слушай, а что у вас тут с Калгановым было? Говорят — он в суд грозился подать на артель?
Дункай вздохнул, отложил вилку и, подаваясь грудью на стол, спросил:
— Это Зуев говорил?
— Допустим. А что, неправда?
— Правда. Мы семь пантачей взяли сверх плана. Вот из-за этого и был скандал.
— Как же так? — Коньков с удивлением развел руками.— Ты, что ли, разрешил?
Дункай поморщился от досады и сказал таким тоном, каким отвечают, оправдываясь при недоразумении:
— Ну, зверь же не корова, во дворе не стоит. Как ты его сосчитаешь? Пошли охотники в тайгу — кто ни одного не убил, кто двух. А лицензии даем на бригаду.
— А почему не каждому в отдельности?
— Потому что у нас нет таперских участков.
Коньков не понял: при чем тут таперские участки? И решил зайти с другого конца:
— Скажи, пожалуйста, Батани Кончуга знаком был до этого с Калгановым?
— Знаком.
— Говорят, Калганов у него карабин отбирал. Кончуга, наверное, обиделся?

— Зачем обиделся? Калганов добрый человек. Отбирал, да отдал. Кончуга не браконьер.

— Но стрелял без лицензии?

— Я ж тебе сказал, что наши лицензии вроде разнарядки, бумажки для отчетности.

— Но ё-моё! — Коньков с досады даже вилкой пристукнул по столу.— Неужели ты не понимаешь? У них же конфликт был! Зачем же сводить их в тайге один на один? Да еще не на день, на два, а на целый месяц. Зачем ты назначил в проводники Кончугу? Или других не было?

Дункай замялся, потом сказал с тяжелым вздохом:

— Ну что ты привязался? Остальные были на клепке — ясень заготовляли для мебели.

— Дак что ж, нельзя было отозвать кого-нибудь с клепки? Они же всего за шесть верст отсюда работают!

— Ну и прилипчивый ты! — Дункай покачал головой и опять поморщился.— Пойми же, здесь нет никакого подвоха. У Кончуги детей много. Панты он не добыл в этом году — не повезло ему на охоте. А на клепке какой заработок? Вот я решил отправить его с Калгановым — проводнику хорошо платят. И потом, Кончуга надеялся, что Калганов разрешит ему убить одного пантача.

— Но нет же лицензии!

— Тогда были.

— И ты дал ему лицензию?

— Зачем? Калганов сам мог разрешить. Мог войти в положение человека. Ведь нуждается Кончуга. За панты много платят. А Калганов был добрый человек.

— Подожди! То Калганов карабин отбирает за браконьерство, то сам вроде бы потворствует. Что-то здесь не вяжется. Ты мне откровенно скажи — в чем дело?

— А дело в том, что порядка у нас нет,— сказал Дункай, выходя из себя и наливаясь фиолетовым багрянцем.— Если хочешь знать — мы сами потворствуем этому браконьерству.

— Как это так? — опешил Коньков.

— А вот так. Ты видел эти заломы? Сколько там одной кеты гибнет? Может, миллион. Видим, но молчим. А мужикам внушаем: не тронь лишней кеты. Она, мол, общее достояние. Значит, одну рыбу не тронь, а миллионы пусть гибнут? Ну, что они, эти мужики, слепые? Или дети неразумные? Как они думают о нас?

— Допустим, ты с рыбой прав. Но ведь зверь — не рыба. Здесь особая статья.

— Да то же самое! — с силой воскликнул Дункай.— Скажи, кто только по нашей тайге не лазает? И леспромхозовские охотники, и райпотребсоюзовские, и наша артель, и любители всякие из отдаленных центров, и просто шалые хищники. Бесхозная она у нас, тайга-то! Вот мы учимся в школах, в институтах, нам внушают: охотничьи угодья должны быть закреплены за артелями, разбиты на таперские участки... А что на самом деле? Тьфу! Бардак! Извини за выражение.

— А что дадут эти таперские участки?

— Как что? Зверь-то, он ведь родные места знает. Небось был бы у того же Кончуги свой таперский участок, он бы на пушечный выстрел не подпустил бы к нему ни одного браконьера. И сам бы не взял сверх нормы ни одной соболюшки, ни одного пантача. Потому что кормился бы с этого участка и нынче, и завтра, и через многие годы.

— А почему же не закрепят за вами угодья? Кому это на руку?

— Всяким бездельникам да хищникам. Да еще любителям дешевой пушнинки да дичинки, да тем, которые любят развлекаться, из некоторых заведений. Один Калганов носился с этими таперскими участками, пока самого не ухлопали. Он и срывал на мне горе: плохо смотришь! А я что? Дух святой, чтоб углядеть за всеми? И семимильных сапогов у меня нету. Тайга велика. Один наш район с Голландию будет.

— Н-да, брат, дела...— Коньков в задумчивости побарабанил пальцами по столу.— Откуда Калганов?

— Из филиала Академии наук. А раньше был директором соседнего заповедника.

— И часто он у вас бывал?

— Не часто... но бывал. Года три назад он выпускал здесь баргузинского соболя. Изучал парнокопытных, книги писал.

— Он у тебя останавливался?

— Нет, в школе.

— В классе, что ли? Или у знакомых?

— Учительница тут была. Ну и он при ней, значит, приспосабливался.

— Куда же она делась?

— Вышла замуж за Зуева.

— Настя!
— Она.
— Вот оно что!..
Помолчали. Коньков вынул папироску, размял ее, Дункай тем временем услужливо вычеркнул спичку.
— Как думаешь, Семен Хылович? — спросил Коньков, прикуривая и глядя на Дункая.— Калганов разрешил Кончуге взять пантача, или он ваньку валяет?
— Не знаю. Я с ним и не был.
— А где сейчас Инга?
— Наверное, на медпункте.
Коньков засобирался.
— Ну, спасибо тебе за угощение и за откровенность, как говорится. Извини, если в чем был навязчив.
— Ну, об чем речь,— сказал Дункай.— Служба такая. Я ж понимаю.
— Так я пошел на медпункт.
— Ночевать приходи.
— Спасибо!
Коньков закинул через плечо свою планшетку, снял с вешалки фуражку и вышел.

8

Сельская больница размещалась в доме, срубленном из бруса на три связи. И крыльцо высокое, с тесовым козырьком.
Коньков, постучавшись, вошел в первую дверь и оказался в амбулатории. За столом в белом халате и в белой косынке, перехватившей ее иссиня-черные волосы, сидела молодая удэгейка с мелкими приятными чертами лица: низкий, но прямой носик, маленькие алые губки — двугривенным можно накрыть — и узкие, диковато-быстрые смоляные глаза.
Глянув на Конькова, она сказала:
— Присядьте на табурет.
И занялась своим посетителем. Перед ней сидел пожилой охотник-удэгеец в мятом пиджачке и в олочах с длинными ремешками, оплетавшими его ноги точно оборы.
Рука его лежала на столе — во всю ладонь загноившийся, забитый грязью порез.
— Чего же вы так руку запустили? Раньше надо было приходить,— сердито отчитывала охотника Ингани.

Тот ей что-то ответил по-удэгейски и засмеялся.

— Вот отрежут вам кисть, тогда посмеетесь,— строго сказала докторша.

— Э-э, один палец оставляй, чтоб крючок дергай,— и хорошо,— посмеивался старик.

— Оля! — позвала Ингани.

Вошла медсестра, тоже во всем белом, молоденькая, но русская.

— Промойте ему руку как следует марганцовкой, положите мази Вишневского и перевяжите.

— Кикафу, пошли в перевязочную! — Оля хлопнула удэгейца по плечу.

— Пальцы резать не будешь? — спросил он.

— А это как себя станешь вести, плохо — отрежу.

— Мне один оставляй — и хватит. Вот этот,— Кикафу, довольный собственной шуткой, пошел за Олей в перевязочную.

— Итак, я вас слушаю? — обернулась Ингани к Конькову.— Что у вас болит?

— Я — участковый уполномоченный. И, видите ли,— извинительно заулыбался Коньков,— я в некотором роде по иной части.

— Понимаю, вы пришли допрос снимать?

— Ну, зачем же так? Допрашивает следователь. А я веду беседы, знакомлюсь с обстоятельствами. Вас Ингой зовут?

— Да.

— А меня Леонидом Семеновичем. Рад познакомиться.

— Что же вас интересует, Леонид Семенович? — Ингани не приняла того доверительно-ласкового тона, с которым обращался к ней Коньков, держалась как натянутая струна и отвечала сухо.

— Для начала мне хотелось бы знать, что сказал вам старый охотник насчет своей руки? Судя по его улыбке, это было что-то забавное.

— Он мне сказал, что рука — не нога. На охоту на руках ходить не надо.

Коньков усмехнулся.

— Почему же он так запустил рану?

— Старые охотники соблюдают старый обычай: за два месяца перед отправкой в тайгу на охоту они не только лекарств никаких не принимают, но даже не умываются. Это у них называется... как бы по-русски сказать? Обта-

ежиться, что ли? Чтобы весь он лесным духом пропитался, чтоб никаких посторонних, ну, человеческих, что ли, запахов от него не исходило. Тогда зверь его не так остро чует.

— Интересно! — покачал головой Коньков.

— А что еще вас интересует? — спросила не без иронии Ингани.

Коньков развел руками.

— Да вот, в больнице вашей ни разу не был. Вроде бы вы неплохо устроились. Кроме этой амбулатории, какие есть еще помещения?

— Пойдемте, покажу.

Ингани встала и все так же сухо, строго держась, повела его и деревянным голосом давала пояснения:

— Здесь у нас родильное отделение, здесь приемный покой, там аптека...

— А где же больные? — с удивлением спросил Коньков.

— Какие теперь больные? Сезон охоты скоро начнется. Они сами в тайге лечатся.

— Аптечку им даете с собой?

— Не берут. У них психология не та. С аптечкой не охотник.

— Простите, а куда ведет вон та дверь?

Ингани убрала прядку волос со лба под косынку и в упор, вызывающе поглядела на Конькова.

— Эта дверь ведет в мою комнату... личную.

— Извините, но мне хотелось бы заглянуть.

Опять пауза и молчаливый упорный взгляд.

— Это — моя обязанность, а не прихоть,— извинительно сказал Коньков.

— Хорошо! — Ингани пошла вперед, раскрывая дверь.— Прошу!

Они вошли в небольшую, уютно обставленную комнату, похожую скорее на мужской охотничий кабинет,— над диваном висел карабин, со стены спадала на подлокотники кресла пятнистая шкура барса. Рога изюбра, чучела птиц...

Коньков посмотрел в угол прихожей: под вешалкой, на полочках, аккуратно были поставлены в рядок черные лакированные туфли, расшитые тапочки с меховой оторочкой, желтые олочи с загнутыми носами. Рядом лежали ракетки.

— В бадминтон играете? — спросил Коньков, кивнув на ракетки.

— Играю.— Ингани стояла посреди комнаты бледная, но спокойная.

Коньков улыбнулся.

— В бадминтон играете, а кед нету. Как же вы обходитесь?

— Я предпочитаю олочи. Они удобнее — отпечатков не оставляют.

Коньков пристально поглядел на Ингани, но ни один мускул не дрогнул на лице ее — все та же подчеркнутая сухость и отрешенность.

— Интересно вы рассуждаете,— сказал он наконец.— С подтекстом, как теперь говорят писатели.

— Уж как могу.

На столе стояла большая фотокарточка под стеклом в синей рамочке — это был Калганов в кожаной куртке, с ружьем через плечо на фоне таежных зарослей. Борода и улыбка во все лицо. Коньков невольно задержал взгляд на нем: столько было силы и бесшабашной самоуверенности или даже дерзости на этом лице! Жил человек и думал, поди: неотразим и вечен, как бог,— мелькнула мыслишка в голове Конькова.

— Калганов вам подарил? — спросил он.

— Не украла же,— вызывающе ответила Ингани.

— А шкуру барса тоже он?

— Нет, сама добыла.

— Вы охотник?

— Да.

— А я думал, что карабин вашего дяди, Батани.— Коньков подошел к ружью.

— Снимайте, снимайте! Вы же за тем и пришли сюда, чтобы карабин осмотреть.

— Приятно говорить с человеком, который все понимает.

— Спасибо за любезность.

— Прошу прощения! — Коньков извинительно развел руками, но карабин снял.

— Легонький. Прямо игрушка! — Коньков открыл затвор, посмотрел в ствол.— А он у вас, простите, не чищен, и порохом пахнет. Совсем недавно стреляли?

— Да. Вчера стреляла. Нюх у вас хороший.

Он пропустил колкость мимо ушей.

— Где стреляли, на охоте?

— Нет, по мишеням.

— А-а! Где мишени берете? Сами рисуете?

— Бог дает. Вон мои мишени — шишки кедровые.

Две свежих шишки лежали на столе. Коньков взял одну, колупнул ногтем.

— Рано вы их сбиваете — смоляные еще. Значит, развлекаетесь?

— Извините. Других развлечений нету.

— Ну вот, и мы сейчас развлечемся. Пойдемте со мной!

Они вышли на крыльцо. Неподалеку от поленницы дров стояла бадья с песком. Коньков приложился и выстрелил в бадью. Потом протянул карабин Инге:

— Видите отметину в бадье?

— Вижу.

— А ну-ка, покажите класс!

Ингани, почти не целясь, дважды выстрелила в бадью. Коньков подбежал к бадье и сказал восторженно:

— Ну, надо же! Одна в одну всадили.

Он выгреб пули из песка и положил их в сумку.

— Возьму на память. Хорошо стреляете!

9

Кончугу нашел он в сумерках; тот неподалеку от своего дома, прямо в тайге, колол дрова и складывал их в поленницу. Два огромных выворотня — ильм и пихта, высоко задрав обнаженные корни, валялись тут же; деревья были распилены и уже наполовину расколоты.

— Дары природы прибираешь? — спросил Коньков, подходя.

— Ветер сильный гулял, деревья повалил,— сказал Кончуга, присаживаясь на чурбак и раскуривая трубочку.— Дункай эти два дерева мне отдавал.

Коньков тоже закурил, сел рядом.

— Послушай, Батани! Надо говорить со мной откровенно. Понимаешь? Иначе тебе же хуже будет.

— Почему хуже?

— Да потому, что ты финтишь.

— Чего такое финтишь?

— Ну, что-то скрываешь от меня. Давай начистоту: разрешил тебе Калганов идти на пантовку или ты самовольно ушел?

— Какая тебе разница? Разрешил, конечно.

— Так, допустим. Сколько вы с ним были в тайге?

— Вторая неделя.

— И ни одного изюбря не видали за это время?

— Нет. Только сохатый видали.

— Ну, так убил бы сохатого!

— Зачем мне сохатый? — Кончуга виновато улыбнулся.— Сохатый панты нет.

— Но на панты нужна лицензия! — повысил голос Коньков.

— Зачем лицензия? — удивленно переспросил Кончуга, даже трубочку вынул изо рта и поднял ее кверху.— Калганов сам начальника! — произнес со значением и после короткой паузы сказал с улыбкой: — Его немножко подумал — разрешил.

— Чего ты дурака валяешь! — возмутился Коньков.

— Почему дурака? — обиделся Кончуга.

— Калганов закон не нарушал.

— Зачем Калганов? Я нарушал. Один раз он мой карабин отбирал, прошлый год.

Коньков саркастически усмехнулся.

— Ну? И теперь ты говоришь, что Калганов противозаконно послал тебя на пантовку?

— Почему против закона?

— Так лицензии у вас не было?! — взорвался Коньков.

Кончуга опять стал терпеливо, как ребенку, разъяснять ему:

— А зачем лицензия? Калганов разрешал. Тебе не понимай, что ли?

— Угу! Понял, чем мужик бабу донял.— Коньков поглядел на него, иронически прищуриваясь, и другим тоном спросил: — А ты не скажешь, что было между Калгановым и твоей племянницей Ингой?

— Не знай,— коротко и сердито ответил Кончуга.

— Значит, посторонние люди знают, а ты, ее родной дядя, не знаешь?

Кончуга сунул трубку в рот и сделал каменное лицо — будто и не слыхал, о чем его спрашивает Коньков, и глядел куда-то в сторону, попыхивая дымком.

— Ну, ладно... — Коньков тронул его за локоть и спросил с тем же ироническим оттенком: — Ты случайно не видел в тот день, накануне убийства, Ингу у вас в лагере? Она не приезжала к вам?

— Не знай,— резко ответил Кончуга.

— Ну, что ж... Тогда поедем и узнаем.

— Куда?

— К кашевару Слегину. Он-то видел, кто по реке проезжал той ночью. Так что подготовь мотор. А я возьму горючее у Дункая, и завтра утром поедем. Надеюсь, что на этот раз застанем кашевара.

Но съездить вторично в лагерь лесной экспедиции им не удалось.

Утром, чуть свет, Дункая и Конькова, ночевавшего у него, разбудил сильный грохот в дверь. Дункай, сердито чертыхаясь, пошел открывать дверь и вернулся в дом с бригадиром лесной экспедиции Павлом Степановичем.

— Извините за раннюю побудку,— сказал тот, вытирая сапоги о половик возле порога.— Но у нас несчастье.

— Что за несчастье? — спросил тревожно Коньков с дивана; уже успевши натянуть сапоги, он торопливо застегивал китель.

— Иван Слегин пропал,— ответил бригадир.

— Кашевар, что ли? — спросил Дункай.

— Он самый.

— Как то есть пропал? — Коньков прошел к столу, указал на табуретку бригадиру: — Да вы садитесь! — и сам сел.

Павел Степанович положил на стол серую кепочку, присел на табурет и стал рассказывать; его тяжелое одутловатое лицо с вислым носом было серым от бессонницы.

— Мы, значит, пообедали после вас, на работу сходили, вернулись в лагерь... А Слегина все нет. Тут Зуев к нам подвернул, из города ехал. Поговорили: то да се. «А где Иван?» — спрашивает Зуев... Сами ждем. Ушел, говорим, с утра рыбачить — и как сквозь землю провалился. «Да вы что ж сидите, мать вашу перемать,— заругался Зуев.— Уже сумерки на дворе. Искать надо! А вдруг что случилось?» Пошли искать, сперва на Слюдянку... Всю речку исходили — кричали, шумели — никого. Прошли дальше, на Кривой ручей, это в двух километрах от Слюдянки. И вот на берегу ручья находим эту кепочку, а рядом свежие следы тигра. Крупный след! Вон, с блюдце будет. Мы опять кричали, шумели... Искали везде — и вдоль ручья, и в зарослях. Ни следов, ни Ивана. Собак с нами нет. Да что собаки? Они не больно берут тигриный след. Покричали, постреляли в воздух да ни с чем и вернулись.

— А кто нашел эту кепку? — спросил Коньков.

— Зуев. Ну а потом и мы подошли. И следы видели, и эту кепочку.

— Следы возле кепки? — спросил Коньков.

— Два-три следа на влажной земле. И кепочка между ними. Все видели.

— И что же вы думаете? Что с ним произошло? — допытывался Коньков.

— А чего тут думать? Дело ясное — тигр утащил его. И Зуев это же говорит. Он — лесник опытный. Какой-то шалый тигр здесь появился. Да и Калганов говорил про этого тигра, еще предостерегал нас. Вот какая беда!

— Да... Вот так история с географией! — Коньков взял кепку Слегина, вынул из кармана лупу и стал разглядывать эту загадочную находку.— Какой он был, чернявый или белесый?

— Кто? — отозвался бригадир.

— Ну, кашевар-то ваш!

— Рыжий!

— Пра-авильно. Кепочку я с собой заберу.— Коньков положил кепку в планшетку, потом сказал Дункаю: — Бензин мне нужен, сначала на место пропажи съездить, а потом в район.

— Я сам вас отвезу,— сказал бригадир.

— А я вам бензину налью,— отозвался Дункай.

— Вот и спасибо. Тогда в путь! — Коньков встал и прошел к вешалке, где лежала на полочке его фуражка.

— Позавтракайте сперва! — пытался задержать его Дункай.

— Дорогой поедим. Айда!

10

Косушка встретил Конькова вопросом от самого порога:

— Ну что, Леонид Семенович? Установил, кто проезжал по реке?

Коньков расстегнул планшетку и, шурша газетой, вынул какой-то сверточек.

— Ты чего копаешься? — сказал Косушка.

Коньков развернул наконец сверток, положил кепку на стол перед следователем и сказал, указывая на нее:

— Вот!.. Один только он и мог сказать.

Косушка в недоумении встал и посмотрел на Конькова, как на воскресшего покойника.

— Это что за комедия? Чья кепка? Кто этот без вести пропавший?

— Кашевар из лесной экспедиции, Слегин по фамилии. Помните, как мы чуть не приземлились на их косе?

— Ну?

— Так вот, один человек из этой экспедиции, тот самый кашевар, не спал, сидел на косе, разделывал рыбу или картошку чистил. Хрен его знает. Словом, сидел ночью на косе, он и видел их, тех самых, которые проезжали по реке. Остальные же рабочие все дрыхли в палатке и только мотор на реке слыхали, да и то сквозь сон.

— Куда же девался этот кашевар?

— Тигр утащил его.

— Чего? Ты что, пьяный, что ли?

— Ну, перестань! — с досадой поморщился Коньков.— Выслушай сперва. Ты же приказал мне пошарить как следует. Вот я и шарил. Нагрянул в лагерь этой экспедиции, а кашевара нет. Говорят, ушел с утра на таежную речку рыбачить. Мы ждали-пождали, поискали его, а потом поехали в артель и обещали вернуться утром, когда этот кашевар будет в лагере...

И Коньков рассказал всю историю со Слегиным, вплоть до появления бригадира с этой кепочкой.

— Ездил я утром туда. Осмотрел то место, где кепку нашли. Следы тигра отчетливо видны. А сам Слегин исчез бесследно, как дух лесной растворился.

— Ничего себе помог.— Косушка сел на диван и задумался.— Только мне этого Слегина еще не хватало! — Он с досады хлопнул о подлокотник дивана и поднял голову.— Погоди, кто же ходил его искать первым? Днем еще?

— Кончуга. А что?

— А то! Он сам на подозрении. Далеко он ходил?

— Километра за два, на речку Слюдянку. А кепку нашли в другом месте, у Кривого ручья. Там же и следы тигра оказались.

— Тигр, тигр! — передразнил кого-то Косушка, вставая с дивана, потом остановился перед Коньковым, ткнул его в грудь пальцем и сказал: — Вот этот Кончуга и есть твой тигр.

— Не может быть!—уверенно возразил Коньков.— Кончуга отлучался всего на час, неподалеку. Ни крика, ни выстрела. Он же был всего в двух километрах от нас!

— Это они умеют. В тайге выросли.— Косушка присел за стол, потер растопыренными пальцами свое отечное лицо и высокий, с залысинами лоб, словно сонную одурь разгонял, и сказал: —Он же убирал единственного свидетеля! А ты в это время в шалаше дрых. Тут простая логика, тут дважды-два — четыре. Он тебе и про этого шалого тигра плел с целью. А ты развесил уши: тигр, тигр.

— Ты хочешь арестовать Кончугу? —спросил Коньков, настораживаясь.

— Да. У меня складывается очень определенное подозрение. Я вызывал их обоих с Дункаем, утром сегодня. И допрашивал.

— Я их тоже допрашивал, но прямых улик нет.

— Зато косвенных много. Один этот тигр чего стоит. Понимаешь, голова еловая, я сегодня допрашивал Кончугу, а он мне ни слова ни о Слегине, ни об этом тигре.

— Ну и что? Это в его характере.

— Ага, разведи мне тут еще психологию. Нет, Леонид Семенович, я чикаться не намерен; они оба у меня вот где! —Косушка сжал пальцы и внушительно пристукнул кулаком по столу.

— То есть как это? —спросил, удивляясь, Коньков.— Выходит, они оба виноваты?

— По крайней мере, пусть докажут, что невиновны. Плохо ты их допрашивал. Ты знаешь, сколько они изюбрей убили сверх лицензии? Семь штук! Да за одно это председателя сажать надо. У них же конфликт из-за этого с Калгановым. И Кончуга явно темнит.

— Насчет изюбрей я выяснял. Тут злого умысла не было. Вот рыбу губят в нерестилищах, это другое дело.

— Кто?

— Леспромхоз! Вот кого надо привлекать.

— Чего, чего? Ты кто такой, рыбнадзор? Или в самом деле того... рехнулся?

— Я-то в здравом уме. А вот у тебя и в самом деле еловая голова.

— Но, но! Не забывайся.

— Это я к слову, твою же поговорку привел,— лукаво усмехнулся Коньков.— Ты был хоть на одном из заломов? Видел сплав? А ведь сейчас нерест начинается!

— Иди ты... со своим сплавом и с нерестом! У нас дело, понял? А ты меня толкаешь башкой в залом!

— А если там закон нарушается?

— Леонид Семенович, хватит! Не превышай полномочий,— сказал обессиленным голосом Косушка.— Давай о деле. У тебя сложились какие-либо определенные подозрения? И на кого?

— Пока трудно сказать что-то определенное. Много неясных вопросов. Почему у жены Зуева на виске синяк? Почему Инга, племянница Кончуги, намекнула на следы, когда я заговорил о кедах?.. Да, вот пули, выпущенные из ее карабина,— вынул Коньков две пули из планшетки и положил на стол.— Из тела Калганова извлекли пулю?

— Она отправлена на экспертизу. Еще какие странности заметил?

— Странности? — переспросил с усмешкой Коньков.— Есть еще. Например, вот одна: почему именно Зуев нашел эту кепку? Свернул к ним побалакать, потом повел всех в тайгу на розыски Слегина. И не кто-либо из рабочих, а сам Зуев и набрел же на эту кепку. Тебе это не кажется странным?

— Во-первых, у Зуева алиби — он в ту ночь был в районной гостинице, за сто верст. Во-вторых, Зуев — лесник, опытный следопыт, потому именно он и нашел эту кепочку, а не кто-либо из рабочих.

— Опытный следопыт заметил бы и следы иного человека, кроме Слегина, и, уж по крайней мере, следы борьбы или крови. А Зуев ничего такого не заметил. Странно!

— В чем дело? Мы завтра можем съездить туда с опытными экспертами и осмотреть эти следы.

— Х-хе! — Коньков хмыкнул.— Съездить, после того как пять обормотов все затоптали там, как носороги. А еще вон тучи повалили. На ночь глядя дождь будет. Какие теперь следы!

— А я думаю, что Кончугу надо брать под стражу.

— Не промахнуться бы! — Коньков почесал затылок и сказал: — Дай мне денька два, я еще тут пошарю. Авось и ухвачусь за какой-нибудь кончик.

— Ладно!..— Косушка достал из ящика письменного стола две клеенчатых тетради и три блокнота и протянул их Конькову.— Возьми дневники Калганова. Тут есть кое-что. Изучи, тогда легче будет соображать. А я доложу насчет Слегина. Дело — дрянь...

Коньков застал жену дома; она пришла из школы, успела пообедать и сидела за столом, готовилась к вечерним занятиям. Мужа встретила и с радостью, и с тревогой: с радостью, что вернулся жив-здоров и нежданно (обычно звонит загодя), а растревожило ее усталое лицо мужа и весь его удрученный вид.

— Ну что там, Лень? — спросила она, подходя и обнимая, заглядывая снизу и вопросительно, и тревожно.

— Скверное дело, Малыш.— Он погладил ее по коротко стриженной, под мальчика, черной голове и чмокнул в щеку.— Жрать хочу, как из ружья.

— До чего несуразны эти твои охотничьи побасенки. Хочет есть... как из ружья. Глупость.— Она смешливо наморщила свой коротенький носик в мелких конопушках, а потом, поцеловав его крепко в губы, сказала: — Вот как надо жену целовать. А у тебя первым делом еда на уме.

Коньков стал раздеваться да умываться, а жена хлопотала вокруг стола, накрывала не то на обед, не то на ужин. Перебрасывались фразами:

— Ты какой-то нынче серый?

— На заре подняли. И весь день на ногах. Где Николашка?

— Наверное, на речке. Или в тайгу за орехами ушли.

— Что тут у вас нового?

— Все о Калганове говорят. Какая жалость! Тело в цинковом гробу в Ленинград отправили, к родителям. На кого хоть подозрение падает?

— Пока трудно сказать. Разберемся...

Коньков ел вяло, все задумывался, откладывая ложку.

— Лень, ты давай поспи!

— У меня дневники его,— кивнул Коньков на планшетку.— Следователь дал только до утра.

— Успеешь, прочтешь! Ночь длинная. Так что ложись спать, а я побежала на вторую смену.

11

Коньков с Еленой познакомился лет десять назад. Она была студенткой Приморского пединститута и приехала к матери на каникулы в Бурлит. А он был в ту пору оперуполномоченным районного отделения милиции. Был он такой тоненький, юный лейтенантик, светловолосый и кудрявый. И стишки сочинял. Она же была бойкой

и острой на язык первокурсницей, вернее переступившей первую ступень математического факультета. Если говорят, что у каждого солдата в ранце побрякивает маршальский жезл, то уж наверняка можно сказать, что в голове каждого первокурсника ворочается мыслишка с замахом по меньшей мере на докторскую диссертацию.

А тут всего лишь «опер» из районной милиции. Лена была не то чтобы красавицей, но той сбитой и ладной хохотушкой, которая и в пляске, и в песнях любую паву за пояс заткнет. И влюбился в нее лейтенант до смертной тоски — и ее черная головка с шапкой коротко стриженных, непродуваемых ветром волос (она даже зимой щеголяла без платка), и эта крепко сбитая фигурка, перехваченная широким черным ремнем в узкой талии, и этот смешливый носик конопушками, и круглые, озорные, как у бесенка, янтарные глаза — все это мерещилось ему во сне и наяву, преследовало и выматывало душу.

Она уехала в институт, а он уволился из милиции и приехал в Приморск с мечтой стать великим поэтом и доказать этой гордячке, что она горько просчиталась, отвергнув его руку и сердце.

Впрочем, все тогда стремились либо покорять романтические просторы неизведанных земель, либо штурмовать крутые и скользкие откосы науки; все рвались ввысь да вглубь — время было такое.

Увы! Большого поэта из него не вышло, хотя он и печатался в молодежной газете, числился даже внештатным корреспондентом ее, а по совместительству работал шофером — в местном отделении Союза писателей. Но зато он поступил в университет, на заочное отделение юридического факультета, и упорством своим к умственному совершенству, а главное — преданностью и неизменной любовью покорил-таки сердце честолюбивой гордячки.

С годами их мечты потускнели, зато они поняли, что жизнь хороша прежде всего уютом да семейным покоем и добрым делом по душе и по сердцу. Она стала школьным учителем, а он вернулся в милицию. Получили они в Воскресенском целых полдома с огородом и садиком и зажили на славу.

Лена вернулась поздно вечером; Николашка уже посапывал в своей кроватке, а хозяин сидел за столом и читал дневники Калганова. Кое-какие выписки делал.

— Интересно, Лень? — спросила она от порога, раздеваясь.

— Да...— откликнулся он, не отрываясь от работы.

— А у нас, на вечернем отделении, спор сегодня зашел. Ты знаешь — я просто обалдела! Некоторые педагоги люто ненавидят Калганова.

— Кто именно?

— Зоолог наш, Кузьмин Илья Иваныч, говорит, что этот Калганов чуть не сорвал у них отлов певчих птиц. А они же, говорит, за границу идут, по разнарядке.

— А по чьей разнарядке, ты не спрашивала?

— Нет. Только он говорит, что Калганов не ученый, а бюрократ заскорузлый. Какие-то справки от них требовал...

— Кто еще ругал его?

— Калганова-то? Историк, зять Коркина. Он, говорит, бесстыдником был, ходил по дворам и в чугуны заглядывал.

— Интересно, Малыш!

— Чего ж тут интересного? Просто какая-то непонятная злоба. А дочь Коркина — она физику ведет — так прямо в открытую сказала: моральному растлителю туда и дорога...

Подошла к столу, села рядом, заглядывая в дневники, попросила:

— Прочти-ка что-нибудь?

— Насчет растления? — усмехнулся Коньков.

— Да ну тебя! Я серьезно.

— Я еще сам всего не знаю. Чувствуется, что он любил Настю. И роман был...

— С Зуевой, что ли?

— Да. Но произошла осечка... пока непонятная мне. А с Ингой что-то не заладилось у него. Вот одна запись.— Он раскрыл нужную страницу с закладкой и прочел: — «Июль месяц... Опять я в Красном. Здесь все мне на память приводит былое, как сказал поэт. Вчера видел Ингу. Сидели на берегу реки. Как ей хочется все начать сначала! А мне грустно. Грустно, потому что начала не будет, все пойдет с середины, и конец выйдет тот же».

— Кто такая Инга?

— Врачиха тамошняя.

— Что-то и про нее трепали, грязное. И во всем опять Калганова винили. В чем тут дело? За что они его так ненавидят?

— Некоммуникабельность — вот причина всех бед с Калгановым.

— Какой ты стал образованный, прямо жуть! — усмехнулась Елена.— А ты попроще скажи, по-нашенски. Не то мне, рядовому математику, как-то неуютно становится с таким ученым.

Коньков только головой покачал.

— Ну и язва ты, Малыш! Хочешь по-русски? Пожалуйста — не ко двору пришелся. Или рано родился, или с запозданием — кто его знает.

— Почему?

— А потому! Больно горяч и ретив. Законы требовал исполнять строго и всеми без исключения.

— Ну и удивил! А ты чем занимаешься? Тоже с нарушителями закона борешься.

— Я за уголовниками гоняюсь, голова — два уха. А он брал шире и выше.... Искал общественного согласия, гармонии... Истину в законе пытался постичь. Вот послушай его записи!

И Коньков стал вычитывать из тетрадей страницы, которые были заложены клочками газет.

— «Национальное богатство складывается не из чудом раскопанных кладов. Оно обеспечивается передачей наследия от одного поколения — следующему. Не зря прежние старики ревниво следили за каждой упавшей со стола крупицей. А мы транжирим все, сорим, кидаем направо и налево. Какой-то примут землю внуки из наших рук? Что они скажут про нас?»

— Интересно! — сказала Елена.

— А вот еще запись.— Коньков открыл следующую заложенную страницу и прочел: — «А Семен плут...»

— Кто такой Семен? — перебила его Елена.

— Дункай, председатель артели. Слушай! «Получил он телеграмму от Лысухина и спрятал. Но мне почтарь выдал текст: «Опять нарушаете поголовье отстрела. Просить вас надоело. Предупреждаю в последний раз». Ах ты боже мой! Прямо не охотоуправитель, а классная дама. Просить надоело!.. Да знаешь ли ты, холера тебе в брюхо, что это браконьерство — тот же разбой?! Вон Швеция берет в год по тридцать тысяч голов лося. А мы по всей России того не набираем. И хуже будет. Хуже! Ну, доберусь я до этого Лысухина. Вот только из тайги выберусь...»

— Выбрался — на тот свет,— печально вздохнула Елена.

— А вот еще запись: «Весь ужас, весь разбой идет от обезлички тайги. Таперские участки не закреплены; их

вовсе нет. Поэтому никто ни за что не отвечает. Охотятся где попало и кто попало. Гималайского медведя скоро выбьют начисто. Проверяют дупла — берлоги подрубом снизу, тем самым делают дупла навсегда негодными,— в них гуляют сквозняки. Медведям зимовать негде».

— Как это, Лень? — спросила Елена.

— Очень просто: увидят липу с дуплом или тополь — дыру прорубят снизу; если медведь в дупле, то выскочит. Медведя убьют и дупло испортят. В старину охотники просверливали дупла коловоротом, а потом пробкой забивали эту дыру, ну — кляпом.

— Ой, батюшки мои! — сказала Елена.— Ну-ка я это прочту. Ты, что ли, отчеркнул?

— Я.

Елена стала читать дальше:

— «Заповедники да заказники превращают в охотничьи хозяйства для избранных. А те «в порядке исключения» охотятся когда попало. Бьют все кряду — и матерых, и щенков. Бьют медведей, лосей, оленей, кабарожек... Даже норок, соболей, бобров не жалеют...»

И чуть ниже, подчеркнуто Коньковым:

— «Болтаем о единомыслии, но единомыслие складывается только из обязательного исполнения законов всеми без исключения. Это еще Сократ знал и говорил, что все в Греции принимают клятву в единомыслии. Это не значит, что все одинаково должны хвалить одного и того же певца или поэта, театр или иное заведение; а это значит, что все граждане должны одинаково повиноваться законам».

— Ай-я! — покачала головой Елена и перевернула страницу.

— «А теперь до певчих птиц добрались... Одна областная газета объявила: «Поймаем двадцать тысяч голов ценных птиц на экспорт!» И наши от них не отстают — соревнуются».

— Во дают! — воскликнула Елена.

— Кстати, завтра будет у нас погрузка отловленных птиц,— сказал Коньков.— Я им устрою представление...

— А ты с начальством советовался?

— Звонил в райисполком председателю после твоего ухода. Спрашиваю: кто разрешил отлов певчих птиц? А он мне: понятия, говорит, не имею. У нас уборочная идет. До птиц ли мне. Ты, говорит, с прокурором свяжись. Я свяжусь... И если нет разрешения, я их пугану!

— Да кто они такие?

— Из областного заготживсырья. И наши ловцы стараются. Зуев, говорят, больше всех наловил со своей шатией-братией. А ведь у нас же нельзя ловить — заповедник рядом. Птицы не знают запретных границ.

— Ну-ка, еще закладочку! — сказала Елена и прочла: — «Даже муравьиные яйца везут на экспорт — заокеанские мещане ими кормят своих канареек. Муравьиные кучи жгут из озорства, а лес наш остается беззащитным, лишенным этих неутомимых ловцов всякой тли...»

И ниже красным карандашом подчеркнуто: «Ваше равнодушие я буду расстреливать из пулемета моей непримиримости».

— Да-а... Ничего себе.— Елена покачала головой, потом сказала в раздумье: — Одного я не пойму: искал истину, добивался соблюдения закона, а жил как бродяга, крутил направо и налево. То Настя, то Инга... Что-то здесь не вяжется.

— Человека постичь сложно, Малыш. Это тебе не уравнение решить с двумя неизвестными. Погоди немного, дай срок. Разберемся и с Настей, и с Ингой.

— Ну, ладно, разбирайся,— сказала Елена, прошла на кухню и стала греметь посудой.

— Малыш, ты не слыхала такого названия: Медвежий ключ или распадок?

— Что-то не припомню. А что? — отозвалась Елена с кухни.

— Наверное, местное название,— сказал Коньков.— Нашел я в дневнике один шурупчик; вот послушай: «Кажется, оба Ивана догадались, что я за ними слежу. Интересно, где у них встречи? Где тайник? Не на Медвежьем ли»?

— Это все? — спросила Елена.

— Все.

— Ну и шурупчик! Какие-то Иваны и встречаются черт-те где. Ты хоть знаешь, кто они?

— Пока еще нет. Но... слепой сказал, посмотрим.

12

С утра первым делом Коньков зашел в районную гостиницу. Его встретила в просторном вестибюле, отгороженная высоким барьером, Агафья Тихоновна Пласту-

нова, старуха с темным сухим лицом, но еще быстрая в движениях и выносливая, как выезженный конь. Она и заведующей гостиницей была, и администратором, и порою за сторожа оставалась. И днем, и ночью просиживала там. Когда только и спала?

— Здравствуйте, тетя Агафья! — взял под козырек Коньков.

— Здравствуй, Леонид Семеныч! Не нашли еще убийцу? — Она сидела в очках и вязала кофту.

— Пока еще нет. А ты как поживаешь?

— Да ничего. Спокойно живем. Одно хлопотно — выбрали меня народным заседателем. Так веришь или нет — каждый день заседаем.

— Чего делаете на заседаниях-то?

— Судим! Все по этой новой статье... за пьянство да за хулиганство. Которая от тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.

— А-а, за мелкое хулиганство и запои... Кого же вы приструнили?

— Вчера Ваську Звонарева, тракториста из Гольтяпаева. На три года осудили. Он плакал-то... Трое детей осталось.

— А что он натворил?

— Собрание колхозное сорвал, по пьянке. В председателя колхоза чернильницей запустил. Всю ро..., то есть лицо, ему залил чернилами. И костюм испортил.

— Ах, этот артист! Слыхал.

— А ноне плотника Курая с фельдшерицей Назаркиной разбирать будем. Из Подболотья они, поди, знаешь?

— А этих за что?

— Ревновал он ее по дурости. Она же фельдшер, ну и люди к ней ходят. А он психовал сильно. И так напился, что упал. А она думала, что у него приступ на почве невренности. Она сама перепугалась и повезла его в районную больницу. В дороге тот пить попросил. Она с перепугу бутылки перепутала в сумке и вместо воды дала бутылку с нашатырным спиртом. Он и хлебнул. Так веришь — вся шкура на языке у него чулком спустилась. Он теперь языком чует хуже, чем пяткой. И подал на нее в суд за членовредительство.

— Дурью он мучается, — сказал в сердцах Коньков.

— И я так думаю. А разбирать надо.

— Ты, Агафья Тихоновна, прямо как бюро информации, — похвалил ее Коньков.

Она, довольная, заулыбалась.

— Дак ведь я периодически освещаюсь. Место у меня видное — перекрестье всех дорог.

— Вот и хорошо. А скажи-ка ты мне вот что — сколько дней у вас жил лесник Зуев?

— Это который с Вереи?

— Он самый.

— Жил он у нас... Сейчас посмотрю.— Она открыла книгу и прочла: — Ага! Значит, ровно трое суток. А на четвертые уехал.

— А за это время не отлучался на ночь?

— Вроде бы здесь ночевал. А что?

— Жена у него, тетя Агафья, тоже красивая да ревнивая. Разузнать просила. Узнаю, говорю, успокою.

— Спал как убитый.

— Ты все ночи сама дежурила?

— Нет.

— Откуда же ты знаешь?

— По вечерам заходила.

— А люди к нему не приходили?

— Приходили! — радостно подтвердила она.— Двое изюбрятиной закусывали.

— Ты-то откуда знаешь?

— А запах? Она ведь копченая. И вкусная!

— Значит, угощали?

— Так, самую малость.

— Не слыхала, о чем говорили?

— Как тебе сказать?.. Будто бы собирались съездить куда-то.

— Ты не вспомнишь, куда?

— В тайгу, куда ж еще?

— Ну да... А поточнее? Может, называли место? Ключ или распадок?

— Не скажу. Не слыхала.

— Откуда хоть они?

— Да вроде из потребсоюза.

— Ну, спасибо! О том, что я у тебя был и о чем расспрашивал — никому!

— Ну, могила!

Коньков вышел к речному затону, где обычно стояли на приколе лодки местных рыбаков. Он надеялся встретить кого-нибудь из заядлых забулдыг, которые после

ночной удачи засиживались здесь на берегу возле костра до самого утра, а порой и засыпали, набравшись под свежую закуску. Как знать, может, и заметил кто — какая лодка отчаливала отсюда в ту роковую ночь?

Но на затоне было безлюдно; лишь два черноголовых паренька удили с лодки, стоявшей на приколе. И вдруг Коньков увидел с краю от реки длинную, как осетр, голубую лодку Зуева. Он ее сразу узнал: и эту ярко-красную бортовую полосу, и зачехленный мотор «Вихрь».

— Хлопцы, вы не заметили — когда подошла вон та, крайняя лодка?

Паренек, сидевший на скамье ближе к Конькову, ответил:

— Ну, может, полчаса или минут двадцать назад...

— А куда делся лодочник?

— В чайную пошел.

— Это лесник Зуев! — крикнул второй, с кормы.— Они сегодня птиц сдают.

— Каких птиц? Гусей да уток? — спросил Коньков, стараясь расшевелить азарт ребятишек.

— Не, дяденька! Певчих птиц. Их в тайге наловили,— пояснили оба вперебой.

— Во-он что! А какой нынче клев? — спросил весело Коньков.

— Водит хорошо, а берет плохо...

— Ну, ни пуха ни пера.

— Пошел к черту!

— Туда и ухожу,— смеясь, сказал Коньков, направляясь в чайную.

Она стояла неподалеку отсюда, на отлете, возле речного берега: бревенчатый сруб и широкие, в полстены, окна.

Коньков очистил сапоги о скребок возле порога и вошел в чайную. Народу мало. За широким буфетом, опершись на локти и положив на прилавок мощную грудь, сидела буфетчица Леля Карасева, по прозвищу Рекордистка; у нее были сочные смешливые губы и большие, грустные, как у сохатого, глаза.

— Торгуешь, Лелечка? — спросил Коньков, здороваясь.

— Какая с утра торговля? — сказала она, лениво поднимаясь и потягиваясь.

— Или не выспалась? — улыбнулся Коньков.

— У меня, Леонид Семеныч, будильника нет, я холо-

стая. Сколько захочу, столько и сплю. Это вам, поди, приходится трудиться по ночам, бедному. А заснешь ненароком — еще и в бок пинка получишь.— Леля озорно подмигивала ему и похохатывала.

— Оно и потрудиться не грех — было бы над чем,— в тон ей, тоже посмеиваясь, отвечал Коньков, а сам косо поглядывал в зал; там за столиком одиноко сидел Зуев.— Ты мне чаю покрепче налей...

— С коньячком? — спросила Леля.

— Нет, с молочком! С томленым. И пусть подадут во-он за тот столик,— указал он на Зуева.

— Сделаем! — сказала Леля.

— По делам в районе? — спросил Коньков, присаживаясь к Зуеву и здороваясь с ним.

— Да. Птиц певчих сдаем сегодня.

— А разрешение на отлов этих птиц имеется? — строго спросил Коньков.

Зуев недовольно передернул плечами.

— Этим делом руководит инспектор из краевого охотуправления. С него и спрашивайте. А я — человек маленький.

— Ага! Ваше дело ловить да продавать.

— А что ж вы хотите, чтоб я даром работал? — раздраженно ответил Зуев.

— Да нет, отчего ж? — миролюбиво сказал Коньков.— А где же ваши птицы?

— В тайге. На грузовике едут.

— А вы?

— У меня свой транспорт. На реке стоит.

— Богато живете,— усмехнулся Коньков.— Сотню километров туда по воде да сотню обратно — недешево стоит.

— А куда нам копить? — Зуев взял графинчик с водкой, предложил Конькову.

— Я уже заказал,— остановил его рукой Коньков.

Официантка принесла зеленый чай, пиалу с густым томленым молоком, поставила перед Коньковым.

Зуев усмехнулся.

— Жена не дает или оклад не позволяет? — Перед Зуевым тарелка с отбивной, шпроты, три бутылки пива.

— Дает не дает... сам не возьмешь. На мою сотню с хвостиком не больно разживешься.

— И я вот получаю сотню с небольшим.— Зуев широким жестом указал на свой завтрак.

— Дак у вас приварок хороший! — со значением сказал Коньков.

— Правильно! — Зуев поджал губы и с нарочитой любезностью склонил голову.— Не сидим сложа руки. Сам видел мое хозяйство.

— Хозяйство твое не мерено — тайга!

— Тайга не каждому дается. Нужна сноровка.

— Сноровка бывает разная: один норовит дерево посадить, а другой кору с него содрать.

— Кородерство тоже промысел.

— Промышлять-то мы умеем. Лишь бы взять оттуда. А вложить туда, лес восстановить — это уж пусть дядя за нас делает.

— Видывали мы таких дядей. Тот же Калганов... Бывало, послушаешь его — прямо одна забота о тайге. А сам пускал баргузинских соболей в тайгу как воробьев в небо. Выпустит — их и след простыл, не держатся они здесь, ходом идут. Вот и получается — на словах забота, а на деле растрата.

— Видно, что вы человек городской.

— Почему?

— Потому! Соболь не телок, на веревку его не привяжешь. А вы переживаете,— усмехнулся Коньков.

— Мне переживать некогда! — вспылил Зуев.— Я делом занят, и хозяйство мое в порядке.

— Ну да... На ваш век хватит.

— И я так считаю...

Так, попивая один — чай, другой — водку, они полусерьезно-полушутя не то переругивались, не то в полунамеках выражали свою антипатию друг другу, старались вызвать вспышку, за которой могла бы последовать нечаянная откровенность намерений каждого из них.

— И давно вы в тайге работаете? — спросил Коньков.

— Представьте себе — пятый годик.

— Представляю.

— И все делом занят, оттого и не переживаю. Это уж пусть ваши сотрудники переживают. Вас-то когда перевели сюда? В позапрошлом году?

— Эге,— кивнул Коньков.

— Вот и спросите своих сотрудников, сколько они преступлений не раскрыли хотя бы за последние пять лет? Работать надо, а не за тайгу переживать. О тайге как-нибудь уж мы сами позаботимся.

— Каждый сверчок знай свой шесток! — усмехнулся Коньков.— Знакомая присказка. Между прочим, я видел ваши заботы. От этих забот даже кета в заломах дохнет.

— Не за тем смотрите! — повысил голос Зуев.— Вы скажите, кто у вас под носом человека убил?

— Не беспокойтесь, Зуев, на этот раз найдем,— сказал Коньков, вставая.— До новых приятных встреч! — и вышел.

13

«Злобишься да шипишь,— думал Коньков о Зуеве, выходя из чайной.— Ну, погоди, касатик... Я тебя еще успокою, ткну носом в твои шкодливые дела. И синяк на виске у Насти тобой посажен. Тобой, голубчик. И ты у меня не отвертишься...»

Первым делом он зашел к председателю райпотребсоюза, чтобы запретить вывоз отловленных птиц впредь до решения райисполкома и поразведать насчет заготовителей.

Плотный, упитанный Коркин в сапогах и диагоналевых галифе, с квадратными плечами, еще увеличенными ватными подкладками темно-синего кителя, стоял возле аквариума и кормил красновато-золотистых японских рыбок. Кабинет у него был просторный, с кожаным старинным диваном и двумя массивными креслами, множество стульев возле стен, огромный стол, обтянутый зеленым сукном,— хоть в бильярд играй на нем, и во весь кабинет индийский ковер, голубоватый, с красными павлинами.

— Здорово, Василий Федорович! — нарочито бодрым тоном приветствовал от порога его Коньков.

— Здорово, здорово!..— Коркин медленно, как бы нехотя, подошел к нему, протянул свою короткую, как обрубленную, но увесистую ладонь и спросил, глядя исподлобья, не то с обидой, не то с укором: — Что ж ты наших птицеловов притесняешь?

— А ты об этом спроси председателя райисполкома или прокурора.— Коньков только руками развел — я, мол, тут ни при чем.

— Спрашивал,— сухо ответил Коркин и нахмурился.

— Ну вот... Они распорядители, а я — простой исполнитель, обыкновенный гражданин участковый.

— Ну, чего мы тут стали? Давай к столу! — Коркин пошел первым, поскрипывая хромовыми сапогами.

Он сел за стол в вертящееся кресло, отчего плечи его поднялись еще выше и лысеющая круглая, как глобус, голова оперлась прямо на плечи.

Коньков сел на стул сбоку, и Коркин, точно каменный идол, повернул к нему все тело сразу. Его широкое красное лицо с белыми бровями было все еще сердитым.

— Между прочим, обыкновенный участковый занимается своими делами,— сказал Коркин назидательно и даже палец поднял.

— А это все и есть мои дела. По обязанности.

— По какой это обязанности?

— По гражданской.

— И ко мне пришел по этой обязанности?

— Точно!

— Ну, говори!

— Птицеловов задержите до решения райисполкома. То есть не самих птицеловов, а грузовик с птицами.

— А если они не послушаются?

— Грузовик будет задержан, а птиц выпустим на волю.

— Но они же из края, из охотоуправления! — зашевелил бровями Коркин.

— Ну и что? В нашем районе есть Советская власть. Вот и пускай получат у нее разрешение на отлов певчих птиц. Мы находимся рядом с заповедником, а птицы, как известно, живут не на привязи.

— Да я, собственно, ни на чем таком не настаиваю. Пусть оформляют все как надо.

— И слава богу! — улыбнулся Коньков.— Есть и повыше нас люди. Пускай они разбираются.

— Ну и жох ты, лейтенант.— Коркин тоже улыбнулся, но как-то кисло.— Ты ведь, чай, не за этим пришел? Это можно было бы и по телефону сказать, из милиции.

— Да и ты не простачок, Василий Федорович. Отгадал. Хорошо иметь дело с умными людьми!

— Чем могу быть полезен?

— Откровенностью, как говорится.

— Перед тобой — как перед господом. Исповедуй!

— Помоги нам разобраться. Кто из ваших потребсоюзовцев держит связь с Бурунгой на Верее?

— Какую связь?

— Ну, заготовители... Кто там еще обитает?

— А-а! Кузякин и Рыбаков. Они у меня клепку там заготовляют и кору бархатного дерева.

— А изюбрятину они там, случаем, не заготовляют?

— Изюбрятину? — Коркин пожевал губами, помедлил.— Вообще-то было время... Когда шел отстрел изюбрей, брали, кажется, в артели у Дункая. Ну, дней десять — пятнадцать тому назад.

— А три дня тому назад они ничего не привозили?

Коркин пожал плечами, подумал, наконец произнес:

— Не знаю.

— Они знакомы были с Калгановым?

— Да кто с ним не был знаком? — оживился Коркин.— Конечно, о покойниках не принято плохо говорить. Но, откровенно сказать — он был живодер. Просто житья никому не давал.

— Как не давал?

— Да так. И охотников огульно всех обвинял. И лесников. Поклепы писал на целые учреждения. Сплошное очернительство. Работать мешал.

— И вам тоже?

— Было и с нами. Он у нас весной всю кору бархатного дерева арестовал. Как раз там, в Бурунге.

— За что же?

— Да пустяки. Придрался, будто мы нарушаем возрастной ценз. Нашел, может быть, одно-два деревца, с которых сняли кору до срока. И поднял шум.

— Что значит — до срока?

— Пробковую кору заготовляем. Значит, диаметр установлен для взрослого дерева, толщина то есть. Вот он и придрался — что, мол, тонкомер обдираем. Дак у нас же лесничество следит за этим. И лесник там контролирует, Зуев.

— Зуев Иван?

— Он самый. Ну вот... Вызывали нас на исполком из-за этого поклепа. И Зуев, и сам лесничий показали в нашу пользу, сказали, что отдельные случаи, издержки производства. Ну, Калганов и остался с носом. А сколько мы времени потеряли на эту волокиту? План сорвали... По его милости.

— Значит, никаких нарушений технологии не было? Одни издержки... Так — чепуха? — усмехнулся Коньков.

— Не в том дело,— сказал Коркин, нахмурившись.— У меня что тут, частная лавочка? Я себе в карман прибыль-то деру, а? Для кого мы пробку заготовляем? Для

государства! Мы ее вон куда, аж в Москву да на Кавказ отправляем. Ее ждут, просят, требуют! Это ж понимать надо.

— Значит, валяй, дери кто во что горазд? Поскольку для государства, оно, мол, все и спишет.

— Ну, зачем же так упрощать, Леонид Семенович? Тут дело тонкое: все мы по своей специальности работаем, каждый на своем участке. Тут лезть в чужие рамки — только делу общему вредить. Ведь и мы понимаем, что к чему, не для себя стараемся. План-то надо выполнять.

— А что, если при этом природе вредите, земле?

— Дак ведь есть же люди, которые приставлены специально следить. У них инструкции... на случай, если нельзя иначе. А он — просто ученый, и больше ничего. Посторонний человек, можно сказать. Так по какому праву он совался?

— А по праву совести!

— Совести? А как ее понимать, эту совесть? Для нас совесть в том, чтобы выполнить задание. Вот я тебе приведу еще один конфуз с тем же Калгановым. По осени он запретил леспромхозу трелевать лес к Теплой протоке. Нельзя, мол, по ней сплавлять лес: это нерестилище. В край звонил, в Москву! Приказали разобраться. Вот собрались все производственники на исполком. Что же мы будем делать? Спрашивают его. Значит, сплавлять нельзя, а вывозить — дороги нет. Может, лесозаготовки прекратить, а? Так смех поднялся!

— Тут не смеяться, а плакать надо. Калганов был прав.

— Ну, ты дал!..— Коркин аж привстал и шею вытянул.— По-твоему, мы занимаемся личной выгодой?

— Насчет выгоды судить не берусь... пока. Но что тут пахнет государственной растратой — это факт.

— Вон как! Значит, и ты туда же, за говорунами? Тогда я тебе вот что скажу...— Коркин встал и, опираясь на стол руками, багровея, подался резко на Конькова, точно сшибить его хотел своим увесистым телом.— У нас одни люди работают, а другие саботируют. Хорошо рассуждать о рыбке да о лесной красоте, стоя в стороне. А ты поработай директором леспромхоза! План выполни! Или вот, садись на мое место... Тяни этот воз!..

— Эге, давай махнемся! — усмехнулся Коньков.— Бери мою сотню и свисток... А я на твоем кресле вертеться

буду. Оно же у тебя вращается, как шар земной. И притяжение имеет.

— Да иди ты со своими дурацкими шутками!

— Во, во! Вроде бы мы и в самом деле пошутили. Значит, изюбрятиной у тебя не торговали в последние дни?

— Я не продавец... И вообще, говорить нам больше не о чем.

— Как знать. Может, и придется.

— До свидания! — Не подавая руки, Коркин пошел к своему аквариуму.

14

«Ну что ж! Расшевелили парадный подъезд,— твердил про себя Коньков, выходя от Коркина,— а теперь попробуем зайти с черного хода».

Магазин сельпо, стоявший на выносе из общего порядка домов, поближе к реке, был закрыт на обед. А со двора, от реки, валил мощным столбом черный дым.

Здесь на обширном дворе, огороженном высоким дощатым забором, горой были накатаны пустые бочки, валялись ящики, коробки картонные и всякая иная рухлядь. Магазинный сторож, в кирзовых сапогах, в овчинной безрукавке и военной фуражке со звездой, носил охапками и крепкую, и ломаную тару и бросал в большой костер, разложенный посреди двора.

— Что, гвардеец, добро сжигаешь? — сказал Коньков, подходя к старику и здороваясь за руку.

— Не говори, парень... Его накопилось вон — ноги не протащишь.

— Не жалко? Ведь ящика доброго не купишь на почте. А ты сжигаешь.

— Да что поделаешь? Порядок тоже наводить надо. Тут настоящий завал образовался.

— А я к тебе по делу, Иван Корнеевич.— Коньков присел на чурбан и протянул раскрытый портсигар старику.

Тот неторопливо размял папироску, закурил и подсел рядом.

— А что у тебя за дело?

— Собрался посылочку отправить, хвать — ящика нет. Дай, думаю, к Ивану Корнеевичу зайду. У него этого добра много.

— Тебе под чего ящик-то?
— Рыбы вяленой хочу послать.
— Кому? — допытывался дед.
— Братану, в Кемерово.
— Известно, на сухопутье живут. Большой ящик-то?
— Килограмм на шесть.
— Ну что ж, подберем... Не то сам собью — лучше нового будет.
Коньков вынул два рубля и подал их деду. Тот проворно сунул деньги в карман и сказал, как бы в оправдание:
— Ты много дал.
— Два сколоти. Один впрок будет.
— Сделаю, Леонид Семеныч. А после службы выпью с устатку.
— Смотри, от старухи влетит.
— Тогда уж поздно будет. А то и деньги отберет, и по шее заедет. В жисть не поверит, что милиционер дал.
Коньков рассмеялся.
— Боишься хозяйки-то?
— Дак ведь по нонешним временам кроме хозяйки и бояться некого — пьют и прогуливают. Вон и в газетах про это пишут. Эта самая... руководящая струна ослабла.
— И как же ее подтянуть? — усмехнулся Коньков.
— А очень просто — назначить баб. Они нам враз сухую конституцию пропишут.
— Это еще не беда. Лишь бы они нас без закуски не оставили. В вашем магазине, поди, и закусить нечем?
Сторож покачал головой и языком причмокнул:
— Э-э, парень! Была закуска добрая... Да ты опоздал.
— Да ну? Что ж это за закуска?
— Изюбрятина.
— В магазине?
— Около прошла.— Дед сделал выразительный жест рукой.— Вчера целый день тащили — и всё черным ходом.
— Ах ты, какая жалость! Я, грешным делом, люблю изюбрятину. Может, осталось у кого? Кто хоть привез-то?
— Кто ж тебе отпустит? Ты при форме. Пошли бабу, может, он и продаст. А то давай я схожу.
— Да ну, что ж тебя гонять, старого человека. Я жену пошлю. К кому?
— Только обо мне ни слова!..
— Ну, что ты!

— Пусть сходит к Кузякину. Небось даст.

— Где он живет?

— Третья изба с краю по главному порядку, считай от реки.

— Спасибо, вечерком пошлю. А ты мне ящичек приготовь для посылки.

— Это уж само собой. Собью. Дырки-то провернуть с боков?

— На что они мне? Чай, не яблоки посылаю. Бывай здоров!

— Спасибо! — Иван Корнеевич для почтения снял фуражку и проводил Конькова до ворот.

«А черный ход оказался интереснее. Нас из одних дверей вроде бы взашей вытолкали, а мы премся в другие. Хо-хо!» — весело думал Коньков, идя к дому Кузякина, и распевал на разные лады одну и ту же подвернувшуюся на язык строчку: «То ли еще будет! То ли еще будет!»

Кузякина он застал на дворе; тот подправлял плетень, вплетая свежесрезанные тальниковые хворостины в изреженные и прохудившиеся от времени прорехи в заборе. Это был средних лет мужчина, черноволосый, с неприветливым скуластым лицом и косоватым разрезом узких монгольских глаз.

— Вы — Кузякин Михаил Емельянович?

— Ну, я,— неохотно отозвался тот, кладя топор на дровосек.

— Я участковый уполномоченный,— Коньков показал свою книжку.

— Да знаю,— сказал Кузякин, не глядя на этот красный документ.

— Мне поговорить с вами надо.

— Пожалуйста.— Хозяин указал на здоровенный чурбак, сел сам и вынул пачку папирос.

— Да что ж мы здесь? — Коньков глянул на серое небо.— Вон и дождь накрапывает. Пошли в избу!

— Пошли.

Коньков пропустил вперед себя хозяина и сам нырнул через порог в темноватые сени, потом прошли в избу. Изба как изба, ничего подозрительного: полы чистые, крашеные, стены обклеены обоями. Над кроватью с никелированными шишечками висит дробовик и патронташ. Коньков прошел к столу, сел напротив хозяина.

— Вы заготовителем работаете, в Бурунге?

— Так живу-то здесь. Работаю в потребсоюзе. Бываю, конечно, и в Бурунге... Изредка.

— Ну как изредка? Последний-то раз когда там были?

— Да уж недели две прошло.

— Ага!.. А что вы там делали?

— Пробковую кору сплавляли.

— Дробовичок-то с собой берете? — Коньков кивнул на ружье.

— Берем... Так, по уткам ежели.

— А если что покрупнее? Карабина-то разве нет?

— Как видите.— Кузякин указал на стену.

Вошла хозяйка, приветливо улыбнулась.

— А у нас во-он кто! Гости, оказывается.

— Гостей угощать надо,— сказал Коньков, здороваясь с хозяйкой.

— И правда! — встрепенулась она.— Миша, ну-к, сбегай за бутылкой.

— Спасибо! — остановил Коньков приподнявшегося было хозяина.— Рад бы с душой, как говорится, да нельзя. Служба! А вот кваску бы я испил.

— Дак я сейчас! — метнулась к дверям хозяйка.

— Не беспокойтесь! — Коньков подошел к скамье на кухне, над которой висел ковш, снял его.— Проводите, а я по пути и напьюсь.

И, направляясь к двери, спросил:

— Где у вас погреб-то?

Хозяин как-то съежился, а хозяйка, все еще не понимая, что к чему, защебетала:

— Дак, на двор выйдете — тут вам будет налево хлев, а туточки пряменько и погреб.

— Ну, хозяин меня и проводит,— обернулся Коньков к Кузякину.— Там и напьемся за компанию.

Они вышли во двор. Здесь, за дровосеком, под тенью ильма, стоял бетонный погреб, вернее, виден был только вход в погреб — окованная дверь под козырьком.

Растворилась она со скрежетом. Коньков, пригибаясь, вошел первым. В сумрачном погребе на мощной матице висело два окорока.

— О-о! Да тут и закусить есть чем,— весело сказал Коньков.— Кабаньи?

— Да,— выдавил из себя хозяин.

— Попробовать-то можно?

Кузякин только плечами пожал. Коньков вынул охотничий нож, отрезал небольшой кусочек, пожевал.

— Свежего копчения. Еще дымком припахивает. А говоришь — в тайге давно не бывал?

В ответ раздался только тяжелый вздох.

— Ну, что? Остальное сам покажешь или будем искать? — спросил насмешливо Коньков.

— Вон там в кадке изюбрятина. И больше ничего нет.

Коньков подошел к кадке, открыл рядно, там лежало мясо. Коньков пощупал его, отрезал кусочек, взял на язык.

— Даже просолеть не успело. Сами убили?

— Нет.

— Когда привезли? Третьего дня?

— Да.

— С кем везли?

— Один.

— У кого брали мясо?

— Охотники продали.

— Кто именно?

— Да они все там на одно лицо... не то нанайцы, не то удэгейцы.

— Вы покупали в Бурунге?

— Нет, возле артели. До Бурунги бензина не хватит.

— А сколько сдали мяса в сельповский магазин?

Кузякин, застигнутый врасплох, помолчал...

— Так чтобы в магазин сдавать... этого не было. Приезжала Настя, продавец. Ну, пуда два взяла для своих... знакомых там, друзей.

— Понятно! Промысел налажен.

— Да это случай... Просто подвернулись мне охотники. Я ж на рыбалку ездил. Какой там промысел!

— Разберемся...— Коньков вышел на двор и сказал хозяину, запиравшему дверь: — Вы погреб-то не закрывайте. Сейчас понятых вызовем. Придется мясо конфисковать, и протокол составим...

15

В приемной прокуратуры, куда пришел Коньков, чтобы доложить Косушке насчет конфискации убоины, он неожиданно столкнулся с Дункаем.

— Семен, ты чего здесь делаешь? Тебя снова вызвали? — Коньков с настороженностью и недоумением глядел на Дункая.

— Да нет, не вызывали,— ответил тот улыбаясь и протягивая руку.— Сам приехал.

— По какому делу?

Дункай взял Конькова под руку и отвел к порогу, подальше от сидевших на диване посетителей.

— Понимаешь, какая история... Тот шалый тигр, которого замечали возле Бурунги, теперь на Улахе ходит.

— Ну и что? А где эта Улахе?

— Улахе по-вашему Медвежий ключ. Распадок.

— Постой! Про Медвежий ключ и у Калганова написано, но его нет на карте.

— На карте есть Улахе. А русские охотники, из Воскресенского, звали это место Медвежьим ключом.

— Что ж ты предлагаешь? Поймать этого тигра и допросить — съел он свидетеля или нет? — усмехнулся Коньков.

— Да погоди ты!..— Дункай опять потянул к себе Конькова и сказал тише: — Там же, наши люди говорят, будто скрывается какой-то человек. Понимаешь, чепуха получается: тигр слопал человека на Бурунге и живет в распадке рядом с другим человеком. И ничего! — Он зашептал Конькову на ухо: — А может, этого свидетеля-кашевара никто не съел? Может быть, он и скрывается там?

— Семен Хылович, ты гений! — Коньков ткнул его в бок и шепнул на ухо: — Ты про эти свои догадки никому не говорил еще?

— Никому! — покачал головой Дункай.

— Молодец! Ты один приехал?

— Со мной еще Сольда. Он на завалинке сидит, на солнышке греется.

— Зови его сюда! А я сейчас следователю скажу — и мы вас вызовем.

Как только вышел от Косушки прокурор, Коньков сразу прошмыгнул в дверь.

— Чего это «сам» тебя навещал? По нашему делу?

— Да. Вот принес заключение экспертизы насчет пули, убившей Калганова.— Косушка указал на бумагу, лежавшую сверху в раскрытой папке.— Только что от криминалистов получил.

— Ну и что?

— Говорит, пустыми поисками занимаетесь. Это он насчет твоих пуль... Ну, тех, что врачиха в бадью всадила. Вы можете, говорит, перебрать все карабины,

которые зарегистрированы в республике, и ни один из них не будет искомым. Пуля эта выпущена из нестандартного ствола. Скорее всего — самоделки.

— Дак как же его искать?

— А это, брат, наша с тобой забота. Какие новости?

— Накрыл одного охотника с убоиной.

— Какой убоиной?

— Все той же!.. Изюбрятина, кабанина... свежая!

— Изюбрятина? Что за человек?

— Заготовщик из потребсоюза.

— Где он взял?

— Темнит. Говорит, что купил у охотников возле села Красного.

— А ты что думаешь?

— Не верю я ему. Охота в артели прекратилась еще дней десять назад. Значит, либо сам добыл, либо есть где-то запасы. Кто-то орудует умело.

— Сколько у него убоины?

— Пудов пять будет. Да пуда два, говорит, сдал в магазин сельпо. По-моему, врет. Там целый день шла торговля... через черный ход. Коркина надо спросить. Он поточнее скажет.

— При чем тут Коркин?

— При том. Это его заготовитель. Две недели назад этот самый Кузякин с Балабиным привозили много изюбрятины. Это Коркин признает. А то, что вчера шла торговля изюбрятиной, об этом — ни слова.

— Во-первых, он мог не знать — торговали или нет. Он же не продавец.

— Вот и давай установим, знал он или нет. И почему продавец не докладывает ему о поступлении в магазин убоины от частного лица? То бишь, извините, от заготовителя Коркина.

— Постой! Ты что предлагаешь, еловая голова, Коркина вызвать на допрос?

— Ну и что? Вызовем и Кузякина, и продавца, и Коркина, сделаем перекрестный допрос. Ведь это же не первый случай.

— Ну при чем тут Коркин? Ему же сдали готовый продукт, да и то через магазин. Он — государственное заведение, а не частная лавочка.

— Дункай тоже не частную лавочку держит. Но мы же его допрашивали. Теперь давай Коркина допросим.

— Дункай — заготовитель, а Коркин — потребитель,

то есть распределитель! Это ба-альшая разница! Понимать надо, еловая голова.

— Вот именно, потребитель,— усмехнулся Коньков и с ехидцей спросил: — Что-то я не слыхал, чтобы в сельпо изюбрятину продавали в этом месяце. Кто же ее потреблял, кроме Коркина? Любопытно бы узнать...

— Ну, знаешь! Ты, кажется, того, божий дар путаешь с яишницей.

— Эге, божий дар! А ты, случаем, не приложился к этому дару? Тебе не продавали изюбрятину по дешевке?

— Леонид Семеныч, не забывайся! — вспыхнул Косушка, и на залысинах его стали проступать мелкие бисеринки пота.— Ты что, в кастрюли мои хочешь заглянуть?

— Не о кастрюлях я,— устало ответил Коньков.— О совести я думаю, о нашей принципиальности.

— По-твоему, я бессовестный! — Косушка, поджав губы, исподлобья смотрел на Конькова, и на его широкой переносице проступили красные жилки.

— Да не сердитесь! Я же не про вас. Я говорю о том, что скрывается за частным случаем убийства. О той нетерпимости, о травле Калганова. Они же его ненавидели за то, что он требовал жить по закону. И заготовители, и леспромхозовцы, и браконьеры, и черт знает кто. На него чуть ли не науськивали...

— Но пойми же, мы с тобой ведем следствие. У нас частное дело об убийстве. А ты куда лезешь? Не превышай полномочий!

— Конечно... Посадить под стражу какого-нибудь Кончугу, толком не разобравшись в его виновности,— тут не превышаем. А допросить Коркина, который принимает браконьерскую изюбрятину,— тут превышение. Ладно, еще вернемся к этому. У меня есть новость и поважнее,— меняя тон, сказал Коньков.

— Что за новость?

— В дневниках Калганова записано, что оба Ивана, должно быть, встречаются в Медвежьем ключе... Там у них, предполагал Калганов, и происходит заготовка. Или тайник есть. Мне только что сказали, что в Улахе, так называют удэгейцы Медвежий ключ, прячется какой-то тип. И там же, между прочим, обитает эти дни и тот шалый тигр, который слопал нашего свидетеля. Не кажется ли тебе, что наш свидетель живет поблизости от того самого тигра, который слопал его?

— Это любопытно! Кто тебе сказал?

— Сейчас узнаешь.— Коньков растворил дверь и поманил Дункая и Сольду.

Те вошли и остановились у порога, слегка поклонившись. Следователь подошел, поздоровался с ними за руку.

— Семен Хылович, значит, Улахе и Медвежий ключ — это одно и то же место?— спросил Косушка.

— Это правильно,— сказал Дункай.— А Сольда говорит: там человек прячется.

— Какой человек?— спросил Косушка старика.

— Не знай,— ответил Сольда.

— Ты его видел?

— Нет.

— Так кто же говорит?

— Наши люди говорят.

— Они его видели?

— Нет.

— Откуда ж они знают?

— Наши люди все знают,— твердо отвечал Сольда.

— Каким образом?— чуть усмехнулся Косушка.

— Тебе что, не понимай? Чувствуют!

— А-а! Тогда другое дело.— Косушка, все с той же улыбочкой, валкой походкой прошел к карте, которая висела на дальней стене, и поманил за собой Конькова.

Они нашли на карте распадок с ключом Улахе.

— Калганова убили здесь, возле Бурунги...— отмечает на карте ручкой Коньков,— до Улахе недалеко. Километров двадцать.

Косушка, обернувшись, громко спрашивает Дункая и Сольду:

— По Медвежьему ключу лодка проходит?

— Почему нет?— отозвался Сольда.

— Даже с мотором,— сказал Дункай.

Следователь сказал вполголоса Конькову:

— Съездить можно... Но зыбкая история. Одни слухи. Что мы с тобой с лодки увидим?

— У меня есть идея...— тихо сказал ему Коньков.— Но сперва давай отпустим удэгейцев и поблагодарим их.

— Ну, ну!— Косушка подошел к Дункаю и сказал:— Спасибо вам, Семен Хылович! Сведения ваши ценные. Мы их учтем.

Дункай натянул кепку, а Сольда сунул трубочку в рот, а свою шапочку с кистью и не снимал. Они повернулись уходить.

— Семен, подожди меня возле прокуратуры! — сказал Коньков. — Ты мне нужен.

— Ага, подождем! — и вышли.

— Что ж у тебя за план?

— Устроить облаву в Улахе. Прочесать весь распадок...

— А что? Может, и в самом деле там какой-нибудь обормот скрывается. Но как ее устроить? Собирать охотников на ловлю призрака? — усмехнулся Косушка.

— Ни в коем случае! Нас просто на смех поднимут, во-первых; а во-вторых — те, кому надо, услыхав о такой охоте, просто уберут того человека нынешней ночью, — сказал Коньков.

— Что ж ты предлагаешь?

— Поскольку разлетелась по всей округе молва, что кашевара утащил тигр, то давай и устроим облаву на тигра-людоеда. Людей даст лесничий и Дункай. Но звонить им надо завтра утром, по причинам предосторожности. Пойми, нам нужен тот свидетель. И делать все надо так, чтоб его перед нашим носом не ухлопали.

— Ты уверен, что он жив и прячется там?

— Да как бы там ни было, а прочесать эту падь надо. А главное, я на этой охоте их всех сведу — и Зуева, и Кончугу... А Инга сама придет.

— Откуда ты знаешь?

— Я чувствую.

— А-а! — усмехнулся Косушка и пошел к столу.

Коньков шел за ним и горячо доказывал:

— Завтра скажу Кончуге, что к Зуеву поедем, а уж он Инге передаст.

— Но вы ж до ночи облаву все равно не проведете? Не успеете. А за ночь те, кому надо уничтожить этого свидетеля — уничтожат! Они ж не дураки. Они ж поймут, что на такой облаве и тигра, и того типа зацепят.

— Они все будут у меня на глазах всю ночь, и Зуев, и Кончуга, и Инга, и Дункай. Да, все!

— Ну кто-то может шепнуть сообщнику, а тот может обойти ваш заслон.

— И это учтено. Ночью по тайге бесшумно не пройдешь. С нами собаки будут. Значит, пройти можно только по реке. А на реке у меня будет наблюдатель всю ночь.

— Ну, Леня! Ну, силен, бродяга! — Косушка только головой покачал. — Ладно. Завтра утром звоню лесниче-

му, и человек пятнадцать он тебе выделит на облаву на тигра. А остальных бери завтра у Дункая.

— О'кэй! Сейчас отпущу Дункая в Красное и накажу ему, чтобы ждал меня утром. И никаких подробностей. А Зуева пошлю завтра же утром в Бурунгу, чтобы ждал нас к обеду у себя дома.

— Он здесь?

— Да в гостинице. Привез птиц продавать.

— Ну что ж, Леня, желаю удачи! — И они крепко пожали друг другу руки.

16

Как и условились, с раннего утра Коньков забежал в прокуратуру, и при нем Косушка звонил лесничему на дом и попросил егеря и человек десять — пятнадцать рабочих во главе с Зуевым на облаву тигра-людоеда.

Тот ворчал спросонья: «Что еще за фантазия? Ни свет ни заря булгачить народ из-за какого-то тигра. Тоже мне пожар!» — «Петр Афанасьевич, дорогой! — упрашивал его Косушка.— Дело у нас горячее, хуже пожара. Два человека сгинули. Нам нужно прочесать лесную падь на Улахе безотлагательно. Я умоляю тебя, дай мне пятнадцать человек! И немедленно. Иначе придется прокурора просить, в райисполком звонить. Ну зачем?»

Лесничий повздыхал, покряхтел и спросил: «Но завтра ты отпустишь их к вечеру?» — «Раньше отпустим. К вечеру дома будут».

Наконец лесничий согласился выделить и рабочих, и егеря, и три лодки дать, с горючим в оба конца.

Потом Коньков позвонил Дункаю в контору. Тот был на проводе, как дежурный.

— Семен Хылович, можешь собрать человек двадцать на облаву тигра? К обеду! — спросил Коньков.

— С клепки сниму хороших охотников. И лодки подготовлю,— бодрым голосом отвечал тот.

— Ну, молодец! А я приеду часам к одиннадцати.

— Буду ждать на берегу у лодочного причала.

— Спасибо! Еще вот что: скажи Кончуге, чтобы он никуда не уходил. Мы вместе с тобой и с Кончугой поедем к Зуеву... Так и скажи ему. Поедем на его лодке. Заберем Зуева, потом двинемся в Улахе.

— Все сделаю, как надо!

— Ну, молодец.

Зуева Коньков застал в гостинице, еще сонным. Тот был в одной майке и в брюках — собирался умываться. Выслушав, по какому случаю понадобился он Конькову, Зуев сделал удивленное лицо и даже обиделся, что его по таким пустякам отрывают от дела: я, мол, здесь не баклуши бью. Какая облава тигра? Видел я вашего тигра в гробу в белых тапочках. У меня птицы здесь. На кого я их оставлю?

Но когда Коньков прикрикнул на него, он и совсем заупрямился: «У меня начальник есть — лесничий. С ним и разговаривайте».— «Я с ним только что говорил. А теперь вы говорите. Телефон у Агафьи Тихоновны. Звоните ему на дом. И немедленно!»

Зуев сходил в дежурку и вернулся озадаченным и хмурым. «Ну и что?» — спросил Коньков. «Что да почто,— проворчал Зуев.— Мне же кого-то надо найти да оставить за себя. Пока там проволынишься с вами, здесь и птицы сдохнут».— «Ты здесь не околачивайся! — начал терять терпение Коньков.— Оставь кого-либо у птиц и без промедления поезжай в Бурунгу. Жди нас к обеду у себя дома. Я заеду за тобой вместе с Дункаем и Кончугой. Ты в моей группе, понял? И потом все вместе поедем в Улахе на облаву. Заночуем там, на Медвежьем ключе. Все запомнил?» — «Ну».— «Не ну, а так точно. Имей в виду, если не застану дома, под землей разыщу и посажу под стражу!» — «Да вы что в самом деле? — обиделся Зуев.— Или я злоумышленник? Раз меня начальник отпустил в ваше распоряжение, то буду там, где приказано. Что за разговор?» — «Это другой коленкор,— сказал примирительно Коньков.— До встречи».

К девяти часам утра три моторных лодки с рабочими лесхоза и с егерем уже покачивались на речной волне возле затона. Коньков в плаще и в сапогах сел в переднюю лодку и махнул фуражкой.

Затарахтели моторы, и лодки, оседая на корму, стали выходить одна за другой на речной стрежень.

По дороге Коньков договорился с егерем Путятиным, что лодки войдут в Медвежий ключ с интервалом в сотню метров одна от другой и встанут на прикол. Палатки разбивать тут же возле лодок. И ждать приезда остальных. А вечером, когда все соберутся, обсудим, как вести облаву.

Возле села Красного лодка с Коньковым свернула в

протоку, а остальные ходом пошли вверх. Дункай ждал его на берегу с целой оравой охотников, а возле мужчин табунились ребятишки, за которыми бегали со звонким лаем собаки.

Не успел выпрыгнуть Коньков из лодки, как удэгейцы, покрикивая на собак: «Га! Га!», стали подтягивать баты, стоявшие на приколе, к берегу и загружать их рюкзаками с продуктами, медвежьими шкурами для подстилок, палатками и охотничьим снаряжением.

Через полчаса пять батов, полные людей, собак и всякой утвари, тарахтя моторами, стали разворачиваться и уходить за лесной остров к невидимой речке вслед за черной лодкой лесничества.

Коньков поднялся на берег. Здесь, кроме ребятишек, Дункая и стариков, на бревнах сидел Кончуга и сосал свою короткую трубочку. Возле него пристроились две собаки, лежал туго набитый рюкзак, из которого торчал ствол карабина.

— У тебя все готово?—спросил Кончугу Коньков, здороваясь.

— Готово, такое дело.

— Тогда в путь!

— Я сейчас домой сбегаю,—забеспокоился Дункай.— У меня там все припасы,—и потрусил рысцой к своему дому, стоявшему за конторой.

Коньков поглядел по сторонам: ни на берегу, ни возле конторы, где стояли бабы, Инги не было.

— Я, пожалуй, тоже схожу на медпункт,—сказал Коньков Кончуге.—Мне кое-что надо сказать Инге насчет Калганова.

— Ходить не надо,—отозвался Кончуга.—Инга сама придет.

— Сюда, на берег?

— Конечно.

— Тогда давай грузиться.

— Давай, такое дело,—согласился Кончуга.

Коньков взял свой рюкзак, карабин, лежавший тут же, и снес их в бат. За ним спустился вниз со своим снаряжением, в окружении собак, и Кончуга. Пока Кончуга укладывал на дно лодки медвежьи шкуры, палатку, рюкзак, собаки сидели тут же, возле воды, и повизгивали от нетерпения.

Показался на берегу и стал спускаться по тропинке Семен Хылович, нагруженный огромным рюкзаком; а за

ним в таежном снаряжении — в олочах, в шапочке с накомарником, откинутым на затылок, с рюкзаком за спиной и с карабином в руках — быстро шла Инга.

К лодке она подошла вместе с Дункаем.

— А вы куда собрались? — спросил ее Коньков с нарочитым удивлением.

Инга сперва прошла в лодку, сняла рюкзак и только потом ответила:

— С вами еду.

— Но мы еще к Зуеву завернем,— сказал Коньков.

— Знаю.

Коньков подмигнул Дункаю и с наигранным недоумением в голосе продолжал спрашивать Ингу:

— Как же вы так? Без приглашения? Без разрешения?

Инга ответила угрюмо и с вызовом:

— Приглашать вы меня все равно будете. На допросы! Вот я и решила пойти вам навстречу. И тигр меня интересует — не часто в наших краях людоеды появляются. И стрелять умею. По всем статьям подхожу.

Она уселась поудобнее в самом носу бата, за ней прошел и уселся Дункай.

— Ну что ж,— сказал Коньков Кончуге.— Поехали!

Кончуга крикнул на собак:

— Га!

Они тотчас прыгнули в лодку, и Кончуга стал шестом отталкивать бат от берега.

17

К Бурунге они подошли часа через три. Солнце еще светило мощно, хотя от воды тянуло острой свежестью — предвестником вечерней прохлады. Оставив Дункая в лодке с вещами и собаками, взяв с собой только карабины и патроны, они втроем пошли на заимку Зуева.

Хозяин с хозяйкой встретили их возле забора, у калитки. Настя была в толстой пуховой кофте и в цветном платке — с красными бутонами по черному фону. Зуев стоял в сером пиджачке и в голубой рубахе нараспашку. Всем своим праздничным видом они как бы подчеркивали, что рады гостям.

Но рассмотрев наконец своими близорукими глазами гостей, узнав Ингу, Настя побледнела; как с перепуга, невнятно сказала всем «здрасьте» и, диковато озираясь,

стала потихоньку отступать к дому. Зато Зуев пошел навстречу гостям, улыбаясь во все лицо, широко распахнув руки, словно обниматься хотел. Это его показное радушие удивило Конькова, и он подумал, что смена настроения у Зуева, должно быть, неспроста.

— Проходите, гости дорогие, проходите в избу! — говорил Зуев.— Мы уж прямо заждались. И стол давно накрыт. Все остыло.

Возле порога стояла Настя, теперь уже спокойная, и степенно, с легким поклоном, приглашала гостей в дом. Но Коньков заметил, что смотрела она как-то вкось и в глазах ее все еще таился тот первоначальный испуг.

Инга на одно мгновение задержала на ней свой быстрый рысий взгляд, и ноздри ее крошечного носа дрогнули и округлились. «Ну, быть потехе»,— подумал Коньков, наблюдая с крыльца за обеими соперницами.

Посреди горницы Зуевых был накрыт стол: белая скатерть, красные помидоры, грибки маринованные, яйца и огромная жаровня с медвежатиной, дышащая еще парком. А по концам стола стояли две бутылки водки, два графина с медовухой и бутылка красного вина в центре.

— Да вы как к свадьбе приготовились,— сказал с усмешкой Коньков.— Только вот кого женить будем?

— А может, поминки собрали? Все-таки человек был вроде бы не чужой,— съязвила Инга, поглядывая на хозяйку.

— Нет, мы без особой цели,— покраснела Настя, пряча глаза.— Садитесь! Дорога дальняя, на воде. Озябли, наверно.

— За сколько часов доберемся до Улахе? — спросил Коньков Зуева, присаживаясь к столу.

— Часа за два, за три. К ночи доедем.

— А вы сами не видали этого тигра? Живым не возьмем его? — спросил опять Коньков Зуева.

— Самому не приходилось. Но Калганов говорил, что старый. Так что этого живым не возьмешь,— усмехнулся Зуев.

Сели за стол. Зуев налил вина и водки в рюмки и поднял свою.

— За удачную охоту! — сказал он.

— И за счастье в этом доме, то есть за любовь,— добавила Инга, не притрагиваясь к своей рюмке.

У Насти дрогнула рука, плеснулось красное вино на белую скатерть.

— Как кровь на белье,— сказала Инга, глядя гневно на Настю.— Не похоже?

Настя зарделась, как бутон на ее черном платке, и поставила рюмку.

— Прошу выражаться культурнее,— Зуев смерил сердитым взглядом Ингу, и верхняя губа его с рыжими усиками гневно дернулась.— Все ж таки мы за обеденным столом сидим, а не в перевязочной.

Инга только фыркнула и ответила не ему, а Насте, не сводя с нее упорного взгляда:

— Кто сидит, а кто и лежит.

— Я не понимаю, что вы имеете в виду?— сказала Настя и обернулась к ней, все лицо ее выражало теперь не смущение, а глубокую печаль.

— Ах, вы не понимаете?— нервно усмехнулась Инга.— Я тоже не понимаю, как можно пировать после того, что произошло в трех шагах отсюда?

Настя только горестно вздохнула и снова уставилась в белую скатерть прямо перед собой.

А Зуев сказал:

— Наш стол здесь ни при чем.

— Конечно!— подхватила Инга.— И жена ваша ни при чем.

— К чему весь этот разговор? Мы собрались выпить. Или нельзя?— обратился он с усмешкой к Конькову.

Тот пожал плечами и вынул пачку папирос, стал закуривать.

— Кому нельзя, а мне можно,— сказал Кончуга.— Я озябла. За рулем сидел!— Взял свою рюмку и выпил.

Его поддержал Зуев:

— Молодец, Кончуга! В самом деле, развели канитель. На здоровье!— Он тоже выпил и стал закусывать.— Мертвый, как говорится, в гробе спит, а живой пользуйся жизнью. Веселись то есть. А ему теперь постом не поможешь.

— Зато он любил помогать кое-кому... при жизни,— сказала Инга, обернувшись к Зуеву.— Вы не слыхали?

Зуев поперхнулся:

— Кх-хэ! Кх-ха-а! Кыххх!— Он закрылся рукой и вышел из-за стола.— Я си-ичас...— просипел он и выбежал за дверь.

— Это недостойно! Вы не имеете права!— гневно сказала Настя.

— Значит, я не имею права? А вы какое имели право встречаться с Калгановым? — крикнула Инга.— Теперь невинность изображаете? Но кто его сюда завлек? Вы! И погиб он здесь из-за вас!

— Я... я не виновата... ни в чем! — Настя закусила губу и всхлипнула.— Это ложь!

— Ложь! — У Инги тоже зарделись скулы и недобро заблестели и сузились янтарные глаза.— Тогда я прямо скажу: вы были в ту ночь в лагере у Калганова!

Настя открыла рот и подняла руку, словно заслоняясь от удара.

— И не смейте возражать! — кричала Инга.— Я точно это знаю. И следы возле него были ваши. И кеды ваши. Я могу это доказать.

Настя закрыла лицо руками, зарыдала и быстро вышла из горницы в бревенчатый пристрой, отгороженный толстой стеной.

— Чего так шуми? Выпей немножко — сразу спокойнее будешь,— сказал Кончуга племяннице.

— Я в этом доме кружки воды не выпью!

Инга вышла в сени, хлопнув дверью.

— А я, понимаешь, озябла. Мне можно? — спрашивал Кончуга Конькова, наливая себе водки.

— Пей на здоровье! — Коньков встал из-за стола и прошел к Насте в бревенчатый пристрой, плотно затворив за собой дверь.

Настя лежала на диване, уткнув лицо в подушку, и глухо рыдала.

Коньков присел возле нее на стул, оглядел обстановку этой комнаты, похожей на спальню. В углу стоял комод, рядом с кроватью платяной шкаф, трюмо на подставке, и перед ним зеленый бархатный пуф.

— Успокойтесь, Настя.— Коньков стал утешать ее: — Быть в лагере у Калганова той ночью еще не значит совершить преступление. Но имейте в виду, если вы будете запираться, придется взять вас под стражу... А там перекрестные допросы, улики... Свидетели! Докажут. Но тогда вас будут судить за укрывательство преступления.

Настя встала, все еще всхлипывая, оправила волосы, потом накинула крючок на дверь.

— Я хочу, чтобы нас никто не слышал.

— Понятно! Будем говорить тихо,— согласился Коньков.— Итак, вы знали Калганова?

— Да.

— Когда вы с ним познакомились?

— Года два назад. Я в школе в Красном селе работала.

— Какие у вас были с ним отношения?

— Мы встречались...

— Как?

— Ну...— Настя повела плечом и замялась.

— У вас была любовь?

— Была.

— Почему же вы не поженились? Он не захотел или вы?

— Он меня держал в неопределенности.

— Каким образом?

— Говорил, что он прирожденный холостяк. Что замужество — это предрассудок. Что замужество убивает любовь, что любовь должна быть свободной. Ну и все такое... Теперь это модные взгляды...— и потупилась.

— Н-да.— Коньков помолчал, потом спросил: — Вы переписывались?

— Он не любил писать письма. Говорил, что это тоже предрассудок. Уехал в экспедицию куда-то в Якутию. Я потеряла с ним связь и с год ничего не знала о нем.

— И вы решили выйти замуж за другого?

— Да... В прошлом году.

— А с Зуевым вы давно знакомы?

— Давно. Раньше, чем с Калгановым.

— Он что, в Красном жил?

— Нет, он в райцентре жил. Работал экспедитором торговой базы. Часто приезжал к нам. Потом перешел в лесничество. Мы поженились, жили у меня, при школе. Но тут приехал Калганов, познакомился с Ингой... И мне в отместку стал крутить любовь у всех на глазах. Инга понимала это, и ненавидит меня.

— А вы любили Калганова?

— Да.

— Зачем же вышли за Зуева?

— Куда же деваться? Деревня, глушь... Четыре года одна прожила, и никакой надежды...

— А Зуев знал о вашей связи?

— Конечно. Когда приехал Калганов, он стал меня ревновать.

— Скандалил?

— Всякое было. Из-за этого и ушел сюда и меня увез.

Говорил — временно. Мол, подыщем что-нибудь получше — переедем, станешь опять работать.

— Понятно. А теперь скажите, что было в ту ночь?

Настя опять всхлипнула. Потом с минуту молчала, подавляя в себе приступы плача. И заговорила ровным голосом:

— Дня за три до этого Калганов с Кончугой заезжали к нам. Вели мирные застольные разговоры... А на другой день все уехали. Ивана вызвали в район, а Калганов с Кончугой подались в тайгу.

— И что ж? Зуев спокойно поехал в район? Он же знал, что Калганов остался поблизости.

— Знал... Предупреждал меня, что нагрянет... Я его успокоила. Говорила, что возврата к прошлому не будет. Ну... и все в таком плане...

Она вдруг попросила:

— Дайте мне папироску.

— Вы ж не курите!

— Бросила. Когда-то курила... С Калгановым.

— Пожалуйста! — Коньков протянул ей пачку.

Она затянулась раза два глубоко и жадно, потом продолжила рассказ:

— В тот же день, по отъезде, Калганов пришел ко мне и стал меня уговаривать уехать с ним. Я заплакала, говорю ему — поздно! А он свое — я, мол, все понял, что был свиньей... Что не может без меня жить...— Она вдруг часто стала всхлипывать, и плечи ее затряслись, потом опять пересилила себя.— Мы встречались с ним. И в ту, последнюю ночь я согласилась с ним уехать. Вот только, говорю, Зуев приедет. Стыдно бежать как ворам.

— Значит, были в ту ночь у него в лагере?

— Была... Он отправил куда-то Кончугу... Уже под утро он проводил меня лесом до пожни. Мы расстались, как нам казалось, ненадолго. Он пошел к себе в лагерь, а я домой. Подхожу к дому, смотрю — дверь в сени растворена и собака лежит на пороге. У меня ноги подкосились, я поняла, что дома Иван. Я хорошо помнила, что закрывала дверь на замок и ключ положила в условленном месте, где мы обычно прячем его. Смотрю на этот черный дверной проем и не могу шага ступить. Оперлась о забор и чую, что сердце готово разорваться... Тут выбежал Иван, растрепанный, с бешеными глазами. И слова не дал мне выговорить — ударил в висок. Я упала. Он стал бить меня ногами и скверно ругался... И вдруг на реке

раздался выстрел. Иван словно остолбенел, поглядел туда со страшным испугом. Потом сказал мне: если скажешь кому, что я был ночью здесь, убью. И бросился бежать к реке.

Она опять сделала несколько глубоких затяжек и потом сказала:

— Я еле встала... Отдышалась немного. И пошла туда, в лагерь. Сердце мое билось и ныло нестерпимо вот здесь,— указала она на ключицу.— Я чуяла недоброе. Пришла в лагерь — там пусто. Вышла на косу и увидела его, убитого... Вот все, что я знаю...

— Спасибо, Настя! — Коньков положил на ее руку свою ладонь и слегка пожал пальцы.— Спасибо!

— Вы сейчас арестуете Ивана? — спросила она.

— Ни в коем случае! И прошу вас ничего об этом не говорить. Мы едем на облаву. Благодарю вас! — Коньков первым вышел из пристроя.

В горнице за столом сидели Кончуга и Зуев. Зуев был насторожен и спросил:

— Ну, что будем делать?

— Настя успокоилась... Так что давайте собираться на охоту.

— Да мы готовы! — с заметным облегчением сказал Зуев.— Вы бы поели да выпили.

— А я это сделаю в дороге. Поехали! — сказал Коньков.

18

Лодки Зуева и Кончуги еще засветло дошли до Медвежьего ключа. Тут, на песчаной косе в самом устье ключа, поджидал их рослый бородач с двумя рыжими широкогрудыми амурскими лайками. Это был егерь Путятин; поначалу Коньков не узнал его — он стоял в разосканных под самый пах яловых сапогах, в брезентовом плаще нараспашку и в башлыке с опущенным накомарником.

Он откинул с лица накомарник и степенно поздоровался со спутниками Конькова.

— Вы прямо к ужину угодили, на готовое,— гудел он, добродушно посмеиваясь.— Значит, удачливые.

— Тигр-то не убежал? — спросил Коньков.

— Охотники Дункая сказали, что здесь, в распадке. Значит, от нас не уйдет.

— Вы его что, на привязи держите? — спросил Коньков Дункая.

— Я бы привязал, да ремня лишнего нет,— отшучивался Семен.— Брючной тоненький — ненадежный. Вот у тебя надежный ремень — милицейский. Может, уступишь?

— Э, нет! — усмехнулся Коньков.— Когда идешь на тигра, ремень нужно туже затягивать. Не то штаны спадут.

— А где же ваш ужин? — спросил Кончуга.— Я озябла, понимаешь.

— Там, на берегу ключа,— махнул егерь рукой.— Там и палатки стоят.

— Аким Степанович, а охотников развели по пикетам? — спросил Коньков.

— Да... Вдоль всего Медвежьего ключа... Теперь тут мышь не проскочит. Ну, пошли ужинать!

— Почему пошли? Поедем на лодках! — сказал Зуев.

— Нет, лодки оставим здесь,— сказал Коньков.

Зуев с недоумением поглядел сперва на Конькова, потом на Дункая.

— Почему? — спросил Дункай Конькова.

— Так нужно,— ответил тот уклончиво. Потом с улыбочкой обернулся к Зуеву: — Мало ли какой казус может выйти? Мы тигра на ключе караулим, а он вдруг вздумает по реке от нас уйти, вплавь. Говорят, и среди тигров хитрованы водятся. Тут нам и пригодятся лодочки. Так что, Батани,— обернулся Коньков к Кончуге,— оставь собак здесь, при лодках. А сам иди за нами. Айда!

Надев за спину рюкзаки, взяв карабины, они пошли за егерем. Не прошли они по берегу ключа и две сотни метров, как увидели егерский бивак: стояли две палатки, горел костер на воле, кипел котел на треноге, а вокруг костра лежало с дюжину загонщиков.

— Здорово, охотнички до ухи! — сказал Коньков.

— Привет кашеедам,— отшучивались те.

— Возьмите в компанию. У нас и орудии при себе,— Коньков вынул ложку из-за голенища и потянулся к костру.

— На чужой каравай рот не разевай!

— Она у нас архиерейская, уха-то. А у тебя звание не соответствует,— наперебой острили загонщики и шумно гоготали.

— Какая архиерейская уха? Это еще что за религиозная пропаганда? — строго спросил Коньков.

— Вон главный шаман, с него и спрашивай,— кивнули на егеря.

— Пока еще только утки варятся,— сказал Путятин.— Трех на реке подстрелили. А рыба вон, в ведре, ждет очереди.

Возле костра стояло конное ведро, полное чищеных ленков и хариусов.

— Это как же? И рыбу, и уток в один котел? — спросил Коньков.

— Вот это и есть архиерейская уха. Сварятся утки, потом в бульоне будем варить рыбу,— смачно причмокивая, пояснял егерь.— Погоди, вот поспеет — язык проглотите.

— Ну что ж, пока язык на месте, давай, рисуй обстановку,— сказал Коньков егерю.

Они вдвоем с егерем пошли в палатку. Здесь на раскладном столике они расстелили карту. В палатке было уже сумеречно. Они засветили фонарями, склоняясь над картой.

— Тигр, по приметам охотников, находится сейчас в этом районе, по правую сторону ключа. По ключу, как и договаривались, расставлены пикеты. И здесь пикеты и флажки, чтобы не пошел вверх,— указал Путятин карандашом на верховье ключа.— Отсюда, с высот, пойдут загонщики. Забросил их туда по реке утром. Где сам станешь? Где ставить Зуева, Кончугу?

— Зуев останется при мне. А место я выберу. Дай мне поколдовать над картой.

— Ну что ж, колдуй! А я пойду рыбу запускать в котел.— Путятин вышел.

А Коньков, обшарив глазами все высотки и впадины на обширном зеленом пространстве, решил, что если кто-то и скрывается здесь, то держится либо неподалеку от реки, либо поблизости от ручья. Ручей перекрыт, думал он, а вот река? Кого туда поставить? Самому нельзя — Зуев может за ночь натворить дел. Кончугу? Тоже нельзя. Все-таки на подозрении. Семена? Начальник ведь, заснет еще... Н-да...

Так и не решив этого вопроса, Коньков вышел из палатки. Начинали сгущаться сумерки, и звончее, навязчивее зудели комары. Отмахиваясь от них фуражкой, Коньков поскорее подсел к спасительному костру. Загон-

щики, среди них Дункай, Зуев, Кончуга, Путятин — все были здесь. А Инги нет. Коньков встал и сходил заглянул в другую палатку. И там ее не было.

— Где Инга? — спросил он Кончугу.

— Она, понимаешь, на речку пошла. Накомарник в лодке оставался.

— Странная забывчивость, — сказал Коньков и быстро пошел в темнеющие лесные заросли по направлению к реке.

Инга сидела в лодке. Увидев подходившего Конькова, насмешливо спросила:

— Боитесь, что сбегу?

— Вы что здесь делаете?

— Мечтаю.

— Почему не у костра?

— Шума не люблю.

— Вы неподходящее время выбрали для шуток.

— А я не шучу. Вот сижу и думаю как раз: когда же настанет это подходящее время?

— Смотря для чего и для кого?

— Для всех... Когда, например, люди станут людьми, а не зверями? Когда порядочные будут жить и работать как совесть подсказывает, а негодяи сидеть где положено? Когда любить будут и не обманывать?.. — У нее вдруг задрожали губы, она отвернула лицо и сказала, немного помолчав: — Да вам-то что до этого? Вы ведь допрос пришли снимать. Так давайте, допрашивайте.

— Вы теперь жалеете, что поехали с нами?

— Я не умею жалеть. И меня никто не жалел. Так что спрашивайте уж напрямую.

— Хорошо. Вы были в ту ночь на реке?

— Была.

— Когда вы оказались на месте происшествия?

— Сначала вечером... поздно. Но на стоянке никого не было. Я решила, что они на пантовке. Я поехала на верхние солонцы. Но там никого не оказалось. Тогда я решила, что они охотятся в Гнилой протоке. Там много водяного лютика, изюбры и сохатые любят там пастись. Добралась туда за полночь. Но встретила там только дядю. Он мне сказал, что Калганов под вечер привел в лагерь Настю, а что Зуев в городе. Тогда и решила, что он у нее. Поехала домой... И тут увидела на стоянке его, убитого. А рядом ее следы. Эти кеды я на ней раньше видела. Синенькие. Было уже утро, хотя солнце еще не

встало... Больше я ничего не знаю,— глухим голосом закончила она.

— А как вы думаете, в момент убийства Калганова Настя была вместе с ним? Рядом?

— По следам этого не скажешь. У него след размашистый. Чувствуется, он бежал к реке навстречу опасности. Навстречу своей смерти. А ее следы мелкие, частые. Чувствуется, она шла, немея от ужаса. Наверное, слышала выстрел и пришла позже.

Они долго молчали. Коньков курил, а Инга смотрела на бегущую воду реки, возле берега темную, как конопляное масло, а на стрежне играющую мертвенно-желтым переблеском в вялом свете взошедшей луны.

— А вам никто не встречался на реке?

— Нет.

— И шума мотора не слыхали?

— Солонцы слишком далеко от того места, а Гнилая протока еще дальше. Ничего я не слыхала.

— Понятно...— Коньков помедлил и потом заговорил с заминкой: — Может, вы и сами догадались, что меня и следователя не столько тигр интересует, сколько этот тип, который где-то прячется в здешних местах. Ваши люди говорят.

— Знаю.

— И... у меня есть опасения, что ночью к нему попытается проникнуть кто-либо из возможных сообщников, чтобы увести его отсюда, либо... Вы понимаете?

— Понимаю.

— Медвежий ключ надежно перекрыт. Если он пойдет сверху, его там схватят. Но если он предупрежден кем-то насчет засады... Если он опытный и рисковый, то может двинуться туда вдоль реки, по берегу, именно по этому берегу.

— Понятно. Человек прячется где-то на этом берегу.

— Но он может и по реке пойти.

— Как, по открытой реке, на моторе? — удивилась Инга.

— Зачем на моторе? Вдоль берега, отталкиваясь шестом. В тени деревьев. Луна будет как раз светить справа... Значит, тот берег будет освещен, а этот в тени. Я бы сам здесь продежурил всю ночь. Но не могу оставить Зуева одного. С ним сесть здесь — тоже не могу. Он исхитрится каким-нибудь сигналом предупредить об опасности. Он у меня на сильном подозрении. То, что он

ночью был там, я теперь не сомневаюсь. Но нам нужны его сообщники. Иначе вывернется. Он скользкий, как угорь.

— То есть вы хотите, чтобы я осталась здесь, в засаде? — спросила Ингани.

— Да. Вы любили Калганова. И вы должны помочь нам уличить его убийцу.

— Я согласна,— ответила без промедлений.— Вон, на самом юру под тем ильмом натяну полог. Меня с реки не заметят, я же смогу увидеть даже плывущее бревно. Только заберите от меня собак.

— Собак заберу. А лодки останутся здесь. Если кого-либо заметишь, останови. Будет уходить — стреляй! А в лодке, по реке захочет уйти — стреляй не в лодочника, а в лодку. Мы прибежим и пойдем вдогонку. У лодки Зуева мотор сильный. От нас не уйдет.

— Я вас поняла. Буду всю ночь сидеть как сова.

19

Два выстрела с коротким промежутком раздались с реки в первом часу ночи. После сытной ухи и легкой выпивки загонщики уже спали в палатках. Возле костра сидели только Путятин, Коньков да Кончуга. Зуев с Дункаем храпели под небольшим пологом, натянутым возле самого ручья, где поменьше комарья. Сырости они не боялись — для подстилки прихватили с собой две больших медвежьих шкуры.

Эти выстрелы всполошили только собак да Зуева с Дункаем, а загонщики в палатках и не почухались.

Коньков, как спринтер после знака, поданного стартовым пистолетом, рванулся в таежную темень за собаками, далеко оставив всех позади себя. Он поспевал за собаками огибать буреломную заваль и выворотни, словно держал их на невидимой шлее, и, не успев даже запыхаться, через какую-то минуту выбежал на бугор к тому ильму, где был натянут полог. Коньков сунулся было в полог, но там никого не было.

Инга покрикивала внизу, от реки:

— Лодку вытащи насухо! Так, а теперь брось шест и не вздумай вильнуть или побежать... Уложу как зайца. Подымайся на берег!

Коньков сам хотел спуститься вниз, но за спиной

услышал хруст валежин и тяжкое пыхтение. Он посветил фонариком — Зуев! «Ах, сволочь! Не спал и даже не раздевался...» — успел подумать Коньков.

— Что здесь за стрельба? — спросил Зуев, щурясь и заслоняясь руками от света.

— Сейчас узнаем.

Пока Инга вела по откосу какого-то здоровенного мужика сюда, к ильму, подоспели и Дункай, и Кончуга, и Путятин.

Задержанный шел сутулясь, низко опустив голову, за ним — Инга, держа его под прицелом; оплечь висел у нее второй карабин с раздробленной ложей. Коньков высвечивал их обоих фонариком. Задержанный наконец поднял голову, и все увидели его скуластое, блестевшее от пота лицо, мертвенно-синее от страха.

— Кузякин! — удивился Коньков.— Ты что, с неба свалился?

— Шел вдоль берега, на шесте, с выключенным мотором,— сказала Инга за Кузякина.— Я его окликнула. Он развернул лодку и стал заводить мотор. Я выстрелила в мотор. Тогда он поднял со дна лодки карабин. Я выстрелила в карабин. Вот, ложу раздробила,— Инга сняла с плеча карабин и протянула его Конькову.— Я крикнула ему, если не причалит к берегу, продырявлю голову, как пустую банку. Он понял, что с ним не шутят. Вот и причалил.

— У кого вы взяли карабин? — спросил Коньков Кузякина.

— Зуев дал,— ответил тот, глядя себе под ноги.

— Врет он! — крикнул Зуев.

— А вы помолчите! — строго сказал ему Коньков и опять Кузякину: — Как вы здесь оказались? Куда шли?

Кузякин мотнул головой, как притомленная лошадь, и опять уставился себе на ноги.

— Кашевара Слегина шли выручать? Отвечайте! — повысил голос Коньков.— Зуев вас послал?

— Да. Сегодня утром...

— Сволочь! — крикнул Зуев.

— А мясо у кого брали? Тоже у Зуева?

— Да.

— Врет же он! Врет! — надрывался Зуев.

— Да чего уж там? — глянул на него виновато Кузякин.— Не все ли равно теперь?

— Дубина! — сказал Зуев и отвернулся.

— Где брали мясо? — спросил Коньков.

— Тут недалеко есть тайник.— Кузякин кивнул на Зуева: — Он сам покажет.

— Ладно...— зло покривился Зуев.— Я покажу... Но имей в виду — ты сейчас сам себя приговорил к смерти.

— Разговорчики! — прикрикнул на Зуева Коньков.— И Слегин там прячется?

— Там,— ответил Кузякин.

— Значит, ты шел, чтобы вывезти отсюда Слегина?

— Да!

— Врешь, мерзавец! Ты шел, чтоб его зарезать. Убрать, чтоб не проболтался,— сказал Зуев со злобным азартом.

Коньков посмотрел на Зуева, потом на Кузякина и спросил:

— Так кто же из вас троих стрелял в Калганова?

— Не знаю,— ответил Кузякин.

— Х-хе! Он не знает! — усмехнулся Зуев и кивнул на Кузякина: — Да он же, он убил Калганова.

— Это еще надо доказать,— исподлобья посмотрел Кузякин на Зуева.

— Идемте. Я докажу...— Зуев пошел впереди по речному берегу.

— Идите! — сказал Коньков, подталкивая Кузякина.— Разберемся...

Тайник оказался совсем неподалеку.

В полуверсте по реке вверх от устья Медвежьего ключа и метров на сто в глубь тайги стоял могучий тополь Максимовича, эдак обхвата в три. К нему и подвел всех Зуев и сказал:

— Здесь он.

Коньков осветил фонариком лесные заросли вокруг тополя, в надежде увидеть какую-нибудь избушку на курьих ножках. Но ничего такого не увидел.

— Где же тайник? — недовольно спросил он.

Зуев подошел к тополю и стукнул три раза по шершавой коре. И вдруг дерево открылось — дверь была врезана в ствол и замаскирована искусно набитой на доски корой. Из тополя выглянула испуганная физиономия; высвеченный фонарем, парень заслонился ладонью и спросил хриплым спросонья голосом:

— Это ты, что ли, Иван?

— Выходи давай! — сказал ему Зуев и, обернувшись,

пояснил Конькову: — В тополе большое дупло. Я устроил в нем избушку.

Парень был маленький, шустрый; он вылез и таращил испуганные глаза на Конькова.

— Не ждал нас? — усмехнулся Коньков.— Вы — Слегин Иван?

— Ага! — с готовностью отозвался тот.

Коньков заглянул в дверь: в избушке, устроенной в дупле исполинского дерева, стоял топчан, столик, табуретка и даже «буржуйка», труба от которой отходила вверх, в дыру, невидимую за огромным суком. На перекладине над топчаном висели копченые окорока, а под ним и под столом лежали перебинтованные панты.

— Шесть пантов! — пересчитал их Коньков и сказал Зуеву: — А у тебя здесь промысел налажен.

Зуев промолчал.

— Как ты здесь оказался? — спросил Коньков Слегина.— Тебя же тигр слопал?

— Какой тигр? — испуганно переспросил парень и глянул на Зуева.— Я это... Иван меня сюда послал...

— Когда?

— Да вроде четыре дня назад. Я уже здесь и дни-то перепутал.

— А ты вспомни, и поточнее! — строго сказал Коньков.— Скажи все, подробнее. И не врать!

— А чего мне врать? Я мясо не крал. Я покупал его. Вот у них,— указал он на Зуева и Кузякина.

— Как ты здесь оказался? Почему ушел из бригады?

Зуев хотел было что-то сказать, но Коньков прикрикнул на него.

— Молчать! — и Слегину: — Говорите.

— Дак ночью, значит... Они шли на лодке вверх. А я еще не спал, на косе сидел. Вот мы и договорились: обратно пойдут — мяса мне продадут. Возвращались они на рассвете. Я вышел на косу. Дали мне мяса и говорят: мол, теперь сматывайся. Почему? А потому, говорят, что шухер. Утром приедет сюда Калганов, он по нашим следам идет, и станет пытать тебя — у кого ты мясо покупал? А я говорю — не скажу. Тут мне Зуев говорит: «Дурак! Вы вторую неделю изюбрятину варите. Ведь кто-то же проговорится из рабочих. Да они уж, поди, сказали ему. Он же тут околачивается». Я испугался. А Зуев еще добавил: «Он тебя потянет в милицию за незаконную покупку дичины. Там все скажешь. И полу-

чишь срок вместе с нами». Я чуть не заплакал: что ж мне теперь делать, говорю. А Зуев мне сказал: «Заблудись в тайге дней на пять. Пройди на Медвежий ключ и поживи в моем тайнике. Возьми с собой хлеба. Остальное все там есть. Не отощаешь. А Калганов уедет — я дам знать. Вернешься к себе на стан. Скажешь: плутал». Сейчас, говорю, хлеба возьму и дам деру. Но Зуев меня остановил: «Куда,— говорит,— ты, дурень? Сперва мясо свежее спрячь. Положь его в большую кастрюлю да прикопай возле воды, не то пропадет». Это я все сделаю, говорю. И хотел за кастрюлей бежать. А Зуев меня опять остановил: «Вот еще что,— говорит.— На Кривом Ручье свежие тигриные следы. Тут, мол, какой-то приблудный тигр появился. Кинь свою кепочку возле следа, а сам по ручью, по воде, топай на перевал. Оттуда спустишься к Медвежьему. Пусть думают, что тебя тигр слопал. Так будет вернее. Когда придешь в стан, еще посмеешься над своими». Я все так и сделал. А насчет того, что мясо покупал, не отказываюсь. Виноват, судите.

— А кто убил Калганова? — строго спросил Коньков.

— Как убили? Калганова? — испугался Слегин.— Когда?

— В то утро, когда ты бежал из стана.

— Я? Калганова?! Да что вы, товарищ лейтенант? — Слегин осекся голосом и всхлипнул: — Да я разве замахнусь на такого человека? Я ж совсем ничего не знаю!

— Ну? Так кто же из вас убил Калганова? — спросил опять Коньков, поочередно глядя то на Кузякина, то на Зуева.

— Не знаю,— сказал Кузякин.

— Зато я знаю,— с ненавистью смерил его взглядом Зуев.— Мы возвращались с мясом. Возле Бурунги, на косе, остановились. Я пошел домой, за женой приглядеть. А он в лодке остался. Пока я выяснял там с ней свои отношения, Калганов накрыл Кузякина. Он его и кокнул. Я слыхал выстрел. Когда прибежал — все было кончено...

— И тут выкручивается! — гневно сказала Инга.

— Чем докажете? — спросил его Коньков.

— Человек я запасливый.— Зуев прошел в свою избушку и вышел оттуда со вставным стволом, и, подавая его Конькову, сказал: — Убили Калганова из этого ствола. Проверить не трудно. Ствол нестандартный, пуля хранится у вас.

— Как он у вас оказался?—спросил Коньков, оглядывая этот вкладыш.

— Кузякин вынул его из своего дробовика и в реку бросил. А я уж потом достал его. Благо что вода неглубокая и светлая. Авось, думаю, пригодится.

— Какой негодяй! А сам вроде бы и ни при чем? Негодяй!—Инга всхлипнула и вдруг сорвала свой карабин с плеча.

— Инга! Не смейте!—крикнул на нее Коньков.

— Таких стрелять надо, как бешеных собак!—завизжала она, передергивая затвором.

Кончуга схватился за ствол и с трудом вырвал из ее цепких рук карабин.

Она зарыдала, забилась в истерике и упала на землю лицом вниз.

— Она больной немножко,—сказал извинительно Кончуга, передавая карабин Конькову.—Она целую неделю не спит... Вот какое дело.

— Инга, успокойтесь!—сказал Коньков, наклоняясь над ней.—Ведь слезами горю не поможешь. Вставайте! Пора идти.

Она не ответила, только рыдания стали судорожнее и ходуном ходили ее плечи.

— Пускай плачет,—сказал Кончуга.—Легче будет, такое дело. Вы идите. Все. Я здесь оставайся.

— Заберите панты, дверь тайника заприте,—сказал Коньков Путятину и Дункаю.—И пойдем к лодкам.

— А как насчет облавы?—спросил егерь.

— Облава отменяется. Как видите, тигр не виноват. Так что все по домам.

И они двинулись гуськом по тайге, все дальше уходя от лежавшей ничком на земле Инги и от Кончуги, сидевшего возле нее с трубочкой во рту и с карабином на коленях.

1969

ПАДЕНИЕ ЛЕСНОГО КОРОЛЯ

1

Следователь районной милиции капитан Коньков вызван был ни свет ни заря в прокуратуру. Звонил сам начальник: седлай, говорит, Мальчика и поезжай к прокурору. Он тебя ждет.

Утро было дождливым и по-осеннему зябким. Пока Коньков сходил на колхозную конюшню, где стоял его Мальчик, пока ехал по глинистой скользкой дороге в дальний конец районного городка Уйгуна в прокуратуру, успел промочить макушку — фуражку пробило; и брюки промокли, снизу, на самом сиденье, вода подтекала с плаща на седло. Вода была холодной, это почуял Коньков ляжками. И от шеи лошади начал куриться парок.

Коньков привязал гнедого, потемневшего от дождя мерина под самым навесом крыльца и говорил ему виновато, будто оправдываясь:

— Ты, Мальчик, не сердись на меня. Такая у нас с тобой работа — машины не ходят, а мы — топай. Ни дворов для тебя, ни коновязей. Анахронизм, говорят, пережиток прошлого. А вот приспичит — давай, мол, седлай этого чудо-богатыря.

Лошадь, словно понимая сетования хозяина, согласно мотнула головой. Капитан очистил от глинистых ковлаг сапоги об железную скобу и вошел в прокуратуру.

Районный прокурор Савельев, крупный носатый мужчина лет за тридцать, из молодых, как говорится, но решительных, встретил Конькова по-братски, вышел из-за стола, тискал его за плечи, басил:

— Да ты вымок до самых порток! Снимай плащ, погрейся вон у печки. Ну и льет! Каналья, а не погода.

— Что у тебя приспичило? Тормошишь ни свет ни

заря! — Коньков снял плащ, кинул его на широкий клеенчатый диван, а сам подошел и прислонился руками к обитой жестью печке. Он был в форменной одежде и в яловых сапогах; высокий и поджарый, в просторно свисающем сзади кителе, он выглядел юношей перед массивным Савельевым, хотя и был старше его лет на десять.

— Звонил твоему начальству. Говорю, Коньков нужен, срочно! А он мне — у тебя что, своего следователя нет? Мне, говорю, спец нужен по лесным делам. Коньков у нас один таежник.

— А чего в такую рань?

— Глиссер ждет у переправы. Почту везет к геологам и тебя подбросит.

— Что за пожар? Куда ехать?

— На Красный перекат.

— Эге! За двести верст киселя хлебать. Да еще в такую непогодь.

— Глиссер крытый. Не течет, не дует.

— Так до глиссера, до той самой переправы, ни один «газик» сейчас не доплывет. Дороги — сплошная глина да болота. Вон что творится! — кивнул на окно.

— Поэтому и вызвали тебя на лошади.

Коньков поглядел на свои мокрые брюки, вздохнул.

— Спасибо за доверие,— и криво усмехнулся.— Что там стряслось? Тайга, чай, на месте, не провалилась?

— Чубатова избили. Говорят, не встает.

— Какого Чубатова?

— Того самого... Нашего лесного короля.

— Ну и... бог с ним. Отлежится. Сам хорош.

— Я слыхал, ты его недолюбливаешь?

— А мне что с ним, детей крестить?

— Вроде бы на подозрении он у тебя,— не то спрашивал, не то утверждал Савельев.

— Слухи об этом несколько преувеличены, как говаривал один мой знакомый журналист. Просто знаю, что он сам не одну потасовку учинял. Девок с ума сводит. Все с гитарой... Менестрель! Ни кола ни двора. По-вашему, романтик, а по-моему, бродяга.

— Ты ему вроде бы завидуешь. Сам ходил в писателях,— хохотнул Савельев.

— Да пошел ты со своими шутками!

Коньков и в самом деле работал когда-то в Приморском отделении Союза писателей шофером и в газетах

печатался. Даже песню сочинили на его стихи: «Горят костры над черною водой».

В то далекое время он поступил на юридический факультет и уволился из милиции. Кем он только не работал за эти долгие годы! И газетным репортером, и рабочим в геологических партиях, и даже городским мусорщиком — шофером на ассенизаторской машине. Повеселился, помыкался и вернулся-таки на круги своя, в милицию. Во искупление первородного греха — непослушания, был отправлен в глухой таежный угол участковым уполномоченным, в самый захолустный район. Отстал от своих сверстников по училищу и в должности, и в звании, к сорока годам все еще ходил в капитанах. Наконец-то перебросили его в большой районный центр следователем. К репутации въедливого милиционера прилепилось еще прозвище «чудик». На это, собственно, и намекнул Савельев этим насмешливым выражением — «ходил в писателях».

— А что? У Чубатова есть песенки — будь здоров! Сами на язык просятся,— продолжал подзадоривать его Савельев.

— Паруса да шхуны, духи да боги... Новая мода на старый манер,— покривился Коньков.— Дело не в песнях. Гастролер он — прописан в Приморске, живет здесь. Не живет, гуляет.

— Это ты брось! Он еще молодой — пусть погуляет. А парень деловой, авторитетный.

Коньков хмыкнул.

— Артист-гитарист... Поди, из-за бабы подрались-то?

— Не думаю. По-видимому, коллективка. Избиение мастера.

— Мастера-ломастера,— опять усмехнулся Коньков.

— Это ты напрасно, Леонид Семеныч. Что бы там ни было, а для нас он золотой человек.

— Что, дорого обходится?

— Ты привык в тайгах-то жить и лес вроде не ценишь. А мы — степняки, каждому бревнышку рады. Старожилы говорят, что у нас до Чубатова в райцентре щепки свежей, бывало, не увидишь. Не только что киоск дощатый сбить — кадки не найдешь. Бабы огурцы в кастрюлях солили. Вроде бы и тайга недалеко — полторы сотни километров, а поди выкуси. Сплав только до железной дороги, а тому, кто живет ниже, вроде нас, грешных, ни чурки, ни кола. Добывайте сами как знаете.

И Чубатов наладил эту добычу. По тысяче, а то и по две тысячи кубиков леса пригонял ежегодно. Да вот хоть наша контора,— вся отделка: полы, потолки, обшивка стен — все из того леса. Дом культуры какой отгрохали. А сколько дворов для колхозов и совхозов построено из его леса? А ты говоришь — артист.

— Ну, ладно, золотой он и серебряный. Но зачем туда следователя гнать? Что я ему, примочки ставить буду? Я ж не доктор и не сестра милосердия. А допросить и его, и виновников я и здесь могу.

— Так беда не только в этом. Лес пропал — вот беда.

— Как пропал?

— Так... Недели три ждем этот лес. И вот известие — лес пропал, лесорубы разбежались, бригадир избит. Что там? Хищение, спекуляция? Расследуй! Сумма потрачена порядочная, больше десяти тысяч рублей. И постарайся, чтобы лес доставили в район. Любым способом!

— Это другой коленкор,— сказал Коньков.— А как же с лошадью? Не бросать же ее на переправе!

— Лошадь твою паромщик пригонит. Давай, Леонид Семеныч, двигайся!

— Эх-хе-хе! — Коньков взял с дивана мокрый плащ и, морщаясь, стал натягивать его.

2

Зимовье на берегу реки Шуги состояло из длинной и приземистой, на два сруба избы да широкого, обнесенного бревенчатым заплотом подворья, сплошь заваленного штабелями гнутых дубовых полозьев да пиленым брусом для наклесток саней. Лесник Фома Голованов, строгий и сухой, как апостол, старик, но еще по-молодому хваткий, тесал на бревенчатом лежаке полозья под сани. Поначалу шкурье снимал настругом, потом пускал в ход рубанок и, наконец, долото — выдалбливал узкие и глубокие гнезда под копылы.

Погода стояла солнечная и тихая,— прохладный ветерок, прилетавший с рыжих сопок, трепал на нем бесцветные, как свалявшаяся кудель, волосы, сдувал с лежака стружки и гонял их по двору на потеху серому котенку да черному с белой грудкой медвежонку.

Первым за летящей стружкой бросался котенок; поймав ее и прижав лапкой к земле, он торопился разгля-

деть — что это за летучее чудо; но сзади на него тотчас наваливался медвежонок, хватал за холку и сердито урчал. Котенок вырывался и, фыркая, отбегал, распушив и подняв кверху хвост. Медвежонок обнюхивал сдавленную стружку и, не находя в ней ничего интересного, снова бросался за котенком. Так они и метались по двору, забавляя работавшего лесника.

«Да, сказано: глупость, она с детства проявляется,— думал старик.— Вот тебе кошка, а вот тебе медведь. Та с понятием живет, к человеку ластится, услужает. И не даром — глядь, и перепадает ей со стола хозяйского. А этот дуром по тайге пехтярит. Что ни попадет ему, все переломает да перекорежит. Медведь, он и есть медведь».

И, не выдерживая напора мыслей, начинал вслух распекать медвежонка:

— Ну, что ты за котенком носишься, дурачок? Ты сам попробуй поймать стружку-то. Ведь на этом баловстве и ловкость развивается: ноне стружку поймал, а завтра, глядишь, и мышку сцапал. Не то еще какую живность добудешь. А ты только и знаешь, как другим мешать. Вот уж воистину медведь.

Из дома вышла приглядно одетая женщина лет тридцати, в хромовых сапожках, в коричневой кожаной курточке, в цветастом с черными кистями платке. Старик немедленно перекинулся на нее:

— Что, Дарьюшка, томится душа-то?

Она поглядела на широкий, пропадающий в синем предгорье речной плес и сказала:

— Нет, не видать оказии.

— У нас оказия как безобразия... От нашего хотения не зависит. На все — воля божья,— ответил старик.

— Ты отдал мою записку геологам?

— И записку, и все, что наказано, передал. Пришлите, говорю, доктора какого ни на есть. Человек, говорю, пострадал за общественное дело. На ответственном посту, можно сказать.

— А они что?

— Да я ж тебе передавал! В точности исполним, говорят. И доктора, и следователя пришлем.

— А ты сказал, что сюда надо, на зимовье?

— Ну.

— Второй день — ни души. Эдак и сдохнуть можно,— тоскливо сказала Дарья, присаживаясь на чурбак.

— Я ж вам говорил — поезжайте все в моей лодке.

— Чтоб они его до смерти убили?

— Что они, звери, что ли?

— Хуже. Бандиты!

— Столько вместе отработали. И на тебе — бандиты.

— Работал он, а они дурака валяли.

— Стало быть, руководящая линия его ослабла. Вот они и дали сбой.— Старик потесал, подумал и добавил: — Указание в каждом деле создает настрой. Какое указание, такой и настрой.

Вдруг с реки послышался неясный стрекот. Дарья и Голованов поднялись на бугор и стали всматриваться в даль.

Глиссер показался на пустынной излучине реки, как летящий над водой черноголовый рыбничек; он быстро шел по реке с нарастающим гулом и грохотом.

Напротив зимовья глиссер сделал большую дугу, носом выпер со скрежетом на берег и, утробно побулькав, затих. Тотчас откинулась наверх боковая дверца, и, пригибаясь, стали выходить на берег пассажиры.

Их было трое: впереди шел капитан Коньков, за ним с медицинской сумкой пожилой врач и сзади — водитель глиссера, малый лет двадцати пяти, в кожимитовой куртке и в черной фуражке с крабом.

— Где пострадавший? — спросил врач, подходя к леснику.

Но ему никто не ответил. Женщина протянула руку Конькову и сказала:

— Здравствуйте, Леонид Семенович!

— Здравствуйте, Дарья! — удивился Коньков, узнавая в этой женщине финансиста чуть ли не с соседней улицы.

— А это лесник Голованов,— представила она старика.— Хозяин зимовья.

— Следователь уйгунской милиции,— козырнул Коньков.— А где бригадир?

— В избе,— ответила Дарья.

— Проводите! — сказал Коньков и сделал рукой жест в сторону зимовья.

И все двинулись за Головановым.

Бригадир Чубатов лежал на железной койке, застланной медвежьими шкурами. Это был светлобородый детина неопределенного возраста; русые волосы, обычно кудрявые, теперь сбились и темными потными прядями липли ко лбу. Серые глаза его воспаленно и сухо

блестели. Запрокинутая голова напрягала мощную шею, посреди которой ходил кадык величиной с кулак. Лицо и шея у него были в кровоподтеках и ссадинах. Он безумно глядел на окруживших койку и хриплым голосом бессвязно бормотал:

— Ну что, заткнули глотку Чубатову? Я вам еще покажу... Я вас, захребетники! Шатуны! Силы не хватит — зубом возьму. Дар-рмоеды!

Медик с дряблым озабоченным лицом, не обращая внимания на эту ругань, ощупывал плечи его, руки и ноги. Потом распахнул рубаху на груди, прослушал стетоскопом. Наконец сказал капитану:

— Ран нету, кости целы. Обыкновенный бред. Температура высокая. Острая простуда.

— Они его в воде бросили, мерзавцы,— сказала Дарья.

— Кто-либо из его бригады есть на зимовье? — спросил Коньков.

— Те разбежались. А последние, двое, уехали на моей лодке за продуктами,— ответил Голованов.

— Накройте его,— сказал капитан, кивнув на бригадира,— и отнесите в глиссер. А вы останьтесь в избе со мной,— обернулся он к Даше.

Голованов и моторист взяли Чубатова под мышки и за ноги, врач помогал им, поддерживая больного за руку,— и все вышли, тесня и мешая друг другу на высоком пороге.

Коньков притворил за ними дверь, указал Даше на скамью возле стола.

— Присаживайтесь!

Сам сел на табуретку к столу, вынул из планшетки тетрадь.

— Я вынужден задать вам несколько вопросов. Что вы здесь делаете? Уж не поварихой ли работали в бригаде?

Даша чуть повела плечиком, капризно вздернула подбородок.

— Я работаю финансовым инспектором Уйгунского райфо.

— Это я слыхал. А что вы здесь делаете?

— В бригаде Чубатова находилась в командировке и помогала им в качестве экспедитора.

— Что значит — в качестве экспедитора? Какие обязанности?

— Ну, обязанности разные... Дело в том, что бригада состоит на полном хозрасчете. Ей отпускаются средства для заготовки леса и на прочие расходы, связанные с производством: покупка продуктов, тягла, оборудования всякого.

— И вы занимались этими покупками?

— Не совсем так. Я помогала оформлять трудовые сделки. Как бы контролировала их законность. И некоторое оборудование приходилось завозить мне.

— И сколько же вы находились в бригаде?

— Всего месяц.

— Значит, при вас случилась драка? Или нападение на бригадира?

— К сожалению, нет. Я в ту ночь была в Кашихине, закупала продукты в сельпо для бригады.

— И вы не знаете, из-за чего ссора произошла?

— Вам лучше бы поехать на Красный перекат. Там удэгейцы вам все расскажут.

— Куда мне ехать и кого спрашивать — я сам знаю. А вас прошу отвечать на вопросы.

— Вы со мной так разговариваете, будто бы я подследственная,— улыбнулась Даша.

— Избили человека... Еще неизвестно, какие осложнения это вызовет. Вы знаете обстоятельства или причины драки и не хотите говорить. Как прикажете понимать это?

— Дело в том, что драка произошла из-за меня.

— Но вас же не было в ту ночь в бригаде?

— Окажись я в бригаде, может, и драки не произошло бы.

— Значит, причина в обыкновенном соперничестве?

— Вроде этого.

— И кто же оказался соперником бригадира?

Она опять кокетливо повела плечом.

— Вы меня, право, ставите в неловкое положение,— усмехнулась.— Уж так и быть, скажу. Только вам, как представителю закона, по секрету...

— Ну, скажите по секрету.

— Заведующий лесным складом Боборыкин не ладил с бригадиром.

— Какого лесного склада?

— От Краснохолмской запани.

— А при чем тут бригада лесорубов? Они же дрались?

— Лесорубы имели с Боборыкиным общие интересы.

Он оказывал влияние на бригаду. И очень не любил Чубатова из-за меня.

— Значит, он подговорил лесорубов? Как бы натравил их?

— Вроде того.

— Что ж они, дети, что ли, неразумные? Избивать человека по наущению?

— У них в бригаде были, конечно, и свои трения. Производство — дело сложное.

— Трения из-за леса?

— Не знаю... Я была у них всего месяц.

— А где заготовленный лес?

— Плоты сели выше Красного переката.

— Как сели? Все?!

— Все. Две тысячи кубометров.

— Целы хоть они?

— Не знаю. Люди разбежались, бригадир избит. Спрашивать не с кого.

— Как же ухитрились плоты посадить?

— Вода малая, река обмелела. Из-за этого и сыр-бор вышел. Не пригонят плоты в Уйгун до морозов — и останутся наши лесорубы без денег. Вот они и дуются на бригадира. А он что — бог? Не может он послать проливные дожди. Осень на дворе.

— О чем же он раньше думал?

— Хотел побольше взять древесины. Да бригада у него собралась нерасторопная. Лодыри.

— Лодыри? Две тысячи кубиков добыли на дюжину человек. Это не хухры-мухры.

— А-а! Чего это стоило бригадиру?

— Бригадир, между прочим, обязан был заблаговременно спустить лес.

— Кабы не саботаж, плоты давно бы в Уйгуне были.

— Кто же саботировал?

— Все те же — Вилков да Семынин, дружки Боборыкина. Вот с них и спрашивайте.

Вошел лесник Голованов.

— Больного уложили. Моторист спрашивает: заводить ай нет?

— Как заводить? А я? — всполошилась Даша, вставая со скамьи. — Я в тайге не останусь.

— Не беспокойтесь — я вас больше не задерживаю, — сказал капитан.

— Дак мы же вместе поедем. В дороге, пожалуйста,— все расскажу, что вас интересует.

— И куда лес делся, расскажете? — усмехнулся Коньков.

— Про лес я больше ничего не знаю.

— Поезжайте! Но мы еще встретимся.

— Я всегда пожалуйста.— Даша без лишних слов вышла и посеменила под откос, придерживая руками раздувавшуюся на ветру юбку.

За ней вышли на берег Коньков и Голованов.

— Вы можете меня подкинуть до Красного переката? — спросил Коньков.

— Можно. Мотор мой к вечеру придет,— ответил Голованов.

— А где он?

— Лесорубы за продуктами угнали.

— Что ж у них, своего мотора нет?

— Они все хозяйство продали. Работу кончили, погрузились на плоты. И сели где-то за перекатом.

— Товарищ капитан, едем, что ли? — крикнул с глиссера моторист, подсадив на палубу Дашу.

— Поезжайте! — ответил Коньков и махнул рукой.

Глиссер взревел, попятился задом, потом развернулся и пошел по реке, набирая скорость, задирая все выше нос и оставляя за собой тянущиеся к берегам волны, словно длинные усы.

3

Моторная лодка к вечеру, как обещал лесник, не пришла, Голованов с Коньковым сидели на бревнах возле деревянного заплота и томительно ждали ее возвращения.

Предзакатное, нежаркое солнце плавало над синей кромкой дальних сопок; река затихла и блестела у того берега желто-красным отсветом начинающейся вечерней зари; в успокоенном воздухе тонко и беспрерывно зудели комары.

Коньков хлопал себя по шее, обмахивался фуражкой и ругался. Он досадовал на себя за то, что доверился леснику и отпустил глиссер. Мог бы сгонять на глиссере к перекату; часа полтора потеряли бы доктор с больным, не более. Чай, за это время ничего бы с ним не случилось, качка не бог весть какая, потерпел бы бригадир. А теперь сиди вот и жди у моря погоды.

Капитан смутно догадывался, что драка случилась неспроста, тут не одно соперничество да оплошность с плотами. Загвоздка в чем-то другом. Да и лес цел ли? Не растащили ли плоты-то?

Несколько раз заводил он разговор с лесником, но тот ничего определенного не знал или просто отговаривался.

— Из-за чего ж они все-таки подрались?— допытывался капитан.

— Я не видел,— отвечал лесник.— Дрались они где-то на перекате.

— А как же у тебя очутились?

— Бригадира с Дарьей удэгейцы привезли. Говорят: половина лесорубов на запань ушла, а двое сюда приехали, на катере.

— Ну что-то они говорили? Слыхал, поди?

— Вроде бы бригадир с Боборыкиным не поладили.

— Да что ему этот Боборыкин? Он же заведующий лесным складом! Какие могут быть у них трения?

— Тот лесом заведует, а этот лес заготовлял. Вот и столкнулись.

— На чем? На каких шишах?

— Обыкновенных. Боборыкин, к примеру, продал лес, а Чубатов купил.

— Как это продал? У него не частная лавочка, а государственный склад. Запань! Лес на учете.

— Кто его там учтет? Вон сколько тонет леса при сплаве. Тысячи кубов! Речное дно стало деревянным. Рыбе негде нереститься. А ты — учет.

— Ну, то потери при сплаве. Они списываются по закону.

— А кто проверит — сколь списывают на топляк, а сколь идет на сторону в загашник?

— Дак есть же инспектора, ревизоры.

— А ревизоры тожеть люди живые. Вот, к примеру, наша река — нерестовая. По ней нельзя сплавлять лес молем. Но его сплавляют. Все ревизоры видят такое дело. Ну и что?

— Погоди! Значит, вы говорите, что на лесном складе у Боборыкина есть неоприходованные излишки?

— Я ничего такого не говорил,— ответил Голованов, глядя прищуркой на Конькова.

— Но ты же сказал, что Боборыкин мог продать неоприходованный лес, а Чубатов купить.

— Мало ли кто что мог сделать. Могли вон ухлопать Чубатова, а он живой.

— Кто ж его пощадил?

— Бог.

— А вы шутник! — Капитан во все глаза глядел на прищуренного лесника и даже головой покачал.

— Шутник медведь — всю зиму не умывается, да его люди боятся.— Лесник был невозмутим.

Коньков положил ему руку на колено и сказал, вроде бы извиняясь:

— Я ж вас не пытаю как следователь. У меня другая задача: помочь уладить это дело миром. А главное — лес разыскать да двинуть его куда надо. Я не могу понять, как ухитрились плоты посадить? Вроде бы Чубатов — человек опытный?

— Одно дело опыт, а другое азарт, зарасть. Погнался за кубиками и перегрузился. Да ведь и то сказать — для вашего Уйгуна каждая щепка — золото. На голом месте живете.

— Как думаете, не подымется вода в реке?

— Нет,— уверенно ответил лесник.— По моим приметам, осень будет сухая.

— Что за приметы?

— Ондатра гнездо делает у самого приплеска. Значит, вода зимой будет низкая.

— А у нас, в Уйгуне, дожди льют.

— У вас низменность. А мы на высоте живем — притяжения нет. Вот и гонит к вам тучи.

Далеко за синим перевалом поднялся в небо высокий столб дыма. Капитан присвистнул.

— Что бы это могло значить? Уж не тайга ли загорелась?

— Все может быть,— спокойно отозвался Голованов.— Дым светлый, значит, дерево горит. Не солярка.

— Ехать надо, тушить! — забеспокоился Коньков.

— А на чем? На собаках?! — усмехнулся лесник.

— Ну, есть же у тебя лодки?

— Лодки есть, мотора нет. А на шестах туда и до утра не доберешься. Это ж где-то у Красного переката горит. Верст за сорок. Река обмелела, быстрая. Напор такой, что с ног валит.

— Лесник называется! Тайга горит, а он сидит и рассуждает.

— Говорят тебе — мотор у меня угнали.

— Зачем отдал?

— Не умирать же людям с голоду!

— А если лодка не придет? Что ж, мы так и будем тут сидеть?

— Приде-от. Куда она денется?

Однако моторная лодка появилась совсем не с той стороны, откуда ее ждали,— она шла сверху, оттуда, где в полнеба растекалось огромное облако дыма. В длинной долбленой лодке с поперечными распорками, называемой по-удэгейски батом, сидели два паренька удэгейца — один на корме, возле мотора, правил, другой, поднявшись в рост, махал кепкой.

Голованов и Коньков в сопровождении двух пестрых собак сбежали по берегу к самому приплеску.

— Что там стряслось?! — кричал Голованов.

— Дядь Фома, лесной склад горит! — ответил из лодки стоявший паренек.

— Чей склад? Боборыкина? — спросил Коньков.

— Его,— ответил сидевший за рулем.

— На тайгу огонь не перекинулся? — спросил Голованов.

— Немножко прихватило,— кричали из лодки.— С метеостанции дали сигнал. Может, самолеты прилетят.

— Ну да, прилетят самолеты — завтра об эту пору,— ворчал Голованов, ловя за нос подходившую лодку.— Не глуши мотор! — и первым прыгнул в лодку.

— Надо бы лопаты прихватить да топоры! — сказал Коньков.

— Давай, прыгай! — гаркнул Голованов.— Найдется там это добро.

Собаки, обгоняя капитана, попрыгали с разбегу в бат, потом, придерживаясь за борт, влез в лодку и Коньков.

— Оттолкните шестом бат! — крикнул Голованов, берясь за руль.— Та-ак. А теперь — сидеть по местам!

Взревел мотор, запенилась, закипела бурунами вода за кормой, и длинная, как торпеда, черная посудина пошла на разворот к речной стремнине.

4

Тревожный запах гари летел над рекой, загодя опережая дым; еще отдаленно полыхало, растекаясь по небу лиловыми языками, зарево пожара, окаймленное бушу-

ющими сизыми клубами дыма, еще темен и чист был речной фарватер от огненных бликов и дымной завесы, а встречный ветерок с верховья уже горчил на языке и пощипывал в носу.

«Крепко горит»,— подумал Коньков. Ему не терпелось поскорее прибыть на пожарище, поглядеть на этого Боборыкина — как он мечется теперь по складу? «Что это за разгильдяйство? Среди бела дня склад загорелся! За чем же он смотрит, сукин сын? Ну, я ему сказану...» — горячил себя Коньков.

Лодка хоть и летела, словно ласточка, над волнами, высоко задрав нос, но река то и дело петляла между сопок, и каждый кривун, оставляя за собой очередные отроги сопок, выводил все на новые заслоны, и казалось, нет им числа.

Дым над рекой появился неожиданно; как только лодка свернула за гранитный выступ высокой отвесной сопки, над острыми гольцами закурчавился дымный гриб, спадая жидкими клочьями на темную воду, кипящую на перекате мелкими рваными волнами. Далее по речному плесу все заволакивало до самых берегов белесой дымовой завесой. И там, где-то неподалеку, за очередным кривуном, угадывался пожар,— оттуда несло, высоко вздымая в небо, как черные перья, истлевающие на лету, щепки, листья и оскретки сосновой коры.

Лодка вдруг развернулась и пошла по неширокой, заросшей водяным лютиком и тростником, речной протоке.

— Куда ты? — крикнул Коньков.— По реке давай! На лесной склад!

— Лесному складу мы теперь не поможем,— спокойно сказал Голованов.— Чем ты его, штанами потушишь?

— Мне Боборыкин нужен!

— А мне тайгу надо спасать! — повысил голос Голованов.— Боборыкин никуда не денется. А тайгу можем отстоять, пока не поздно.

— Что ж мы, вдвоем тайгу потушим? — спросил Коньков.

— Люди уже на месте,— заверил Голованов.

И в самом деле — в горящей тайге было множество народу, всё нанайцы да удэгейцы из таежного поселка Арму. Они были с лопатами, топорами и даже с пилами.

Длинный и неширокий ров извилистой змейкой опоясывал горящий участок леса от остальной тайги; здесь,

словно на переднем крае обороны, вдоль этого рва бегали и суетились люди,— глядели за тем, чтобы перелетевшие через ров искры не заронили огонь в новом месте.

Лесной пожар еще только начинался: кое-где факелом истаивали вершинки неокрепших сосенок, свечками оплывали в несильном жаре сухостоины, да трещал, как лучины, корежился и разваливался в угли валежник. Жидкие космы дыма повсюду просачивались откуда-то из-под земли, и лишь местами из сухих корневищ вырывались косые и неверные язычки пламени. Но ясень, ильмы, маньчжурский орех, бархат и темная кипень подлеска держались стойко.

Фома Голованов, крича и размахивая топором, увлекая за собой удэгейцев, бросился рубить охваченные огнем деревья. От каждого удара горящее дерево, вздрагивая, осыпало лесорубов летучим роем искр и, заваливаясь с треском и гулом, обдавало всех жаром и головешками.

— Штаны затяни потуже! — кричал Голованов.— Не то вернешься домой с головешкой вместо этого самого. Баба прогонит.

Ему отвечали нанайцы:

— У тебе, наверно, все усохло. Бояться не надо.

— Га-га! Вот это по-нашему,— довольный собой, гоготал Голованов и снова покрикивал: — Лопатами шуруйте, ребятки! Главное, корневища подрубайте, где горит! Чтоб огонь низом не пошел.

Коньков, казалось, позабыл и о лесном складе Боборыкина, и о самом бригадире Чубатове, и о плотах — обо всем том, зачем приехал в эту таежную глухомань; он преданно повсюду поспевал за Головановым и по первому слову его кидался с топором или с лопатой на огонь.

— Так его, капитан! Глуши, бей по горячему месту,— покрикивал Голованов.— Вот это по-нашему. Молодец!

Старик был неутомим; то с шуткой, то с матерком подваливал он одним ударом топора высокие сосенки да елочки, а Коньков, ухватившись обеими руками за комель, оттаскивал срубленные деревья подальше от пожара.

Удэгейцы так же азартно и ловко подрубали корни, сносили валежины, бегали с ведрами и засыпали песком горящие лежбища палого листа и всякой прели.

Меж тем незаметно опустились сумерки; очистились вершины деревьев от дымной завесы, и в просветах от поваленных сосен да елочек заблестели на небе звезды; все стихло — ни возбужденных криков людей, ни огненных вспышек, ни треска горящих сучьев,— только редкие головешки, присыпанные песком, все еще чадили жиденькими струйками, но дым пластался понизу возле корневищ, перемешивался с вечерним туманом.

— Баста! — сказал Голованов.— Шабаш, мужики! Хорошо поработали. А теперь вниз, к реке. Мойтесь! Не то впотьмах за чертей сойдете.

— Вместе пойдем! — сказал ему Коньков.

— Ступайте, ступайте! Я еще пошастаю тут. Кабы где не отрыгнул огонек-то. А вы там удэгейцев попытайте.

Люди спускались по крутым откосам к реке, цепляясь за мягкие ветви жимолости и черемухи, у воды шумно плескались и возбужденно переговаривались.

— Кто же тайгу поджег? — спрашивал Коньков.

— Никто не поджигал, сама загорелась.

— Как сама?

— От склада огонь перелетал. Ты что, не соображаешь?

— А склад отчего загорелся?

— Сторож знает, такое дело,— ответил старик удэгеец.

— А где он?

— Я не знай.

— А кто знает?

— Никто не знай, такое дело,— ответил другой старик.

— Куда же он делся? — удивился Коньков.

— Его пропадай...

— Что он, сгорел, что ли?

— Не знай.

Вдруг Коньков увидел идущего навстречу по речному берегу старого знакомого Созу Кялундзигу.

— Соза Семенович! — кинулся к нему Коньков.— Ты что здесь делаешь?

— Председателем артели работаю,— отвечал тот с улыбкой, радушно здороваясь с капитаном.

— Ты ж на Бурлите работал? — удивился Коньков.

— И ты там работал,— невозмутимо отвечал Соза.

— Твоя правда. Скажи на милость — вот так встреча! — Коньков все улыбался и, словно спохватившись,

спросил озабоченно: — Вы что, в самом деле не нашли сторожа?

— В самом деле пропал сторож. Куда девался — никто не знает. Утром на складе был, а когда пожар случился — пропал.

— А Боборыкин где?

— Тот ездил на запань. Когда возвратился — склад догорал.

— Ничего себе пироги,— сказал Коньков и после паузы добавил: — Ладно, разберемся.

5

Ночевать пригласил его Кялундзига. Попутно зашли на лесной склад: ни Боборыкина, ни сторожа — тишина и пустынность. Один штабель бревен сгорел начисто, и на свежем пепелище дотлевали мелкие колбешки. Но они уж никого не тревожили — тайга была далеко от них, а уцелевшие штабеля бревен еще дальше. Коньков носком сапога поворошил кучки пепла — ни искорки, ни тлеющего уголька. Все мертво.

— А отчего колбешки дымят? — спросил он Кялундзигу.

— Это они остывают, дым изнутри отдают. Огня уже нет,— ответил тот спокойно.

— Ты все знаешь, Соза,— усмехнулся Коньков.

— Конечно,— согласился Кялундзига.

Эта невозмутимость Созы, его спокойная умиротворенность и уверенность, что все идет по определенному закону, который знают старые люди, всегда умиляла Конькова. «Ну, а если явное безобразие? А то еще преступление, тогда как?» — спрашивал его, бывало, Коньков. И тот невозмутимо отвечал: «Спроси стариков — все узнаешь».

— Надо бы Боборыкина допросить,— сказал Коньков.

— Ночью спать надо. Утром чего делать будешь? — возразил Соза.

— И то правда,— согласился Коньков.— Не убежит он за ночь. Не скроется.

— В тайге нельзя скрыться. Это тебе не город, понимаешь.

— Ну, ты мудер, Соза! — засмеялся Коньков.

— Есть немножко.

Дома их встретила приветливо Адига, жена Созы. Она уже знала, что Коньков здесь, что тушил пожар и что ночевать придет, конечно же, к ним. Поэтому на столе стояла свежая красная икра из хариуса, шумел самовар и рядом с чашками и блюдцами поблескивали хрустальные стопки. Она службу знает, отметил про себя Коньков, увидев стопки для вина. Адига поклонилась ему и протянула руку.

— Вот уж встреча так встреча! — с радостью пожал ей руку капитан.— Лет десять не виделись, а вы ничуть не стареете.

— Некогда стареть — работы много.— Адига кинулась к буфету, достала бутылку водки, поставила рядом с самоваром.

Она и в самом деле выглядела молодо, несмотря на свои пятьдесят лет,— лицо округлое, гладкое, как ядреный желудь, сама легкая, подвижная, в черном шелковом халате-тегу с красным и зеленым шитьем по широкому вороту и подолу, в меховых тапочках, опушенных беличьим мехом.

— Умываться будете?— спросила она.

— В реке плескались,— ответил Соза, снимая пиджак.

— Тогда проходите к столу.— Сама нырнула в кухню за цветастую, в ярких полосах, занавеску и в момент обернулась, неся шипящую сковородку жареного мяса.

Да и Соза выглядел молодцом — волосы черные как смоль, без единой сединки, усики аккуратно подстриженные, сухой и жилистый, как матерый спортсмен. Он налил водки себе и Конькову.

— Какие новости на Бурлите?

— Все как было.

— По-старому живут?

— Конечно. За встречу!

Выпили. Адига из кухни принесла еще тарелку каких-то квашеных круглых стебельков, похожих на спаржу.

— Кушайте!

— А что это за штуки? — спросил Коньков.

— Папоротник,— ответил Соза.— Японцам заготовляем. Ешь!

— Папоротник, японцам? — удивился капитан.— Ну и ну...— Попробовал.— Вкусно! Лучше всякой капусты.

— Большие деньги платят.

— Да не в деньгах дело! Это ж и нам к столу не лишней была бы закуска.

— Наши не берут. Не заказывают, такое дело.

— А грибы, ягоду, кедровые орехи?—спросил Коньков.

— Тоже не заказывают.

— Мать честная!—сказал Коньков.—Сколько раньше вы с Бурлита посылали одних орехов?

— По сорок тонн!

— А теперь?

— Теперь весь кедр вырубили... Ты кем работаешь?—спросил Соза.

— Следователем уйгунской милиции.

— Зачем приехал сюда?

— Расследовать, куда лес дели уйгунские лесорубы.

— Это мелочь, понимаешь. Вот какое дело надо расследовать: по Шуге и по всем ее верхним притокам—по Татибе, по Мотаю, по Кутону, лес сплавляют. А ведь это нерестовые реки. Нельзя по ним сплавлять. По закону! Почему закон нарушают? Кто виноват? Расследуй такое дело.

— Не могу. Это не в нашей сфере. Здесь другой район.

— А что, для другого района закон другой писан, да?

— Да не могу я, чудак-человек! Полномочий у меня нет на это.

— Какие полномочия? У тебя фуражка милиционера, погоны капитана. Чего еще надо?

Коньков только посмеивался.

— Не смешно, понимаешь. На той неделе знаешь что делали? Реки бомбили! И Татибе и Кутон. Там заломы—лесу много, воды мало. Они бомбы кидали, чтоб заломы разбросать. Речное дно, берега искалечили. Рыбы не будет. Худо совсем! Я знаю, кто бомбил, кто приказ давал. Посадить за такое дело надо. Ты следователь—вот и пиши на них протокол.

— Да не могу я. Они подчиняются краевым организациям. Там и рыбнадзор, и лесная охрана. Туда и сообщай.

— А-а,—Соза поморщился.—Телеграммы давал, звонил. Никто не слушает.

Он налил водки. Выпили.

— Тайга чужой стала,—отозвалась с дивана Адига.—Я говорю ученикам: земля наша и тайга наша. Они смеются: если наша, зачем ее уродуют?—В отличие от Созы, она тщательно подбирала слова, и речь ее была удивительно правильной.

— Заломали тайгу-то? — участливо спросил Коньков.

— Есть такое дело,— ответил Соза.

— Все воюешь с лесорубами?

— С кем воевать? Лесорубы тоже план выполняют. Кедр возьмут, остальное заломают и все бросят. И никто не виноват. Вот какое дело...

— А почему уехал с Бурлита?

— Делать нечего, закрыли артель. Тайгу вырубили, ореха нет, рыбы нет, зверя нет. Одну бригаду оставили — пчеловоды, да немножко клепку заготовляют.

— А говоришь: все по-старому.

— Конечно.

— Отец-то хоть жив?

— Ты что, не знаешь.— Кялундзига посмотрел на Конькова как на ребенка.

— Помер, что ли? — опешил тот.

— Заболел. Опухоль в горле. Врачи сказали — рак. А он говорит — врут. Это не рак, а Окзо[1] гнездо свил. И выстрелил прямо в опухоль.

— Это что ж у вас, поверье такое? — спросил Коньков.

— Пережиток капитализма, понимаешь.

— Да-а! — Коньков покачал головой.—Жаль Сини. Лучший охотник за женьшенем был. А ты говоришь — все как было.

— Конечно.

— А село-то, Банга, стоит на старом месте? — спросил с усмешкой Коньков.

— Ты чего, не знаешь, что ли? — удивился Соза.— Село переехало на другой берег. Там затопляло в половодье. Теперь село на Новом перевале. Живут вместе с лесорубами.

— А так — все по-старому? — Коньков откинулся к стенке и захохотал.

Его любезно поддержали хозяин с хозяйкой, но смеялись они скорее над ним: ну, чему он в самом деле удивляется? Ведь столько лет прошло!

— Ты бригадира лесорубов Чубатова не знаешь? — спросил Коньков хозяина.

— Как не знаю! Работал он тут, километров двадцать выше по реке. Наши люди помогали ему. Лошадей давал для вывозки леса.

---

[1] Окзо — злой дух тайги.

— Что он за человек?
— Человек как человек. Я с ним не работал.
— За что хоть его избили лесорубы?
— Не знаю.
— А почему они враждовали с Боборыкиным?
— Бывшая жена Боборыкина работала экспедитором у бригадира. Понимаешь?
— Дарья?
— Да.
— Вот оно что! — Коньков вынул тетрадь из планшетки и записал: *«Дарья + Боборыкин»*.— Интересно! Завтра попытаемся кое-что уточнить,— сказал более для себя.
— Конечно! — ответил Кялундзига.— Завтра все узнаем.— И налил еще по стопке.

6

Утром, чуть свет, Коньков первым делом сбегал на дом к продавцу и узнал — брал ли накануне днем водку Боборыкин или сторож с его склада; потом проверил все удэгейские баты и оморочки, стоявшие на реке, в том числе и моторку Боборыкина, накрытую брезентом. И уж потом пришел завтракать.

Хозяева ждали его: шумел самовар посреди стола и курилась парком остывающая на жаровне картошка.

— Соза, после завтрака сразу пошли на розыски сторожа.
— Я вчера говорил. Наверно, уже пошли старики.

Ели торопливо, перекидываясь фразами.

— День хороший будет — туман над рекой потянулся кверху еще до восхода солнца,— сказал Коньков.
— Гээнта спит где-нибудь на косе,— сказал свое Кялундзига.
— Какой Гээнта? — не понял Коньков.
— Сторож со склада. Боится теперь возвращаться.
— Наверно, виноват,— сказала Адига.— Или что-то знает нехорошее.
— Его надо обязательно найти,— сказал Коньков.
— Найдем. Никуда не денется.

Наскоро проглотив по стакану чая, Коньков с Кялундзигой пошли к складу. Возле реки их уже ждали Боборыкин с Головановым. Боборыкин был в хромовых сапогах, в защитном френче и в кепочке, из-под которой выбивалась копна черных вьющихся волос. Он был

щеголеват и недурен собой, но лицо его портили шишковатые надбровья — они резко скашивали лоб и придавали ему выражение угрюмое и раздражительное.

— Прежде всего давайте установим — откуда пошел огонь,— сказал Коньков.

— Я на запани был,— ответил Боборыкин.— Не знаю.

— Старики говорят — огонь пошел с того бугорка.— Кялундзига прошел к возвышению на краю пепелища и остановился.— Отсюда пошел огонь. Здесь юрта Гээнты стояла.

Подошел Коньков к этому месту, расшвырял сапогом пепел; что-то вроде задымленной палки отлетело в сторону. Капитан поднял ее; это оказался забитый пеплом обрезок от алюминиевого весла. Огонь в костре оправляют такой штуковиной, подумал Коньков, вместо кочережки. Покопался в пепле этой палкой; вдруг какой-то странный неистлевший сучок привлек его внимание. Он нагнулся и поднял закопченную бронзовую трубочку с длинным мундштуком.

— Чья это трубка? — спросил Коньков.

— А ну-ка,— Кялундзига взял ее в руку.— Это Гээнты трубка. У него мундштук костяной, сам прожигал, такое дело... Его трубка.

Коньков внимательно оглядел трубку, вынул складной нож и лезвием достал содержимое трубки — бурую смесь чего-то вязкого с золой. Коньков потрогал ее, понюхал и сказал уверенно:

— Странный запах. Что-то подмешено в табак.

— А ну-ка?

Кялундзига взял трубку, понюхал и сказал уверенно:

— Сок бархата подмешен. От семян.

— Для чего? — спросил Коньков.

— Крепость большую дает. И голова крутится.

— Это что ж, Гээнта такой табак курил?

— Нет, Гээнта — слабый человек. Такой табак сам не делал.

Коньков посмотрел на Боборыкина, тот не уклонился, встретил его спокойным взглядом округлых, как у ястреба, желтоватых глаз.

— Где стояла лодка Гээнты? — спросил Коньков.

— Оморочка его стояла вон там,— указал Боборыкин на общую стоянку лодок.

— Он знал, что вы уезжаете на запань? — спросил Коньков.

— Знал. Я мотор заводил, а он с острогой стоял в оморочке во-он у того омутка,— указал на противоположный обрывистый берег.— Ленка еще добыл. Говорит — талы захотелось.— Боборыкин отвечал спокойно и держался солидно.

— Вы с ним выпивали с утра? Или он с кем-то другим выпил? — спросил Коньков.— Не знаете?

— Откуда вы взяли, что он выпивал?

— Продавец сказал, что утром он брал водку.

— Я не видел.

— И сами не пили?

— Нет, не пил.— Боборыкин усмехнулся: — Странные вопросы вы задаете.

— Странные! Как же у вас в лодке оказалась пустая бутылка?

Боборыкин замялся.

— У меня нет никакой бутылки. С чего это вы взяли?

— Пойдемте к вашей лодке!

— Пойдем.

Они вдвоем двинулись к берегу. Здесь стояла крашенная в голубой цвет, принакрытая брезентом моторная лодка. Коньков сдернул брезент; на дне, в кормовом отсеке, валялись какие-то мешки. Коньков поворошил мешки и достал пустую поллитру с водочной этикеткой.

— Чья это бутылка? — спросил Коньков.

Боборыкин стал покрываться до самых ушей малиновым отливом.

— Я думаю — не станем наводить экспертизу. Отпечатки пальцев здесь сохранились довольно четко. Как вы думаете? И Гээнта уж наверно не откажется, что вчера пил с вами водку?

— Моя поллитра,— сказал Боборыкин.— Ну, и что здесь такого?

— Это другой разговор.— Коньков положил бутылку в сумку.— Значит, вы посылали сторожа за водкой?

— Я,— согласился Боборыкин.

— И выпили с ним вместе перед отъездом на запань?

— Да,— только головой мотнул он.

— А талой из того ленка закусывали?

— Все в точности!

— Спасибо за откровение. Что ж вы ему сказали на прощание?

— А что я мог сказать? Просил глядеть в оба. Говорю, как бы чего не случилось. Приеду, мол, только вечером.

— Вы полагали, что может произойти нечто неприятное?

— Нет. Я просто так, без задней мысли.

— И никаких подозрений у вас? Ни о чем не подумали?

— О чем же я мог подумать?

— Ну, например, склад могут поджечь.

— Кто?

— А вы не знали, где находятся лесорубы из бригады Чубатова?

— Они мне не докладывали... Слыхал, будто вниз ушли. А иные на запани.

— И не встречались с ними на запани?

— Нет, не встречался.

— Куда сторож пошел после выпивки?

— Полез к себе в юрту. А я подался на запань.

Коньков накинул брезент на лодку и пошел по песчаной отмели навстречу Голованову и Кялундзиге. Боборыкин, потерявший в минуту и важную осанку, и независимый вид, слегка наклонив голову, увязался было за Коньковым.

— Я вас больше не держу,— обернулся к нему Коньков.

— То есть как? Ничего не спросите?

— Ничего... Пока.— Затем махнул рукой Голованову и Кялундзиге, приглашая их слюда, к реке. Те подошли.

— Фома Савельевич, у тебя мотор заправлен?— спросил он Голованова.

— Хватит горючки.

— Тогда заводи!— И, обернувшись к Кялундзиге, сказал:— Как только найдете сторожа, сообщите мне. Я буду на Красном перекате. Там, где плоты сели.

— Сделаем, такое дело,— сказал Кялундзига.

Голованов с Коньковым сели в удэгейский бат, завели мотор и понеслись вверх по реке.

7

Красный перекат начинался возле обрывистых рыжевато-бурых скал; река здесь делала крутой разворот и, перепадая с грохотом и шумом по каменистым порогам, уходила вниз, растекаясь на десятки пенистых рукавов.

Река была настолько мелкой, что лодка Голованова с

трудом прошла по главному, самому широкому фарватеру.

Выше скал, преградивших путь реке, течение становилось спокойнее, вода темнее и русло значительно шире. А там, за плавным кривуном, огибавшим такую же отвесную скалу, начинался новый кипучий перекат, казавшийся еще более шумным и грозным. Он так и назывался Шумным. В самом начале этого переката, на речной излуке, они и нашли брошенные плоты.

Целая дюжина огромных секций плотов, вязанных в два, в три бревна, была прижата к залому и к берегу мощным течением и завалена всяким речным хламом.

Коньков и Голованов перебрались на ближнюю к берегу секцию плота, потоптались, попрыгали на ней, пошвыряли шестом в воду. Дно реки было рядом. Плоты сидели крепко на каменистом ложе.

— Никакой силой не оторвешь. Вот это посадка,— сказал Коньков.

— Вода посадила, вода и сымет,— заметил Голованов. Они обошли все секции плотов, так же прыгали на них, щупали речное дно, замеряли везде глубину. Картина все та же — дно мелкое, все секции сидели мертво.

— Сколько здесь кубов? — спросил Коньков.— Примерно.

— А сколько они заготовили? — спросил в свою очередь Голованов.

— Говорят — две тысячи.

— Две тысячи кубов будет. Это верное дело.

— Значит, можно считать лес целым. Но как его доставить отсюда?

Голованов только усмехнулся.

— Молите бога, чтоб дождей послал...

— Послушай, а чего это они плоты вязали в два, а то и в три бревна? — спросил Коньков.— Ведь знали ж, что вода малая. Плоты в одно бревно провести легче.

— А ты погляди — нижние бревна светлее верхних,— заметил Голованов.

— И в самом деле...— согласился Коньков.— С чего бы это?

— По-моему, в верхний слой пошел топляк,— ответил Голованов.— Его в один слой и сплавлять нельзя. Потонет.

— Откуда они взяли топляк?

— С речного дна.

— А где работала бригада Чубатова? Где они лес рубили?

— Километрах в двадцати отсюда, вверх по реке. Там есть протока Долгая. Вот на ее берегах и рубили.

— Вы не знаете, в той протоке есть топляк?

— Вряд ли. Там лес почти не тронут. Топляку и в реке полно.

— Да... Но из реки надо уметь взять его.

— На все есть своя оснастка,— ответил Голованов, ухмыляясь.— Сказано, без снасти и вошь не убьешь.

— Откуда в бригаде возьмется такая оснастка?

— Да что ж, на бригаде мир клином сошелся?

— Значит, им кто-то помогал?

— Не знаю.

— Поехали к протоке Долгой! — сказал Коньков.— Поглядим, откуда они лес брали.

Выше переката Шумного река вольно разливалась в спокойном и мерном течении, но берега ее на извивах были сплошь завалены то корягами, то валежником, а то и разделанным кругляком, торчавшим из завалов.

Над рекой же, по обоим берегам, тянулась заломанная и выщербленная тайга: раскоряченные, со сшибленными макушками мощные ильмы, оголенные орешины да ясени и с пятнами белых обломов на темной коре бархатное дерево.

— Ничего себе картинка,— указал на заломанную тайгу Коньков.

— Так брали только кедры, да ель, да пихту... все, что можно сплавлять! Остальное тонет. Дороги нет. Вот и бросили в таком срамном виде.

— Знакомое дело,— сказал со вздохом Коньков.— Сколько помню, а я уже двадцать лет по тайгам мотаюсь, все такая же история: дорог нет и не строят. Берут только хвойные породы, что само плывет. Остальное заламывают и бросают.

— А раньше такого безобразия не было,— сказал Голованов.— Раньше подчистую деляны вырабатывали и новый лес растили. Тяжелые породы вывозили по зимнику, не то плоты вязали, вперемежку с легкими, и по большой воде уводили. А молем сплавлять запрещали. Ни-ни! Штрафовали под дых. Не то еще и в тюрьму за это сажали.

— За такую привычку штаны снимать да сечь надо по мягкому месту.

— Так за чем дело стало? Вам же право дадено.

— Ни хрена нам не дадено! — Коньков выругался и сплюнул в воду.

Вдруг из-за кривуна навстречу им вынырнула удэгейская долбленка с мотором; в корме за рулем сидел Кялундзига. Он снял кепку и замахал ею, разворачиваясь и делая знаки, приглашая встречную лодку причалить к берегу.

Обе лодки пришвартовались в затишке.

— Что случилось? — крикнул Коньков.

— Гэнту нашли! — ответил Кялундзига.

— Где?

— На косе, напротив сопки Банга. Лежит мертвый на песке. И оморочка рядом.

— Убит?

— Не знаю.

— Как не знаешь? Рана есть?

— Нет, понимаешь, такое дело. Как все равно уснул.

— Доктора вызвали?

— Привезли нашего фельдшера.

— Поехали! — скомандовал Коньков, и лодки двинулись по реке.

За первым же кривуном открылась длинная речная коса, примыкавшая к пологому песчаному берегу. В небольшой ложбинке, под самыми тальниковыми зарослями, стояло трое: два пожилых удэгейца и женщина с медицинской сумкой в руке.

Перед ними лежал на песке человек, лежал бочком, поджав ноги, будто спал. Возле него валялась на песке легонькая оморочка, вытянутая и оттащенная совсем недалеко от воды.

Коньков внимательно осмотрел оморочку и потом уж подошел к лежащему Гэнте. Голованов и Кялундзига держались за ним поодаль и сбоку, как ординарцы за полковым командиром.

Гэнта был древний старичок, весь какой-то скрюченный, тонконогий, в длинном белесом халате, прогоревшем в нескольких местах и похожем на женскую исподнюю рубаху. Желтолицый, без усов и бороды, он сильно смахивал на старуху. Выражение лица его было спокойным и даже счастливым, будто он и в самом деле уснул после тяжелой работы.

— Мертвый? — спросил Коньков женщину с медицинской сумкой.

— Да,— ответила она.— По всей вероятности, смерть наступила естественным образом.

— Почему?

— Не обнаружено никаких побоев, даже видимых ушибов нет.

— Следов возле него не было? — спросил Коньков Кялундзигу.

— Нет, понимаешь. Такое дело, сам Гээнта оставил. Его следы. Больше следов не было,— ответил Кялундзига.

— Зато вы натоптали здесь будь здоров.

— Не страшно, понимаешь. Все следы ваших людей можно определить. Ее следы тоже отличить можно,— кивнул Кялундзига на фельдшерицу.

— Ладно. Ну-ка, отойдите к берегу, я посмотрю,— сказал Коньков.

Все удэгейцы были обуты в олочи — мягкую обувь из рыбьей кожи с загнутыми носами. На фельдшерице были резиновые сапожки.

Коньков осмотрел сперва обувь удэгейцев, потом следы возле Гээнты.

Следы самого Гээнты, оставленные маленькими, словно детскими, олочами, шли от оморочки никем не затоптанные. Не обнаружив ничего подозрительного, сфотографировав и следы, и оморочку, и самого сторожа, Коньков спросил фельдшерицу:

— Как полагаете, отчего смерть наступила?

— Думаю, от разрыва сердца,— ответила та.

— Какой разрыв сердца? — проворчал старик удэгеец с жиденькой бороденкой.— Сердце — веревка, что ли?

— А вы как думаете, отчего он помер? — спросил его Коньков.

— Его смерть приходил,— твердо ответил старик.

— Пра-авильно,— усмехнулся Коньков.— Как вас звать?

— Арсё,— ответил за старика Кялундзига.— Он у нас самый старший охотник.

— Все еще охотитесь? — удивился Коньков.

— А почему нет? — спросил Арсё.

— Сколько же вам лет?

— Не знай. Если человек здоровый, зачем года считай?

— Пра-авильно,— подтвердил опять Коньков, улыбаясь.— Значит, смерть пришла, он и помер. А зачем же он сюда приехал помирать, на эту косу. А?!

— Тебе не знай, что ли?—удивился Арсё.

— Нет, не знаю.

— Здесь сопка Банга стоит.— Арсё указал на прибрежную высокую сопку с голой вершиной.— На вершине его живет дух охотника Банга. Его знает дорогу туда,— указал он рукой на небо.

— Куда это туда?—спросил Коньков.

— К предкам, понимаешь,— ответил Арсё.— Банга отводит туда душу охотника, который помирать сюда приходил.

— А как же тело?—спросил Коньков, еле сдерживая улыбку.

— Тебе не знай, что ли?—переспросил Арсё.

— Нет, не знаю.

— Тело охотника отвожу я.

— И ты знаешь туда дорогу?

— Конечно, знай,— ответил Арсё без тени колебания.

— И повезешь туда Гээнта?

— Завтра повезу, такое дело.

— И можно посмотреть?

— А почему нет?

— Н-да... приду посмотрю.— Коньков обернулся к фельдшерице:—Вы смогли бы свезти его на вскрытие?

— Сейчас повезем,— ответила та.

— Надо обернуться до вечера,— сказал Коньков.— Мне нужен акт смерти, причины.

— К вечеру привезем!—ответила фельдшерица.

— Как мотор, надежный?—спросил Коньков Голованова.— Успеют обернуться?

— Сотня километров туда, сотня обратно,— ответил за него Кялундзига.— Успеем, такое дело.

— Ты мне нужен здесь,— сказал Коньков Созе.— А с фельдшером поедет Голованов. Стариков завезти в поселок.

— Есть, такое дело!—ответил Кялундзига.

— Ну, действуйте!

Старики бережно подняли Гээнту и понесли его, как младенца, в лодку. Между тем Голованов втащил в воду его оморочку и причалил ее к большой лодке. Все они уселись и поехали.

На косе остались Коньков и Кялундзига.

— Соза, мне надо поговорить с вашим человеком, который хорошо знал бригадира лесорубов Чубатова. Есть у вас такой?

— А почему нет? Здесь, возле сопки, живет пасечник Сусан. У него часто бывал Чубатов.

— А далеко ли заготовлял Чубатов лес?

— Километра три отсюда. Все здесь. Вон лодка. Пожалуйста, в момент объедем, такое дело.— Кялундзига даже улыбался от услужливости.

— А Сусан видел лесорубов? Знал, как они лес заготовляли?

— Сусан все знает.

Это воодушевление передалось и Конькову, он тоже улыбнулся:

— Тогда вези меня к Сусану.

8

Они переехали на другой берег и причалили в укромной бухточке. Поднялись по тропинке на пустынный откос: перед ними лежал брошенный поселок лесорубов — забурьяневшие улицы, дома с выбитыми окнами, с раскрытыми дверьми, с покосившимися крыльцами, сквозь выщербленный настил которых прорастали буйные побеги маньчжурского ореха да аралии с длинными перистыми листьями.

— Ничего себе картина! — Коньков присвистнул и выругался.— Прямо как Мамай прошел. А где же люди — жители поселка? Ведь не передушили их! Ведь не вымерли от чумы?

— Лесорубы переехали в новый поселок,— ответил Кялундзига.— Далеко отсюда. Километров пятьдесят будет. А этот бросили.

— Почему? Дома крепкие, тайги вокруг много. Зачем же такое добро бросать? Смотри, какие дебри вокруг. Ноги не протащишь!

— Эту тайгу нельзя брать.

— Да почему? — повысил голос Коньков.

— А все потому... Я ж тебе говорил: кедры порубили, ель да пихту взяли. Остались ильмы, да ясень, да орех. Они тяжелые, их сплавлять нельзя — тонут. А дороги нет. Такой порядок завели.

— Ничего себе порядок! Заломали, захламили тайгу, бросили хороший поселок и поперли на новые места. Рупь кладем в карман — червонец в землю втаптываем. Порядок!

— Ты что, первый раз видишь такое дело?—с усмешкой спросил Кялундзига.— Разве там, на Бурлите, не такое ж дело?

— Я там уже пять лет не был...

— Какая разница?

— Так в том-то и беда, что годы идут, а безобразия эти повторяются. Как увидишь—душу переворачивает.

— Такое дело запрещено законом. Точно говорю! Это выборочной рубкой называется. Ты кто? Ты есть человек закона. Правильно говорю?

— Ну?—согласился Коньков.

— Вот и запрети такое дело.

Коньков только рукой махнул с досады.

— Эх, Соза! Наивный ты человек... Как ребенок.

— Я ребенок? А ты большой? Тогда поясни, почему такое дело видишь, ругаешься, плюешься, а наказать за такое безобразие не хочешь?

— Ну кого я накажу? Да разве мне этот леспромхоз подчиняется? Я только за жуликами гоняюсь да за хулиганами.

— А разве такое дело не хулиганство, понимаешь?

Так они, переругиваясь, шли по улице заброшенного поселка, по ветхому дощатому тротуару, сквозь щели которого прорывался наружу кустарник; а вокруг ни живой души, ни дымка из трубы, ни собачьего лая, ни петушиного крика.

И вдруг навстречу им вышел невысокий широкоплечий мужичок с ружьем за спиной, словно из-под земли вырос, как дух лесной.

— Откуда он взялся?—удивился Коньков.

— А это пасечник наш, Пантелей Иванович,—сказал Кялундзига.

— Ты же говорил, что пасечник—удэгеец!

— Это старший над ними.

Они поравнялись с пасечником, поздоровались.

— Мы к вам по делу,—сказал Коньков.—Здесь, неподалеку от вас, заготавливал лес Чубатов. Вы, наверное, встречались с ним, видели его работу?

— Я сижу на дальней пасеке, километров за десять отсюда. А здесь—мой подручный Сусан. Он хорошо знал Чубатова. Пойдемте!

И опять еле заметная тропинка на месте прогнившего тротуара, заросшего бурьяном да кустарником, и пустынная мертвая улица.

— Пантелей Иванович, как вы тут живете? — спросил Коньков. — Страшно, поди?

— Привыкли. А чего бояться?

— Зверье кругом, медведи и тигры, поди, есть?

— Есть и медведи, и тигры. Самка с двумя тигрятами прижилась тут. Холостячка. Лет четырех-пяти. Эта не балует. Но зимой пришел самец. Здоровенный! След — фуражкой не накроешь. Этот хулиган. Двух собак на пасеке стащил. Сусан боится его. Вот я и пришел попугать этого хулигана. Надо отогнать его.

— И вы видели тигров? — спросил Коньков.

— Частенько. Иной раз идешь — и чуешь спиной: он сидит в зарослях и за тобой наблюдает.

— Так ведь бросится со спины-то?

— Э, нет. У меня и на спине есть глаза. Я его встречу будь здоров. Он это чует.

— Ну, брат, вы с ними, с тиграми-то, как с соседями живете, — сказал Коньков, усмехаясь.

— Да вроде того, — охотно согласился тот. — Почти каждую неделю общаемся. Одни мы тут. То он у меня кабана убитого украдет. А то, случается, и я у него беру. Намедни он двух кабанов задавил, одного сожрал, а другого на ужин оставил. А я говорю — это непорядок, обжираться-то. Взял у него того кабана и на пасеку уволок. Так что взаймы берем друг у друга, — идет, рассказывает да посмеивается.

Таежная пасека на обширной лесной поляне появилась перед ними внезапно; выйдя из густых зарослей жимолости и кипрея, они очутились перед длинным приземистым омшаником, за которым в стройном порядке раскинулись, словно четырехгранные кубики, желтые и синие ульи. Тут же, под навесом, стоял верстак, на нем лежали чисто оструганные дощечки, под ним — куча свежих стружек. А над верстаком, на бревенчатой стене, висели распертые белыми палочками две тушки кеты, уже чуть привяленные на солнце, с красновато-желтым отливом на нутряной полости проступившего жира.

Пожилой удэгеец с седеющей, коротко стриженной головой и ершистыми усиками, склонившись над выносным столиком, черпал деревянной ложкой из тузлука красную икру и бросал ее в обливную чашку.

— А вот вам и Сусан, — сказал Пантелей Иванович, приподняв кепочку, и подался восвояси, исчезнув в таежных зарослях так же внезапно, как и появился.

Сусан подошел, чинно поздоровался с Кялундзигой и Коньковым. Из раскрытых дверей омшаника выглянула старуха в черном халате и с медной трубочкой в зубах и снова скрылась.

— Рыбачил? — спросил Кялундзига, кивнув на икру.

— Худо совсем,— ответил Сусан.— Утром ходил — всего две кеты взял. Нет рыбы! Юколы не будет, что зимой есть будем? Чем собачек кормить?

— Да у тебя и собачек-то нет,— сказал Коньков.— Тигр утащил, говорят?

— Ай, беда! — покачал головой Сусан.— Куты-Мафа вчера приходил. Его одинаково как вор. Ночью приходил. Два улья повалил. Собачки побежали, гав, гав! Я думал — медведь. Ружье взял. Выбегаю — нет никого. Что такое? Побежал туда, дальний конец пасека. Смотрю — след у ручья. Большой! Куты-Мафа оставил. И собачек нет. Ой, беда! Плохой тигр. Так нельзя делать. Мы соседи с ним одинаково. Зачем собачек таскать? Пантелей его накажет за такое дело.

Он водил их в дальний конец пасеки, показывал огромный, как сковорода, отпечаток тигриного следа на сырой и черной земле. Все головой качал. И вдруг зычно и гортанно крикнул через всю пасеку:

— Алимдя! Кушать давай! Га!

Из дальнего омшаника опять выглянула старуха и, вынув изо рта трубочку, спросила его что-то по-удэгейски.

— Все давай! Все! На стол неси. Га! — покрикивал Сусан.

Старуха попыхала дымком из трубки и скрылась в темном дверном проеме.

Пока они ходили по пасеке, осматривали ульи и слушали, как Сусан ругал за нахальство Куты-Мафу, Алимдя накрыла на стол и пригласила их обедать.

— А у вас служба поставлена,— сказал Коньков, глядя на дымящуюся полную сковороду с темным жареным мясом, на миску с икрой, на тарелку с темно-зеленой обмытой черемшой. И глиняная поставка с медовухой стояла посреди стола.

— Женщина свое дело знает,— заметил Кялундзига.— Наши люди так говорят: если женщина плохо делает, виноват хозяин.

— Почему?

— Учил ее плохо. Вот и виноват,— посмеивался Кялундзига.

— Что за мясо? — спросил Коньков, присаживаясь и поддевая вилкой прожаренный до темноты кусок.

— Кабан,— ответил Сусан.

— Тот самый, что приволок Пантелей Иванович?

— Ага! — радостно закивал Сусан.

— Значит, Пантелей Иванович у тигра взял кабана без спросу, а тигр взял у вас собак не спросясь. Вроде бы у вас продуктообмен получился,— сказал Коньков и засмеялся.

— Сондо! Нельзя,— строго сказал Сусан.

— Сондо, сондо! — подхватила и старуха, присевшая на чурбак, поставленный на попа.

— Что это значит? — спросил Коньков.

— Нельзя про тигра говорить, да еще смеяться,— пряча улыбку, сказал Кялундзига.

— Нельзя, нельзя,— всерьез подтвердил Сусан.— Куты-Мафа ходи здесь там и слушай,— указал он на лесные заросли.— Нехорошо! Его обижайся. Ночью опять придет. Охотиться мешать будет,— с озабоченностью на лице говорил Сусан, разливая по берестяным чумашкам медовуху.

— Разве он по-русски понимает? — пытался отшутиться Коньков.

— Куты-Мафа все понимает.— Сусан поднял чумашку, похожую на ковшик, и выпил медовуху.

— А ты знаешь: здесь, на реке, Гээнта умер? — сказал вдруг Коньков, пытаясь вызвать удивление Сусана.

— Конечно, знай,— невозмутимо ответил тот.

— Ты видел, как Гээнта проходил на оморочке? — с надеждой спросил Коньков.

— Когда человек пошел умирать, нельзя глядеть. Нехорошо,— ответил Сусан и добавил: — Сондо!

— Почему? — с досадой спросил Коньков.

— Зачем мешать, такое дело? — сказал Сусан.

— А кто виноват в его смерти?

— Никто.

Разговор зашел в тупик. Коньков помог Кялундзига:

— Сусан,— сказал он,— когда ты встретил Гээнту, ты ведь еще не знал, что он идет умирать?

— Не знал, такое дело,— согласился Сусан.

— Значит, ты можешь рассказать капитану, о чем вы говорили.

— Такое дело, могу рассказать.

— Пра-авильно, Сусан! Мне и не надо знать, что он умирать шел,— обрадовался Коньков.— Ты расскажи, что он тебе насчет лесного склада говорил?

— Говорил — беда! Склад загорайся...

— А что он про своего начальника говорил? Про Боборыкина? Не ругал его?

— Зачем ругай? Хороший, говорил, начальника, водка давал. Сам уходил на запань, Гээнта лег юрта покурить, засыпал немножко.

— Погоди! — остановил его Коньков.— Скажи мне, Гээнта наркотик курил?

— Курил, такое дело, если кто-нибудь давал.

— У него свой мак есть? Огород в тайге есть у него?

— У Гээнта нет огород.

— Понятно... Ну, так что дальше? Уснул он в юрте...

— Уснул немножко. Трубочка его падай изо рта — пожар делай. Проснулся Гээнта — юрта гори, склад гори... Ах, беда! Его ходил оморочка, брал шест и толкай, толкай до сопка Банга. Помирать надо. Тут, говорит, все болит. Шибко болит! — Сусан прижал ладонь к груди.— Плохо делал. Надо Банга просить, чтобы не наказывал его.

— А это что за Банга? — спросил Коньков Кялундзигу.

— Есть такое удэгейское поверие или сказка,— ответил тот.— На вершине той самой сопки, Сангия-Мамá, наш главный бог вырыл чашу и наполнил ее водой. Озеро там, понимаешь. И будто в том озере, на дне, есть небесные ракушки — кяхту. Кто эти ракушки достанет, тот будет самый богатый и сильный, как Сангия-Мама. И вот смелый охотник Банга решил достать кяхту для своей невесты Адзиги. Он нарезал ремни из камуса, сплел лестницу и влез по скале на ту сопку. Озеро там глубокое, и вода будто ядовитая. Мне геологи говорили. И вот Банга нырнул на дно за кяхту и не вынырнул. Старики так говорят — Сангия-Мама взял Банга к себе, потому что он был храбрый и честный. И с той поры Банга живет на Большом перевале в самых лучших лесах и отводит туда души умерших охотников. Вот почему старики, когда подходит смерть, идут к сопке Банга.

— А что же невеста его? — спросил Коньков.

— Адзига? Она, понимаешь, пришла к сопке и стала стучать в нее кулаками. Кричала, плакала, просила

Сангию-Мама отпустить Банга. Много плакала, в реку превратилась и все еще и теперь стучится в сопку, шумит.

— Н-да...— Коньков только головой покачал.— Сусан, а бригадира Чубатова ты знаешь?

— Конечно! Хороший человек. Бывал у меня. Гость богатый...

— А ты видел, как он плоты вязал?

— Видел, такое дело.

— Откуда он брал топляк? Как из воды он лес доставал?

— Кран приходил. Люди были. Наши охотники. Тоже помогай, такое дело. Чубатов всем деньги давал. Хорошо платил! Пиво привозил! Целая бочка! Хорошо. Все пили! Его наши люди называют Лесной Король.

— Вы ему выделяли людей?—спросил Коньков Кялундзигу.

— Специально нет. Я слыхал, что он топляк подымал. Ну, кто из охотников был свободен, помогал. Зимой лошадей давал, бревна вывозить на санях.

— А Боборыкин не давал ему леса со склада?

— Я не знай,— ответил Сусан.

— Ну что ж, спасибо и на этом,— сказал Коньков, и, вставая, хозяйке:—Спасибо за угощение! Все было вкусно.

Та согласно кивнула головой и выпустила целый клуб дыма изо рта.

— Куда теперь поедем?—спросил Кялундзига.

— Заедем на место заготовки... На притоку Долгую. А потом к Боборыкину, на склад.

9

На лесной склад приехали уже в сумерках. Их поджидал Голованов; он сидел на берегу возле удэгейского бата, на котором отвезли Гээнту, курил.

— Успели застать врачей?—спросил его Коньков.

— Застали.

— Что ж врачи сказали?

— Говорят—разрыв сердца. Перетрудился. Оно конечно... На шесте вверх по реке дойти туда не шутка. К тому ж он был выпимши. Вот оно и не выдержало, сердце-то.

— Вот что, мужики,— сказал Коньков, беря под руки Голованова и Кялундзигу.— Положа руку на сердце,

скажите мне откровенно: сколько надо заплатить, чтобы снять плоты, то есть разобрать их и перегнать через перекаты?

— Осыпь ты всех золотом — и то не успеют перетащить до морозов,— ответил Голованов.

— А ты что скажешь, Соза Семенович? Ведь району позарез нужен этот лес. В степи живут люди. Вы понимаете?

— А почему нет? Конечное дело... Но помочь может только Сангия-Мама,— усмехнулся,— если пошлет много хороших дождей. Но я, понимаешь, не Сангия-Мама. Помочь не могу.

— Жаль, очень жаль,— сказал Коньков.

Из уцелевшей дощатой конторки вышел к ним Боборыкин. Он опять держался с достоинством,— в тех же хромовых сапожках, при галстуке, и щеки сияют, будто луком натерты.

— Слыхали, капитан? Умер Гээнта, своей смертью умер.— Боборыкин, шумно вздыхая, с сожалением качал головой.— Жаль старика! Такой был добрый, безропотный человек.

— Ага, пожалел волк кобылу,— ответил Коньков.

— Я вас не понимаю.— Брови Боборыкина поползли на шишковатый лоб.

— Пойдемте в контору, я вам растолкую.— И, обернувшись к Кялундзиге, сказал: — А вы ступайте домой. Не ждите меня.

— Ночевать приходи! — сказал Кялундзига.

— Приду, обязательно.— И опять Боборыкину, повелительно указывая на конторку: — Прошу!

В дощатой конторке, похожей на ящик, поставленный на торец, был маленький столик, железный сейф с документами и две табуретки. Они сели за столик на табуретки, нос к носу.

— Ну, так в чем же вы меня обвиняете, капитан? — спросил Боборыкин с терпеливой готовностью выслушать все что угодно.

— Вы были пособником смерти человека.

— Какого человека? Того самого? — кивнул он в сторону реки.

— Да. Вашего сторожа.

— Но вам же сказал Голованов: Гээнта умер естественной смертью. Так решили доктора. Экспертиза! — с горьким укором растолковывал Боборыкин.

— Вы с ним пили?

— Выпивал. Ну так что? Водка же не яд.

— А кто ему давал эту смесь? Вы? — Коньков вынул трубочку Гээнты.— Это что?

— И что? На той хреновине тоже остались отпечатки моих пальцев? — горько усмехнулся Боборыкин.

— Мы докажем это иным путем. Это ваш наркотик.

— Нет, не мой. И ничего вы не докажете: Гээнта мертв.

— Ну, это мы еще посмотрим!

— А чего смотреть? Дело кончено.

— Скажите какой проворный! Думаете, все концы упрятали в воду?

— Не надо сердиться, капитан. Мне прятать нечего. Я весь тут. Что вас интересует? Все выложу начистоту.

— Какой вы старательный и чистосердечный,— криво усмехнулся Коньков.

— Опять сердитесь. Значит, вы не правы, капитан. А я вот спокоен, значит, прав. Ну что вам дался этот Гээнта? Умер старик, смерть подошла, вот и умер. И не надо клепать мне дело. Ведь не за этим вы сюда приехали.

— И вы знаете, зачем я приехал?

— Знаю или догадываюсь... Не все ли равно. А приехали вы затем, чтобы найти виноватого — кто посадил плоты и оставил без леса целый район.

— Кто же?

— Известно. Иван Чубатов, наш лесной король.

— И за что избили его, тоже вам известно? И кто?

— Конечно. Избили его рабочие. За то, что он их оставил фактически без зарплаты.

— И сколько вы продали ему леса и по какой цене? Это вы тоже скажете?

Боборыкин огорчительно развел руками.

— Этого я вам не скажу, капитан.

— Ну что ж, другие скажут.

— Капитан, вы же опытный человек. Неужели я похож на мелкого жулика, который днем со своего лесного склада будет отпускать лес налево?

— Мудер, мудер. Но смотрите не перемудрите.

— Капитан, я простой советский труженик. Единственно, что мог бы я недоглядеть — это либо излишки на складе, либо недостачу. Такое бывает. Но склад сгорел. Теперь все, что есть в бумагах,— он прихлопнул лежавшую на столе папку ладонью,— то и было на самом деле.

Но я человек откровенный — все, что вас интересует,— расскажу.

— Почему Чубатов запоздал со сплавом?

— По причине собственной алчности. В июле еще держалась в реке хорошая вода. Лес был у них заготовлен, тысячу с небольшим кубов. Ребята торопили его со сплавом. Но на него жадность напала. Мало тысячи — две пригоним!

— С чего бы это охватила его такая азартность?

— А-а? Видите ли, капитан, была при нем одна особа, которую он грозился озолотить.

— Дарья? Ваша бывшая жена?

— И это вы знаете.— Утвердительным наклоном головы он как бы упреждал очередные вопросы на эту тему.— Хорошо с вами беседовать, капитан. Не надо отвлекаться на пустяки. Итак, о деле. К примеру — пригони бригада тысячу двести кубов лесу — каждый получает тысячи по две рублей на руки. А если две тысячи кубов? То оборот другой, особенно для бригадира: во-первых, двадцать пять процентов премиальных, да столько же за бригадирство, да плюс к тому сплав, себестоимость... Ну, Чубатов рассчитывал заработать тысячи четыре чистыми. Вот он и договорился с работниками запани: пригнали они кран и пошли ворочать — почти месяц таскали топляк. Плоты связали тяжелые, а тут еще вода спала. Они и остались на мели.

— А вы в этой ловле не участвовали?

— Мне-то она зачем? Я не охотник до больших денег. А деньги он кидал большие. Платил всем направо и налево, угощал, поил... Широкая натура! Все, мол, время спишет. Победителей не судят. Вот что он теперь скажет? Каким голосом теперь он запоет? Кто ему спишет такие деньги на топляк? А там еще тросы, канаты, сбруя, лошади! Он одних саней да подсанок у Голованова взял, поди, на полтыщи рублей. И все — под голую расписку. Кому нужны теперь эти расписки? Подай накладные. А где их взять? Ох, не завидую я Ивану Чубатову. Не завидую...

10

Чубатов выписался из больницы на третий день здоровым и веселым, как сам про себя любил говорить. Кровоподтеки на скулах и щеках теперь сходили за бурые

пятна неровного загара; волосы вились и путались на ветру, кожаная курточка туго обтягивала плечи, ноги сами бегут. Держи, а то расшибуся!

В таком-то бесшабашном состоянии духа мигом просквозил он вечереющими улицами пыльного Уйгуна, вышел на луговой откос, где на берегу небольшого озера стояли новые двухэтажные дома, постучался в торцовый подъезд, где жила Даша. Сверху в окно выглянула старуха, сказала весело:

— Эй ты, король червей! Эдак ты своим чугунным кулачищем и дверь в щепки разнесешь.

— А где Дарья?

— Ды где? Чай, на работе. Отчет гонит. У них же конец месяца.

— Фу-ты ну-ты, лапти гнуты...— Чубатов спрыгнул с крыльца и помотал к центру города.

Дашу застал он в райфо за конторским столом. Она как-то торопливо, словно чего-то испугавшись, спрятала свои бумаги в стол и, не целуясь, не обнимаясь, хотя в кабинете за другими столами никого уже не было, повела его за руку, как маленького, на выход.

— Ты чего, иль не рада мне, изумруд мой яхонтовый?— опешил Чубатов.

— Пойдем! Начальник еще здесь. Может выйти в любую минуту.

Они вышли на безлюдную улицу. Кое-где в окнах уже вспыхнули огни. Тишина и пустынность. Даша, взяв его под руку, все так же торопливо уводила подальше от своей конторы.

— Ты говорила с начальником райфо?— спросил Чубатов, догадываясь о какой-то неприятности.

— Говорила. Его как будто подменили. Или кто настроил, не знаю...

— А что такое?

— Показала ему твои расходные списки, он и не смотрит. Это, говорит, не документы.

— Что он, с луны свалился?— гаркнул Чубатов, останавливаясь.— Я ж по ним пять лет отчитывался!

— Пойдем, пойдем же!— тянула она его за руку.— Еще не хватало, чтобы к нам зеваки стали подходить.

— Да чего ты боишься?

— Я ничего не боюсь. Пошли!— увлекала она его за собой.— По дороге и поговорим.

— Что с ним? Какая муха его укусила?

— Не знаю. Какой-то он дерганый. Кричит! Что вы мне подсовываете? Это на твои расписки. Четырнадцать тысяч рублей по филькиной грамоте я не спишу!

— Я же меньше десяти тысяч ни разу не расходовал. Ни разу! — повысил голос Чубатов.

— Да не ори ты, господи! — Даша оглянулась — нет ли кого.

— А пригонял я по тысяче двести, по полторы тысячи кубов,— грохотал Чубатов, не обращая внимания на ее одергивания.— А теперь я заготовил две тысячи. Разница!

— И я ему это же говорю. А он мне — вот когда пригоните их в Уйгун, тогда и расходы спишем.

— Я ему что, Сангия-Мама? Удэгейский бог? Дождем я не повелеваю и рекой тоже.

Они приостановились возле освещенного ресторанчика, откуда доносилась приглушенная музыка.

— Зайдем, Дашок! В этой больнице кормили меня кашей-размазней и пустой похлебкой. В брюхе урчит, как на речном перекате.

— Я тоже проголодалась,— согласилась она.— Сегодня толком и пообедать не пришлось. Торопит начальник с месячным отчетом.

В ресторане публика еще только набиралась, но оркестр уже сидел на своем возвышении справа от входа. Увидев Чубатова, оркестранты заулыбались и оборвали какой-то ритмический шлягер. Черноголовый худой ударник с вислым носом привстал над барабаном, грохнул в тарелки и крикнул:

— Да здравствует лесной король!

И оркестр с ходу, по давнему уговору, рванул «Бродягу». Это был входной музыкальный пароль Чубатова, который он всегда щедро оплачивал.

— Спасибо, ребята! — трогательно улыбнулся Чубатов и протянул им пятерку: вынул ее из заднего кармана, не глядя, как визитную карточку.

Присаживаясь за столик, Даша сказала ему:

— Ты шикуешь, как будто уже премию получил.

— А-а, помирать, так с музыкой,— скривился Чубатов и жестом позвал официантку.

Та поспела одним духом.

— Значит, фирменное блюдо — изюбрятину на углях, ну и зелени всякой, сыру... Ты что будешь? — перегнулся к Даше.

— Как всегда,— ответила та.

— Тогда все в двойном размере. Бутылочку армянского и две бутылки «Ласточки».

Официантка, стуча каблучками, удалилась.

Даша опять озабоченно свела брови и подалась к Чубатову:

— Я говорю ему — лес заготовлен, в плоты связан. Никуда не денется. И кто его там возьмет? Кому он нужен? Медведям на берлоги?

— А он что?

— И слышать не хочет. Меня, мол, этот лес не интересует, поскольку я финансист и слежу за соблюдением закона.

— Что ж такого сделал я противозаконного? — вспыхнул Чубатов.

— И я ему — то же. Расходы, говорю, не превышают нормативный коэффициент. А он мне одно твердит — подайте накладные. Где наряды? Где оформленные заказы? Ну, ведь не скажешь ему, что на бросовый топляк наряды водяной не выпишет. И накладные не подпишет. Лучше об этом топляке и не говорить.

— Почему не говорить?

— Потому что он может подумать бог знает о чем. Скажет: чем вы там вообще занимались?

— Да пожалуйста, пусть расследует. Мне скрывать нечего. Но что-то он утвердил? Какие расходы считает он оформленными?

— Только те закупки, что вела я. Всего на две тысячи двести рублей.

— Да что он, спятил? Ты говорила ему о райисполкоме? Намекала, что с председателем это было согласовано? Да не первый же год, черт возьми!

— Говорила, говорила... Не действует. Боюсь, что они уже виделись с председателем... и договорились.

— Не может быть! — воскликнул Чубатов.

— А-а! — Она только рукой махнула.

Подошла официантка, поставила на столик бутылку коньяка и две бутылки приморской минеральной воды «Ласточка», поставила тарелки с огурцами и красными помидорами, сыром, спросила:

— Еще ничего не надо на закуску?

— Потом, потом,— сделал ей знак Чубатов, не глядя.

Та отошла, а он подался грудью на стол, к Даше.

— А ты не преувеличиваешь? Не паникуешь?

— Нет, Ваня... Он даже грозился по твоему адресу. Уголовное дело, говорит, впору заводить.

— Ну, уж это — отойди прочь! Он еще мелко плавал!

Чубатов налил коньяку в рюмки.

— Ладно, хватит о делах... Давай выпьем! — поднял рюмку.— Все-таки мы с тобой почти неделю не виделись. За встречу, дорогая моя касаточка! За тебя.

Выпили...

Закурил, говорил, бодрясь:

— Эх, изумруд мой яхонтовый! Мы еще с тобой разгуляемся. Мы еще на солнце позагораем. В Крым съездим, а то на Кавказ. Там сейчас бархатный сезон, осень золотая, море синее...

— На какие шиши съездим?

— Достану я денег. Экая невидаль — деньги. Суета и прах — вот что такое деньги.

— Где ж ты их возьмешь?

— Где возьму? Ты знаешь, сколько я леса поставил одному Завьялову? А?! Два скотных двора срубил он из моего леса, десять домов, магазин... Что ж ты думаешь, Завьялов не даст мне взаймы какую-то тысячу рублей? Да он две даст, если попрошу.

Даша молчала, кротко глядя перед собой.

— Ну, выпьем за море! — чуть подтолкнул он ее в плечо.— За синее, за Черное! Будет у нас еще праздник, будет!

Он налил еще по рюмке, выпили.

— Давай потанцуем!

Только он встал, подал Даше руку, не успели от стола отойти, как оркестр опять грянул «Бродягу». И оркестранты, и посетители обернулись к Ивану Чубатову и стали просить его:

— Иван, спой!

— Ваня, песню!

— Оторви и брось!

— Гитару ему, гитару!

Из оркестра подали Чубатову гитару, и все смолкли. Он как-то изменился в лице, побледнел весь, поднялся на оркестровый просцениум, ударил по струнам и запел:

О Сангия-Мама! Сангия-Мама,
Я поднялся к тебе на Большой перевал...
Я все ноги разбил, я все путы порвал.
Я ушел от людей, я им вечно чужой —
С независимым сердцем и вольной душой.

О Сангия-Мама! Сангия-Мама!
У тебя на вершинах кочуют орлы
И снега не затоптаны — вечно белы.
У тебя без прописки живи — не тужи,
И не надо в награду ни лести, ни лжи...

Даша слушала, повернувшись от столика, глядела на Чубатова широко раскрытыми, блестевшими от возбуждения глазами и не замечала, как навертывались слезы и катились по щекам ее.

11

Иван Чубатов считал себя временным жителем Уйгуна. Он жил здесь месяца два, от силы три, остальное время в тайге, да еще в Приморске. Такая сезонная маета ему, кочевому человеку, была по душе. В Приморске он снимал комнату на Пекинской улице, в бывшем китайском квартале, где, по рассказам, когда-то темные замкнутые дворики оглашались пьяными криками и визгливой китайской музыкой из ночных притонов.

Его воображение рисовало потешные картины шумного портового города той стародавней поры: веселые ватаги заморских матросов в окантованных бескозырках с бантиками на боку, в черных блестящих смокингах морских капитанов с шикарными красавицами в злаченых ложах двухъярусного ресторана «Золотой рог», а в ночных шалманах китайского квартала на низеньких сценах, освещенных разноцветными фонариками, китайских да японских танцовщиц в красных кимоно, с роскошными опахалами-веерами из черных страусовых перьев — точь-в-точь какие висели у него, прикнопленные на стенах, выдранные из старых японских журналов,— всю ночь напролет танцевавших свои загадочные и влекующие танцы.

«Над городом ветра и снега прибой, и всходят над городом рыжие луны... А ты мне приснилась желанной такой, как в белом наряде голландская шхуна»,— любил он декламировать где-то прочтенное и переиначенное им четверостишие. Он был поэтом и посему часто жил в иллюзорном мире.

Эта привычка к сочинительству и беззаботной жизни появилась у него на флоте. Тамбовский парень, окончивший строительный техникум, попал на Тихий океан в

начале шестидесятых годов, когда стихия сочинительства от расхожих анекдотов до забористых частушек и дерзких песенок под нехитрое бренчание гитары захватила и старого, и малого. Столичные менестрели и барды, как полые воды, как зараза, проникали без всякого на то дозволения в самые отдаленные и глухие места провинции, вызывая к дерзкому сочинительству бесчисленных поклонников и подражателей. Ражий и музыкально одаренный парень Иван Чубатов, поклонник Джека Лондона и Булата Окуджавы, быстро научился перекладывать на музыкальный речитатив под гитарный аккомпанемент забавные матросские пародии на классиков: «Дела давно минувших дней, как в довоенной обстановке. Владимир с ротою своей однажды завтракал в столовке». А потом стал сочинять сам.

С той поры и повело его на «уклонение от службы», как сам он говаривал. Мичманская карьера сверхсрочника закрылась перед ним из-за «потери авторитета в результате безответственных выступлений на неорганизованных вечерах». Демобилизовался в звании старшины первой статьи.

Поступил в пединститут и два года усердно посещал лекции и литературные кружки при всех газетах и даже при Союзе писателей. Стихи его называли традиционными, слишком простыми, говорили, что теперь так не пишут, что поэт эпохи НТР должен видеть мир иррациональным, сдвинутым с места и даже перевернутым вверх дном. Везде одни пятна да углы. Даже груша имеет три угла. А у вас, мол, гейши да голландские шхуны. Старо.

Не выдержал Иван литературной бурсы, перешел на заочное отделение и подался на краболов. Сезон целый прожил в этом плавучем гареме, как зовут краболовное судно моряки. Триста пятьдесят красавиц и дурнушек, собранных со всех концов света, приехали сюда не столько ради накопления денег в долгом рейсе, сколько при тайном намерении найти счастье хоть в море и кончить мыкать свое одиночество. Бедные доверчивые души! Разве знали они, что на краболове их собираются многие сотни на двадцать мальчиков команды, среди которых большая часть отпетых мерзавцев «по части клубнички», как говаривали в старину. Нагляделся там Иван на потешные развлечения, наслушался проклятий и рыданий.

В тайгу потянуло, где вековая тишина... Увы, и там ее не нашел. Сперва подрядился строить поселок лесорубов в должности мастера. Вспомнил свою первую профессию. Рабочие подобрались — ух! Едят за двух, за день отсыпаются, а ночью слоняются. То теса нет, то кирпича нет, то извести, то цемента. Не работа, а сплошные побирушки да выколачивание строительных материалов и поиски рабочих. Не успеешь нанять его, глядь — он уже рассчитывается. Вот здесь, в тайге, Чубатов и присмотрелся к редким старателям вольных лесозаготовок. А через год и сам стал брать подряды от Уйгунского района.

Эта работенка пришлась ему по душе. Здесь все зависит от самого себя, от собственной расторопности и смекалки. И потом, великое дело — воля. Отработал в тайге семь-восемь месяцев, и свободен как птица. Достаток позволял и в Приморске жить, и на Кавказ слетать, а то и в Крым. Да куда хочешь! Ему пути не заказаны. Душа веселья просит — веселись. Учиться хочешь уму-разуму? Учись. Правда, с этим делом он не больно продвинулся — за пять лет заочного студенчества успел подняться до четвертого курса. А куда с этим делом торопиться? В педагоги Иван не рвался. Хотя Даша не раз и намекала ему: пора, мол, костям на место.

К Дарье привязался как-то нечаянно. В прошлом году пришел отчитываться в райфо и в коридоре встретился с ней: на плечах ее зеленый, в красных бутонах японский платок, по нему целый водопад распущенных черных волос аж до пояса, и с лица хоть картину рисуй — эдакая волоокая душечка, улыбка во весь рот, и зубы ровные, как кукурузный початок. С ходу предложил ей полет на Кавказ с остановкой в лучших отелях Черноморского побережья. Она только рассмеялась и, как-то внезапно изменившись, хмуро посмотрела на него и пошла к себе в кабинет. На пороге он догнал ее: «Послушайте, я вовсе не шучу. Вы мне очень нравитесь».— «Оставьте меня с вашими глупостями! Покоритель сердец...» — и сердито захлопнула дверь перед его носом.

Чубатов узнал потом, что у нее не ладилось с мужем и она хлопотала о разводе.

Теперь Даша не на шутку была расстроена внезапными угрозами начфина и чуяла, что здесь кто-то умышленно заваривает кашу. Уж не бывший ли муженек ее старается? У него в районе осталось много влиятельных дружков, и он человек мстительный.

Чубатов успокаивал ее, обещал сходить с самого утра к председателю райисполкома и все уладить. Они же почти друзья. Сколько раз выручал их Чубатов с лесом? Неужели они оставят его в беде? Да быть того не может!

Успокаивал ее, а у самого кошки на душе скреблись. Он даже созвонился с Лелечкой, с секретаршей, просил устроить так, чтобы никого с утра у председателя не было:

— Вообрази на минуту, что к тебе придет сам Бельмондо!

— Все будет как по заказу! — ответила та.

И слово сдержала. Она встретила его на пороге приемной — светленькие завитушки, белая кофточка, подпоясанная узким черным ремешком, и коричневые брючки.

— Все как по заказу! — повторила она ту же самую фразу, протягивая ручку.— Хозяин на месте.

— Один?

— А как же! К нему сунулся было председатель райпотребсоюза, а я ему — номер занят. Ха-ха-ха! Он говорит: я подожду. А я ему: ждите, с минуты на минуту «сам» придет. На секретаря намекнула. Приятной компании, говорю, втроем. Он сразу на попятную. Извести, говорит, когда горизонт прояснится. Ха-ха-ха!

— Молодец, Лелечка! Я тебе привезу из Крыма коралловые бусы.

— За эти бусы мне Дашка глаза выцарапает.

— Хорошо. Прихвачу еще защитные очки.

— По мне, так лучше песню. Говорят, вчера ты здорово пел.

— Ну что ж, песню так песню. Я в долгу не останусь.

Он потрепал ее королевским жестом по волосам, по щечке и прошел к председателю в кабинет.

Тот встретил его как брата — руки вразлет, словно обниматься шел:

— Иван Гаврилович! Рад видеть, рад. Проходи к столу, дорогой.— Председатель исполкома, еще относительно молодой, но грузный человек с двумя подбородками, одетый в светлый костюм цвета какао с молоком, предупредительно поздоровавшись, усаживал гостя: — Вот сюда, в кресло. Давненько не виделись, давненько,— говорил и все улыбался, садясь на свое председательское место.

— Обыкновенное дело, Никита Александрович. Наши рейсы дальние,— отвечал и Чубатов, так же вовсю улыбаясь.— Мы, как моряки, в большом каботаже.

Каждый из них под этой улыбкой прятал тревогу, поэтому глаза их смотрели пытливо и настороженно: чем ты меня огорошишь?

— В этом году вы что-то припозднились, Иван Гаврилович.

— Зато взяли две тысячи кубов, Никита Александрович.

— Это хорошо... А где же плоты?

— К сожалению, все еще там... На месте.

— Жаль, жаль...

Улыбки кончились, лица потухли. Председатель взял сигарету, протянул пачку Чубатову, закурили...

— Мы просто задыхаемся без твоего леса. Завьялов каждую неделю звонит — у него к зиме новый коровник строится. Столбы, перекладины — весь каркас поставили из железобетона, а стены бревенчатые, по типу шандоров. Ну и сам понимаешь... Стала стройка.

— Я для него четыреста кубометров заготовил.

— Он тебе в ножки поклонится.— Никита Александрович в упор и строго посмотрел на Чубатова.— Но как доставить эти кубометры? Ты можешь что-то предпринять? Ну хоть посоветуй!

Чубатов, потупясь, тяжело выдавил:

— Боюсь, что до весны лес не притянем. Дорог нет. Осталось только одно — ждать большой воды.

— То-то и оно...— Никита Александрович побарабанил пальцами о стол, отрешенно глядя в окно.— Вот так номер! И как ты ухитрился обсушить плоты?

— Кто знал, что в августе будет засуха? А весь июнь-июль вода держалась высокой. По нашей-то нужде не хотелось налегке возвращаться.

— Так-то оно так. Да вот видишь, что получилось. Где твои люди-то? Вербованные?

— Четверо на запани осталось, шесть человек подались в леспромхоз. А двое где-то здесь болтаются. Для связи — на случай, если деньги дадите.

— Окончательный расчет, что ли? Откуда взять деньги-то? Мы же не можем твой лес на баланс поставить? Он пока ничей... Обесценен. Вот когда пригоните его, тогда будет и окончательный расчет, и премиальные, и все такое прочее.

Чубатов, слушая эти слова, все ниже опускал кудлатую голову. Потом сказал с глухой обидой:

— Вот не ожидал, Никита Александрович. Но хоть

расходы списать по заготовке леса сможете?—Он достал из кармана толстый бумажник, раскрыл его, положил на стол.

Здесь было множество мятых бесформенных расписок, сделанных на тетрадных листках, на блокнотных листочках и просто на клочках бумаги.

— Сколько у вас расходов-то?

— Шестнадцать тысяч с небольшим. Две с половиной тысячи в райфо списали. Осталось четырнадцать!

— Подходящая сумма...

— Так ведь две тысячи кубов заготовлено!—с горечью и силой сказал Чубатов.—Я же не вру.

— Понятно, понятно!—Никита Александрович озабоченно опустил на грудь голову, выдавливая еще и третий подбородок.—Только на чей счет мы теперь запишем эти четырнадцать тысяч?

— Половину спишет райфо на зарплату лесорубам. А семь тысяч погасит Завьялов, как обычно, на такелаж спишет. Я ж ему четыреста кубов заготовил!

— Но пока лесу у него нет.

— Так будет! Куда он денется? Подтвердите, что лес заготовлен. Если хотите, пошлите туда комиссию, обмерят плоты, обсчитают.

— Комиссию послать—дело нехитрое. Но финансами своими распоряжается сам Завьялов, а не я. Понимаешь?

— Понимаю, как же! Не первый год так делаем. Вы ему визируете, чтобы оплатил такелаж. Он оплатит, то есть принимает расходы. Лес-то ему идет. И другим занаряжаете таким же образом.

— Тебе придется самому съездить к нему и договориться,—карие глаза Никиты Александровича смотрели теперь грустно на Чубатова.

— Но, Никита Александрович, не может же Завьялов принять эти расходы без вашего разрешения,—Чубатов еле удержался на подвернувшемся упреке: «Не дурачьте же меня!»

— Хорошо. Я ему позвоню. Поезжай!

12

Василий Иванович Завьялов слыл в округе человеком широкой натуры и крепким хозяином. Он сам приехал за Чубатовым. С утра пораньше! Дарье поставил корзину

красных помидоров величиной с детскую голову каждый, да трехлитровую банку ароматного меду, чистого, темного, словно янтарь, да копченой свинины. Хоть и пожилой, но еще крепкий — не ладонь, а каменная десница. Лицо обветренное, загоревшее до черноты, с глубокими извилистыми морщинами, как из мореного дуба вырезано. Но сам такой обходительный, деликатный. Присел на краешек стула, будто боялся обломить его. Разговор вел легкий, утешительный:

— Это хорошо, что вы надумали съездить в отпуск куда подальше. Погодка теперь хоть на Тихом океане, хоть на Черном море благоприятствует...

Чубатов, звоня ему, заикнулся насчет денег: одолжите, мол, на отпуск. «Это мы всегда пожалуйста!» — был немедленный ответ.

И Дарья, провожая Чубатова в гости к Завьялову, впервые за эти дни воспрянула духом: а что? Если сам Завьялов благоволит к Ивану, то, может, все и утрясется. У Завьялова авторитет. Он и самого начфина убедить сможет.

Но в «газике» Завьялов как-то погас, тяжело навалившись на баранку, насупленно молчал всю дорогу, пока выбирались из города.

Заговорил, когда вырвались на простор, в поле, сказал, не глядя на Чубатова, не скрывая горечи:

— Крепко ты нас подвел, Ваня. Мы на тебя надеялись как на бога.

— На бога, говоришь? — вспыхнул Чубатов.— А кто засуху в августе послал? Я, что ли?!

— Мог бы и поторопиться, в июле пригнать плоты.

— А кто меня упрашивал? Заготовь сотни четыре кубов! До зимы ждать буду. Не ты ли, друг ситный?

— Я, Ваня, я. По нашей нужде не только попросишь — на колени встанешь, молиться будешь: пошли, господи, леса, кирпича и цемента!

— Ты просил, я заготовил. Как уговаривались — четыре сотни кубов только для тебя! В чем же моя вина?

— Да разве я тебя виню? Я пла́чу. Мне коровник до зимы построить надо. Коровник на четыреста голов! Понял?

— Я ж тебе не начальник строительного треста.

— В том-то и беда, что нет у нас начальника и треста нет. Для нас, для колхозов, строить некому. И деньги

есть у нас. Много денег, Ваня. У меня полтора миллиона чистых денег в банке. Хоть сейчас пускай в оборот. Полтора миллиона! Да я бы на них не то что коровник — коттеджи всем построил бы. Но стройматериалы купить негде, нанять строить некого.

— У вас же есть областной Межколхозстрой?

— А-а! — только покривился.— Это — худая контора. Она может строить только дворы дорогие, сплошь из железобетона. Одно коровье место обходится в две с лишним тысячи рублей. Представляешь? Да и то на пять лет вперед ей все уже заказано и расписано. Мы стараемся строить и подешевле, и побыстрее. Упросил я ПМК-90, что геологов обстраивает: поставьте мне, говорю, только каркас для коровника. А стены я сам заполню. Построили они каркас, а стены твои в тайге, в заломе остались.

— Ты говоришь так, будто я во всем виноват.

— Да не в том дело. Извини, брат. Это я от безысходности, от тоски то есть.

Они свернули в распадок по грунтовой дороге и остановились возле недостроенного коровника. По внушительному периметру на бетонированной площадке стояли железобетонные столбы, связанные поверху единой балкой. Тут же, рядом со столбами, были сложены в четырех штабелях стальные легкие фермы для крыши. На площадке неприбрано и безлюдно, как бывает на заброшенных стройках.

Завьялов и Чубатов вылезли из машины, подошли к железобетонному остову.

— Видишь,— указывал на пазы в столбах Завьялов.— Эти пазы оставлены для бревен. Затесывай с торцов бревна, закладывай в пазы шандором — и стены готовы. И дешево и сердито. Сами придумали. А крыша вот она лежит,— указал он на фермы.

— Что и говорить, досадно! — сказал Чубатов.— А может, кирпичом заполнить проемы-то?

— Какой кирпич? Где он? На печки, на плиты кухонные и то не могу допроситься.

— Да, жаль, конечно. Ну, ничего... Долго ждал — подожди еще немного. Пригоним плоты. Лес тебе заготовлен, занаряжен... Так что никуда он не денется.

— Но куда я коров на зиму загонять буду?

— Ты ж только недавно построил себе коровник!

— Я его под молодняк отвел. Растем, Ваня, растем. Ты знаешь, какие у нас теперь планы на молоко и мясо? Ого-го! Дают под самый дых, только поспевай поворачиваться.

— Молоко... мясо... Все это хорошо,— начал терять терпение Чубатов.— Но давай о деле поговорим. Я ж к тебе сам знаешь зачем приехал. Спишем семь тысяч моих такелажных расходов?

— Дак я их на что спишу? Кабы лес был — проще пареной репы. А теперь по какому каналу их пустить?

— Привет! То ты не знаешь. По тому же самому — за приобретение леса. Четыреста кубов по тридцать рублей за кубометр — и то двенадцать тысяч стоит. А если по сорок рублей? Ну, что для тебя семь тысяч?

— А где он, лес-то? В тайге, у черта на куличках?

— Дак он же заготовлен! Документ у меня есть. Прими себе на баланс. С райисполкомом согласовано.

— Милый Ваня, близится завершение года. А там — отчет! Придет ревкомиссия и спросит: а ну-ка, Василий Иванович, покажи, где твой лес хранится? А я им что? Он у Деда Мороза, в тайге на перекате?

— Погоди! Тебе звонил председатель райисполкома?

— Звонил. Говорит, Чубатов приедет к тебе, не обижай. Прими, как дорогого гостя...

— А насчет семи тысяч ничего не говорил? — спросил Чубатов, меняясь в лице.

— Ни-че-го. Намекнул на такелажные расходы. Гляди, говорит, сам. Отчитаться сумеешь — действуй. А как я отчитаюсь?

Чубатов только головой покачал.

— Значит, покрывать расходы за лес отказываешься?

— Пока не могу. Не сердись, Ваня. Не могу без приказа свыше. А тысячи рублей взаймы тебе — это пожалуйста. Бери хоть на год, хоть на два. Поехали ко мне, пообедаем, и деньги получишь.

— Спасибо на добром слове. Отвези-ка меня на автобусную остановку. Не хочется мне обедать у тебя. Аппетит я потерял,— сказал Чубатов и вяло поплелся к «газику».

— Ну, как знаешь...

Всю обратную дорогу до автобусной остановки ехали молча. Так и расстались — ни прощай, ни до свидания.

13

Капитан Коньков на другой день после посещения пасеки успел побывать и в леспромхозе, и на запани,— никаких особых претензий к бригадиру Чубатову со стороны этих контор не было. Да, знают, что работал он на протоке Долгой, что плоты его сели — тоже знают. «А что он топляк подымал, знаете?» — спрашивал Коньков. Возможно, подымал. Это никого не удивляло. Топляку много. «За кем-то числится этот топляк?» — пытался выяснить Коньков. Нет, не числится. Ни у сплавщиков, ни у лесорубов потерь в этом сезоне нет. Баланс — вот он, в порядке. Можно не сомневаться.

«А кто кран ему выделял?» — допытывался Коньков. А никто не выделял. Работал у них кран в верховьях реки. Может быть, в сверхурочные часы или в выходные и помогали Чубатову крановщики. Тайга большая — за всем не уследишь. Да и греха особого в том нет. Не для себя же заготовлял лес Чубатов!

О пожаре на лесном складе конторщики знали и говорили без особого удивления. Такое бывает. Огонь теперь не редкость, в лесу — засуха. Словом, ничего интересного, за что бы можно зацепиться, Коньков не нашел ни в леспромхозе, ни на запани.

Возил его Голованов на удэгейском бате. Вернулись обратно к вечеру. Хотел было Коньков проверить приходные журналы лесного склада, но Боборыкина и след простыл. Удэгейцы сказали, что уехал еще с утра в город. А председатель Гээнту хоронит.

Кялундзигу нашел он возле крайнего домика, заросшего бузиной и жимолостью. Тот стоял в окружении зевак и что-то шумно доказывал маленькой старушке в цветном расшитом халате и в олочах.

Заметив Конькова, Кялундзига заговорил с ним, ища поддержки:

— Опять, понимаешь, пережитки капитализма. Сколько воспитываем — ничего не помогает. Вот какое дело, понимаешь! — У него от недоумения поползли кверху черные редкие брови, морщиня лоб.

— А в чем дело? — спросил Коньков.

— Пора хоронить — вечер подходит. А старики все в избе сидят. Покойника провожают.

— А, это интересно! Давай поглядим.

Коньков с председателем вошли в избу. Посреди избы

на табуретках лежала широкая доска, а на ней стоял гроб, накрытый черным сатином. Несколько стариков сидели на скамье у стены и внимательно слушали, как Арсё, простирая руки над гробом, закрыв глаза, торжественно и тихо произносил нараспев что-то давно затверженное, как стихи читал.

— О чем говорит Арсё? — спросил на ухо Коньков Кялундзигу.

— В загробный мир отвозит Гээнту, про дорогу говорит, все приметы называет, а старики слушают — правильно везет или нет,— отвечал тот тихо.

— А ну-ка, ну-ка! Переведи мне что-нибудь.

Кялундзига, поглядывая на Арсё, стал потихоньку говорить на ухо Конькову:

— Давай, собачки, вези скорее! Га, га! Снег перестал, солнце светит, теперь все видно. Вон перевал храброго Нядыги. Здравствуй, Нядыга! Помогай немножко нарты толкать. Далеко едем, Гээнту везем. Хороший охотник Гээнта! Никого не боялся, как храбрый Нядыга. Га, га! Вот и Заячья протока. Кто ехать мешает? Зайцы! Прочь, тукса туксани![1] Га, га! Вон перевал Соломога. Юрта его стоит на самом небе. Ой, беда! Увидит нас Соломога — съест, как он съел медведя Одо. Может, Нядыга поможет? Эй, Нядыга! Помоги проехать! Мы тебе богдо[2] дадим...

Выходя на улицу, Коньков спросил:

— А почему он про снег говорит? Лето же.

— Для покойника все равно, что лето, что зима,— ответил Кялундзига.— В нартах летом нельзя ехать. Отвозят туда только в нартах.

— Да, брат... У вас все продумано,— невесело сказал Коньков.— А у меня — в голубом тумане. Однако ехать надо.

— Куда поедешь на ночь? Оставайся ночевать.

— Нет, заночую у Голованова. Там заберет меня почтовый глиссер. В леспромхозе договорились.

В Уйгун Коньков добрался только на исходе следующего дня и наутро явился в прокуратуру. Савельев ждал его.

— А, капитан! Легок на помине,— приветствовал прокурор Конькова.— А мы только о тебе говорили. Председа-

---

[1] Тукса туксани — удэгейское ругательство (заяц тебя выплюнул).

[2] Богдо — меховая шапочка с кисточкой *(удэг.)*.

тель райисполкома интересовался. Куда пропал наш следователь? А я ему — тайгу тушит. Героический порыв охватил его, говорю...

— Я гляжу, у вас информация налажена.

— Чистая самодеятельность, капитан. Как у нас официально пишут — патриотическая помощь населения.

— Ну, ну. Выкладывай мне свою информацию, а я тебе скажу, какой патриот сочинил ее,— усмехнулся Коньков присаживаясь.

— Не увлекайся Шерлок Холмсом, Леонид Семенович! Это называется индивидуализмом в сыске. А сила наших действий в общественной поддержке.

— И что ж тебе сообщила общественность?

— Сперва доложи, где лес? И можно ли пригнать плоты?

— Лес заготовлен хороший, плоты связаны надежно и сидят прочно на Шумном перекате. Обсушены будь здоров! Никакой силой не сорвешь и не протолкнешь. Придется ждать весеннего паводка.

— Невесело, что и говорить. Н-да. А что с дракой — серьезное избиение?

— Не думаю... Правда, я не уточнял. Мне кажется, не столько драка виновата, сколько болезнь. Простуда, должно быть.

— А что за пожар случился?

— Лесной склад сгорел. И тайгу малость прихватило. Полагаю, что не случайно.

— И я думаю — за всем этим кроется преступление.

— Но улик нет. Сторож умер, заведующий складом был на запани.

— Значит, пожар не по нашей епархии, коль нет улик? — усмехнулся Савельев.— Ищи улики, ищи! Зато мне поступили некоторые бумаги, они касаются нас с тобой. Хлопаем ушами, братец мой.

— В чем же мы провинились?

— Плохой надзор у нас. Вот в чем наша вина.

— Плохой надзор? — удивился Коньков.— Не понимаю. И где же?

— Все там же. При заготовке леса, в бригаде лесорубов.

— Вот те на! Не ты ли мне тут толковал о золотой прибыли от наших лесорубов — и вдруг? Что же изменилось?

— Просто кое-что прояснилось, Семеныч.

— Например?

— Бригадир Чубатов под видом заготовки леса поднимал топляк. Это во-первых...

— Я в этом не вижу криминала,— перебил его Коньков.

— Как не видишь? Ему никто не давал разнарядки на топляк.

— Кто же даст на топляк разнарядку, если он топляк? То есть ничейный, бросовый лес. Он валяется под водой и портит реку.

— У нас ничейного леса нет, все принадлежит государству.— Савельев строго посмотрел на Конькова, и краска возбуждения пятнами проступила на его щеках.— Топляк валяется? Мало ли что! Там есть запань, лесопункт. У них должны быть сведения на топляк. Вот и оформляй, бери разнарядку.

— Нет у них сведений на топляк. Я проверял. Он давно уж списан.

— Кем?

— Дядей Ваней! Мало там начальников сменилось за последние двадцать пять лет? Каждый год топили этот лес и каждый год отчитывались,— накалялся и Коньков.— Небось концы прятать в воду у нас умеют. Нет его на балансе, понял? Да кто теперь поставит на баланс этот топляк? Кому такое взбредет в голову?

— Зато каждому может взбрести в голову прихватить так называемый даровой лес и наживаться за этот счет.

— Каким образом?

— Тем самым, каким действовал Чубатов. Во-первых, он ни у кого не спросил позволения насчет заготовок топляка; во-вторых, «слева» нанимал подъемный кран, рабочих, плавсредства.

— Они работали в сверхурочное время, по субботам, по выходным...

— Во-во! Еще и по ночам.

— Так без ущерба для основного производства, чего ж тут плохого?

— А еще расплачивался наличными, деньги шли из рук в руки... Смену отработал — получай десятку и не чешись! Сколько за кран платил, никому не известно. А сколько пива выпито, водки? Ты знаешь, сколько тысяч потратил он на топляк?

— Сколько?

— Четыре тысячи рублей.

— Но заготовлено более пятисот кубометров топляка. Это же лес! И всего по семь рублей за кубометр. Даровой лес!

— Откуда ты знаешь, что он потратил четыре тысячи рублей? А может быть, он истратил всего половину, а две тысячи прикарманил? — Савельев даже радостно преобразился от того, как просто посадил в калошу своего оппонента.

— Но это ж надо доказать! — удивленно развел руками Коньков.

— Нет! — Савельев погрозил кому-то пальцем.— Это уж пусть он теперь докажет, куда потратил деньги. Ты знаешь, у него нет ни нарядов, на накладных — одни расписки.

— Я понял, кто тебе дал информацию.— Коньков понимающе покачал головой.— Заведующий лесным складом Боборыкин.

— Допустим,— сухо согласился Савельев.— Но к делу это не имеет прямого отношения.— Он раскрыл папку, лежавшую на столе, и подвинул ее к Конькову: — Вот, ознакомься... Выводы начальника райфо на так называемые документации Чубатова. Четырнадцать тысяч рублей списанию не подлежат. Понял? Надо, брат, открывать уголовное дело. Так вот.

14

Иван Чубатов относился к тем прямым и деятельным натурам, которые держатся крепко на ногах до тех пор, пока верят, что они нужны в деле и что ими дорожат. Как только им дают понять, что они заблуждаются относительно собственной необходимости или, еще хуже — непогрешимости, они тотчас теряют голову: либо рвут горло и лезут в драку, либо стыдливо впадают в глубокую апатию; и в том, и в другом случае меньше всего думают о доказательстве собственной невиновности.

Даша сразу поняла, что Ивану самому не выкрутиться из этих финансовых пут, не вылезти из трясины, которая внезапно оказалась под его ногами. Как только приехал он от Завьялова, завалился на диван и часами столбом глядел в потолок, словно белены наелся. И на работу уходит она — лежит, и с работы придет — лежит, не то еще на гитаре наигрывает. Два дня терпела, старалась не бередить его душу разговорами об этом отчете. Авось все

утрясется. Ведь лес-то заготовлен, думала она. Разберутся там как следует. Ведь не чужие же начальники. Все вроде бы знакомые, свои люди.

Но, узнав о том, что завели уголовное дело на него, расплакалась и ушла с работы раньше времени. «Надо что-то делать,— твердила она по дороге.— Нельзя же так. Под лежачий камень вода не течет».

Когда вошла, еще в прихожей вытерла слезы, шаркала туфлями, чтоб не слыхал всхлипывания. Но он и в самом деле будто не слышал ее, сидел на диване, тихонько перебирал гитарные струны.

— Ну, чего замешкалась?—крикнул из комнаты.—Я мотивчик новый нащупал... Вроде бы ничего. Иди сюда!

Она вошла; раздвинув портьеру и увидев его, снова всхлипнула, прикрывая лицо углом головного платка, красным пожаром полыхавшим на ее плечах.

— Кто тебя обидел?—лениво, как спросонья, спросил Чубатов, все еще перебирая пальцами струны:—Сангия-Мама не дает тебе небесного жемчуга?

— Эх ты, Сангия-Мама! Все играешь...—Она поворошила его волосы, прижалась щекой к груди и опять всхлипнула.

— Да что с тобой, Дашок? Или обидел кто?— Чубатов отложил гитару и стал гладить ее по голове, как маленькую.— А ты скажи, назови—кто обидел? Я ему сделаю ата-та.

Она еще сильнее заплакала, затрясла головой, вдавливаясь лицом ему в грудь.

Он поцеловал ее в волосы и сказал виновато:

— Устала ты, душа моя. И во всем-то я виноват.

— Не в том дело. Ох, Иван, Иван!..

— Понимаю, понимаю... Замоталась. Загоняли тебя, как лошадь на приколе. А прикол—это я со своим дурацким делом. Знаешь что? Давай к чертовой матери перерубим веревку—и в степь как ветер улетим, как сказал поэт.

— В какую степь? О чем ты?—Даша вытерла слезы, вздохнула глубоко и уставилась ему в лицо.

— Это образ, понимаешь? Поэтическое воображение. А проще сказать—поедем к нашему милому, теплому синему морю. На Кавказ! Поедем, а? Теперь дикарей там немного. Осень. Можно снять комнатенку с оконцем на море, с балконом... Я тебе серенаду спою. А? Залезу на крышу старой сакли и спою. Поедем?

Она опять всхлипнула.

— Начальник сказал, что на тебя уголовное дело завели.

— Какой начальник?

— Финансовый... Мой начальник.

— А-а, уйгунский казначей,— усмехнулся Чубатов.— Это не он виноват. Это Сангия-Мама душу мою затребовал за то, что я хотел достать для тебя небесный жемчуг-кяхту.

— Ты бы, вместо того чтобы играть да шуточки шутить, сходил бы еще раз к председателю райисполкома. Попросил его. Небось его-то послушают, прикроют это дело.

— Эх, Дашок! Председатель — мужик, конечно, хороший. Да он сам боится.

— Чего он боится?

— Бумаги боится. Отчета, который дебёт и скребёт. Вот он, наш Сангия-Мама. Его все боятся. А я не боюсь. Я у него хотел вытянуть счастливую карту. Сыграть с ним хотел ва-банк.

— Доигрался... Эх, Иван, Иван! Сколько раз я тебе говорила: с финансами не шутят. Каждую копейку занеси в счет, каждый болтик зафиксируй, проведи в дело и пришей. А у тебя что? Сотня туда, две сюда.

— Платил только за дело. Расписки имеются.

— Кому они теперь нужны, эти расписки? Мой начальник говорит — пусть он их на стенку наклеит.

— Сукин сын он, твой начальник. А я ему верил.

— Что я тебе говорила? Никому не верь. В случае беды все отвернутся. Соблюдай правила.

— А что бы я заготовил по вашим правилам? Чурку да палку? Надо что-нибудь одно делать — или лес заготовлять, или ваши бумаги по всем правилам отчетности вести.

— Но ведь финансовая дисциплина — это тебе не фунт изюма!

— А две тысячи кубов леса — это что, фунт изюма? Я на себя потратил эти финансы? Да я же заготовил самый дешевый лес!

— Где он, твой лес-то?

— Что, и тут я виноват?

— А кто же? Как тебя просили... и лесорубы, и я: «Иван, хватит! Поплыли до дому. Почти полторы тыщи кубов!» Нет, я две пригоню... Четыре тысячи премии

отхвачу. Небесную ракушку достану... Достал... булыжник со дна.

— Все было бы в ажуре. Это Боборыкин меня подвел. Вот жи́ла.

— Говорят, он здесь болтается. По начальству шляется. Чует мое сердце что-то недоброе.

— Хотел бы я встретить его вечерком в укромном местечке.

— Еще чего не хватает! — испуганно сказала она.— Здесь и лесорубы. Смотри, не подерись еще. Я умоляю тебя — без нужды не выходи из дому. А я сейчас схожу к Ленке Коньковой.

— Какой Ленке?

— Ну, господи! К жене следователя по твоему делу. Узнаю у нее — что хоть тебе надобно предпринять. А если удастся — и с ним поговорю.

— Не унижай ты себя этими просьбами.

— Какое унижение! Мы с ней знакомые. Свои же люди. Надо посоветоваться... Ленка — человек душевный. Она подскажет что-нибудь.

И, бодрясь от этой пришедшей мысли, она встала, оправила прическу, подпудрила нос, подкрасила губы и побежала к Коньковым.

Они жили недалеко от того же озера в деревянном двухквартирном доме, занимая наглухо отгороженную половину. Жена Конькова во дворе развешивала белье на веревках и, увидев подходившую к калитке Дашу, заторопилась к ней навстречу.

— Проходи, проходи! — открывала перед ней калитку.— На тебе лица нет. Разве можно так переживать?

Дарья поняла, что Лена уже знала о следствии, да и немудрено — скрыть такое дело в маленьком городке невозможно. К тому же Даше было известно, что Коньковы живут дружно, и уж наверно муж и жена во всех делах добрые советчики.

— Хозяин дома? — спросила она, проходя к крыльцу.

— Дома. Ты к нему?

— Я сперва посоветоваться с тобой.

— Тогда пошли!

Елена, маленькая, крепенькая, как барашек, вся в черных кудряшках, гулко протопала башмаками по коридору и провела ее в торцовую пристройку — кухню, отгороженную от остального дома капитальной стеной.

— Садись. Здесь нас никто не услышит! — усадила на маленький, обтянутый черной клеенкой диванчик. Сама села напротив у кухонного стола.

— Не везет мне, Лена, ой не везет.— Даша прикрыла лицо руками и потупилась, сдерживая рыдания.

— А вы покайтесь, легче будет. И они учтут,— Лена не сказала — кто они. Даша и так ее поняла.

— Да в чем каяться? Кабы преступление какое? А то ведь стыдно признаться — безалаберность, одна безалаберность. Из-за нее все летит в пропасть. Слыхала, поди, мой-то с лесом влип в историю?

— Слыхала...

— А мы было решили пожениться, в свадебное путешествие съездить. Вот и приехали к разбитому корыту.

— А он что же сидит? Надо ж действовать, оправдываться.

— А-а! — Дарья махнула рукой.— Валяется целыми днями на диване. Все равно, говорит, мне тюрьма. Вот сама хочу поговорить с твоим хозяином.

— И правильно надумала! Все ему выкладывай без утайки. Он поймет. А потом я еще попрошу его проявить внимание. Пошли! Сейчас я ему скажу, чтоб принял тебя.

И тихонько, подталкивая в спину, Елена ввела Дарью в прихожую, потом, обойдя ее, нырнула за портьеру и сказала:

— Лень, к тебе гости!

Коньков сидел за столом, читал газету.

— Что за гости?

— Дарья, по делу. По тому самому. Насчет леса.

— Ага! — Коньков встал, снял китель со спинки стула, стал одеваться.— Зови ее!

Дарья вошла как милостыню просить, остановилась у самых дверей.

— Здравствуйте! Я к вам решила обратиться...— она запнулась,— за помощью то есть,— и всхлипнула.

— Проходите, садитесь,— Коньков усадил ее на широкую тахту, сам сел напротив на стуле.— Слушаю вас.

— Я его самого посылала... Сходи, поговори с капитаном. Он человек душевный, говорю, он поймет,— лепетала она тихим голосом.— Про вас то есть. А он загордился. Все равно, говорит, мне тюрьма. Успею еще наговориться.— Она, мучительно сводя брови, поглядела на Конькова и спросила: — Что теперь ему будет?

— Ведь я не прокурор и не судья. Я веду только предварительное расследование. Посмотрим, как дело сложится. Вы мне вот что скажите: где он покупал такелаж? То есть тросы, чокера, блоки... По его документам определить невозможно.

— Кроме него самого, сказать это в точности никто не сможет. И он не скажет.

— Почему?

— Потому что загордился. У него понятие — товарищей не подводить.

— Но как же я смогу установить — сколько на такелаж он потратил? Три тысячи рублей, или две, или не две?

— Так ведь не первый же год он заготовляет лес, и каждый год тратит на такелаж и подвозку леса примерно те же две или три тысячи рублей. Лишнего он не переплатит. Цены знает.

— Да, но где доказательства? Где накладные?

— Кто же вам продаст бухту троса по накладной? Это ж неофициальная продажа, но для дела необходимая.

— Вы странно рассуждаете. Что ж он, по-вашему, не виноват?

— Почему ж не виноват? Если б не виноват, я бы и просить не приходила. Виноват. Я и сама говорю: повинись. А он загордился. Деньги, говорю, счет любят. А он одним сплавщикам платил по десятке за вечер на подъеме топляка.

— А почему?

— А потому, говорит, что они неурочные, сверх нормы, говорит, ворочают. Оно и то сказать — за пятерку никто бы не пришел топляк поднимать. Работа каторжная.

— Как же оправдать документально эту десятку на нос?

— Никак. Вот за это его и наказывайте. За превышение выплаты то есть. Не себе в карман клал, а рабочим, чтоб работали лучше.

— Иными словами — за растрату?

— Растрата растрате рознь. Иной растратчик как сыр в масле катается, на себя все тратит, а этот растратчик штанов лишних не имеет. Его же и били за эту растрату.

— Вы же говорили, что из-за вас драка произошла?

— Из-за меня только Боборыкин подзуживал лесорубов. Но причина в деньгах. Ваши, мол, денежки бригадир сплавщикам подарил. А плоты, мол, на мель посадил в

погоне за собственной премией. И оставил вас с пустым карманом. Они и разбушевались. А теперь одумались — и самим стыдно... Я вас очень прошу: сходите к ним. В нашей гостинице Вилков и Семынин остановились, лесорубы. Спросите их. Они плохого ничего не скажут. Я уверена. Сходите! Сами они не придут к вам.

— Хорошо, схожу,— сказал Коньков.— Учту вашу просьбу.

Дарья встала и заторопилась на выход, кланяясь и лепеча слова благодарности.

Не успела за ней толком закрыться дверь, как вошла Елена, стала оправлять скатерть на столе и, поймав косой взгляд мужа, решительно произнесла:

— Лень, помочь надо. Люди они честные.

— А ты откуда знаешь? — насмешливо спросил Коньков.

— Вот тебе раз! Почти на одной улице живем — и откуда знаешь!

— Чубатов вроде бы тут не жил,— все еще насмешливо возражал Коньков.

— Ну и что? Дарья проходимца не выберет, не такой она человек. Говорят, что она из-за этого и с Боборыкиным расплевалась.

— Ты вот что, на основании того, о чем говорят на улице, в мои дела не вмешивайся. Понятно?

— Скажи какой гордый! Значит, тебе наплевать, что народ думает?

— Я не верблюд, плеваться не привык. И погонять меня нечего,— Коньков вышел, сердито хлопнув дверью.

15

Но в гостиницу он сходил в тот же вечер. За столиком дежурного администратора он застал сельского библиотекаря Пантелея Титыча Загвоздина. Это был сухонький старичок, одетый в серенький простиранный костюмчик, в расшитой по вороту полотняной рубашке, в очках с тонкой металлической оправой. Перед ним во весь стол развернутая газета.

— Здорово, книгочей! — приветствовал его Коньков, как старого знакомого.

— Леониду Семеновичу мое почтение,— подал руку старичок, важно приподнявшись.

— А где Ефросинья Евсеевна?

— Фроська? А корову доит,— отвечал Загвоздин.

— Весело живете! Значит, дежурный администратор корову доит, а библиотекарь сидит в гостинице, дежурит.

— Дак ведь у нас все по-семейному налажено. Или как в орудийном расчете — взаимозаменяемость боевых номеров.

— И кто же у вас числится заряжающим, а кто наводчиком? — усмехнулся Коньков.

— Это смотря по обстановке,— ответил Загвоздин.— На улице, при людях, командую я. А вот в избе она верх берет — и наводит, и заряжает будь здоров.

Коньков поглядел на часы.

— Между прочим, еще восемь часов вечера. И вроде бы вам положено сидеть в библиотеке. Она же до девяти открыта!

— А там у меня внучек сидит, Колька... Оборот налажен, будь спокоен.

Коньков только головой покачал.

— Тут у вас поселились лесорубы с Красного переката. Не знаешь, в каком номере?

— Как не знать! Хорошие ребята, артельные.

— Откуда вы их знаете?

— Познакомились. Вчерась угощал их огурцами солеными, ветчиной...

— А они вас водочкой? Так?!

— В точности, Леонид Семенович. В корень зришь.

— Давно они здесь живут?

— Кажись, дней пять. Завтра собираются отчаливать.

— Зачем они приехали?

— Говорят, деньги хотели получить. Да вроде бы плакали их денежки.

— Почему?

— Начальник у них больно прыткий был. Позарился на дармовой лес, перегрузил плоты, они и сели на перекате. Говорят, до весны не сымешь. В райисполкоме им так и сказали: вот когда весной пригоните плоты, тогда и окончательный расчет будет. А я им говорю: не горюй, ребята, деньги целей будут.

— А где сейчас эти лесорубы?

— В коридоре, «козла» забивают.

— Пригласи их сюда!

— В один момент! — Загвоздин высунулся в дверное окошко, как скворец из скворечни, в коридор и крикнул:

— Сеня, Федор! Зайдите на минутку.

Они вошли вразвалочку, оба в кожимитовых, блестящих курточках, руки в карманы; один могучего сложения, медлительный, второй потощее, чернявый, с бойкими карими глазами.

— В чем дело? — спросил тот, что был покрупнее, лобастый, с залысинами, белобрысый малый, смотревший с вызовом на Конькова.

— Вилков и Семынин, если не ошибаюсь? — спросил Коньков.

— Допустим,— ответил лобастый. Это был Вилков.

— Будем знакомы.— Коньков подал руку.— Я следователь районной милиции.

Вилков и Семынин с явной неохотой протянули руки. Выражение лица у Вилкова было такое, что, того и гляди, зарычит или заматерится.

Загвоздин в момент оценил обстановку и, глянув на свои большие круглые часы, сделал удивленное лицо и сказал:

— Дак, Леонид Семеныч, мне ведь в библиотеку пора. Я Фросе передам, она придет. А пока уж вы подежурьте здесь,— и, деликатно рассмеявшись, ушел.

— Садитесь! — пригласил Коньков лесорубов на диван, сам сел за стол.— Что, ребята? Не дают вам окончательного расчета?

— Говорят, ждите,— ответил Семынин, этот был вроде поприветливей.

— Чего ждать? — спросил Коньков, стараясь завязать непринужденный разговор.

— Весенней погоды,— нелюбезно ответил Вилков.

— Во-он что! — протянул Коньков.— И куда же вы теперь?

— Все туда же,— ответил Вилков,— в леспромхоз.

«Не много же вытянешь из тебя,— подумал Коньков с досадой,— эка набычился! Того и гляди, забодает». И перешел на деловой тон:

— Как же вы ухитрились плоты обсушить?

Лесорубы переглянулись, и Вилков, помедлив, произнес:

— Погода подвела.

— А говорят, бригадир виноват?

— Он что, Илья Пророк? Дождями распоряжается? — насмешливо спросил Семынин.

Вилков промолчал.

«Ага, это уже кое о чем говорит,— отметил про себя

Коньков.— Значит, топить бригадира не собираетесь». И, делая округлый жест руками, когда желают выразить свое недоумение, Коньков сказал:

— Будто бы он плоты перегрузил... Сроки спуска оттягивал?

— Мы все вместе грузили,— как бы делая снисхождение, процедил Вилков.

— Топляк подымали! — подсказал Коньков.

— Подымали,— согласился Вилков.

— А кран нанимали на стороне?

— Интересно, где ж еще можно взять его, кран-то? — переспросил с усмешкой Семынин.

— Вас посылали не топляк подымать, а лес рубить,— с упреком сказал Коньков.

— Вот мы и рубили,— промычал Вилков.

— На дне речном,— усмехнулся Коньков.

— Если вы везете, к примеру, машину дров и на обочине увидели бросовые дрова, так неужели не остановитесь и не подберете? — спросил, горячась, Семынин.

— Мне, например, другое известно: когда бригадир остановился, чтобы подобрать этот лес, топляк то есть, то не кто иной, а вы сами избили его. Мол, не жадничай.

— Кто это вам сказал? Бригадир? — поспешно спросил Семынин.

— Нет,— помедлив, ответил Коньков.

— Ну, дак спросите самого бригадира. Он знает, кто его бил.

— А вы не знаете?

— Нет. Мы не видели,— твердо ответил Вилков.

— Чудеса в решете! — усмехнулся Коньков.— Может быть, не видели и то, как топляк заготовляли? Откуда кран пригоняли?

— Кран из Америки,— ответил серьезно Вилков.

— А если кроме шуток?

— Дак ведь кран-то один на всю запань,— сказал Семынин.— А работал он у нас в свободные часы. Какие тут секреты?

— Кран работал, а вы дурака валяли. Бригадир нанимал сплавщиков со стороны. Сроки горели... и в конце концов плоты остались на мели. Вот и секрет!

— Это он вам говорил? — спросил Вилков, с прищуркой глядя на Конькова.

— Давайте так договоримся: спрашиваю я, а вы отвечаете.

— А мы не подследственные! — отчеканил Семынин.

— Зато ваш бригадир подследственный. И, может быть, вам не все равно — будет он осужден или оправдан.

Вилков впервые взглянул открыто и спросил без обычной своей враждебности:

— Чего же вы хотите от нас?

— Хочу ясности. Значит, так. Сплавщики со стороны работали, а вы гуляли?

Вилков опять насупился.

— Такая уж судьба наша, капитан,— усмехнулся Семынин.— Когда мы работаем, они гуляют. А мы гуляем — сплавщики работают. Взаимовыручка.

— Ага! Довыручались до того, что без гроша в кармане остались.— Коньков, упорно глядя на Вилкова, ждал от него ответа.

И Вилков ответил:

— Капитан, если вы ждете, что мы начнем клепать друг на друга, так напрасны ваши ожидания. Этого не будет. Мы все вместе работали, вместе и отвечать будем.

— А за что отвечать? — воспрянул протестующе Семынин.— За то, что позарились на дармовой лес и с погодой просчитались? Так мы уж наказаны за это — до весны без расчета остались.

— Значит, виноватых нет?

— Вам виднее. А мы все сказали.— Вилков встал и направился к выходу.

За ним двинулся и Семынин.

— Это не разговор,— сказал им вслед Коньков.

— Разговор на эту тему исчерпан,— прогудел в дверях Вилков.

Однако разговаривать им пришлось в тот же вечер и на ту же тему, только не с капитаном, а с Боборыкиным.

В гостинице он появился сразу после Конькова.

Поселился Боборыкин на окраине города у старого приятеля — продавца сельпо, но с гостиницы глаз не спускал. Как только узнал, что капитан беседовал с лесорубами, так и заявился с черным пузатым портфелем в руке.

— Ребятки, у меня дело к вам,— зашел прямо в номер.— А сперва причастимся по махонькой и закусим чем бог послал.

Открыл портфель, вынул две бутылки водки, кусок копченой свинины и две банки иваси. Одну бутылку разлил сразу всю по стаканам, сала нарезал.

— Я был в прокуратуре... И в райисполком заходил. Связи кой-какие остались,— подмигнул Вилкову.— Все ж таки я здесь не последним человеком служил. У меня дела по запани. Попутно поинтересовался вашими делами. Кажется, вам что-то светит. Давайте за удачу, одним дыхом! А потом все вам выложу.

Сам выпил целый стакан и, заметив, что Вилков половину не допил, удивился:

— Это нехорошо! Это ты не водку, а зло оставил. Допей, допей!

— Ладно тебе каныжить,— покривился Вилков и взялся за сало.

— А ты не обижайся. Я такой человек — у меня все начистоту. Для начала скажу: вашего орла взяли под следствие...

— Знаем,— перебил его Семынин.— Капитан приходил к нам.

— И что же он предлагал вам?

— Ничего. Так, познакомились,— сказал Вилков.

— И вы не рассказали капитану, что за фрукт ваш бригадир? — удивился Боборыкин.

— А с какой стати? — спросил Вилков.

— Ни хрена себе! Ведь деньги-то он истратил не просто ничейные, а ваши кровные денежки.

— Наши деньги на перекате сели,— сказал Вилков.

— Но, чудак-человек, сплавщикам кидал он по десятке на рыло из вашего фонда!

— И правильно делал. Мы ж не работали.

— Правильно?! По десятке в день!

— А ты попробуй отработай свои восемь часов, а потом еще вкалывай с пяти вечера и за полночь. Поворочай-ка бревна шестнадцать часов в сутки! Вот тогда и поглядим — сколько ты запросишь.

— Им же еще запань платила!

— А ты хочешь, чтобы они даром вкалывали?

— Вот вы и вкалывали даром. Я тебе, дураку, пытаюсь втолковать это, а от тебя отскакивают слова, как горох от стенки.

— Ты подбирай выражения, не то можешь язык прикусить.

Во время этой неожиданной перепалки Семынин молчал, с опаской поглядывал на распалявшегося Вилкова.

— Ну, ладно, ладно! — стал утихомиривать его Бобо-

рыкин.— Я ж к вам с добрым советом. Начальство намекнуло, что делать надо. По знакомству, понял? А сделать надо вот что: напишите заявление в прокуратуру: так, мол, и так — наш бригадир или прораб он? Как вы его называете? Не считался с коллективом, заставлял работать в сверхурочные часы и даже по выходным дням. А за то, что мы не соглашались, подменял нас незаконным наемом со стороны, переплачивал случайным рабочим, доводя тем самым нас до отчаянного положения. Ну и все в таком роде. Напишите и завтра же подайте заявление. Вам все выплатят, все до копейки. Точно говорю. Суд прикажет!

— Одного я не могу понять — с чего это ты нас так полюбил? — с усмешкой спросил Вилков.

— Да вы же дети неразумные! — Боборыкин, все более возбуждаясь выпитой водкой, размахивал руками и с жаром говорил: — Мне жаль вас. Все ж таки я работник запани, в управлении состою. А он и вас обидел, и наших сплавщиков разлагал. Такие люди, как Чубатов, хуже заразы. Это ж они воду мутят. И сами жить не умеют, и другим не дают. Он же психопат... Ненормальный! Таких надо либо в тюрьму сажать, либо в сумасшедший дом! — Боборыкин пристукнул кулаком по столу.

— Ну, ты и фрукт! — сказал Вилков в изумлении.— А я думал, что ты ненавидишь его из-за Дашки. И еще помогал тебе... По пьянке...

— Очнись! При чем тут Дашка? Он же преступник, растратчик! Его надо на чистую воду выводить. Это долг каждого честного человека...

— Ну, хватит! — гаркнул Вилков, вставая.

В одну руку он взял бутылку водки, второй схватил за ворот Боборыкина и потащил его к двери.

— Да пусти ты, обормот! — Боборыкин вырвался из цепкой лапы Вилкова и вернулся к столу за портфелем.— У меня здесь документы, понял? А вам привет с кисточкой! — В дверях приставил большой палец к уху и помахал растопыренной ладонью.

— Ничего себе компот заварился,— сказал Семынин после ухода Боборыкина.— Что делать будем?

— Придется идти к капитану. Иначе Ивану тюрьма.

— Эх ты, Федя, съел медведя!.. Неужто от твоего похода что-либо изменится?

— Не знаю,— ответил тот и зло выбросил в форточку стакан с недопитой водкой.

16

На следующее утро Вилков с Чубатовым встретились неожиданно возле милиции; Вилков выходил от следователя, а Чубатов шел по вызову на допрос. Они не виделись с той самой драки на таежном речном берегу...

Тогда они только что сняли свои пожитки с плотов и сносили их в лодки, нанятые в удэгейском селе. Лодки пригнал Чубатов и застал своих лесорубов на берегу пьяными. Возле них крутился Боборыкин, тоже пьяный, с возбужденным красным лицом. Чубатов сообразил, что, пока он пригонял лодки, этот тип даром время не терял, и грубо обругал его: «Ты, мать-перемать, долго будешь путаться в ногах! Кто тебя звал сюда с водкой?» — «По закону полагается выпить отходную,— ответил тот насмешливо.— Рабочие не виноваты, что хозяин у них обанкротился».— «Чего ты на человека набросился? — загудели лесорубы.— Он же ото всей души. Ничего не жалеет. Компанейский человек».— «Поменьше компании надо было водить, а побольше работать. Вот и не сидели бы здесь на перекате!» — «Это мы, значит, не работали? А ты, значит, работал? Так выходит?!» — «За вашу работу не на лодках везти вас, а пешком по тайге прогнать... Да в шею!» — «Нас в шею? Ах ты мотаня! Живодер!» — «Лодыри! Захребетники!» Ну и пошла щеповня.

Первым бросился на него Вилков. Прицелился издали, летел неотвратимо и топал, как сохатый, хотел с разбегу сшибить его всей массой своей увесистой туши. Чубатов, увернувшись от удара, принял его на левое бедро и по инерции легко перекинул через себя в воду. Вторым бежал Семынин, и этого сшиб Чубатов кулаком в челюсть. Потом кто-то треснул его по затылку палкой; в глазах ослепительно вспыхнули разноцветные круги, и он упал, теряя сознание. Когда били его лежачего, он уже не чуял.

И вот теперь они встретились нос к носу. От неожиданности растерянно остановились; Вилков настороженно и выжидательно поглядывал на Чубатова. Тот первым пошел к нему и протянул руку с едва заметной виноватой улыбкой:

— Здорово, Федор! К сожалению, ничем порадовать не могу. Деньги не дают, говорят — ждите весны.

— Слыхали,— ответил Вилков и, чуть помедлив: — А как у тебя?

— Хреново... Наверно, посадят. Отчет не утверждают.

— Я это... к следователю ходил. Сказал ему: ежели для суда нужно, то мы напишем заявление, что наем сплавщиков был вынужденным, из-за нас то есть. Мы и виноваты. И на суд придем.

— Ну, спасибо!

— Ты извини, что так вышло между нами. Погорячились.— Вилков только руками развел.

— Ладно... Я сам виноват,— сказал Чубатов и пошел прочь.

В кабинете у Конькова посреди стола лежала серая папка с крупной белой наклейкой, и — черная надпись: «Дело № 76». Увидев эту папку, Чубатов почуял холодок на спине, и сердце заныло и затюкало... Но виду не подал и говорил, бодрясь:

— Здорово, капитан! Давно не виделись.

Коньков поздоровался за руку, указал на стул, сам сел напротив, все приглядывался к Чубатову.

— Вроде бы никаких следов. У лесника Голованова вы по-другому выглядели.

— На нашем брате как на собаке зарастает,— усмехнулся Чубатов.— Жаль, что мы встречаемся, капитан, вроде по необходимости.

— Такая служба у нас, Чубатов. Свидания наши случаются не по взаимной симпатии.

— Я надеюсь, что они происходят по недоразумению.

— Дай-то бог, как говаривал мой папаша. Вроде бы вас били? — спросил Коньков деловым тоном.

— Пустяки! — покривился Чубатов.— И здесь чистое недоразумение. Ребята не виноваты. Выпимши были.

— А кто же виноват?

— Очевидно, я, если плоты в тайге остались. Сели прочно...

— Где бы они ни завязли, а рукам волю тоже давать нечего. Я не понимаю, к чему вы покрываете лесорубов?

— Все это мелочи. Погорячились ребята. Их тоже понять можно. Они с одним авансом остались.

— Сколько потратили на аванс?

— Восемь тысяч рублей. Остальные восемь тысяч рублей потрачены на продукты, такелаж, топляк... Там все записано,— Чубатов кивнул на папку.

— Видел я твои записки,— проворчал Коньков, от-

крывая папку.— С ними только по нужде ходить, и то не очень они пригодны — невелики.

— Других не имеется. Впрочем, раньше и такие хороши были.

— То-то и оно, что раньше. Раньше вы лес сюда пригоняли, а теперь где он?

— Да что он, сгниет, что ли, до весны?! — взорвался Чубатов.— Здесь же будет.

— До весны тоже надо дожить.

— Кто собрался помирать, тому и лес мой не поможет.

— Лес нужен в хозяйствах, а хозяйство вести — не штанами трясти. Вон, нахозяйничал! — указал Коньков на бумаги в папке. Взял одну расписку.— Ну, что это такое? Полюбуйся на документ! — Прочел: — «Мною, бригадиром Чубатовым, куплены за наличный расчет в магазине Потапьевского сельпо тросу оцинкованного 100 метров за 250 р., бухта каната просмоленного — за 100 р., проволоки сталистой за 50 р. В чем и расписываюсь — И. Чубатов. Товар продал Г. Пупкин...» Что это за Пупкин?

— Пупков,— ответил Чубатов,— продавец Потапьевского сельпо.

— И ты хочешь всерьез доказать, что цинковый трос и проволоку, да еще канат купил в сельпо? Смешно! Это одно и то же, что купить слона в посудной лавке. У кого купил канат и трос, ну?

— Вы лучше спросите, что бы я мог делать без того каната, без троса, без проволоки в лесу? Как лес трелевать? Чем? Мне ведь этого добра никто в районе не дал. Да и где они его возьмут?

— Между прочим, резонно.— Коньков помолчал.— Но, когда вас отправляли в тайгу, ведь знали же наши заказчики, что без такелажа вам не обойтись?

— Конечно! Что они, дети, что ли?

— Как же выходили из положения?

— Бумагу сочинили,— ответил Чубатов.— А что они еще могут придумать? — Он достал из бокового кармана бумажник, извлек оттуда сложенную вчетверо бумагу, развернул ее и подал Конькову.— Вот она. Это справка, то есть вроде оговорки, которая прикладывается к деньгам и выдается мне на руки. На под отчет! И наставление, и оправдание денежных затрат.

Коньков взял эту справку-памятку и прочел вслух:

— «В случае необеспеченности такелажем бригадир сам приобретает его за счет ремстройгруппы, но не выше установленных норм и существующих цен».

— Н-да,— Коньков повертел в руках эту диковинную бумажку, осмотрел, словно музейный экспонат, положил в папку.— Сколько положено было истратить вам на такелаж по нормативам?

— Дак нет никаких нормативов! На практике за прошлые годы установлено было, что на заготовку полутора тысяч кубов тратили на такелаж тысячи две рублей. Ну, примерно столько же и теперь затратили, а заготовили на полтыщи кубов больше.

— И вам их не списывают?

— Нет. И плюс к тому — четыре тысячи за подъем топляка. И даже те деньги, что на аванс израсходовал, тоже не списывают.

— Так, так! — Коньков взял из папки еще одну расписку.— А это что за такелаж купили вы у лесника Голованова?

— Это я сани купил у него и подсанки.

— Сани за четыреста рублей?

— А что ж вы хотите? Шесть саней да шесть подсанков. Сани по сорок рублей, подсанки по тридцать. Итого — четыреста двадцать.

— А какая им государственная цена?

— Не знаю. Их делал Голованов, он и цену установил.

— А лошадей где брали?

— В удэгейской артели у Кялундзиги.

— А где документы?

— Сгорели, и дыму не было! Какие документы, капитан? Охотники приезжали на зимовье, привозили продукты, пушнину отвозили, а лошадей давали нам в работу. И сами помогали. Мы им платили. У меня там записано. Они подтвердят. Не даром же работали! Но попробуй взять расписку с удэгейца! Он тут же сбежит.

— Все это очень мило. Но как вы докажете, что деньги эти,— Коньков ткнул в бумаги,— пошли на заготовку леса, а не куда-то еще?

— Дак лес-то заготовлен! Чего же мне доказывать?

— Вы как дите неразумное...— с досадой сказал Коньков.— Да за один этот трос, приобретенный на стороне!.. Ведь кто-то положил эти деньги в карман не по закону.

— Значит, если бы я пригнал лес, то все было бы по

закону. А поскольку плоты сели, то и такелаж я не имел право покупать, и заготовлять лес. Плоты эти теперь, значит, незаконные?

— На все есть свои правила,— уклончиво ответил Коньков.

— Ну, тогда возьмите шестнадцать тысяч рублей, поезжайте в тайгу и заготовьте две тысячи кубометров по правилам. Поезжайте! Деляну отмерят. Все остальное добывайте где хотите... Ну?!

— Я заготовкой леса не занимаюсь.

— А мне зачем она? Мне нужен этот лес? Да в гробу я видел его, в белых тапочках! Но меня же просили. Христом-богом умоляли. Достань леса, привези! Задыхаемся! Для кого же я старался? Для себя, что ли?

— Но ведь не даром же.

— А вы еще хотели, чтоб я даром старался? Шкуру на скулах обмораживал, руки в кровь сбивал, изворачивался, голодал... И все даром?

— А что у вас с Боборыкиным? — стараясь остудить не в меру распалявшегося Чубатова, спросил Коньков.— Почему он так зол на вас?

— Живодер он и сука! — зло сказал Чубатов.— Хотел продать мне свои излишки. А я ему дулю показал. Поднял у него под носом шестьсот кубов топляку. И по дешевке. Вот он и взбесился...

— Веселый вы человек, Иван Чубатов.

— На настроение не жалуюсь, капитан. Надеюсь, вы мне его не испортите?

— Не знаю... По крайней мере, не уверен. Одно могу сказать: мне не до смеху.

— Да вам по службе не положено. Ваша форма требует от вас строгости поведения. Это мы понимаем.

— А где хранятся лесные излишки у Боборыкина?

— Сгорели. А может быть, и сам поджег. Он — патентованный жулик.

— Вы можете это доказать?

— Нет. Этого никто не докажет.

— Н-да. Ну, ладно. Подпишитесь под протоколом и из района не выезжайте. Идет следствие.

— Всегда пожалуйста. До новых встреч!

Чубатов расписался и бодрой походкой вышел. Коньков проводил его до наружных дверей. Возвращаясь, он столкнулся в коридоре с прокурором. Тот коротко заметил:

— А я к тебе.— И, кивнув на дверь в кабинет Конькова, предложил: — Зайдем на минутку! Поговорить надо! Взял Чубатова под стражу? — спросил прокурор в кабинете.

— Нет. Отпустил под расписку.

— Почему?

— Потому что не считаю его опасным преступником.

— Сгорел склад... Возможно, куплен краденый лес. Потрачено более десяти тысяч рублей.

— Краденый лес Чубатов не покупал. Это я установил точно.

— Но расходы не подтверждены. Верить Чубатову нельзя. Он может помешать следствию. По закону его надо изолировать.

— Он не растратчик.

— Ты изучал его бумаги?

— Изучал.

— Можно установить документально, сколько и куда он потратил?

— Он сам охотно признается.

— Слово к делу не подошьешь, Леонид Семенович.

— У нас нет оснований не верить ему.

— Ты считаешь подобную трату государственных денег вполне законной?

— Нет, не считаю.

— Так виноват он или нет?

Коньков подумал и сказал:

— Выходит, так: не останься он за топляком, не задержись на месяц — плоты были бы доставлены по назначению. Такелажные расходы Чубатова и все прочие были бы списаны, то есть вошли бы в себестоимость леса. И все было бы в порядке. Все остались бы при своих интересах, и никто бы не предъявил Чубатову никаких обвинений. Значит, вина его в том, что он поднял бросовый лес и решил пустить его в дело? То есть наказывать его будем за инициативу. Вот и рассуди — по совести мы поступаем или нет?

— Не туда свернул, Леонид Семенович. Спору нет, порядок лесозаготовок в нашем районе скверный. Да его вовсе нет. Никаких плановых заготовок мы не имеем. Отсюда каждый мудрит да исхитряется как может. Но из этого не следует, что мы должны смотреть на подобные операции сквозь пальцы.

— А чего ж смотрели до сих пор?

Вопрос Конькова ничуть не поколебал убеждения Савельева:

— Люди, подобные Чубатову, пользуясь трудным положением, как новоявленные купчики, кидают на ветер государственные деньги. Есть определенный закон финансовой отчетности. Вот и потрудитесь соблюдать его, ежели взяли на себя ответственность распоряжаться финансами.

— Логика железная, что и говорить,— невесело усмехнулся Коньков.— Но не отобьем ли мы желание у людей смелых, предприимчивых рисковать для пользы общей, когда дело принимает непредвиденный оборот? Ведь легче уйти от решения, постоять в стороне, подождать. Авось кто-нибудь смелый вынырнет, подставит загорбок. Пусть себе тянет, а мы поглядим — не споткнется ли? А уж ежели споткнется, тогда мы ему покажем кузькину мать! Не ты ли мне говорил, что не было у нас леса в районе до Чубатова? И не будет, если мы его засудим.

— Философия, Леонид Семенович. Какая-то помесь делового меркантилизма с либеральной снисходительностью. Лесные вопросы меня сейчас не интересуют. Мы не снабженцы, а работники юстиции. Налицо есть серьезное нарушение закона.

— Есть буква закона, но есть еще и дух закона,— сказал, горячась, Коньков.

— Нет, капитан! И буква, и дух закона — все едино. Нельзя одно отрывать от другого. Закон не плащ с капюшоном — хочу капюшон накину, хочу голову непокрытой оставлю. Закон не должен зависеть ни от состояния погоды, ни от нашего благорасположения, ни от чего другого. Закон есть закон. И если закон нарушен, то нарушитель должен предстать перед судом, кто бы он ни был, хоть мой папа или ваша мама.

— Но бесспорных нарушений не бывает, кроме исключений. Это хоть ты не станешь отрицать?

— И не подумаю отрицать. На то у нас и суд имеется, чтобы решать споры. Пусть суд рассудит, какие сроки ему дать — условные или безусловные. Я не судья, я прокурор. Мой долг — стоять на страже закона. В данном случае финансовая дисциплина нарушена? Параграф закона нарушен? Ну, так вот: предлагаю вам задержать Чубатова. Если будете либеральничать, если не задержите растратчика, то дело будет у вас изъято.

— А я с вами не согласен.

— Как не согласен? — опешил прокурор.

— Вот так... Не согласен. Вина Чубатова относительная. Главные виновники — начфин, председатель райисполкома и все те, которые развели эту липовую отчетность с лесом. А еще мы с вами виноваты, потому что глядели на это дело сквозь пальцы.

— Разговоры на эту тему считаю исчерпанными. Возьмите под арест подследственного. А предварительное расследование сдайте нам.

— Я возьму его под стражу, но расследование буду продолжать.

— Вы будете наказаны.

— Поглядим.

17

Сразу же после ухода прокурора Коньков позвонил председателю райисполкома и сказал:

— Никита Александрович, мне необходимо поговорить с тобой насчет лесных дел. Когда? Да хоть сейчас же. А лучше давай после обеда и пригласи к себе Завьялова. Обязательно!

Коньков чуял, что прокурор был раздражен неспроста; он и сам оказался в нелепой ситуации: уж кто-кто, а он, Савельев, был главным застрельщиком лесных заготовок после того, как вся его прокуратура и снаружи, и изнутри была обшита тесом. И вдруг — на тебе! Тес добывался по неписаным правилам. Прокурор хлопал ушами, а председатель исполкома знал, да помалкивал. Уж теперь-то между ними определенно черная кошка пробежала. Нельзя ли как-то раскачать председателя райисполкома, чтобы вопрос о нарушениях финансовой отчетности по лесозаготовкам решить как-то по совести, а не валить все на «стрелочника» Чубатова. Этот самый менестрель, как иронично обзывал его за глаза Коньков, понравился ему своей прямотой, вспыльчивостью и каким-то детским простодушием. Да и то немаловажный факт: и лесорубы, и сплавщики, и удэгейцы — все берут его под защиту. За проходимца не станут ратовать мужики, которые сами без денег остались. Так думал Коньков, идя к председателю райисполкома Стародубову.

Тот его встретил шумной речью — пиджак распахнут, лицо красное, ходит по кабинету и ораторствует. Завьялов сидел на диване и смотрел себе под ноги.

— Вот так, Леонид Семенович! Слыхал новость? — ринулся Стародубов к Конькову. — И я виноват, и Завьялов виноват, и Чубатов виноват... Только один Савельев у нас невинный. Он, видите ли, прокурор, он один радеет за соблюдение закона, а мы все сообща только и делаем, что нарушаем закон. — Он взял под руку Конькова и подвел к дивану. — А ты садись, садись!

Сам опять гоголем прошелся по кабинету — и пóлы вразлет.

— Вы знаете, что он мне вчера наговорил? — спросил, останавливаясь перед ними, изображая на лице ужас и протест. — Мол, при нашем прямом попустительстве... Это надо понимать — при моем попустительстве! — ткнул себя пальцем в грудь Стародубов. — Из хозяйственных заготовок леса образовалась кормушка для коммивояжеров и проходимцев. Я ему — сперва еще надо доказать, что он коммивояжер и проходимец. А он кричит: весь город об этом знает, как он пятерки в ресторане разбрасывает направо и налево. Откуда-то они берутся? Понимаете, разбрасывает деньги Чубатов, а кричит на меня. Вы можете себе это представить? — Его сочные пухлые губы обиженно дергались.

Коньков усмехнулся.

— Еще неделю назад он из кожи лез, доказывая мне, что Чубатов золотой работник, что до него весь район щепки завалящей не видел.

— Во, во! — радостно подхватил Никита Александрович. — Я ему так и сказал: ты же сам упрашивал меня подкинуть премию Чубатову, когда твою прокуратуру тесом обшили! А он мне — не путай, говорит, эмоции с финансовой отчетностью. Ты, говорит, на эту отчетность сквозь пальцы смотрел. Все на такелаж списывал. Но, во-первых, не я списывал, а председатели колхозов. — Стародубов указал грозно, как Вий, толстым пальцем на понуро сидевшего Завьялова, потом этим пальцем ткнул себя в грудь. — Если ж я и рекомендовал, то лишь потому, в первую голову, что лес обходился дешево. Понимаете?

— Никита Александрович, а тебе лично известен был этот заведенный порядок отчетности? — спросил в свою очередь Коньков.

— Что? — Стародубов с удивлением глянул на Конькова, словно спросонья, крякнул и пошел к себе за стол, сел в кресло.

Раскрыл какую-то папку, бумагами пошуршал, потом ответил нехотя:

— Известен.— И проворчал: — А кому он не известен?

— Значит, и начфин знал об этом заведенном порядке?

— Да, конечно, знал!

— Отчего же раньше не протестовал наш начфин? Да и ты тоже?

— Лично я считаю Чубатова честным человеком. Потому и не протестовал.

— Так виноват Чубатов или не виноват?

— Леонид Семенович, ты не упрощай! Что значит — виноват или нет? С точки зрения начфина, конечно, виноват — отчетность у него хромает. Но лес-то заготовлен. И лес хороший. В это я верю. И в личную честность бригадира тоже верю.

— Ну, тогда спишите его расходы на заготовленный лес, и дело с концом.

— Да как же списать? Кто же спишет? Я ведь не могу приказать председателю колхоза, вон тому же Завьялову, повесить до весны семь тысяч рублей себе на баланс. Нет у меня таких прав. Не могу! А он принять их по своей воле тоже не может. Был бы лес — тогда другой разговор. А лес-то, вон он где. На Красном перекате.

— Лес-то на перекате, да человек тут. Что с ним делать, вот вопрос!

— Вопрос, как говорится, в вашей компетенции. Тут, знаете, ваше дело...

— Не только мое, но и ваше. И вы должны все взвесить и учесть. Он для вас не посторонний...

— Конечно, все надо учитывать,— поднял голову Завьялов.— Мужик он деловой, но и беспечный. В каждом деле, кроме выгоды, есть необходимая мера допуска, что ли, или дозволенного. Ты за выгодой гонись, но не забывайся. В этом смысле он виноват. Но...

— Да в чем его вина, конкретно? — спросил Коньков.

— Говорят, подымал топляк без наряда.

— А кто должен давать наряды на топляк, водяной, что ли?

Завьялов смущенно умолк.

— Топляк-то ничей, списанный,— говорил Коньков, накаляясь.— Другое дело — кто его утопил? Кто списал такой хороший лес? Вот бы чем заняться надо!

— Ну, я там не был и лесным делом не занимаюсь,— сказал Завьялов.

— Не был, не видал, а обвиняешь... Говоришь — виноватый Чубатов.

— Я знаю, что у него грешки по части такелажа. Трос покупал на стороне и прочее...

— Видел я твой ток, механизированный. Хороший ток! — стал неожиданно восторгаться Коньков.— А какой навес над ним! Правильно! Крыша битумом залита, подъездные пути — гудроном. Ни пылинки, ни капельки влаги... А где же ты достал битум и гудрон? На нашей базе их нет.

— Леонид Семенович! Какое это имеет отношение к лесу? — Завьялов зарделся до ушей.

— Никакого. Просто интересуюсь, где ты купил битум? Может, Никита Александрович скажет?

— Я думаю, он сам вспомнит,— отозвался тот хмуро.

— Ездил в соседнюю область... на завод,— выдавил Завьялов.

— По наряду?

— Нет,— Завьялов тоже нахмурился, глядя в пол.

— Ну, чего ты устраиваешь представление? — сердито сказал Стародубов.— Что он тебе, подследственный? Не забывайся, понимаешь.

— Не нравится?

— Да, не нравится. Отчетность председателя колхоза не в твоей компетенции.

— Не надо сердиться, Никита Александрович. Я и не думаю ревизовать Завьялова, да и вас тоже. Вы правы — это дело не в моей компетенции. Хотя на каждый роток не накинешь платок. Это ведь не секрет, что порядки со снабжением в нашем районе лыковые: пока сухо — держится, где чуть подмочило — рвется. Достаем, где можем и как можем. А отчетность — пришей-пристебни. Концы с концами сошлись — все покрывается. Прореха появилась — стрелочник виноват. Вот и валим теперь на Чубатова.

— Что правда, то правда,— сказал Завьялов, закуривая.— И отчетность, и снабжение — все поставлено на русский авось.

— Так вы же сами хозяева! Вы и отчитывайтесь как следует! — вспылил Стародубов.

— Да я это не про нас, а вообще насчет снабжения. И не дай бог попасть впросак.

— Именно! — подхватил Коньков.— Вот и попал Чубатов впросак. Но лес-то заготовлен. Я видел своими глазами. Хороший лес.

— Не сомневаюсь,— согласился Завьялов.— Чубатов плохой лес не пригонит.

— А если не сомневаетесь... Почему бы вам вместе со Стародубовым не снарядить комиссию? Съездили бы, посмотрели, акт составили — что за лес? Сколько его? Да и положили бы к нам в дело. Авось поможет взвесить истину.

— Это дело реальное,— отозвался Стародубов.— Я свяжусь и с другими заказчиками. Думаю, они поддержат нас. Сообразим комиссию.

Завьялов оживился, положил руку на колено Конькову и тоном заговорщика спросил:

— Слушай, капитан, а ты, случаем, не перепутал свои обязанности?

— Какие обязанности?

— Те самые, следователя. Вроде бы ваше дело вину установить. А остальное — пусть адвокат собирает,— озорно допытывался Завьялов.— Не то ведь хлеб у людей отбираешь.

Коньков хмыкнул.

— Это я слыхал. Анекдот ходил в начале шестидесятых годов. Помнишь, когда все обязанности делили? Пришла бабка в исполком и жалуется: родимые, говорит, приструните моего старика, он молотком дерется. А ей отвечают: ты, бабка, не туда жалуешься. Мы — сельский исполком. Вот если бы он серпом тебя, тогда к нам. А на тех, которые молотком дерутся, жалуйтесь вон туда, через дорогу. Там промышленный исполком.

Никита Александрович трубно захохотал, Завьялов криво усмехнулся.

— Ну и угостил ты меня, Леонид Семеныч, угостил.

— Кушайте на здоровье!

18

Дарья пришла в этот день пораньше с работы. Ее гнало нетерпение узнать — что было там, на допросе? Какие обвинения предъявили Ивану? Что грозит ему?

Но дома его не было, на столе лежала записка: *«Ушел по вызову в райисполком»*.

«Ну, слава богу! — подумала она.— Если вызвали в райисполком, значит, не сажают». И на душе у нее отлегло.

Переодевшись в шелковый цветастый халат, она прошла на кухню и принялась чистить картошку. Иван придет голодный, да и сама проголодалась, или от волнения есть хочется. Замечала она за собой странную привычку — как начнет волноваться, так ест, что под руку попадет.

В холодильнике лежала добрая половина свиного окорока, закопченного в бане, по-домашнему,— еще до ссоры с Иваном Завьялов привез, вместе с помидорами. Иван любил свиное сало с картошкой, прожаренной до красноты мелко нарезанными ломтиками, вроде лапши. Чтобы с хрустом!

Ах, как ей хотелось продлить это тревожное житие с ним, с блаженством и страхом пополам! Каждое утро, уходя на работу, она с тайным ужасом спрашивала себя мысленно: «А вдруг это была последняя ночка? Вечером вернусь — а его нет и не будет...»

В дверь кто-то постучал. Дарья вздрогнула: кого это нелегкая несет? Иван ушел с ключом.

— Кто там? — спросила она с порога кухни.

— Даш, это я... Павел. Открой!

Она открыла дверь и спросила сердито:

— Ты зачем приехал?

— Пусти меня! Поговорить надо. Дело есть. Тебя касается и его...

Она вздрогнула, помедлила и уступила.

— Ладно, проходи.

В прихожей указала Боборыкину на вешалку.

— Раздевайся, раз вошел. Только имей в виду: лясы точить я с тобой не собираюсь. Выкладывай свое дело и сматывайся.

Боборыкин вошел в комнату, озираясь по сторонам — нет ли кого? Присел на диван, начал вкрадчиво:

— Даша, я прошу — выслушай спокойно и подумай.

— О чем ты?

— Я слышал, ты замуж выходишь... Хочешь расписаться...

— А тебе-то что?

— Я, кажется, мужем тебе доводился,— хмыкнул Боборыкин.

— Вот именно: доводился. И меня чуть не довел до точки.

— Вон как ты мое добро вспоминаешь. Другая спасибо сказала бы.

— За что?

— Хотя бы за квартиру, которую я тебе оставил.— Он обвел руками вокруг себя.— Неплохая квартирка.

Квартира и в самом деле была неплохой — двухкомнатная, в кирпичном доме, с широкими окнами, с коврами на стенах, с большим зеркальным сервантом.

— Квартира государственная. Мы ее вместе получали.

Боборыкин усмехнулся.

— Извините, счетоводам таких квартир не дают. Она была закреплена за предом райпотребсоюза. А председателем был вроде бы я.

— Какое это имеет значение теперь?

— А такое, что я добра тебе желаю и сделал много добра. Вот хоть эту квартиру переписал на тебя. А когда у нас жизнь не сложилась, уехал добровольно.

— Ты уехал добровольно? Не ври! Ты следы заметал. Разоблачений боялся, после того как тебя сняли.

— Каких разоблачений?

— Таких. Сколько вы через сельповские магазины неоприходованного меху распродали?

— Чего ты мелешь? Откуда ты это взяла?

— Оттуда. Серафим, наш фининспектор, рассказывал про эти махинации. Да я и сама кое-что теперь понимаю. Это я раньше была глупой, по молодости. А такие шашни, которые вел ты, не каждый поймет и раскусит.

— Это никем не доказано.

— Может, еще докажут. То-то вы и смотались вовремя. А мне сразу заливал, что едешь в тайгу на заработки, мол, приелись друг другу. Давай врозь поживем на отдалении. Авось соскучимся и все наладится. А сам прихватил с собой Маньку Лисицу из Синюхинского сельпо. И полгода с ней жил как с законной женой. И ее бросил. Думаешь, я про это не знаю? Подлец ты, Пашка, подлец!

— Насчет Маньки — это все наговоры. Пусть сперва докажут.

— Кому надо доказывать? Мне, что ли?

— Хотя бы. А может, зазря меня обвиняешь?

— Да господи! Живи, как хочешь. Не обвиняю я тебя. Да и что нас связывает? Семеро детей по лавкам?

И документы наши чистые. И слава богу, что я с тобой развелась. И тогда обманывал меня — все тянул... И слава богу!

— Развелась... И вот тебе мой совет: не расписывайся с Чубатовым.

— Какое тебе дело? Все мстишь ему, что лес у тебя не купил?

— Его гитара? — указал на висевшую на стене гитару, усмехнулся.— Доигрался. Его посадят, если уже не посадили.

— Врешь!

— Точно тебе говорю. В городе слыхал, от верного человека. Хочу помочь тебе, открыть глаза. Смотри не распишись с подсудным человеком.

— Негодяй! Мучитель!

— Глупая ты, Дашка. Я надеюсь, ты еще одумаешься. Помни — я всегда помогу.

— Пошел ты со своей помощью!

В дверях кто-то заскрежетал ключом. Боборыкин вздрогнул.

— Кто это?

Даша, не отвечая, вышла в прихожую, оттуда послышался голос Чубатова:

— Добрая весть, Дашок! Комиссию собирают в райисполкоме. Лес мой хотят оприходовать.

С порога, увидев Боборыкина, вопросительно глянул на Дашу.

Даша ответила:

— Пришел предупредить меня, чтобы я с тобой не расписывалась.

— Что это значит? — спросил Чубатов, переводя взгляд с Даши на Боборыкина и снова на нее: скулы его в один момент сделались багровыми, глаза заблестели.

И Даша порозовела, ноздри ее округлились и подрагивали; глядя с ненавистью на Боборыкина, она заговорила, чеканя слова:

— Он, видите ли, заботу проявляет о моем благополучии. Потому и наговаривает на тебя, и лесорубов натравливал.

— За этим и приехал сюда? — Чубатов, сощурив глаза и сжимая до белизны губы, грозно приближался к Боборыкину.

Тот встал, азартно и злобно произнес:

— Не только за этим... А еще хочу посмотреть, как посадят тебя.

— Меня-то когда еще посадят. А я тебя сейчас посажу...

Коротким и сильным ударом под дых Чубатов сбил Боборыкина. Тот, перегнувшись, ткнулся головой на диван.

— Встань! — Чубатов схватил его за грудки, приподнял левой рукой, притянул к себе, тот вдруг хватил его зубами за палец.

— Ах ты, гад! С-собака! — И снова правой ударил Боборыкина в челюсть.

Боборыкин перевалился через диванный валик и сбил спиной стул. Чубатов поймал его за шиворот, опять поднял.

— Это тебе за Дарью. А теперь за меня получи!

Он снова ударил Боборыкина в лицо, тот пролетел в прихожую, спиной раскрыл дверь и упал на порог.

Чубатов взял его под мышки, вытащил на крыльцо и столкнул вниз. Потом снял его куртку с вешалки и выбросил из дверей. Боборыкин неожиданно резво вскочил на ноги, схватил куртку и отбежал на почтительное расстояние.

— Это все тебе приплюсуется, приплюсуется! — крикнул, грозя кулаком.

— Пошел вон! Мразь...

Чубатов закрыл дверь и вернулся в дом; из левой руки его текла кровь. Размазывая ее правой ладонью, сказал, кривя губы:

— Собака! Надо же — руку укусил.

— Дай я тебя платком перевяжу! — ринулась к нему Даша.

— Да пустяки!..

Она ловко и быстро перетянула платком его руку и завязала двумя узелками концы платка. Потом, тревожно заглядывая в глаза ему, спросила:

— Иван, это правда, что тебя посадят?

— Врет.

— Ваня, милый! Я так боюсь за тебя, так боюсь...— Она прижалась к его груди и заплакала.

— Успокойся, успокойся.— Он гладил ее по голове, как ребенка.— Видишь — я у тебя. Мы очень мирно беседовали с капитаном и расстались друзьями. Он даже хлопотал за меня в райисполкоме.

— Я знаешь о чем подумала? — Она запрокинула голову и опять поглядела в лицо ему.— Если тебя посадят, я стану твоей женой.

— А если нет? — Он с ласковой насмешливостью глядел на нее.— Ну, чего молчишь? Будешь раздумывать? Тогда я попрошу капитана, чтобы меня посадили сегодня же.

— Типун тебе на язык! Что ты говоришь такое? — испуганно запричитала она.— Вот беду накличешь! Разве можно смеяться над судьбой?

— А я не смеюсь. Моя судьба — ты. Она в моих руках.— Он обнял ее и поцеловал.

Им помешал стук в дверь.

— Неужели ему мало? — сказал Чубатов, оставляя ее.— Погоди, я сейчас.

Даша оправила на себе одежду, причесала волосы, обернувшись к зеркалу, и с ужасом заметила в зеркале, как в комнату входил вместе с Чубатовым капитан Коньков. Она выронила гребешок; падая, он простучал каким-то странным сухим костяным стуком. Обернулась; все с минуту стояли как немые, глядя друг на друга.

— Иван Гаврилович,— сказал Коньков Чубатову,— я должен взять вас под стражу.

— Ваня! Ва-а-аня! — с душераздирающим криком Даша бросилась к Чубатову и зарыдала, затряслась у него на груди.

— Ну, будет, будет,— утешал ее тот и виновато Конькову: — Извините, капитан... женщина.

— Да я понимаю. Может, мне выйти на минуту?

— Нет,— твердо сказал Чубатов.— Когда болит зуб, его сразу надо дергать.

Даша умолкла внезапно и теперь смотрела во все глаза на Чубатова. Иван поцеловал ее как-то церемонно и обернулся к Конькову.

— Я готов, капитан,— хлопнул себя по животу: — У меня зипун — весь пожиток.— Потом Даше: — Чего понадобится, попрошу у тебя.

— Я все принесу,— пролепетала она.

— Да, вот еще! — Чубатов вскинул голову и как-то весело посмотрел на Конькова: — Капитан, а можно мне идти с гитарой?

— Можно... до самой камеры.

— Вот спасибо! — Чубатов снял со стены гитару,

подошел к Даше, еще раз поцеловал ее: — Не горюй! — И потом капитану: — Пошли!

Чубатов шел рядом с Коньковым, как с приятелем, и пел под гитару:

Я поднялся к тебе на Большой перевал,
Я все ноги разбил, я все путы порвал...

Прохожие и подумать не могли, что один из этих двоих был арестованным, второй же — конвоиром.

А Даша стояла на крыльце, прислонившись к дверному косяку, и смотрела невидящими глазами прямо перед собой в темноту, откуда долетала к ней, все отдаляясь, негромкая песня Чубатова.

19

Коньков пришел домой поздно, в скверном настроении. Моросил дождь, и на сапоги налипла ковлагами придорожная глина. Обчищая об железную скобу сапоги, еще подумал: теперь бы выпить не грех с каким-нибудь приятелем. А Ленка разве компаньон в таком деле. Да еще и обругает, если предложишь.

Он постучал в оконный наличник. В сенях тотчас вспыхнул свет. Значит, ждала, с невольным одобрением подумал Коньков.

— Ты чего такой хмурый? — спросила она с порога.— Иль проголодался?

— С прокурором поцапался,— отвечал Коньков, снимая плащ.— Дело у меня забирает.

— Подумаешь, беда какая. Отдай, пусть потешится.

— А тебя, говорит, накажем.

— За что?

— Чубатова посадили... А я не согласен.

— Ах ты! Какая жалость! — всплеснула руками Лена.— Не везет этой Дашке, опять ей горе мыкать в одиночестве.

Коньков присел на лавку, снял мокрые сапоги, надел шлепанцы.

— Начфин его гробит. Но мы еще посмотрим.

— Лень, а у нас гость!

— Иди ты! — обрадовался Коньков.

— Пошли! Чего расселся?

— Идем, идем,— весело отозвался Коньков, потирая озябшие руки.

Посреди зала в красном креслице важно восседал Арсё и курил свою бронзовую трубочку. На нем были легкие бурые олочи, расшитый по бортам и вороту синий халат, а на голове покоилась старомодная, плетенная из черной соломы шляпа с вуалеткой. Сбоку над щекой свисал белый ярлык с указанием цены этой шляпы. Своя же заношенная кепка лежала на коленях.

— Арсё! Какими судьбами? — радостно приветствовал его Коньков.

— В город приезжал... шляпу купил.— Арсё мундштуком трубочки указал на голову.

— Шляпа-то дамская!

— Ну и что? Мне очень нравится. Красивая шляпа. Внуку подарю или внучке.

— Где ты ее раскопал? Таких уж не носят лет десять.

— Почему?

— На ней вуалетка.

— Какой вуалетка? — Арсё снял шляпу и с любопытством разглядывал ее.

— А вот вуалетка,— указал Коньков на вуалетку частого плетения с черными мушками.

— Это накомарник, понимаешь,— сказал Арсё, снова примеривая на себя шляпу.

Коньков засмеялся.

— Ты бы хоть ярлык с ценой срезал.

— Это? Зачем? Красиво... И все узнают, сколько деньги платил.

— У тебя, брат, все продумано.

— Конечно,— согласился Арсё.

— Мать! А ну-ка накрывай на стол, чего погорячее! — крикнул Коньков жене, хлопотавшей в прихожей, и снова Арсё: — Как ты меня нашел?

— Наши люди говорили.

— Откуда они знают, где я живу?

— Наши люди все знают.

— Пра-авильно,— усмехнулся Коньков, принимая от Елены тарелки и расставляя их на столе.

— Я приезжал тебе говорить: Гээнта не виноватый. Гээнта не поджигал лесной склад,— сказал, понизив голос, Арсё и подаваясь корпусом к Конькову.

— А кто же поджег его? — Коньков хоть и оживился, и блеснул огонек в глазах его, но губы кривились в чуть заметной усмешке.

— Боборыкин поджигал,— уверенно ответил Арсё.

— Кто тебе сказал?

— Никто не говорил... Сам знай.

Огонек любопытства, блеснувший было в глазах Конькова, снова угас, и он спросил скорее для приличия:

— Каким же образом ты узнал?

— Бабушка Одинка видел... Моя жена.

— Почему же она мне не сказала? — удивился Коньков.

— Она тебя боисси.

— Что же она видела?

— Она, понимаешь, дрова собирал... Там тайга, где лесной склад был. Вдруг лошадка едет, человек на ней, верхом, понимаешь. Бабушка смотри, смотри... Кто такой? Боборыкин, оказывается. Его слезал с лошадка, ходи юрта, где Гээнта спал. Бабушка за дерево прятался.

— А чего она спряталась?

— Она боисси. Боборыкин смотри кругом, никого не видал. Тогда он вынимай трубка из кармана, белый. Немножко поджигай. Дым ходил из трубка. Бабушка думал — его курить будет. Нет, понимаешь. Трубка отнес в юрту. Сам на лошадка садился, уехал тайга. Бабушка домой уходил. Может, полчаса, час проходил... Пожар! Юрта гори! Лесной склад гори! Вот какое дело, понимаешь.

— А кто докажет, что это был Боборыкин?

— Я могу доказать, такое дело.

— Каким образом?

— Я следы видел. Лошадка искал. Всю тайгу прошел. Лошадь нашел. В ОРСе, оказывается, лошадка. Ну, где запань. Конюх мой друг. Мы выпивали немножко. Я давал ему свой нож. Хор-роший нож. Конюх давал мне писаку. Вот, такое дело.— Арсё вынул сложенную вчетверо бумажку, протянул ее Конькову.

Через плечо ему заглядывала Елена и зло цедила:

— Какая сволота! Какая сволота!

Коньков развернул бумажку и прочел вслух: *«Конюху Коновалову. Выдать лошадь под седло подателю сего, Боборыкину. Завхоз Сметанкин. 20 сентября сего года...»*

— Вот это бумага! — прихлопнул ладонью по записке Коньков и радостно подмигнул жене: — Ай да Арсё! Да ты прямо Шерлок Холмс...

— Конечно,— охотно согласился Арсё.

— За это и выпить не грех.— Коньков налил всем в рюмки водки.

— Можно, такое дело, выпить.— Арсё бережно приподнял рюмку и, кривясь, медленно цедил водку.

Коньков помолчал для приличия, ожидая, пока Арсё закусывал свиным салом, потом спросил:

— А что за трубку положил он в юрту?

— Вот его трубка.— Арсё вынул из кармана дюралевую трубку, из которой торчал остаток истлевшего фитиля.— Там нашел, где юрта Гээнта стояла.

Коньков взял трубку, стал разглядывать ее и вдруг вспомнил: это был тот самый обрезок, которым он расшвыривал пепел на месте сгоревшей юрты. Запоздалая досада на свою оплошность вызвала в душе его горькое сожаление — он только головой покачал.

— Как же я не обратил на нее внимания? Эх, лопух я, лопух! — выругал он себя вслух.

— А при чем тут трубка? — спросила Елена.— Какая связь этой железки с пожаром?

— Типичный самопал.— Коньков передал ей трубку.— Поджигают фитиль, заталкивают его в трубку, а на конце насаживают или коробку спичек, или бутылку с бензином. Пока фитиль тлеет в трубке, поджигатель успевает далеко уйти... Это вроде примитивного бикфордова шнура... Н-да. Откуда взял он эту трубку? — спросил Коньков скорее себя, а не Арсё.

— Я знай! — отозвался Арсё.

— Ну, ну!

— Его отрезал свое весло. Там валяется, на складе. Алюминиевый весло. Я, такое дело, спрятал.

Коньков опять головой покачал.

— Арсё, тебе надо в следователи идти.

— А почему нет? — засмеялся тот.

— Одну минутку.— Коньков встал из-за стола и прошел в соседнюю комнату к телефону. Притворив дверь, он набрал номер дежурного по милиции и спросил: — Капитан Ребров? Послушай, Володь! Завтра утром вызови ко мне в кабинет Боборыкина. Тепленьким доставь его. Да! Пораньше, к девяти часам.

20

На другой день Боборыкин встретил Конькова в дежурном помещении и сердито спросил:

— С какой целью вы меня вызвали?

— Сейчас поясню. Пройдемте со мной,— приглашал его Коньков, пропуская впереди себя.

В своем кабинете он вынул из кармана закопченную алюминиевую трубку и положил на стол перед Боборыкиным:

— Узнаете?

— Что это? — спросил в свою очередь Боборыкин.

— Обрезок от вашего весла. Вспомните!

— Допустим... Ну и что?

— Он оказался на месте сгоревшей юрты Гээнты. Как он там оказался?

— Понятия не имею.— Боборыкин даже отвернулся и сделал обиженное лицо.

— Я вам напомню. Вы его зарядили фитилем, подожгли и положили в юрту спящего Гээнты.

Лицо Боборыкина покрылось пятнами, но он все еще пытался изобразить обиду и растерянно улыбался.

— Как бы я смог сделать это?.. Если во время пожара я был на запани.

— На лошади, например. От ОРСа до вашего склада по тайге не более двенадцати километров. Пока тлел фитиль, вы ехали галопом.

— Что вы на меня валите напраслину? Интересно, кто бы это дал мне лошадь? — Боборыкин побледнел, и на лбу его появилась испарина.

— Конюх ОРСа, по записке завхоза. Вот она.— Коньков вынул записку и показал ее из своих рук.

Боборыкин глядел на нее затравленно и молчал.

— Она? — насмешливо спросил Коньков.

— Не знаю,— выдавил из себя Боборыкин и отвернулся.

— Запираться дальше бессмысленно, Боборыкин. Лошадь, на которой вы ездили, видели удэгейцы. Они могут ее опознать. Построят всех лошадей ОРСа и спросят: которая? А весло, то самое, от которого вы отрезали эту трубку, хранится в надежном месте. Так что баста.

Коньков встал.

— Что вы от меня хотите? — со злобой спросил Боборыкин, вставая.

— Подумайте, все взвесьте и признайтесь... Мне ли, прокурору — не имеет значения. Это облегчит вашу участь. А пока я вас провожу в дежурку.

Оставив Боборыкина под надзором дежурного, Коньков вернулся в кабинет и позвонил Савельеву.

— Владимир Федорыч, здравствуйте! Коньков.

— Слышу,— помедлив, ответил Савельев.— В чем дело?

— Появились серьезные улики в виновности Боборыкина. Необходимо задержать его. Прошу вашей санкции.

— Кажется, я отстранил вас от дела. Так вот... Боборыкиным займется тот, кому следует.

На том конце положили трубку и послышались частые гудки.

— Ах, вот как! — воскликнул Коньков, придавливая рычаг трубкой.— Ну, ладно...

Злой и решительный вошел он в кабинет начальника милиции и спросил от порога:

— Почему прокурор не дает санкцию на арест Боборыкина? Я ему звоню по телефону, а он трубку бросает. Даже разговаривать не хочет. В чем дело?

— Ну, что ты кипятишься, капитан? Садись, и поговорим спокойно,— подполковник, грузный, с залысинами, кивнул на стул.— Боборыкин никуда не денется, возьмут его, успокойся. А указание прокурора следует исполнять.

— Я исполняю... задержал Чубатова. Но прокурор необъективен. И я с ним не согласен по ходу дела.

— Если прокурор берет следствие в свои руки, ты обязан отдать.

— Пожалуйста! Бумаги я отдам.

— И продолжаешь вести это самое расследование. Какое ты имеешь право?

— А если я не согласен с выводами прокурора?

— Ты обязан прекратить расследование. Если не согласен, пиши рапорт.

— Я напишу рапорт. Но к рапорту я добавлю кое-что другое. Я подробно изложу, что за порядки сложились у нас по заготовке леса. Что за отчетность! Что за снабжение! И все хотят из воды сухими выйти. На стрелочника свалить! Я попытаюсь разобраться в этом до конца.

Подполковник Колесов с долгим укором смотрел усталыми, отечными глазами на Конькова, выражение лица его было печальным и скучным, ему жаль было, что взрослый и вполне разумный человек порет горячку и не хочет считаться с элементарными правилами.

— Прокурор требует отстранить вас от дела,— произнес он наконец.— Я надеюсь на ваше благоразумие.

— Я буду проводить расследование,— сказал упрямо Коньков.

— В таком случае вы будете наказаны.

— Благодарю за предупреждение.— Коньков учтиво склонил голову и пошел к двери.

Подполковник встал и сердито сказал:

— Остановитесь, товарищ капитан!

Коньков остановился, развернулся по-военному, щелкнул каблуками.

— Слушаюсь, товарищ подполковник!

Тот подошел к Конькову.

— Леонид Семенович, мы с тобой больше года проработали... Зачем же так открыто рвать? Зачем не уважать старших?

— Я вас уважаю, товарищ подполковник.

— Формально. А по существу не слушаешь. Ну, поверь моему опыту — нельзя лезть на рожон. Прокурор для тебя, для следователя, одно и то же, что ротный командир для отделенного. Хоть субординацию соблюдай.

— Чем же я нарушил субординацию?

— Ну, как же? Прокурор отдал приказ — арестовать подследственного. А ты что сделал? Мало того что целый день проманежил... только вечером взял его. Так еще и с гитарой вел через весь город!

— Мне совестно вести под конвоем невинного человека.

— Суд покажет, виновен он или нет.

— Вот именно. Будем готовиться к суду.

— Что это значит?

— А то, что я вам сказал. Буду жаловаться. Действовать, как сочту нужным.

— Ну что ж, вольному воля.— Подполковник насупился и сухо сказал: — Можете считать себя свободным. Я отстраняю вас от расследования. Ступайте.

Коньков вышел из милиции, свернул на тихую пустынную улочку и рассеянно побрел по узенькой бетонной ленточке тротуара. Стоял хороший денек ранней осени — ни жары, ни ветра; сочно зеленела на обочинах трава-мурава, светились чистые голубенькие заборчики из штакетника, палисадники с высоким малинником, яблоки на ветвях и тревожные пятна красной рябины. Но Конькову было невесело от этой благодати.

«Вот и повернулось все на круги своя,— думал он.— Пойду я опять околачивать пороги. Правду искать! Отчего это так получается? Или не везет мне? Или самолюбие заедает и я лезу в самом деле на рожон?

Может, прав Савельев? Нарушения есть? Есть. А там пусть суд решает. Чего ж я бью тревогу? Или я вправду обязанности свои перепутал, вместо обвинителя хочу защитником выступать? Ведь будет же на суде и защитник, будет. А как же я? Я ведь знаю, что причины этих нарушений не вскрыты, что виноваты не только заготовители, но и те, которые сами обвиняют, и промолчу? Дак ведь совесть замучает! Кто же я? Страж закона или исполнитель чужой воли? Если закон превыше всего, тогда что за беда, коли перепадет мне по шее. Надо терпеть, Леня...»

Его вывел из раздумья скрип тормозов на мостовой. Оглянулся — «газик». Из растворенной дверцы высунулся председатель райисполкома Стародубов и машет рукой.

— Капитан! Шагай сюда, подвезу!

Коньков свернул на мостовую.

— Здоров, Никита Александрович!

— Давай, давай! — Тот сидел за рулем, жестом указывая на место рядом с собой.

Коньков влез в машину.

— Тебе куда? — спросил Стародубов.

— Да ведь я к тебе...

— Иди ты! На ловца и зверь бежит.

Стародубов закрыл дверцу, «газик» тронулся.

— По какому делу?

— У меня есть идея. Давай позвоним в райком первому. Предложим бюро созвать. Разберемся, как у нас отчетность ведется. Снабжение и все такое прочее.— Он хлопнул по своей планшетке: — У меня тут собрался материалец: и по лесным делам, и кое-что от председателей колхозов, от финансистов...

— И когда же появилась у тебя эта идея? — спросил иронически Стародубов.— После того, как прокурор отобрал у тебя дело?

— А при чем тут мое дело?

— При том. Типичная логика обиженного человека: ах, меня сняли! Ну, так я вам докажу — один я прав, а вы все виноваты. Знакомо, Леонид Семеныч.

— Ну, ну... И мне знакома одна старая побасенка: что может толковое сказать человек, изгнанный из Назарета? Что ж, не хотите слушать здесь, так в области разберутся.

— А если и там охотников не найдешь? — ехидно спросил Стародубов.

— Пойду выше. Останови-ка!

Они остановились напротив красного двухэтажного особняка с вывеской на дверях — «Райком КПСС». Коньков вылез из машины.

— Ну, ступай! — сказал ему вслед Стародубов.— Только смотри не ушибись о дверной косяк.

— Благодарю за внимание!

Коньков легким поскоком через две ступеньки поднялся на второй этаж и прошел в приемную к первому секретарю.

Его встретила полная седая дама в черном костюме.

— Я вас слушаю.

— Я к Всеволоду Николаевичу,— сказал Коньков.

— Он будет в конце дня. Что передать? — Она сидела за столиком перед пишущей машинкой.

— Передайте вот это.— Коньков вынул из планшетки голубенькую папку, положил на стол, и сверх этого — еще листок бумаги, исписанный от руки.— Скажите Всеволоду Николаевичу, я буду ждать приема весь день сегодня и еще завтра, до вечера. В ночь на послезавтра уеду в область. Дело не терпит отлагательства. Впрочем, тут все написано.

— Хорошо. Я доложу,— сказала секретарша.

21

Елена поджидала Конькова в палисаднике, и по тому, как смотрела на него тревожным и взыскующим взглядом, он понял: все уже знает.

— Ну что, отстранили? Чего молчишь? — И губы поджаты, вытянуты в ниточку.

Он присел на лавочку под окном и сказал примирительно:

— Садись! В ногах правды нет.

Она присела на краешек лавки и затараторила:

— Я как чуяла... С четвертого урока сбежала. Мне завуч шепнул: Савельев, говорит, чернее тучи. Ваш законник в печенке у него сидит. Стоит ли ссориться, говорит, хорошим людям из-за какого-то заезжего гастролера? Я и помотала к тебе. Думаю, упрошу: надо помириться. Ты же упрямый, как осел. Торкнулась к тебе в кабинет — дверь заперта. Я к дежурному, к Реброву: Володь, говорю, где мой? А его, говорит, того... отстранили. Дак что, в самом деле?

— В самом деле,— ответил, не глядя на Елену.

— У начальника-то был?

— Был.

— И что он?

— Да что... Не лезь, говорит, на рожон.

— А я тебе что говорила? — подхватила Елена, всплеснув руками.— Да ведь ты уперся как бык. Все тебе надо правду доказать. Кому доказывать, начальнику, прокурору? А то они глупее тебя? Они что, не знают эту правду? Не знают, как лес добывали, как порядок нарушали? Да они сами этот порядок устанавливали. Пускай сами в этом и разбираются. Твое-то какое собачье дело? Ты же следователь. Вот и гоняйся за преступниками. А этих людей не трогай. Они тебе неподвластны.

— Не трогай, неподвластны...— Коньков покрутил головой и грустно усмехнулся.— Ну, чего ты расшумелась, голова — два уха! Мое дело установить — отчего так получается, что человек по натуре честный против своей воли становится нарушителем. В чем причина, когда добросовестные люди оказываются виноватыми? Понимаешь? Истинную причину вины вскрыть надо. Вот моя задача! Вскрыть причины, дабы изменить условия, от которых и дело страдает, и люди оказываются без вины виноватыми. А причина эта в бесхозяйственности, в безответственности, да еще в лицемерии. Запутали всякую отчетность. Знают, но делают вид, будто они ни при чем.

— Зато тебе больше всех надо,— с какой-то злой обидой сказала Елена.

— Да пойми ты, если я этого не сделаю, не скажу, мне будет стыдно людям в глаза смотреть.

— Смотри-ка, застыдился, бедный. За людей переживает... Вон, у людей и дома свои, и автомашины. А ты все на казенной квартире живешь. За сорок лет один мотоцикл нажил.

— Мотоцикл-то с коляской! Все ж таки у тебя есть свой выезд. Правее меня сидишь, как начальник.— Он ткнул ее шутливо в бок и захохотал.

— Да ну тебя! — Она приняла эту шутку, озорно блеснули ее темные быстрые глаза. И радость вспыхнула в них за мужицкую стойкость крутой и неуступчивой натуры своего благоверного, и помимо воли растянулись губы ее в игривой улыбке, но только на одно мгновение... Затем ее небольшое, по-детски округлое личико затуманилось и озабоченно опали книзу уголки губ.—

Доездились! Что ж, опять в ассенизаторы пойдешь? В мусорщики?

— А что мусор? По двести восемьдесят рублей в месяц заколачивал! Мотоцикл купил.

— Эх, Леня!.. Ни самолюбия у тебя, ни гордости.

— По-твоему, самолюбие в том, чтобы идти на сделку с совестью?

— Да иди ты со своей совестью!.. Носишься с ней как с писаной торбой. Чего теперь делать будем?

— Живы будем — не помрем. Найду работенку. У нас безработицы не бывает.

— Поесть собрать?

— Нет. Молочка, пожалуй, выпью. Пойду в сарай, постругаю да дров поколю... А ты сиди дома, от телефона ни шагу.

— А что тебе телефон?

— Звонить будут, от «самого». Я ему все бумаги отнес и написал кое-что.

— Думаешь, примет? — усмехнулась недоверчиво.

— Примет,— уверенно сказал Коньков.— Он человек неглупый, поймет: не в его интересах выносить сор из избы. А я ведь на районном пороге не остановлюсь. Он меня знает.

До самой темноты провозился Коньков в своем сарайчике: то дрова колол, то протирал мотоцикл, то гнал стружку — новые доски шлифовал для кухонной перегородки, и все думал, как он войдет к секретарю, как поведет свою речь, издалека, по-умному, обложит Савельева, как медведя в берлоге; и такие доводы приходили на ум, и все так складно получалось, что он совсем успокоился и не заметил, как вечер подошел.

Елена пришла к нему в глубоких сумерках; он сидел на чурбаке, понуро свесив голову.

— Ты хоть бы свет включил. Темно.

— А? — отозвался тревожно.— Звонка не было?

— Нет. Ужинать пора.

— Хорошо. Я сейчас приду.— А сам ни с места.

Елена прижалась к нему грудью, запустила пальцы в мягкие волнистые волосы.

— Переживаешь! — потеребила губами кончики его ушей.— Наверное, не примет тебя.

— Ничего... завтра в ночь поеду в область.

— Эх ты, Аника-воин! Пойдем, хоть накормлю тебя. Не то отощаешь. Гляди — штаны спадут.— Она озорно

оттянула резинку его лыжных брюк.— Еще опозоришься перед начальством.

— Хорошо, Ленок. Ступай! Я сейчас приду.

Она поднялась на заднее крыльцо, растворила дверь и вдруг крикнула с порога:

— Ле-оня! Телефон звонит!

Он бросился, как тигр из засады, одним махом заскочил на верхнюю ступеньку крыльца, опередил ее на пороге и первым схватил трубку.

— Ты чем занимаешься? — панибратски звучал в трубке знакомый басок первого секретаря.

— То есть как? В каком смысле? — насторожился Коньков.

— А в самом прямом. Ты свободен?

— Так точно!

— Тогда давай ко мне. Мы тебя ждем тут.

— Я — в один момент. Через десять минут буду.

— Смотри за порог не зацепись,— насмешливо заметил секретарь.— Ждем! — И положил трубку.

— Ну, что я тебе говорил? Крой тебя горой! — ликовал Коньков, потрясая поднятой рукой.— Нам нет преград на суше и на море...

— Рано веселишься... Смотри не прослезись. Как возьмут тебя в оборот...

— Меня?! Да я их за можай загоню.

— Ну да... Заяц трепаться не любил. Поешь сперва, не то натощак-то голос сядет,— сказала, глядя, как он, не успев толком подпоясаться, уже китель натягивал.

— Ты что, не слыхала? Я же сказал: через десять минут буду у них.

— Господи! Не смеши хоть людей. Ты что ж, и побежишь, как пионер, через весь город?

— А мотоцикл на что?

— В райком, на мотоцикле?

— Только так.

— Дуракам закон не писан. Смешно.

— Смеяться будем потом.

22

В кабинете первого секретаря за столом уже сидели Стародубов и Савельев. Сам Всеволод Николаевич, поскрипывая протезом левой ноги, тяжелой развалистой походкой вышел из-за стола навстречу Конькову.

Это был сумрачный брюнет могучего сложения с густой седеющей щеткой коротко стриженных волос, в черном дорогом костюме и в белоснежной рубашке с откладным воротом.

— А вот и виновник торжества! Прошу к столу! — приглашал он Конькова, бережно ведя под локоток.— Ну, капитан, здорово разрисовал ты наши порядки по части лесозаготовок. Всем досталось, а мне больше всех.— Всеволод Николаевич сел на свое место и хитро подмигнул Конькову.— Только вот какая оказия: твой оппонент, прокурор Савельев, говорит, что спорить не о чем. Дело, которое он отобрал у тебя, освещается не с той стороны. Юридическое начало перепутал с хозяйственным.

— Давайте разберемся,— кто что перепутал? — Коньков вынул из кармана коробку спичек, погремел ею, поочередно глядя на каждого собеседника.— Вот вам коробка спичек. Чтобы спичка зажглась, ее нужно провести с нажимом по коробке. Тогда вспыхнет огонь.— Он вынул спичку, зажег ее и приподнял кверху.— От этого огня может сгореть и дом, и целый поселок. Причина зла — вот она — спичка. Ведь можно и так на вопрос ответить. А как же руки, которые пустили ее в дело? Они что же, значит, ни при чем?

— Да что ты нам здесь побасенки рассказываешь? — не выдержал Савельев, перебивая его.

— А то и рассказываю, что этими руками были мы с вами,— живо обернулся к нему Коньков и с выдержкой поглядел на него, потом на Стародубова.— Что скажешь, как он его заготавливает? Какими методами? С луны вам приходил этот лес? Вы его только по колхозам распределяли. А вы, товарищ прокурор, тоже не знали, каким образом добывают лес?

— Ты не путай божий дар с яичницей,— зло сказал Савельев.— Одно дело — промысел, а другое метод, которым он осуществляется.

— Ну, конечно, методы были скрыты за семью замками. Вошебник Чубатов проводил сеанс черной магии. Алле-хоп! — и бумажные ведомости превращались в кубометры чистого леса.

— Я прокурор. И какое мне дело, в конце концов, до заготовки леса?

— Как? Ты же присутствуешь на заседаниях исполкома? — вскинул удивленно голову Всеволод Николаевич и,

обернувшись к председателю, спросил: — Никита Александрович, разве вы на исполкоме не решали вопрос о заготовках леса?

— Решали,— слегка конфузясь, ответил Стародубов.

— И что же, Савельева не приглашали на исполком?

— Был Савельев на исполкоме,— помедлив, ответил Стародубов.

— Ну, как же так, Владимир Федотыч? — с недоумением спросил Всеволод Николаевич, разводя руками и выпячивая нижнюю губу.

Чуть пригнув голову, Савельев с расстановкой сказал:

— Повторяю: я прокурор и моя обязанность следить за выполнением закона.

— Да, это ваша обязанность,— прихлопнул ладонью об стол Всеволод Николаевич.— Но никто нас с вами не отстранял и от другой обязанности: наведения порядка в районном хозяйстве... Я так думаю, товарищи, что вопрос о лесозаготовках надо поставить на бюро. И там хорошенько разобраться, кому давать пышки, а кому шишки. Твое мнение, Никита Александрович?

— Будем собирать бюро,— Стародубов шумно вздохнул и добавил: — Дело Чубатова — не частный вопрос.

— Вот именно, не частный вопрос! — Всеволод Николаевич поднял палец кверху.— Следователь прав, Савельев!

— Так что ж, прикажете дело прекращать? — спросил тот как бы с обидой и вызовом.

— Я не областной прокурор...— Всеволод Николаевич подался грудью на стол и пристально поглядел на Савельева.

Тот слегка смутился и сказал извинительно:

— Да не в том дело...

— Вот именно,— как бы согласился с ним, не требуя иных пояснений, первый секретарь.— Я не хочу исполнять чужие функции, но вижу: дело Чубатова в надежных руках, и отстранять Конькова не советую.— Последние слова произнес с нажимом.

— В самом деле, Владимир Федотович, тут что-то от недоразумения или от амбиций. Такие стычки бывают. Надо снисходить как-то, сообразуясь...— Стародубов запутался в словах, но смотрел на Савельева с затаенной надеждой.

— Да я не против, в общем-то...— Савельев поглядел себе на руки, похрустел пальцами.— Пусть работает... Но чтобы принципы не нарушались.

— Это само собой! — подхватил Коньков, вставая.— Разрешите идти?

— Идите и работайте.— Всеволод Николаевич встал и пожал ему руку.

— Премного благодарен!

Коньков по-военному повернулся, щелкнул каблуками и вышел вон.

1975

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Можаев Б. А.

М74 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 1: Повести / Вступ. статья А. Туркова.— М.: Худож. лит., 1989.— 558 с.

ISBN 5-280-00794-3 (Т. 1)

ISBN 5-280-00793-5

В том вошли написанные в разные годы повести «Тонкомер», «Наледь», «Полюшко-поле», «Пропажа свидетеля», «Падение лесного короля», события в которых происходят на Дальнем Востоке.

М $\frac{4702010201\text{-}148}{028(01)\text{-}89}$ подписное **ББК 84Р7**

Борис Андреевич
МОЖАЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 1

Редактор В. Бармин
Художественный редактор Е. Ененко
Технический редактор О. Ярославцева
Корректоры
Н. Пехтерева, О. Левина

ИБ № 5439

Сдано в набор 06.07.88. Подписано в печать 22.02.89. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4+вкл.=29,45. Усл. кр.-отт. 29,5. Уч.-изд. л. 31,74+вкл.=31,79. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3058. Заказ № 3877. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература».
ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.

